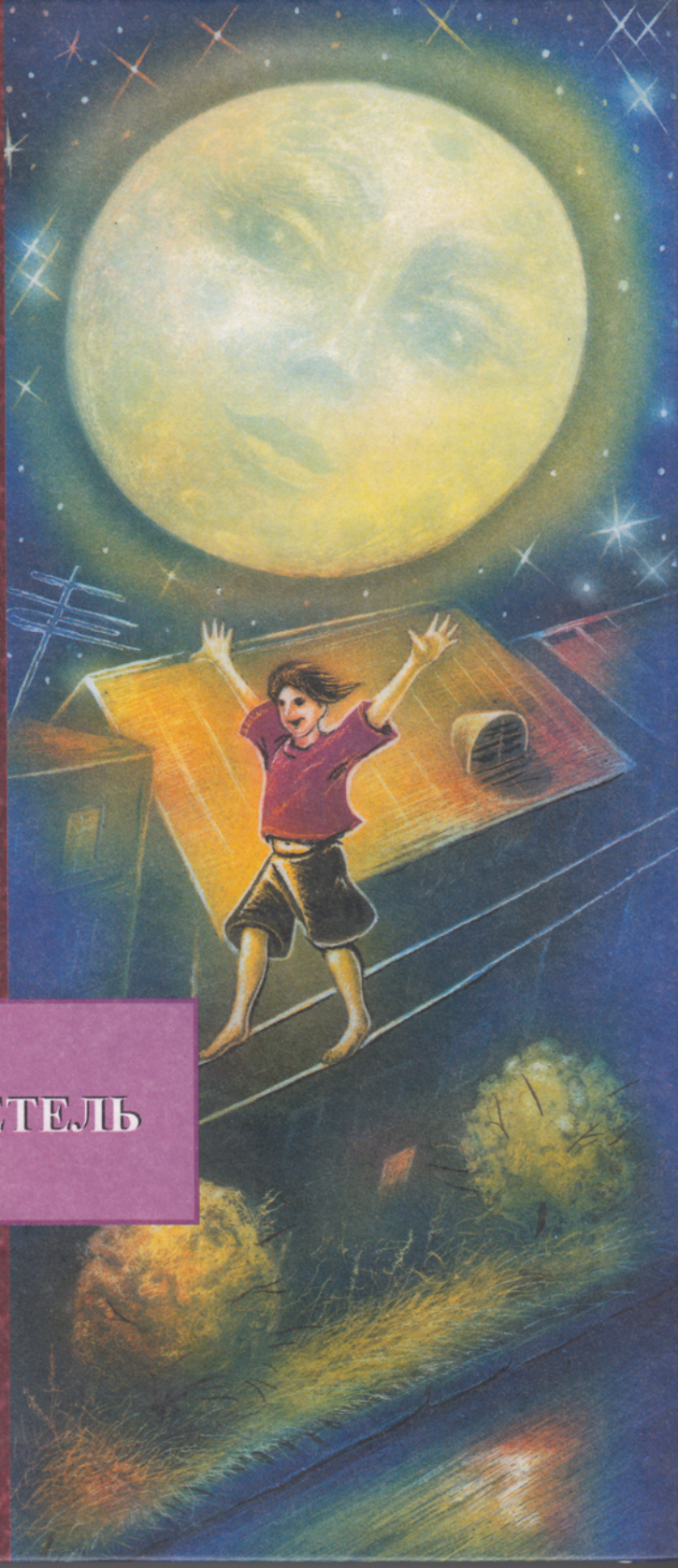
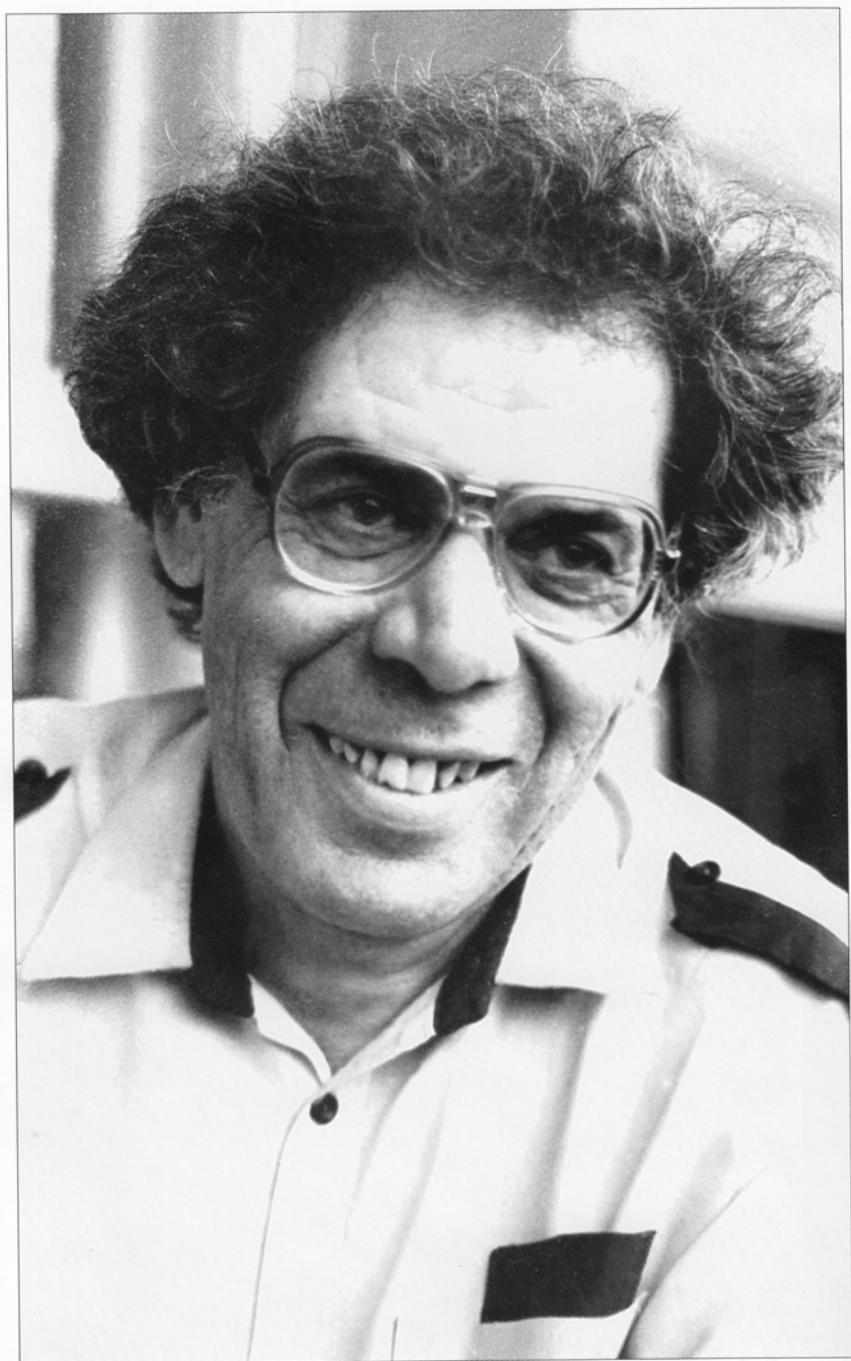


ДРОБИЗ

СВИДЕТЕЛЬ



БИБЛИОТЕКА
ПРОЗЫ
КАМЕННОГО
ПОЯСА



ГЕРМАН

ДРОБИЗ

повести и рассказы

СВИДЕТЕЛЬ



Екатеринбург
2003

УДК 821.1161.1-31/32(081)„2003”Д.С.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я44
Д 75

*Издание книги осуществлено
при финансовой поддержке
Министерства культуры
Свердловской области
и Управления культуры
города Екатеринбурга.*

Дробиз Г.Ф.

Д 75 Свидетель: Повести и рассказы. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. — 640 с.: ил. — (Библиотека прозы Каменного пояса).

ISBN 5—7851—0465—2

Книгу «Свидетель» Герман Дробиз считает своим отчетом за сорок лет писательского труда, а потому собрал воедино произведения всех прозаических жанров, в которых работал в эти годы: психологическую прозу, сатирические и юмористические вещи, иронические новеллы, рассказы в жанре «фэнтези».

УДК 821.1161.1-31/32(081)„2003”Д.С.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я44

ISBN 5—7851—0465—2

© Г.Ф. Дробиз, 2003
© С.В. Стенин, худ. оформление, 2003
© Банк культурной информации,
оформление, серия, 2003



НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

ИНЖЕНЕР ЩУКИН

Если пролететь над Уральским хребтом, от его южных предгорий до приполярных вершин, десятки раз будешь попадать в рукотворные зловонные облака, исторгаемые жерлами заводских труб.

Одна из самых обширных и вонючих облачных громад, скрученная из охристых, белесых, сизоватых и зеленоватых дымов, затмившая трассу воображаемого полета в срединной части хребта, там, где он переходит в плоскогорье и где дышит в небеса одна из крупнейших в стране, а может, и во всем мире, промышленных зараз двадцатого века — трижды орденоносный Северянский химический комбинат.

Тридцать лет он давал стране серную кислоту и иные вещества с длинными названиями, чем год от году все более крепил промышленную и военную мощь державы. На вишневом бархате знамени, что торчало из полированной подставки в директорском кабинете, в прилежавшем к древку углу торжественной ткани, чуть выше сдвоенного ленинско-сталинского силуэта, прибавлялись ордена. В прессе комбинат называли не иначе как флагманом очередной пятилетки, прославленным предприятием социалистической индустрии, лидером отрасли. Но к концу пятидесятых годов слишком явно обнаружили себя последствия ударного строительства, большевистских темпов под лозунгом «Время, вперед!», стахановских рекордов на монтаже.

Изношенное оборудование сочилось ядовитыми жидкостями и газами, нескончаемые аварии останавливали сложный многоступенчатый процесс.

Спасение было только в новой очереди комбината, в стройке, развернувшейся бок о бок со старыми зловонными цехами. Шла она ни шатко ни валко, сроки сдачи и пуска пересматривались из года в год.

Но тут настали шестидесятые годы, знаменитые обилием удивительных идей и деяний Никиты Сергеевича Хрущева. Одно из самых масштабных преобразований, предпринятых по воле энергичного генсека — «Большая химия». Идея в считанные годы расширить химические производства и поднять их до уровня мировых лидеров — американских, немецких, французских — была, может быть, самой разумной хрущевской новацией за все годы его сумбурного управления страной. Химия в СССР и впрямь была допотопной, а потому досадно тормозила развитие всех других отраслей и прежде всего самой главной — оборонной; в частности, требовалось все больше новейших взрывчатых веществ, все более могучего ракетного топлива, не говоря уж о самом засекреченном химическом оружии.

На «Большую химию» были брошены соответственно большие силы. Из лагерей досрочно освобождали заключенных, переводя их на полусвободный режим, в котором они пребывали, трудясь на стройках. С тех времен много лет еще бытовало выражение — «послать на химию».

«Большая химия» круто изменила и судьбу строительства новой очереди Северянского комбината. Удесятирили средства, утроили коллектив строителей, со всех концов страны в Северянск покатали эшелоны со стройматериалами и оборудованием. Специальным документом. Центральный Комитет партии постановил, что никакие передвижки сроков более недопустимы, и текущий год будет для стройки решающим — последним и пусковым.

... Начальника строительства сменили. На его место, передав в другие руки достраивать нефтеперегонный завод в Поволжье, по решению партии прибыл Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинских и министерских премий, строитель множества крупнейших предприятий легендарный Николай Сергеевич Паторжинский. По утрам его машина, ныряя в колдобинах разбитой вдрызг тяжелыми грузовиками дороги, въезжала на стройку под аркой, на которой алело бесконечно знакомое: «Вперед, к победе коммунизма!» Всякий раз он кривовато усмехался, а иной раз и говорил шоферу, своему многолетнему верному водиле, другу почти:

— Давай, газуй, Андрюша — коммунизм уже недалеко...

Андрей, сверстник, поворачивал к нему морщинистое лицо и в понимающей улыбке скалил железные зубы.

Ни в какой коммунизм Паторжинский давно уж не верил, про родную партию знал много позорного, а еще больше — страшного. Навсегда запомнил, как энкаведешники уводили главного инженера Красномашстроя, светлейшую голову, инженера божьей милостью и благороднейшего человека. Уводили прямо с оперативного совеща-

ния, на глазах у сотни молчавших. И он, понятное дело, молчал, только дурацкая фраза крутилась неслышно, заезженной пластинкой: «Если это враг народа, кто ж тогда народу друг?»

Но когда в Георгиевском зале Кремля ему вручали золотую звезду Героя за Волго-Дон — тоже хорошо помнил: его охватило гордое, чудесное чувство сопричастности к великим свершениям века, к преобразованиям, меняющим лик Земли. Но и в тот, самый торжественный день своей жизни, в приподнятом, окрыленном состоянии пробыл недолго. На последовавшем после церемонии награждения пышном и обильном банкете он сидел со старым товарищем, с которым начинали еще на Кузнецкстрое. После нескольких добрых рюмок, когда перешли на доверительный дружеский треп, Паторжинский, наклонясь все же поближе к уху собеседника, поведал старому другу, что самыми тяжелыми временами на его последней стройке были не те, когда по каким-то причинам работы выбивались из графика и прибывали московские раздавальщики выговоров и угроз, а пара недель, затраченных на установку на берегу канала, в голой степи, шестидесятиметровой бронзовой статуи товарища Сталина. Под какой охраной и под чьим присмотром это делалось, какого уровня чины прилетели решать, куда именно, через канал или вдоль него будет смотреть вождь советского народа...

А теперь верховодил дорогой Никита Сергеевич, одаренный так называемым простонародным умом, в чем-то и впрямь обаятельный, предприимчивый мужик, но при том — глубокий невежда с четырехклассным образованием. Плюс, правда, институт красной профессуры, тот еще вуз. Удивительно, как ухитряются по-настоящему умные люди время от времени разъяснять ему действительно насущные нужды страны — такие, как создание «Большой химии». Да, это не кукуруза, это разумно и своевременно. И Паторжинский построит вторую очередь комбината, а точнее новый комбинат — в срок, чего бы это ни стоило. Это будет шагом на пути того технического прогресса, которым богатеет Запад. Тут — да, давайте догонять, а то и, чем черт не шутит, перегонять. Правда, тут же он представлял, куда именно, кроме несомненно полезного производства удобрений, пойдут с его комбината серная кислота и фосфорная и прочие пакости... И мрачнел.

Оперативки проходили в просторной конторе будущего цеха экстракции, начинались в одиннадцать. Паторжинский приходил раньше. Поджидая, пока соберутся все, стоял у окна, перед развернувшейся во всю ширь панорамой строительства.

Срок, как уже было сказано, утвержден с такими строгостями, с такими грозными предупреждениями о невозможности его срыва,

что Паторжинский и помыслить не смел о неуспехе. Но иногда, как сейчас, обозревая горы грунта, размытые осенними дождями траншеи, полувыросшие из котлованов стены, недозабитые до нужной отметки сваи, он цепенел от накатывавшегося ужаса, и сердце, порабатывавший на своем веку, порядком изношенный, не раз леченный насосик, давало чувствительные перебои.

Он посмотрел на часы: ровно одиннадцать. Обернулся. Все на своих местах. Руководители управлений, начальники участков, прорабы.

— Стальконструкция. Начнем с вас.

Он выслушал «Стальконструкцию»: перекрытия цеха водоподготовки, опоры под ЛЭП к новой подстанции, опоры под паропровод, удерживаемся в графике, но надо бы еще хоть с десятка опытных сварщиков... Далее пошел «Спецхиммонтаж»: идут в графике, но среди фильтров первичной очистки один с брачком, самим не устранить, надо вызывать заводскую бригаду... «Трубомонтажстрой», мостоотряд, «Котломонтаж», «Спецфундамент»... «Спецфундамент» отставал по всем статьям и тормозил других.

— Николай Сергеич, ну, как держать график при таких дорогах? Цементовозы от железки тащим тракторами, три кэмэ в час, какой может быть график. Хоть от трибуны и стеллы освободите, Николай Сергеич, ну что, они без нее не откроют, что ли?

Паторжинский покосился на сидевшего рядом парторга ЦК, ладного моложавого крепыша в потертой кожанке. Чем-то он напоминал ему Кирова, с которым довелось общаться в Ленинграде в начале тридцатых. Безусловно, нужный человек, грозными звонками и телеграммами ускоряющий поставки материалов и оборудования. Если бы не пропагандистская мура, на которой он изо дня в день настаивает как партийный руководитель стройки. Все эти плакаты, транспаранты, газетные стенды, капитальная доска почета на могучих бетонных подставках. Убивается время, отвлекается и без того дефицитная рабсила. Лучше всяких призывов действует добрая кормежка в столовых и весомые премиальные за досрочные работы, за «черные» субботы (светлых, впрочем, давно нет). Да еще эта дурацкая стелла. Открытие новой очереди запланировано как торжественный митинг строителей на площади перед центральным входом, прилетят секретарь ЦК, три министра, столичные газетчики, телевидение. Надо замостить площадь, построить капитальную трибуну, а возле трибуны поставить пятнадцатиметровую стеллу со всякими там символическими фигурами созидателей, сеятелей, воинов. А это еще один котлован, еще одна заливка, еще одна стальконструкция, да из нержавейки. И когда крепить эти фигуры, если их все еще отливают где-то под

Москвой. Хорошо еще, не старые времена, подумал он с усмешкой, а то пришлось бы ставить стометрового дорогого Никиту Сергеевича. Всего-то стелла — и на том спасибо.

— ...И еще, Николай Сергеич. Неудобно о пустяке, но все же. На химзащите нам на три дня работы, но чертежа нет и нет. Элементарная разметка фундаментов, мы бы и сами, но тогда разрешите, или как?

— То есть как нет чертежа?!

— «Химпроект» не шлет. И работы-то, говорю, на три дня. Но как бы нам не сорвать химзащиту...

Паторжинский тяжеловато поднялся, пузо легло на край стола, щеки побагровели. Грохнул по столу кулак, подпрыгнул стаканчик с карандашами, и над оперативкой прогромыхали крепкие непечатные слова, без которых в стране, как известно, не обходится ни одно дело, тем более такое как громадная пусковая стройка.

— «Химпроект»! Федоров! В чем дело... (Трах-та-ра-рах! Та-тах! Та-та-тах!)

Старею, думал он, глядя, как участники оперативки тянутся к выходу, переговариваясь и на ходу закуривая. Неадекватное поведение. Срываюсь из-за ерунды. Ну, с чего, с чего я так взъерился из-за этой мастерской химзащиты? На стройке не залито полсотни фундаментов, не уложены километры труб, котельная торчит, как сломанная расческа... что на этом фоне какая-то мастерская? Тьфу! Плюнуть и растереть. Сотая доля процента. А ты разнос устроил. Толкового парня изматерил. Где чертеж?! Подать к завтрашнему утру! Ох-ох-ох...

Да то и взъерился, что сотая процента... Ну, было бы что-то сложное, требующее конструкторского дарования, квалификации приличной, долгих расчетов. А то — чертеж, который под силу третьекурснику стройфака. Да миллион человек есть в стране, могущих с закрытыми глазами начертить это за пару часов...

Ладно, надо сказать, пусть разметят сами.

Старею все же. Старею...

Миллион не миллион, но тысяч сто по стране действительно бы нашлось. Не за пару часов, но уж за один рабочий день сделали бы этот нехитрый чертеж.

Но поручили его только одному из ста тысяч — недавнему выпускнику строительного вуза, начинающему инженеру Антону Щукину. И поручили в дни, когда мысли Щукина были куда как далеки от искусства проектирования чего бы то ни было. Более того: они были сосредоточены на том, как бы ему порвать с этим искусством раз и навсегда.

Кульман Щукину достался чрезвычайно удачный — у окна, на све-

ту. В наступившую осеннюю хмурую лампы в зале, где трудились с полсотни проектировщиков, горели почти до полудня. Щукину светло было вдвойне — трудиться бы и трудиться с той самозабвенностью, которая требовалась от всего института — основного проектировщика второй очереди Северянского комбината. Щукин грустил и глядел в окно. По ту сторону, за двойными рамами, на бетонном выступе сидел голубь. Нахохлился, замер в неподвижности, пытаясь удержать в воздушном тельце крохотное тепло. Если б не рамы, можно было протянуть руку и погладить мерзнущую птицу. Или сунуть его за пазуху и отогреть. Голубиный глаз обреченно уставил на Щукина смутный зрачок в оранжевом ободке. Голубю предстояла холодная и голодная зимовка. Щукину тоже предстояло решить, как жить дальше. Сопоставив свою проблему с голубиной, Щукин подумал, что голубиная проще, потому что однозначней: либо он выживет, либо не выживет. У Щукина вопрос о смерти не стоял. Стоял вопрос о жизни.

Ватман, на котором никак не хотел проступить чертеж разметки фундаментов мастерской химзащиты, был приколот к доске крупными латунными кнопками, делавшими его похожим на обитую дверь. Как распахнуть ее и выйти? И куда?

Подходил начальник конструкторского бюро, поторапливал. Щукин что-то бормотал в оправдание. Простейший чертеж не шел, не двигался. В нем сконцентрировалось все, с чем Щукину, хотелось решительно порвать, как с тягостным заблуждением многих лет, наконец-то ясно осознанным именно как заблуждение.

— Товарищ Щукин, не исключено, именно из-за вашего чертежа сейчас простаивают рабочие — вы способны это понять? Там, на пусковой стройке, счет идет на дни, а скоро пойдет на часы — вы это понимаете?

Щукин бормотал в ответ, что да, понимает, но он простужен, болит голова, он не может сосредоточиться, но завтра он обязательно...

Начальник раздраженно отмахивался и уходил дальше по рядам: были дела поважнее.

Вскоре после обеденного перерыва снова зажгли лампы. Их тонкое комариное жужжание доставало, как зубная боль. Стрелки настенных часов, казалось, остановились. Люди годами сидят в заключении, а для меня попытка дотянуть до звонка, подумал Антон.

Едва он прозвенел, этот благословенный звонок, известивший об окончании рабочего дня, Щукин пулей вылетел на лестницу и помчался вниз.

— Ты куда так резво? — окликнул его знакомый из соседнего бюро. — Не хочешь присоединиться пивка попить? Собираются хорошие ребята.

— Нет, я...

На стене висела афиша. Скользя по ней взглядом, Антон выпалил:

— Я на футбол. Последний матч сезона...

Неподалеку от института, в сквере, он сел на скамью и закурил. Надо было что-то решать. Он не мог оставаться в институте более ни дня. Это была настоящая болезнь, не выдуманная простуда, а самая настоящая болезнь. Но что значит — уйти? Во-первых, нужно отработать три года по распределению — крепостное право, а его трудовой стаж — два месяца. Во-вторых, а вернее, это и есть во-первых: куда уйти? Уходить надо было еще из вуза, когда ясно понял, что не хочет он ничего строить, созидать, не хочет ни проектировать, ни мотаться по стройкам. Чего же он хочет? К чему приспособлен, к какому роду занятий людских?

Сквер был тих, безлюден. Редкие прохожие торопливо шмыгали по аллеям, на трамвайную остановку и от нее, никто, как Антон, не выказывал желания присесть на холодную сырую скамью для напряженных размышлений о своей жизненной судьбе. Все они что-то решили для себя, живут по каким-то планам, преследуют какие-то желания и мечты. А может, сдались, и тянут лямку доставшегося проживания там, куда их занесло.

Окружающие здания были густо заштрихованы голыми ветвями тесно посаженных тополей. «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Он приехал сюда по распределению три месяца назад. Два с половиной. Город не понравился ему с первого взгляда, не нравился и теперь. Большой, даже громадный, куда больше его родного города. Многоэтажные громады соседствовали с облупившимися особняками прошлого века, на широких площадях, продуваемых ветрами, торчали стандартные памятники вождям, проспекты были прямыми, весь город был накрыт прямоугольной сеткой. Среди фасадов попадались и светлые, и желтоватые, и розоватые, но в целом в городе торжествовал серый цвет. Бесконечные серые кварталы, а по окраинам, куда ни глянь, вечно чадающие трубы заводов.

Его родной город, старинный, бывший губернский центр, был уютен, полон извилистых переулков, летом утопавших в зелени, зимою — в чистых, сверкающих белизною сугробах. А главное — стоял на большой реке, на высоком обрыве, с безоглядной далью по ту сторону. Река, чистая нарядная набережная, ледоходы и половодья, пестрота речного порта, протяжные гудки теплоходов, пляжи, мосты...

Этот город разросся на берегах невзрачной речонки, стиснул ее, лишь в одном месте, перегороженном плотиной, позволив ей раздаться до скромных размеров пруда. В центре города речонка была тор-

жественно вставлена в высокие гранитные берега, которые были ей велики, и от основания гранитного великолепия до уреза воды тянулась илистая полоса, замусоренная всякой дрянью.

Город оставлял у Антона ощущение чего-то несуразного, неуклюжего, грубоватого. То же — и здешние люди. Они разговаривали, проглатывая гласные в конце слов, говор их был тверд, и все, что они говорили, казалось грубым и недружелюбным.

Вода здесь была невкусная, и мороженое имело странный привкус, а он, как ни смешно, любил мороженое, как ребенок, и привык к определенному его вкусу, к сладости, радовавшей с детства. Он и потешался над своим раздражением от таких мелочей и не мог отрешиться от них.

За эти два с небольшим месяца он не подружился ни с кем из жильцов институтского общежития, где ему дали отдельную комнату — единственное, что порадовало его сразу и продолжало радовать до сих пор. Не познакомился ни с одной девушкой. Не обрел никакой компании. Иногда ему казалось, что он приехал в другую страну. Мать забрасывала письмами, каждую неделю вызывала на переговорный. Он отвечал редкими открытками, по телефону, взнуздав себя, отвечал жизнерадостным голосом: «Все в порядке, мам. Работа нормальная, комната нормальная, питаюсь нормально...»

Мать вырастила его без отца. Отец погиб на фронте в сорок первом. Он был инженером и, как теперь понимал Антон, вполне рядовым. Но для матери отец оставался в памяти важным человеком, проектировщиком каких-то секретныхстроек, «и будешь инженером, как отец» — эта фраза звучала все его детство и препроводила его после школы в строительный институт. Был бы в городе металлургический или машиностроительный — он выучился бы на металлурга или механика. Но институт в городе был один...

Через сквер к остановке пробежали три мальчика и девочка, все со скрипичными футлярами в руках. Видимо, неподалеку была музыкальная школа. Как хорошо быть юным дарованием или хотя бы родиться с явными способностями: музицировать, петь, рисовать, играть в шахматы, бегать, прыгать, пинать мяч... Ни к чему мучительные раздумья о предстоящей жизни, твой путь за тебя определила природа, даровав тебе тонкий слух или зоркий глаз, удачно расположенные в горле связки или особо эластичную, упругую мускулатуру. Но как быть тем, в ком природа ничего не акцентировала, не предопределила? Или она что-то дарует всем, но неявно — и ее замысел нужно угадать? Сколько же лет разгадывать эту загадку? А те, кто работает рядом с ним в конструкторском бюро? Как они попали сюда? Мечтали с детства и счастливы? Занесло? Смирились?

Его поражало, как много супружеских пар работает в их зале. Он был уверен: эти мужчины и женщины соединились не по любви, а по привычке быть рядом, за соседними кульманами. О чем же они говорят дома после того, как восемь часов провели бок о бок в одном помещении, поскрипывая грифелями по ватману? О ней же — о работе?

Как ему порою хотелось вызвать на откровенный разговор своих коллег. Есть среди них и увлеченные работой, но есть и такие, кто не скрывая, тяготится и трудом и профессией. Как он. Но в отличие от него, они, покряхтывая, чертят и чертят, переползают с категории на категорию, радуются, когда к зарплате прирастает червонец. И он будет таким?

Ничтожный случай поверг его в отчаяние и произвел впечатление, несоразмерное со своим масштабом: на собрании в бюро «обсуждали» инженера Кутько. В институт пришла бумага с сообщением о безобразном поведении означенного работника, предлагалось это поведение осудить общим собранием или товарищеским судом. Инженер Кутько, посетив ресторан «Ривьера», вел себя там, как сообщалось, развязно, сначала нахамил официантке, а затем, будучи в подпитии, оскорбил музыкантов оркестра и, наконец, завязал драку с другим посетителем — впрочем, без серьезных травматических последствий как для него, так и для себя.

В красном уголке дебошира посадили лицом к коллегам. Звучали гневные речи, требовали уволить опозорившего своим поведением весь коллектив. Однако выступивший в заключение секретарь партбюро успокоил страсти, предложил простить инженера Кутько по молодости лет и ограничиться строгим выговором с предупреждением. На чем и порешили.

Из всего, что прозвучало на собрании, упоминание о молодости хулигана поразило Антона больше всего.

Инженеру Кутько, как явствовало из зачитанных в начале анкетных данных, было тридцать лет ровно. Антон смотрел на его лицо, где уже наметились складки у рта и поперечные морщины на лбу, и никак не мог признать обладателя лица молодым. Да еще синеватые прожилки на носу, набухшие подглазные мешочки и какая-то рыхлость в полнеющем теле... Он представил: его разница в возрасте с этим Кутько — восемь лет. И они пройдут здесь, в конструкторском бюро, целых восемь — вечность! Он, чтоб не сойти с ума от постылой работы, от одних и тех же лиц рядом, тоже начнет пить вино и тоже однажды попадет в передрагу. И также будет посажен на собрании вот здесь, в красном уголке, расписанном лозунгами, со стенами в осточертевших плакатах, с расшатанными стульями и унылым сто-

лом президиума под красной скатертью. Он будет посажен отдельно, лицом к разгневанным товарищам по труду. Тридцатилетний, морщинистый, рыхлый, с жеваными щеками и набрякшими подглазьями. И все еще будет считаться молодым, которому по юной несмышлености можно сделать поблажку. Молодым — то есть человеком, у которого все еще впереди?! Боже, боже... Да если к этому почтенному возрасту не стать заметной личностью, авторитетом, в своей хотя бы профессиональной среде — каким ничтожеством надо быть? Таким, как Кутько? Или таким, как ты?..

Он не сразу заметил, что в сквере стало много оживленнее: почти сплошными вереницами по аллеям к остановке тянулись прохожие, все больше мужчины, весело переговаривались на ходу, из обрывков долетавших до него фраз он тут же понял, куда они все спешат. Его безотчетно потянуло вслед за ними. Он вскочил, побежал, втиснулся вместе с прочими в трамвайный вагон... Через сорок минут он сидел на переполненной стадионной трибуне и смотрел футбол.

Антон выросстал крепким мальчишкой, зачеты по физкультуре в школе и вузе выполнял более или менее успешно, но никогда не увлекался спортом и не был спортивным болельщиком. Не был до такой степени, что, даже мельком глянув на афишу в институтском вестибюле, не запечатлел в памяти, кто с кем играет. И только на стадионе, после дикторского объявления, уразумел, что это последняя игра сезона и что в ней местная команда встречается с противником в решающем матче за возможность перейти в более высокую лигу. И что противник — не кто иной как команда из его родного города. Услышав эту сухую информацию, Антон с немалым удивлением обнаружил, что в нем нет четкого ответа на, казалось, простейший вопрос: болеть ли ему за команду родного города или за игроков, представляющих этот громадный, серый, недружелюбный, едва ли не враждебный, в котором он прожил неполных три месяца? Противоречие разрешилось вот каким образом: два десятка крепких, агрессивно настроенных парней азартно носились по разбитому полю, свирепо толкались, падали в грязь, так что вскоре не то что нельзя было различить номера на футболках, но и трудно было понять, кто какой команде принадлежит. Что-то первозданное, природное, естественное виделось Щукину в самоотверженной борьбе этих ребят. Вот у кого нет проблем с призванием, природа дала им крепкие ноги, невосприимчивость к боли и жесткий неуступчивый характер — и они стали футболистами. Понятно, что это занятие лет самое большое до тридцати и бог знает, что с ними будет дальше. Но сегодня они уоеенно сражаются, без угрызений совести

лупят друг друга по ногам — и никто из них, конечно, не приходит в свободную минуту на набережную постоять над струями ничтожной реки и подумать о своей дальнейшей судьбе. Вот ребята без комплексов, может быть, животные, но чем они хуже тебя? Замечательные ребята, а что касается, что одни из них бегают по топкому болоту осеннего поля за команду этого города, а другие — за команду его малой родины, то для них это просто работа и через сезон одни могут оказаться в команде противников, а другие — где-нибудь еще. Пусть победит сильнейший, сказал себе Щукин, я не позволю себе идиотской привязанности ни к тем, ни к тем. Другое дело, что вокруг него сплошь сидели поклонники местной команды, они поминутно вскакивали, кричали, посылали вперед криками: «Дуня, забей!» какого-то любимца, орали: «Судью на мыло!», сколупывали жестяные крышечки с бутылок дешевого портвейна и разливали его в граненые стаканы, и Щукину захотелось слиться с этими людьми, сделаться элементарной частицей толпы, болельщицкого бушеванья, и когда кто-то протянул ему стакан, до половины заполненный смугловатым пойлом, он, не задумываясь, махнул в рот эту несусветную дрянь и заорал вместе с соседями: «Дуня, забей! Ломай баранов!» Противников почему-то называли баранами. Легкий хмель вскружил голову, и захмелевшая голова вдруг вспомнила суд над инженером Кутько. С чего он, Антон, решил, что это так ужасно: быть тридцатилетним, оставаться при этом рядовым проектировщиком заурядной категории и переживать всеобщее осуждение? Да в гробу мы видали вас, моралисты. Мы, бездарные от природы люди, тоже имеем право на существование — да, на не бог весть какое, включающее в себя нервные срывы ведущие к дракам в ресторане, но мы же наказаны от рождения отсутствием решающих способностей, мы серые, как этот город, он, может быть, оттого и сер, что нас тут большинство, и это мы окрасили его в соответствующий своим дарованиям и интеллектам цвет, но мы живые люди, а я, в частности, еще по всем понятиям, молод, я жить хочу, вы слышите, дарования и таланты, я тоже имею право жить?!

— Внимание! — прогремело из динамиков над трибунами. — Инженер «Химпроекта» Щукин! Вас просят срочно пройти к Западно-му выходу!

Бедняга, подумал Антон, надо же, как не повезло: отрывают от такой забойной игры.

Диктору понадобилось дважды повторить это сообщение, чтобы Антон Щукин, наконец, осознал, что вызывают его.

Гром среди ясного неба менее поразил бы его, чем с тех же небес прозвучавшая его фамилия. У Западного выхода, возле светло-серой

«Волги», по-наполеоновски скрестив руки на пальто, стоял начальник конструкторского бюро.

Не дожидаясь от Щукина никаких расспросов, он произнес как репетированное:

— Срочно в институт, сделать чертеж по мастерской химзащиты, ночным поездом выехать на стройку и утром быть там!

— Я не на фронте, Лев Матвеевич! — вырвалось у Щукина.

— Ты... Именно что на фронте, Щукин! От самого Паторжинского звонили, ясно? Мало того, еще парторг ЦК! Я из-за тебя с работы вылетать не собираюсь! Да я бы сам эту элементарщину за три часа начертил, но я тебя хочу как щенка в дерьмо ткнуть, Щукин! Как щенка в дерьмо!

Он заграбастал его — здоровенный дядька — и впихнул не в желанное дерьмо, а на заднее сиденье машины, и пока ехали, успокоился, но после нескольких минут молчания продолжил, уже без истерической ноты, но жестко:

— Я тебе зла не желаю, Щукин. Вижу — не проектировщик. Хочешь уйти, черт с тобой, уходи. Сам пойду к директору, упрошу, чтоб не заставлял тебя отрабатывать распределение! Увольняйся и вали, куда хочешь. Нам такие не нужны. Но этот чертежник, изволь, завтра утром должен быть у исполнителей. Плохо начинаешь жизнь, Щукин. Плохо и глупо.

Все сказанное было сказано справедливо и было истинной правдой — и тем более оскорбительной и унижающей.

— А если не сделаю?

— Не сделаешь — не беспокойся, найдем статью.

— Не пугайте, какую еще статью?

— Не пугаю, юноша. Есть такие статейки. Для начала хотя бы преступная халатность. А есть и повеселее. Например, причинение вреда умышленным неисполнением служебных обязанностей. Прежде чем хорохориться, разыщи «ука» и посмотри.

— Какой еще «ука»?

— Уголовный кодекс. Знать надо, дитяtko.

Машина крутилась по знакомым улицам, приближаясь к институту, к бюро, к его кульману, на котором латунными кнопками был прибит ватман, напоминавший обитую дверь. Его везли открыть ее... И захлопнуть за собой. И остаться. И беззаветно трудиться, ощущая ответственность за судьбы Родины. Антон чувствовал, как тысячетонной громадиной наваливается на него стройка в шести часах езды на поезде. Всенародной важности стройка, на которой распоряжается известный всей стране, всемогущий строительный босс Паторжинский, лично приказавший разыскать ничтожного Щукина, срывающего

го пусковой график идущей под контролем Центрального Комитета партии стройки...

Невыспавшийся в душном плацкартном вагоне, он в восьмом часу утра сошел на станции и побрел в толпе прибывших сквозь темень и непролазную грязь к автобусной остановке, но его тут же остановили:

— Вы Щукин из «Химпроекта»? Идемте в машину.

Он вдруг почувствовал себя важным лицом, героем, спасителем стройки. Подумать только, второй раз за неполные сутки за ним присылают машину. Он зауважал не только себя, но и свой простенький чертеж, покоившийся у него на коленях в футляре.

Но важность мигом слетела с него, когда на стройке машина, наплясавшись в глубоких колдобинах, остановилась перед внушительным зданием главной конторы, и приезжего провели не в какую-нибудь прокуренную прорабскую, как он ожидал, а в просторный, отделанный полированным деревом кабинет, где за широченным столом, уставленным разноцветными телефонными аппаратами, сидел грузный хмурый мужчина с тяжелым взглядом. Щукин, похолодев, понял, что это сам Паторжинский.

Паторжинский разглядывал высокого сутуловатого паренька, замершего посередине кабинета, неловко прижавшего к животу футляр и таращившегося с нескрываемым испугом. Он вспомнил, как когда-то, в двадцать девятом, в таком же примерно возрасте впервые предстал перед великим Бардиным на Кузнецкстрое. Похож парнишка на тогдашнего меня? Нет. У меня тогда глаза горели. Говорить с гигантом Бардиным было, конечно, страшно, но ведь я говорил что-то. Порол какую-то юношескую чушь. Как будто бы можно вдвое ускорить темпы на монтаже. Бред, сказал тогда Бардин, терпеливо выслушав, но что-то в этом есть. Подумай еще и хорошенько... А у этого глаза не горят. И он молчит. Паторжинский усмехнулся...

(Щукин подумал, что так мог бы усмехнуться бегемот).

— А я думал — девчонка... Давно работаешь?

— Два месяца.

— Что заканчивал?

Щукин назвал.

— Неправильно у нас распределяют после диплома, — сказал Паторжинский. — Да ты садись...

Щукин осторожно присел на краешек стула.

— Строитель должен начинать на стройке. Хотя бы пару лет. После того, если почувствовал вкус к проектированию — иди, садись за кульман. А не хочешь у меня на стройке остаться? С институтом договоришься. Для молодого специалиста здесь отличные перспективы.

Пустим вторую очередь и вскоре начнем третью. И жилье здесь получишь куда раньше, чем в областном центре.

— Спасибо... У меня другие планы... — выдавил Щукин.

— Ну, как знаешь. — Бегемот снова усмехнулся и зевнул. — Иди, неси чертеж.

Провожатый привычно петлял то в свете прожекторов, то в полной тьме, и Щукин едва поспевал за ним в бесконечных переходах через кучи грунта, вдоль дорожных колеи, заполненных жидкою глиной, через шаткие дощатые мостики над траншеями.

В мастерской химзащиты трещала и лучилась сварка, разбрасывая голубоватые блики на стены.

Мужчина в прогоревшем ватнике и болотных бахилах, неотличимый одеждою от работяг, но с интеллигентным лицом, взял из рук Щукина футляр, вытащил рулончик, развернул, поднес поближе к переносной лампочке, слепо горевшей под потолком, глянул внимательно, но коротко, и отложил чертеж в сторону. Упругий рулончик свернулся, прокатился по замызанному столу и был остановлен забитой окурками алюминиевой пепельницей.

— Нормально, — сказал мужчина Щукину. — В основном совпадает.

И тут же повернулся и пошел в дальний конец помещения, где принялся что-то втолковывать сварщику.

— Ну, я пошел, — тронул Антона за плечо провожатый. — Светает, так что обратно дорогу, надеюсь, найдете.

Щукин стоял, бестолково озираясь: он никак не ожидал такого приема. Он понимал, что могут и отругать за опоздание, но при этом жадно схватят чертеж и лихорадочно начнут изучать его, радуясь, что можно приниматься за работу. Ему это виделось похожим на кадры какого-то фильма об ударной стройке: мужчина с таким же интеллигентным лицом, как у этого распорядителя, только одетый чисто и аккуратно, вбегает в помещение, потрясая рулоном ватмана, и кричит: «Ура! Есть чертеж! За работу, товарищи!»

По-прежнему никто не обращал на него внимания — ни малейшего. Сварщики варили арматуру под будущую заливку, двое работяг нещадно лупили кувалдами по зубилам, вырубая дыры в бетонном полу. Прораб, или кто он тут был, закончив распоряжения, вернулся, присел к замызанному столу и принялся что-то писать в столь же замызанном блокноте. Закончил, закурил папиросу, сладко потянулся. На лице его были написаны усталость и удовлетворение. Щукин шагнул поближе.

— Вы меня извините... — начал он, как ему показалось, сухим тоном оскорбленного человека, но вышло просительно. — Вы... Я

что-то не понимаю... Меня, представьте, нашли после рабочего дня. Выдернули со стадиона, с отличного футбольного матча. Кстати, даже не знаю, как закончилась игра...

— Два-два, — незамедлительно откликнулся прораб, мотнув головой в сторону переносного приемничка, свисавшего с гвоздя на стене.

— Да ладно, не в футболе дело! — взорвался Щукин. — Но я вижу, вы тут и без меня уже шуруете вовсю, зачем нужно было поднимать панику, хватать человека как уголовника какого-нибудь, усаживать до ночи за кульман, гнать его сюда, как на пожар?!

Прораб подчеркнуто тщательно задавил окурок в пепельнице. Помолчал.

— Да вы присядьте. Присядьте, — настоял он и помолчал в ожидании, пока Щукин сядет на шаткую табуретку. — Зачем вас гоняли, могу объяснить. Ситуация попала Паторжинскому под горячую руку. Старееет мастодонт. Имеют время от времени место вспышки гнева, как, знаете, выбросы лавы у гаснущего вулкана. А когда остыл, сам же велел начинать, не дожидаясь ваших расчетов. Ну, вот, мы и прибросили ориентировочно, что уже можно делать. Я же, вы видели, сверил с вашим чертежиком — ну, все там у вас нормально. Все совпадет, не беспокойтесь.

Уменьшительное «чертежик» покорило Щукина и он произнес, нажав на последнее слово:

— А если бы я вообще не привез вам чертеж?

— А тогда до конца сами сделали бы. Мы же, товарищ, тоже институты кончали, — с нескрываемым ехидством произнес прораб.

— Я вам еще нужен? — Щукин поднялся с табуретки.

— Нет-нет, располагайте собой, как пожелаете. Поскольку до обратного поезда еще часов пять, можете, если интересно, посмотреть стройку. Обувь у вас, правда... — Он бросил сочувственный взгляд на густо обляпанные глиной туфли Антона. — Не для ударных строек коммунизма... Да! Вы же наверняка еще не завтракали? У нас тут шикарнейшая столовая. Вот там настоящий коммунизм: очень дешево, очень вкусно и громадные порции. Сходите-ка в столовую, на-строение сразу поднимется. Гриша! — окликнул он одного из рабочих, колотивших кувалдами по полу. — Не сочти за труд, покажи товарищу, как пройти в столовую.

— Спасибо, не стоит отрывать товарища рабочего от ударной работы на пусковой стройке, — сказал Щукин. — Найду сам. До свиданья.

Он чувствовал, что не может более ни минуты находиться среди этих людей, уверенно занимавшихся своими несложными делами.

Эти люди, видно было, не мучались размышлениями над судьбой, призванием, будущим. Они вполне определились в жизни. Ему тяжело было находиться среди них.

— Как знаете, всего доброго, — вежливо откликнулся прораб. — А за чертеж спасибо. Счастливо вам!

1962.

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Среди прочих вещей покойной бабушки у Светильникова остались обтянутый кожей чемоданчик, битком набитый фотографиями. Иногда он доставал их и раскладывал на столе. Не чета теперешним, это были прямоугольники твердого картона с фирменным тиснением золотой краской в углу. Многие были подкрашены сепией, и теплый коричневый тон как бы прибавлял им старинности и благородства. Всякий раз Светильников удивлялся, что эти люди действительно существовали: до того они не походили на нынешних.

Вот его дед, которого он не застал в живых: властное холеное лицо, сердитый взгляд через пенсне, ухоженные усы с чуть завитыми концами, безупречно отглаженный сюртук, стоячий воротник, перехваченный узким галстуком. Бабушкин брат с будущей женой, снимок перед свадьбой. Жених сидит в кресле с резной спинкой, невеста стоит рядом, держа в полуопущенной руке раскрытый веер. Складки на ее пышном платье тщательно расправлены. На женихе сверкающие глянцем ботинки с загнутыми, как у клоуна, носками. Молодой офицер во френче с погонами, на которых можно прочесть номер полка, в фуражке с высокой тульей и кокардой. Он сидит вполоборта на венском стуле, закинув ногу на ногу. У него мягкое, мечтательное лицо. Загадочный бабушкин приятель, написавший на снимке: «В память о вечерах, которые мы проводили за чтением или дружеской беседой».

А вот и сама бабушка. Одна или с дедом. С братом и сестрами. С детьми. Один снимок неизменно приковывал внимание Светильникова: с него безмятежно глядела рослая женщина с высокой грудью и детским лицом. Бабушку выдали замуж пятнадцати лет, а к девятнадцати у нее было уже четверо детей. Светильникову было двадцать два, он пытался вообразить, что у него уже есть жена и что у них четверо детей, — и тихо, беззвучно смеялся: непредставимо.

Сколько он себя помнил, его воспитывала бабушка. Мать умерла рано, отец завел другую семью и приходил как гость. Бабушке нужно было кому-то рассказывать свою жизнь, и внук с младенчества привык к роли слушателя. Иногда она так же раскладывала фотогра-

фии, и каждая вызывала в ее памяти какую-нибудь историю или подробность. «У меня была очень высокая грудь, — вспоминала она, глядя на тот портрет, который особенно удивлял Светильникова. — Вообще, я развилась очень рано, и мне давали на несколько лет больше. На шею я носила цепочку с часиками — вот они, видишь. Так тогда было модно — носить часы не на руке, а на шейной цепочке. И на моей груди они лежали, как на столике. Мне не надо было опускать голову, когда спрашивали, который час».

Вот такая же высокая грудь была у раздатчицы станционной столовой, крымской татарочки Динары.

Светильников полгода как защитил диплом и по распределению работал в проектно-институте. Очередной партийный пленум устами генерального секретаря Никиты Сергеевича Хрущева провозгласил очередные исторические решения и назвал очередной год очередной пятилетки «решающим». Для института это означало несколько новых штурмовых работ.

К середине зимы Светильникова послали на электростанцию, где близился пуск мощного блока и проектанты работали на прямом подхвате у монтажников. Толку от начинающего специалиста было маловато, но с простейшими чертежами он справлялся, а большего от него и не требовали.

За полгода, прошедшие до этой командировки, Светильников еще не очень внятно уразумел, что студенческая жизнь на самом деле закончилась и никогда уже не вернется, что он вступил в иной мир, взрослый и требовательный, в мир, где существуют зарплаты и премиальные, категории и нормы, график отпусков и распределение жилья, а также соцсоревнование, прием в партию, борьба за должности и связанные с нею интриги, где большинство людей не парни и девушки, а мужья и жены. И только здесь, на станции, в общении со старшими по возрасту коллегами, особенно по утрам, на первой сигарете, стало открываться, что истинно началась иная жизнь, и не ясно, лучше ли она прежней.

Кульманы стояли в гулком пустынном помещении с полом, устланным метлахской плиткой. Из окон, с шестого этажа, видна была панорама развернувшегося строительства. На изрядном пространстве, среди месива снега и рыжей глины, виднелись рубцы траншей, извивы паро- и воздухопроводов, стрелы экскаваторов и подъемных кранов. Сварщики волокли на санях трансформатор. Вдали, у ворот склада, рабочие разгружали кислотоупорный кирпич нежного лимонного оттенка. Вдоль одной из траншей ползал, выравнивая ее края, бульдозер. Представить себе, что блок пустят через два месяца, было невозможно, но коллеги объяснили Светильникову, что это неизбеж-

но произойдет. То же самое утверждали десятки плакатов, лозунгов и транспарантов со всех стен стройки, а надпись над портретами на Доске почета напоминала, что нет таких преград, которые не одолели бы большевики. Проходя мимо, Светильников иной раз представлял на месте этих портретов лица со старинных фотографий с теми же подписями: «машинист крана», «слесарь-монтажник», «газорубщик»... Было смешно.

Вечером, когда все уходили в гостиницу, в чертежном зале оставались Светильников и Натка. На скользких метлахских плитках она учила его танцевать чарльстон, модный танец, попутно объясняя, что он не новый, а забытый старый. Светильников был тугим учеником, и у него долго не получалось, но однажды получилось, и очень неплохо.

Отношения с Наткой начались месяца два назад и оставались непонятными и невыясненными. Ничего не произошло, не дошло даже до поцелуев, а Натка порой держалась как непременно будущая жена. Она была на год старше и на год раньше пришла в институт, была здесь уже своя.

Она была аккуратненькая, чистенькая, пахнущая свежестью хвойной пасты и детского мыла. Носила кружевные воротнички на темных блузках. Лицо ее трудно было назвать красивым, но его очень оживляли лукавые карие глазки. Натка существовала в непрерывном общении, разговорах, пересудах и казалась легкомысленной, но в ее немалой проницательности Светильников позже имел случай убедиться. Но первым делом бросались в глаза ее открытость и словоохотливость. К месту и не к месту она любила напоминать о своем дворянском происхождении, но если вы хотели сделать ей настоящий комплимент, следовало сказать, что в ней есть что-то французское. О каком бы пустяке она ни заговаривала, она непременно оживлялась, жестикулировала, прибегала к преувеличенной мимике, подражала голосам тех, о ком шла речь. Ее скромные женские прелести мало возбуждали Светильникова, но притягивала эта, слегка окарикатуренная, игривость натуры, гибкость ума и превосходное чувство юмора.

Однако два месяца — срок, и пора было что-то прояснять, уточнять, ибо на них уже смотрели как на будущую семейную пару, и когда они оставались одни в чертежном зале, уже не звучало никаких шуточек, намеков, подковырок — считалось, что у них близкие отношения, близкие к грядущему браку.

Натка была хорошая мастерица, прекрасно шила на себя и на подруг. Ловко выделывала из ватмана безделушки и полезные вещицы: коробочки, ванночки для туши, бокалы для карандашей, абажуры. Умная, веселая, хозяйственная — не идеальное ли сочетание для жены? При мысли о браке Светильников содрогался.

Обедали проектанты в станционной самообслужке, где у рабочих бытовала дежурная шутка. Читая меню, они говорили: «Ну, что у нас в спецификации? Опять арматура». Арматурой они называли макароны.

Однажды на раздаче появилась новенькая. Лет ей было от силы семнадцать. Смуглое лицо, плавные скулы и удивительная для такого возраста грудь. Тут же, пока она наливала Светильникову дымящийся суп в алюминиевую миску, он пригласил ее вечером в кино, и она, к его изумлению, моментально согласилась.

Они встретились за полчаса до сеанса. Крутой январский воздух сжигал легкие. Смуглота ее лица была подкрашена румянцем, словно гримом. Он узнал, что она крымская татарка. В детстве, в послевоенные годы, он слышал, будто крымские татары продались Гитлеру, за что после освобождения полуострова их выслали в отдаленные края. Ясно было, какая судьба привела сюда Динару. В клубе, когда она сняла пальто, Светильников впервые разглядел ее всю. Девушка казалась приземистой, как монгольская лошадка. Руки она держала, как бы пряча их под фартук. Одно плечо было чуть выше другого. Но над всем обликом царила и бесстыдно волновала чудовищно прекрасная грудь.

Едва начался фильм, Динара доверчиво и безотчетно прижалась к Светильникову, и он перестал понимать происходящее на экране.

После кино в фойе клуба начались танцы, а в буфете продавали пиво, и раньше Светильников прямым ходом отправился бы в буфет.

Танцуя с Динарой, он неотрывно глядел в вырез ее платья. Тайный стыд Светильникова состоял в том, что к двадцати двум годам у него было всего две близости с женщинами, и ни первый, ни второй раз он ничего не понял. Обе встречи были случайными, в компании с более опытными друзьями, и обе не имели продолжения. У него не возникло желания снова встретиться — наоборот, он даже боялся встретить этих, едва запомнившихся ему девушек где-нибудь на улице.

Играл духовой оркестр, было жарко, тесно. Кружа татарочку, он почувствовал чей-то пристальный взгляд. Ему подумалось, что это пришла Натка. Но Натка сюда принципиально не ходила, не желая посещать, как она считала, эти сборища грубой поселковой молодежи. На следующем круге Светильников поднял глаза и встретился взглядом с юным пареньком, хмуро подпиравшим колонну. Ему представилось, что это его соперник и что они после танцев будут из-за Динары стреляться на дуэли, на пустыре за клубом. Ему стало весело. Он спросил у татарочки, есть ли у нее парень.

— Таскается один, — небрежно откликнулась она, давая понять, что серьезных конкурентов ее кавалеру нет.

Светильникову стало жалко паренька у колонны. Он почувствовал себя обладателем и повелителем Динары — впрочем, великодушным повелителем.

— Этот, что ли? — спросил он, кивнув на паренька. Динара подтвердила его догадку презрительной улыбкой.

После третьего или четвертого танца Светильников решил пойти попить пива. А она, если хочет, пусть потанцует с другими, он не возражает. Она сказала:

— Я не хочу с другими.

Чем окончательно вселила в него упоительное чувство полной и безоговорочной победы. Он отправился в буфет спокойной походкой взрослого мужчины, у которого есть... скоро будет своя девушка, подчиненная его воле, влекущая и покорная. На выходе он обернулся: паренек подошел к Динаре, взял ее за руку, девушка сердито вырвалась...

Из-за кружки пива пришлось довольно долго постоять в очереди и потолкаться в толпе жаждущих. В поисках места, где можно было бы без толкотни, не торопясь, выцедить легкий прохладный хмель вперемежку с затяжками крепкой «Примой», он выбрался из гудящей буфетной комнаты в коридор и предался скромным удовольствиям, рассеянно провожая взглядом идущих мимо. Танцы заканчивались, группы и парочки потянулись к выходу. Неожиданно проплыло знакомое лицо. Он едва не расплескал кружку: к выходу удалялись парень и девушка. Девушкой была Динара, а парнем — его несчастный соперник.

С оборвавшимся сердцем он прислонился к стене. И речи не могло быть об унижительной погоне и требовании объяснений. С пустой кружкой он вернулся в буфет и повторил. Вдали оркестр ухнул в последний раз и замолк. По коридору стучали сапоги, мягко шаркали валенки. Буфет тоже заметно пустел. Светильников задумчиво уронил кружку на прилавок и поплелся в гардероб. Одевшись, он вышел в коридор и закурил. Последние парочки обгоняли его.

«Как странно... Как странно...» — повторял про себя Светильников. Странно не то, что произошло, а то, что он так потрясен этим. С чего, с чего потрясаться? Ну, пофлиртовал со смазливой столовской раздатчицей, а у нее оказался парень, только она постеснялась признаться. Или ей любопытно было познакомиться со взрослым, с инженером из города, приятно было убедиться, что способна привлечь его, соблазнить... Вот и все.

В коридоре, ближе к выходу, проходила граница между теплом и холодом. Пересекать ее не хотелось. Дверь открылась, и с мороза вошел мальчишка лет двенадцати, в ватнике не по росту. Он шмыгал носом. По лицу его блуждала заискивающая улыбка.

— Чего тебе? — облегчил его муки Светильников. Мальчишка утер соплю длинным рукавом ватника и спросил:

— А чо ты не идешь? Клуб-от закрывается.

Он разглядывал мальчика, и в голове вертелось, но никак не ловилось оставшееся в детстве словечко. Как называли таких пацанчиков?

— Иди домой. — Мальчишка радушно взмахнул обеими руками, рукава взметнулись и опали.

— Спасибо, пацан. Мне и тут хорошо.

Ему и вправду здесь было хорошо, а там — предстояло возвращаться в гостиницу, где своя устоявшаяся жизнь, коллеги, вечные разговоры о пуске и премиях, а главное — Натка, пронизательная Натка, которая все прочтет по глазам. А может, кто-то из сослуживцев был в клубе и видел его с Динарой и уже раззвонил по всей гостинице.

Но мальчишка по-своему понял нежелание Светильникова выйти из клуба и сказал:

— Иди, не бойся. Они уже ушли.

Он произнес это таким дурашливым, таким фальшиво-искренним тоном, что Светильников тут же понял, что какие-то «они» вовсе не ушли и что люди эти опасные, потому что безмозглые. Прислать такого идиота! Как же их называли, этих вертлявых слуг на побегушках? «Шестерка»...

И в то же время, словно и впрямь поверив «шестерке», он уже ускоряющимся шагом двигался к выходу, с чувством нарастающего и манящего риска пнул дверные створки и вышел на широкое, с пологими ступенями крыльцо. Снег был сметен во всю их ширину, но дальше, через клубный двор, тянулась тропа, стиснутая высокими, обрезанными лопатой сугробами. Поперек тропы стояло пятеро.

Не останавливаясь, он начал спускаться, а они молча ждали. Светильников различил среди них своего соперника, остальные были незнакомы. Худощавые, молоденькие, лет семнадцати-восемнадцати. Но их было много. Он сообразил, что добровольно теряет выгодную позицию — наверху, со спиной, защищенной стенами. Он остановился, потом попятился.

Это послужило для них сигналом. Двое взбежали по ступенькам и бросились на него. Он выкинул вперед руки, ухватил того и другого и почувствовал, что он сильнее и тяжелее, чем они. Разгоняясь

со ступенек, он опрокинул их и впечатал в сугроб, сам же ловко вскочил на ноги. Оставшаяся троица замерла, не понимая его паузы. По здравому рассуждению, он должен был, пользуясь тем, что врагов стало меньше, немедленно помчаться прочь в надежде растянуть погоню и тем самым еще более ослабить противников. Светильников же стоял дурак дураком, и у него даже выплывала пацифистская мысль помочь парнишкам подняться из снеговой каши. Но вот они выбрались сами, к ним присоединились товарищи, и все они ринулись на Светильникова, то ли по-прежнему молча, то ли — он плохо запомнил — подбадривая себя выкриками; оба впечатления соединились впоследствии в странный образ: они бросились на него с молчаливым гиканьем.

Первым на него набегал соперник, раскручивая солдатский ремень. Светильников перехватил ремень, отчаянно рванул, и оружие перешло к нему. В порядочном гневе теперь уже он замахнулся ремнем, и увесистая пряжка взметнулась, чтобы обрушиться на нападавшего, но тут он впервые ясно разглядел парня, увидел хоть и перекошенное злобой, но абсолютно еще детское личико, с оттопыренной верхней губой, над которой еще и не думали пробиваться усы... и не смог ударить. В тот же момент его самого ударили сзади, потом спереди и повалили в глубокий снег, где он сделался беспомощным; и чем меньше он оказывал сопротивления, тем яростнее действовали они. Вековечная, генетической глубины сила — ненависть к чужакам — кипела в них в эти минуты, в сплоченной стае волчат, подрастающих на своей священной территории. Валенками, ботинками, ремнем, кулаками, кулачками и кулачищами за честь своего друга и за крымскую татарочку, за нездешность в повадках, за кротость голубиную и наивность беспредельную, за жалостливость позорную, за высшее образование и чистенькую работу, в расчет и авансом, за просто так и из принципа, за все и за ничего — пинали, лупили и колошматили Светильникова хорошие ребята, верные друзья у подножия поскокового клуба.

И уж когда оставили его в покое и он, неведомо сколько пролежав неподвижно, приподнялся наконец, выпрямился и побрел, размазывая по лицу кашу из снега и крови, потащился, ничего не видя перед собой, с гуденьем в голове и дикой болью в ребрах; когда он побрел по пустынной улице, через нависший к ночи, грозно сверкающий над редкими фонарями туман; побрел, ни о чем не думая, кроме того, что, ах, надо было звездануть пряжкой по детскому личику, врубить ее в чистую, не знающую прикосновения бритвы щеку... за спиной раздалось:

— Борька, дай ему на прощанье!

Неизвестно откуда выскочил его соперник, снова просиял детским лицом и ударил в ухо. Удар был несильным, но Светильников и от такого упал.

Он поднялся и продолжил свой скорбный путь.

Натка сидела в вестибюле и курила. Он впервые увидел ее курящей. Она не заохала и не запричитала.

— Так и знала, — сказала она. — Просто была уверена.

Она поднялась вместе с ним, по-хозяйски вошла в его комнату, помогла раздеться, велела лечь навзничь. Принесла воды, умыла его разбитое лицо.

— Молодец! — приговаривала она. — Молодец. Из-за женщины! Уважаю.

Он попросил зеркало. Три синяка расплывались на перекошенной физиономии, один из них полностью закрывал глаз.

— Сам понимаешь, в таком виде на работу нельзя. Будешь отлеживаться. Завтра возьму в аптеке бодягу — сводит синяки за три дня.

— Откуда ты можешь знать? — усмехнулся он.

— Помолчи. Лежи и молчи.

Она положила ему ладонь на лоб, горячую, сухую. Ему нужно было не тепла, а холода, ему хотелось погрузить все лицо в снег — так оно саднило и горело, но он постеснялся сказать ей об этом и покорно прикрыл глаза.

Потолок покачивался и уплывал куда-то сквозь смеженные веки. За окном завывала и швырялась снежной крупой поднявшаяся к ночи пурга. Гостиничный номер и сама гостиница плыли в снежных вихрях через глухой поселок, через суровый январь, через решающий год пятилетки, через долгую неуютную жизнь.

В узкой ладони, в крепких тонких пальцах, плотно легших на воспаленный лоб, были надежность, верность, обещание спокойной, неяркой, вечной любви.

1988.

«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»

1

Жители города, милые земляки! Кто ни разу прежде не бывал в Тихановском переулке (а таких среди вас большинство, ибо, хоть и расположен он в самом центре, но не имеет на своем коротком, в два квартала, протяжении ни магазинов, ни учреждений, а кроме того, никуда не ведет, и с тех пор, как его выход к набережной загороди-

ли панельной пятиэтажкой, в сущности превратился из переулка в тупик); словом, кто ни разу не забредал сюда по случайности или заблуждению — не приходите и теперь. Вас же, немногочисленные земляки мои, бывавшие здесь в силу привычки к прогулкам по укромному пространству прибрежного захолустья, тем более заклинаю: не приходите. Там, где вы неторопливо вышагивали узеньким тротуарчиком, под высоченными тополями и липами, мимо узорчатых кованых оград, мимо палисадников с пышными кустами сирени и черемухи; там, где вы любовались неровным строем особняков и особнячков — каждый на свое лицо, и из красного кирпича, и из белого, и с бревенчатым верхом, с резными карнизами, с чешуйчатыми башенками и флюгерами на них; где в тесных двориках пламенили настурции на клумбах и цвели картофельные гряды, где с милой простотой представляла вашему обозрению жизнь обитателей: женщины вывешивали белье для просушки, мужчины пилили и кололи дрова и складывали их в ажурные поленицы, дети играли в мяч или носились по всем закоулкам или бегали по крышам, гремя железом и корча прохожим рожицы... там вас сегодня встретят тишина и запустенье, и глухая тоска сожмет сердце всякого, вошедшего в нынешний Тихановский переулок.

Здесь, видимо, предполагалось по какому-то чрезвычайно важному, генеральному — а иных и не бывает! — плану осуществить новое строительство, воздвигнуть что-то громадное, почти столичное, но дела, как у нас заведено, остановились на промежуточной стадии, самой премемерзкой: одно снесено, но не до конца, другое заброшено и ветшает, открытое всем погодам; здесь начат, но недорыт котлован, а вот тут даже уложен угол фундамента и наращены три-четыре ряда грубо склеенных раствором багровых лопнувших кирпичей. Одни деревья выкорчеваны, другие уцелели и осыпают душистый цвет на мирные руины; руины, остовы, сгоревшие дровяные сараи, и пустыри, пустыри, густо проросшие крапивой, по пояс, и чудовищными лопухами и даже юными березками, и на самом обширном — конечно же, свалка: нагромождение шин, мотков проволоки, бетонных панелей с отбитыми углами, кучи мусора, битое стекло...

Да была ли здесь когда-нибудь человеческая жизнь, были ли тепло и свет, смех и говор, труды и застолья? Не приснились ли эти нарядные, хоть и, при более пристальном разглядывании, пообтерханые временем особняки, возведенные до одна тысяча девятьсот семнадцатого года инженерами и торговцами, чиновниками и адвокатами, каждым по своему вкусу, у кого в стиле «модерн», у кого ампи́р, у кого в русском стиле, теремом, но у всех — добротнo, прочно, на века? Строили одни и для одной своей семьи, а жить выпало

другим, по десятку, а то и по два семей в каждом доме. Жили в тесноте, но не в обиде и — сами, может быть, того не осознавая — среди красоты. Но красота красотой, а топить печь, а выстраиваться по утрам к единственной уборной, а таскать воду с колонки, а то и с реки... Бывшие жители Тихановского переулка, расселенные ныне по дальним микрорайонам, по прежней жизни не скучают. Не удивлюсь, если и не заглядывают на место прежнего жительства — мертвое, загаженное. А если и заглянут, то, хоть и сами здесь жили-поживали, с этой же мыслью обозреют убитое пространство: не приснилось ли?

Не приснилось. И не далее, как в конце шестидесятых годов все эти особняки стояли на своих местах; в любом из них, в каждой его комнате, шла своя жизнь, чаще будничная, вполне обыкновенная, но иной раз случалось и что-нибудь не совсем обычное; к примеру, в одном из домов, на первом этаже, в просторной комнате с окнами во двор, теплым, а, пожалуй, и жарким августовским вечером сидел на табурете мужчина лет тридцати и разбивал патефонные пластинки.

2

Тяжелой литой стопой они возвышались на углу старинного дубового стола. Мужчина брал верхнюю, прочитывал этикетку. Иногда он после этого сразу размахивался и ударял пластинкой по краю стола, а иногда задумывался и, задумавшись, раскачивался на табурете, и порою не разбивал пластинку о стол, а ронял под ноги и раздавливал каблуком.

Он был пьян? Он не был пьян. Он выпил два стакана сухого вина из бутылки, стоявшей рядом с двумя своими полными подружками. На широченном, под стать размерам комнаты, столе громоздились связки книг, узлы с бельем, посудой, какие-то ящики и коробки. Все в комнате говорило о предстоящем переезде: сдвинутая из углов мебель, зияющий пустотой платяной шкаф, брошенный на пол и стянутый веревками матрас и рядом перевернутый абажур. На окнах уже не было ни штор, ни занавесей, и отяжелевшее к вечеру августовское солнце беспрепятственно заливало комнату теплой пыльной мглой янтарного, все более густеющего оттенка. Окна были так близки от земли, что можно было, почти не задирая ног, шагнуть во двор через широкий подоконник — что он многожды и проделывал в детстве, под ворчание бабушки, когда во дворе затевалась игра, и его окликал -он выскакивал в окно и мигом присоединялся к игравшим.

И сейчас ему вдруг захотелось прекратить тягостное занятие за которое он себя усадил, и выйти во двор через окно, как бы став на

минуту давнишним пацанчиком, и начать прощание со всеми уголками прихотливо вычерченного пространства, там и сям стесненного сараями, флигелями, заборами, поленницами, клумбами и огородными грядами. Земля и булыжник, булыжник и глина, глина и гранитные плиты, дорожкой ведущие в соседний двор; земля возле дровяных сараев, все лето пряно пахнущая опилом; место детских игр, убитое до каменной твердости; мощная мрачная зелень картофельных кустов; дрянной угол двора, превращенный в помойный слив — незасыхающая болотина, средоточие тяжелых навозных мух, синевато бликующих в неторопливом полете; щель между сараями, с высокой незатоптанной травой. Стояла редкая минута тишины и безлюдья, вот и воспользоваться ею; он уже привстал было с табурета... но тут же и передумал. Прощаться? С чем? С кем? Разве он уезжает отсюда? Ах, да, конечно. Вот же: собраны вещи, стянуты узлы. Утром придет машина. А главное, оформлены документы, и по этим документам он уже здесь не живет — «не проживает», «не прописан», он «прописан» и «проживает» совсем по другому адресу и завтра окажется там, а сюда приедут, расставят свою мебель и начнут жить совсем другие люди. Другие люди будут смотреть в эти окна, другая мебель встанет у этих стен, другие голоса зазвучат в этом пространстве; он же никогда более не войдет сюда, ни летом, ни зимою, никогда более не распахнет эти оконные створки в сырой апрельский день и никогда, перед тем как забить и заклеить их на зиму, не уложит меж ними пушистые слои ваты; никогда не затопит эту печь, в чьей топке за тридцать лет сгорели леса и рощи и чьим теплом он пропитался, как ржаной сухарь...

Он привстал, и у него закружилась голова. Он был пьян? Он не был пьян. Он был пьян не от вина. В нем медленно вскипал горьковатый хмель рубежного возраста; мужчина был высок, ладно сложен, крепок — что называется, в полном соку; он еще и понятия не имел, как чувствуют подступающую старость, но как чувствуют уход молодости — это ощущение стало приходить к нему с начала года, и сейчас, в последние дни лета, превратилось в прочно усвоенное знание; оно-то и взвинчивало малый градус легкого молдавского рислинга и придавало вину одуряющую крепость.

Он отхлебнул из стакана и снял с верха стопы очередную пластинку. «Воронежский русский народный хор». Что за чушь? Откуда она у него? Он уставился на тускло мерцающий черный диск, с пожухшей, полуотскочившей от основания наклейкой... Вспомнил! Левка, дружок детства. Они жили в угловой комнате: Левка, его мать, дворничиха и отец, инвалид войны, надомный сапожник. Куда-то уехали в начале пятидесятых. Наверное, Левка подарил ему эту пластинку

на память. Они тогда ужасно любили слушать ее. Почему, теперь уже не понять. Задорные, деланно жизнерадостные женские голоса: «Комбайн косит и молотит и солому...». Что-то там... Он попытался представить себя десятилетним мальчиком, сидящим в Левкиной комнате, на продавленном кокемитовом диване. Возле окна, где светлее, трудится Левкин отец. На широком подоконнике мотки дратвы, коробочка с гвоздиками, обрезки резины и кожи, шильца, острый сапожный нож. На отце его, кажется, единственная одежда — гимнастерка, в которой он вернулся с фронта, подволакивая раненую ногу. Грудь, живот и колени укрыты клеенчатым фартуком. Левкин отец, кроме того, что ранен в ногу, еще сильно контужен и плохо слышит. Может быть, поэтому он позволяет мальчишкам без устали запускать патефон и куролесить в комнате, как им заблагорассудится: его это не беспокоит. Если строгая мать заставляла их врасплох, доставалось и благодетелю. Сейчас ее нет. Отец подшивает валенок, продерживая дратву засмоленными, привычно скрюченными пальцами. В патефоне гремят воронежские частушки. Мальчишки от восторга прыгают на диване, задирают ноги и дико хохочут. Они борются, то и дело скатываясь на пол. Они сидят в обнимку. Как славно обнимать костлявые плечи своего корешка-пацана и чувствовать его руку на своем плече! Мальчику десять лет, он живой, смысленный, подвижный. Ему легко даются школьные уроки, он хорош во всех дворовых играх и забавах, его редко обижают — он незлобивого нрава, не жаден и не груб. Все чудесно, все ошибки, глупости и позоры еще впереди, он ничего не знает о них, он подпевает задорным воронежским частушкам, прыгает на всхлипывающих пружинах дивана, задирает ноги к потолку и хохочет, хохочет, хохочет...

Вот уж полгода он терзался, раздваивался и никак не мог понять, когда он прав и разумен: когда вывешивает объявления об обмене, принимает желающих осмотреть его комнату и сам ходит по адресам — или когда вдруг не пускает возможного обменщика дальше порога, заявляя, что передумал и меняться не собирается вообще. То ему казалось, что если он не уедет из этой огромной комнаты с щелястым полом и обнажившейся в углах дранкой, от печи, пожирающей за зиму машину дров (и все равно по утрам на стенах проступал иней, ледяные наплывы выпирали из-под оконных рам), от чахлых кустов и вечных веревок с бельем за окнами, от самих окон — он захиреет здесь, превратится в неудачника и будет стареть вместе с ветшающим домом; он окончательно возненавидит пропахшую готовкой и стиркой общую кухню и зловонную общую уборную; он никогда не станет свободным и самостоятельным, оставаясь здесь, в этом доме, в полутемном коридоре, куда выходят двери тринадцати

комнат, именуемых для прописки и почты «квартирами»; в доме, где его помнят ребенком, мальчиком, подростком, где помнят и по-прежнему чтят его праведную бабушку.

Какая-то тут была тягостная, словно кислотой сводящая скулы зависимость, мешавшая ему, взрослому человеку, жить как он хочет, приглашать к себе, кого пожелается, приходить и уходить в любое время дня и ночи. Словно глазами соседей на него, осуждающе и недоумевая, продолжала глядеть бабушка. Она воспитывала его в строгих и аскетических правилах, и в детстве ее уроки и поучения, казалось, навсегда вошли в плоть и кровь: ему были неприятны мужчины-соседи, пьющие по субботам водку, с их все более громкими и бессмысленными разговорами, с махорочной вонью их самокруток, густо застилающей коридор; а под конец застолья, происходившего в чьей-нибудь комнате или на общей кухне, как по расписанию, начиналась драка, длительная, с долгими матерщинными угрозами, пыхтением, возней; наконец, взрывалась слепая ярость, дерущиеся выбегали во двор, хватались за колья и поленья; выскакивали женщины, кого-то уводили домой, кого-то густо облапливали со всех сторон и успокаивали, увещевали; потом кого-то отваживали, смывая кровь с рассеченного лба; а утром снова пили и торжественно мирились на вечные времена, до ближайшей субботы.

Теперь он сам нещадно курил и полюбил пить вино — просто так, не в праздники и не в выходные, а в любую свободную минуту, для настроения, чтобы поплыть и задремать, чтобы померещилось и поманило, чтобы пожалеть себя, сносимого ходом времени во все более взрослую и все менее молодую жизнь.

Вываться, вырваться отсюда и немедленно! Он сопьется здесь, среди надоевших соседей, среди запахов керосина, помоев, жареной рыбы, вываренного белья, кошек, махры! Но он приходил по объявлению в громадный семиэтажный дом на центральном проспекте, входил в комнату-пенал, предложенную для обмена, смотрел с седьмого этажа на ползущие внизу трамваи, прислушивался к скрежету их колес на повороте, к фырканию и подвыванию автомобильных моторов, окидывал взглядом людские толпы на тротуарах; сопровождаемый настороженным слежением со стороны обитателей трех других комнат, осматривал кухню, кладовку и «удобства»; и все в нем сопротивлялось при мысли, что он переедет сюда и будет жить здесь. Он вспоминал о своем одиноком жилище, о вечерних минутах у догорающей печи, о той чудесной оцепенелости, в какую погружает безотчетное созерцание пламени, перебегающего по гаснущим углям. Багровый зев топки, игра теней на стенах, морозная роспись на окне исходит слезой... легкий, привычный запах угара... стакан вина... Мой дом

и дым, лишь здесь мне покойно, здесь моя опора, здесь я родился и здесь умру, и первый вдох новорожденного и последний — умирающего будут почерпнуты из одного пространства...

Впрочем, мучения сильно облегчались тем обстоятельством, что желающих обменяться на печное отопление было мало. Приходили, заманенные упомянутой в объявлении площадью, выражали удовлетворение подтвердившейся огромностью комнаты, кисло осведомлялись, сколько дров расходует печь, шли на общую кухню, брезгливо сжимали ноздри — и передумывали. А иной раз, как уже было сказано, передумывал он.

Но вот — свершилось. Энергичная женщина вошла по-хозяйски, осмотрелась мгновенно и согласилась без долгих раздумий, разругав при этом и комнату, и печь, и дом, и переулочек, как только могла. По всем повадкам была она из тех, кто умеет проворачивать хитроумные комбинации с жильем, и ясно было, что не она сюда переедет, но какая ему разница? Ее комната понравилась ему — всего с одним соседом, молчаливым стариком; правда, на первом этаже — но это ему привычно; правда, без ванны — но он и не представлял себе, что значит иметь ванну, и вполне обходился городскими банями... Он допил стакан и снова налил его доверху.

Итак, он уезжает. Он начинает новую жизнь. Он вычеркивает тридцать лет: они оказались нехороши, неудачны. Фу, как глупо. Ничего не вычеркивается. Прошное — не запись и даже не память. Прошное — радиация, оно только скапливается, клетку за клеткой заполняет тело и мозг и не вымывается ничем. Впрочем, по слухам, настоящая радиация вымывается красным вином. А вот и оно! Глоток, еще глоток. Снова: итак, он уезжает. Он начинает новую жизнь. Он ничего не вычеркивает, но становится другим. Каким другим? Это потом, потом, это не так просто, придумать себя другого. Сегодня — последний сентиментальный вечер. Прощание с молодостью. Прощай, дом. Печка, прощай, прощай, верная подруга. Никто не знает меня, как ты. Прощай и прости мне все, что ты видела и слышала. Прости, бабушка: я вырос не таким, как тебе мечталось. Простите, соседи, если обидел. Прости и ты, Левка... С подарками так не поступают. Но эти пластинки... эти песенки... Когда вечерами я остаюсь один на один с огромной комнатой, тишиной и закатным солнцем, я пью молдавское вино, Левка, чудесное молдавское вино из бутылки, на которой летит аист, и погружаюсь, тону в годах, когда жизнь казалась простой и милой, как эти песенки... Это болезнь, Левка. Я хочу выздороветь.

Он саданул пластинку о край стола, выронил из пальцев оставшийся в них осколок. Отпил половину стакана. Помедлил и допил до дна. Закурил.

Двор за окнами взорвался детскими голосами. Ребятишки затеяли игру в мяч, напоминавшую «штанدار» его детства. Он наблюдал, как они швыряют мяч, пускаются в пробежки, перекликаются... Нет, игра была другая. И словечки — игровые и дразнилки, ругательства и подбадривания — лишь частично были те же, что в его детские годы, а чаще звучали новые, иные. Когда эти дети вырастут, они будут жить в современных домах и забудут, что такое печка и дрова, колонка и коромысло. А многие вещи его детства неизвестны им уже и сейчас. И надо уже объяснять им, что такое керосиновая лампа. Тарелка-репродуктор. Патефон. Да, патефоны вымерли: их сменили радиолы, проигрыватели, магнитофоны. Подумать только: эти дети никогда не видели самой красивой, самой великолепной вещи прежних лет! Элегантный чемоданчик, оклеенный снаружи кожей или мягким пупырчатым коленкором, с никелированными уголками и никелированной коробочкой для игл, утопленной в корпус, а внутри обтянутый алым, серым или черным бархатом и таящий хитроумную машинку для извлечения звуков! Они не любовались обворожительным изгибом трубы звукозаписывающей, напоминающей, допустим, руку галантного кавалера, предложенную даме для совместной прогулки или танца... не слишком ли отдаленное сравнение? Но представьте: когда вы отводили звукосниматель в сторону, чтобы поместить на диск пластинку, а затем подводили его обратно и осторожно опускали на хрупкий круг тяжеленькую головку мембраны, стараясь, не царапая пластинку, сразу попасть иголкой в борозду — эти ваши действия неизбежно носили характер деликатного обращения и вежливой церемонии. Нежный щелчок сопровождал начало вращения диска, кавалер-патефон предлагал руку даме-пластинке и бережно вел ее по кругу...

Да, но сначала нужно было, разумеется, взвести пружину! О, закручивание невидимой, сокрытой в глубине чемоданчика пружины, наполнение ее вашей личной мускульной силой. Как странно и сладостно представлять, что примитивные усилия вашего бицепса хитрое устройство преобразит в энергию музыки! Круть-верть, круть-верть... Десяток оборотов заводной ручки — и вы создали увертюру к «Сороке-воровке», или «На позицию девушка провожала бойца», или томную кубинскую «Палому» — «Голубку»... Лето сорок девятого или пятидесятого, по вечерам голос Клавдии Шульженко трепетал в тысячах дворов по всей стране, летел из миллионов окон: «О, паломы мои...»

А куда, кстати, подевался мой патефон?

Он задавил сигарету в пепельнице и бездумно уставился в пространство. Вот так-так. Все-таки пьян. Я подарил его кому-то? От-

дал на время и забыл? Или его украли? Ч-черт! Куда исчезают вещи?

Пателефон... А велосипед? Позволь, ведь в детстве у тебя был велосипед марки... как ее... да, «ЗИФ» — завод имени Фрунзе, город Пенза. Прекрасный, пудовой тяжести дорожный велосипед, который, раскатившись с горы, обгонял грузовики... А может, и не обгонял. Велосипед, на котором он исколесил весь город и все окрестности, которому любовно латал покрышки и подтягивал спицы. Как мягко шелестел он по лесным тропинкам, как упруго скакал по булыжнику мостовых. Куда же он подевался? А коньки? Ведь были коньки, пара снегурок и пара гагенов. На снегурках он катался в младшем школьном возрасте, прикручивая их к валенкам: веревочная петля и палочка. Гагены ему приклепали к ботинкам, это было уже «повзрослому», и он ходил на каток, где гулкая музыка, огни, буфет с адски горячим чаем, где толкотня, смех, и мальчишки пугают девочек, закладывая глубокие виражи... Где коньки? А где коллекция марок, наклеенная, за неимением альбома, на страницы американского географического журнала, неведомо откуда взявшегося в доме? Там были русские дореволюционные марки с портретом царя. Странные немецкие марки времен инфляции двадцатых годов, с миллиардными номиналами. Довоенные марки, посвященные Чкалову, Челюскинцам, погибшим аэронавтам — где-то он слышал, что теперь это очень дорогие редкости. Где коллекция?

А впрочем, хорошо, что все это пропало само собой, а не обнаружилось сегодня в укромных углах, как стопа пластинок на дне платяного шкафа. Не хватало бы еще найти какие-нибудь игрушки эпохи раннего младенчества, какого-нибудь тряпичного паяца, или целлулоидного пупса с оторванной ногой, или дико раскрашенную голову деревянного коня — и разреветься. С глаз долой — из сердца вон.

Он сорвал со стопы пластинку и, не читая этикетки, разломил ее о колено. И еще одну, еще. Гора осколков на полу вырастала. В ней таился звуковой мир, когда-то забавлявший и манивший, расслаблявший душу, песнь песней послевоенных лет: Козин, Утесов, Изабелла Юрьева, Бернес... «С одесского кичмана бежали два уркана...» «Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружок, уж не найдешь...» «Что стоишь ты и нахмурил брови и не хочешь подойти ко мне? Ну, подойди ко мне, мой милый, ну, загляни в мои глаза, поверь, что ты один любимый, тобой одним душа полна...» «Здесь, под небом чужим, я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...» Предатель Родины Петр Лещенко. Хорошо пел предатель.

Детские голоса во дворе замолкли. Солнце упало в тополя. В комнате быстро темнело. Нетвердой рукой он снял очередную пластинку и ему захотелось узнать, что это.

— «Брызги шампанского»! Кого я вижу?! — Ему вспомнился краснорожий трубач, заправлявший оркестриком на танцплощадке в саду Горького. Его лабухи сидели в глубине дощатой раковины, он же, дирижер, трубач и певец, выходил к обрезу подмостков и, покачиваясь, всегда под турахом, громко объявлял номера, добавляя что-нибудь вроде: «Полька! Она же — бабочка!» Или: «Белый танец! Дамы приглашают кавалеров». Или: «Танго! Танцуют все!»

— Танго! Танцуют все! — Он прижал пластинку к груди и косо пошел через сумерки от стены к стене. — Пам-па-рам... Па-ра-па-рам-па-рам... «Брызги шампанского»... Самая тварь!

Пам-па-рам... Ему пятнадцать лет и он впервые сидит за свадебным столом. Женится его дальний родственник, троюродный брат, старый тридцатипятилетний мужчина, некрасивый, с залысинами, тяжелым одутловатым лицом, располневший, нескладный. Торжественная черная пиджачная пара сидит на нем, как на слоне. Под стать и невеста, широкоплечая, с плоским лицом и носиком-пуговкой — тоже, на взгляд подростка, не первой молодости.

Дело происходит зимой, в комнате жарко натоплено, душно, от женщин веет «Красной Москвой», от свежевыбритых мужчин шибает одеколоном. Брат работает фотографом, и вокруг стола бродит его коллега, ослепляя вспышкой, щелкая на долгую память жениха и невесту, родственников, гостей, горки винегрета, блюда со студнем и дымящейся картошкой, вереницу бутылок и графинов...

Ему льют в стакан густое вино сургучного оттенка. Он смотрит на ныряющее горлышко бутылки, прислушивается к бульканью струи. «За здоровье «молодых!» Главное — чтоб никто не догадался, что он пьет вино впервые в жизни... Оно оказывается сладким и терпким, с тем привкусом, который остается, если пожевать сосновой смолы. Кажется, это немного приятно. «Закусывай, парень, закусывай», — напоминает заботливый сосед. Да, конечно! Он набрасывается на винегрет, он глотает горячую картошку, жует толстый ломоть ржаного хлеба, он тычет вилкой в рыбные консервы и ловит скользкий кусок студня... Уфф! Как славно. Как чудесно кружится голова. Какие веселые гости. Хор-роший дядька — его брат! Симпатичный увалень. А она, как она смотрит на него — сразу видно, любит. А вот повернулась ко мне, что-то говорит, жаль, не слышу, как шумно, кажется, в том углу что-то поют, или это патефон, что она говорит, раскрасневшаяся, с блестящими серыми глазами, а ведь красивые глаза, что она говорит, расслабленно закинув руку за спинку стула, так что ажурное

белое платье растянулось на крепких плечах, нехорошо, что я смотрю на ее грудь, сейчас я подниму глаза, странно, а сначала мне казалась, она, ну, плоская, но как долго она смотрит на меня и говорит, да перестаньте петь, я не слышу!

Сдвигают к стене разоренный стол, вносят патефон — танцы! Он забивается в угол, деля его с кадкой, из которой торчит многолиственный фикус. Ему не с кем здесь танцевать, не с тетеньками же? Да он толком и не умеет. «Пам-па-рам... Па-рам-па-рам-па-рам...» Танцуют все! Громоздкая черная пиджачная пара жениха слилась с белым платьем невесты. Фотограф, друг жениха, стремительно таскает туда-сюда толстушку в сиреновом пан-бархате и она всякий раз, как он внезапно опрокидывает ее через бедро, взвизгивает тоненько, как купальщица, ступившая в студеную воду. И еще, еще пары, почти сплошь немолодые, мужчины с побагровевшими физиономиями, толстощекие напудренные женщины. Он смотрит на ноги, так ему почему-то удобнее, и ему кажется, что перед ним топчется и кружится пьяная сороконожка...

Главное — чтобы никто не заметил, что он уронил голову на стену и не в силах оторваться от спасительной стены. Это все проклятая музыка: она рывкает и подвывает в одном ритме, а нечто, пульсирующее в голове, живет по своему закону, и музыкальные такты, вместо того, чтобы мягко западать в уготованные им провалы, бьют по каким-то, что ли, бугоркам, плюща их твердыми, жесткими ударами. И гости танцуют неправильно, ему назло: они кружатся в одну сторону, а голова — в другую. Как они вообще смеют танцевать, такие старые?! Обнимаются, тискаются на виду у других, какое бесстыдство! А эти... Жених и невеста. Как они смеют любить друг друга, уроды? Да какая там любовь, ложь, вранье, они просто сговорились жить вместе, я знаю, зачем! Вы, взрослые, думаете, мы не знаем, а мы это давно и прекрасно знаем, для чего вы знакомитесь, и будто бы влюбляетесь, и для чего вы женитесь — для того лишь, чтобы ночью раздеться догола, плюхнуться в кровать и...

Что она говорит? Я снова не слышу... Приглашает танцевать! Невеста тащит его за обе руки, больно впилась коготками, похохатывает, откидывает голову, обнажая шею с двумя резкими красноватыми складками.

«Извините, я не умею». Это я сказал? Это мой голос? Это мой голос. «Чепуха, научу!»

Он уже на ногах, потолок накренился, лампа выскочила из-под абажура, ударила его по глазам и, гневно сверкнув, вернулась обратно. Невеста кладет его руку себе на талию, и через ажурную ткань он прикасается к мускулистому телу, к выпирающим позвонкам, а полу-

открытый рот выталкивает ему в подбородок сгустки горячего дыхания. Щекотно и душно, и то, что давно уже тяжелило желудок, вдруг, вопреки физическим законам, вздымается и подкатывает к горлу. Он отталкивает невесту, прорезывает броуновское движение танцующих; в бесконечном коридоре, где толпятся курильщики, его несет в тучах синего дыма, как сорванный бурей парус; но вот и крыльцо, и двор, утопающий в глубоких снегах и залитый чистым лунным сиянием, штормовой палубой рвется из-под ног; он мечтает добежать до забора и слиться с ним до полной незаметности, но не успевает; дрянь летит из глотки, изумляя своей обильностью и оскорбляя черными брызгами нежную белизну сугроба...

Он очищает оскверненный рот снегом, он прикладывает пригоршни ледяной благодати к пылающему лицу, он дышит, дышит, дышит; студёный воздух хлопками раздувает легкие до самой укромной складочки, словно выбивает пыльный мешок. Целебный холод льется отовсюду, студит тело и освежает мозг. Все вокруг обретает спокойную неподвижность; дома, заборы, поленницы, столбы печного дыма, подсвеченные луной. Он мнет в заледеневших пальцах жесткий, примороженный снег и глядит на ярко освещенные окна свадьбы. За двойными рамами, смутные, как рыбы в аквариуме, беззвучно проплывают танцующие пары. Здесь тишина, чистота и отрезвляющая свежесть зимней стужи. Там духота, отвратная смесь пьяных дыханий, духов, табака, сладковатая вонь помады, расплавившейся на жарких губах захмелевших женщин; там неотвязная музыка, бесстыдно зовущая некрасивых старых людей слипаться телами; там съехавшие набок галстуки, растянутые блузки, растрепанные прически, животы, притиснутые к животам, раздавленные женские груди, идиотский визг, бессмысленный хохот; низость и фальшь, фальшь, фальшь...

Он никогда больше не будет пить вина. И он никогда никого не полюбит, потому что никакой любви нет, а есть только похоть, раскрученная на патефоне: «Пам-па-рам... Па-рам-па-рам-па-рам...» Никогда!

«Брызги-брызги»... Когда он последний раз танцевал под них? На третьем курсе. Или на четвертом. Кто там был, в той компании? Его затащил Юрка, пропавший в последние годы из виду, а тогда — закадычный дружок. Там были девочки из педагогического. Нет, из медицинского. Среди них были две: одна, обозначим, нагельная, а другая — интеллигентная. Что значит, интеллигентная — ну, просто спокойная, вся какая-то подобранная, вежливая и осторожная в манерах. Почему-то была только одна пластинка, такая, как эта — «Брызги шампанского» и «Рио-Рита» на другой стороне. Танго — фокстрот, танго — фокстрот. Танец за танцем мучался он, вода интеллигентную

незнакомку, понимая, что еще один и еще один танец — и уже будет невозможно бросить ее и приударить за той. А та, косовато поглядывавшая на все и всех и меньше всего — на очередного партнера, изгибалась, вскидывала руки, закатывала глазки, бесцеремонно, на лету, теребила прически чужим кавалерам. Оказываясь близ стола с закусками, она схватывала вкусный кусочек, подбрасывала его, ловила ртом, жевала, причмокивала и с набитым ртом напевала в такт музыке, и розовым кошачьим язычком облизывала губы...

Господи! Что за напасть жила в нем, указывающая, что такой юноша, как он, должен ухаживать за такой, как эта спокойная, вежливая и скучная дедушка, и ни в коем случае не может проявить интереса к лукавой бесстыжей хохотушке? Он, что, не свободен показать себя таким, каков он на самом деле? Кто и что требуют от него образцового лицемерия? Но кто-то же требовал, если он фальшивил весь вечер, танцуя с тихой партнершей и давясь умными разговорами, а потом провожал домой и спрашивал разрешения позвонить. Вот как! Еще и не она просила о следующей встрече, а он чуть ли не вымаливал возможность продолжить знакомство, заранее тягостное ему! А ведь с тех пор прошло десять лет. Одиннадцать. Одиннадцать, а стал ли он другим за эти годы?

Он с такой силой сосредоточил взгляд на наклейке, уже почти неразличимой в темноте, словно там был написан ответ; взгляд соскальзывал, раскручивался по спирали звуковой дорожки, а он возвращал его к истоку; будто здесь, в середине, если вернуться сюда и начать заново, можно устоять, не то снесет, раскрутит, выбросит на край, а там спираль замкнется, и жизнь побегит по кругу, как игла, с тупым щелчком перескакивающая в двух соседних бороздках, в вечном плену недопеваемой фразы: «Пам-па-рам, па-ра-ра... Пам-па-рам... па-ра-ра...» И так до скончания веков.

Он размахнулся и ударил о край стола. «Брызги» спружинили но не разбились. Тогда, разъярясь, он швырнул пластинку на пол, ударил по ней каблуком и сразу после этого налил полный до краев стакан.

3

Дядя Миша, слесарь, жестянщик, точильщик, мастер на все руки, засиживался в своем полуподвале допоздна. Сейчас он облизывал бархатным напильником детальки импортного замка. В дверь постучали. Дядя Миша поморщился: к этому времени он любил оставаться один и оставлял на него самые тонкие работы, требующие особенной сосредоточенности и терпения.

— Ну, кто там? Входи уж...

Вошел парень, хорошо знакомый ему, как и все другие жители окрестных мест. Мальчиком он прибегал сюда точить коньки. Подростком притаскивал разбитое велосипедное колесо, и дядя Миша выколачивал обод и менял лопнувшие спицы. Давненько он не заглядывал. Так давно, что из подростка превратился в парня, а пожалуй, и в мужчину вполне взрослых лет.

Бывший мальчик и подросток, а ныне мужчина держал перед собой бесформенный газетный сверток.

— Чего у тебя? — грубовато спросил старик, принимавший посетителей безотказно, но все же раздраженный поздним приходом клиента.

Мужчина шагнул к верстаку и развернул на нем газету. При этом его качнуло, и стало ясно, что клиент пьяноват. А если точнее, пьян. Дядя Миша свою цистерну выпил и теперь пьющих недолюбливал.

— Что за срочность? — вовсе уже не скрывая раздражения, вскинулся он.

— Дядя Миша! — Мужчина попытался обнять тощие плечи старика, но тот сердито уклонился. Гость покачивался, от него несло кислым винным духом, он размахивал длинными руками, задел голую лампочку, свисавшую на шнуре, и тени заматались на стенах. — Это «Брызги шампанского», дядя Миша. Помнишь? «Пам-па-рам... па-ра-ра-пам-па-рам...» Любимая пластинка, понимаешь? Память о юности. И вот... Уронил. Надо склеить, очень прошу, дядя Миша, ты же все умеешь... Дядя Миш?

Старик перебрал в пальцах грудю осколков, они тихо прошелестели.

— Интересно ты роняешь. Молотком ударил?

Клиент не отвечал. Покачивался, уставясь на осколки. Вiniщем от него разило немилосердно.

Дядя Миша начал сворачивать газету.

— Погоди, — встрепенулся клиент. — Ты же все можешь! Умоляю! Любые деньги, клянусь...

— Сходи в воскресенье на барахолку, там навалом старых пластинок. Двадцать копеек штука. И «Брызги» твои есть, сам видел. Что тут на обороте было?

— «Рио-Рита»... — выдохнул клиент.

— Точно. Она самая.

— Дядя Миша, ты не понимаешь, — значительно выговорил гость.

— Музыка та же самая. Но пластинка будет другая.

— Скажи, какой чувствительный, — усмехнулся дядя Миша и сунул ему в руки сверток. — Ну, иди. Что ты, как маленький? Еще если бы на две, три части разбил. А то действительно брызги при-

носишь... Иди, не мешай работать. И пить надо меньше, а еще инженер! — вырвалось у старика против воли.

— Да, инженер! — незамедлительно откликнулся гость. — Инженер и пью! Такое оригинальное сочетание. У инженеров тоже бывают причины. И тебе не понять. И я вообще уезжаю от вас завтра, тем более, такие замечания! — высокомерно закончил он, прошел в угол, где у дяди Миши стоял тарный ящик для мусора, и швырнул туда сверток.

У дверей он обернулся, пьяно улыбаясь, и старика неприятно поразило сочетание расслабленной бесшабашной улыбки и чего-то нездорового, болезненного, что прочитывалось во взгляде мужчины, в красноватых белках его таращившихся на голую лампочку глаз.

Поздний гость развел руками, то ли прося прощения за неурочный приход и вздорную просьбу, то ли обозначая, что он смиряется с невозможностью восстановить дорогую потерю, то ли приглашая на танец воображаемую даму; не исключено, что последнее, так как он тут же и запел лишенным слуха голосом:

— Ра-рай, Рио-Рита...

Пританцовывая и виляя задом, он поклонился дяде Мише, спиной распахнул дверь и вышел в ночь.

Неподвижностью, безлюдьем, скупым светом фонаря на покосившемся столбе и густой деревенской тишиной, прорезываемой отдаленным бреханьем ворчливой собаки, встретил его родной Тихановский переулок. Узенький тротуарчик, теснясь вдоль узорчатой кованой ограды, уводил в теплый мрак. В палисадниках, в желтых прямоугольниках, уроненных редкими освещенными окнами, чернела вырезная листва.

Милая родина, ничуть не переменившаяся с детства, дремала, доверчиво разлегшись под страшным своей многозвездностью августовским небом. И оно казалось уютным пологом, заботливо накрывшим сны простых славных людей, которым спозаранку бежать на производство или хлопотать по дому. Вместе с людьми, нераздельные с ними в сонной тьме, членами одной семьи, одного племени, участниками одного нерасторжимого круга жизни, спали особняки, флигели, сараи, дровяники, заборы, ворота, земляные и мощные тропинки, огородные гряды, заросли черемухи и сирени, вечные, могучие липы и тополя.

Но уж где-то на подъездных путях громадного бессонного завода тепловоз подогнал к погрузочной площадке лязгающие платформы, и в прожекторном луче по дощатому, изрубленному гусеницами пандусу с мощным ревом пополз новенький, только что собранный бульдозер, издали востря на Тихановский переулок сверкающий отвалный нож.

УЛИЦА ТЕПЛОВОЗНАЯ

Город вырос в тайге, а в нем вырос молодой человек. Город вырос медленно: три века назад люди запрудили реку, поставили завод, вокруг завода вырос поселок, ставший лет через сто уездным городком. Полвека назад его сонная жизнь взорвалась громадной стройкой одного из крупнейших заводов первой пятилетки. В считанные годы город раздался вширь, оттеснив таежные увалы, вслед за первым заводом появились еще несколько, и при каждом свой поселок, называемый соцгородом. Новых заводов добавила эвакуация отечественной войны. Вскоре после нее соцгорода слились воедино в один большой несуразный, весь в суровых дымах индустриальный центр.

Молодой человек, понятно, рос куда быстрее и вырос во взрослого мужчину за двадцать с небольшим лет.

Выросший в этом городе, он поначалу любил его, как всякий любит свою малую родину, потом охладел к нему, а потом возненавидел.

В родном городе он закончил технический вуз, приобрел интересную современную специальность, а работа его была такова, что его часто посылали в командировки в европейскую часть страны. Он побывал в Москве и Ленинграде, во Львове и Киеве, в Риге, Вильнюсе, Минске... Каждый раз, возвращаясь из командировок, особенно после Прибалтики и Закарпатья, он находил свой город все более и более некрасивым, грязным, невыразительным. Ему открылось, как скудна зелень городских скверов, какой провинцией веет от старого центра, где вперемешку теснятся стандартные высотные коробки и облупившиеся особняки, бывшие церкви со снесенными куполами соседствуют с панельными пятиэтажками. Кое-где в самом центре попадаются деревенского вида избы — немыслимое дело для любого европейского города. А как уродливы ограждения тротуаров, сваренные из водопроводных труб. И что это, черт побери, за город, по одной из центральных улиц которого до сих пор проложена железнодорожная ветка и по ней время от времени проползают товарные поезда, останавливая у шлагбаума скромную вереницу автомобилей. А люди! Как, оказывается, бедно и немодно одеваются его земляки. Виданое ли дело: зимой чуть ли не все ходят в неуклюжих валенках, а многие из пожилых даже в валенках с галошами. Девятнадцатый век, да и только. Ему открылось, что и говорят в его городе как-то провинциально, простецки. Говор, на котором с детства было воспитано его ухо, и который казался ему самым естественным, начал, после бойкого московского аканья, после четкой мерной речи ленинградцев, после лукавых и напевных интонаций южан, после элегант-

ного, поистине европейского акцента, с каким говорили по-русски на улицах Вильнюса, Риги, Таллина, восприниматься как звучанье грубое, неуклюжее, такое, которого следовало стесняться...

Ну, и разумеется, не могла не удручать разница в так называемом снабжении его города с Москвой, Ленинградом, прибалтийскими и украинскими городами. Какие нарядные этикетки пестрели в столичных витринах, как странно было видеть в магазинах Киева или Минска завал колбас и копченостей при полном отсутствии очередей. Однажды в Москве он увидел в начале улицы Горького магазин «Сыры», заглянул и торчал перед прилавком как в музее: многие названия он знал только из книг, а иные встретил впервые. Шпроты, лосось и прочие рыбные консервы, в его родном городе добываемые с большими усилиями к большим праздникам, в московских или ленинградских гастрономах высились до потолка, выстроенные в башни и уступы прихотливой формы. Становилось ясно: жить в родном городе и не чувствовать себя обделенным, не быть человеком второго сорта — невозможно.

Молодого человека вырастила мама. Отец погиб на фронте и для сына на всю жизнь остался фотографией на стене. Мать была неразлучна с сыном и расставались они только на время его поездок в пионерские лагеря, пока он был школьником, и на месяцы его студенческой практики, когда стал студентом. Сама она ни разу никуда не съездила за все годы его детства к отрочества. Он перешел на четвертый курс, когда ей на работе предложили хорошую путевку, и она впервые на памяти сына согласилась съездить на отдых и лечение. Она поехала в Литву, на известный курорт Друскининкай, где, как было сказано в путевке, все располагало к восстановлению сил — и это было более чем кстати для ее рано износившегося сердца. В Друскининкае ее ждали мягкий климат, чудесный сосновый бор, благодетельный воздух, внимательные врачи, хорошее продуманное питание.

Странным выдалось то лето в стране. В самых разных ее краях, независимо от традиционных климатических особенностей этих мест, разражались свирепые засухи. Сибирь полыхала в лесных пожарах. Пыльные бури губили хлеба в Поволжье и на Кубани. На Урале, в Подмосковье и во множестве других мест все лето горели торфяники, заполняя пространство тяжелым срадом. Не миновали эти беды и Прибалтику. В полном противоречии с климатом приморского края на Литву обрушилась небывалая сушь, жара, духота, стубившие не одного сердечника. В печальный список загубленных духотой судьба вписала и маму молодого человека. Она в одночасье скончалась от сердечного приступа. По траурной телеграмме студент прилетел в

Друскининкай. Когда его спросили, где он собирается хоронить мать, он растерялся: «Не знаю». Опытные люди объяснили ему мороку и финансовые затраты, связанные с добыванием особого цинкового гроба, не скрыли и малоприятных подробностей транспортировки усопших в такую жару и через половину такой огромной страны...

И новая могила выросла на городском кладбище Друскининкай, в сосновом бору. Кладбище поражало аккуратностью и чистотой, геометрической четкостью аллей и дорожек, обилием цветников, крестов из белого и черного камня, отсутствием оград. В эту июльскую жару оно было одурающе пропитано запахами отцветающего шиповника и выступившей на соснах смолы.

Мамины родственники из других городов, его дядя и две тетки — а он по молодости и растерянности и здесь действовал растяписто и не сразу оповестил их о печальном событии — сильно отругали его, а с дядей даже вышла длительная, на несколько лет размолвка. Но потом было произнесено, что не век же, возможно, жить молодому человеку в его родном городе, и уж раз судьба бедной Маше лежать вдали от родного края, в литовских песках, то надо установить очередность и ездить туда следить за могилой.

В родном городе молодой человек действительно не собирался вековать, более того, предпринимал разнообразные усилия, чтобы уехать западнее — если не сразу в столицу, то куда-нибудь поблизости от нее. Несколько лет ничего не выходило из этих предприятий, но вот, наконец, частые командировки в столицу принесли долгожданный плод. Молодой человек несколько раз привозил в министерство отчеты о деятельности своего учреждения. Докладывал он обычно одному и тому же важному чиновнику, который непременно прибегал к дополнительным расспросам. Эрудиция, речь, глубокое знание молодым человеком предмета своей деятельности очень понравились чиновнику и он счел способного провинциала подходящей кандидатурой для поездки на пару лет представителем министерства в небольшую североафриканскую страну. Если эти два года он проведет удачно в профессиональном отношении и безупречно в моральном, по возвращении его будет ждать место в исследовательском институте министерства, расположенном в ближнем Подмосковье.

Эта заграничная командировка была замечательной во всех отношениях, а в частности еще и потому, что облегчала решение жилищного вопроса. Молодой человек со своей мамой занимали комнату в дореволюционном особняке, превращенном в коммунальную квартиру, в самом центре города. Весь этот квартал был определен под снос, под какое-то амбициозное строительство, и соседние дома уже были

снесены. Жильцам давали современное жилье в хрущевских пятиэтажках, но в столь отдаленном районе, что он еще недавно и не считался частью города. Залезать на глухую окраину молодому человеку очень и очень не хотелось. Теперь же проблема отпадала вообще: из-за рубежа он сюда уже не вернется. Его будет ждать прекрасная работа в Подмоскovie и там же, стало быть, комната, а может быть, даже и однокомнатная квартира.

Теперь в его отношениях с родным городом наступила окончательная ясность. Когда он иной раз уж слишком презрительно отзывался о городе, где вырос, и кто-то из приятелей укорял его за неблагодарность, он в ответ нажимал на то обстоятельство, что его ничто уж не связывает с, так сказать, колыбелью и гнездом. «Старик, — отвечал он приятелю, — позволь напомнить общепринятое. Человека более всего привязывают к месту две вещи: родной дом и могилы предков. Мамочка покоится в двух тысячах верст отсюда. Нет у меня тут, следовательно, дорогой могилы. А скоро не станет и родного дома. Остается разве что пресловутый дым отечества. Но он у нас, согласись... — Тут молодой человек производил плавный широкий жест, обозначая многочисленные заводские трубы, окольцевавшие город. — Согласись, он никому из нас не сладок и не приятен ввиду хотя бы того, что насыщает воздух, которым мы дышим с детства, канцерогенами и всякой прочей дрянью».

Радостное возбуждение, в котором молодой человек пребывал в скором ожидании отъезда за границу, омрачалось только разрывом с приятной девушкой; отношения с нею зашли так далеко, что их уже считали женихом и невестой и запросто спрашивали, когда свадьба. Молодой человек не был влюблен, но девушка была дочерью секретаря райкома партии, что означало при заключении брака и «блатное» получение квартиры для молодых и ускоренный рост будущего зятя по службе. Он, разумеется, пошел бы на этот брак, если б решил остаться в родном городе, но так как он этого категорически не хотел, то, напротив, отношения с секретарской дочерью пришлось порвать, и вышло это очень некрасиво, болезненно, на грани неприличия. Главная неприятность состояла в том, что приятная девушка была по уши влюблена в молодого человека, что именно он сделал ее женщиной, и она просто не представляла себе, что когда-нибудь выйдет замуж за другого. Она была старше почти на два года, ей близилось к тридцати. Когда он объявил ей о своей поездке в Северную Африку, умышленно увеличив срок — «еду лет на пять, а может, больше», и объяснил, что его предупредили: с женой не пустят (тут он не соврал; кэбэшная статистика показывала, что семейные пары почему-то чаще остаются за рубежом, чем холостяки), она

согласилась, что не имеет права быть помехой в его карьере и жизненной судьбе в целом, но попросила... Едва прозвучала ее просьба, как он почувствовал мистический ужас и буквально оцепенел. «Ты уезжай и живи, как задумал, — сказала она, — но я знаю, что никогда не выйду замуж за другого. Мне нужен ребенок. Я хочу ребенка от тебя. Поверь, он не доставит тебе никаких забот. Если захочешь, он даже не будет знать, кто его отец. Ты меня уже хорошо знаешь — я не обману».

Да, он хорошо знал ее, чувствовал ее природное благородство и порядочность. Диковинно, но у райкомовского секретаря, изрядного прохиндея, выросла, что называется, чистая порядочная девочка. Она не обманет. Но иметь тайного ребенка? А если он, когда вырастет, все же узнает, кто его отец, и разыщет его? А у него, молодого человека, к тому времени, разумеется, будет своя семья — в Москве, где он непременно рано или поздно окажется?

В ранней молодости у него уже была история, доставившая тогда ему, юнцу, мучительные переживания. Дело было на первом курсе, в ноябрьские праздники. Приятели затащили его на вечеринку с какими-то фабричными девчонками, с обувной, что ли, или швейной фабрики. Девчонки были нестеснительные, сразу позволяли себя тискать, вино пили наравне с парнями, из стаканов, и сами первыми, предложили погасить свет — для «танцев». Его, тогда не просто неопытного в общении с прекрасным полом, но и, прямо сказать, еще не потерявшего невинности, обольстила симпатичная стройная девочка с высокой упругой грудью, чуть ли не полностью вылезавшей из глубокого разреза платья. Они танцевали в полутьме, она забрасывала руки ему на шею и целовала в засос, отчего все в нем обмирало. А потом он, пьяный, вез ее куда-то на такси через ночь; помнится, он потом удивлялся, откуда у него могли взяться деньги на такси, пока не сообразил, что платила она; потом они вылезли из машины в каком-то окраинном переулке, шли через двор, вошли в барак; в комнате он пьяно похохатывал, пока она раздевала его; из-за стены донесся голос, видимо, матери: «Людка! Кого опять привела?» Или, он потом забыл имя... Нинка? Танька? А потом он, обнаженный, впервые раздетый чужими — женскими! — руками, упал, слился с упругим, горячим, чудесным...

Ранним утром, в полную еще темень, она растолкала его и, зевая, приказала уходить: ей на работу. Он, несколько еще не протрезвевший, брел проходными дворами, незнакомыми улицами, пока его не вынесло к трамваю. Он думал, что теперь они будут встречаться и будет повторяться это чудесное. Но вышло не так. Когда он спросил приятеля, приведшего его на ту вечеринку, когда они соберутся сно-

ва, тот отмахнулся: да ну их! Его, оказывается, поздно предупредили, что на одной из этих лихих девчонок кто-то из ребят уже «подзалетел», подхватив дурную болезнь. У молодого человека мигом пропало желание вновь изведать радость от общения с этой обольстительной Людкой... Нинкой? Танькой? Он, краснея и запинаясь, стеснительно повыспрашивал у приятеля, каковы признаки дурной болезни, и целый месяц со страхом ждал обнаружения у себя таковых. Но и это еще оказалось не самым большим страхом. Еще через месяц этот же приятель поделился с ним своим неподдельным возмущением. Он тогда провел ночь с другой фабричной девчонкой. «Представляешь, — говорил приятель, нещадно дымя сигаретой; они сидели у него в общежитской комнате и распивали бутылку портвейна по случаю успешной сдачи первого экзамена зимней сессии. — Представь, нашла меня, приперлась сюда, в общагу. Я, говорит, забеременела от тебя, гони бабки. Я говорю: отвали, откуда я знаю, от меня или от коня. А она: а вот я тогда рожу и увидим, на кого похож. Будешь папочкой, восемнадцать лет алименты платить. Ну, пришлось дать ей деньги на аборт. Вот тварюга!»

Вот когда его охватил еще более жуткий страх: а ну как и его Людка... Нинка, Танька... заявится с таким же делом? Еще страшнее стало, когда прошел месяц, другой, но она не возникла; конечно, самое естественное было предположить, что у нее обошлось без последствий. Но вдруг... Вдруг решила рожать? Он то уговаривал себя, что это бред, и зачем ей это надо. То ему представлялось, что именно так она и решила... Весной он вдруг влюбился в однокурсницу, которую до этого не замечал, и этот бурный роман отвлек. Потом полетели месяцы, годы. Забылось.

Давняя эта история смутно вспомнилась, когда он, с трудом подбирая слова, объяснял секретарской дочери, что ее желание иметь от него ребенка... Что оно абсолютно невозможно...

Слава богу, от прокручивания в памяти этого позорного разговора отвлекали многочисленные надобности, возникшие в связи с предстоящим отъездом за рубеж. То нужна была особая анкета, справка из жилконторы, то характеристика от партбюро. Кроме выправления бумаг, оказалось еще, что нужно сделать прививки для иммунитета от болезней, бытовавших в северо-африканской стране. Эти прививки делали в одной лишь больнице, расположенной в глухом заводском районе, где он до того никогда не бывал.

Адрес больницы был: улица Смазчиков. И все другие улицы здесь носили названия, говорящие о принадлежности всей этой окраины к железной дороге: улица Машинистов, переулки Стрелочников и Маневровый, улица Тепловозная. Этой Тепловозной он неторопливо

вышагивал в теплый августовский вечер, мимо унылых пятиэтажек и насыпных бараков, мимо мрачных складских помещений, огороженных бетонными заборами, и привычно уж, глазами уехавшего, презирал убогий облик этого провинциального города.

Что замедлило его шаги, а через несколько мгновений остановило его на ничем неприметном месте, возле покосившегося штакетника, за которым взору открылся тесный, меж двумя вытянутыми вдоль бараками, двор? Что-то заставило его остановиться и начать с нарастающим беспокойством разглядывать двор, корявые липы с пыльной листвой, протянутые поперек двора бельевые веревки, почерневший от времени дощатый одноэтажный барак с одним общим крыльцом, возле которого стояла бочка, и от нее за два десятка шагов тянуло затхлым запахом застоявшейся воды...

Это было здесь? Это было здесь. Только тогда, в ноябре, стояла почти зимняя стужа, вода в бочке была покрыта корочкой льда. Он, пьяный, тогда поскользнулся на ступенях крыльца, рука ударилась о лед и пробила дыру, из которой выступила ледяная черная вода...

Вот оно как. Любопытно, что в последние дни пребывания в родном городе его занесло и сюда. Что ж, попрощаемся и с этим памятным местом. Он усмехнулся, мысленно послал воздушный поцелуй барaku, в котором некогда утерьял невинность и стал мужчиной — историческое все же место! — и уже двинулся было дальше. Дверь распахнулась от пинка и на крыльце появилась, неся на бедре таз с бельем, женщина. Это была она. Людка. Или Нинка? Танька? Нет, кажется, все-таки — Людка.

Женщина вышла на босу ногу, в затрапезном ситцевом халатике. Поставила таз и принялась развешивать постиранные простыни. За те десять лет, что он не видел ее, она чуть располнела, но стала еще обворожительнее. «Еще аппетитнее» — цинично подумал он, разглядывая со спины ее стройные икры, широкие бедра, покатые плечи. Он вздохнул, послал еще один мысленный воздушный поцелуй — на этот раз непосредственно роскошной женщине в жеваном халатике — и уж окончательно собрался уйти. Вновь распахнулась барачная дверь и во двор выбежал мальчик. Сердце у молодого человека остановилось. Сразу бросалось в глаза, что мальчик похож на Людку — тот же правильный овал лица, приятно вздернутый носик, темные, с легкой рыжиной, волосы. Но в одно мгновение молодому человеку примерещилось, что мальчик имеет неуловимое сходство с ним.

Мать что-то сказала сыну, он упрямо мотнул головой, не соглашаясь, и побежал в глубь двора. Мать что-то прокричала ему вслед и погрозила кулаком: видимо, не разрешила убежать куда-то — скорее всего, к близкой железнодорожной зоне, где, конечно, обожают пре-

бывать здешние пацаны. Мальчишка на ходу обернулся, скорчил матери рожицу и исчез.

На вид мальчику было лет восемь-девять. Это сходилось. Он напругся, вспоминая лицо убежавшего. Что он увидел в нем похожего на себя? Нет, пожалуй, ничего такого не было. Но вот походка, чуть угловатая. И мальчишка рослый, он тоже был в его возрасте... Да нет, не может быть! Не сумасшедшая же она — рожать от незнакомого юного студента, ломать себе жизнь Наверняка она вскоре вышла замуж и этот мальчик имеет настоящего отца. Она могла выйти замуж уже беременной. Потому, может и выскочила за какого-то не слишком любопытного парня. Чушь! Почему не разыскала меня? А потому, может быть, что этот парень ухлестывал за ней уже давно — может, работал на одной с ней фабрике, или жил где-то здесь же. А он ей, допустим, не слишком нравился. Или нравился достаточно, но ей хотелось еще погулять-пошалить в молодые годы, не торопилась замуж. А беременность обнаружила поздно. Хотя, как это — поздно. Ведь это, кажется, невозможно заметить рано или поздно, есть определенные сроки и признаки? Не знаю... Ладно, обнаружила вовремя, пошла к врачу и оказалось, что ей аборт делать нельзя. Почему нельзя? Молоденькая, здоровущая? Ну, опять-таки, откуда мне знать. Может, какие-то противопоказания. И — хочешь-не хочешь, надо рожать. Что ж ей, разыскивать меня, придурка, и требовать, чтоб женился? Когда рядом надежный парень, давно в нее влюбленный. И она выходит за него. Рожает на месяц раньше. Ну и что? Это случается. Парень ничего не подозревает. Вот и весь сюжет. При таком раскладе это вполне может быть мой сын. «Мой сын» — повторил он про себя, прислушиваясь к диковинному сочетанию двух простых слов. Да нет, бред, бред и бред! И хватит торчать тут, она обернется, узнает, возникнет какой-то нелепый разговор. А может, подойти к ней и прямо спросить? Вот калитка, отодвинуть, пройти два десятка шагов, сказать; «Люда... Узнаешь?» А дальше можно не спрашивать. Или она будет всматриваться изучающе, а потом скажет: лицо знакомое, но что-то не припомню. Или она всплеснет руками, zalется краской — и выдаст то, что он, в общем-то, конечно, не в силах будет спросить. Ну, идешь? Сосчитай до трех — и вперед!

Он сосчитал до трех. Сосчитал до десяти. И не тронулся с места. Наоборот, руки ухватились за планки штакетника с такой силой, что побелели пальцы.

Женщина расправила на веревке последнюю простыню, прихватила ее прищепками, встряхнула затекшие руки. Обернувшись, наклонившись поднять с земли таз, увидела мужчину, замершего по ту сторо-

ну штaketника. Поза его выражала желание что-то спросить. Мужчина был высокий, симпатичный. Она кокетливо улыбнулась.

— Чего вам?

Их взгляды встретились. Она не узнала его. «Она меня не узнала! Замечательно! Если бы это был мой сын — как бы она могла меня позабыть?!» Плавной волной накатило спокойствие, словно он проснулся после страшного сна, где его догоняли, пытали и мучили, и обнаружил себя в привычной постели в хорошее солнечное утро, а все жуткое было всего лишь сном.

Все же, когда он заговорил, что-то деревянное прозвучало в его голосе.

— Я... Тут где-то больница.

Она махнула рукой в надлежащем направлении, еще раз улыбнулась ему кокетливо, прихватила одной рукой таз и пошла к крыльцу, подчеркнуто двигая бедрами. Он дождался, когда за ней захлопнется дверь, и двинулся дальше по улице Тепловозной.

Минутку... Не рано ли ты обрадовался? Не узнала — и это стопроцентно успокаивающий ответ? Погоди... Ты сразу узнал ее, потому что сначала вспомнил это место и этот барак. Ты был готов к тому, что если из барака выйдет молодая женщина, это может оказаться она. А она увидела перед собой случайного прохожего. Это во-первых. Во-вторых, тогда ты был юнцом со втянутыми щеками, нежным пушком на щеках и прыщеватым подбородком. И невероятно худющим — кожа до кости. И одет был в какую-то задрипанную кацавейку. А сейчас перед ней возник взрослый, крепко сложенный мужчина в яркой модной рубашке и еще более модных вельветовых брюках. С чего бы это ей узнавать меня, столь преобразившегося, через десять лет?

Спокойствия как не бывало. Он вдруг обнаружил, что миновал больничное здание. Вернулся, но не вошел, а сел на скамейку у входа. Перед ним, кривовато изгибаясь, уходила в сторону вокзала улица Тепловозная, уставленная стоящими к ней торцами панельными пятиэтажками, а дальше, за поворотом — грязными бараками, а еще дальше лежал весь остальной город, такой же некрасивый, пыльный, серый, разлюбленный и, казалось бы, навсегда выброшенный из сердца.

Проклятый город! Он никогда не оставит его. В африканской стране будут бессонные ночи под низким бархатно черным небом, под огромными звездами, диковинные пальмы будут скрипеть над головой, будет налетать теплый ветер из близких пустынь, а перед глазами будет вставать некрасивый угрюмый город в уральской тайге, где есть улица с идиотским названием Тепловозная, а на этой унылой

улице стоит дрянной барак с подслеповатыми оконцами, прогнившим крыльцам и разошедшейся завалинкой, набитой кусками шлака из паровозных топок; и в том бараке живет и подрастает мальчик. Может, и не сын. Очень может быть — сын.

1990.

ТУЧА

Володя — студент журфака, второкурсник, у него еще юношеская, чуть ли не подростковая фигура, зыбкие усики, не торопящиеся загустеть, но он уже муж и отец, и он счастлив. Женился на сокурснице прошлой весной, а отцом стал совсем недавно, в зимнюю сессию. Сейчас снова май, он на исходе, по городу зацветает сирень, днем накатывает жара, вот-вот и лето. В Володином возрасте в такие деньки бродить бы с девушкой, до рассвета, до золотой полосы на востоке, до крепкой прохлады, когда воздух так зябок, а руки, губы так горячи... Но он уж набродился, у него есть жена, милая, родная, с тонкими теплыми руками, глядя на которые, он каждый раз ощущает потребность защитить их, бог знает, от чего и от кого. Мало того, у него есть сын — странное попискивающее существо с могучим хватательным инстинктом. Если протянуть палец, то его крошечные — даже не верится, что настоящие! — пальчики вцепятся с неподвижной силой. Есть сын, есть жена, и Володя живет в огромном городе и учится в университете, на журналиста, о чем мечтал с детства, протекшего в райцентре; и он уже трижды напечатался в городской газете: две информации и одна сатирическая заметка. Он очень счастлив!

Но есть нечто, слегка омрачающее это счастье, вроде единственного облачка в бескрайнем майском небе. Молодые живут у родителей жены. Тесть и теща — скромные и радушные люди, замечательные дедушка и бабушка, хотя еще немного конфузятся этого своего нового состояния, так как в их представлении они еще и сами почти молоды, им едва за сорок. Правда, Володе они, как и его собственные родители, кажутся людьми другого времени, потому что хоть и смутно, но помнят послевоенные годы, помнят житье в бараках, рукомойник с гвоздем, какие-то керогазы и примусы и валенки с галошами, помнят никогда не виданный Володей патефон, вспоминают неведомых ему певцов и певиц, какую-то Изабеллу Юрьеву, какого-то Козина, помнят какие-то олады из картофельных очисток и какие-то венские то ли плюшки, то ли булочки необычайной вкусноты.

Володя уважает тестя и тещу — достойных, как он считает, представителей рабочего класса. Но облачко есть. Во-первых, он очень

хотел бы самостоятельно содержать свою собственную семью. Но не получается. Стипендия плюс из дому, после того как женился, присылают по сорок в месяц, но больше не могут, плюс двадцать пять — тридцать от случайных приработков. Осенью, Володя уже решил, приищет работу. Может быть, даже перейдет на заочное. Но пока что молодую семью кормят тесть, токарь высокой квалификации, и теща, сборщица радиоаппаратуры. Тесть получает — «выпиливает», как он говорит, — больше трехсот, теща — под двести. Нет, не попрекают, но иной раз вырывается само собой. Тесть подарил Володе куртку. Володя обижать отказом не стал, но твердо потребовал больше ему ничего не покупать. «Одеваться буду на свои». «Какие они — твои...» — вздохнула теща, и вздох этот отправился в то самое облачко, чуть его подсгустив.

Самое же темное место в облачке, посылающее довольно уже мрачноватую тень, сгустилось оттого, что тесть и теща привержены самому, как полагает Володя, позорному явлению наших дней, главной нашей общественной язве — «вещизму». В доме два ковра, оба не на полу, где в них имелся бы все-таки смысл, — нет, пол застлан пестрыми домоткаными дорожками, а ковры висят на стенах. Есть хрусталь, которым никогда не пользуются. У дочери, Володиной жены, есть джинсы и даже дубленка. У Володи джинсов нет, и ему не надо. Он и в группе, разглядывая однокашников, ребят и девчат, наряженных в «фирму», вслух выражает недоумение. Он считает, будущим журналистам это не к лицу. В ответ над ним подтрунивают, называют «человеком двадцатых годов». А один ехидный оппонент как-то сказал: «Программу «Время» смотришь? А «Международную панораму»? Так ты приглядиись, как зарубежные собкоры нашего телевидения одеты. Какие куртки. Рубашечки. А очки?» — «Так они же там годами живут, — нашелся Володя. — Что там продают, в то и одеваются. А ты живешь в рабочем городе. И «фирму» эту покупаешь не в магазинах, а сам знаешь у кого. У того, кого потом в своих же статьях разоблачать будешь. Как же ты это уравнишь?» — «А я сначала себя разоблачу, — сострил оппонент. — Перед тем как за статью сесть, сниму «фирму», надену робу». Беспокоят, очень беспокоят Володю такие однокашники, но беспокоят и тесть с тещей, достойные, казалось бы, представители.

На своей свадьбе он, помнится, был приятно удивлен наличием деликатесов, как-то: балык, копченая колбаса. И даже каждому гостю предназначалось по бутерброду с черной и красной икрой. Что-то древнее на тему «Знай наших!» шевельнулось в Володе, и он, захмелев с непривычки, говорил гостям, подражая какому-то киноартисту: «А вот икорочки, икорочки не забудьте... Рекомендую!» Но вскоре

после свадьбы поинтересовался, откуда все это взялось. Оказалось, тесть сходил к другу детства, Павлику некоему, директору продовольственного магазина. Так и сказал: «Сходил уж по такому случаю. Уломал гордость. Павлик, конечно, дал».

Вот такого рода испарения текущей земной жизни и сгустили облачко в синем майском небе Володиного счастья, и до поры до времени плывет оно, не то чтобы незамечаемое, но, если так можно выразиться, на периферии поля зрения, не столько омрачая общую картину, сколько придавая ей необходимую реальность.

Но наступает день, когда облачко разрастается до размеров тяжелой, грозовой тучи, и она, подобно крокодилу Чуковского, норовит проглотить солнце...

Выясняется, что ребенок, родившийся на месяц раньше срока, хилват, и его непременно следует на все лето поместить в живительный воздух сельской местности. Как ни странно, ни у родителей Володи, ни у тестя с тещей нет деревенских корней в виде каких-нибудь бабок или теток: те и те — потомственные рабочие и городские жители в нескольких поколениях. Потому снимается комната в деревне, у чужих людей, и встает вопрос о питании. С малышом все ясно — его пока кормит мама. Но надо будет кормить маму и приезжающего молодого отца. В деревне есть молоко, есть яйца. Нужны мясные продукты. Лучше всего — тушенка.

Тестю до смерти не хочется идти к Павлику. Несколько дней он себя настраивает: «Эх, как бабка моя говорила: раз оскоромишься, а второй уж проще!» Володя поначалу заявляет, что вообще не надо ходить, что обойдутся они без тушенки и прочих позорных подачек, лично он купленное по знакомству принципиально не будет есть. Но теща внятно объясняет, что речь и не о нем. Речь идет о здоровье молодой матери, твоей жены, матери твоего ребенка, питаться ей надо усиленно, калорийно, и пора бы тебе, Володя, это понимать, и так далее и тому подобное. Володя со своими протестами вынужден, что называется, заткнуться. Что ж, он, конечно, не станет посягать на здоровье и благополучие собственной семьи. Но и не одобряет. Его дело — сторона.

Но не получается — сторона! В канун, как идти, тестя прихватывает радикулит. Это в майскую-то теплынь! Очень подозрительно. Но факт, что нести тяжелое ему нельзя.

В результате прекрасным солнечным утром Володя плетется вслед за тестем, держа вместительную хозяйственную сумку, удивляясь и горя по поводу того, куда он так покорно идет. Нет у него никакого радикулита, думает он, глядя в широкую спину тестя. Нарочно приду-мал. Ему надо, чтобы и я «оскоромился», замарался чтобы, потерял право говорить... И я его теряю, это право, уже потерял, раз иду. Или

нет? В конце концов, я же ничего просить не собираюсь. Просто согласился помочь. Не ворованное же помогу вынести. А вот и ворованное, именно ворованное — в образном, конечно, смысле, но образный иной раз буквального точнее... Он идет и думает, что преступает в эти минуты свои принципы. Они — принципы — начинают представляться ему в облике высоких, выше человеческого роста, барьеров, стоящих вдали, в перспективе тротуара, поперек него, и становящихся по мере приближения к ним все ниже и ниже. И вот он уже свободно перешагивает через них — преступает. Как называется тот, кто преступает? Он называется: преступник...

Володе никогда еще не доводилось заходить в магазины со служебного входа, и он не знает, как выглядит потаенная сторона торговых заведений. Не встречался он до сих пор и с их директорами.

Они подымаются на бетонное облупившееся крыльцо, отворяют обитую листовым железом дверь. Проходят узеньким коридорчиком. Жмутся к стене, пропуская тележку с ящиками, которую сердито толкает паренек в замызганном зеленом халате. Входят в кабинет. Володя смотрит, как тесть и директор здороваются. Если не знать, кто из них кто, — не догадаешься. Тесть в костюме и при галстуке, и он полный, даже пухловат, ни дать ни взять — начальник. Директор сухощав, жилист. Спутанные волосы с невзрачной сединой. Он в чистой перестиранной курточке того же зеленого цвета, что и халат встреченного в коридоре грузчика. Под курткой расстегнутая на горле ковбойка. Обыкновенный работяга, да и только. Если бы не голос, не повадки.

— Стесняешься! — выговаривает он тестю. — Раз в год заходишь к другу — и стесняешься. Ай-яй-яй! Тут каждый день ходят да не просят — требуют. А попробуй не дай. Одному не дашь — машины не будет, другому не дашь — товара не будет, а третьему не дашь — вообще прикроет лавочку и печать на дверь.

Его прерывает телефонный звонок.

— Да... Да... Ладно, оставлю. А у тебя что? Ты там для меня, что будет из фруктов... абрикосы там, черешня... Говорю тебе — для меня лично. Я тебе когда отказывал? А ты... Тебе, наверное, Селиверстов советует меня разлюбить?.. Ну, шучу, шучу, это я так шучу. Все!

Володя не знает, как себя вести: презирать ли, или держать себя корректно, но независимо, или, в поддержку тестю, подчеркнуто уважать Павлика, друга его детства, а ныне всемогущего распределителя продовольствия. Но Павлику, видимо, все равно, как ведет себя незнакомый парень. Разговаривает он только с тестем. Так, чего тебе? Тушенки? Хорошо. Так. Пятнадцать банок — больше, честно, не могу. Так. Что еще? Не знаешь? Хорошо, что-нибудь еще посмотрим.

Вслед за директором они проходят коридорчиком и спускаются в подвал. Обдаёт холодом, сыростью. Внизу тоже коридорчик. По обеим сторонам двери. Свисает на шнуре голая лампочка, бьет по глазам.

Они входят в одну комнатку, в другую. В одной открывается упаковка с тушенкой, и означенные пятнадцать банок укладываются в сумку. В другой Павлик дает им рыбные консервы. Затем они оказываются в холодильной камере. Стены густо заросли инеем. Здесь сумка получает две палки копченой колбасы. Возвращаются в коридорчик. Павлик вдруг, ухмыльнувшись, поднимает палец: сейчас, мол, что-то покажу. Он открывает еще одну холодильную камеру. В ней на бетонном полу лежит огромный заиндевелый осетр. Больше ничего нет.

— Царь здешних мест! Я над ним не властен. Лежит до особого распоряжения. — Он поднимает глаза к потолку, показывая, с какой высоты может последовать это распоряжение.

Возвращаются в кабинет расплачиваться. И тут дверь без стука открывается. Входит, опираясь на палку, крепкий смуглый старик в темном, не по сезону, плаще. С ним мальчик.

— Садись, — говорит Павлик.

Старик садится.

— Пришел ты сегодня зря. Ничего нет.

Старик не уточняет, чего именно нет. Молчит.

— Ничего нет, — повторяет Павлик.

— Может, рыба есть? — спрашивает старик. У него акцент.

— Рыба есть, ледяная. Вон, в зале ее продают. Хочешь, я тебе завешу? Хорошая рыбка. Сколько тебе?

— Два кило.

— Галина!

Появляется Галина.

— Завесь ему рыбки два кило.

Галина уходит.

— А больше ничего нет. Рад бы, но ничего.

Старик сидит, уперев подбородок в набалдашник палки. Кажется, взгляд его устремлен на сумку у ног Володи. На ее раздутые бока. Это случайно, но это правильно, думает Володя. Правильно, что именно сейчас пришел несчастный старик, наверное ветеран. Это нужно, чтобы мне все-таки стало стыдно. Какая же я все-таки дрянь...

Галина приносит рыбу. Старик укладывает сверток в кошелку, идет к дверям, мальчик за ним.

— Будь здоров, — говорит он на прощание Павлику. Угрюмо говорит.

— В прошлый раз я тебе хорошо дал, — мягко замечает Павлик.

— Зайди во вторник... Азизов, — говорит он тестю, дождавшись,

когда старик с мальчиком вышли. — Был здесь директором. Давно, за двоих до меня. Шалил не в меру. Сидел. — Ясно, что сам Павлик хорошо знает меру «шалостей» и сидеть не намерен.

Тесть расплачивается. Благодарит. Прощается.

— До свиданья, — говорит и Володя.

Павлик вскидывает на него глаза словно впервые увидел.

— Я тебя не познакомил, — спохватывается тесть. — Это зять мой, хороший парень.

— Плохо кормишь, — шутит Павлик, окидывая быстрым взглядом фигуру Володи. — А чем занимается молодой человек?

— На журналиста учится! — В голосе тестя — нескрываемая гордость. — Уже в газетах печатают. Фельетоны пишет!

— Сатирик, — констатирует Павлик.

В Володе вскипает сильнейшее раздражение. Ему хочется сказать тестю, что если он ничего не понимает в жанрах, так помалкивал бы, что все, что напечатал Володя, — две информации и заметка. Сатирическая, да. Но заметка, а не фельетон. Да не в жанрах, черт побери, дело. Ведь тесть как бы говорит приятелю: вот тебе сегодняшний фельетонист — сейчас пришел к тебе со служебного входа полакомиться дефицитом, а завтра как ни в чем не бывало тебя же в газетке разрисует. То, в чем он, Володя, упрекал оппонента в группе... А сам, выходит, такой же. И не предположительно — фактически, да... Но пусть этот Павлик только позволит себе хоть слово насмешки! Хоть слово! Пусть только посмеет. Ноги моей не будет ни здесь, ни у тестя!.. А жена? Сын?

— И сатирикам надо кушать, — говорит Павлик без всякой иронии, с теплой интонацией заботливого родственника. — Заходи, не стесняйся. И вы заходите, молодой человек.

Он провожает их к выходу.

Хоть бы никого не было, молит Володя. Но возле крыльца полно людей. Парни в зеленых халатах разгружают машину. Идут прохожие. Носятся с криками дети. Все они, кажется Володе, пронизывают взглядами его сумку. Скорей, скорей... Они с тестем пересекают просторный двор, выходят на улицу. Здесь уже спокойнее. Этим прохожим ничего не известно. Володя идет, меняя руки на тяжелой сумке. Гадость, гадость какая, думает он. Нет, наше поколение все это ломает. Но надо знать это изнутри, надо почувствовать на себе, как это гадко: пользоваться чем-то наособицу, тайком. Даже хорошо, что я пришел сюда и все это сам увидел и сам пережил... Вот только нехорошо, что взял продукты. Так ведь каждый скажет: это я не просто пользуюсь, это я изучаю зло, чтобы лучше понять, как с ним бороться. Нехорошо, нехорошо...

Греет крепкое, почти летнее солнце. Сирень посылает через заборы терпкий аромат ветвей, кипящих в предельном цветении. Глубокое синее небо обнимает цветущую землю, весну, Володину молодость, и незримая туча висит в его синеве...

1985.

МУЖЧИНА ДЛЯ ИЗАБЕЛЛЫ

Тихим майским вечером я ужинал возле распахнутого окна, благодушно обозревая похорошевшее пространство двора. Теплые воздушные массы дотекли, наконец-то, до наших суровых мест, и дворовая растительность — тополя, березы, клены, кусты ирги и боярышника — с ошеломляющей скоростью погнала в трубку и тут же развернула свежий, клейкий, благоуханный лист. Зеленая дымка затушевала оскорбительные взгляду железные ящики для автомобилей в одном углу двора и какую-то вечную стройку в другом — нагромождение покореженных бетонных панелей, проржавевших конструкций, недокопанный котлован и незамкнутый забор. В такие вечера необычайно крепнет надежда, что в несуразную жизнь страны и ее отдельных жителей, включая меня, еще могут вернуться здравый смысл, покой и некая опрятность взаимного сосуществования.

Отдавшись легкому потоку приятных, но смутных размышлений о своем ближайшем будущем, я неторопливо прихлебывал чай и дожевывал бутерброд, когда снизу донеслись крики. Резкими, возбужденными голосами кричали старухи, обычно сидевшие на лавках возле подъездов. Единственное слово, которое можно было разобрать в их горячих причитаниях, было:

— Упал!..

Крики все длились и длились, и по-прежнему это все были женские голоса, и я понял, что ни один мужчина нашего стоквартирного пятиэтажного дома не пожелал выйти на эти сигналы какой-то пока еще непонятной мне беды.

Выйдя во двор, я увидел кучку старух и более молодых женщин, сгрудившихся вблизи стены дома, над клумбой.

Накануне во дворе состоялся внеочередной субботник, вдохновленный запоздалым потеплением и устроенный по инициативе пенсионеров, — соответственно, никто, кроме них, и не работал. Они окопали кусты и деревья и особенно тщательно взбили клумбы и посадили цветочную рассаду.

Вот на такой, до пуха взбитой и обильно с утра политой клумбе, раздавив хрупкие зачатки левкоев и анютиных глазок, лежал мужчина в мятой, черной, сливающейся с почвой пиджачной паре. Лежал

он на животе, раскинув руки, лицом в почву, как бы страстно целуя землю родины, и дрожал мелкой дрожью, и время от времени судорожно всхрипывал. Я тут же понял, что его рот и нос забиты влажной землей, и он задыхается. За те мгновенья, что я разглядывал его, мне в несколько голосов была выкрикнута краткая исчерпывающая информация: мужчина упал с балкона четвертого этажа. Одна из женщин, наша дворничиха, с перекошенным от переживания лицом все повторяла:

— Мимо меня пролетел! Вот так я, а так он летит! Вот так я, а вот так он!

Оказывается, она, живущая этажом ниже, вышла на свой балкон снять просохшее белье, и вдруг в сантиметрах от нее пролетел этот мужчина. Она убивалась с таким искренним покаянием, словно все мы обвиняли ее в преступной медлительности, не позволившей ей успеть перехватить летевшего и спасти его, и все объясняла, что это произошло слишком быстро, и она не успела ничего сообразить, а он уж пролетел далее. Еще бы, подумал я, падающее тело разгоняется с ускорением земного тяготения, равным девяти и восьмым десятым метра в секунду, — тут и не всякому предупрежденному хватит сноровки изловить.

Меж тем, сообразив, что он задыхается, и удивившись, как этого не понимают остальные, я решительно наклонился, чтобы перевернуть его, но тут же был остановлен истошным криком одной из старух.

— Не тронь! — Она с недюжинной силой вцепилась в рукав моей рубашки. — Нельзя!

— Почему нельзя? — спросил я, крайне удивленный.

— Нельзя их трогать, пока милиция не приедет! Их фотографировать надо! — закричала старуха. — Сперва фотографировать, потом уж трогать!

Надо сказать, я не впервые встретился с этой нашей массовой шизофренией, с этой манией запрета на самостоятельные действия до появления официально облеченных полномочиями сил.

Однажды зимой, в сильный мороз и в час, когда короткий день уже клонился к вечеру и в воздухе висела мгла, я оказался на проспекте, обычно оживленном, но в этот морозный день пустынным, как сельский тракт, и увидел, как через дорогу бредет старик в глухо завязанной ушанке, в плотной шубе с поднятым воротником, а наперерез ему мчится легковой фургон. Сейчас он собьет его, понял я, и крикнул предостерегающе с расстояния в полсотни шагов, но, конечно, старик не мог меня услышать. Зрелище оказалось удивительным. Фургон ударил старика со всего разгону, и старик, против моего ожидания, не свалился как подкошенный сноп, а взмыл

ввысь и упал на капот автомашины, а затем, выброшенный, как из катапульты, полетел, мелькая валенками, и снова был ударен фургоном, и только тогда упал на обочину, а фургон затормозил десятью метрами дальше.

И вот когда мы с перепуганным водителем фургона потащили старика, — кстати, не потерявшего сознание, — к ближайшим дверям, а ближайшими оказались двери булочной, оттуда выскочила тетка в белом халате и закричала:

— Вы зачем его трогали? Нельзя! И сюда нельзя! Положите, где был, пока милиция не придет!

Мороз был очень крепок, и старик стонал, ушибленный весьма основательно, несмотря на толстые свои одежды, но женщина, не из злобы inferнальной, не из мизантропии, отчего-то ей присущей, а единственно в силу рабской привычки сторониться любых чрезвычайных обстоятельств, пока не распорядится кто-то начальственный, продолжала загораживать от нас вход и негодуя всплескивала руками:

— Нельзя, нельзя!

Но когда мы все же втащили старика в помещение, она, поскольку не принимала участия в незаконном перемещении пострадавшего с места происшествия и даже — свидетелями все продавцы — энергично противилась этому, вдруг успокоилась и сама вызвала милицию и «скорую помощь».

В нашем случае, кстати, милиция и «скорая» тоже были вызваны.

Итак, старуха запрещала мне трогать упавшего. Причем, если ее убеждение, что его нельзя трогать до приезда милиции, напомнило мне о бытовании описанной выше рабской привычки, то второе ее предположение, что упавшего следует сфотографировать и именно в той позе, какую он принял, приземлившись, — навело меня на мысль, что телевизионные детективы, все эти бесконечные следствия, которые ведут знатоки, глубоко проникли в сознание даже вот таких довольно древних старушек.

Я вынужден был грубо оттолкнуть ее, — потому что мужчина уже хрипел тревожным предгибельным звуком, кратко и дурно всхрапывая, — и резко перевернул его навзничь. Так и есть: черная жирная земля залепила ему рот и склеила ноздри. Как смог, я очистил ему дыхательные пути, он хрипло вздохнул и задышал часто и освоенно, но мелкая дрожь не переставала сотрясать его. Густейший дух дешевого портвейна шибал из его рта. Это был пьяный вдрабандан мужчина лет тридцати пяти, щупловатый, тонкошеий, с потемневшими от пота рыжеватыми волосами.

Тут, довольно быстро после вызова одновременно приехали «скорая помощь» и милицейская машина. «Скорая» увезла пострадав-

шего, а милицейская машина уехала, оставив молоденького лейтенанта. Женщины наперебой сообщили ему, что мужчина упал с четвертого этажа, вон с того балкона, и милиционер отправился наверх, а я пошел сопровождать его.

— Это пультниковский дружок, — сказала дворничиха. — Пили вместе, вот и допился.

— А может, он к Изабелле лез и сорвался? — вдруг высказалась та старуха, что запрещала мне трогать упавшего.

Я с изумлением воззрился на нее. И не только потому, что Изабелла была интеллигентной женщиной строгого нрава и неприятно было слышать о выпивохе, который «лез» к ней.

— Мамаша, — сказал я вразумляюще, — но ведь балкон и окна Изабеллы выходят на улицу, притом она живет на пятом, а не на четвертом этаже.

— А перепутал спьяну! — находчиво возразила старуха.

А одна из ее подружек добавила:

— Им если надо, они и через крышу перелезут!

Никто, кроме меня, не оспорил этой замечательной версии, и следовательно, остальные женщины в какой-то степени разделяли, казалось бы, сумасшедшее предположение, что выпивоха взобрался на балкон четвертого этажа с целью попасть на пятый с противоположной стороны дома! И повстречаться там со старой девой, одинокой кандидаткой технических наук! Хорошего счастья желали в таком случае Изабелле ее замужние соседки... А может, имела место шизофреническая мечта о незнакомце, который вот такой нечаянной радостью мог бы однажды нагрять и к ним?

Мы с лейтенантом долго стучали в дверь Пульников: звонок был оборван. Наконец, хозяин открыл. Рослый, широкий в кости мужик. Заспанный, мятый и мрачный, каким был бы всякий, разбуженный посреди провального хмельного сна. Он упрямо не желал верить, что с его балкона выпал человек, и с надменным видом бродил по квартире вслед за лейтенантом, пытавшимся понять, что здесь, где и в какой последовательности происходило.

— Драка была? — спрашивал лейтенант.

— Драки не было, — эхом отвечал пьяный Пульников.

— С кем пил? — спрашивал лейтенант, обозревая кухонный стол с опустошенными бутылками, опрокинутыми стаканами и тарелкой, где в жиже рыбных консервов плавали огрызки хлеба.

— С кем пил, — чистым эхом и без вопросительной интонации откликнулся Пульников. Мучительное желание вспомнить выпрямляло его, а лицу придавало все более важное и строгое выражение.

Внезапно лейтенант проявил подлинное шерлокхолмство. Дойдя в своем расследовании до ванной комнаты, он, разглядывая дверь, обратил внимание на некую деталь и спросил:

— Почему задвижка сорвана?

Пульников напрягся. Жестом роденовского мыслителя уперев пальцы в лоб, он замер перед близкой разгадкой. Затем заглянул в ванную и неуверенно произнес:

— Гоша... А где Гоша?

— Рассказывайте, — приказал лейтенант.

Пульников рассказал. Гоша, свой брат-железнодорожник и более того, его напарник по локомотиву, пришел утром, и они сели пить. В какой-то момент Гоша вспомнил, что ему с утра на линию, и решил идти домой. Но Пульникову хотелось продлить дружеское общение, и он стал не пускать Гошу. Они немного подрались. Пульников, более сильный физически, победил. Он запер Гошу в ванной, чтобы тот успокоился, а сам лег и прикорнул. Проснулся от нашего стука.

— Ясно, — сказал лейтенант. — Гоша выбил дверь ванной и пошел домой. Но домой он прошел через балкон. Это у вашего брата бывает.

Только тут Пульников окончательно уразумел, что Гоша упал с балкона. Казалось, первым делом он спросит, жив ли его друг, и если жив, то сильно ли разбился. И в какую больницу его увезли. Еще предположил я, что дружба, хоть и скрепленная в основном выпивками, но все-таки мужская дружба двух работающих вместе работяг, заставит его засуетиться и поспешить к семье Гоши, чтобы объяснить им трагическое исчезновение кормильца.

Но ничего этого не произошло. Пульников был задумчив, скреб подбородок. Потом сказал:

— Дак че... Мне, значит, заместо него завтра выходить? Дела. Я ведь не просохну...

Недели через две, возвращаясь с работы, при входе во двор я догнал двух мужиков, один из которых нес авоську с тремя бутылками портвейна, а второй семеня рядом и что-то оживленно рассказывал. В первом я еще со спины узнал Пульникова. Вторым, как я рассмотрел, обгоняя их, и, как вы, конечно, догадываетесь, был Гоша. Прошло, повторяю, всего две недели, и это непреложно означало, что при падении с четвертого этажа Гоша ничего не сломал в своем костяке и не отбил внутренностей. Иначе ему бы еще лежать и лежать на больничной койке.

Взбитая ли до пуха клумба была причиной столь счастливого исхода или подтвердилось известное мнение, что пьяного черт не берет, но живой и невредимый Гоша частил кривоватыми ножками рядом

с медведеобразным Пульниковым и без умолку болтал, вдохновленный предстоящим выпивоном.

Страшное, посиневшее, со вбитым в ноздри черноземом лицо, запомнимшееся мне, оказалось румяным, усыпанным легкими веснушками, и весь он, худенький, рыжеватый, с несколько суетливой, но бодрой походкой, производил впечатление большого симпатяги.

И вот такой, как в эту минуту, — трезвый, ясноглазый, умытый, в знакомой мне пиджачной паре, но не мятой, а тщательно отглаженной, улыбочиво несущий какую-то развеселую околесицу, — он чисто теоретически мог бы понравиться даже и суровой Изабелле. А может, и практически. Не раз я имел случаи наблюдать, какой загадочной привлекательностью пользуются у женщин такие разудалые мужичонки, пьющие любую дрянь, бьющие друг другу носы без злобы и падающие с балконов ли, в траншеи ли или просто в лужи почти без последствий — ваньки-встаньки и фениксы, восстающие из пепла. Пользуются, леший их задери! Правда, пожалуй, не у всяких женщин — не у таких интеллигентных и строгих, как Изабелла. Но кто знает? Женщины чувят: что-то в них есть бесконечно жизнелюбивое, неукротимое, что-то стойкое и бессмертное, в неразбиваемых алкашах.

Друзья подошли к подъезду, рыжий Гоша притормозил, вскинул солнечную голову и проследил путь своего недавнего полета от перил балкона до купола клумбы. Левкой и анютины глазки начинали зацветать, в их пестрой смеси чернела большая грубая проплешина. Гоша указал Пульникову на свой след, оставленный им в истории и географии нашего двора. Он покачал головой, как бы в изумлении и восторге от своего чудесного приключения, и радостно улыбнулся.

1988.

ОЧКИ

1

Скорее, не рассказ, а попытка открыть перед людьми с нормальным зрением мироощущение близорукого человека. Попытка, может быть, заведомо неудачная, если сопоставить ее с почти обратной: возможно ли объяснить человеку, слепому от рождения, образ пространства и многоцветье мира?

Странное слово: «близорукость». В нем прочитывается нечто большее, чем просто слабое зрение. Если зоркость — способность видеть отчетливо, острота зрения, и если «дальнозоркость» — повышенная степень зоркости, то почему «близорукость», а не «близорукость»? Неужели только из-за неблагозвучного «зозо»? А не потому ли, что

крошечным пространством, лежащим в пределах досягаемости рук, человек распоряжается много властнее, чем миром, начинающимся сразу за кончиками пальцев? Близорукость — это сосредоточенность на том, что рядом, близ руки, под рукой, это изначальное доверие и преувеличенная приязнь к миру, что легко доступен одновременно и зрению и осязанию. И это, соответственно, преувеличенная настороженность ко всему, что расположено вдали и смутно различимо, и ощущение опасности, исходящей от всего того, до чего не может дотянуться рука. Дотянуться и осязательно подтвердить оценку, добытую зрением.

Близорукие могут не читать написанного здесь, все это они знают сами.

2

Минута, когда солнечным летним утром в магазине «Оптика» на Владимирской улице в центре Киева я впервые в жизни надел очки, запомнилась как одно из самых больших разочарований в окружающем меня мире.

3

Человек рождается с иллюзией предстоящего бессмертия; с какой иллюзией он умирает — живым знать не дано. По мере того, как ребенок подрастает, в нем непрерывно вырабатываются и рушатся все новые и новые иллюзии, чаще всего основанные на предположении, что жизнь интересна, что она чревата приятными неожиданностями, а мир справедлив. В годы раннего детства возникающих иллюзий куда больше, чем исчезающих. В отрочестве и юности наступает приблизительное равновесие. Вступая во взрослое состояние, человек перестает обретать новые иллюзии и безостановочно теряет те, что накопил. Их полное отсутствие, собственно, и составляет главный признак наступления взрослости.

В этом процессе, который не миновал ни одну живую душу на Земле, человек с хорошим зрением заведомо накапливает меньше иллюзий, чем близорукий. А близорукий тем быстрее встает в ряды людей, объективно оценивающих жизнь, чем раньше заводит очки. Да, зрительный образ мира, иллюзорный для слабо видящих, оказывает на их развитие существенное влияние. Людям с нормальным зрением следует учитывать это обстоятельство, когда они имеют дело с нами, полуслепцами — чтобы делать правильные выводы, сталкиваясь с нашей мечтательностью, затянувшейся инфантильностью, с

тем, что мы стеснительны, ранимы и вообще повышенно чувствительны. Все это у большинства близоруких отнюдь не врожденные черты, а прямое следствие слишком позднего приобретения очков.

Правда, в наши дни, по причине катастрофического нездоровья в общенародном масштабе, нелады со зрением настигли едва ли не каждого третьего. Нужда в очках стала массовой и не случайно практически исчезла дразнилка «очкарик». Без особых переживаний соглашаются носить очки нынешние дошколята. И реальный мир не запаздывает развернуться во всех своих подробностях перед слабыми очами нашей детворы.

В дни же моего послевоенного детства и отрочества пользование очками наталкивалось на фундаментальные (если не фундаменталистские) нравы двора и улицы. Очки входили в число наиболее легко опознаваемых и уличимых признаков «интеллигентского» облика, столь яростно ненавидимого и презируемого благодаря торжеству революционных догматов.

4

Возможно, зрение мое не было таким уж плохим от рождения и испортилось в школьные годы. Не помню, чтобы в раннем детстве что-нибудь мешало мне в играх со сверстниками: во всех этих прятках, догонялках, в лапте, чижике и прочих забавах, где требовалось то разглядеть спрятавшегося, то увернуться от летящего в тебя литового резинового мяча, то, наоборот, поймать в воздухе кувыркающуюся остроконечную деревяшку. А незабвенная чика, в иных краях более известная как расшибалочка? Расстояние, конечно, невелико — десяток шагов, но ведь и попасть надо в крохотный столбик, составленный из монет. Попадал же я в эту самую «чику» — стало быть, способен был разглядеть ее.

Начальные школьные годы я по воле учительницы провел на первой парте, доска была близко, да и почерк в младших классах у всех крупный и старательный. Потом меня перевели в другую школу, там я оказался на предпоследней парте, и выяснилось: чтобы разглядеть написанное на доске, нужно напрягаться, шуриться. Непроизвольно я вставал и делал несколько шагов по проходу. Кто-то из учителей заметил, и меня пересадили поближе. Так я узнал о своем неважном зрении. Но об очках не было и речи. Что я не желал становиться «очкариком» — понятно, но странно, что и взрослые — и учителя и даже мои родители — не настаивали, чтобы я завел очки.

И кто знает, когда бы я надел их, если бы не моя энергичная киевская тетя.

Она не видела меня несколько лет и, когда я приехал к ней гости после выпуска из средней школы, была приятно удивлена видом подросшего племянника. Она не знала, что я плохо вижу, но быстро догадалась сама; не помню уж как.

Замечательная черта моей тети заключается в том, что если возникает проблема, тетя начинает решать ее немедленно.

Вот и в этом случае она, не слушая моих возражений, взяла меня, как маленького, за руку, и потащила заказывать очки.

5

Законы, под действие которых мы попадали, вырастая в послевоенных дворах, сложились, конечно, до нашего появления на свет. В основе их лежало то презрение ко всему «приличному», какое возникло в первые годы после Октября. Что революция подвергла остракизму все, что хоть как-то походило на «господские» нравы — ладно, но отчего открыла широкую дорогу не пролетарским и тем более не крестьянским, а — люмпенским? Неприемлемыми оказались и довольно скромные привычки житейского комфорта, и опрятность в одежде, и вежливая манера разговаривать, и все «хорошие манеры» вообще. По отношению к традиционной общечеловеческой этике эта была перевернутой, опрокинутой: правила хорошего люмпенского тона. В наиболее чистом виде они бытовали среди детей и подростков, подпитываясь к тому же нравами уголовного мира через верховодившую по дворам шпану.

Забавно, что наряду с этим до нас каким-то чудом долетели осколки неведомого нам и в целом глубоко чуждого кодекса чести. Так, почти неукоснительно выполняемые правила драк: «до первой крови» и «лежачего не бьют» — наверняка несли в себе отзвук дуэлей, а может быть, еще и рыцарских поединков.

В остальном нравы были примитивны, жестоки и грубы.

Этические представления о пристойном внешнем облике укреплялись еще и экономическим состоянием большинства — проще говоря, бедностью и нуждой. Едва в шестидесятые годы появился массовый достаток, как из молодежной и подростковой среды быстро исчезла установка на потрепанную одежду, носимую с подчеркнутой небрежностью; и появились миллионы юных модников, а джинсы, кожаная куртка, фирменная майка стали допуском к равному общению посвященных.

Но в послевоенные годы хорошо одетый ребенок или подросток вызывал у неформальных лидеров дворов и кварталов прилив желчи, а если он упорствовал в ношении новой, чистой и опрятной одеж-

ды, в аккуратности прически, то доводил вожаков и предводителей ребячьих племен до ярости и гнева.

Выглаженная рубашка или начищенные ботинки непременно провоцировали вопрос, более похожий на допрос:

— Ты чѐ вырядился?

И только если выяснялось, что пацан обязан был «вырядиться», был принужден к этому обстоятельствами («да мать к родичам волокет, именины там у дядьки», «да седни в школе у знамени стоять» и тому подобное), он без последствий выпускался из двора в этом своем вызывающе аккуратном обличи.

Настоящего пацана, кроме глаженной одежды и начищенной обуви, позорили также ношение теплого шарфа, галош, застегивание рубашки, курточки или пальто на верхнюю пуговицу. До возраста, в котором начинались походы на танцы, неприлично было иметь прическу. Один из самых ярких наших хулиганов, уже начав лапать девчонок в связи с нормальным половым созреванием, долго еще оставался нечесаным и лохматым, и как же я был поражен, когда он, найдя вдруг не «хевру», а самую настоящую невесту, за день до свадьбы посетил — полагаю, впервые в жизни — парикмахерскую и возник во дворе с дивно похорошевшей головой, украшенной рыжими завитками шестимесячной завивки!

По тем же дворовым законам пацанам было неприлично учиться музыке и играть на фортепиано, а особенно — на скрипке.

И очень, очень крепко позорило пацана ношение очков.

Ребенок, посмеявшийся согласиться, водрузить на носик оптику, коррегирующую недужное зренье, сразу становился неполноценным в глазах двора и получал кличку «слепошарый» или, помягче — «очкарик».

Вот почему, когда я понял, что плохо вижу, я так и не решился завести очки.

6

Как человек с нормальным зрением не в силах представить себе, что это значит — плохо видеть, так и близорукий, пока не водрузит на нос вспомогательный инструмент, не может вообразить, что именно видят вокруг себя остальные люди.

Когда мы с тетей шли в «Оптику», и я продолжал уныло бормотать, что все равно не стану носить очки, что я привык и прекрасно обхожусь без них, что они мне не идут, и что это вообще доука и морока — вечно таскать на носу какую-то раскоряку с хрупкими стеклышками, тетя сказала:

— Чудак! Зато будешь видеть хорошо.

— Что значит — хорошо? — возразил я. — Ну, я не вижу каких-то там деталей, подумаешь.

— Ладно, — сказала тетя. — Ответь-ка мне, кто там идет нам навстречу.

В этот утренний час Владимирская улица была довольно пуста. По тротуару, в легкой тени каштанов, по направлению к нам двигалась фигура прохожего. До нее было шагов полтораста

Я прищурился.

— Ну, кто. Прохожий. Человек.

— Мужчина или женщина?

Я прищурился сильнее.

— Женщина.

— Молодая или старая?

— Ну, подойдет поближе, разберусь.

— Ну, а теперь слушай, что значит нормальное зрение, — сказала тетя не без гордости, как если бы зрение у нее было все-таки лучше нормального. — Это молодая женщина, довольно миловидная. Правда, небезупречного поведения, или муж у нее драчливый, потому что у нее под левым глазом припудрен, такой, знаешь, крепенький синячок. Со вкусом у нее тоже неважно, грубая фиолетовая помада, и сумка у нее хоть и дорогая, но очень не модная — с такими застежками теперь носят только в деревнях.

— Ты, что, видишь такие подробности?! — изумился я. — Не может быть!

Но несколько секунд спустя мы поравнялись с женщиной и я убедился, что тетя ничего не придумала.

Мне ее зоркость показалась волшебной.

7

Есть, однако, свое волшебство и в близорукости. Она безусловно способствует поэтическому воображению.

Представим, к примеру, зимний морозный вечер в уральском городе: однообразные улицы, на которых пятиэтажные дома переметаются с дореволюционными строениями — бревенчатыми, на каменной основе, с тесным строем маленьких окошек; улицы, прерываемые пустырями, свалками, покосившимся забором заброшенной стройки, чьи полтора этажа цепенеют под мертвым взглядом подъемного крана. Продрогший прохожий шагает тропой, пробитой меж высоких сугробов, грея варежкой затвердевший нос, с мучением втягивая склеенными ноздрями режущий январский мороз. Бетонные столбы, редко

расставленные у обочины, сопровождают его, выстилая под ноги мутные пятна света. Лампочка упрятана в жестяной конус. Если глянуть на нее, можно узреть раскаленную спираль, а если остановиться и замереть, услышишь тонкое комариное жужжание. Одинаковость пятиэтажек, архитектурно решенных как сараи с балкончиками, стена недостроенного здания с застывшими струями раствора, чередование тусклых световых пятен под ногами и на сугробах... какая тут к черту может быть поэзия?

Но вот этой же улицей идет близорукий отрок, из предрассудков и гордости не носящий очков.

Мрачными и торжественными представляются ему многоэтажные фасады, невыразимо уютными — бревенчатые домики, заметенные снегом до окон; зубчатую стеной замка высится нечто недостроенное, а смутная громада крана уходит к звездам, напоминая ракету или Эйфелеву башню; лампочки в жестяных конусах видятся ему как лучистые светочи, а перспектива улицы пропадает в сумерках и ведет в неведомые страны...

В поле зрения близорукого все зыбко, все теряет свои истинные очертания, лишено принижающих подробностей. Здесь есть где разгуляться сказкам, призракам, химерам, они и разгуливаются (разгуливают рядом, выглядывают из-за углов, маячат в проемах дворов)... Той же самой, убитой ногами сотен прохожих тропой, по которой нормально зрячий бредет с ощущением неудавшейся жизни (может ли она удалась среди таких унылых кварталов, в окружении столь безнадежно заброшенных строек и столь неисправимо загаженных пустырей?), эту же тропой близорукий отрок шагает, окутанный счастливым невидением и неведением, и лучистые земные звезды ведут его от одной сказки к другой.

8

А если ничего не видно вовсе? Что думает человек о том, чего никогда не видит? Какими образами заселяет слепец таинственную пустыню, лежащую за пределами его осязания и слуха?

Слепая девочка жила в соседнем доме и дружила с моей старшей сестрой. Она редко выходила во двор, а когда мы затевали шумную игру, вставала в распахнутом окне и смотрела. То есть, конечно, слушала. Однажды сестра прихватила меня с собой к ней в гости. У себя в комнате девочка двигалась так уверенно, что и заподозрить было нельзя ее слепоты.

— Это мой братик, — сказала сестра и подтолкнула меня к девочке. Ее руки, как бы живущие самостоятельной жизнью, вспорхнули,

опустились мне на плечи. Затем, проведя по шее и чиркнув пальчиками по стриженному затылку, приласкали макушку и забегали по лицу. Я был взволнован: во-первых, впервые так близко стоял перец слепым человеком. Во-вторых, ко мне впервые прикасалась девочка, если не считать сестры, которой, когда я был совсем маленьким, иногда поручали вымыть мою «мордашку». Но я уже хорошо понимал, что для меня между сестрой и всеми другими девочками есть разница.

— Ну, вот, теперь я тебя запомнила, — удовлетворенно сказала она.

— Какие у тебя губы... важные! И у него две макушки, — обратилась она к сестре.

— Знаем, — сестра засмеялась. — Он у нас умный-умный!

Эта встреча подтолкнула меня к размышлениям: как живут слепые, что они чувствуют? Мне захотелось проверить это на себе и однажды, оставшись дома один, я решил пройти по квартире с закрытыми глазами. Я встал у порога и внимательно исследовал предстоящий путь: вдоль буфета, налево в дверь, а во второй комнате, сделав два или три шага, повернуть направо, сделать еще шаг, и если все будет сделано правильно, я наткнусь на табурет, стоящий в моем любимом уголке между печью и письменным столом. Убедившись, что все хорошо запомнил, я закрыл глаза и начал путешествие, но отчего-то тут же открыл их, словно тьма вытолкнула меня, не пожелав допустить в свои глубины. Тогда я снова занял исходную позицию, зажмурился старательнее и стал ждать, пока тьма не соблаговолит впустить.

Поначалу ничего не менялось, я как бы продолжал видеть залитую солнцем комнату, ближний ко мне угол буфета, красивый его изгиб, рисунок дерева, его теплый красноватый оттенок, в темноте передо мной подрагивали светящиеся точки — след солнечных искр, бившихся в трехъярусной хрустальной вазе. Особенно ясно я представлял доски пола у себя под ногами и продолжал видеть или помнить трещины, сучки, места, где облупилась краска. Тьма подступала медленно. То ли она впускала меня в себя, то ли проникала в меня и затапливала, как талая вода, каждую весну затоплявшая подвал под нашим домом. Вдруг я ощутил, что не стою неподвижно, а чуть покачиваюсь: невесомо, приятно, чуть-чуть... чуть-чуть... И тут стали слышны звуки. Первым пришел перестук часов, в его-то ритме и совершалось покачивание. Звук, как ему и полагалось, шел справа, со стены, где висели часы, но еще никогда я не ощущал с такой точностью направление звука и не чувствовал так верно, где расположен его источник. Казалось, видна даже линия, нечто вроде паутинки. Кусочки звука, короткие сухие перещелки, выскакивали

из часов и соскальзывали по паутинке, протянувшейся через комнату наискось и пронизавшей мои уши. Тик-так... тик-так... Чуть-чуть... чуть-чуть...

Ожил безмолвный коридор за входной дверью — оттуда донеслось шарканье, и не было сомнения, что ноги обуты в галоши, а галоши велики: шарканье было тяжелым и заканчивалось тупым пристукиванием, когда стопа утыкалась в свободный носок. Затем раздался скрип открываемой в общую кухню двери, и шарканье растаяло. Из-за стены слева пришло бульканье и клокотанье водопроводной трубы. Легчайший звук приплыл из недр буфета: с шорохом, не громче того, с каким в печи рассыпается остывающий уголь, вздохнуло разохшееся дерево. Тоненькое на пределе слышимости, прилетело дребезжанье оконных стекол, и тут же во дворе зафырчал мотор грузовика. Его грубый и сильный голос стер остальные звуки, а потом затих сам, и снова вернулся перестук часов, и я почувствовал: тьма впустила меня. Можно было отправляться в путь. Но, странно, я забыл о своем начальном положении. Вернее, помнил об одном, а представлял другое. Хорошо помнил, что буфет находится слева, но чувствовал его большую массу прямо перед собой, и мне хотелось пойти направо, чтобы обогнуть его. Все же я шагнул вперед и, не наткнувшись, испытал облегчение. Несколько шагов, поворот налево, я уже во второй комнате, шаг, другой, третий... Нет, это, пожалуй, лишний. Я шагнул назад и наклонился: здесь должен стоять табурет. Я чуть покружился на месте, пошарил слева, справа... Табурета не было. Сделал короткий шажок... еще один... Что-то ударило по ногам. Ощупал: стул. Один из стульев, стоящих только в первой комнате. Как я в нее попал? Я обошел стул, вытянул руки. Они встретили пустоту. Теперь я не удивился бы, если бы узнал, что прошел через стены и стою во дворе. Тьма была такая плотная и бесконечная, и мне стало по-настоящему страшно не понимать, где я. От страха я даже не сразу сообразил, что достаточно открыть глаза. Наконец, открыл. Я стоял в углу возле пианино. Как я сюда попал? В комнате ничего не изменилось за время моего путешествия. Солнце все также разбивалось на искры в трех ярусах хрустальной вазы на верхней полке буфета. Часы мирно тикали на стене. Комната выглядела привычно и безмятежно. Но где-то рядом, отделенная одним движением глаз, одним поворотом век, затаилась тьма.

Теперь я знал, где живут слепые. Оказывается, в одном пространстве помещаются два мира, и если и в светлом хватает опасностей, то темный только из них и состоит.

В «Оптике» меня первым делом завели в длинную узкую комнату. На дальней стене висела таблица для проверки остроты зрения. В применение ко мне речь должна была идти не об остроте зрения, подумал я, а о его тупости. Мне велено было сесть на стул у порога и читать таблицу сначала одним глазом, потом другим. Выяснилось: оба одинаковы. Оба разглядели громадные «Ш» и «Б», составившие верхний ряд, и оба угадали по букве в следующей строке. Затем мне нацепили на нос очки. Я ощутил твердость дужки на переносице, тугие оглобельки больно притиснули уши. И нечто неопишное предстало моему взору: четкие, ясно различимые буквы, все более и более мелкие. Я звонко произносил абракадабру, пока не прошел десять строк. Ниже шли буквы, не различимые и в очках. Но не успел я расстроиться, как выяснилось, что это как раз хорошо, что эти стекла в точности дают мне нормальное зрение, а следующие строчки разоблачают в смотрящем на них свойство, обратное близорукости — дальнорукость. Кроме того, оказалось, заказывать очки мне не нужно — есть готовые. Все, что требовалось от нас с тетей — заплатить в кассу и получить новое зрение.

Несколько минут спустя продавщица подала мне очки. Я осторожно поместил их на переносицу, на их отныне законное место.

Первое, на что я посмотрел, была стена. За мгновение до того она виделась мне гладкой глянцевитой поверхностью, ровно окрашенной в ядовито-голубой цвет. Идеально ровно! Теперь я с изумлением увидел множество шероховатостей, подтеков, и ясно читались следы малярной кисти: вот здесь они шли сверху вниз, а там — поперек.

— За ушами не давит? — спросила продавщица.

Когда мы с тетей вошли в «Оптику», я еще издали услышал мелодичный напевный голос этой молодой полноватой украинки и, проходя в комнату, где проверялось зрение, бросил на нее взгляд и увидел чистое румяное лицо, рыжеватый перманент над высоким лбом; славная, подумал я.

Теперь же, переведя на нее волшебные окуляры, я увидел... Да, она была молода, но вовсе не так, как мне показалось. Ей было не меньше тридцати, что мне, восемнадцатилетнему юнцу, уж и не казалось молодостью. Морщинки пучочками сбегались к глазам, на крыльях носа цвели крапчатые оранжевые веснушки, а над верхней губой стоял легкий пушок, и в боковом свете солнечных лучей, вливавшихся через огромную витрину, я различил прозрачайшую тень этого пушка, сквозным мазком упавшую к устью губ...

— Давит, мабуть?

Вероятно, на моем лице отразилось разочарование, огорчение, воспринятые ею как гримаса боли, и подтверждение ее догадки, что «за ушами, мабуть, давит». Она взяла очки и осторожным движением развела оглобелки.

Я в это время высказался насчет того, что не представляю, как можно привыкнуть к постоянному нахождению на носу какого-то предмета, который к тому же в любой момент может упасть и разбиться, и что отныне у меня будет не жизнь, а морока.

— Да что вы, привыкнете! — воскликнула продавщица.

Кроме того, принялась объяснять она, это не навсегда, а только до старости. Да-да, уверяла она, у близоруких есть свое преимущество: в то время как люди с нормальным зрением с возрастом становятся дальнорезкими и вынуждены заводить очки, у близоруких зрение — да-да! — становится нормальным. Вот так!

Я вздохнул, поправил сползавшие на переносице и все-таки давившие за ушами очки... И начал ждать старость.

1990.

«А МОРТО ПАСТЕРНАК»

Когда я впервые услышал его стихи?

...Пятьдесят восьмой год. Политехнический институт. Фойе главного корпуса, устроенное на старинный манер: с колоннадой и двумя ярусами антресолей. На верхних антресолях, в просторной выгородке — редакция популярной институтской стенгазеты с могучим, характерным для того времени названием: «Боевой орган комсомольской сатиры». Окно выходит на осевую линию проспекта Ленина. Серая спина бетонного Кирова, цветники, газоны, уходящие в перспективу трамвайные пути — впрочем, перечеркнутые эстакадой на Восточной. Гигантские буквы вдоль эстакады, ясно видимые за километр, призывают семимильными шагами идти в светлое будущее. Вдохновляющий пейзаж!

Я один из редакторов и нередко провожу здесь весь день до позднего вечера. Кроме того, числю себя поэтом и хожу заниматься в литературное объединение. И наконец, я студент. Но учиться некогда. Вот и сейчас надо срочно написать фельетон о прогульщиках, пропускающих лекции. Естественно, я и сам смылся с какой-то гидравлики, чтобы успеть с фельетоном в номер.

Входит мой друг Н., наш ведущий сатирик и поэт, человек с мощным голосом и с мужественным профилем, чье главное украшение — сломанный на боксерском ринге нос. Н. склоняется надо мной, как бы желая прочесть, что я написал. Мы часто пишем вместе, и в его

любопытстве нет ничего бесцеремонного — я не протестую. И вдруг его бас загудел мне прямо в ухо:

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем...

Мне показалось, на меня пролился поток марсианской речи: нечто полновзвучное, бурное, страстное и полностью лишенное смысла.

— Ничего не понял. Повтори.

Н. повторил.

— Кто это?

— Пастернак.

При втором чтении мое восприятие на миг прояснилось. Оно ухватило строчки:

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!

Рук к звездам не вскинет ни один бурун...

Я смотрел в окно. Там, вместо приветственно взмахнувшего рукой Кирова, горящих на солнце рельсов и прочего вдохновляющего пейзажа, вздыбился океан в мрачной ночи с далекими звездами, и пенящаяся волна вздымалась, клокотала, рвалась ввысь и обессилено опала, а вслед за ней столь же безнадежно взлетала следующая. Тщета наших усилий что-нибудь значить, чего-нибудь достичь, состояться, прославиться, дотянуться до истины. Словно бесконечные круги по воде, наплывали одна за другой разгадки диковинного образа.

Н. всегда раньше меня узнавал что-нибудь новое для нас, поневоле отрезанных от множества славных имен русской поэзии. Не забудьте, это было время, когда только-только начинали заново публиковать Есенина, а Цветаева, Ахматова, ранний Заболоцкий, не говоря уж о Гумилеве или Мандельштаме, ходили в списках.

На этот раз он раздобыл раннюю лирику Пастернака. Со всей страстью неофитов влюбились мы в этот грандиозный сумбур, в эту неслыханную музыку, в эти невиданные зрелища, «где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы». Позже мы прочитали и все остальное, вплоть до последних, классических ясных вещей, но главной любовью осталась «Сестра моя — жизнь», другие ранние книги, и главным очарованием была невозможность исчерпать смысл образа. «Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей?» Но потрясали и строки, по внешнему облику чрезвычайно простые, и их колдовство было вовсе необъяснимо: «Не время ль птицам петь?» Эта строка несколь-

ко лет служила нам с Н. паролем, приветствием, запевом или итогом разговора.

Только что отшумела кампания, связанная с Нобелевской премией. Мы не читали «Доктора Живаго», но и тени сомнения не было: не мог автор «Сестры моей — жизни» написать клеветнический роман. Впрочем, и те, кто сыпал грязными оскорблениями с газетных страниц, тоже не читали. Но тогда — и еще много лет спустя — это было в порядке вещей.

Возмущение гадкой травлей, шабашем фальши и лицемерия и было, скорее всего, причиной, по которой мы с Н., любя Блока и Маяковского, а Н. еще — Сашу Черного, а я еще — Есенина, Цветаеву и Гумилева, погружались в «пастернакипь» с особым чувством восторга и сострадания.

...А затем я вижу себя дома, в начале июня шестидесятого года, раскрывающим свежий номер «Литературки». Хроника писательской жизни. Статьи. Рецензии. А что это за траурная рамка? Такая крошечная, тоненькая. Обычно так редакция выражает соболезнование кому-нибудь из сотрудников, утерявшему близкого человека...

«Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда ПАСТЕРНАКА Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с. г. на 71-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».

Я перечитывал семь строк nonпарели, заверстанные в самом незаметном углу полосы. Семь строк, написанных нехотя, по тягостной обязанности. Процеженных сквозь зубы. Не использован даже минимальный набор традиционных ритуальных формул: «с глубоким прискорбием извещает» и «выражает искреннее соболезнование». Что ж, правильно. Ибо нет ни искренности в соболезновании, ни скорби в извещенье.

Я не знал тогда, что такое Литфонд. Я понимал только, что Пастернака не стало и что даже после смерти с ним поступили подло.

— Подлость, какая подлость! — повторял я, и никакие другие слова не приходили в голову. Я чувствовал, что не могу сидеть дома, что должен куда-то бежать, что-то делать.

Я побежал к Н. На полдороге я вспомнил, что он, уже закончивший институт и работавший на заводе, уехал в командировку. Я вернулся домой. Что я должен делать? Я должен написать. Что и кому? Я должен обратиться к авторитетным людям. К тем, кому, в моем представлении, был близок поэт.

Еще ни разу в жизни я не писал писем незнакомым людям. Тем более знаменитым писателям. Я долго составлял свое письмо... Его черновик хранится у меня до сих пор. Теперь я смотрю на этот текст

с чувством неловкости. Как же я, оказывается, пыжился, как высокопарно изъяснялся, пытаюсь придать своим словам значительность и солидность! Видимо, я ужасно боялся, как бы адресаты не раскусили, что к ним, мэтрам, обращается желторотый мальчишка. Но не могу судить себя строго: легко ли было безвестному молодому провинциалу сохранить естественность при обращении к людям, известным всей читающей стране?

«Многоуважаемый...!»

История русской литературы перенасыщена чудовищными несправедливостями, вот последняя из них: «Литфонд СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда...».

В какой-то мере «Лит. газета» права. Умер член Литфонда. Крупнейший русский лирик — жив. Поэзия Б. Пастернака принадлежит к немногим образцам истинного искусства, следовательно — вечна.

Странная тенденция запретить Пастернака бесперспективна, как имевшие некогда место попытки запретить Маяковского и Есенина. Но есть опасность, что ближайшие поколения молодежи в своем знакомстве с поэзией пройдут мимо творчества Бориса Пастернака.

Вернуть поэту имя, а народу — поэта, есть ли задача более благородная и цель более необходимая?

Призываю Вас употребить в этом направлении Ваши силы, Ваш высокий общественный авторитет, Ваш замечательный талант.

С искренним уважением».

Внизу на черновике имеется пометка, благодаря которой я вижу, что отправил это письмо Асееву, Шкловскому, Сельвинскому и Эренбургу. Таков был, в моем тогдашнем представлении, список тех, кто мог защитить имя великого поэта.

Недели через две вернулся Н. Я показал ему черновик письма. Он выразил сильное сомнение в том, что именитые адресаты откликнутся. Потом мы пошли к нему. Н. недавно получил от завода комнату, но еще не жил в ней, так как не имел буквально никакой мебели. Мы вошли в комнату, запасшись хлебом, сыром, бутылкой вина и двумя стаканами, спрошенными у соседки, и поняли, что здесь даже сесть не на что. Тогда я сбегал на угол к газетному киоску и купил пачку нераспроданных газет, отечественных, а также иностранных, многополосных, а потому особенно удобных для использования в качестве подстилки и скатерти, да простят меня органы братских компартий.

Мы устали газетами пол, поставили вино и стаканы, нарезали хлеб и сыр и начали поминальный ужин. За окном сначала долго не гас бесконечный июньский вечер, затем повисла легкая серебристая, почти белая ночь...

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить...

Мы пили тягучее, терпкое бордовое вино и читали стихи. Вселенная Пастернака дышала в распахнутое окно доцветавшей сирени, перемигивалась звездами.

Тенистая полночь стоит на пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мироздания...
...От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь...
...Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты...

Я проснулся от ударившего в глаза солнца. Оно только что перевалило через подоконник. В комнате было свежо. Н. спал, подтянув колени, с мученическим выражением лица, что могло объясняться не столько нашим горестным ночным пированием, сколько неудобством сна на жестком газетном ложе.

Я сел, растер затекшие бока. Будить товарища было жалко. От нечего делать я принялся рассматривать газеты. Оказалось, постелью мне послужила итальянская «Унита». Я перевернул несколько страниц. Вдруг из середины полосы, сплошь забранной текстом, на меня глянул знакомый портрет. Это была одна из тех фотографий, на которых он, по чьему-то остроумному суждению, был одновременно похож на араба и на его коня.

Шепотом я прочел заголовок: «А морто Пастернак...»

Я сообразил, что это означает «Кончина Пастернака».

Склонившись над рябью столбцов, я читал, не понимая смысла, звучную латынь и не мог не вспомнить, что Родина уделила поэту семь строк непарели.

Итак... Значит, когда мы пили тягучее бордовое вино, когда, хмелея от него и от стихов, наперебой читали Его строфы — Он, запрокинутый, распластанный на газетном листе, молча косился на нас своим горящим конским глазом и слушал посмертную жизнь своих строк.

В беззвучии залитой солнцем комнаты смотрели: я — на Него, а Он — на меня...

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши...

Днем в институтской библиотеке я попросил итало-русский словарь. Его долго искали. Мне вынесли книгу в твердокаменном темном картоне с черными углами из коленкора, издания 1928 года. Взяв его в руки, я с изумлением обнаружил на обрезе фолианта нежную бархатистую ткань паутины! Листок, на котором библиотекарьша отметила выдачу, был девственно чист. По всему выходило, я был первым, кому с 1928 года понадобился этот словарь.

Конечно, из моей попытки перевести с незнакомого языка ничего не вышло. Удавалось понять отдельные слова, о смысле некоторых — все-таки в основе латынь — догадываться самому. Но фразы не складывались, смысл ускользал. Промучившись часа два, я сдался.

Из всех мэтров, которым я адресовался со своим вдохновенным призывом, откликнулся лишь один. Зато быстро. Письмо пришло через день или два после нашего поминального ужина. Уже по обратному адресу на конверте я понял, от кого письмо. У меня забилося сердце. Я разорвал конверт и вытащил блокнотный листок, посередине которого было аккуратно настукано на машинке: «Уважаемый товарищ! Совершенно согласен с Вами и делаю все, что в моих силах». Завитушка под этим более чем лаконичным ответом означала: И. Эренбург.

1990.

МОЯ ВСТРЕЧА С МАНДЕЛЬШТАМОМ

Поэт Осип Эмильевич Мандельштам умер в пересыльном лагере на станции Вторая речка под Владивостоком почти шестьдесят лет назад. Много ли осталось в живых тех, кто был знаком с ним или хотя бы виделся мимолетно и случайно? Считанные единицы. Что, как мне кажется, дает мне право рассказать, наконец, и о моей встрече с ним. Сразу должен признаться: она была краткой и довольно сухой. Если быть точным, мы вообще не сказали друг другу ни слова. Я — оттого, что еще не умел разговаривать с теми, кто старше, а старше меня тогда были все, кто меня окружал, абсолютно все. Позже я стал большим болтуном, особенно в дружеских застольях,

порою превращая их в свой бесконечный монолог. Жалкие выкрики: «Заткните ему фонтан!», «Старик, дай, я тебе возражу! Дай же сказать, старик!» — только распаляли и без того могучий жар моего неумолимого трепан. Но в день встречи с Осипом Эмильевичем я был еще необычайно застенчив и молчалив. Он же не заговорил, по справедливости не увидев во мне равного собеседника. Впрочем, теперь я не уверен, кое-что он все же сказал мне, но не вслух.

Итак, мы молча поразглядывали друг друга. Он на меня не произвел никакого впечатления. Я же — нескромно, но убежденно полагаю — вызвал у него некоторый интерес. Он, возможно, даже вспоминал обо мне впоследствии. Но недолго: хотя бы потому, что жить ему оставалось несколько месяцев. А я и вовсе забыл о нашей встрече, тем более, что понятия не имел, кто тогда предстал передо мной. Его стихи я впервые прочитал лишь через двадцать с лишним лет, гостя вместе с бабушкой в Казани у тамошней нашей родни. В Казань я приехал впервые. Жителю города, обладавшего лишь весьма скромной несудоходной речкой, было на что посмотреть: Волга, многопалубные пароходы, набережные, порталные краны речного порта. Хорош был и сам город: кремль на холме над широко разлившейся Казанкой, тесно застроенные кварталы старого центра, скромные, но приличные образцы классицизма, ампира, модерна, особняки в окружении цветущей сирени, гранитные тумбы на тротуарах, кованые решетки скверов и прочие милые признаки провинциальной российской старины.

Родственники — младшая сестра бабушки, ее сын — мой, стало быть, двоюродный дядя, его жена и их дочь, стройная девушка с тонкими, резкими чертами лица, переменчивая в повадках, как ветер, о котором синоптики сообщают: «умеренный с порывами до сильного», — жили в самом центре, в диковинном многоэтажном здании стиля модерн, с огромными уличными часами на скошенном углу под треугольным карнизом, с окнами, имеющими мягко заоваленные углы, с размещенной там и сям орнаментальной лепниной. Первый этаж переходил в аркаду бывших торговых рядов, и дом по-прежнему называли «пассажем».

Но не волжские просторы и не плывущие по ним пароходы, баржи и плоты, и не зубчатые стены белоснежного кремля, и не башня Сююмбеки, азиатская краса внутри красы славянской, и уж, разумеется, не университет с мраморной плитой у входа, напоминавшей, что здесь учился величайший и гениальнейший, и даже не могила действительно гениальнейшего Лобачевского стали моим главным впечатлением от приезда. Главное было выдернуто из книжного шкафа родственников, из второго, глухого ряда нижней полки: толстенный тяжелый том

в картонном переплете каменной твердости. На титуле значилось: «Русские поэты XX века в разделении по литературным школам» («Антология русской поэзии XX века», составители И.С. Ежов и Е.И. Шамурин, издательство «Новая Москва», 1925 г.) Боже, боже! Сегодняшнему молодому поэту или юному любителю поэзии, для которых издан вплоть до третьестепенных имен весь «серебряный век» плюс все сколько-нибудь значимые послереволюционные эмигранты, трудно представить, что означало для провинциального начинающего стихотворца обнаружить такую книгу в одна тысяча девятьсот шестьдесят первом году. К тому времени, за исключением Маяковского и Блока, все остальные славные имена переиздавались исключительно редко, а многие и вовсе не издавались с начала тридцатых годов.

Как попал сюда этот редкостный том? Дядя и его жена преподавали в авиационном институте и в разговорах со мной никак не выказывали особенного пристрастия к литературе вообще, а тем более к поэзии. Все остальные книги в шкафу были обыкновенные советские романы... Поразмыслив, я придумал версию, но не стал ею делиться: там же, в Казани, у нашей семьи был еще один родственник, о котором и в шестьдесят первом году по укоренившейся привычке предпочитали не говорить. Этот юноша вскоре после революции стал одним из создателей казанского комсомола. В 1937 году его расстреляли как троцкиста, каковым, кстати, он действительно был, как и многие другие руководители комсомола в двадцатые годы. Троцкий, что о нем ни говори, был любителем и изрядным знатоком поэзии и, хоть по-марксистски вульгарным, но весьма квалифицированным ее истолкователем (меня с этим перманентным революционером мирит, в частности, его любовь к есенинской лире). Возможно, мой неведомый мне родственник, вождь казанского комсомола, для которого Троцкий был кумиром, тоже любил поэзию, и эта книга принадлежала ему? И оставлена как молчаливая память о нем, для вшей безопасности засунутая в глухой угол шкафа?

Вытащив ее, явно до меня много лет не раскрываемую, из этого угла, я и сам тут же забился в угол комнаты и, как ни уговаривали, отказался от паровой прогулки по Волге, где, бегая по палубам или стоя на носу и обозревая все великолепие громадной реки со встречными судами, косыми парусами рыбацких лодок, бакенами, дивясь разнице между крутизной и обрывами правого берега и низинами левого и следя за ленивым парением чаек, можно было еще и мило поболтать или сердечно пошептаться с привлекательной троюродной сестрой.

Нет! Едва я увидел в содержании тома слова «символисты», «акмеисты», «футуристы», «эгофутуристы», «имажинисты» и фамилии

Бальмонта, Гумилева, Ахматовой, Хлебникова, Мережковского, Сологуба и множество других, столь же или менее громких, а также и немало никогда не слышанных — как понял, что передо мной нечто редчайшее, утаенное и попросту запрещенное хотя бы из-за все еще не упоминаемого Гумилева!

Наконец, меня оставили одного. К вечеру я пролистал весь том, проглотил сотни стихотворений, был оглушен и взбудоражен. Следующие два-три дня я переписывал все, что понравилось. Храню эти листки до сих пор. Достаяю их и раскрываю сейчас, когда пишу эти строки. Пожилому человеку любопытно вспомнить о вкусах и предпочтениях своей молодости, сравнить с нынешними, поглядеть, что ушло из круга душевных привязанностей, а что осталось. Листаю подряд, как записывал. Пастернак: «Отплыть», «Осень», «Перелет» (как ни странно, к этому времени я, благодаря другу, уже читал «Сестру мою жизнь», но ничего другого не знал). «Отплыть» («Слышен лепет соли каплющей...») и особенно «Перелет» («... Прибой и землю обдал по ошибке... Такому счастью имя — перелет») — и теперь среди любимых. Вадим Шершеневич, обозначенный как «глава и идеолог школы имажинистов». Имя слышу впервые. Думаю, был поражен, ибо переписал у него не три, как у Пастернака, а четыре стихотворения. Одни названия чего стоят: «Содержание плюс горечь»... «Каталог образов»... «Динамас статик»... Что за «динамас»? До сих пор не нашел ни в одном словаре. А образы! «Стволы стреляют в небо от жары / И тишина вся в дырках криков птичьих. / У воздуха веснушки мошкеры / И робость летних непривычек». Вот это «имажи» так «имажи»! Далее у меня следуют Игорь Северянин с пятью стихотворениями, Н. Минский с одним, Гумилев с «Жирафом» и «Слоненком», Волошин с тремя, Вячеслав Иванов с шестью (чему я сегодня изумляюсь и изумляюсь), Бальмонт с четырьмя, и среди них чудесная «Безглагольность», шесть стихотворений Ахматовой, далее Хлебников, Владимир Соловьев, Всеволод Рождественский, Сологуб, забытый ныне имажинист А. Кусиков и столь же забытый футурист Сергей Третьяков, Андрей Белый и Мережковский... А вот и Осип Эмильевич. Переписаны два ранних: «Только детские книги читать...», «В огромном омуте прозрачно и темно...» и загадочное «1-е января 1924 года»: «А переулочки коптили керосинкой, / Глотали снег, малину, лед, / Все шелушилось им советской сонатинкой, / Двадцатый вспоминая год»... Помню свой тогдашний восторг от абсолютного непонимания: что такое «советская сонатинка»? Впрочем, не понимаю и сейчас. И помню блаженную печаль, изливавшуюся из строк семнадцатилетнего отрока: «... Но люблю мою бедную землю, / От-

того, что иной не видал». Впоследствии «бедная» земля превратилась в «грешную», но не думаю, что это лучше.

Его стихи были среди самых понравившихся. Но ничто не вздрогнуло во мне при звуке этого имени: Мандельштам. Ничто не напоминало о нашей давней встрече. И еще много лет я не помнил о ней — или, пора уже выразиться правильнее, не знал, — пока несколько лет назад не прочитал чьи-то очередные, ставшие вдруг множественными изыскания, посвященные его последнему горестному перемещению через всю страну в барак под Владивостоком, и не наткнулся на ошеломившую меня подробность: четвертое августа 1938 года Мандельштам провел на Свердловской пересылке.

В западной части свердловского, ныне екатеринбургского городского центра есть замечательное место: здесь в радиусе не более трехсот шагов можно родиться и быть похороненным, прожив между этими событиями здесь же праведную или не очень праведную жизнь. В случае праведной жизни в этом же тесном пространстве можно получить врачебный диплом и поработать на выбор в нескольких больницах, а можно вдруг стать профессиональным спортсменом и впоследствии тренером. В случае несправедливой — здесь же можно отсидеть под следствием, а затем, для получения окончательного срока, пройти судебную процедуру. Словом, в этой местности, буквально на пяточке, находятся: родильный дом Института охраны материнства и младенчества (в просторечии «омэм» — именно так, а не «оэмэм», как надо бы), медицинский институт, несколько больниц, стадион, областной суд, следственный изолятор (он же — пересыльная тюрьма) и, наконец, Ивановское кладбище, в советское время на долгие годы ставшее последним приютом выдающихся горожан — старых большевиков, партработников, заводских директоров, деятелей искусства, пока более почетным не стало Широкореченское. На Ивановском, в частности, покоятся самые известные писатели Свердловска: знаменитый автор «Малахитовой шкатулки», лауреат Сталинской премии Павел Бажов, Иосиф Ликстанов, тоже сталинский лауреат за повесть «Малышок», которая очень нравилась мне в детстве, поэт Михаил Пилипенко, автор «Уральской рябинушки».

Здания, в которых расположены перечисленные выше заведения, группируются по склонам пологого холма, чья срезанная верхушка служит транспортной развязкой для трех улиц и представляет из себя небольшую круглую площадь, теперь она, конечно, заасфальтирована, а в те годы была, как и все остальные городские мостовые, булыжной. Пересыльная тюрьма выходит фасадом непосредственно на площадь, напротив последовательно располагаются вход на ста-

дион, корпус медицинского института и чуть ниже, на склоне — родильный дом. Чтобы из его окон увидеть пересыльную тюрьму, нужно посмотреть наверх и вправо.

Надеюсь, читателю уже ясно, как мы повстречались с Осипом Эмильевичем.

Утром того августовского дня 1938 года, когда он находился на Свердловской пересылке в ожидании очередного арестантского эшелона для продолжения поездки на Дальний Восток, в «омэмэ», среди прочих рожениц, разрешилась от бремени красивая, смуглая, черноволосая женщина. Она родила столь же смуглого, но, увы, далеко не столь же красивого, басовито орущего младенца. Это был я.

После того как младенец принял к материнской груди и вдосталь насытился ее благодетельным содержимым, он, хочется верить, успокоился и перестал орать. Счастливая мать приподняла его и показала через окно мир, для жизни в котором она родила его в полагающихся ей муках.

Как, может быть, известно уважаемому читателю, наука, изучающая произрастание новорожденных младенцев, настаивает на удивительном факте, а именно: что будто бы вылезшее на свет Божий дитя первые две недели видит мир перевернутым. Честно говоря, понять это я не в силах. Смутно помня со школы законы оптики, пытаюсь сообразить, как это происходит. Зримый образ мира, влетая через зрачок и отпечатываясь на сетчатке, затем воспринимается мозгом шиворот-навыворот. Проходит две недели, и вдруг, как в цирке у фокусника: ап! Изображение переворачивается и становится таким, каким его с этой минуты и до конца своих дней и видит человек. Но глазик-то не перевернулся? Загадка одного уровня таинственности с происхождением Вселенной, органической жизни и разума! Или, если взять пример поприветствованней, — с метаморфозой государственного бюджета, каковой в последние годы способен в мгновение превратиться из отрицательного в положительный. Не говорю уж о смешном вопросе: перевернутый взгляд в течение двух недель — для чего понадобилась эта шутка природе или Богу?

Но наука утверждает и настаивает, и не мне оспаривать. Не понимаю, но верую: так.

Материнские руки приподняли младенца, и в распахнутом окне он увидел пространство, опрокинутое в соответствии с изложенным выше утверждением: в самом его низу — глубокую синеву августовского неба, в самом верху — свисающую бахрому обильного разнотравья на некошеном газоне и падающие стволы тополей, упершие в небо купы тесной листвы. Посередине обзора тянулась опрокинутая лента булыжной дороги. По ней вверх колесами мед-

ленно катились под гору, нутужно фырча (ибо на самом деле вползали на гору) или стремительно и бесшумно взлетали на нее (на самом деле скатываясь) немногочисленные автомобили — легкие эмки и грузовые зисы и газики. За дорогой, на некотором отдалении справа, взору младенца открылся фасад приземистого здания, росшего, как и тополя, сверху вниз, опираясь крышей на небесную синеву. Многочисленные окна по всем этажам были забраны в решетки. За одним из них неясно различался силуэт мужчины, имеющий вид перевернутого поясного портрета. Разумеется, среди прочих перевернутых обстоятельств младенец и перевернутого мужчину воспринял как естественную и находящуюся в нормальном положении деталь впервые увиденного мира. Не ведая, что произойдет с его оптикой через две недели, младенец вполне доверился открывшейся картине, не нашел в ней ничего странного и легко представил, как впоследствии, окрепнув и став на ножки, будет разгуливать по этой приятной синеве, разве что опасливо поглядывая на кренящиеся над ним деревья.

Ах! Заранее содрогаюсь я, думая о предстоящем ему через пару недель потрясении, когда иллюзорно опрокинутый вид из окна перевернется и займет истинное положение! Как жестоко, ибо неизвестно для чего, обманут он в эту минуту, как трагически заблуждается, полагая нормальным положение травяных метелок и лиственных куп, решетчатой ограды газона вблизи и разнообразных крыш поодаль, шагающих вверх ногами прохожих и едущих вверх колесами машин... За одним исключением. За исключением перевернутого мужчины в зарешеченном окне. Тут он был более чем прав!

Да! В моем рассказе наступает торжественный момент, и я провозглашаю дерзкое предположение — соглашаясь с фантазмагоричностью всего остального перевернутого, утверждаю: мужчину младенец видел в его истинном положении, ибо Осип Мандельштам уже несколько лет являл собой, если так можно выразиться, одну из материализовавшихся сущностей перевернутой страны. Кувырки и запрокинутости, случившиеся в те годы, хорошо известны и без меня, напомним предельно кратко. Люди в стране были объявлены самыми свободными в мире, но на деле не имели даже такой средневековой свободы, как возможность жить там, где хотят. В стране велось самое масштабное на планете строительство заводов, шахт, каналов, плотин, железных дорог, по большей части руками заключенных, с интересными условиями труда — если, допустим, речь шла о строительстве железной дороги на Крайнем Севере, то из расчета примерно по трупу под каждую шпалу. Называлось это ударными стройками социализма. Большевистские комиссары, за двадцать лет до того

ревностно истреблявшие врагов революции, были расстреляны как ее еще более изощренные враги, маршалы Красной армии были расстреляны как иностранные шпионы, директора крупнейших заводов как соответственно крупнейшие вредители. И может быть, самым головокружительным кульбитом, самым наглядным перевертышем было перемещение в арестантском вагоне через пересылки на каторгу поэта редкостной силы, одного из наиболее убедительных подтверждений непомеркшего величия русской поэзии — в то время как его истязатель сидел в московском Кремле и назывался великим вождем великого народа.

Более того, поэт, за пять лет до этого нарисовавший, в припадке смелости, продиктованной отчаянием, отвратительный портрет «кремлевского горца», затем начал чувствовать вину за содеянное и все более острые угрызения совести, что довели его в январе 1937 года до создания прелюбопытнейшего стихотворения. В нем он, находясь на изрядном и насильственном отдалении от столицы, а стало быть, и от местопребывания вождя, вынужден каяться хотя бы перед развешанными там и сям портретами доброго и мудрого человека, разительно отличными от омерзительной сюрреалистической физиономии, изображенной обезумевшим поэтом в тридцать третьем году... «И ласкала меня и сверлила / Со стены этих глаз журьба». Но мало ему было ласковой сверлящей журьбы всепроникающего взгляда с плаката или холста. Ему мечталось о непосредственной встрече, о буханье на колени на ковре, устилающем просторы кремлевского кабинета, об очистительном покаянии под тихое, прощающее посапыванье трубки внимательного, все понимающего слушателя. Вот она, эта мечта, венчающая стихотворение с большой художественной силой: «И к нему — в его сердцевину — / Я без пропуска в Кремль вошел, / Разорвав расстояний холстину, / Головою повинной тяжел...» Не эта ли чудовищная тяжесть повинной головы и перевернула его вверх ногами?

За решеткой окна свисал вниз головой мужчина со страдальческим, а может быть, безумным, но не исключено, весьма спокойным выражением лица. Он не производил на младенца никакого особенного впечатления. Куда большее впечатление произвело на мужчину маячившее в окне по ту сторону площади дитя, обернутое в белоснежные пелена.

Возможно, мужчине, человеку обширных познаний, было известно о причудливой оптике новорожденных. «Если кто-нибудь и видел когда-нибудь меня в моем истинном положении, — возможно, размышлял перевернутый Мандельштам, — то вот именно это крохотное существо».

Он понимал, что дни его сочтены, и его успокаивало наблюдение за новорожденным, которому, при удачном стечении обстоятельств, предстояло жить еще очень долго.

«Любопытно, — возможно, подумал перевернутый Мандельштам, — когда это дитя вырастет, прочтет ли оно среди прочего мои строки? Будут ли они тогда свободно издаваться? Или, как и теперь, ходить в списках среди немногих неубоявшихся? Никогда в России не было власти такой стальной прочности. Она выкована умелым, искуснейшим кузнецом из крепчайшего и никогда не ржавеющего материала. Из страха. Страна стиснута так, что атомы, сомкнув просветы меж собой, плющат бока друг другу. Она, возможно, просуществует века, нержавеющая стальная власть. И я буду запрещен на века. Даже юношеское, даже детское, невинное и скромное, как лесной ландыш... Нет, дитя, ты никогда не прочтешь меня. Слушай же хотя бы вот это, то, что я когда-то написал мальчиком и что немного помогает мне сейчас в пути: «...но люблю мою бедную землю, оттого что иной не видал...»

Эти или другие строки, возможно, прошептал мне растроганный перевернутый Мандельштам (кто и когда видел его растроганным? Такие свидетельства неизвестны), на минуту перестав слышать за спиной перепалку или тяжелое молчание его спутников, забивших камеру, озлобленных или печальных, бесшабашных или смирившихся, с глазами горящими и с глазами потухшими, но одинаково небритых, мятых, невыспавшихся и голодных.

Возможно, он увидел что-то символическое в том, что пересыльный город приветствовал его явлением новорожденного. «Здравствуй, племя младое, незнакомое, и так далее... Не я увижу твой могучий поздний возраст... И ранний тоже... Здравствуй и прощай... Желаю тебе... Же... лаю?.. Собачьего лаю конвоя вовек бы тебе не слышать... Собачий лай и лязг затворов... Одна из трех частей советской сонатинки... Двадцатый вспоминая год... Не было и нет в мире музыки более простой и убеждающей, чем мелодии советской сонатинки, дитя. И тебе еще предстоит слушать их... И подпевать?.. Дитя! Очередное дитя человечества, сын страны столь протяженной, что ее берега постоянно обдаются приboями трех океанов! Упади на ее глины и черноземы, на ее граниты и скалы, поцелуй ее за меня, когда меня не будет. Припади к ней и обними — при любой власти, простершейся над нею. Припади к ней и поцелуй ее. Но не припадай к власти и не целуй власть...»

Тут его позвали на перекличку или получать баланду, или попросту отпихнули от окна — не одному же ему так долго занимать лучшее место в камере.

И, пропадая в ее смрадной глубине, он успел еще крикнуть: «Только стихов не пиши, дитя! Не пиши стихов! Особенно таких, какие писал я...»

Отчасти я не внял его совету: я пишу стихи. Отчасти внял: таких, какие писал он, не пишу. И, надеюсь, вы мне поверите, не напишу никогда.

Если бы народ не прозвал мой роддом «омэмэ», а произносил, как полагается, «оэмэм», то это сокращение, будь оно записано чуть прихотливым образом: «О. Эм. М.» — заодно могло бы означать: Осип Эмильевич Мандельштам.

1995.

КАТАЛОГ

Мне захотелось оглядеть все триста шестьдесят градусов горизонта, из которых три четверти приходились на стены кухни, а четверть — на окно.

Отчего оно возникло, это желание? Наверное, оттого, что я сидел на винтовом стуле, а шея моя, раздутая фурункулом, была обложена толстым тугим компрессом (салфетка, смоченная, за неимением водки, дагестанским коньяком, пластиковый мешок, набитый ватой, мохеровый шарф) и могла поворачиваться только вместе со всем телом. Я сидел как памятник самому себе, но в отличие от обычных памятников, намертво скрепленных с неподвижным постаментом, мог оборачиваться вокруг своей оси — и отчего бы памятнику не воспользоваться столь замечательной возможностью?

Следовало только выбрать направление: по часовой стрелке или против нее? Разумеется, в знак протеста против безжалостного хода времени, в каких-нибудь тридцать лет превратившего меня из жизнерадостного ребенка с неограниченными перспективами в малоудачливого литературного поденщика, пьющего и курящего, подверженного хандре и простудам, следовало двигаться против. В знак протеста против его — времени — лозунгов, обещавших нам в сорок пятом сытую жизнь к пятидесятому, в пятидесятом — дивный расцвет к шестидесятому и так далее, а теперь они обещают приход коммунизма через дюжину лет. В знак протеста против музыки времени, якобы имеющей характер победоносного марша, а на самом деле состоящей из нестройных шумов, немилосердного скрежета и фальшивых песнопений. Против, против часовой! Именно так бегают по стадионному кругу спортсмены, а спортсмены — самые глупые и счастливые дети человечества.

Я оттолкнулся от ножки стола, за которым сидел, и винт переместил меня влево, едва ощутимо приподняв сиденье.

Взгляду предстал угол кухни с чугунной эмалированной раковиной. Как спокойны ее плавные очертания, как мерны точечные удары капель из крана, а от белизны веет прохладой, такой желанной в этот поздний час душной июльской ночи, навалившейся на распахнутое окно.

Когда-нибудь я куплю избу с огородом в глухой деревне, как это уже сделали некоторые мои приятели, но не стану сажать картошку, лук, редис, клубнику и малину, на чем свихнулись они. Под изумленными взглядами местных жителей я вырою на месте огорода бассейн. Выкопаю сам, лопатой. Начну ранней весной, едва подсохнет земля, и закончу к августу, под пиликание кузнечиков в жесткой густой траве. Установлю себе ежедневную норму, буду замерять проделанный объем работ и записывать в книжечку. В августе я прогуляюсь по дну огромной просторной ямы, любовно поглаживая ее стенки. Потом зацементирую их и дно и выложу голубой плиткой. Обложу края дерном. И наполню свой бассейн свежей колодезной водой.

Я начну вставать в пять утра. Рыжие сосновые иглы плавают на спокойной поверхности, и маленький предрассветный туман стоит над водой. Я с разбегу врежусь в холодную прозрачную толщу, пройду ее всю и коснусь ладонями голубых плиток. Тело в свободном падении имеет шесть степеней свободы, и я воспользуюсь каждой из них столько раз, сколько захочу. Потом вернусь в дом, выпью горячего чая и сяду за письменный стол.

Какая хорошая, простая и, при всей своей диковинности, реальная мечта. Как жаль, что этого никогда не будет.

Я сердито оттолкнулся, и винт пронес меня мимо простенка, где висели сковороды, большие ложки, ковш, поварешка, дуршлаг, мимо холодильника с облупившейся возле ручки эмалью, мимо стены со шкафчиком, и замер, остановив взгляд на подоконнике, заставленном всякой всячиной; ближе других предметов валялся журнал с только что прочитанным зарубежным детективом.

Детектив, как всегда, оставил впечатление гнетущей тоски от выдуманности и умозрительно закрученных приключений, но также и от веявшей от него чрезвычайно неприятной правды о животной свирепости людей, которая — бог с ними, с зарубежными ужасами — все явственнее проступала в человеческом сообществе моей собственной страны...

Сигарета лежала в узком желобке пепельницы и сгорала самостоятельно. Я придавил ее, закурил новую и уставился на подоконник и на стол, на все, что на них помещалось, словно требовалось запомнить эти предметы, словно кто-то через много лет потребует отчета: что

именно окружало меня, когда с обмотанной шеей я сидел на винтовом стуле в крохотной кухне «хрущевской» квартиры во втором часу ночи двадцать пятого июля тысяча девятьсот семидесятого года?

Эти предметы... Одни исчезнут — на днях, через месяц, через год. А другие переживут меня. Сегодня они будничны и непритязательны, массовы и привычны, а через сто лет их будут разыскивать музеи для отображения старинного быта.

Чайная чашка, похожая на опрокинутую градиню. Она изготовлена в Ленинграде, и ее бока украшены изображениями роstralной колонны и кораблика на шпиге Петропавловской крепости. Какая безвкусица. Лет пятнадцать назад, в институте, на занятиях по начертательной геометрии, об этой чашке было бы сказано, что ее поверхность образована вращением ветви параболы, что это тело вращения. Тогда нам очень нравился этот термин. Покупая сухое вино — тогда впервые появились болгарские рислинги в узких бутылках, накрытых тростниковой шапочкой, — мы неизменно просили у продавца «тело вращения». Какие, подогретые сухим вином, дерзкие планы обсуждались тогда: выпускать литературный журнал, устроить киностудию, основать театр... Какие стихи сочинялись и читались над стаканами... У А. тогда не было ни ассирийской бородки, ни партбилета в кармане, ни ответственного поста в столичном учреждении. Б. походил на молодого Маяковского и резал правду-матку. В. смешил нас с утра до вечера, не подозревая, как опечалит его предстоящая жизнь. Г. уже завел усы, но еще не растолстел и не начал спиваться. Я тогда еще собирался... Ладно.

Фарфоровый кофейник, разрисованный мелкими фиолетовыми цветочками.

Жестянка с кофе. Ало-коричневая этикетка: «Высший сорт. Молотый без цикория».

Банка вишневого варенья, изготовленного Тульским трестом садоводства имени Мичурина.

Пепельница цветного чешского стекла, словно бы с застывшим внутри лаокооном бурых, оранжевых и сиреневых дымов. И еще несколько одинаковых пластмассовых пепельниц, треугольничков с заоваленными углами: створки ракушек или лепестки лютика. Такие лютики, с крупными, вялой желтизны лепестками, в изобилии росли во дворе моего детства, возле помойки, на вечно сырой почве, удобренной отбросами и усыпанной битым стеклом. Невообразимо худая собака, жившая в скособоченной конуре возле барака, под окном своего хозяина, едва он отвязывал ее, совершала стремительный рейд к помойке, сшибая на бегу лепестки с лютиков. Видимо, хозяин вообще не кормил ее, рассчитывая только на помойку.

Аптекарские бутылочки: йодная настойка, раствор хлористого кальция, димедрол. Втиснутые в целлофан польские таблетки аспирина. Надорванный пакет, из которого высыпался горкой сахарный песок. Шпулька серых ниток. Лезвие безопасной бритвы. Почтовая открытка из Тбилиси валялась вторую неделю, и все еще без ответа. Пластиковый чехольчик шарикового карандаша. Стакан, приспособленный под бокал для карандашей и ручек, из него же торчали: ржавый пинцет, щеточка — чистить клавиатуру пишмашинки, нож для разрезания бумаг и стеклянная трубочка неизвестного назначения. Несколько пачек сигарет и спички. Кольцо изоляционной ленты. Вилки и ложки — среди них несколько серебряных, бабушкиных. Порошок «Неда» для чистки раковин, при нем — тряпочка, заскорузлая, стянутая застывшим порошком в коросту. Подставка для яиц. Сахарница. Солонка. Измочаленная колода карт.

Все? Все. Это не нищета, но какая, в сущности, бедность. Ни одного предмета, отмеченного оригинальностью, изяществом. Глубокой нескрываемой зевотой разразится тот неведомый, кто когда-нибудь прочтет этот каталог. Какую вялую, скучную жизнь обладателя этих предметов вообразит он. Мы можем приукрасить свою жизнь рассказями, но вещи нас разоблачат.

Время, время, мы ли идем тебе навстречу с надеждами, тающими под твоим потоком, ты ли тащишь нас волоком, тыча носом в наши труды и забавы, в наши вялые дни и душные ночи, в бедные цацки нашего быта, в наши помойки и детективы: вот, вот ваша жизнь!

Да, это она, она бывает такой: проклятый фурункул, проклятый компресс, ночь, духота, табачный дым, бессонница, ушедшая молодость и пришедшее ей на смену неизвестно что, рюмка, от которой тянет тяжелым духом дагестанского, худшего из коньяков — бездарности бытия, сто раз замкнувшиеся в нерасторжимый круг.

Где же, где драгоценности, несказанные, невыразимые, не вносимые в каталог, ведь есть же они, должны быть. Как царство божие, они внутри нас. Судите о нас, потомки, по нашим смутным речам, позорным слабостям, дрянным болезням, по безвкусице наших вещей, но вам никогда не узнать, что согревало нас и давало силы тащиться с часовой стрелкой или против нее. И было нашей истинной жизнью.

И НЕ БУДЕМ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ

Ну, и не будем разочаровываться.

Мало ли что вчера.

Вчера, когда шел по набережной — высоко в синем небе неостановимо двигалась серебряная искорка, таща за собой пушистые космы от горизонта до горизонта. Подумалось: было же и во мне что-то высокое. Или хотя бы влекущее ввысь. Куда подевалось? Отчего не воспряну, не взлечу над миром?

А вечером по радио хороший артист читал Чехова. Какая гениальная чистота и гармония в каждой фразе. Разве не так я собирался писать? Но кто же мешает? А ночью проснулся: старые тополя во дворе трещали ветвями под сильным ветром, но стволы их и не думали гнуться. Мне бы их несгибаемость, мне бы глубину, на которую проникли их корни!

А утром, когда сел работать...

Но не будем разочаровываться. Мало ли что вчера. Особенно ночью. На то и ночь, чтобы мечтать о небывалом. Не будем завидовать могучим деревьям, занебесным полетам, гениальной прозе. Не всем дано, и более того: не от всех ожидается. Главное — оставаться самим собой. Ты не слишком щедро одарен от природы? Не изменяй хотя бы и этому скромному дару. Жизнь огрубила и упростила тебя? Не будь сложнее, чем есть. Нет в тебе высокой идеи? Лишь бы низкой не было. Что такое высокая идея? Что человек рожден для счастья и звучит гордо, а жизнь есть борьба? Что Бог терпел и нам велел? Что все там будем, но останемся в детях? Что всемирный разум лучится со звезд и ведет через океан вечности наш кораблик? Высокая идея — удел избранных. Она утомляет обыкновенного человека. Она принуждает его размышлять о тайнах мироздания, о своем происхождении и предназначении, заставляет искать Бога и пугаться Дьявола. Не очень-то красиво — напоминать человеку о звздах и вечности, когда все земное вокруг него подорожало в сто раз. Когда накопленное им на телевизор превратилось в накопленное на три кастрюльки с цветочками. Когда ему грозит сокращение на работе. Когда после тридцати лет усердных трудов, после командировок в Тьмутаракань, и черных суббот, и шабашек в отпуск, он осознает, что никогда — никогда! — не будет жить в хорошей квартире, хорошо одеваться и есть хорошую еду. И не всякий раз, как припрет с настроением, сможет выпить стопку водки, а про утреннюю чашку кофе надо забыть — роскошь. Когда ему, человеку, то ли душно, то ли скучно, и среди ночи он выходит позвонить другу, неизвестно зачем и о чем, а телефоны-автоматы раскурочены по всей

округе, а тьма — глаз выколи, а где-то в дальних дворах глухо взлаивают бродячие псы — сколько их развелось! А где-то, на проспекте, что ли, раздастся короткое: «пам!» И еще: «пам! пам!» И крики, истошные вопли, мало похожие на человеческий голос. А где-то далеко-далеко Москва, Кремль, власть, реформаторы, консерваторы, которая уж по счету битва народных благодетелей за свое счастье... Вечность? Это и есть его вечность.

Он бредет обратно. Единственный неразбитый фонарь у входа во двор и желтое пятно собственного окна... Звезды? Вот его звезды.

Но и под этими звездами — жизнь. Та единственная, которой ты достоин. По характеру. По способностям. По судьбе. Не больше и не меньше. Загляни в зеркало. Это ты. Тебе хотелось бы, чтобы это был мелькнувший мимо прохожий, ничем не остановивший твоего взгляда? Но это ты. Ты такой. Вот ты какой. Не бог весть. Но попробуй остаться хотя бы таким. Ниже уже не падай. Будь упорен. Не умирай оттого, что накопленное на три кастрюльки завтра окажется накопленным на ботиночный шнурок. Это пройдет. А ты останешься. Никогда не пропадешь, если останешься самим собой.

И не будем разочаровываться.

1992.

ДЕТЕКТИВ В СИРЕНЕВЫХ ТОНАХ

Обязанности, налагаемые жанром на течение сюжета, известны: завязка — убийство, грабеж или кража, далее — розыск преступника, искусное сочетание намеков, уводящих в сторону. И, наконец, неожиданная развязка. Если читатель заранее догадается сам, он отчасти будет удовлетворен своими дедуктивными способностями, но в целом его охватят разочарование и досада. Ожидаемая развязка придает детективу ничем не перебиваемый привкус банальности. И уж вовсе невообразим детективный сюжет, не имеющий развязки вообще — это прямое издевательство над таким естественным, одновременно могучим и хрупким явлением, как человеческое любопытство.

В нашем сюжете действуют трое мужчин в возрасте за пятьдесят:

а) располневший блондин с мягкими чертами лица, с глазами, не утратившими голубизны, и легкими на слезливую влагу. Бывший актер, игравший по ТЮЗам розовских мальчиков, один из лучших розовских мальчиков своего времени. По-прежнему хороша его дикция, поставленный голос бархатист и богат модуляциями; его улыбка вызывает доверие и в сочетании с увлажненным взглядом обезоруживает собеседника. Ныне он предприниматель, чьи предприятия чаще всего заканчиваются неудачей. Его последняя затея — спортивная

газета — закончилась на первом номере. Это был прекрасный выпуск, на шикарной бумаге, с отличным дизайном, броскими фотографиями, множеством интересных материалов из спортивной жизни города... Имелся лишь один-единственный недостаток: собранная и оформленная весной, газета прошла скорбным путем через добывание бумаги и типографскую очередь и вышла на свет божий в августе. Приобретать в августе спортивные новости апреля болельщики не пожелали. Из десяти тысяч тиража три четверти ушло в макулатуру. Газета не окупила расходов, не говоря уж о прибыли. Авторы остались без гонорара, но их возмущение гасло в увлажненном сиянии голубых глаз, тонуло в бархатистом голосе ответчика и таяло в его беззащитной детской улыбке.

Сейчас он возглавляет издательство, в котором не вышло еще ни одной книги. Есть, однако, какие-то люди, верящие в звезду бывшего популярного актера. Они продолжают кредитовать его. Поэтому у него нередко водятся деньги;

б) смугловатый, с татарской примесью в чертах, седоватая бородка клинышком делает его похожим на Куприна. Прозаик, поэт, но еще и преподаватель архитектуры, знаток пластических искусств, исследователь истории родного края. Широки круги его знакомств, любвеобильно его сердце, разнообразны его помыслы. Ведомы ему и христианские молитвы, и блатные песни, называемые теперь городским романсом; в равной степени любимы им усердные труды в уединении и дружеские застолья за полночь; приятно и легко с ним и другу и женщине.

Случись неприятное в его кругу — он первым будет вне подозрений: открытый, спокойный, корректный господин. Но иной раз — не всякому это заметно, а лишь тому, кто знаком с ним много лет — ни с того, ни с сего чертики сверкнули в его темных зрачках, а в движениях проснется мальчик из драчливого послевоенного детства, и как не поразмыслить: не таится ли в корректном господине дремлющий до поры до времени авантюрист?

в) черен, кудлат, небрит, пропах дешевым табаком, вечно в мятых одеждах, на пиджаке третий год не пришита средняя пуговица. Четверть века без должности, сочинитель на вольных хлебах.

Внешне приветлив. На самом деле мало ценит людей — как, впрочем, и себя. Легко идет на сближение и столь же легко отдается. Остер и несдержан в шутках и может обидеть, не заметив. Сам обижается всерьез и надолго, а то и навсегда. Скрытен. Подвержен приступам болезненного воображения. Числит за собой десятки преступлений, из которых в действительности таковыми являются лишь три.

Конец декабрьского дня. Безветрие, легкий морозец, ровный неостановимый снегопад. Рабочий кабинет сочинителя: кухня в хрущевке. Пять целых, три десятых квадратного метра. Высота два пятьдесят. Тринадцать кубометров пространства насыщены сигаретным дымом и газовой гарью. Газ выставлен на самый короткий зубчик и чадит, экономя спички. Сочинитель сидит за пишущей машинкой. Каждые четверть часа он разминает сигарету, поворачивается к плите и прикуривает, подхалимски кланяясь чахлому васильку.

Всю жизнь он работает под девизом «Ни дня без строчки» и поэтому ежедневно садится за машинку. Он не верит во вдохновение. А оно не верит в него. Случается, он впустую просиживает над чистым листом дни подряд. Так происходит и сейчас. Сегодня он по-особенному бездарен. Он уже сделал все, что мог. Трижды подогрел чай. Вычистил букочки своей механической подружки. Промурлыкал несколько любимых песенок, а для контраста — похоронный марш. Выкурил пачку гнуснейших сигарет. Ничего не помогает. Начатый накануне рассказ встал как вкопанный. Вчера померещилось, что начал удачно, сегодня так не кажется. Надо начать по-другому, но неизвестно как.

Меж тем обстановка для творчества идеальна.

В квартире тишина, лишь время от времени уютно рычит холодильник. За окном все пышнее и пышнее сугробы. Над пустырем, облагороженным целомудренными снегами — сплетение голых веток. Ажурные березы изысканностью рисунка напоминают шкатулки Палеха. На кустах боярышника пирует стайка свиристелей. Хохлатые птицы склевывают оранжевые ягоды, для удобства переворачиваясь вниз головой. Свежесть, чистота, первозданность, возможность начать все заново, чудесное безлюдье, чреватое появлением самой неожиданной фигуры, предчувствие тайны — там, за окном; горячий чай и крепкий табак — здесь; и там и здесь — благоговейная тишина, согласная длиться и длиться.

Ничего не помогает. Какая тоска. Тоска и скука. Бездарность мучительна. Тишина невыносима. Хоть бы кто-нибудь позвонил!

И это происходит.

Предприниматель и преподаватель архитектуры случайно встречаются в переулке. Там один против другого стоят шестизэтажный куб, детище тридцатых годов, и изящный особняк стиля «модерн». В конструктивистском кубе расположен институт, где трудится преподаватель, в особняке арендует комнату для своего издательства предприниматель.

Они давненько не виделись. Случайным образом — или счастливым? — оба при деньгах. Они решают выпить водки. Но по обычаю для распития водки нужен третий. И в квартире сочинителя раздаётся телефонный звонок.

Сочинитель, умиравший от тоски и бесплодия, был согласен на любой звонок, а о таком не смел и мечтать! Какая радость — вместо унижительного сидения перед молчащей машинкой выпить водки со старыми друзьями! На пожарах не действуют с той лихорадочной спешкой, с какой он опрокинул футляр на машинку, сдернул с вешалки пальто и шарф, скатился по лестнице и вылетел на волю, на морозец, в снегопад. Пробегка — троллейбус — и, увязая в пышных снегах, наискось по переулку, в особняк, особенно уютный и особенно старинный в такую погоду.

Они сошлись под вечер в комнате предпринимателя. Сугубо канцелярская обстановка. Столы, папки, разрозненные бумаги там и сям. На углу стола водка и закуска. Окно зарешечено. За ним ранний декабрьский вечер принимается писать свою акварель, пропитывая переулочек тампоном с сиреневой краской, разведенной до прозрачности. Другим тампоном он оттискивает желтые пятна окон на фасаде напротив.

Трое знакомы тридцать лет. Они помнят друг друга юными и худощавыми. Они о многом переговорили за треть века. Им всякий раз находилось, о чем поговорить. Казалось, так будет всегда.

Они пьют водку и закусывают. Они пьют водку и ищут, о чем поговорить, ибо водка в России пьется для разговора. Они пробуют нащупать подходящую тему. Тема не нащупывается. Многое, представлявшееся спорным или нераскрытым в юности, впоследствии было раскрыто и согласовано. Но жизнь неисчерпаема. Или? Она неисчерпаема, но исчерпаемы обращенные к ней вопросы и недоумения.

Густеют сиреневатые тона за окном, крепчая до предгрозового средоточия. Все ясно без обсуждения и спора. Все ясно с их возрастом, с их судьбами. Все ясно с их преуспеваниями, с их работой, с женщинами, с детьми. Все ясно с прошлым и настоящим — своим и страны. Пожалуй, ясно и с будущим. И тем более все ясно с книгами, поэзией, живописью и пластическими искусствами. Все трое в молодости писали стихи и читали их в кругу общих друзей. Сочинитель и преподаватель порою пишут и сейчас. Со стихами все ясно нынче с особенной ясностью.

Разумеется, трое не молчат. Но это не разговор. Это заполнение тишины звуками, тягостное плетение словесных нитей.

Синяя чернота, черная синева за окном, а здесь, в голем свете лампы на беленом шнуре — все смуглее щеки преподавателя, все замет-

нее небритость сочинителя, все увлажненное голубизна во взоре бывшего актера.

Зачем они собрались сегодня? Отчего мы, столкнувшись в переулке, не разошлись, а решили выпить водки, размышляет предприниматель. Зачем мы вызвали сочинителя, силится понять преподаватель. Зачем они меня позвали, повторяет про себя сочинитель.

Слабая надежда на хмель как на источник красноречия не оправдывается. Этому ли печальному напитку по силам взбодрить немолдых, много знающих мужчин? Иссекают слова, рвутся призрачные нити. Тишина. Поскрипывает стул под грузным телом бывшего розовского мальчика. Постукивает пустой стакан, равномерно ударяемый о стол знатоком пластических искусств. Сипло потрескивает табак в дрянной сигарете сочинителя. Загляни в зарешеченное окно, случайный прохожий, и бросив мимолетный взгляд на лица молчащей троицы, не думай о смысле их молчаливого заседания, а лучше быстро уйди прочь.

Все это и есть пример крайне неудачного детективного сюжета. Есть пролог: трое сошлись в опустевшем к вечеру старинном особняке, где с лепного потолка, на месте когдатешней люстры свисает слепая лампа на беленом шнуре. На единственном окне — грубо сваренная решетка. За окном переулок тонет в чернильной тьме, подсвеченной свежевывавшим снегом, и редкие прохожие проплывают, не оставляя следов. Что бы ни произошло сейчас в переулке — все покроет мягкая белая пелена.

Есть завязка: убийство, грабеж и кража. Все трое убиты возрастом и ограблены жизнью. Она украла у них все, что она крадет у всех.

Есть тайна: зачем они собрались? Что замышляют? Что значат случайные фразы, которыми они обмениваются, прерывая тягостные паузы, борясь с тишиной?

Итак: есть обстановка, есть преступление, есть тайна. Но нет развязки.

Но вот перелистывается последняя страница: они надевают пальто, наматывают шарфы и выходят в переулок. Они идут, не оставляя следов. Двое уходят направо, третий — налево. Двое ушедших направо доходят до угла, где переулок выныривает на простор проспекта. Один из них поворачивает направо, другой — налево. Все.

Всц?! Читатель переворачивает страницу. Но на обороте чисто и бело, как в заснеженном переулке. Всц?! Читатель раздраженно отшвыривает бездарное чтиво. Так не пишут детективные истории. Это обман. Издательство. Насилие над нежным человеческим любопытством.

Ты прав в своем гневе, читатель. Но, читатель, это Россия. Россия в конце двадцатого века, где детектив без развязки не так уж нелеп, где многое иное длится, как дурной сон, и не имеет конца: черед прохиндеев у власти, алчность нуворишей, злоба и зависть нищих, усталость и отчаяние.

Нет ли ничтожной надежды в том, что и само время подвержено усталости не меньше, чем люди, и, обессиленное, останавливает свой бег на рубеже столетий? Никто не властен бесконечно длить век; настанет день — и он завершится. Не на то ли и уповать, что век имеет конец?

А там, дальше... Что-то же светится там, как желтые пятна окон на невидимом фасаде в сиреновой глубине переулка, как оранжевые ягоды боярышника за смутной стеной снегопада.

1992.

БИОГРАФИЯ

Я вырос в религиозной семье. Все во что-то верили.

Папа верил в голоса. Он вылавливал их ночами в радиоприемнике, с трудом отделяя от глушилок. Еще он верил в соседей, что не донесут, потому что в нашем старом доме были очень толстые стены. Еще папа верил, что ночью дома надо слушать одно, а днем на работе говорить другое. Он верил, что если каждый день говорить на работе то, что нужно, это рано или поздно даст результат. Лет пятнадцать подряд он верил, что его повысят в должности.

Еще папа верил в нас, своих детей. Он не уделял нам никакого внимания. Он верил, что мы и без его участия как-нибудь вырастем и в кого-нибудь превратимся.

Глубоко верующим человеком была и мама. Она верила, что папа ей верен. Одновременно она верила, что со дня на день он уйдет, В странные вещи верила мама. Например, что я не умею ругаться уличными словами, никогда не прогуливаю уроков, не подделываю отметки в дневнике и не катаюсь на трамвайных подножках.

Ну, и естественно, верующей была бабушка. Во что она верила? Во-первых, в то, что никогда ничего не случится: ни развода папы с мамой, ни папиного повышения в должности. Верила она также, что никогда мы не переедем из двух наших комнат, разделенных печью, из нашего замечательного дома, в котором до революции жила одна семья, а теперь поместилось тринадцать. Еще бабушка верила, что в магазинах никогда не будет вдоволь еды и товаров. Свято верила, что очереди будут всегда.

А еще бабушка верила в приметы. Приметы у нее были такими:

разбить чашку — к покупке новой чашки;
разбить зеркало — к покупке нового зеркала;
уронить вилку — к приходу голодного гостя;
уронить ложку — к приходу голодной гостьи;
проспать соль — остаться без соли;
тринадцатое число — значит, завтра четырнадцатое.

И так далее в том же духе.

Вот в такой религиозной семье я и подрастал. Помню фигуру отца в ночном полумраке, склоненную над светящейся шкалой приемника, как перед алтарем. Помню маму, кроткую, как ангельский лик на иконе. Помню бабушку, стоящую в очереди за мукой, со святой верой в глазах, что ей не хватит.

И, как ни странно, вырастая в такой семье, я вырос атеистом. Ни во что я не верил. Я не верил, что папа не любит маму. Не верил, что у себя на работе он всю жизнь останется рядовым сотрудником. В отличие от бабушки, я не верил, что после тринадцатого числа четырнадцатое наступает всегда. Помню, влюбился в девочку из соседнего двора, и началось это как раз тринадцатого, а когда я прозрел и понял, что она любит другого мальчика и вообще дура лупоглазая с косичками, как морковные хвосты, оказалось, что уже двадцать седьмое, и другого месяца.

Ни во что я не верил! Не верил, что есть города больше нашего. И чище. И зеленее. Что бывают квартиры с паровым отоплением, где не надо таскать дрова из сарая к печке и где из кранов течет горячая вода.

В отличие от папы я не верил, что дома можно говорить одно, а на работе другое. По-моему, на всякий случай другое нужно было говорить везде.

Еще я не верил, что есть писатели, которых не проходят в школе.

Я не верил, что когда-нибудь у меня будет настоящий костюм вместо дерюжных шаровар и парусиновой куртки. И я не верил, что где-то есть страны, где люди живут лучше, чем у нас.

Я не верил, что в мире есть хоть один человек, который не славит вместе с нами Сталина. И я не верил, что революцию возглавлял Сталин, потому что бабушка кое-что рассказала.

Я не верил, что одному идиоту в нашем классе ставят пятерки только потому, что его отец работает в горкоме. И я не верил, что детям руководителей можно ставить двойки, ничего не опасаясь. Когда прямо из школы увели нашего преподавателя английского, «шанхайца», я не верил, что он шпион. И я не верил, что не все «шанхайцы» — шпионы.

Я не верил, что люди плохие. И я не верил, что они когда-нибудь станут лучше.

Однажды на улице ко мне подошел мужчина и попросил произнести слово «кукуруза». Он был очень красив: с фиксой под золото, с красным, распаренным, как только что из бани, лицом. В сапогах гармошкой и блестящей тужурке. Великолепный мужчина. И просьба была пустяковой. Я умел произносить слово «кукуруза». И любые другие слова, где попадается «эр». Но я не выполнил его просьбу. Не потому что не хотел. Я не верил, что он не расстроится, услышав мое четкое «эр». Что, сильно расстроившись от моего безупречного «эр» — вместо страстно ожидаемой им картавости — он не даст мне тумака.

Перечислять все, во что я не верил, можно бесконечно.

Никогда я не верил, что в моей жизни произойдет что-нибудь необычное. И никогда я не верил, что она пройдет без чудес.

Не верил, что меня никто не полюбит. Что я никогда не полюблю. Что из этого не выйдет ничего хорошего.

Так оно и произошло.

1970.

Семь лет мальчику исполнилось в тысяча девятьсот сорок пятом году, в последнем году войны с немецко-фашистскими захватчиками, а жил он в тыловом городе, и самой войны здесь не было, здесь она не стреляла и не бомбила, хотя на всякий случай с первых ее дней жителям велено было наклеить на оконные стекла бумажные кресты, будто бы спасающие стекла от разрушения при возможной бомбежке. В тыловом городе война выглядела так: неумолчно грохочущие военные заводы, школы, отданные под госпитали для раненых, нашествие эвакуированных, никогда не выключаемые черные тарелки репродукторов по домам, фронтовые сводки Совинформбюро и патриотические песни; продажа хлеба и прочей еды, а также и промтоваров по карточкам, длиннющие очереди в магазинах, всеобщая теснота, бедность, голод.

Взрослые помнили довоенную жизнь, маленькие дети ее не знали. Эта была — данная, единственно возможная. Воспоминания взрослых о прежнем мальчик воспринимал так же, как, пристроившись вместе со старшей сестренкой у горячей печи, слушал сказки, которые мама, вернувшись из госпиталей, читала им хрипловатым от усталости голосом. Нередко отключалось электричество, чтение шло при керосиновой лампе. Когда мама переворачивала страницу книги, огромная тень взлетала по стенам, застилала потолок и опадала. Страшная сказка от взмахов чудовищной тени казалась еще страшней, волшебная — еще волшебней. Волшебной казалась и довоенная жизнь. Выходило, что до войны всегда было тепло. Возможно, даже не было зимы. Еду в магазинах покупали просто так, а не по карточкам. Более того, в булочных продавался необычайно вкусный белый хлеб — ситник. Дров для печи можно было разом запасти на всю зиму, до весны, а не как теперь, когда разбирали заборы, спиливали деревья и растаскивали все, что может гореть.

Впрочем, мальчик не так уж мерз и вовсе не голодал. Его кормили пшенной кашей, постными щами из квашеной капусты, винегретом из той же капусты, картошки и свеклы, картофельными оладьями. Поили чаем с сахарином. А бывало, варился компот из жестких сморщенных урючин. Но, разваренные, они превращались в приятную хлюпающую сладость, а из расколотых косточек извлекались вкуснейшие ядрышки. Дети не голодали, за них это делали бабушка с мамой. Им не привыкать: в двадцать первом году пережили голод в Поволжье, бабушка — месяц на чистой волжской водице, а чем кормила своих четверых детей — этого мальчик, и, став взрослым, не понял. Но чем-то кормила, раз выжили.

По временам бабушка уезжала в деревни менять одежду на продукты. Окованный полосками блестящей жести сундук к концу войны опустел, обнажилось дно. Некоторые вещи уезжали и возвращались. Съездило и вернулось, например, бабушкино платье фиолетового шелка, с фонариками на рукавах, со сборками на длиннейшей, в пол, юбке; никому в деревне не приглянулся бабушкин наряд начала века.

Военврач-отец был невообразимо далеко. Это называлось — Дальний Восток. Вообще, было очень мало мужчин вокруг, а молодых совсем не видно. Матери, бабки, тетки, старухи. В школах не учителя, а учительницы, в больницах не врачи, а врачихи, в магазинах — продавщицы, во дворах — дворничихи, в домах не коменданты, а комендантши.

Дети порой прикасались к войне, не подозревая. По дворам и улицам мальчишки гоняли плоские железные колесца, с зубчиками по внутреннему кругу. Изготавлилась особо изогнутая проволока — водило. С тонким пением катилось послушное колесцо, особенно замечательно звеня на гранитных плитах, которыми улица была замощена на подъеме к Вознесенской горке. Через дюжину лет, студентом технического вуза, изучая на военных занятиях устройство танка, мальчик вспомнил эти колесца. Это были тормозные диски «тридцатьчетверки». Во дворы они, видимо, попадали бракованные, с заводской свалки.

Дворы, а также уличные газоны были распаханы под огороды, к середине лета картофельные гряды, цветущие белым и сиреневым, придавали улицам приятный вид. Огороды были опоясаны укрепленными на кольях металлическими лентами с прихотливыми вырубками внутри них; ленты эти выходили на заводах из-под штампов и тоже добывались на свалках.

Мальчик выглядел на свои семь лет, не больше и не меньше. Среднего роста, крепенький, ладный. Еще через семь, за одно лето он ста-

нет высоким, стройным, с хорошими плечами, узкими бедрами, длинными руками. Но и сейчас видно — по выпирающим ключицам, по развороту грудной клетки, по крепким лопаточкам: широкая кость, будет расти.

Темные, почти черные волосы вились, мокрые — курчавились. После бани становился похож на цыганенка. Тем более — смуглое, в маму, лицо. Губы толстые, важные. Мимолетно глянуть — первое, что бросится в глаза: смуглота, курчавинки, губы. Но мальчик глядел не мимолетно, он досконально изучил себя в зеркале.

Зеркало у них замечательное: от пола до потолка, в раме красного дерева. «Старинное». У них в доме много «старинного», не только в семье мальчика, у всех. Особняк, в котором теперь проживало тринадцать семейств, до революции выстроил богатый человек. О том, кем он был, в доме ходили разные суждения, показывавшие, как понял мальчик, став взрослым, сколь коротка человеческая память. Хозяин особняка был, разумеется, буржуем, и сбежал вместе с белыми, оставив по всем комнатам мебель. Она и стала принадлежать новым жильцам особняка, обретшего после революции гордое имя коммуны, впоследствии превратившееся в обиходное понятие коммунальной квартиры. Правда, семье мальчика «старинное» бесплатно не досталось: въехали они сюда в конце тридцатых годов и мебель прежнего хозяина отец купил у жильца, который выезжал.

Ясность в «старинном» зеркале была необычайная. Видишь себя в полный рост с мельчайшими подробностями. К семи годам мальчик внимательно изучил свой облик и присудил: некрасив. Язык ли высунь, скорчив рожицу, подбоченься ли, улыбнись, обнажив крупные посередине зубы, а рядом остренькие, мелкие, печально ли глянь — все едино: в красивом зеркале некрасивый мальчик. А когда пошел в школу и по правилам тех времен остригли наголо, и уши, до той поры прятавшиеся в густых завитках волос, вылезли наружу, с полным отчаянием постановил: безобразен. Хватало и губ этих, им ненавидимых, каждая толще, чем у других обе. Теперь еще и уши. Словно оборвали бабочке крылья и прилепили ему к голове. Жест появился: ладошками уши оттянуть к затылку и прижать — вдруг так и останутся?

А ведь до чего славно сиделось в высоком кресле парикмахерской, перед зеркалом, в котором отражался он сам, обернутый простыней, утонувший в ней, а за ним — мастер в белом халате, хромой дядька с алюминиевым гребешком, заткнутым за ухо, словно орлиное перо у индейца. Флаконы с одеколонами и духами повторялись в зеркале и их получалось вдвое больше. До чего приятны были прикосновения сильных пальцев мастера, пропускавших через себя упругие за-

витки волос; потом сочно чмокали ножницы, и курчавинки, нежно скользя по щекам, ниспадали на укрытые простыней колени. Потом по голове покатилась, захрумкала гладенькая холодная машинка, и он зажмурился от страха и удовольствия. Наконец, мастер распеленал его и, сказав: «Красавец!», добродушно хохотнул. Мальчик разлепил глаза. Он сперва не понял, кто смотрит на него из зеркала. Ладонки сами потянулись ощупать бугристую поверхность черепа. Покрытая множеством черных точек, свежей белизной светилась кожа. Точки кололись. Губы занимали половину лица. А уши! Тут впервые и возник жест: оттянуть и прижать. Оттянул, прижал, отпустил, посмотрел. Затих, пораженный своим несомненным уродством.

К тому времени, перед первым классом, мальчик уже был влюблен. Возможно, не впервые. На этот раз взволновавшая его особа обнаружилась на детской площадке. В детском саду мальчик не побывал. Как он понял впоследствии, устроить ребенка в детский сад в годы войны удавалось далеко не всем. Менее прочих таким, как его мама, рядовой врач военного госпиталя. Детсады в основном были заводские. А вот на детскую площадку его отвели. Это было вот что: в последнее перед школой лето детей приводили во двор близлежащей школы, под присмотр воспитательниц. Они, по замыслу, должны были готовить малышей к школе. Этого не происходило. Дети могли делать что угодно, но без беготни и криков. А поскольку игр без беготни и криков не бывает, они слонялись по двору и вяли от скуки. В полдень выдавалась еда: школьная булочка и две-три конфеты, чаще подушечки, реже ириски или помадки.

Как ни печально, впоследствии мальчик напрочь забыл не только имя возлюбленной, но даже и ее внешность. Осталось смутное воспоминание, окрашенное в розовый цвет: розовое платьице, льняные косички с розовыми бантами, и как она розовым узким язычком слизывает с пальцев растаявшую помадку. Ему хотелось взять ее за руку, но это было возможно только в игре, и то не во всякой, а, например, в «горелках». Однако сильнее, чем отсутствие подходящей игры, останавливало: я не могу ей понравиться, я некрасив, а после стрижки и вовсе уродлив.

Правда, стрижка и подарила ему единственное соприкосновение с розовой девочкой. Когда парикмахер изучал его волосы, он установил, что у мальчика две макушки, и это редкая и счастливая примета. Это же однажды обнаружила и воспитательница. Дети сильно заинтересовались наличием двух макушек, выстроилась очередь пощупать. Кто едва касаясь пальцем, кто бесцеремонно прихлопывая ладонью по темечку. Нашелся, конечно, и озорник, шелкнувший по «кумполу». И розовое платьице возникло в свой черед. Мальчику показалось, что ее

ладошка задержалась на удивительных макушках и что девочка подала ему этим тайный знак; они стояли рядом, он слышал ее легкое посапывание и мог посмотреть ей в глаза, но не осмелился и видел только розовое платице, перетянутое розовым же пояском с большой перламутровой пуговицей на нем. Когда детская площадка закрылась, он горевал в разлуке не меньше недели. В первые дни школы он влюбился в одноклассницу и о розовой девочке забыл.

Меж тем напрасно он полагал свою внешность полностью безнадёжной. К примеру, не ценил по достоинству свой истинно мужской нос — с едва заметной горбинкой, с красивым вырезом ноздрей. Не понимал, что у него выразительные карие глаза, длинные ресницы, густые брови. А главное, лицо его было очень живым, все, что он чувствовал и переживал, отражалось на нем так же ясно, как он сам в «старинном» зеркале. Оно вспыхивало от восхищения или горело краской стыда, или хмурилось от внезапно нагрянувшей заботы. Особенно хорош он был, когда обижался: нижняя губа так трогательно оттопыривалась и такая замечательная глубокая печаль светилась в темно-карих зрачках!

Обидчив же был до чрезвычайности. Как я выгляжу в чужих глазах — обычное несчастье подростков, отроков; в нем оно поселилось много раньше. От страха показаться не слишком отважным и предприимчивым, неловким и стеснительным лица подростков становятся непроницаемыми, дабы не читались на них обиды, унижения, их оскорбленное в действительности или в воображении достоинство. Мальчик же так до взрослых лет и не научился СКРЫВАТЬ — значит, нрава был чувствительного и простодушного. Чувств был избыток, а ума, пожалуй, не доставало.

Мало хорошего в богатой чувствительности, особенно во времена, когда жизнь поставлена в такие условия, при которых непременно проста и груба.

А нравы были именно таковы. В этом тоже была война. Мужья на фронте, несколько жен, получив похоронки, уже стали вдовами. Остальные вполне предвидели эту же участь. Любое житейское несогласие вырастало до ссоры, взаимных оскорблений, а то и до драки. Женщины в доме могли переругаться из-за пользования общей кухней, из-за очереди на мытье коридоров — хай стоял на весь дом, крепких выражений не стеснялись. В дни перемирий жили дружно, одалживались мелочами, солью, луковицей, щепой для растопки печи, пускали чужие кастрюли на свой керогаз или примус. Боялись воров, зловещей «Черной кошки», но днем двери никто не запирали, соседи входили друг к другу без стука. Житейские тайны не существовали. Непричесанные женщины нимало не смущались, если их заставляли в затра-

пезном виде. Другое дело, по праздничному поводу наряжались тщательно, хоть и не было толком во что. Праздники отмечались всем домом на общей кухне, застолье в складчину, эти варили брагу, а те — холодец, и непременно пение хором, народные песни и советские, а далее — нецензурные частушки. В сущности, жили коммуной, хотя уже и не называли ею себя, как в двадцатые годы.

То же и дети. Играли сообща, мальчики и девочки, во все игры, вплоть до футбола. Девчонки дрались и матерились не менее умело, чем мальчишки. Мальчишки таковыми себя не называли, а только: пацаны. Или от «ребята» сокращенное: ребя. «Девчонка» было оскорблением. Многие «приличное» было позорным. Ни в коем случае нельзя было кутать горло шарфом, даже в морозы; пацана заметно принижало ношение галош, не поощрялось опускание ушей у зимней шапки и завязывание тесемок. Вообще ходить полагалось нараспашку. Наиболее последовательных приверженцев распаханного образа жизни аккуратная или новая вещь приводила в ярость. Среди них нельзя было появиться в чистой и отглаженной одежде или в начищенной обуви, или с новеньким портфелем — все это обязательно подвергалось ухудшению, приближению к общему тону. Абсолютное большинство мальчиков не имело представления о носовых платках, следовало обходиться посредством пальцев.

Простыми, как кукиш, были законы повседневного общения. Ни за что и ни перед кем нельзя было добровольно извиняться, зато извинений страстно требовали. В драке: не переставать лупить, пока поверженный не попросит пощады. Правда, дрались до «первой крови»: появилась кровь — можешь и пощады не просить, дальше бить не будут. Собирает «кодлу», чтобы «отметелить» обидчика было принято лишь в случае, когда обидчик был явно старше и сильнее, тогда это считалось «законно». В случаях, когда кто-нибудь науськивал помощничков на равного себе по возрасту, это воспринималось как признание в трусости и не одобрялось.

Много неписаных правил было в играх. Главное: никогда нельзя было выйти из игры по своему желанию. Это касалось и футбола, и лапты, и чехарды, и чижика, но прежде всего — игр на деньги: «обстенку» и «чики». Наказания за проигрыш или мухлевку были зрелищными и доставляли много удовольствия всем участникам игры, кроме, разумеется, самого проигравшего. Например, была игра, в которой для проигравшего в землю забивали колышек, и несчастный должен был, не прибегая к помощи рук, вытащить его зубами.

Осенью предстояло идти в школу. По сестре и другим старшим ребятам он видел: школа сильно переменит его жизнь. Он будет

обязан вставать очень рано, под понукания бабушки, сдергивающей одеяло; одеваться, путаясь и роняя одежду, потом бабушка поведет к умывальнику, где, не дожидаясь, когда он решится сам, плеснет ему в лицо горсть ледяной воды. Потом он будет засовывать в портфель учебники и тетради, пенал и чернильницу, и что-нибудь непременно найдется не сразу; затем торопливо придется проглатывать дымящийся чай, с громким всхлипом, захлебываясь, тянуть его с блюда, жевать хлеб или давиться холодной картошкой и, наконец, убегать в страшную темень, куда-то, где сердитые учителя велят сидеть тихо и не разговаривать, и где ставят двойки, о которых трудно сказать дома и которые трудно скрыть, потому что их ставят в особую тетрадь в твердой серой корочке — в дневник. Ставят красными чернилами, и их невозможно стереть, не сделав на странице прискорбной и выдающей преступление дырки. Он будет обязан, вернувшись из школы, делать уроки. Так называется то, что пишут в тетрадях или читают в учебниках. Уроки его, впрочем, не пугали. Наоборот, ему представлялось, что это интереснейшее занятие — тем более, что он умел уже и читать и писать. Писал он, правда, только карандашами, у него не было ни ручек с перьями, ни чернильницы, как у сестры, о чем он очень жалел. Школьная чернильница была фарфоровой и называлась непроливашкой. Если ее осторожно наклонить и даже перевернуть, чернила действительно не проливались. Но если хорошенько встряхнуть, из нее выскакивала россыпь крупных тяжелых капель. В этом он убедился сам, и следы открытия навсегда сохранились на зеленом сукне письменного стола. Ручки были двух видов. Обыкновенная — деревянная, с жестяным наконечником, куда вставлялось перо. И более замечательная — металлическая трубочка, заткнутая с двух сторон вставками, в каждую из которых загонялось перо. Или в одну вставку втыкалось перо, а в другую — обрубок карандаша. Впоследствии, когда мальчик пошел в школу, он узнал о дополнительном свойстве металлической ручки-трубочки. В нее можно было насыпать горошин и, прицелившись, дунуть из всех сил в один конец трубочки. Горошины выскакивали из другого и лупили наповал. Дальности вполне хватало для сражений в пространстве классной комнаты. Еще более удивительным был снаряд, изготовленный из картошки. Трубочку втыкали в сырую картофелину, подламывали, и в ней оставался точно пригнанный к стенкам снарядик-поршень. Так же поступали с другим концом трубки. Получалось духовое ружье. Теперь, если вы начинали утапливать торцом карандаша один из картофельных поршней, воздух в трубке сжимался и выталкивал другой поршень. Он выскакивал с четким вкусным хлопком.

Большим уважением школьников были окружены перья. Они различались по конфигурации, имели номера, названия и прозвища. Одни ценились за то, что пишут тонко и мягко, другие за внешний вид, третьи — за то, что их трудно было достать. Самым привлекательным было перо номер 86. Перышки обменивали, в них играли, их коллекционировали.

Мальчик завидовал также портфелю сестры. Когда пришло время идти в школу, выяснилось, что для него портфеля нет и не будет. Для сестры разыскали еще портфель, с которым мама когда-то ходила в институт учиться на врача. Теперь, в войну, портфелей не делали. Бабушка сшила холщовую сумку, котомку, которую нужно было носить на лямке через плечо, застегивалась она на большую пуговицу. Правда, оказалось, что горевать нечего — мальчишкам и нельзя было ходить в школу с портфелями, это было «по-девичоночьи», и почти все его одноклассники явились в первый класс с такими же полотняными сумками. Конечно, почетнее были военные полевые сумки. К тому времени, когда мальчик пошел в школу, война кончилась, и вскоре мальчишки стали обзаводиться полевыми сумками, кирзовыми преимущественно, а кое-кто и кожаными. Вернулся отец, и у мальчика тоже появилась отличная кирзовая сумка. Старшеклассникам, кстати, не полагалось даже и сумок. Они носили тетради и учебники за брючным ремнем; вернее, учебников не носили вообще.

Он знал, что школа переменит не только расписание его жизни, но и его отношения со взрослыми. Школьники разговаривают со взрослыми решительно, дерзко, огрызаются, капризничают, на чем-то настаивают, в чем-то оправдываются. Они все время что-нибудь просят, а то и требуют, если это касается школы. «В школе велели принести то-то и то-то, а то не пустят в класс...» По вечерам он будет сам стелить себе постель, и его заранее беспокоило, как он справится с простыней, бабушка натягивала ее без единой морщинки, и наверняка будет требовать от него того же. Ему, как сестре, часто будут говорить, что он уже «большой». Но она действительно большая, опытная школьница третьего класса. Ее уже давно посылают одну в магазины, и она имеет право ходить в гости к подружкам и не боится уходить куда-то далеко.

Когда-то, когда ему было четыре года, она отправилась навестить заболевшую одноклассницу и почему-то захотела взять с собой братика, ей разрешили. До этого он был знаком только с проходными дворами родного квартала и улицами, его ограничившими — пространство, где ему разрешалось пребывать и дальше которого он сам опасался удаляться. В этом нескончаемом путешествии с сестрой он поразился огромности города, в котором живет. Улицей, круто

ведущей в гору, они миновали тесный строй двухэтажных особняков, похожих на их дом, и поднялись к перевалу, где на углу стояло нарядное здание из красного кирпича, с фигурными выступами между окон. Здесь его знакомый мир заканчивался, а путешествие только начиналось. Спустившись мимо таких же особняков, но уже имеющих новое, незнакомое выражение, они оказались на площади перед розоватым дворцом, с башней и шпилем с одной стороны и колоннадой с другой. Мальчик вспомнил, что этот шпиль видно было из двора, и ему всегда казалось, что до него очень далеко. Верхняя часть башни была сквозная, через узкие бойницы било солнце. Над колоннадой, в огромной треугольной нише стояли, как настоящие, каменная пушка с каменным артиллеристом, взмахом руки приказывающим пушке стрелять, каменный пулемет с прикинутым к нему пулеметчиком и каменный пограничник в каменной шинели до пят, возле него сидела каменная собака. Запрокинув голову, мальчик с изумлением рассматривал каменную армию; особенно поразило его, что одно колесо у пушки как бы вросло в стену, а другое наполовину висит в воздухе — и он подумал, что это правильно, что она зацеплена за стену, иначе грохнулась бы на тротуар; удивляло также, что у собаки из раскрытой пасти вываливается толстый каменный язык, и становилось понятно, что она только что долго бежала по следу и тяжело дышит; но было ощущение, что у нее нет глаз.

Сестра дернула его за руку, и они пошли дальше, где обнаружился целый квартал семиэтажных зданий со странными косыми балконами, а вслед за ним снова потянулись приземистые дома и домики с палисадниками под окнами, с тополями во дворах, а затем вновь открылось широкое пространство перед строгим зданием в четыре высоких этажа, по низу обложенным толстыми мраморными плитами. Пространство было покрыто ровной травой со следами недавней стрижки и отделено от тротуара чугунными цепями, свисающими с чугунных же столбиков. Мальчику очень хотелось показаться на цепях, но у входа в здание стоял часовой с автоматом за плечом, и он не решился. Впоследствии этот маршрут стал одной из самых любимых его прогулок по городу, и он, узнав к тому времени в городе немало других красивых мест, всякий раз, как подходил к газону, очерченному чугунными цепями, испытывал прежнюю радость.

Дважды они пересекали трамвайные линии, в одном месте прошли через мост, под которым в стиснутой откосами расселине по блестящим рельсам полз поезд, сцепленный из платформ, груженных громоздкими грузами, укрытыми брезентом. Откосы были сплошь усыпаны шлаком, через него кое-где пробивалась чахлая трава. За мостом открылась площадь, заставленная дощатыми прилавками, это

называлось — рынок и, как объяснила сестра, здесь всю неделю бывает ужас сколько народу, и торгуют картошкой и всякой всячиной, но в этот воскресный день площадь была пуста, ветер гонял клочья сена, а на одном из прилавков, укрывшись пыльным мешком с черными цифрами на нем, дремал мужчина в огромных сапогах. Даже сестра не посмела приблизиться к нему, хоть и любопытно было посмотреть, как человек спит не ночью и не дома на кровати, а днем, посередине огромной рыночной площади. Даже сестра, а ведь она была школьница, и очень давно!

Прогулка подтвердила ему, что он еще маленький — в полном согласии с тем, что таковым его считали и остальные. Он был послушен и рано ложился спать. Он уходил во вторую спальную комнату квартиры в самое интересное время: когда к бабушке или маме приходили гости.

Две комнаты, в которых жила семья, мальчик считал квартирой примерно до десяти лет, пока не побывал в гостях у школьного товарища, сына ответственного работника, как тогда говорили, — и не понял, что такое настоящая квартира. Оказалось, в настоящую квартиру входят не из общего коридора, а прямо с лестничной площадки, и, войдя, попадают не в комнаты, а в прихожую. В настоящей квартире есть своя кухня, своя уборная и особая комната, где стоит ванна. Оказалось, что приятель даже не ходит в баню. Он моется дома! А для игр и занятий у него есть своя комната, и мать, когда ей нужно войти, стучит в дверь, как будто пришла в гости к другим людям. Чудеса!

В их доме каждое помещение, занятое отдельной семьей или одиноким жильцом, называлось квартирой, взрослые добавляли — «коммунальной». Дети усваивали это слово с первых лет жизни, но смысла не понимали.

Всего в доме было тринадцать «квартир», одиннадцать из них состояли из одной комнаты, две — из двух. В одной из двухкомнатных жила семья мальчика. Он очень удивился бы, узнав, что когда-то во всем доме жила только одна семья.

Особняк был построен до революции. О хозяине ходили разные суждения. Чаще — что он был видным чиновником горного ведомства. Странно: всего через три десятка лет память об истинном хозяине исчезла — и это при том что первые коммунары вселились в буржуйское жилье через полгода после отъезда владельцев, убежавших вместе с отступающими колчаковцами.

Дом был одноэтажным, с полуподвалом, выходящим на улицу, и с подвалом со двора. Фасад давал дому право быть причисленным к

стилю «модерн». На улицу глядели семь окон. Все они были окружены симметричными украшениями — лепным орнаментом из простых геометрических фигур. Три окна выглядели как одно целое, составляя усеченную трапецию с закругленными углами. В дом вело два входа, с улицы и со двора. Вход с улицы назывался парадным, говорили в среднем роде: «парадное», имелось в виду парадное крыльцо, и, возможно, оно когда-то было, как у многих таких особняков, но теперь входили прямо с тротуара, открывая створки высоких дверей, украшенных деревянной резьбой. Квадратный навес над входом удерживался двумя цепями, а выше навеса был устроен проем, выложенный зелеными и красными стеклянными квадратами в шахматном порядке. Пройдя тамбур, вошедший оказывался перед мраморной лестницей из одиннадцати ступенек, в каждую по краям были ввинчены медные кольца. Когда-то лестницу устилал ковер, и через кольца пропускались удерживающие его на скользком мраморе прутья. Лестница заканчивалась небольшой площадкой, также устланной плитками мрамора и отгороженной от коридора застекленной перегородкой. На верху перегородки сохранился ряд цветных стекол. Когда солнце оказывалось против парадного входа, лестница и стены по обе стороны покрывались прихотливой игрой красного, зеленого, их взаимных наложений, окаймленных радугой. Это придавало небольшому пространству вид простой дачной террасы, веселый, радостный вид. Миновав перегородку, вошедший попадал в широкий и очень высокий коридор, в который выходили двери, тоже очень высокие, почти до потолка, крашенные белилами, с годами приобретшими грязно-желтый, а местами сизый, свинцовый оттенок. В коридоре помещались крупные дощатые лари, запертые на висячие замки. На стене в железном ящичке укреплены были общие электрические счетчики, один складывал нагоревшее в местах общего пользования, другой — в квартирах. Рядом на гвоздике всегда висел листок с поквартирной росписью причитавшейся платы. Ближний ко входу торец коридора имел окно во двор, противоположный был глухим. Из первого коридора влево уходил еще один коридор, темный. В осеннее и зимнее время он освещался электричеством с утра и до глубокой ночи. В него выходили двери еще семи «квартир», в том числе торцевой, где жила семья мальчика. В этом же коридоре помещались общая кухня и общая уборная, или, как тогда еще иногда говорили — ватер-клозет. Возле каждой жилой двери был выход печной топки с чугунной дверцей, под ней на полу был прибит железный лист, а из стены на высоте роста взрослого человека торчал хвост заслонки. В доме всегда находились бережливые люди, которых возмущал горевший днями напролет свет в темном коридоре,

они выключали его, и, когда топились печи, а зимой, в сильные морозы, старались топить дважды в день, коридор лишь слабо, внизу освещался розовыми и малиновыми бликами пламени, бросаемыми из-за полуприкрытой дверцы и из поддувала. И если кто-то входил сюда впервые, он в поисках нужной двери брел на ощупь от печки до печки, натываясь на груды поленьев или табурет с примусом и чертыхался. Мальчику же был приятен этот страшноватый сумрак, снизу освещенный розовым светом, а сверху переходящий в полный мрак, так что можно было представить, что потолка нет вообще и тьма громоздится до неведомо каких высот. В печах ровно и сильно гудела тяга, а потом, когда прикрывали заслонки, долго трещали, раскаляясь, угли, коридор наливался малиновым светом и ощутимо пахло угаром. Вообще запахи в доме были постоянны и не выветривались даже летом, когда нередко с утра до вечера распахнутыми стояли двери и в парадном, и в кухне, ведущие во двор, и по коридорам гуляли сквозняки. Зимой же вошедшего окутывала густая тепловатая вонь тесного человеческого жилища, угар, запахи керосина, испарения от варки и жарения пищи и еще более густой дух непрестанно идущей на кухне стирки.

Имевшаяся когда-то в доме ванная комната стала жилой, а ванну перетащили в кухню. Огромная, на фигуристых ножках с литыми выкрутасами, она занимала добрую четверть кухни. В ней замачивали белье, в ней же его полоскали. Стирали в корыте, устанавливая его на большой мраморный стол, прежде, видимо, служивший для разделки мяса и рыбы. Еще в кухне помещались печь с плитой, водопроводный кран в углу и раковина под ним, и ларь, подобный тем, что стояли в коридоре. Из кухни во двор вело деревянное крыльцо с тремя высокими ступеньками. Летом, как уже упоминалось, дверь почти всегда была настежь, зимой же, когда ее открывали, в проеме тотчас начинал клубиться пар, заволакивавший всю кухню, и, словно в банной парилке, смутно светился в тумане слабый волос электрической лампочки. На плите постоянно что-то варилось, пеклось, в двух ее гнездах, выложенных чугунными кольцами, сидели чугуны, сажаемые и выставляемые ухватом, в них бурлили щи либо вода для стирки.

В доме еще оставалось несколько жильцов, поселившихся в нем в начале двадцатых годов, в «коммуне». Они еще помнили, что комнаты парадного фасада были господскими, угловая, с трехоконной трапецией была кабинетом хозяина, а в комнатах возле ванны и кухни жила прислуга. Комнаты, занятые семьей мальчика, когда-то назывались «детской», в первой жили дети, во второй — их нянька. Эта первая комната была самой большой и светлой во всем доме.

Мало того, еще три года назад — совсем недавно по взрослым меркам и очень-очень давно по представлению мальчика — к комнате прилегалла застекленная веранда. Иногда, когда он глядел на кирпичные столбики ее опор, ему казалось, что он помнит ее. Три года назад, в сорок втором году, в доме затеяли капитальный ремонт. Ремонт этот был блестящей затеей какого-то жулика из домоуправления и по сути был грабежом всего добротного, что можно было утащить в этом крепко и на совесть устроенном здании без риска, что оно рухнет. С круглых голландских печей ободрали железный лист, с кухонных стен и из ватер-клозета — кафель, из бывшего хозяйского кабинета выдрали все, что составляло камин. Также без всякой надобности для жильцов поменяли полы, забрав толстенные вечные плахи и постелив вместо них тонкие и сырые доски. Заодно не вернулся в дом линолеум, оставшийся от первых его хозяев. Что до веранды, то трудно сказать, погубили ее из-за приглянувшегося жулику стекла или просто по небрежности. Бабушка долго переживала исчезновение веранды. Но нет худа без добра, освободившееся место она засыпала землей и превратила в огородные грядки. Огороды во дворе были у всех, на них брали тучную землю с уличных газонов. Впрочем, и газоны, как уже сказано, тоже занимались под огороды и в середине лета радовали глаз бело-сиреневым цветением картофеля.

Разбойный ремонт лишил особняк многих его привлекательных черт, но кое-что осталось: упоминавшиеся цветные стекла и мраморные ступени парадной лестницы, а также дверные ручки граненого темно-синего стекла, вставленные в литые бронзовые оправы, изящные шпингалеты на окнах, и, наконец — бывшая хозяйская мебель, когда-то распределенная между первыми жильцами. Родители мальчика не были среди первых, они въехали сюда перед войной, посредством обмена, и приобрели у предыдущих жильцов хозяйские буфет, шкафчик и зеркало с подзеркальным столиком. Дубовый раздвижной обеденный стол и дубовые же стулья, книжный шкаф, «варшавские» металлические кровати с никелированными шарами на спинках, письменный стол зеленого сукна, пианино тоже были старинными, но покупались в разное время и в разных местах.

Мальчик был послушным и рано ложился спать. В первой комнате еще горело электричество, и мягкая полоска света лежала под дверью; бабушка и мама переговаривались между собой или с гостями, и неумолчно звучало радио, по всеобщей тогдашней привычке выключавшееся только на ночь. Кроватка была уже маловата, он еще

помнил предохранительную сетку на ней, вроде гамачной, чтобы младенец не выпал; ноги приходилось поджимать, иначе они застревали в прутьях спинки. Зимой, когда, несмотря на раскаленную печь, в просторной комнате было прохладно, а от окна просто несло стужей, было даже приятно подтянуть ноги чуть не до подбородка и свернуться под одеялом по-собачьи, калачиком.

Если он потом вспоминал эти минуты перед сном, это переплетение голосов за стеной и звуков радио, шума водопроводных труб за другой стеной, по ту ее сторону, где помещались общие умывальники; долетали и многие другие звуки из общего коридора: шаги, выкрики, могла грохнуть об пол, рассыпаясь, грудa мерзлых поленьев — кто-то поздно вернулся с работы и решил подтопить перед ночью — он знал, что вспоминает, скорее всего, зимние вечера во времена больших морозов. Во-первых, летом он ложился значительно позже, лечь и заснуть при незашедшем солнце было невозможно и не требовалось; во-вторых, летом или зимой, в хорошую погоду вечер проходил во дворе, в непрерывной беготне и играх, после чего мальчик засыпал, едва прикоснувшись к подушке. В памяти остались вечера, когда из-за сильного мороза день проходил в комнатах, печи топились долго, копился угар, голова была несвежей, сон приходил медленно и трудно и одолевали переживания дня, воспоминания. Кроме описанных выше звуков еще один, довольно странный, сопровождал эти минуты. Окна в доме промерзали насквозь, и от печного тепла начинали «плакать». На подоконниках расстилали полотняные фитили, а их концы всовывали в бутылочки, привязанные по обе стороны окна. Вот в эти бутылочки вразнобой падали крупные капли. Если бутылочка была пуста, они вызванивали по доньшку, а затем звук становился глуше, но достаточно громко постукивало в комнате: кап... кап... кап...

Первыми всплывали обиды и радости прошедшего дня, и обид всегда было больше, обид и досадных ошибок. Каждый раз, вспоминая, Мальчик поражался, как много и часто он ошибается.

Как он удивлялся, став взрослым, когда однажды понял, что сны детства перестали приходить, оставили его, и давно; а ведь в пять и в семь лет, пожалуй, и в десять они казались вечной и неотъемлемой частью его существования и, если говорить о тех вечерах, когда он засыпал не сразу — не было среди них такого, который обошелся бы без этих постоянных видений, где его преследовали, ему угрожали, и ужас сна выдавливал на глазах настоящие слезы. Были — реже — сны, где, наоборот, он преследовал, мстил, наказывал.

Все они ушли, стерлись, забылись, но за некоторым знаменательным исключением — знаменательным, конечно, лишь для него само-

го. Исключением были... нет, снами это не назовешь, это приходило порой и наяву... воспоминания? Пожалуй, так. Самыми дорогими были воспоминания о красной глине и снегопаде, самыми страшными — о грозе и театре.

Сколько он жил, столько хотел вспомнить о себе что-то самое-самое первое, самое раннее. С полным основанием мальчика можно было назвать первобытным человеком, с той только разницей, что у пещерных жителей их быт был первым, поскольку до него не было никакого и рядом не было какого-нибудь иного быта; для мальчика же, при его повышенной впечатлительности, его первый быт оставался с ним и тогда, когда вселенная расширилась далеко за пределы квартиры; и когда другие дети уже полностью жили по законам, скажем, двора, он еще пытался жить по законам комнаты.

Он усердно задерживал себя в мире первых впечатлений, чисто зрительных, в мире предметов и явлений, первыми запомнившихся, первыми попавшихся на глаза; он преувеличивал их значение для себя, награждал особым вниманием, словно это были самые верные друзья или самые дорогие подарки, врученные ему ко дню рождения. Впрочем, отчего бы не считать днем рождения самый ранний запомнившийся день; если до этого ничего не помнишь — считай, тебя и не было, ты еще и не родился.

По взрослому разумению, впечатление от незнакомого предмета служит лишь необходимой первой оценкой, это мостик для дальнейшего узнавания и использования вещи. Предмет произвел впечатление круглого, вытянутого, суженного кверху, прозрачного тела — и отлично, запомни, что он называется бутылкой, запомни его вид и кличку; затем обрати внимание, что в эту «бутылку» наливают воду или молоко — и это его предназначение; запомни также впечатление испуга, которым сопровождалась твоя попытка всунуть пальчики в горловину, запомни, что потом их нелегко выдернуть оттуда, запомни пугающий вид этой навсегда сросшейся с твоими пальчиками стеклянной штуковины. Итак: внешний вид, название, применение, меры безопасности — предмет освоен, можно переходить к следующему. Взрослый так и поступает. Маленький же лелеет свои первые впечатления, свои замечательные открытия, жаль так сразу расставаться с ними, сладко еще и еще раз убеждаться, что бутылка круглая и гладкая, что стекло прозрачно и что пальцы странным образом срastaются с нею, всасываются в нее.

Все это, однако, до поры до времени. Новые предметы и новые впечатления заслоняют первые, и новые — все сложнее. Уже не только

от предметов, но и от людей, от способов и правил их общения — сколько тут надо усваивать полезных, реже приятных, чаще огорчительных открытий; и горе тому, кто, пасуя перед открывающимся миром условностей, запретов, приказов, обид, возвращается в свою младенческую первобытность, в прекрасный обман первых впечатлений, в этот ничем и никем не омраченный день рождения, где нет ни войны, ни тыла, ни семьи, ни двора, нет человеческих столкновений, дружб, ссор, любви, ненависти, всего, из чего люди выстроили себе жизнь.

Одно из самых дорогих воспоминаний проживало во дворе, в уголке между стеной дома и крыльцом, под которое можно было залезть — в тесный закуток, обшитый досками. Здесь вдоль стены тянулась полоса красной глины. Как прохладно и сумрачно было под крыльцом и как резко обрывалась тень в двух шагах от крыльца, и дальше солнце разбивалось на искорки в песчинках, камешках и осколках слюды, вкрапленных в почву, а рядом мягко светила красная глина. Ее можно было размочить в луже, она легко и послушно мялась, а если комок покрепче стиснуть в кулаке, выдавливалась меж пальцев и при этом нежно и сочно чавкала. Комочек хорошо размятой глины нужно было прижать к доске, и он послушно плющился, на нем отпечатывались извивы древесных волокон. Наверное, он все-таки играл здесь не один, ведь кто-то научил его изготовлению глиняных пушечек и танков; но он никого не помнил, не слышал ничьих голосов. Он ползает на коленках под крыльцом и возле него и возит перед собой глиняный танк. Танк преодолевает колею, выдавленную тележными колесами, и, словно в лесу, пробирается в кусты травы.

Ничего не изменилось здесь с той далекой поры, хотя прошло уже три, а, может, и четыре года. У стены все так же краснели пласты глины, в выемке после дождя скапливалась лужа. По-прежнему, отсекая этот уголок, блестела колея. И по ту сторону колен, до самой стены противоположного дома, росла та же трава. Что ему была эта трава? Она что-то сообщала ему. Невысокие мохнатые растеньица, вроде крохотных пальмовых ветвей, с золотистыми пятилепестковыми цветами размером в копейку. Лепестки были заострены, и цветок походил на звездочку. Кроме этой, росла еще одна трава, невзрачная, рябенькая, с множеством тесно усевшихся на стволник сероватых каплевидных листочков.

Эти две травы, красный пласт глины и лужа, из темной глубины ее могло ударить в глаза отраженное солнце, были первыми впечатлениями, подаренными ему миром, в который он вошел. Трудно представить более непритязательные дары.

Еще одно давнее впечатление — зимнее. Возможно, оно-то и было самым ранним. Его везут по улице, возле их дома, на высоком стуле с высокой спинкой, стул установлен на полозья. Кажется, это называется «финские санки». Стул черный, а все вокруг белое. Высокие пушистые сугробы, узкая тропинка между ними, по которой его везут. Идет густой снег. Медленные снежинки пролетают близко, различные каждая отдельно. А чуть подальше они сливаются в мягкий рисунок, выполненный светлыми тенями. Снежинки щекочут щеки и нос, садятся на рукава шубки. Он укутан, подпоясан, неподвижен, неуклюж. Скосив глаза, он видит снежинку на черном рукаве. Он надувает губы и дует на нее. Снежинка мягко взмывает в воздух и растворяется в общем рисунке снегопада. Наверное, это было очень давно, потому что те финские санки стоят сейчас в сарае, спинка у них разошлась, один подлокотник отломан, а полозья почернели от ржавчины.

Красная глина и снегопад вспоминались и наяву и во сне; наяву — приходили сами собой, в тихую минуту забывчивого раздумья; во снах же они как бы специально разыскивались как спасительный выход из кошмаров, память стремилась к ним, как тонущий рвется к поверхности, к воздуху и свету; особенно же спасали они, когда приходилось выныривать из двух, чаще всего преследовавших страшных воспоминаний: грозы и человека, уничтожившего город.

Он стоит у раскрытого окна деревенской избы. Здесь живет девушка, вскоре умерший, теперь он его не помнит. Это окраина города, на берегу озера. Только что отбушевала гроза, вдали еще ползает синяя туча, бывшая до того черной. Под окном стоят мокрые кусты малины. Темные влажные ягоды облеплены мокрыми листьями. Запахи земли. В канаве бежит пенистый ручей. Когда началась гроза и туча накрыла улицу, зажгли керосиновую лампу. В избе тусклый красноватый свет, а из-за края тучи солнце бьет сильными лучами по лужам. Потом оно закатилось, на улице стало темнеть, а свет в избе стал ярче и светлым квадратом выпал на улицу, на кусты малины и затихающий ручей. И тогда мимо избы прошли эти люди. Они возникли из темноты, попали в светлый квадрат и снова исчезли. Они — потом вспоминалось — шли вереницей и, кажется, все были в бинтах. У первого вся голова была замотана, свежий бинт на всклокоченных волосах, на лбу. Он идет ровно по прямой, и, кажется, вытянув перед собой руки. Может быть, у него забинтованы и глаза? Да! Чей-то голос произносит: «Погорельцы...» Он понимает это так: их обожгло грозой, они загорелись от молнии. В грозу нужно прятаться в дома, а когда вспыхивает молния, закрывать глаза. Они или не знали этого, или не успели спрятаться, и молния сожгла их. Она

обожгла их лица, выжгла им глаза, и теперь они будут брести неведомо куда и просить милостыньку, как те слепцы, что иногда забредают к ним во двор и поют заунывные песни. Несчастные, страшные люди со сгоревшими глазами. Многие годы они снились ему, идущие молча и ровно, не быстро и не медленно. Неостановимо, с белыми повязками, из-под которых виднелись обугленные носы. Во сне они, войдя в светлый квадрат, не проходили, а все шли и шли, и так близко, что, протянув руку, можно было сорвать бинт с лица. Но этого-то они и хотели, об этом и просили, молча, каким-то особым намеком, и этого-то ни в коем случае не следовало делать, потому что там, под бинтами... не было глаз! И знать, что там, под бинтами, нет глаз, было страшнее, чем если бы видеть, что их нет. Люди в бинтах шли через его сны как молчаливый знак всего потаенного и жуткого, что есть в жизни и с чем неминуемо придется столкнуться.

В отличие от безмолвного шествия слепцов театральное воспоминание пугало иным образом, вместе со страхом оно приносило ощущение восторга, этот страх был притягательным. И если слепцы приходили против его воли, то это воспоминание он не раз вызывал к себе сам, добровольно погружаясь в его сверкающий, распоротый острым летучим лучом мрак. С годами он полностью утеряти представление, когда и кто водил его на тот спектакль, и самого спектакля не помнил вовсе, из чего и заключил, что дело было в очень раннем возрасте; не помнил потому, что ничего не понял; ни единым проблеском не вспыхивала память, когда он пытался вспомнить, что было до той сцены и после нее; можно было подумать, что все предыдущие актеры сыграли на темной сцене, при погашенной рампе, торопливо отбормотав положенное глухими невыразительными голосами и, проскользнув бесформенными тенями из кулисы в кулису; и так тускло и бестелесно текло действие, пока не зажглись прожектора и не осветили в глубине сцены красивый иноземный город; а слева, возле ближней кулисы, обозначалась высокая башня, укрытая решетчатым куполом, под которым громоздилось нечто непонятное и грозное. Вдали, в условной театральной дали, жил в ночи, перемигивался огоньками ничего не подозревавший город. Человек в черном, высокий, с черными руками, непрестанно размахивая ими, взбегал по крутой лесенке на башню, гримасничал, выкрикивал угрозы, грозил далекому городу кулаком, затем проникал под решетчатый купол и приводил в движение нечто, под куполом находившееся, и стало видно, что это нечто имеет вид пушки. Человек лихорадочно крутил приводные колесики, в оркестре возникла и набрала силу барабанная дробь, оборвалась, сменилась пением труб и скрипок, под которое из пушки вырвался ярчайший острый луч, сначала обша-

ривший полнебосвода, а затем упавший на город. И там, срезаемые им, начали падать огромные здания, рушились башни и гасли огни, а высокий человек — теперь уже не высокий, скрюченный под тесным куполом, приникший к черной пушке таким образом, что вместе они составили нелепый многоугольный силуэт — кричал диким звериным криком, приветствуя падение очередного здания; и было ясно, что там не только падают на землю этажи, но и гибнут люди, еще за секунду до того не подозревавшие о том, что погибнут; они веселились, танцевали, сидели за столами, играли, беседовали, и вот пришел луч, он прошел через город, разрезая стены и любые предметы, попавшие ему по пути, а если попадались люди, он разрезал и их. Один-единственный человек в считанные минуты погубил огромный веселый город. Велика же была его обида, велики были сила его мести, сила и власть. Могущество высокого человека завораживало и делало происходящее одновременно отвратительным и прекрасным... Но не все еще было кончено, нет. Внезапно на окраине погибающего города разгорелось и ослепительно вспыхнуло яркое пятнышко, и непрерывно расширяющийся луч пронесся оттуда сюда, чиркнул по стенам и потолку зрительного зала и заплесал вокруг башни. Высокий человек, упоенный всепобеждающей силой своего луча, поздно заметил опасность. Он попытался направить свой луч точно в далекое пятнышко, и был уже близок к цели, но тот луч нашел его первым. Вспыхнуло пламя, раздался вопль ужаса, и человека и его пушку заволокло дымом. Мгновением позже и луч с башни нащупал врага, и там, вдали, где горело пятнышко, тоже вспыхнуло маленькое пламя, а потом вся сцена погрузилась во мрак.

Надо думать, это была инсценировка «Гиперболоида инженера Гарина».

Это воспоминание он не раз вызывал с целью покаяния своих обидчиков и врагов. Засыпая, он выстраивал ночной город и кромсал его страшным острым лучом, и те, с чьей отвагой или наглостью он не справился днем, здесь растерянно метались среди падающих стен, напрасно пытались укрыться от луча, и луч испепелял их; здесь он, мальчик, был высоким человеком, жестоким и несправедливо обиженным, страшным и отчаявшимся; тогда, днем, нужно было только сжать пальцы в кулак и ткнуть этим кулаком в лицо или хотя бы в грудь обидчика, а он не мог что-то преступить в себе и ударить; здесь же он преступал, и легко, и знал, что именно — преступает, он преступник, и возмездие не заставляло себя ждать. В хаосе разрушенного города, в глубине ли мрачного дворца, под сводами ли полузасыпанного щебнем подвала разгоралось пятнышко, выскакивал игольчатый луч и ударял ему в глаза.

И в полном мраке, наступавшем после вспышки, он превращался в одного из тех, обожженных грозой слепцов и брел среди руин разрушенного им города; причем его не удивляло, что он видел эти уходящие в никуда стены с выщербленными кирпичами, с пустыми проемами окон, он видел их и все же был слеп, слепота заключалась в неподвижности всего, что он видел, в отсутствии и невозможности какого-либо движения вокруг. Он посягнул и он наказан, навсегда, до конца дней своих обречен идти среди безмолвия, нескончаемым путем тишины и мрака, через тени и столбы лунного света, в которых не шевелились даже пылинки. Другие слепцы шли рядом, покорно вытянув перед собой руки. Они тоже посягнули и тоже наказаны.

Так укреплялся в нем образ запрета, сам по себе не имевший никаких очертаний, он ощущался как тягостная сила и непрерывное давление. Множество самых разных «нельзя», явленных ему в семье, во дворе, позже — в школе, действительно произнесенные, а также такие, на которые намекалось обстоятельствами, и, наконец, внушаемые самому себе, — вместе составляли этот невидимый, ощущаемый только производимым ими давлением образ.

«Кем ты будешь?» Этим вопросом взрослые облегчают ребенку его размышления о будущем. В самом вопросе заложена подсказка, что будущее поддается определению и уточнению, в нем можно стать «кем-то», и именно тем, кем хочется в настоящее время. Но для мальчика в этом вопросе важнее не «кем», а «будешь». Оно подтверждает его тревожную догадку, что когда-нибудь он станет взрослым. В это верится с трудом. Он ничем не похож на взрослых. А они ничем не напоминают бывших детей. Он мал ростом, а взрослые велики, и он смотрит на них снизу вверх. У отца каждый день отрастают на щеках густые черные волосы, и каждое утро он сбрасывает их блестящей бритвой, этаким сабелькой, предварительно укрывая лицо густым слоем мыльной пены; интересно следить, как с легким скрипом бритва снимает эту пену, и обнажается выбритая щека. Над бровями, возле крыльев носа, на шее — всюду загорелая кожа рассечена морщинами. У отца волосатые руки и волосатые ноги. Неужели и он, мальчик, когда-нибудь превратится в такого мужчину? Он не хочет превращаться. Он и без того некрасив. Далее — быть взрослым скучно. Они живут в квартире, не подозревая о самом интересном в ней. Они никогда не сидят под обеденным столом, да и не поместились бы там. Между тем, ножки стола соединены широким перекрестием, в свою очередь, имеющим свои маленькие ножки. На нем можно си-

деть, как на скамейке, и наблюдать жизнь квартиры. Квартира на самом деле двухэтажна, взрослые живут на втором этаже, а на первом живут дети. В первый входит пространство под столами, обеденным и письменным, и под кроватями, закоулок за печкой, щель между стеной и пианино, подзеркальный столик и две-три нижние полки книжного шкафа. На второй, взрослый этаж можно попасть, если встать на стул или залезть на пианино, что строжайше запрещено, или на широкую среднюю часть буфета, что тоже не поощряется. Но какое счастье стоять на этой пониженной части буфета, имея справа и слева полукруглые тумбы с дверцами граненого стекла, а за ними, также с обеих сторон — уходящие до потолка крайние тумбы с дверцами, отделанными медью и перламутром; и, наконец, прямо перед собой — зеркало в ногах, зеркало над головой, двухстворчатый шкафчик и между ними полочка с трехъярусной хрустальной вазой и семеркой тяжелых, увесистых слоников, мал мала меньше. Буфет — сам себе дом, замок, а, может, и отдельный город.

А платяной шкаф, в котором они с сестрой укрывались друг от друга, играя в «прятки»? А письменный стол с зеленым сукном, с выдвигаемыми ящичками, с крохотными шкафчиками на нем, соединенными резной лакированной оградкой, с чернильным прибором на розовой, в крапинках доске из орлеца, с серебряной собакой — гончей, лежащей между чернильницами, кубами толстого желтоватого на просвет стекла? А уже упоминавшееся зеркало и столик с дверцами, закрытыми гранеными стеклышками неправильной формы, вставленными в металлическую оплетку? И, наконец, книжный шкаф, в котором самым интересным было, как открывались и убирались дверцы его полок. Дверцу следовало приподнять за круглую ручку, торчащую посередине, и вогнать в щель над книгами. Она уезжала внутрь по двум канавкам, по которым катились ролики. И открывался доступ к самому замечательному, что было в доме — к книгам.

Он очень рано научился читать, к четырем годам, а может, и раньше, этого он не помнил. Но хорошо запомнил день рождения, когда ему на четырехлетие подарили книгу Бориса Житкова «Что я видел». Эту книгу он читал с утра до вечера, на ночь прятал под подушку, и утром, едва проснувшись, доставал ее и вновь погружался в приключения маленького героя книги. Из нее он впервые узнал о существовании дынь и арбузов, пароходов и самолетов, вокзалов и гостиниц. Там описывалась гостиница в Москве. Особенно поражаало, что в гостиничном номере были кнопки с различными изображениями.

Нажмешь на ту, на которой изображен веник, придет работница и подметет пол. Нажмешь на изображение скрещенных вилки и ложки — принесут еду. Удивительно!

В книге было еще много не менее замечательных сведений. В тот же вечер, как ему вручили ее, он вышел с ней во двор. Между стволами акации была устроена скамейка. Здесь он сел и начал читать. Он читал очень громко. Он привык, что взрослых умиляет и поражает его умение читать, и ему нравились эти похвалы. Вот и сейчас, когда он сидел между акациями и читал Житкова, подходили дворовые тетки и хвалили его. Потом раскрылась дверь во флигеле, и вышел Петька. Петьке было пятнадцать лет, и он был почти настоящий взрослый. Выйдя из флигеля, он намеревался отправиться по своим делам, но задержался возле мальчика. Запихнув кулаки в карманы широких мятых брюк, он внимательно слушал чтение, а также, как тетки удивляются мальчику и хвалят его. Но вот он выдернул руки из карманов и неожиданно наложил на страницы по растопыренной пятерне.

— Стоп, машина, — сказал он. — Это каждый дурак умеет...

Голос у него был грубый, слова звучали резко, отрывисто, с особым напором, вызовом; некоторые слова он не договаривал, так что казалось, что фраза закончится ругательством, да часто она так и заканчивалась. Эта манера не была собственно Петькиной, так принято было у всех пацанов. Кто не умел так разговаривать, не мог считаться своим. Позже мальчик во всех тонкостях овладел этой манерой, но у него не всегда хватало духу пользоваться ею, потому что ее подспудным смыслом было намерение немедленно, с первой фразы обозначить себя выше собеседника или, точнее — поставить его ниже себя.

— Это каждый дурак... — повторил Петька. — А ты давай-ка одними глазами.

Мальчик долго не мог понять, что это такое — «одними глазами». Кончилось тем, что вошедший в педагогический раж Петька велел ему закусить язык и держать изо всех сил. Мальчик старательно стиснул язык, и свершилось чудо. Глаза читали, он все понимал, стояла тишина. Довольный Петька одобрительно шлепнул его по затылку, сунул руки в брюки и вразвалочку пошел по своим делам.

Мальчик, правда, не сразу перешел на новый способ, ему не хотелось расставаться с похвалами, и когда приходили гости, он, чтобы сделать приятное себе, маме, бабушке, читал по-прежнему вслух.

Теперь, в семь лет, воспоминание о том дне числилось среди самых дорогих и приятных, сразу после красной глины и снежинки. Тогда

скамеечная доска была свежевystруганной, теперь она побурела, столбики под ней подгнили, по ним ползали муравьи. Здесь он сидел, одной рукой прижимал к коленям книгу, а другой поглаживал ствол акации, теплый, гладкий, и пальцы сами отщипывали тончайшие прозрачно-золотистые кожурки, под ними обнажалась еще более гладкая глянцевитая кожа. И по-прежнему в пяти шагах от скамейки была дверь флигеля с косо прорезанной щелью и ржавой табличкой возле нее: «Для писем, для газет», но живший за этой дверью Петька за эти годы успел вырасти, уйти на войну и погибнуть.

Мальчик садился на скамейку, обхватывал по обе стороны от себя стволы акации и смотрел на дверь. Он пытался понять, что это значит, что человек был и его не стало. Он не мог этого понять.

Самой потрясающей книжкой его раннего детства была горькая история голландского мальчика Карла, и он потом многие годы мечтал снова найти и перечитать ее. Книга с оторванной обложкой, без фамилии автора и без названия, неизвестно откуда возникла в доме и неизвестно куда стинула. Это был рассказ про страну Голландию, где всюду крутятся мельницы, а зимой по замерзшим каналам дети и взрослые катаются на деревянных коньках, где все живут сытно и весело, все, кроме несчастного сиротки Карла, над которым издевалась мачеха и который очень хотел увидеть свою родную мамочку и не верил, что она умерла. Однажды Карла взяли в какой-то большой дом, где в просторном сводчатом зале собралось много нарядных людей, пел хор, играла музыка, а люди обращались к кому-то с просьбами и извинениями.

Стены зала были украшены картинами и портретами, и среди них Карл увидел изображение красивой молодой женщины, и ему показалось, что он уже видел когда-то это лицо... Да, он понял: это портрет его настоящей матери! Он был заворожен ее ласковым взглядом, и, когда все завершилось, умолкли песнопения и мольбы, мальчик никак не желал уходить, он упирался, кричал, плакал, вел себя ужасно и несообразно со строгими порядками этого дома. Больше его сюда не приводили. Между тем наступила зима. Однажды ночью, после очередных побоев и унижений, голодный и оскорбленный, он долго не мог уснуть. Если бы была жива его настоящая мать, он жил бы по-другому. У него была бы чистая постель в теплой комнате, а не соломенная подстилка под лестницей, и он был бы сыт, и на ночь над ним склонялась бы мама и целовала его в лоб и рассказывала бы добрую сказку... Карлу неудержимо захотелось сейчас же уви-

дочь ее. Он тайком покинул дом мачехи, среди ночи нашел тот дом, сумел проникнуть в него и вновь увидел портрет, слабо освещенный лунным светом, пробивавшимся через замерзшие окна. Ему казалось, что мама вот-вот оживет, спустится к нему по голубому лунному лучу, обнимет и согреет... Еще не рассвело, когда прихожане местной церкви, явившиеся к заутрене, нашли его застывшим на каменном полу пред иконой Божьей матери.

У мальчика каждый раз, как он дочитывал эту историю до конца, наворачивались слезы. Больше всего его поражала не сама гибель Карла, а то, что он так и не узнал о своей ошибке. Иконы мальчик видел у матери паровозного машиниста, жившего в первом коридоре, у старухи Сусловой; они висели в углу, подсвеченные лампадкой красного стекла. Была ли среди них Божья мать, он не знал, а спросить стеснялся. Старуха была страшновата. Время согнуло ей спину, она походила на бабу-ягу, ходила с клюкой, со всеми разговаривала сердитым окриком и промышляла милостыней. Она нашла очень выгодное место: на горе возле Дворца пионеров, куда мамы водили детей в различные кружки. Расчет у старухи был безошибочным — кто идет с ребенком, обязательно подаст. Несколько раз мальчик, заходя к Суловым, заставлял старуху за подсчетом добычи. Она складывала монеты в столбики, отдельно медь и серебро. Ах, никелированному бочоночку его копилке, было очень далеко до тех богатств, которые высыпала на покрытый клеенкой стол из своей грязной драной кошелки сердитая согбенная старуха!

Но никаких богатств не пожалел бы мальчик за пропавшую книжку у Карле. Странно, кого бы он ни спрашивал, никто не читал ее и не слышал о ней. Определенно, с нею была связана какая-то тайна.

Из других первых книг впоследствии чаще всего вспоминались: русские сказки Афанасьева, два тома в крытых лаком картонных футлярах, с картинками, переложенными папиросной бумагой; «Маугли»; рассказы Сетона-Томпсона о животных.

Когда исполнилось семь, еще один подарок взбудоражил юного читателя — ему подарили ни на что не похожую книгу, написанную детьми. Все, что содержалось в книге: рассказы, сказки, стихотворения — все было сочинено ребятами; правда, большими, школьниками, и все-таки это его потрясло. И рисунки были нарисованы ребятами, среди них ему особенно нравилась иллюстрация к рассказу о нападении рыси на мальчика, ушедшего на охоту в глухой лес. Мальчик выехал меж двух пушистых елок, он на широких охотничьих лыжах, за плечом ружье, а рысь сидит на ветке сосны, вся напряжена и сейчас прыгнет. От мохнатых кисточек на острых стоячих ушах до гибкого хвоста она была выведена тонким, замечательно

точным пером. Рассматривая рисунки, он не испытывал ничего, кроме восхищения: рисованием он увлекался не больше других; но, читая детские рассказы и стихи, ощущал в себе нарастающее беспокойство, ибо до этого был убежден, что писатели не принадлежат к числу обычных людей, все они умерли, а когда жили, были особыми, возможно, никто не мог встретиться и заговорить с ними, все они были седобородые старики и жили неизвестно где, скорее всего в отдельной писательской стране. Чем больше он перечитывал книжку, тем меньше верил в подписи: ученик такого-то класса; пока однажды его не осенило: конечно же, книжку написали настоящие писатели, а чтобы было интереснее, подписались детьми! Ведь и у Бориса Житкова рассказ ведет мальчуган, просто малыш, но кто же поверит, что сам малыш мог изложить все, что видел, так складно и увлекательно. Разоблачив обман, он повеселел, читал книжку с прежним удовольствием и с легким сердцем. Как-то пришлось к слову и он поделился своим блестящим разоблачением с сестрой, тоже читавшей эту книжку. Каково же было его изумление, когда сестра назвала его дураком и объяснила, что многие школьники действительно сочиняют рассказы и стихи, и она сама тоже. Он был ошеломлен. Сестра пишет стихи! Тогда она порылась в своем уголке, где вперемешку были напиханы книжки, тетрадки, куклы, катушки с нитками, тряпочки, все девчоночьи богатства, и достала небольшую самодельную книжечку, очень похожую на настоящую. На первой странице значилось: «СТИХИ» и была нарисована новогодняя елка. Сами стихи были переписаны аккуратно, на карандашных линейках, особым почерком, вроде печатных букв.

Он прочел стихи сестры, и они ему очень понравились. Она же рассказала ему, что у них в классе почти все девочки сочиняют стихи и соревнуются, кто их напишет больше. Что ее самодельная книжка — ерунда, а надо завести альбом. Она пообещала принести чей-нибудь альбом и показать ему.

В этот вечер, засыпая, он не видел никаких других образов, кроме книжечки сестриных стихов, страницы сами переворачивались перед ним, вежливо ожидая, пока он не прочтет все строки сверху донизу, но вот повернулась очередная страница, а за ней открылась чистая... потом по ней быстро-быстро побежали строки, он не успевал прочесть их, но смысл был ему понятен... Это были его стихи! За стеной, как обычно, переговаривались мама с бабушкой, а радио исторгало звуки большого оркестра, они то лились густым потоком, то обрывались. И начинал густо бить барабан, и при каждом его ударе упруго вздрагивала стена. Потом музыка прекратилась и раздался знакомый голос диктора:

— От Советского информбюро...

Сколько он себя помнил, каждый день звучали эти сводки, и почти в каждой сообщалось об освобождении городов и «населенных пунктов». Он никогда не видел этих городов и никак не вообразил их. Что на этот раз помогло ему? Как он ни размышлял впоследствии, он не мог догадаться. Не исключено, что под видом прибалтийского города с труднопроизносимым названием выстроился тот самый театральный город, уничтоженный карающим лучом высокого человека. Но тогда странно было, что этот город он увидел сверху, с такой точки зрения, какой не могло быть у зрителя, сидящего в зале и даже на балконе. Разве что из прожекторной будки, одной из двух, прилепленных к стенам под самым потолком, возможно было увидеть театральный город таким образом; но никак нельзя было предположить, что он наблюдал спектакль из прожекторной будки.

Может быть, проще, кто-то при нем рассказывал, как выглядят тамошние города, кто-то из вернувшихся с фронта или кто-нибудь из эвакуированных?

А может быть, это был голландский городок сиротки Карла?

Так или иначе, но когда ликующий, низкий, вибрирующий голос сообщил об освобождении города парашютным десантом, мальчик увидел — сверху — замок с высокими башнями. С зубчатыми стенами, с перекидным мостом над рвом, заполненным черной водой, а вокруг замка — извилистые улочки, уставленные домами с крутой крышей, с узкими и высокими чердачными окнами. В ночном небе шатались столбы прожекторных лучей, пытаясь нащарить наши самолеты, а оттуда, из мрака, летели и летели крошечные парашютисты с едва видимыми автоматами. Из автоматов вниз текли огненные струи, а снизу такие же струи летели им навстречу. А еще сверху неслись черные капли бомб, и там, где они падали, вставали беззвучные косматые взрывы, оседали и рушились стены, а парашютисты приземлялись в тесных каменных двориках, куда-то бежали, волоча за собой обмякшие купола, на бегу швыряли гранаты, и в двориках вставали и опадали маленькие аккуратные взрывы. И надо всей этой великолепной картиной из невидимого репродуктора гремел голос и, то, что он выкрикивал, было — стихи!

Утром стихи вспомнились без всяких затруднений. Он выпросил у бабушки чистую тетрадь и на первой странице любимым красным карандашом, усевшись за отцовский письменный стол, записал свое первое стихотворение. Он несколько раз перечитал его. Прекрасное стихотворение! Оно ничего не потеряло при дневном свете, выта-

щенное из полыхавшего взрывами сна. Немного смущало лишь одно место, где говорилось, что «враги убегают назад», между тем как там, во сне, он ясно видел, да так и нужно было, что они все погибали на месте, безжалостно расстреливаемые из автоматов. Он подумал, не переделать ли это. Но жалко было трогать крупные красные буквы и красивые, хоть и чуть косые строчки. Кроме того, им овладела более важная забота: у сестры было целых пятнадцать стихотворений, а у него только одно. О чем написать следующие? У сестры почти все стихотворения начинались с упоминания времени года, затем шел рассказ, чем в это время года заняты дети и чему они рады. В каждом времени года они находили радости.

За окном была осень. Что ж, сейчас он опишет это время года и придумает, чему в такой день могут радоваться дети. Он внимательно уставился в окно. Сразу за окном располагалась наклонная железная крыша над входом в подвал. Угол одного из листов оторвался и загнулся, и в образовавшемся углублении скопилась темная жижица от ночного дождя. Двор перекрещивали бельевые веревки. На табурете стоял таз. Тетя Маша развешивала выстиранное белье. Сильный ветер раскачивал веревки и поставленные под них шесты. Рубахи взметали рукава к тучам, словно обращались к небу с горячими неубедительными речами. Когда ветер вскидывал белье особенно высоко, открывалась дальняя часть двора — сплошной ряд дровяников, один был открыт, возле него кем-то нанятые дядьки пилили сосновый горбыль, укладывая его на козлы. Над дровяниками виднелись зубцы забора, за которым начинался городской сад. Над забором высились полуоблетевшие тополя. Последние листья летели с них на крыши дровяников, кружились над двором, плавали в лужах.

«Осень наступила», — придумал он первую строчку. Он пытался вспомнить, как началось вчерашнее стихотворение. Получалось, что оно никак не началось, а пришло само собой. Он смотрел, как тетя Маша борется с мокрой простыней, стараясь растянуть ее на веревке, и терпеливо ждал, когда стихотворение об осени придет само. Вскоре ему стало скучно. Он погладил серебряную собаку, лежавшую между чернильницами. От стола пахло лекарствами — валерьянкой, йодом. Они хранились в одном из двух стоявших на столе шкафчиков, за дверцей из темно-коричневого стекла с волнистыми разводами. Ему всегда нравились эти шкафчики и эти запахи, а сейчас показались неприятными. От стола веяло скукой. Сочинительство оказалось тягостным занятием. Но он не собирался сдаваться. Закусив язык и покрепче сжав толстый красный карандаш, он медленно, но почти без остановок написал: «Осень наступила и глядят уныло голые

кусты. Осени рад и я и ты». Ему было стыдно за такое короткое и неважное стихотвореньице, но зато теперь у него их было целых два. Кто этот «ты», который тоже рад осени? И чему они оба так рады? Глупость сочиненного покалывала мальчика легкой укоризной. Он оправдывался: «Я еще научусь...»

Днем пришла сестра и принесла альбом подружки. На каждой странице, возле красиво и четко выведенных стихов вились венки ромашек, в углах были нарисованы розы или букеты ландышей, а на некоторых углах были «секретки». «Секретка» устраивалась так: угол загибался и закреплялся в прорези, или — еще более искусное устройство — прижимался пропущенной через две прорези и завязанной в бантик лентой. Сверху обычно писалось предостережение и заклинание ни в коем случае не вскрывать «секретку», чтобы не узнать чужой тайны. Конечно же, все нарушали этот запрет, и, открыв, узнавали довольно нелестное мнение о себе, изложенное в рифму. В некоторых «секретках» при вскрытии обнаруживались загадочные тексты из сокращенных или перевернутых и переименованных слов, смысл которых невозможно было угадать, но угадывать было приятно и волновало.

В альбоме этой девочки они вместе с сестрой насчитали более шестидесяти стихотворений, и он тут же поклялся про себя, что напишет больше.

Альбома он заводить не стал, альбомы вели только девчонки. Он продолжал писать стихи в тетрадке. Соревнование с сестрой и ее подружками шло с переменным успехом, он старался, как мог. Когда через год он пошел в школу, тетрадь была исписана до конца. Он научился писать стихи об осени и о зиме, о Первомае и новом годе, обо всем, о чем писали девочки. Содержание стихов было ограничено. Их полагалось писать на определенные темы. Кем полагалось и как было определено, мальчик не смог бы сказать, он это ощущал. Писались стихи о хорошей погоде, о величине страны, о купании пионеров в речке, о сборе металлолома и, конечно, о вожде, друге всех детей, который живет в Кремле и постоянно заботится. К тому времени как мальчик пошел в школу, война закончилась, и — опять-таки отчего-то ощущалось — писать о ней больше не следовало. Никогда никто не писал о действительных переживаниях своих, о случаях, имевших место с самим автором. У него тоже не возникало такой потребности. Вот бы удивился он, если бы ему предложили описать в стихах того незнакомого парня, который, проходя через двор, ни с того ни с сего дал ему чрезвычайно обидное прозвище и наградил затрещиной. Парень был пьян и чем-то очень доволен. Не понял бы мальчик и предложения воспеть в стихах полные страсти

мгновения игры в чику. Не вдохновляли его пера и те нежные младенческие, столь дорогие ему воспоминания о золотистых звездочках травы, о красной глине, о снежинке на рукаве. Снежинки в изобилии порхали в его новогодних стихотворениях, но — вне связи с личным чувством, а лишь для украшения пейзажа. Были стихи о дружбе, но не было стихов о его действительных приятелях, о мальчишках его двора. И уж тем более не было стихов о девчонках, многие из которых ему нравились.

Он сочинял стихи о людях, которых не видал никогда. О героях-летчиках, летящих к полюсу. О машинисте паровоза, ведущем состав среди необозримых колхозных полей, о богатом урожае, зреющем на этих полях, о Москве, о залпах праздничного салюта над краснозвездными башнями, о пионерах, шагающих куда-то с дружной песней.

Между тем в доме жил настоящий паровозный машинист, дядя Коля, громогласный, беспокойный мужчина, уходивший на смену со странным маленьким сундучком с тонкой проволочной ручкой, чуть ли не круглый год ходивший в замасленном ватнике, затягивая его потертым офицерским ремнем. Человек вспыльчивый, резкий; по словам взрослых, его то награждали за ударный труд, то отстраняли от машины. Трезвым он был весел, ласков и угощал детей леденцами; однако у него случались тяжелые, огорчительные для всех запои, и тогда он гонялся за женой и двумя дочерьми, бросался с поленом на собственную мать, старуху-побирушку, оборонявшуюся от него ключкой, — этакий зверюга! Срочно посылали за его родственником, жившим в бараке в соседнем дворе, молодым парнем, списанным с фронта по ранению в ногу. Хромой родственник приходил, отбирал полено, смачно ударял машиниста в скулу — зимой это происходило в общем коридоре, а летом во дворе, при особенно большом стечении любопытных; после чего машиниста приводили в чувство, плеща на него воду ковшом, и хромой родственник помогал ему подняться и уводил к себе, подталкивая в спину. Там, в бараке, они пили вместе, машинист был уже усмирен, и когда закатывалось солнышко, они вместе вываливались из барака, усаживались на завалинке, смолили сигарки и пели протяжные песни. Если бы мальчику сказали, что можно написать об этом, невыдуманном машинисте, он бы не понял. Точно так же он не понял бы, что вполне заслуживает воплощения в поэзии жена машиниста, тетя Маша, прачка, что можно написать о ее багровых распухших руках, о ее руках, которые крутят палкой в бешено кипящем котле, где, подобно щам, варится белье. Он не понял бы этого хотя бы уж потому, что ни о чем таком не писала и настоящая поэзия, та, которую он встречал в газетах и книгах. Поэзия возвышала, воспевала, звала к большим высотам духа, к масштабным

деяниям; быт оставался безгласным; жизнь была жизнью, а стихи стихами; и лишь редкие ее праздничные моменты пересекались с поэзией и проникали в нее. Мальчик был послушным и брал пример со старших.

Первые же драки показали, что он растяпа. В играх он был достаточно ловок и решителен, терпеливо сносил боль неизбежных столкновений. Стоя в футбольных воротах, смело бросался в ноги нападающим, получал пинки. А в стычке робел, уступал уже и в обмене грозными словесами, вздрагивал и жмурился при угрожающем замахе, а без таких замахов никакая драка не начиналась; нередко ими все и ограничивалось.

Первая настоящая драка состоялась в теплый летний вечер, в узкой щели между дровяниками и забором городского сада. Из забора торчали гвозди, прошившие его насквозь, еще более сужая пространство предстоящего боя. Противники сошлись буквально лицом к лицу. До этого было не так уж мало стычек, но их нельзя было считать настоящими драками. Теперь он был вызван при свидетелях, и у них были секунданты, и было назначено время и место. Условия обсуждались секундантами и — тоже специально выбранным — распорядителем, а участники поединка в обсуждение не вмешивались, хотя стояли тут же. Еще час назад они были хорошими приятелями, чуть ли не друзьями, и им нужно было свыкнуться с новым положением вещей.

В щели они расположились так, что за спиной у каждого был его секундант, а между дуэлянтами — распорядитель. Он объявил условия, очень простые, заключались они в том, что драка идет до «первой крови» и что «лежачего не бьют». После этого распорядитель вскарабкался на забор, словно волейбольный судья на вышку, и коротко свистнул. Можно — и нужно было — начинать.

Мальчик смотрел на бывшего приятеля и пытался изменить свое представление о нем, чтобы появилась возможность ударить с искренней злостью, имеющей обоснование и оправдание. Было очень желательно найти в облике врага что-то отталкивающее, вспомнить о нем что-нибудь плохое, позорящее его. Нужно было его возненавидеть. Однако как он ни вспоминал их прошлые отношения, ни на что не мог опереться в них; напротив, ему вспомнилось, как однажды, в комнате у приятеля, они вместе слушали пластинки, по очереди заводя пружину патефона; они слушали частушки с первой строкой: «Комбайн косит и молотит...» — пел задорный женский голос, а подхватывал могучий мужской хор. Им очень нравилась эта плас-

тинка, они подпевали ей, хохотали, валялись на полу и дрыгали ногами от удовольствия. «Комбайн косит и молотит...» Дальше было что-то про солому, что же там было про солому? Справа от него была стена дровяника, сколоченная из нестроганых, занозистых досок, а слева — забор с торчавшими из него гвоздями, и эта его позиция была крайне неудачной: он был левшой. Мысленно он размахивался левой рукой — получалось, непременно напорется на гвозди. Впрочем, эта же опасность угрожала и правой руке врага. Мальчик решил было предложить, чтобы их поменяли местами, но побоялся, что в этом увидят желание оттянуть начало драки, и промолчал. Не найдя оснований для ненависти, он терпеливо ждал, пока тот ударит первым. Ему казалось, бывший приятель мучается сейчас похожими соображениями, и возникла надежда, что, может быть, драка вообще не состоится, или они обменяются легкими тычками, поскольку после столь длительных и тщательных приготовлений просто так разойтись нельзя. Он уже почти просил противника, чтобы тот начал. Он почему-то был уверен, что первый удар должен быть легким, нестрашным, условным, что будет еще не сам бой, а только сигнал, знак готовности. Вероятнее всего, его ударят в грудь или в плечо, и он тут же решил, что в ответ ткнет тоже в плечо, вот сюда, в острый кончик отложного воротника рубашки. И когда тот настроился ударить, он поймал это мгновение: напрягся, оцепенел. У бывшего приятеля сузились глаза, он оскалится, и по щеке протянулась четкая, как по линейке проведенная, складочка; все лицо стало именно таким неприятным и отталкивающим, какое и следовало вообразить заранее, чтобы возненавидеть; и вдруг стало ясно, что он ударит сильно, по-настоящему, так и произошло. Он ударил изо всех сил прямо в нос, сразу пошла кровь. Уверенность в том, что первый удар будет условным, была так велика, словно относительно него было заключено торжественное соглашение, чуть ли не дана взаимная клятва, и вот она вероломно нарушена. Больше от обиды, чем от боли в моментально распухшем носу, он, не ответив на удар, разревелся, и этим позорным густым младенческим ревом закончилась его первая настоящая драка.

Разочарованные ее краткостью секунданты, настроившиеся на долгое зрелище, никак не хотели поверить, что она закончилась; и его секундант нашел, что ударивший что-то сделал неправильно, ударил без команды, хотя ни о какой начальной команде, кроме свиста, внятно исполненного распорядителем, заранее не договаривались; тем не менее и распорядитель взял сторону недовольного секунданта; разбирательство завершилось тем, что этот секундант и распорядитель подрались с победителем и его секундантом; они забарахтались в

узкой щели, теснясь подальше от гвоздей, и вскоре победитель тоже ревел, получив меткий удар от распорядителя. Ревел он тоже, надо думать, не от боли, а от обиды: после своей легкой, блестящей победы у него уже не было желания драться, его вынудили, он не нашел сил вдохновиться на второй бой, не преуспел в нем, и это почти полностью уничтожило удовлетворение победой.

Во дворе раздался зычный голос матери победителя, с повелением немедленно объявиться и идти домой. Кто-то выкрикнул все прекращающий «Атас!», все полезли на забор, очутились в городском саду, где и разбрелись в разные стороны: победитель со своим секундантом направился обходным путем в родной двор, чтобы по пути утереться и предстать перед матерью в подходящем виде: проигравший, всхлипывая и мешая слезы со все еще идущей из носу кровью, побрел по аллейке, отмахиваясь от утешений, щедро предлагаемых его секундантом и распорядителем; наконец они оставили его одного, он прошел в беседку, утонувшую в зарослях отцветающей сирени, уткнулся лбом в столбик и дал волю всем оставшимся в нем слезам.

Теперь он наверняка знал, что он — трус, и трус безнадежный; он понял, что мир разделен на тех, кто умеет ударить первым, и на тех, кто может ударить только в ответ; он же не принадлежал даже ко вторым; в нем живет страх, запрет, в нем поселилась тайная сила, хватающая его за руки и не дающая возможности ни первым, ни вторым, ни двадцать вторым ударить по человеческому лицу.

С тех пор как ему во сне пришло первое стихотворение, больше с ним такого не повторялось. Были стихотворения, сложившиеся легко и быстро, но когда это происходило, он видел себя со стороны: вот сидит мальчик и сочиняет стихи.

Надо сказать, это его увлечение почти не было замечено в семье, к нему отнеслись спокойно, как к любому другому его детскому делу — рисованию, играм. Но он и сам не испытывал потребности показывать свои стихи, его даже устраивало невнимание окружающих: пусть думают, что для него это такое же баловство, как вырезание елочных украшений; Он-то знает, что будет поэтом, но — когда станет большим, а пока и говорить об этом нельзя: засмеют. Дворовые приятели, пацаны, и вовсе не знали о тетрадке со стихами — для них, он боялся, в сочинительстве было что-то позорное, девчоночье, близкое к обучению игре на фортепиано и скрипке или участию в танцевальном кружке. Пусть, пусть все думают, что он обыкновенный мальчик, как другие; когда-нибудь они прозреют.

Он не сомневался, что у него есть талант, но кое-что смущало и настораживало. Во-первых, талант был в нем не всегда, во-вторых, его присутствие не обязательно радовало, а пропажа не всегда пугала, он порою и не горевал при его исчезновении — словно выздоравливал от легкой, необременительной простуды и чувствовал себя здоровее и проще.

Когда он сочинял, то испытывал настоящий прилив вдохновения, но уже и в эти минуты чувствовал, что на бумагу переносится не совсем то, что вихрем слов и строк кружит голову; однако то, что оставалось на бумаге, принадлежало ему, было им изготовлено, и ему никогда не хотелось уничтожить написанное и попробовать написать о том же заново. Постепенно он привыкал к новому стихотворению, и оно начинало нравиться ему. А то, каким оно могло быть и не стало, забывалось.

Еще настораживало, что уж очень он любит подсчитывать, сколько их у него; он подозревал, что эта подробность ничего не решает, но количество его волновало. У него все время были именно количественные планы: исписать полностью тетрадку или написать десять стихотворений за неделю; вплоть до таких планов, нелепость которых он ощущал тут же, при их рождении, но, стыдясь, все рассматривал их всерьез. Например, долго убеждал себя, что было бы замечательно написать стихи про всех известных ему птиц. Он бродил в облетевшем городском саду, и невоспетые им птахи вспархивали из голых кустов сирени, бузины, боярышника, нимало не горюя о своей невоспетости, они были и без стихов прекрасны, в цветных пятнышках, в пепельно-серых тонах, все эти синицы, чечетки, жуланы, чижи, и он понимал, что никогда не найдет слов, которыми можно было бы передать впечатление от маленькой птицы, вцепившейся кривыми коготками в стылую ветку рябины, и как дергается, пульсирует ее тельце, как она странно, боком-боком разглядывает побуревшую ягоду возле себя и — цоп! — заглатывает ее, грациозно и хищно... А если бы даже суметь написать об этом? О чем это будет? Ни о чем.

В третьем классе он приступил к сочинению повести о школьниках, придумал, как ему казалось, длинную историю целого класса, и был очень удивлен, когда, не закончив и половины тетради, пришел к финалу. Тогда он переписал ее на четвертушках тетрадного листа, с широкими полями и далеко расставляя строчки, и соорудил с помощью ниток и клея подобие книжки. Книжка получилась довольно толстенькой. Повесть — не стихи, и, поразмыслив, он отважился показать ее одному из дворовых приятелей. Приятель с любопытством поддерживал ее в руках, перелистал. Взвесил на ладони и сказал, что, да, это, в общем-то, книжка, но она не идет ни в какое сравнение с романом,

который сочинил один знакомый пацан, живущий по ту сторону городского сада. И он пальцами показал толщину романа.

Существует пацан, написавший такую толстенную книгу? И он живет на соседней улице?! Мальчику страстно захотелось увидеть книгу и ее автора.

Романист жил в первом этаже двухэтажного барака. Покосившаяся дверь прочертила в глинистой почве отполированный дугообразный след. Открыв ее, мальчики попали в комнату, обставленную с бедностью, заметной даже в те времена. Сбитый из разных по ширине и толщине досок стол на шатких ногах, ручной умывальник в углу, с засохшими брызгами мыльной пены, посудный шкафчик, густо вымазанный охрой и запертый на деревянную щеколду, два венских стула, фикус на табуретке и герань на подоконнике составляли ее убранство. Дверной проем, ведущий в другую комнату, не имел двери, в нем висела сборчатая ситцевая занавесь. Тем не менее, если верить приятелю, здесь жил создатель настоящей книги. Он и вошел тотчас, на скрип непослушной двери, которая, открывшись и в очередной раз прокатившись по глине, никак не хотела возвращаться. Создатель оказался пацаном лет двенадцати, высоким, худым, со светлыми волосами вразлет и спокойными серыми глазами. Он был в застиранной рубашке чугунного оттенка, бурых холщовых штанах и, как и пришедшие нему гости, босой. Он молча глядел на них, ни о чем не спрашивая, как бы заранее зная, зачем они пришли. Приятель объяснил, что мальчику хотелось бы посмотреть книгу, потому что он не верит, что она есть.

— Я верю, — поспешил поправить мальчик. — Я не говорил.

Приятель скривил физиономию, сделав тем самым безгласный знак, смысл которого сводился к тому, что создатель не очень охотно показывает книгу, и его надо раззадорить сомнением в ее существовании. Мальчик понял знак, но не мог догадаться, как действовать и что говорить. Приятель поэтому продолжал бороться в одиночку.

— А я ему говорю: сам видал. Во какая! — В восклицании был и размер книги, и оценка ее художественных достоинств. — Повесть про рыцарей!

— Роман, — после небольшой паузы уточнил создатель. Голос у него был спокойный, немного усталый. Голос человека, проделавшего большую работу и знающего ей цену.

— Руки вытри, — приказал он, и мальчик послушно вытер пальцы о штаны. Более того, он показал романисту растопыренные ладони, тот, впрочем, только мельком взглянул на них, затем ушел в сосед-

нюю комнату и некоторое время оставался там, видимо, для придания особой значительности тому, что ожидалось. Наконец он появился вновь, держа в руках книгу, и с первого взгляда стало ясно, что это особенная книга, каких он, мальчик, еще не видал.

Во всю обложку был нарисован рыцарь на коне, оба закованы в латы. В одной руке рыцарь держал опущенное к земле копьё, в другой — высокое древко, на вершине которого кудряво вился узкий двузубый вымпел. Под рыцарем, задевая копыта коня, шли крупные буквы названия, а под вымпелом значился и автор. Нижние буквы были нарисованы объемно и с искусной иллюзией, что сбоку они освещены, от каждой на соседнюю падала тень. Одни эти увесистые, словно откованные из тяжелого металла буквы можно было разглядывать с длительным, все нарастающим наслаждением, но, открыв книгу, мальчик пришел в еще более сильный восторг. Не забудем упомянуть, однако, что имя автора было изображено более скромным образом, обычными печатными буквами. Имя было «Александр Карзухин», а название — «Айвенго».

«Глава первая» — значилось на первой странице. «В ту пору английский народ находился в довольно печальном положении. Ричард Львиное Сердце был в плену у коварного и жестокого герцога Австрийского...» Начальная буква «В» занимала по высоте не меньше десяти строк. Ее очертания складывались из двугранного меча с тяжелой витой рукоятью и двух щитов, на каждом был тщательно прорисован остренький шишак. По лезвию меча стекала алая струйка крови. Буква как бы висела в воздухе и еще имела фон — кольчугу, собранную из неисчислимого множества крохотных колечек, выведенных остро заточенным твердым карандашом. Дальнейший текст был, правда, написан обыкновенными чернилами и обычным школьным почерком, но его знакомый облик только подчеркивал великолепие заглавной буквы.

Мальчику очень понравились первые фразы, и захотелось узнать, что приключилось дальше с Ричардом Львиное Сердце, но что-то подсказало ему, что такую книгу прежде всего не читают, а разглядывают. Хозяин подтвердил его догадку.

— Просил — так гляди, — сухо сказал он.

Хорошо поняв его, мальчик перевернул страницу, другую, третью, и тут хозяин сказал:

— Погоди. Я сам.

Он осторожно открыл следующую страницу. Да, предосторожность не была напрасной: весь следующий лист занимала иллюстрация, прикрытая папиросной бумагой, точно так, как это было устроено в «Русских сказках»! Хозяин разгладил тонкий, нежно зашуршавший

листок, и под ним смутно проступило изображение. Затем он отодвинул охранительный листок, словно отворил двери — и перед мальчиком предстали два рыцаря, пробивавшие один другого копьями. Все имевшиеся у автора карандаши нашли себе достойное применение в этой картине. Нашлось что нарисовать и коричневым, и зеленым, и синим, и желтым, и, разумеется, красным.

— Слюни подбери. — В отличие от своего изящного письменного стиля в обиходной речи писатель был прост.

Мальчик с прежним послушанием утер губы тыльной стороной ладони и убедился, что и впрямь сидел с разинутым ртом.

Конечно, если бы он мог посмотреть на книгу придиричивым взглядом, то заметил бы в ней кое-какие недостатки: некоторые листы на обрезе не совпадали, стянутый нитками корешок топорщился, и не все стежки были одинаково плотными и тугими; из корешка, когда его обжимали, на некоторые страницы выдавился клей, и теперь желтоватые прозрачные натеки покрывали местами уголки текста или картинок.

Что до содержания книги, то ее художественный уровень был безусловно высок. Но в авторской манере тот же придиричивый взгляд мог бы заметить, что автор склонен ошибочно представлять себе написание многих слов, начиная с собственной фамилии, в действительности писавшейся «Корзухин», и кончая достославным Ричардом, чье львиное сердце временами билось особенно глухо, так как из него выпадало «д».

Но чтобы заметить все перечисленное выше, требовался придиричивый взгляд, а мальчик смотрел на книгу совсем иначе: с восторгом и благоговением. Можно представить, как он был бы обескуражен, узнав, что романист трудолюбиво переписал из слова в слово Вальтера Скотта. И не внес в текст ничего принципиально нового, кроме грамматических ошибок. Но мальчик еще не читал «Айвенго». Романист же, в свою очередь, был убежден, что переписанное от руки по выбору и вдохновению становится его собственным произведением. И верно: не глупо ли было бы, потратив дни и ночи на требующую терпения и аккуратности переписку, да немало еще покормив над устройством книги, ее сшиванием и склейкой, да нарисовав огромные разноцветные иллюстрации, — не глупо было бы объявить все это по-прежнему принадлежащим Скотту? Одного похода за папиросной бумагой во двор типографии, сопряженного с риском быть пойманным сторожем, было достаточно, чтобы заслужить право считать этот роман своим. Он его таковым и считал.

Они просмотрели все остальные иллюстрации, не менее разноцветные, чем первые, долистали книгу до конца, после чего хозяин,

не дав опомниться, унес ее откуда принес. Наверняка это было сделано, чтобы гость не попросил ее домой, но хозяин беспокоился напрасно: мальчик и сам понимал всю дерзость и безнадежность такой просьбы. Он вышел во двор и побрел куда глаза глядят, переполненный впечатлениями. Глаза, оказалось, глядели в пролом в заборе городского сада. Мальчик вошел в сад и пошел вдоль забора, по тропинке между могучими лопухами. Тропинка уютно вилась среди лопухов, крапивы, бузины, мелькали доски забора, и также безостановочно бежали перед глазами мальчика страницы и картинки замечательной книги. Странно, думал он, что такой необыкновенный мальчик никому не известен, живет в бедной комнате и ходит босым, как все другие пацаны; неужели такой книги мало еще для писательской славы? На что же надеяться ему с его тетрадкой стихов и ничтожной «повестью» на четвертушках?

Слепая девочка жила во втором этаже соседнего дома и дружила с его сестрой. У нее была легкая походка. Слабые тонкие руки под кисейными крылышками платяца вспархивали, танцевали. У себя в комнате она двигалась так уверенно, что и заподозрить было нельзя ее слепоты.

— Это мой братик, — сказала сестра и подтолкнула его к слепой. Руки девочки, как бы живущие самостоятельной жизнью, вспорхнули и опустились ему на плечи, а затем, проведя по шее и чиркнув пальчиками по стриженному высоко, под макушку, затылку, забежали по его лицу. Он очень волновался. Во-первых, впервые так близко стоял перед слепым человеком. Во-вторых, к нему впервые прикасалась девочка, если не считать сестры, которой, когда он был совсем маленьким, иногда поручали вымыть его «мордашку». Но он уже очень хорошо понимал, что для него между сестрой и всеми другими девочками есть разница.

— Ну, вот, теперь я тебя запомнила, — удовлетворенно сказала девочка. — Какие у тебя губы... важные! И у него две макушки, — обратилась она к сестре.

— Знаем, — сестра засмеялась. — Он у нас умный!

Через несколько дней, оставшись дома один, он решил понять, как чувствуют себя слепые, и пройти с закрытыми глазами по квартире. Он встал у порога и внимательно осмотрел путь, который решил пройти: вдоль буфета, налево в дверь, а там, во второй комнате, сделав два или три шага, повернуть направо; и, если все будет проделано правильно, он наткнется на табурет, стоящий в его любимом уголке между печью и письменным столом. Убедившись, что хорошо все

запомнил, он закрыл глаза и тронулся в путь, но тут же отчего-то открыл их, словно тьма вытолкнула его, не пожелав допустить в свои глубины. Тогда он вновь занял исходную позицию у порога, зажмурился постарательнее и стал ждать, пока тьма не впустит его.

Поначалу ничто не менялось, он как бы продолжал видеть залившую солнцем комнату, ближний к нему угол буфета, красивый его изгиб, рисунок дерева, его теплый красноватый оттенок, и в темноте перед ним прыгали светящиеся точки, след солнечных искр, бившийся в трехъярусной хрустальной вазе. Особенно ясно он представлял доски пола у себя под ногами и продолжал видеть или помнить трещины, сучки, места, где облупилась краска. Тьма подступала медленно. То ли она впускала его в себя, то ли проникала в него и затопливала, как темная талая вода, каждую весну затоплявшая подвал под домом. Вдруг он ощутил, что не стоит неподвижно, а чуть покачивается, невесомо, приятно, чуть-чуть, чуть-чуть... И тут стали слышны звуки. Первым пришел перестук часов, в его-то ритме и совершалось покачивание. Звук, как ему и полагалось, шел справа, со стены, где висели часы, но он еще никогда не ощущал с такой точностью направление звука и не чувствовал так верно, где расположен его источник. Казалось, видна даже линия, нечто вроде паутинки. Кусочки звука, короткие сухие перещелки, выскакивали из часов и соскальзывали по паутинке, протянувшейся через комнату наискось и пронизавшей его уши. Тик-так... тик-так... тик-так... Покачиваясь, он погружался. Ожил безмолвный коридор за дверью — оттуда донеслось шарканье чьих-то ног, и не было сомнения, что ноги обуты в галоши, и галоши велики: шарканье было тяжелым и заканчивалось легким тупым пристукиванием, когда стопа утыкалась в свободный носок. Затем раздался скрип открываемой в общую кухню двери и шарканье исчезло. Из-за стены слева пришло бульканье и kloкoтaнье водопроводных труб. Еще один звук возник где-то очень близко, впереди и слева, и следовательно, его источник находился в буфет. С шорохом, не громче того, с которым в печи рассыпается остывающий уголь, пело разошедшееся дерево буфета. Совсем тоненькое, на приделе слышимости, прилетело дребезжание оконных стекол, и тут же стало хорошо слышно, как во дворе зафырчал мотор грузовика. Грубый и сильный звук перекрыл все остальные, а затем машина свернула куда-то подальше от дома, но долго еще надсадное завывание мотора уничтожало остальные шумы. А когда оно исчезло, не восстановились и все другие звуки, кроме перестука часов, и тьма впустила его до самого ее дна. Можно было отправляться в путь, но, странно, он забыл о своем начальном положении. Вернее, помнил об одном, а представлял другое. Он хорошо помнил, что буфет находит-

ся слева от него, и однако чувствовал его большую массу прямо перед собой, и ему хотелось пойти направо, чтобы обойти его. Все же он шагнул в запланированном направлении, лишь немного беря вправо, и, не наткнувшись на буфет, с чувством облегчения сделал еще несколько шагов, повернул налево и, по его расчетам, оказался перед дверью во вторую комнату. Дверь он предварительно распахнул, ибо условием было ни к чему не прикасаться на всем пути. Ему стало легко и свободно, он прошел во вторую комнату. Шаг, другой, третий... Тут же он вспомнил, что нужен был только один шаг, храбро развернулся и отмерил обратно, сколько было нужно. Теперь слева на расстоянии шага должен стоять табурет. Он наклонился. Ниже... ниже... и коснулся пола. Пошарил правее, левее... табурета не было. Тогда он решил, что сделал последний шаг слишком коротким и переступил еще раз. Что-то ударило по ногам. Стул. Один из высоких дубовых стульев, стоявших в первой комнате. Но ведь он, иного быть не могло, находился во второй. Как он попал обратно в первую?! Он обошел стул, вытянул перед собой руки, шагнул несколько раз. Руки ничего не встретили. Он остановился. Теперь он уже не удивился бы, если бы узнал, что вышел за пределы комнаты, прошел через стены и очутился во дворе или вообще неведомо где. Тьма была такая плотная и бесконечная! Ему стало так страшно, что он даже забыл, что достаточно открыть глаза. Наконец вспомнил. Он стоял в углу возле пианино. Как он сюда попал? В комнате ничего не изменилось за время его путешествия. Солнце все так же разбивалось на искры в трех ярусах вазы. Часы мирно тикали на стене. На противоположной — китайские картины, как прежде, уводили по загадочным дорогам к далеким пагодам. Обеденный стол занимал всю середину комнаты, а абажур свешивался над ним. Светло и безмятежно выглядела комната и все давно любимые им предметы. Но где-то рядом затаилась тьма, он отделен от нее одним движением глаз, одним поворотом век.

Теперь он знал, где живут слепые. Оказывается, в одном пространстве помещаются два мира, и если и в светлом хватает опасностей, то темный состоит только из них и ни из чего больше.

Однажды пришла огромная полная женщина, радостно встреченная бабушкой, схватила мальчика в охапку, прижала к груди и заворковала, запричитала, заохала. Он задохнулся, прижатый к огромной, мягкой, горячей груди, к грубошерстной ткани; сердито вырвался — никому, кроме бабушки, уже не позволял себя обнимать.

— Не узнает! — хохотала женщина. — Сосунок родимый!

— Вы кто? — спросил он, набычившись.

Ответ ошеломил его. Оказалось, это его кормилица Маруся. Когда он родился, у мамы не хватало молока, и эта Маруся выкормила его своей грудью. Думать об этом было дико и стыдно. Конечно, мальчик уже знал, что младенцев кормят грудью, и видел, как это делается. Играли во дворе, и возникла Лидка, младшая дочь машиниста, раздираемая удивительной новостью:

— У меня племянник родился! Айда смотреть!

Девчонки заволновались, мальчишки захихикали. Девчонки побежали вслед за Лидкой, а из мальчишек пошел только он один.

В комнате было душно, несмотря на распахнутое окно. Старшая дочь машиниста сидела возле окна, а перед ней на столе в ворохе чистых тряпок попискивало голенькое существо, розовое, с напрягшимся красным личиком, сморщенным, как печеное яблоко. Оно сучило ножками, пытаясь выпростать их из пеленок, а кулачки ходили ходуном, как у боксера. Никого не стесняясь, молодая мать медленно расстегнула платье, обнажилась толстая белая грудь с красным соском, обведенным кольцом коричневой кожи. По-обезьяньи вцепившись крохотными коготками в белую мякоть груди, младенец нашарил сосок и зачмокал. Они молча глядели на эту картину, пока не пришла тетя Маша и не выставила их в коридор.

Неужели и он был когда-то краснолицей обезьянкой, бессмысленно пищавшей на руках у этой Маруси? Коротко, стыдясь взгляда, он посмотрел на ее грудь, на соски, хорошо различимые под тканью. Вот э т о было у него во рту? И он пил из них горячее густое молоко, бесконечно текущее ему в живот; он словно увидел себя, вцепившегося в грудь маленькими скрюченными пальцами, и его едва не стошнило. Он, однако, никак не мог заставить себя думать о другом или хотя бы отойти, и все бросал и бросал взгляды на грудь Маруси. Женщина по-своему поняла их, снова заключила его в тесные объятия и оросила макушку слезами.

Как странно, думал он, я родился. Я б ы л, меня видели, трогали, кормили, со мной разговаривали, меня одевали и раздевали, укладывали спать и будили, и я ничего этого не помню. Все равно что меня не было. И если снегопад и финские санки, и снежинка на рукаве — самое первое, что я помню, то это и есть мой день рождения, а остальное не в счет. Сколько мне могло быть тогда? Три года. Значит, на самом деле мне сейчас нет и восьми. Ха-ха! Ах, если бы вспомнить что-нибудь еще более раннее, это сразу бы прибавило ему часть потерянной жизни; так обидно было, что первые годы не принадлежали ему, а ведь это были довоенные годы, те самые, о которых взрослые говорили, как о чудесном времени, и которые представлялись сплошным солнечным летом. Вот ведь что, он никогда прежде не

думал об этом: он ведь тоже жил до войны. Вспомнить, вспомнить! Он примостился на табурете в любимом уголке за печкой, полуприкрыл глаза и разбудил в себе дорогие ранние картинки, он тасовал их в надежде, что между ними мелькнет что-нибудь новое; из темноты прошлого выплыли спокойные сугробы, натающая снежинка косо легла на рукав шубки, на колкие ворсинки меха; в мохнатой траве засветились золотистые соцветия, снова встали сугробы и торжественный снегопад над ними, а он пытался заглянуть куда-то дальше, но там, дальше, катились бесшумные серые волны, словно огромный занавес, сплетенный из паутины, колыхался под неслышимым ветром, а еще дальше — бесформенные тени и нечто вроде слабого зарева, то заслоняемого теньями, то разгорающегося неровной вспышкой с глубокими черными обводами. Было похоже на то, как если бы вечером на столе горела керосиновая лампа, в комнате зачем-то собралось много людей, и они беспорядочно бродили из угла в угол, и их огромные тени мотались по стенам и потолку, взлетая и опадая, накладываясь одна на другую, — и он видел бы все это из угла, лежа на спине, через приспущенные веки, через полусомкнутые ресницы... Но ведь так могло быть и в самом деле! Теперь керосиновая лампа за ненадобностью упрятана в кухонный шкаф, но он хорошо помнит, как еще несколько лет назад часто отключалось электричество, и тогда бабушка зажигала керосиновую лампу. До чего же приятно было, осторожно поворачивая колесико с насечкой, прятать или выдвигать фитиль, послушное пламя то забивалось внутрь, то рвалось к самому устью лампового стекла. Густо-синее на отрыве от фитиля, с синеватыми краями, светло-оранжевое посерединке — казалось, видно, как оно течет из фитиля. Если это было летом, из открытого окна прилетал мотылек, и горячий ток воздуха над устьем играл им, как струя фонтана брошенным в нее мячиком, а потом раздавался треск обгорающих крыльев, мотылек падал на стол рядом с лампой и полз по клеенке, судорожно поводя толстыми белыми усиками.

— Бабушка, — спросил он, — когда я был очень маленький, где стояла моя кровать?

— А вот где ты сейчас сидишь.

— Вот здесь, за печкой?

— Да.

Это не совпадало с тем, что он вообразил. Лампу зажигали там, в первой комнате. Он был сбит с толку, огорчен, раздосадован.

— А вы ставили возле меня керосиновую лампу?

— Нет, — подумав, сказала бабушка. — Тебя укладывали рано. Лампу я зажигала на обеденном столе. Ты уже спал, а у нас еще была

стирка или варили на завтра, или подтапливали на ночь, дел всегда хватало. И всегда заходили люди на огонек, ты не помнишь, заходил Гриша, заходила Ксения, она умерла в сорок втором, конечно, она была старая, но умерла от голода, больше ни от чего. Ты ее не помнишь?

Нет, он не помнил Ксению.

— И вы никогда-никогда не заносили ко мне лампу?

— Могло быть, когда ты болел. Однажды мы купали тебя зимой, боялись застудить, ты был совсем крошечка, по-моему, это было еще до войны...

До войны! Он заволновался.

— ...Купали тебя у самой печки, а ты все равно простыл, не повезло, и у тебя заболело ухо. Ты кричал и плакал всю ночь, и мы всю ночь сидели возле тебя. Нет, не ухо. У тебя было подозрение на дифтерит, и оно оправдалось, и мама несколько раз за ночь приходила поглядеть в твоё горлышко. Конечно, мы приносили лампу, иначе как можно было глядеть?

Вот оно, с волнением подумал мальчик. Это и было: они входили в комнату, бабушка держала лампу и двигала, чтобы маме было удобней глядеть на мой дифтерит, и тени метались по стенам, просто я спутал комнаты.

— Сколько мне было тогда?

— Сколько тебе могло быть? Годика два, а то и меньше, да ты этого не помнишь.

— Нет, я помню! — с гордостью сказал он. — Я помню!

После этого он с особым чувством занимал свое любимое место между печью и письменным столом: он возвращался в пространство, где вспомнил себя впервые. Оттого, верно, этот уголок и стал любимым. И когда он забивается в него, с книжкой или кем-нибудь обиженный, это он хочет снова стать маленьким. Ему по-прежнему не нравились взрослые. У мужчин выпадают волосы на голове — как это некрасиво. А вставные зубы? Ф-фу. Особенно возмущало его, что из худеньких, тонконогих девчонок, в которых — чуть ли не во всех подряд — он так быстро и безнадежно влюблялся, получаются потом тетки с большими животами и толстыми икрами. Он не хотел становиться взрослым, но при этом нетерпеливейше ждал, что его жизнь когда-нибудь переменится. А если ждешь, значит идет время, и становишься старше. Сначала станешь парнем, как Петька или Галиуля, а потом и вовсе взрослым, как отец, как паровозный машинист, как экспедитор молокозавода Мотовилов, по вечерам куривший папиросу за папиросой, сидя на корточках в коридоре, у приотворенной дверцы топящейся печи. О чем он думал часами, меж тем как дым его папирос, вырываясь сизой бурливой струйкой из округленных губ, утягивался

в печь, и экспедитор провожал его таким заинтересованным взглядом, словно проводил важный научный опыт? О чем они думают, взрослые люди, говорящие чаще всего о продуктах и промтоварах, о карточках, очередях, работе, своих и чужих болезнях; и что за интерес им продолжать жить, если они уже ни во что не играют, редко читают книги, и — наверняка — не влюбляются, да и как они могут нравиться друг другу, такие старые, в морщинах, постоянно чем-то озабоченные, сердитые, с громкими грубыми голосами, небрежно одетые, мужчины с тесемками кальсон, мелькающими под брючинами, женщины со спущенными чулками — как они все некрасивы, эти взрослые! Все, кроме его мамы, но мама — особенная, вот бы встретить девочку, похожую на маму, но таких во дворе не было.

Ждешь чудес — а кончится тем, что станешь взрослым. Одно без другого не бывает, а ему хотелось именно без другого. Ему, черт возьми, нравилось быть именно мальчиком, худеньким, с крепкой гладкой кожей, под которой он с удовольствием нащупывал узенькие жесткие мускулы, мальчиком, умеющим быстро бегать, гонять на велосипеде, съезжать с горок на лыжах, играть в футбол. Когда он стоял на воротах и в них летел мяч, а он прыгал и отбивал его кулаком, и падал, и нарочно делал еще кувырок в теплой пыли, а кто-нибудь одобрительно выкрикивал: «Вратарь Хомка делает съемку!» (Хомка — от Хомича, знаменитого на всю страну вратаря), его распирало от счастья. Однажды, после такого кувырка, он вскочил, первым догнал мяч, повел его к чужим воротам и так удачно ударил, не задрав мяча, а послав его настильно, по дуге, что ему потом это стало сниться, снился беззвучный во сне удар и как мяч рядом с замызанной чьей-то фуражкой, обозначающей штангу, чиркает по земле и влетает в ворота. Свои тогда завопили от восторга, а те, с Тургеневской, возмущались: «Влатарь не имеет права», — а в ответ их назвали «хлыздами», и кончилось небольшой дракой. Вот в такие минуты он вскользь, мимолетно думал: как хорошо, что он еще не взрослый. Это чаще бывало летом, в игре, в беготне, под крики вечернего двора, когда мяч взмывал над дровяниками и заборами и долго-долго летел, черный на красном заходящем солнце.

Стремление жить прошлым скапливало в нем уйму воспоминаний. Радости, как цветные стеклышки, мерцали в мрачном окружении страхов и обид. Были горькие минуты, когда самые дорогие воспоминания бледнели, тускнели, превращались в пыль, труху, чепуху, и он переставал понимать, чем они ему запомнились. Получалось, в прошлом не было ничего особенного, а тогда и нечего цепляться за

прошедшую жизнь, можно считать, ее и вовсе не было, и все начинается вот хоть с этой минуты. Освобождение от прошлого и радовало и опустошало. Словно размыкались ограды некоего длительного плена, и можно было идти на все четыре стороны, но плен за это время стал условием существования, постоянным обстоятельством; чувствовать себя подавленным, обиженным, окруженным запретами было привычно, а идти — куда же? Думать, что кроме знакомых стесненных обстоятельств возможны совсем иные, было страшновато. Как дикарю свойственно считать мир за границами постоянного местопребывания родного племени враждебным, опасным, непознаваемым, однако же и привлекательным своей новизной, так и мальчика притягивало и отталкивало — шатало — от представления о возможности жить иной жизнью, како-то вольной, независимой, полной собственных решений, с каким-то планом на будущее, о котором известно всем, все знают, что станет с ним, и он знает это сам... Но дни шли за днями, а он все не мог набраться духу и попытаться руководить своим будущим; в сверстниках что-то менялось, они куда-то уходили, а он следил за ними как бы с неподвижной точки, как забытый в игре «Замри!», пригвожденный к месту приказом, давно потерявшим силу.

Он постоянно сравнивал себя с другими людьми, пытался что-то угадать в них и мучился, не понимая, зачем ему непременно надо знать, отличается ли он от других людей и — чем.

Эта напряженная работа ума изнуряла его.

Вот он стоял на крыше бывшей конюшни, в расстегнутом пальтишке, в валенках, в сбитой на ухо ушанке, а далеко внизу, в снегу, чуть ли не по пояс в сугробе, стояли два его приятеля и подбадривали, криками побуждали к такому же прыжку, как только что ими совершенный. Он не столько боялся прыгнуть, сколько завидовал тому, как спрыгивали они: не задумываясь. Он вообще не замечал, чтобы его приятели задумывались. Да полно, есть ли в них такая машинка, какая неумоимо, с пробуждения и до сна стрекочет у него в голове? К черту! Он делал зверское лицо и, полагая, что хорош собой в эту минуту, зверски же вскрикивал, подкидывал себя этим криком, и вот уже летел и, ничего не успев понять, погружался в прохладные пушистые покои сугроба, и это была победа над хитроумной машинкой, устроившейся под хмурым лобиком; но победа не безоговорочная, а с оттенком одному ему известного позора. Он, мальчик, умеющий сочинять стихи, хранить воспоминания и рассуждать, и этим, а также кое-чем другим ставящий себя значительно выше простодушных приятелей, сейчас только-только сравнился с ними, лишь повторив, но не превывсив того, что они сделали; да еще и

счастлив, что не отстал от них, догнал, а обогнать — куда там. Счастье было преходяще, позор же крепчал, и все яснее становилось, что если они прыгали просто так, по желанию, то он заставлял себя, на пределе духа и воли, и тут между ними была разница не в его пользу. Они хотели, а он себя заставлял.

На следующий день он выбрал время остаться там же без свидетелей и, никем не подгоняемый и не взнуздываемый, принялся прыгать с той же крыши, в те же переночевавшие глубокие следы в сугробе, за ночь слегка отвердевшие. С каждым разом он заставлял себя перед прыжком подходить все ближе к краю, пока не обрушился вместе со снежным гребнем, висевшим в воздухе, и полетел, не приготовившись к прыжку, плюхнулся на спину, забарахтался, забил снегом глаза и рот и еле выполз из снежной каши. Но это ему и понравилось. Он достиг замечательного результата: точно так же, как вчера приятели, он взбирался на крышу, не думая о прыжке, а только заряжаясь радостью предстоящего полета; и, видимо, точно так же, как они, был вполне волен распоряжаться временем: хотел — едва взобравшись, тут же слетал вниз, а хотел — дразнил себя, бродил возле края, выматривая место для приземления. В этот день он понял, что его приятели от рождения награждены способностью действовать, не рассуждая; а ему, лишенному этой способности, всегда придется догонять людей действия с помощью тренировок и самонаставлений; и работа эта всегда должна быть тайной, никто не должен знать, что она проделывается; иначе он не станет среди них своим.

Несомненно, подобные решения укрепляли волю, но одновременно и портили характер, делали его скрытным. А скрытности в мальчишке и без того хватало, ибо постоянно приходилось охранять многочисленные секреты: от семьи — секреты двора, его повадки, некоторые его забавы и приключения, его язык, нецензурщину, подоплеку ссор, драк, получаемые в нем оскорбления и клички; в строжайшем секрете от двора содержалось его намерение стать поэтом; наконец, в глубочайшей тайне и от семьи и от двора надлежало протекать его влюбленностям.

Он по-прежнему считал себя очень некрасивым, постоянно это ощущал, и, можно сказать, настаивал на своей некрасивости, словно всем окружающим только и дела было, что до его внешности. И если ему казалось, новый человек не видит его уродства, он полагал справедливым подсказать ему такую оценку. Так, особенно противным, по его мнению, делалось его лицо, когда он, обидевшись, надувшись, оттопыривал и без того толстую нижнюю губу. И вот же, зная об этом, он упрямо оттопыривал эту ужасную губу, чтобы не оставалось никакого сомнения в том, каков он с виду.

В своих влюбленностях он не помышлял о признании, напротив, заранее предрекал себе неудачу и злорадно планировал ЕЕ переживания, ибо не могла же ОНА не оценить взглядов, бросаемых на нее, должна же ОНА была понять, что никто уже не полюбит ее так глубоко и сильно, как этот странный, некрасивый, не интересный ей мальчик...

Он настолько привык к роли неудачника, что когда случай вывел его на чудесные просторы одобрения и полупризнания, он растерялся и сам уничтожил все достигнутое. Возраст был уже изрядным — двенадцатый год, почти полные двенадцать. В то лето всеобщим увлечением был волейбол, во дворе вкопали столбы, натянули сетку, по вечерам собирались пацаны и взрослые чуть ли не со всего квартала, и попасть на площадку было непросто, он попадал. В теле у него в то лето прыгали чертики, мускулы сладко ныли, он мог часами лупить по мячу, покрикивал на старших, требуя точного паса, спорил с судьями, распалялся, в сердцах мог запнуть мяч бог знает куда — словом, превращался в человека действия и был — по ходовому словечку тех дней — «силен, бродяга!» Мнение о своей внешности к лучшему не переменялось, но девочки, казалось ему, выделяли его среди других мальчишек — что ж, справедливо, он и прыгал, и колотил по мячу, и кричал и распалялся — для них.

Он чувствовал себя таким сильным, что однажды под взглядом особенно нравившейся ему девочки предложил вдруг прекратить игру и посоревноваться на турнике, кто больше выжмется. А чтобы игра прекратилась сама собой, он одним ударом всадил мяч в поленицу дров, при этом загнал его в щель так точно, словно сходил и отнес его туда. И — сладко было потом вспоминать — с ним согласились без всяких споров, и даже взрослые парни в общей ватаге побежали к турнику. Мало того, на турнике он выиграл у всех, если не считать большого парня, который занимался гимнастикой и носил на куртке знак третьего разряда — кругляш с зеленой середкой. И когда состязания завершились и все начали разбредаться по другим делам, а он, в упоении от своей победы пытался еще что-то выкомаривать на перекладине турника, он вдруг обнаружил, что, кроме него, осталась только та самая девочка. Он предложил и ей попробовать выжаться на турнике и, не дождавшись согласия, удивляясь собственной смелости, ухватил ее за тоненькую талию и подкинул, девочка послушно вцепилась в перекладину, пальчики у нее побелели от напряжения, а он все поддерживал ее, и оба как будто не замечали этого. Потом она, обессилев, прыгнула, дула на пальцы, смеялась и смотрела на него как бы в ожидании каких-то особенных слов, и он их произнес. «Пойдем, погуляем», — сказал он. Она ответила: «Пой-

дем», — причем не только не задумалась над ответом, но даже, похоже было, поторопилась, словно он мог передумать. Она еще не отдыхала после турника и все растирала пальцы, дула на них, делая вид, что ей очень больно. «Хо-хо-хо», — посмеивалась она с легким придыханием, каковое и составляло одну из ее прелестных черт — легкий, жестковатый голос с легким придыханием...

И тут он понял, что сейчас им надо вместе выйти со двора и пойти... куда? О, много было прекрасных мест, по которым юный спортсмен и поэт мог бы провести девочку! Парк Дворца пионеров, набережная городского пруда, стадион, тенистая Тургеневская, сквер с чугунными лягушками возле музея... Но надо было пройти вместе через двор, под чьими-то взглядами, и все увидят, что они идут не просто так, а — вместе, они чем-то связаны; это значило открыть двору тайну, сломать собственным приказом устроенный в душе запрет. «Пойдем», — сказала она. Он победил и теперь не мог воспользоваться плодами победы. И, сознавая, что теплый летний вечер, залитый солнцем до краев, сверкающий золотыми срезами сосновых полениц, сейчас померкнет перед ним, он тоскливым, лживым голосом уведомил девочку о своей забывчивости, о том, что ему срочно зачем-то куда-то надо идти... одному. Она кивнула и тут же пошла прочь, не удостоив его прощальным взглядом и проявив себя в этом моментальном уходе человеком действия, каким и он был до этой минуты.

На дни рождения ему дарили книги, и когда в сознании домашних его сочинительство утвердилось как длительное и серьезное увлечение, стали дарить стихи. Оттого в одиннадцать лет он получил Лермонтова, четыре квадратных тома в скромных переплетах, по которым никак нельзя было предположить, какие потрясения ждут его в путешествии по страницам, заполненным маленьким, «взрослым» шрифтом. Как собака, рысая по газонам и пустырям, среди зарослей лопухов, подорожника, крапивы, пастушьей сумки, находит ту единственную травку, которую именно сегодня надо пожевать, и порою минует мягкие сочные листья, сладкие молодые ростки, чтобы с жадностью и исступлением ухватиться за пересохшую, горькую жесткую былинку, — так он, обожженный гневными и насмешливыми запахами лермонтовских ироний, а — изредка — взволнованной откровенностью любовного чувства, все же как самое необходимое, как утоление голода или жажды, безошибочно выбрал: «И скушно, и грустно! — и некому руку подать В минуту душевной невзгоды... Желанья... что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят

— все лучшие годы!» Со всеми своими большими и маленькими переживаниями, со всем хаосом, ежедневно возникавшем в душе, во всем своем воображаемом движении в потоке времени он — так представилось при первом же прочтении этих строк — словно бы вплыл на лодке под своды пещеры, река времени вкатила свои струи в глухое подземное озеро, более пути не было, зато и неизвестность кончилась, и впереди, на вздымавшейся темной стене горели, красные на черном, как след солнца на сетчатке глаза, эти страшные своей догадливостью о нем строки. Конечно, конечно, не все тут было полнотой его; «и скушно, и грустно» — да, но насчет руки дело обстояло не столь безнадежно, ее было кому подать, были милые приятели, и «минуты душевной невзгоды» как раз и рассеивались, и вполне успешно, в совместных с ними играх, затеях, приключениях. Да и «желанья» свои он вовсе не считал «напрасными», разве что «пользы» в них и впрямь не видел; но по части пользы и вообще было одно из главнейших и тягостнейших недоумений, о чем уже говорилось: в чем и кому польза, в чем толк и смысл всего, что происходит с ним и с друзьями, чей и каков замысел всего этого; текло время, наплывали — редко — крупные события, мелькали повседневные, а «польза» пряталась в них и не обнаруживала себя; в «желаньях» все же был понятный смысл. Если они сбудутся — значит, ради них и жилось, значит, он угадал верно, кем будет, для чего рожден и предназначен; он скажет людям все, что хотел сказать и чего сейчас еще не знает сам, и тем прославится и успокоится; он удивит и скромно отойдет в сторонку. Слава сама по себе ему не так уж и нужна, но она неминуемо возникнет, когда он откроет смысл и «пользу» всего сущего и скажет об этом остальным, и они ахнут открывшейся истине — великолепной, может быть, а, может — ничтожной, и скорее всего — страшной; он же, напроорочив и угадав, как бы встанет в смиренной позе, принимая дань восхищения его проникательностью... «Да-да, я тот самый, который бегал с вами в одном дворе и стоял в общей цепи в чехарде, и терпел, получая по ушам, а то и не терпел, закатывался позорным ревом, и получал обидные прозвища — таким вы меня видели, таким принимали... а между тем я все это время думал, думал про себя и про вас, для себя и для вас... Так-то!»

Но — тут он вспомнил, какими уверенными в жизни видятся ему многие, и взрослые, и сверстники, люди действия — если окажется, что он не скажет им ничего нового, если они все это знали и до него, знают уже СЕЙЧАС? Что ж, и тогда он не зря проживет свой век (век так и представлялся — сотней лет, он собирался жить очень долго); пусть с мучениями, с глупостями, но и он постигнет нечто,

известное всем, и тем самым догонит их, как в прыжках в сугроб с крыши бывшей конюшни; подравняется к ним, и в этом тоже откроется огромный смысл: он, в отличие от других, рожден НЕПОНИМАЮЩИМ, кто-то создал его с целью проверить — способен ли одиночка самостоятельно вырастить в себе то, что другим дано с рождением, догонит ли отставший или, можно сказать, придерванный на старте, кому бежать в одиночестве, без совета, помощи, намека, бежать не только быстрее тех, кто впереди, чтобы догнать их, но и поначалу неведомо куда, и первые годы потратить только на определение направления; во мраке как бы бежать, разве что при свете звезд, при редких вспышках и сполохах на краю небес, на мгновение видя, что там впереди; как в том, открытом им мире, где живут слепые, разгребать мрак растопыренными руками... Вот, вот что затеял проверить на его судьбе некто с безжалостным любопытством: догонит ли отстающий, прозреет ли слепой?

Так разыгрывалось его воображение над красными по черному, плившими по пещерной стене строчками; над ними же, вбитыми в квадратную страничку, буква к буквке, четкие строчки на белой странице, как решетка заснеженного сквера с голыми, пунктирными кустами за ней. И что уж точно было в них его «травкой», и покусывать ее остренькие жесткие стебельки, наполняясь сухой горечью, было действительной и постоянной потребностью: «А годы проходят — все лучшие годы!»

Вот же: он думал, он размышлял — но долго и безрезультатно. Он упускал время, он упустил уже уйму времени, он тратил время только на то, чтобы упускать его. Время жило в огромном пространстве всего видимого, и в ограниченном пространстве двора, и в еще более тесном пространстве квартиры, а изготовлялось оно в настенных часах, висевших на стене рядом с ромбовидной фотографией погибшего дяди. Изготовлением времени занимались невидимые молоточки за стеклянной дверцей часов; как только они выделявали очередную порцию, маятник выбрасывал ее в пространство, туда и сюда, вправо и влево; время растекалось по стенам, два потока сталкивались, возникало вращение, круги ширились, время затапливало квартиру, выплескивалось во двор и растекалось по окрестностям, оно погребало под собой крыши домов и сараев, затем вершины тополей и купол бывшей церкви, ныне музея; а давние-давние порции давно уже достигли окраин города. А, может быть, уже текли к звездам. Порции были крохотными, словно капельки ртути, об этом ясно говорил тихонький, скромный перестук молоточков, но работа шла непрерывно, и в целом времени получалось очень много. Каждый раз, как изготавливалось достаточное количество време-

ни, часы оповещали об этом медленными певучими ударами. «Бомм... Бомм... Берегитесь, люди! На вас идет время!»

Так изготавливались минуты и так изготавливались годы. Время текло из будущего в прошлое, могучая река в высоких берегах, впереди освещенных солнцем, а позади укрытых мраком, все более густеющим. Жить означало — плыть против течения, безостановочно, неустомимо; остановился — понесет обратно, вспять, ко вчерашним и прошлогодним берегам. Давно ли эти мрачные изломы были впереди и издали искрились на солнце, слепили и радовали взгляд?

Годы текут, но все не сбывается что-то, чему пора сбыться, и даже то, известное, что зависит от него самого. Он не закончил достойным образом ни одного своего начинания, не сдержал ни одной клятвы, ни разу не победил по-настоящему, отныне и навсегда: ни одной безоговорочной удачи не прочитывалось в заветной тетрадке со стихами; ни одной победы в стычках не числил за собой, в лучшем случае были ничьи; «лучшие годы» проходили, а он все так же мало понимал в людях, лишь в себе кое-что начал открывать, да все — дурное, не радующее: робок, скован, скрытен, неискренен и, кажется, глуп или — умен по-глупому: замечает никому не нужные тонкости и не может уразуметь того простого, на чем стоит мир. А мир стоит на простом, о чем можно догадаться, глядя на многих уверенно живущих в нем людей. Годы проходят, а он все не может одолеть свое несчастье и даже не знает, в чем оно, знает лишь, что оно есть и он несчастен. Да чем же, в чем? «Несчастен, — упрямо повторял он, сердясь на воображаемого оппонента и, можно сказать, топая на него ногами. — Несчастен! Несчастен!»

Быстрота, с которой достоверные сведения о недавнем прошлом исчезают и заменяются слухами и легендами, бывает ошеломляющей. Через четверть века после гражданской войны никто в доме толком не знал, кем был его прежний хозяин.

В первой от парадного входа комнате, бывшем кабинете, жила молчаливая женщина средних лет, комендант дома. Взрослые звали ее Шурой или Александрой Николаевной, дети — тетей Шурой. Комендант или комендантша держала у себя важный документ — домовую книгу прописки, отвечала за порядок в доме, устанавливала очередь мытья коридоров, расписывала покомнатную плату за электричество — этот листок висел в коридоре на гвоздике, и его данные служили постоянным поводом для эмоциональных споров относительно справедливости дележа того, что накрутил общий счетчик. Впоследствии отдельными счетчиками обзавелись все.

Шура была из самых первых «коммунаров», вселилась сюда через год после отъезда хозяев, но и она ничего не знала о прежних владельцах особняка. В общем-то это объяснялось тем, что она не была здешней уроженкой, пришла в город с красной дивизией, где была санитаркой.

Одни в доме считали, что его построил «буржуй», другие называли прежнего владельца «торговцем». Но самым устойчивым было мнение, что до революции особняк принадлежал чиновнику Горной канцелярии, могучего и богатого ведомства, управляющего рудниками и шахтами всего края.

Насчет судьбы хозяина после революции бытовали две версии. По одной, более обычной, он с семьей уехал вместе с отступавшими колчаковскими частями на восток и более никогда здесь не появлялся. По другой, романтично-легендарной, он перед отъездом спрятал в подвале особняка груды золота. Но так как он свершил это в большой спешке, вскоре после бегства ему стало казаться, что он недостаточно тщательно спрятал свое богатство. Он оставил семью где-то в Сибири, тайно вернулся в город, ночью забрался в подвал — проверить состояние своего клада, а может быть, забрать его содержимое, но был застукан бдительными новыми жильцами особняка, составившими первую в городе пролетарскую коммуны, и препровожден в чека, где и был незамедлительно расстрелян. Эта часть легендарного сюжета была наиболее правдивой, потому что после второго и окончательного прихода красных в город чека действительно арестовывала зажиточных горожан, не успевших удрать с воинством Колчака, и, независимо от того, сами ли они сдали золото и драгоценности, или добро было найдено при обысках, расстреливала их в подвале небольшого дома на Пушкинской, в полуквартале от Главного проспекта. Первые расстрельщики также погибли в этом подвале — приехавшая из Москвы комиссия обнаружила, что они сдавали на нужды новой власти не все отобранное золото, а значительную его часть продавали спекулянтам и пропивали. В советские годы дом на Пушкинской попал во владение Общепита, и много лет здесь была одна из самых популярных в городе пельменных. Мальчик в студенческие годы часто приходил сюда с приятелями. Очередь начиналась на тротуаре, поднималась по крутой лестнице на второй этаж, доходила до кассы, после чего, наконец, вползала в заветную едальню. Возле раздачи, где распаренная тетка ловко швыряла черпаком дымящиеся пельмени в миски, в стене была устроена здоровенная дыра. В ней время от времени возникал приехавший снизу подъемник с поддонами свежевылепленных пельменей. Лепильщицы как раз и сидели в подвале, где чекисты расстреливали

врагов советской власти, необдуманно накопивших в своих домах золотые монеты царской чеканки, кольца, браслеты, колые, серебряную посуду, резанные из малахита или яшмы шкатулки и прочие свидетельства несправедливой жизни и нежелания добровольно помочь успешному развитию всемирной революции, а также поспособствовать нормальному питанию работников уездного комитета партии и других органов власти.

Свое золотишко горный чиновник спрятал, видимо, весьма искусно, потому как клад, по легенде, выгребли не весь. К основной легенде существовало дополнение: что в конце двадцатых или начале тридцатых годов мальчишки, играя в подвале — он еще не был заселен — разрыли землю в углу, чтобы спрятать боевое оружие — луки и стрелы — от врагов из соседнего двора, и нашли два тяжеленьких бруска желтоватого металла. Приняв их за медь или бронзу, они утащили их к ближайшему ларьку старьевщика. Старьевщик, взвесив брусочки, выдал им полагающиеся за медь копейки, но, разумеется, по весу сразу понял, что ему принесли. Сгубила его жадность: невзначай выпросив у мальчишек, где именно они нашли металл, он ночью полез в подвал (здесь, как видим, повторяется сюжет тайного приезда хозяина) и опять-таки был застукан жильцами, чей коллектив уже не назывался коммуной, но дух революционной бдительности был по-прежнему высок у людей, которым вот уж десять с лишним лет не уставали ежедневно напоминать, что враг всегда рядом. В результате поимки жадного старьевщика и эти два бруска были отданы народной власти, а она уж, можно не сомневаться, потратила очередное привалившее богатство наилучшим для народного счастья образом.

Впоследствии сведения о профессии и должности бывшего владельца дома оказались полностью ложными, а фантазии насчет его тайного посещения — бредом.

Подвал, так много значивший в сюжетах обеих легенд, занимал много места в действительности. Он шел под всем зданием, повторял его Г-образную планировку и имел входы с каждого из торцов. Строго говоря, настоящим глухим подвалом, подземным помещением он был лишь под той половиной Г, что шла от парадного входа в глубину двора. Под второй половиной, протянувшейся вдоль улицы, он становился полуподвалом, и здесь низкие окна вровень с тротуаром гляделись в обрез вырубленных в тротуаре и обнесенных легкими решетками ям.

Стены настоящего подвала были облицованы гранитными плитами, источавшими даже в разгар лета прохладу и сырость, просквозженную горьковатым запахом плесени. Крутые ступени, сложенные из того же грубо обработанного гранита, поднимали вас в полупод-

вал, где вошедшего встречал тусклый свет окошек и более теплый воздух — стены здесь были обшиты толстенными трехдюймовыми основными досками.

В начале двадцатых годов полуподвальная часть была заселена не менее плотно, чем сам особняк. Вдоль его внутренней глухой стены оставили узкий коридорчик, а к каждому окошку прилепилась выгородка, ставшая чьим-то жилищем. Глубокая, чисто подвальная часть превратилась в общий погреб и место хранения вещей, не поместившихся в клетушках. В войну, при наплыве эвакуированных, заселили и сам подвал, и если сегодня кому-то трудно представить, как люди жили в каменном пространстве без окон, объяснить это можно одним словом: жили.

На памяти мальчика в первые послевоенные годы подвал занимала семья солдата, разнообразно помятого, покореженного и обрубленного войной, но не потерявшего природного жизнелюбия. Мужчина был хром, крив на один глаз вследствие страшного шрама, перетянувшего лицо от брови до подбородка, и на его левой кисти недоставало большого и указательного пальцев. Все это не помешало ему освоить уважаемое в те годы ремесло точильщика. Это занятие вполне обеспечивало пропитанием его немалую, с каждым годом прирастающую семью.

Если вам нужно было освежить затупленный кухонный нож, портновские ножницы, режущий диск мясорубки, вы спускались по крутым ступеням в подвал. Круглый год под потолком сверкала голая лампочка. Трещала, пожирала мелко нарубленные полешки и щепу самодельная печурка, от нее по стене, а затем вдоль ступеней тянулась наружу составленная из многих колен, чадающая на стыках труба. Посередке над точильным станком склонялся мужчина в помятой гимнастерке с тусклым кружком единственной медали «За отвагу». Он никогда не работал молча. Если не было свидетелей его работы, напевал любимые песни, чаще всего — «Броня крепка и танки наши быстры...». Если заказчик оставался наблюдать за ходом работ, он непременно втраплял его в беседу. Точильный круг, мягко входя в прикосновение с лезвием, то пел, подобно хозяину, то надсадно взвизгивал, и снопы искр взлетали наподобие праздничного фейерверка, разнообразя яркую, но унылую желтизну электрического света.

Точильщик всегда был весел и, казалось, ничто не огорчало его, и менее всего — его глухое и холодное, несмотря на старательно трещащую печурку, жилье. Дети его, однако, росли чахлыми, непрестанно болели, жена была замотана, сварлива, бедность торчала из всех углов. Он этого, казалось, не замечал.

Правда и то, что ему первому из всех жильцов дома, и верхних и нижних, дали благоустроенное жилье уже в начале пятидесятых. Жителям полуподвальной части эта радость выпала лишь два десятилетия спустя.

Кстати, в доме, кроме конфликтов между отдельными соседями, существовало еще и постоянное противоречие между «верхом» и «низом». Если все верхние соседи, несмотря на ссоры, а то и драки, в целом сохраняли «чувство семьи единой», и если таким же чувством при всех конфликтах были объединены между собой подвальные жители, то между «верхом» и «низом» дружбы не было. Была зависть нижних к верхним и полупрезрительное отношение верхних к нижним. Поистине, нет такой тесноты, которая не казалась бы простором в сравнении с другой теснотой, и нет такой бедности, которая не выглядела бы зажиточностью в сравнении с другой бедностью.

Верхние жители, скажем, завидовали счастливым, жившим в единственном на всей улице новом, советского времени постройке, доме: паровое отопление — подумать только, не нужно топить печь! Горячая вода идет из крана в любое время дня и ночи — с ума сойти! Да и за холодной не нужно тащиться на колонку, скользя по обледенелым буграм, а потом по ним же шатко ступать под пружинистой тяжестью полных ведер на коромысле — живут же люди!

А нижние завидовали верхним: как же, у них есть настоящие печи, есть чудесная горячая стенка, к которой можно прислониться, вбежав с дикого мороза, и возле нее можно сушить одежду и обувь; есть духовки, где можно не только варить, но и тушить, томить, выпекать пироги — какая удобная, какая покойная благодатная жизнь. А свет в окнах? У них наверху летом окна распахнуты либо на веселую шумную улицу, либо во двор с несколькими убогими, а все же цветущими клумбами, с кустами акации и шиповника, у них солнце, у них воздух — живут же люди! Жители подвала и не смели мечтать о квартирах с центральным отоплением и горячей водой из-под крана, пределом их мечтаний было переселиться наверх. Тем более замечательно, что те из них, кто дожил до семидесятых годов текущего века, обрели квартиры со всеми удобствами, с чем мы их от души и поздравляем.

После того, как выехал точильщик, глухой подвал был превращен отчасти в место хранения овощей, отчасти в свалку утвари, которую на настоящую свалку сразу выбросить было жалко. Здесь же дворничиха держала метлы, лопаты и скребки. Жители полуподвальной части после того, как подвал стал нежилым, отгородились от него дверьми и навесили большой амбарный замок. Как всякое уединен-

ное глухое пространство, подвал рождает слухи. Говорили, будто по ночам в подвале кто-то бывает: то ли собирается шайка, то ли тайком ночуют бродяги. Не обошлось и без мистики. По ночам полуподвальным жильцам за дверью слышались шаги, вздохи, приглушенная речь. Но так как при осторожных утренних обследованиях в подвале не оказывалось ни малейших следов пребывания разумных существ, постепенно родилась и оформилась новая легенда о тайных посещениях особняка его когдатошним владельцем. Она опять-таки имела две версии, довольно реалистическую и чисто мистическую. По реалистическому варианту хозяин особняка, спасшийся в гражданскую войну, снова разбогател где-то в Европе или Америке — скорее всего, в последней. С началом войны он ощутил себя русским патриотом, пожертвовал для нашего фронта крупные сбережения (купил и подарил то ли танк, то ли самолет, то ли санитарный поезд), за что был прощен великодушной советской властью и вернулся на Родину, правда, с запретом жить в родном городе. Но тайно он приезжает сюда, снимает жилье где-нибудь на окраине, а по ночам приходит и снова ищет в подвале свое золото. Казалось бы, по логике этой легенды, вслед за добровольным щедрым даром новых богатств он должен был бы посоветовать властям еще раз покопаться в подвале, а не приползать туда по ночам самому. Но у легенд своя логика. Некоторые, жалея его, предлагали прилепить в подвале на стене записку — мол, не ходи напрасно, все твое золото уже давно найдено. Никто, однако, не решался самолично изготовить такое послание.

По мистической версии хозяин давно расстрелян ан Пушкинской, в доме, где теперь пельменная, а раньше была ЧК, и в подвал является его дух. Он, впрочем, навещается не только в подвал, но обходит весь свой дом, и двор, и надворные постройки, встречая во всех помещениях множество спящих простолюдинов, которых он вовсе не пускал на постой и не пустил бы ни при каких обстоятельствах; то ли, смирившись с потерей, лишь сокрушается, видя запущенность и обветшалость своего содержавшегося в образцовом порядке владения.

Любопытно: жители страны, в которой вот уже несколько десятилетий как исчезли владельцы особняков и усадеб, так и не выработали безусловного презрения к ним, и в той болтовне о предполагаемых ночных посещениях духа, какая велась обыкновенно зимними вечерами на общей кухне, сквозило сочувствие к человеку, потерявшему свое, сокровенное, скопленное, любовно построенное для себя. Люди как бы соглашались с правом духа недоумевать, с чего его ограбили, по законам какой справедливости отобрали неоспоримо принадлежавшее ему.

«Да, при нем уж тут порядок был, не то что у нас», — нередко звучало на заседаниях кухонного клуба, среди прокопченных стен с пятнами облупившейся штукатурки, где выглядывала дранка. «Свое оно и есть свое. А общее оно и есть общее», — произносила какая-нибудь философия, и все дружно кивали: да, это так.

Мальчик, слушая эти разговоры, живет всего из реакций, какие приписывались духу, представлял себе его изумление, что там, где жила одна его семья, теперь поместилась чертова дюжина семейств, что люди живут теперь в подвале и даже в бывшей конюшне — и внизу, где стоял его выезд, и вверху, где был сеновал и ворохами лежало душистое сено.

Думается, загадочно-мистический образ хозяина или его духа возник еще и потому, что бывшего владельца упорно продолжали считать чиновником Горной канцелярии, управляющей, среди прочего, серебряными рудниками и золотыми шахтами, алмазными приисками и разработками малахита. Наверняка не было бы никаких легенд, знай люди, кем в действительности был человек, построивший их дом: предприниматель средней руки, владелец местной типографии.

Третий класс пришлось начинать в новой школе, в десятилетке. Первую его школу, начальную, расформировали, и он долго тосковал по ее уютным коридорам со старинными печами, на которых кое-где уцелели изразцы, с небольшими классными комнатами, так похожими на жилые в его собственном доме, с добродушной старушкой-гардеробщицей, успевавшей принять пальтишки и шубейки у всей смены.

Здесь у гардероба была постоянная свара, свалка, битва, по огромным коридорам носились ватаги старшекласников, нравы были отчаянно грубыми, сам воздух был заряжен дракой; в эту школу принимались исключенные из всех других школ района: у него в классе верховодил третьегодник Теплых, крупный большеголовый подросток с косой челкой через весь лоб. С фиксой — фальшивой коронкой на зубе. Походка у него была вялая, враскачку, руки всегда в карманах, вынимал их только, чтобы ткнуть не задумываясь растопыренной пятерней в грудь или лицо любого, стоящего у него на пути. Однажды он заявился в класс с боксерской перчаткой, на перемене выстроил почти всех в шеренгу и, пройдя вдоль строя, повалил одного за другим. Некоторые действительно не смогли удержаться на ногах, иные падали нарочно, чтобы не получить еще раз.

В первый же день мальчику пришлось подраться. Противник был крохотного росточка, но очень подвижный и злой, прозвище его было

«Макака»; чувствовалось, что за его спиной в классе есть сильная личность, покровитель, опекун, что прибавляло к его природной храбрости еще и нахальство. Учительница посадила новичка на последнюю парту, а крохотного злюку переместила оттуда на первую, к своему столу. Он долго не соглашался, ворчал и подчинился нехотя, а на перемене подошел к новичку и приказал:

— Складывай манатки и мотай отсюда.

Будь тот повыше ростом, мальчик скорее всего повиновался бы, не от страха, а по уже воспитанному в нем представлению о преимущественных правах старожил в сравнении с новичками. Но ему показалось обидным подчиниться этой воистину макаке, которая, в нетерпении занять насиженное место, уже прыгала возле и помахивала кукольными кулачками. Мальчик толкнул его, и тут же кулачок ткнул его в шею и очень больно. Они начали драться в тесном проходе между партами, причем наблюдавшие были, конечно, за мальша. Бой прекратился звонком и закончился вничью, но в то же время продолжался в самом нелепом виде: макака упрямо пытался сесть на краешек скамьи и пихал кулачком в ребра, мальчик спихивал его в проход, и тот шлепался на пол; наконец, учительница подошла к ним и без церемоний утащила макаку за шиворот на отведенное ему место, он при этом верещал и цеплялся руками и ногами за парты, обретя уже полное сходство с обезьяной.

Последующее пребывание в классе оказалось более мирным; постепенно он был признан своим, заслужив расположение сильных мира сего тем, что беспрепятственно давал им списывать уроки и контрольные; совесть его была чиста: он видел, что многие из них так и не начали учиться и были полностью неграмотны, ему было жалко их, и он давал им списывать, как дал бы голодному поесть. Вообще он был покладист и быстро сошелся с самыми разными одноклассниками, а кроме того, когда освоился и стал разговорчив, всем понравилась его манера ехидно, но беззлобно шутить.

С одним из соучеников он сошелся ближе, по душам. Это был спокойный красивый мальчик, светловолосый и светлоглазый, с красивым именем Ярослав, впрочем, все звали его Яриком.

Однажды, глубокой осенью, они бродили по городу, болтали о том, о сем, а также разыскивали и подбирали фантики. Фантики — обертки от конфет — коллекционировались всеми, это было увлечение, может быть, более распространенное, чем собирание марок. В фантики азартно играли, для этого выбирался стол или широкий подоконник, а фантик складывался в квадратную упаковку, помещался на ладонь и ударом основания пальцев о ребро стола или подоконника посылался на поверхность, желательно подальше. Следую-

ший игрок стремился своим фантиком попасть в первый, если попал — забирал оба. Если в игре участвовало несколько игроков, за короткое время можно было значительно обогатить свою коллекцию либо проигратся в пух и прах. При обмене существовал негласный ценник, самыми престижными считались обертки дорогих шоколадных конфет и отчего-то особым ореолом была окружена обертка конфеты «Красная Москва». Именно ее они увидели, шатаясь по скверам. Бумажка вмерзла в край лужи, и они долго выбивали ее каблуками. А потом осторожно, чтобы не повредить драгоценный листок, обламывали льдинки. Когда редкий экземпляр был добыт и возник щекотливый вопрос, кому он будет принадлежать, их дружба проявила себя самым прекрасным образом: оба дружно отказались в пользу товарища. Ярик все же победил в битве двух бескорыстий и насильно впихнул драгоценность в карман куртки мальчика. Расстроганный, размышляя, чем бы поделиться в ответ, мальчик внезапно предложил открыть свою самую главную тайну и, получив положенные по ритуалу заверения в неразглашении и отведя глаза в сторону, признался, что пишет стихи. Его немного разочаровало отношение Ярика к доверенной ему тайне. Правда, прозвучали «Врешь!», «Побожись!» и тому подобные возгласы, долженствующие передать изумление и уважение, но он ждал, что Ярик попросит прочесть ему стихи, а такой просьбы не последовало. Однако через несколько дней открылось, и довольно неожиданно, что тайна была оценена светлоглазым другом вполне по достоинству. Они гуляли по коридору в большую перемену так, как было принято в их среде у настоящих друзей: обнявшись за плечи, в приятном тесном сплетении, и вдруг Ярик заявил, что у него тоже есть тайна, и не менее замечательная. Когда он открыл ее, мальчик сначала совсем ничего не понял, потом поднатужился и, как ему показалось, кое-что сообразил. Тайна касалась старшей сестры Ярика, взрослой девушки, и заключалась в том, что сестра водит к себе мужчин. Ярик обстоятельно объяснил, зачем это нужно: вследствие того, что мать зарабатывает на фабрике очень скудно, а он, Ярик, не зарабатывает ничего, только тратит. Поэтому сестра выходит погулять на центральную улицу, а потом приходит с мужчиной. Ярик в этом случае изгоняется во двор, но что там происходит в квартире, он, можешь поверить, неплохо себе представляет. По тому, как он говорил, видно было, что он не одобряет сестру, но и не осуждает ее, а относится ко всему этому как к неприятности, от которой никуда не денешься. Зато мужчины, уходя, оставляют деньги.

Мальчик не нарушил клятвы и никогда никому не выдал тайны Ярика, а вот его секрет Ярик, кажется, не удержал. Через два года, в

пятом классе, учитель литературы однажды попросил мальчика остаться и спросил: «Мне сказали, ты пишешь стихи?» Мальчик молчал, не желая подтверждать этот прискорбный факт и не находя сил отвергать его враньем. «Это хорошо, — сказал учитель, снимая напряжение и показывая, что он одобряет. Но не видит ничего особенного. — У меня как раз просили кого-нибудь на обсуждение новой книги, кто интересуется литературой. Думаю, ты подойдешь. Ты читал...» Он назвал книгу местного писателя. Да, мальчик читал эту книгу. «Понравилось?» «Да...» Оказалось, их школе поручено выступление «по языку».

Как всегда, в парадной пионерской форме он чувствовал себя несколько стесненно, особенно — в отглаженных, пропаренных через тряпку брюках — от них еще исходил запах бабушкиного утюга, разогреваемого углями из печки: и еще он отметил, что, кроме него, все имели шелковые галстуки. Его же, сатиновый, хоть и был разглажен, уже свернулся в трубочку. Больше других его стесняла большая девочка, класса, наверное, из седьмого, высокая, с уже приподнятой под блузкой грудью, блузку повсюду оторачивали кружева, а сверкающие лопасти шелкового галстука нежно колыхались на сквозняке, дувшем откуда-то по всей сцене. Под обсуждение книги предоставили зрительный зал театра, и мальчик, вместе с другими ораторами, был препровожден за кулисы той самой сцены, на которой когда-то орудовал смертельным лучом страшный черный человек. Семиклассница откашливалась, деловито шмыгала носом, поминутно доставала тончайший батистовый платок и промокивала нос. Как и все другие, она держала в руке заготовленный листок с текстом своего выступления и все поглядывала в него и тихонько бубнила. Наверняка она уже не раз выступала с трибуны, и если и волновалась, то привычным предстартовым волнением. Остальные, как и мальчик, были, видимо, новичками в таких делах, стояли табунком и стеснялись. Впрочем, было любопытно поозираться вокруг — все они впервые попали на театральную сцену. Сверху, с большой высоты, свешивались полотнища грубой серой ткани, свисали толстенные канаты, перевязанные узлами, и такими же канатами, оттянутыми на чугунных противовесах, была прочерчена боковая стена. В углу стоял ворох декораций, и мальчик узнавал некоторые из них, хоть вблизи эти размалеванные фанерные щиты и натянутые на деревянных рамах раскрашенные марли выглядели совсем не так, как из зала во время спектакля. Особенно поразили его нарисованные полки с книгами. Он хорошо помнил этот спектакль, помнил, как

приятно было смотреть на эту богатую библиотеку, воображать, что за книги в ней собраны, и мечтать иметь такую же у себя дома.

И на сцене и в зале горел свет. Мальчик украдкой глянул в зал через щелку в занавесе. В отдалении от первых рядов, там и сям сидели мальчики и девочки, некоторые, как выступавшие, в пионерской парадной форме, а иные в чем попало. Их было немного, десятка три-четыре. Среди рядов ходила женщина и сгоняла всех поближе к сцене, на первые ряды.

Между тем двое взрослых, сопровождавших коллектив ораторов в их пути на сцену через путаные коридоры и закоулки театрального здания, теперь вели спор, все более громкий. Один из них, красивый, седой, с моложавым лицом, настаивал на том, чтобы выступавшие остались здесь, а другой, молодой, с комсомольским значком на кургузом пиджачке, полагал, что они должны выходить из зала. Он повторял: «Так будет естественней». В это время появился третий взрослый — очень высокий, худой, в больших очках, с живым лицом, выражение которого постоянно менялось от насмешливого к мрачному. Он был не в духе и, войдя, заговорил громко, раздраженно, с разными подковырками. Красивый седой мужчина сразу уловил какую-то ненормальность в поведении очкастого и начал ему, понизив голос, что-то выговаривать. Очкастый чуть смутился. Он подошел к ребятам. «Книжку-то мою читали? — спросил он, и лицо приняло предельно насмешливое выражение, как если бы он заранее знал, что тут общий заговор и вранье, что никто не читал, и об этом уговорились молчать, а он вот не желает, чтобы эта ложь оставалась тайной. «Небось и не раскрывали? Ты читал?» — он наклонился над мальчиком, и от него донесся запах вина. «Да». «Понравилось?» «Да». «А что понравилось?» Мальчик молчал. «Не знаешь? Правильно! Я тоже не знаю, когда нравится. Когда не нравится — знаю, почему. А почему нравится — понятия не имею. Будешь выступать, так и скажи: книжка понравилась, а чем — черт ее разберет!»

Красивый седой мужчина взял его под руку и решительно потащил в зал, они спускались по крутым ступенькам, и мальчик с любопытством глядел им вслед из щелки: это был первый увиденный им живой писатель, и впечатление он произвел... «черт его разберет!» — какое. На ступеньках седой поддерживал писателя с таким тщанием, словно тот и вовсе не мог идти, а затем усадил на первом ряду, сел рядом, заговорил, продолжая держать его под руку.

Комсомолец в кургузом пиджачке достал бумажку и произвел переключку, называя номера школ. Выяснилось, что пришли не все. Комсомолец произвел перегруппировку в очередности и объяснил, кто теперь за кем должен выходить на трибуну. Первой, как и пред-

полагал мальчик, выступила семиклассница. На трибуне она еще раз откашлялась, деликатно, в кулачок; затем обстоятельно осушила нос, и платочек на этот раз не спрятала в рукав, а положила на подтрибунный столик, — мальчик позавидовал хладнокровию, с которым она осуществляла эти действия на глазах у собравшихся, и, наконец, заговорила красивым, звучным, приподнятым голосом, с нотками ликования, напоминая дикторов «Пионерской зорьки». Ее выступление касалось «идейно-тематического содержания» книги. Собравшиеся в зале услышали, что герои книги — «славные представители пионерии наших дней», а их характеры — «типичные характеры пионеров нашего времени». Дела героев именовались в листке, написанном для семиклассницы, «дерзаниями», планы — «устремлениями». Мальчику же предстояло прочесть похвалы языку книги, в его листке тоже немало было «аний» и «ений», в том числе «Интересных сравнений», «ярких сопоставлений», «радостных узнаваний», «глубоких знаний» и целый ряд «умений» — «подметить», «отразить», «отобразить», «подчеркнуть» и «воплотить». Книгу мальчик — он не врал — прочел с интересом, но его удивило, как в ней разговаривают школьники, особенно мальчишки — ей-богу, ни в школе, ни, тем более, во дворе никто из них не говорил таким языком. С другой стороны, было дико представить, что их действительная речь может быть напечатана в книге. Вероятно, и не полагалось, чтобы в книгах разговаривали, как в жизни.

Следующих после семиклассницы он почти не слушал, ибо приближалась его очередь, в душе нарастал страх, и когда назвали его фамилию и он пошел к трибуне, показалось, он никогда не одолеет этого огромного пути под прожекторами, бьющими со всех сторон. За трибуной стало спокойнее, она закрыла его по шею. Он прочел все, что было написано в его листке, и пока читал, смотрел на писателя. Писатель внимательно глядел на оратора, но было видно, что он не вслушивается. Мальчик не обижался, так как читал текст, составленный для него преподавателем литературы. Он вообще не понимал, какое отношение все происходящее имеет к тому, что ему представлялось «литературой». Его поражало молчаливое согласие всех присутствующих с тем, что на самом деле не было никакого обсуждения, а было чтение по бумажкам написанного учителями. Никто не слушал ораторов, ребята в зале томились, зевали, перешептывались. Когда слово предоставили автору, все немного притихли.

Очкастый долго взбирался по ступенькам, неторопливо шел к трибуне, а взойдя на нее и чуть ли не по пояс свесясь, словно петрушка в кукольном спектакле, долго ощупывал края, пощипывал пальцами нечто невидимое и, казалось, готовил длинную речь. Возможно, и в

самом деле готовил, но передумал на ходу и, сказав: «Всем большое спасибо», сошел с трибуны и исчез в кулисах. Комсомолец запоздало предложил поаплодировать, и все послушно захлопали в ладоши, адресуясь опустевшей сцене. Мальчик поклялся, что отныне никто больше не заставит его приходить на столь постыдные обсуждения и еще более укрепился в мысли, что существует две литературы: одну из них проходят в школе, о ней пишут сочинения, состоящие из обязательных фраз, ее обсуждают так, как это сейчас происходило, это какая-то очень строгая и страшноватая литература; а вторая литература — это книги, которые читают, забившись в угол за печью, и никто не требует при этом объяснений, представителем чего является тот или иной герой и какие типичные черты он несет. Почему, кстати, «несет», а не «везет» и не «тащит»? Не понравился ему и писатель, от которого пахло вином и который насмешничал, грубил, а за этим виделось, что он стесняется своей книги и проявленного к ней внимания. Если все писатели похожи на этого, очкастого, то получалось, он, мальчик, вряд ли когда-нибудь станет писателем, так как он не видел ни одной «типичной» черты, которая роднила бы его с очкастым, и очкастый был «представителем» чего-то такого, представителем чего мальчик не был и не хотел быть.

Он, впрочем, постепенно успокоился, размышляя об очкастом, ибо тот, несмотря на то, что написал книгу, не был, конечно, настоящим писателем; настоящие, об этом мальчик догадался давно, жили в Москве. Он, стало быть, когда подрастет, уедет в Москву. О Москве иногда заговаривали дома, в Москве жили родственники, в письмах и при встречах советовавшие его родителям перебираться в столицу; и в Москву хотелось, но ехать было, оказывается, невозможно, повторялось слово «прописка» какое-то очень холодное, тревожное, вроде «граница». Или: «милиция». В Москве милиционеры ходят по домам и проверяют, не въехал ли кто посторонний, а, обнаружив приезжего, забирают... страшно вообразить куда. Мальчик хорошо знал их участкового, усталого пожилого человека в мятой форме, с вытертой до залысин кожаной сумкой через плечо; по вечерам он часто заходил во двор, присаживался на бревнышки вместе с отдыхающими мужчинами и мирно покуривал папироску. Очевидно, в Москве совсем другие милиционеры; здесь все попросту, по-домашнему, а там — строго, и это понятно: там — Кремль, там живет Сталин.

Кроме того, что ехать в Москву было нельзя, ехать в нее было еще и страшно. Она надолго напугала его, когда в сорок шестом он

с бабушкой и сестрой побывал в ней проездом к родственникам на Украину. Они остановились у бабушкиной сестры, чье жилище ему не запомнилось нисколько, а вспоминались московские улицы, сплошь залитые асфальтом, все еще редким в его родном городе, кривые переулки с гремящими трамваями, тесное многоэтажье, горбатые мосты, по которым ползли поезда. Вспоминалась пустынная Красная площадь, красиво выложенная брусчаткой, бесконечные зубцы красной стены, неподвижные часовые у мавзолея, странные голубоватые елочки, высаженные ровными рядами. Сердце сжималось от огромности и серьезности этого города; главный же и непроходящий испуг остался от вокзального перрона и толпы, штурмовавшей поезд. Пока их втягивало в толпу, он видел лишь ноги, чемоданы, мешки, его ударило о их жесткие и шершавые углы, о чьи-то спины. На соседний путь вползала электричка, басовито гудя и разрезая ночь прожекторным лучом... Невозможно представить, что они когда-нибудь выберутся из этой толпы и окажутся в вагоне. Но высокий, ладный, черноусый военный, его московский дядя, берет его под мышки, подымает над головами и впихивает в окно вагона, крича, чтобы лез на полку. И он влезает на высокую полку, вровень с ним возбужденные лица незнакомых людей, только что ворвавшихся в купе, распаренных, отдувающихся, кричащих; а внизу, на перроне, теснятся и толкаются бессчетные тысячи, и его черноусый дядя вновь пробивается через них, теперь в его руках барахтается, как пойманный жук, сестренка. Мальчик не помнил, как оказалась в вагоне бабушка, уж не была ли и она тем же манером, через окно, заброшена могучим дядькой? Запомнился страх — что поезд увезет его одного, а бабушка и сестра останутся на перроне. Правда, вспоминалось, что дядька ничего не боялся и, когда забрасывал их с сестрой в окно, чуть ли не хохотал, кричал им что-то ободряющее; казалось, он один среди всеобщей паники и остервенения, гама, толчеи, надсадных криков сохраняет расположение духа; видно было, что он человек смелый, насмешливый и очень уверенный в себе. Наверное, если бы он захотел, то перевез бы всю их семью в Москву, он просто забросил бы их в столицу, как в то вагонное окно, этот замечательный черноусый дядька, в гимнастерке, перетянутой узкими ремнями, в широченных галифе с кантом, в чуть приспущенных скрипучих сапогах.

Он всегда вспоминал его, когда думал о Москве, а о Москве чаще всего думал в парке Дворца пионеров, где в аллее, сбегавшей к пруду, на каждом ее повороте, стояли разрисованные фанерные щиты. На них сообщалось, сколько угля, стали, чугуна, проката, электроэнергии и много другого будет добыто или произведено в 1950 году, в 1955,

в 1960. Дальше шестидесятого диаграммы не заглядывали, и мальчик соглашался с ними: дальше была вечность. Пятидесятый год был далеким, а шестидесятый — бесконечно далеким; эти круглые даты и круглые числа миллионов тонн очень волновали. Массивные нули были тщательно прорисованы художником: объемные, с тенями, озаренные загадочным, ниоткуда не идущим светом. Ясно было, что к пятидесятому году жизнь переменится, а к шестидесятому — тем более; но что именно переменится, он вообразить не мог. Возникал лишь стальной блеск, цифры 1950 — гигантские, выплавленные и выкованные из миллионов тонн, а за ними еще более колоссальные 1955 и 1960 сверкали полированными гранями, они, в его воображении, висели высоко в небе над башнями, мостами и многоэтажными громадами Москвы.

Когда наступил пятидесятый год, это число перестало сверкать и отливать сталью, оно потускнело, потемнело, съежилось и стало обычными черненькими значками на каждом листке отрывного календаря, на каждом номере ежедневной газеты. Но оставались сверкающие из дальних далей пятьдесят пятый и шестидесятый, величественные, словно вырубленные из льда и поставленные на вершину гор, сулящие волшебные перемены стране в целом и мальчику в частности. Страна будет... какой-то другой, а он... уедет в Москву и там напишет, скажет... оно разлетится по всей стране, сказанное им — долетит до его двора, и двор будет слушать, дивясь, что знал этого человека одним из своих жителей, маленьким, никому не интересным, никого не волнующим мальчиком.

Приговор свершился зимой того самого пятидесятого года, чьи цифры так удивительно сошли с небес в обыденность, и изрек его заглянувший к отцу фронтовой друг, толстый, громогласный, жизнерадостный. В кителе с майорскими погонами, с ворохом гремящих медалей на груди, с портфелем, набитым всякими заграничными штучками. Он сходу подарил мальчику трехцветный австрийский фонарик, и одного этого события было бы достаточно, чтобы навсегда запомнился его краткий визит.

Но запомнился куда более значительным и куда менее радостным. «Чем увлекается молодой человек?» Отец, подумав, ответил, что молодой человек увлекается стихами и даже пишет их. Майор тут же пожелал ознакомиться с творчеством молодого человека и был так настоятелен в своей просьбе, что минуто спустя уже перелистывал тетрадку. Мальчик, замерев, следил за тем, как впервые его стихи читает не знакомый ему человек. Майор, читая, издавал ритмичное

мычание, глаза его ворочались живо и энергично, а на лице прыгала гримаса подчеркнутого удивления и еще более подчеркнутого одобрения.

— Гм... Скажи-ка... Надо же... — бормотал он в паузах между мычаниями и, наконец, захлопнул тетрадь. — Оч-чень неплохо! Вполне можно в «Пионерскую правду».

— Он у нас, что, поэтом будет? — со стеснительным смешком спросил отец.

— Ну, этого никто не предскажет, — развел руками майор. — Возраст. В этом возрасте они все так пишут. Я и сам в его годы что-то такое пытался... И в техникуме, в стенных кропал... Все, все пишут, через это надо пройти, — убежденно сказал он, забыв, что минутой раньше произнес «оч-чень неплохо».

Ничто не могло убить мальчика сильнее, чем это сравнение со «всеми».

Он такой же, как все, вот как! Он пишет, как все, и не только в том смысле, что не лучше других, но и в том, что занят довольно обычным всеобщим увлечением. Все играют в лапту и в чижики, и никому не приходит в голову полагать себя каким-то особенным в этом своем увлечении и мечтать: «Я вырасту и стану знаменитым игроком в лапту», — да еще устраивать из такой мечты тайну. Все играют в лапту и все играют в стихи. Он пишет, как все. Друг отца добр, он подарил фонарик, угостил швейцарским молочным шоколадом, а непьющего отца заставил выпить какого-то редкостного заграничного вина. Раз он добрый, значит, сказал то, что думает, зачем бы ему понадобилось обижать сына своего друга? Мальчик, значит, заблуждается относительно своих способностей, он бездарен, его стихи никому не нужны, но он никогда не перестанет писать их, неведомо зачем. Не зря он предчувствовал, что несчастен. Несчастен сейчас и отныне на всю жизнь.

Весь напрягшись, так что одеревенела спина и стальные струнки пронизали икры, он вытерпел несколько поощрительных прикосновений. Отец похлопал его по плечу, а майор взъерошил ему волосы, растерев макушку, словно неубранный стол тряпкой.

— Ты пиши, это развивает, — прогудел он. — Но не перекашивай, понимаешь? Спортом он занимается?

— Не знаю, — ответил отец, — пусть сам скажет.

Отец и вправду мало что знал о мальчике. Они никогда не играли вместе и никуда не ходили, если не считать обязательной субботней бани, где в тесноте, среди шума льющейся воды, грохання тазов, в душном тумане, пропитанном духом распаренного березового веника, отец быстро раздражался и кричал сердито: «Пятки, пятки отти-

рай!» Кричал не стесняясь. Мальчик же стеснялся звучащих на все помещение приказов и ходить в баню с отцом не любил.

— В футбол он играет, — вспомнил отец.

— Форвард? Хавбек? — спросил майор, обнаружив знание терминов, ушедших из их мальчишеского футбола.

— Я вратарь, — сказал мальчик, глупо улыбаясь.

— Голкипер? Вратарь республики! Хомич! Никаноров! — сыпнул майор. — Молодец! Это развивает. Но не перекашивай. Гармоническое развитие. Физическое, духовное — человек будущего. «Сидят папаша, каждый хитр, землю попашет, попишет стихи». Кто сказал? Ага, не знаешь. Маяковский, лучший, талантливейший поэт нашей эпохи.

Мальчик теребил свернутую в трубку тетрадь, он мало понимал слова, которыми сыпал друг отца, и за ними продолжал стоять безжалостный приговор: «В этом возрасте они все пишут. Это пройдет». Это пройдет, конечно, это как болезнь: тоже кажется, что ты особенный, все здоровы и ходят, а ты болен и лежишь, у тебя горячий лоб, сухость во рту, тянет спать. За окном пацаны гоняют мяч, а ты лежишь и завидуешь им, а то и не завидуешь, тебе уже лучше, тебе дают вкусную еду и питье, бабушка варит клюквенный морс, а ты лежа читаешь книгу, а обычно это запрещено... Наконец, наступает утро, когда ты, едва проснувшись, чувствуешь: здоров! Ты бодр, тебе хочется куда-то бежать, кого-то видеть, узнавать новости. Чай ты пьешь крупными глотками, хлебом набиваешь рот, жуешь и не можешь нажеваться; и все вокруг рады; но проходит день-другой, и ты уже забыл, что болел, и все забыли, и ты опять такой, как все.

Вот и сейчас надо признать, что болезнь кончилась, зачем ждать, когда она пройдет сама, надо поторопиться, надо выздороветь, избавиться от этого заблуждения и позора.

Когда у него, наконец, появилась возможность уйти, он проскользнул во вторую комнату, в укромный угол за печью, в тот любимый, в пространство самого раннего воспоминания, и там сидел и перелистывал тетрадку. Он понимал, что ее следует уничтожить, все эти бездарные пустые слова, обыкновенные, какие приходят на ум тысячам людей везде и всюду; но в то же время, мельком охватывая взглядом любую страницу, он тут же во всех подробностях вспоминал, когда и как это было написано.

Момент для того, чтобы уничтожить тетрадь, был самый подходящий: в соседней комнате хлопнула дверь, это ушли куда-то отец и майор, мамы и сестры не было дома, бабушка стирала в общей кухне — он остался в квартире один. В топленой с утра печи еще было горячих углей, только отворить тяжелую чугунную дверь

цу, сунуть тетрадь, и она вспыхнет, скрутится, пламя слижет страницу за страницей, и он будет свободен, он выздоровеет

Нет, он продолжал сидеть на табурете между печью и письменным столом, и никакая сила не могла бы вытолкнуть его отсюда туда, к чугунной дверце. Наконец, стыдясь малодушия, чувствуя себя глубоко несчастным и неудачливым, он открыл выделенный ему ящик стола, где хранились школьные тетрадки, учебники, альбомы для рисования, коробка с фантиками и постепенно скапливались нужные вещицы, например, рогатка, самодельный деревянный пистолет, называемый «поджигом», битки для игры в чикку, сыромятные ремешки для шнурования футбольных мячей, увеличительное стекло, и сунул тетрадку со стихами в самый низ. После чего влез под кровать и там, в приятном полумраке, принялся мигать австрийским фонариком, подставляя ладонь под круглое пятнышко света: синее... зеленое... красное...

Приговор, произнесенный майором, прозвучал зимой и привел к тому, что мальчик более года не открывал тетрадь со стихами, не было желания ни перечитывать старое, ни сочинять новое. Очень кстати прочел он в те грустные осенние дни каверинских «Двух капитанов»; больше всего ему понравилась история любви Сани Григорьева и Кати; кроме того, он сопоставил свое положение с проблемами Сани Григорьева и нашел их очень близкими; глава, в которой Саня решает наперекор судьбе пробиться в авиацию и с этой целью начинает укреплять силу воли, подсказала ему выход. По примеру Сани он начал обтираться по утрам ледяной водой и делать зарядку у раскрытой форточки. Когда он читал роман, то просто наслаждался местом, где Саня делает зарядку у открытого зимой окна, и в окно влетают снежинки. Закаливание оказалось занятием нелегким и надоедливым, получались срывы, перерывы; так или иначе, но к весне он сам почувствовал, что окреп и стал сильнее, а потом наступило то самое лето, когда двор охватила лихорадка спорта, волейбола, футбола, состязаний в беге и на турнике и когда он начал всюду преуспевать и даже, в спортивном отношении, выделяться. Он, конечно, предпочел бы выделиться и прославиться совсем в иной области, в той, где был столь безжалостно приговорен майором, но не мог не отметить, что спортивные успехи тоже приятны и укрепляют в нем веру в себя. Увы, не настолько, чтобы преодолеть свою прежнюю трусость в драке, робость в отношениях с девочками, которые нравились, и утомительное подчинение писаным и неписаным, действительным и воображаемым запретам.

В один из майских дней двор был взбудоражен слухом: «замели» Борьку. За неделю до этого, поздним вечером из пистолета был убит мужчина, говорили: «инженер». По слухам, он повздорил с четверкой подвыпивших парней, один из которых неожиданно достал оружие и выстрелил, после чего все четверо разбежались. Теперь оказалось, что одним из них был Борька. Борьке было пятнадцать лет, и он замечательно играл в волейбол. Никто никогда не видел его с теми зловещими дружками, теперь открылась завеса над его второй жизнью, и пошли слухи о том, что на совести этой четверки уже немало преступлений и что они и есть та банда, которая зимой ограбила комиссионный магазин.

А потом был суд, где выяснилось, что стрелявшим был не кто иной, как Борька! Мальчик, вспоминая, как не раз стоял с ним рядом на волейбольной площадке, все дни, что шел суд, неотступно размышлял об очередной для него загадке человеческой души. Борька знал, что он убил человека, что он убийца, и при этом играл в волейбол, самозабвенно кричал: «Пас!» или давал пас и кричал: «Дави!»; и они прыгали рядом, оба в одинаковом упоении от игры; что же он чувствовал на самом деле? Что чувствует на самом деле человек, когда убивает другого?

Вскоре счастливый случай дал ему возможность познакомиться с этим ощущением.

В тот раз почему-то никто из пацанов не захотел поехать на футбольный матч, и мальчик отправился в долгое путешествие один. Трамваи в любое время ходили переполненные, а перед футболом — тем более.

Перегруженные вагоны тронулись со скрежетом, и все, кто еще не устроился на подножках, бросились на последний штурм. Самые настойчивые еще долго бежали рядом, подпрыгивая и напрасно пытаясь за что-то ухватиться. По мере того как огромный трамвай разогнался, эти нелепо скачущие неудачники отставали с криками досады и яростно свистели вслед. С подножек и из раскрытых окон в ответ тоже свистели: залиvisto, будто гоняли голубей, или короткими трелями, вроде тех, которыми подманивают к сетям синиц и чечеток — «тьи-тьи-тьи», что сейчас выражало насмешливое отношение к оставшимся.

Крепко обхватив поручень, мальчик тоже снисходительно посматривал на проигравших и с чувством глубокого удовлетворения отмечал свой нелегко давшийся успех. Всего их тут было шестеро или семеро — юных болельщиков, на подножке первого, моторного

вагона, у его задней площадки. Мальчика притиснули к поручню так, что щека подперла глаз, как при сильнейшем флюсе. Зато он видел улицу. Его соседа развернуло лицом к стенке, и при всем желании ничего, кроме двух рядов заклепок, он увидеть не мог. Впрочем, у него, как и у всех, было отличное настроение. Пока они сражались на остановке, они были врагами. Каждый, круто наклонив голову, ввинчивался в толпу. Мелькали спины и затылки. Серые, коричневые, черные, синие спины курточек и рубашек, стриженные высоко под макушку затылки. Иногда чей-то острый локоть больно ударял в грудь; разок кто-то большой, высокий рванул мальчика за шиворот и отшвырнул, как кутенка; а кого-то, наоборот, отпихнул он, да так удачно, что на мгновение очистился крохотный кусочек подножки, несколько металлических рубчиков, и этого мгновения ему хватило, чтобы утвердиться на подножке окончательно и бесповоротно.

Теперь они перестали быть противниками, как бы заключили молчаливый договор о дружбе и взаимопомощи. Впереди было два десятка остановок, и на каждой стояли другие желающие уехать, и потому вряд ли представится возможность, без риска потерять место, прыгнуть на землю и размять затекшие ноги. Минут на сорок они становились дружной семьей, живущей по известной поговорке: в тесноте, да не в обиде. Шла еще небольшая возня, но толкались без остервенелости, миролюбиво; в стихийно возникшем коллективе происходил извечный процесс: самые настойчивые, дерзкие, настырные устраивались лучше всех; лишенные честолюбия, но не обделенные силой — чуть похуже; остальные — как пришлось.

Трамвай набрал скорость. Задул ветерок. Он приятно обдувал вспотевшие от борьбы тела. Все заулыбались, заперемигивались. Никто никого не знал, лишь двое были приятелями. Они оживленно переговаривались, приведенные в восторг их необыкновенной удачливостью, благодаря которой они находились именно здесь, а не на остановке, где, как можно было понять, остался их третий товарищ. Одно из них также радовало свежее воспоминание о том, как он кому-то врезал там, на остановке. Оно захватило его надолго, и он несколько раз выкрикивал: «Как дам ему... Как дам!»

Из ближайшего к подножке окна высунулся бритоголовый пацан, он скорчил рожу, гикнул, потом заколотил ладонью по стенке и запел, ни на кого не глядя: «Эх, путь-дорожка фронтовая! Не страшна нам бомбежка любая! Помирать нам рановато, есть у нас еще дома жена...» «Да не одна!» — с готовностью подхватили на подножке, и только теперь он поглядел на них, как артист на аудиторию, в которой привык к успеху. Скорчив еще рожу, он запел новую песню:

«Десять лет мужа нет, а Марина родит сына... Чудеса, чудеса, чудный мальчик родился...» Казалось, он уже уверенно выходит на завидную роль клоуна и любимца публики, но тут другой пацан, из подножечных, затянул замечательным, нарочно дурным голосом: «Бананы ел, пил пиво на Мартинике, курил в Стамбуле злые табак...» В Каире я жевал, братишка, финики...» Первый певец, не желая унижаться до соперничества, умолк, отвернулся и принялся плевать, задумчиво провожая взглядом каждый плевок, следя, как сверкающая капелька разбивается о мостовую и гаснет. Победивший продолжал концерт: «Встретились мы в зале ресторана, как мне знакомы твои черты, помнишь ли меня, моя Татьяна...»

Это были всем известные и всеми любимые песни, каждый вечер гремевшие в городском саду и разносимые динамиками на всю округу. Мальчик с наслаждением слушал, как сосед дерет глотку; и чудесно было ощущать тряску колес, биение поручня, его теплую гладкую поверхность, до блеска вытертую тысячами прикосновений. Если смотреть под ноги, там, возле рельса, булыжник несется сплошной серой полосой, а стоит перевести взгляд дальше, и полоса рвется, можно различить отдельные булыжины; если же посмотреть на обочину, окажется, что там в это же самое время можно разглядеть каждую травинку и любую мелочь, вроде конфетного фантика или мятой папиросной коробки, не говоря уже о ржавой загогулине, в которой успеваешь узнать сплюснутый обод с кадушки. Был удивительный интерес в том, чтобы, меняя направление взгляда, следить то за подробностями обочины, то за серой полосой, летящей под ногами. Эта бешено летящая полоса заволакивала сознание, погружала в мутный поток отрывистых размышлений, навевала странные мысли, например... Зачем он ездит на футбол?

Однажды он задержался в перерыве между таймами в очереди за стаканом газировки. Игра возобновилась, очередь начала разбегаться, вскоре он остался один. Он торопливо протянул продавщице монеты, схватил налитый стакан, и вдруг ему стало смешно, что он торопится. Издеваясь над собой и еще неизвестно над кем, он медленно, с удовольствием вытянул сладкую шипучую воду, поставил стакан и медленно пошел к трибунам. У входа он остановился и попытался представить происходящее на поле по гулу и рокоту трибун. Пребывать в особенном положении было приятно. Потом спросил себя: «А можешь ты сейчас уйти со стадиона?». «Могу». Он представил, как поедет сейчас в полупустом трамвае, сядет у окна, выставит локоть и, обдуваемый ветерком, будет смотреть на разворачивающийся перед ним город как на доселе невиданный, в то время как несколько тысяч безмерно взбудораженных людей

беснуются, теснясь в крутых рядах вокруг истоптанного пыльного поля, по которому, хрипя и толкаясь, гоняют мяч усталые парни в потных футболках... Он был уже в воротах, когда стадион взревел с необычайной силой. Мальчик рванул обратно, досадуя, что пропустил сладкое мгновение: гол.

Проехали высокий деревянный дом, в резных украшениях, с круглым окном, в котором рама была сплетена наподобие цветка. Проехали магазин «Шарикоподшипник», в витрине заманчиво сверкнула пирамида: снизу полуметровый подшипник, сверху крохотный, не больше монеты. Здесь покупали подшипники для самокатов, и прежде чем взять, катали их по прилавку: достаточно ли катучие? Проехали конный двор, ворота были закрыты. За каменным забором торчали задранные оглобли. По навозным катышам прыгали воробыи. Дальше потянулись похожие одно на другое двухэтажные строения: кирпичный низ, бревенчатый верх; и между ними похожие дворы. Гранитные плиты ведут от крыльца к крыльцу, в палисаднике цветет акация. На веревках сохнет белье. Вкривь и вкось стоят дровяники, сараи, поленницы дров. В одном дворе шла игра в «штанدار». Мальчишка высоко, свечой, подбросил мяч, выкрикнул чье-то имя, проехали, проехали, и никогда не узнать, чье имя он выкрикнул, кто рванул-ся к мячу и поймал ли его...

Вагон сильно тряхнуло — здесь поворачивали направо. Ход замедлился. Стал виден прицепной вагон. На его подножках тоже висели гроздьями.

Тут он впервые и заметил этого пацана. Тот спрыгнул с задней подножки прицепного вагона, догнал переднюю и запрыгнул на нее.

«Ловко!» — подумал мальчик.

Казалось, сплоченный коллектив той подножки отторгнет новичка как постороннее тело. Нет. Новенький втиснулся, втерся, вклеился... После поворота прицепной снова вытянулся в струну за моторным, и дальнейшее стало видно урывками. Оттянув себя на поручне подальше от стенки, мальчик увидел, что с приходом новичка там началась какая-то возня. Мелькнула рука, как бы защищаясь от нападения; повернулось чье-то побледневшее лицо, донесся испуганный возглас: «Че ты? Че?» Неясно было, что там происходило, но возникло смутное беспокойство, что новенький, кроме того, что едет на футбол, имеет еще какую-то цель.

Соседи мальчика ничего этого не заметили и продолжали веселиться. Тот, что победил в соревновании певцов, развлекался, наступая на ногу приятелю, они беззлобно переругивались. Тот, что плевался, увидел идущую по тротуару взрослую девушку в нарядной белой блузке и пронзительно свистнул. Девушка улыбнулась и погрозила пальцем.

Свистун затынул: «Десять лет мужа нет, а Марина родит сына..» Он пел с таким выражением на лице и в голосе, словно был уже взрослым и знал все подробности отношений между мужчиной и женщиной, о чем и сообщал девушке посредством песни.

«Чудеса, чудеса, чудный мальчик родился...»

Над скромными особняками, избами, бараками с сараями подымалась гора, усеянная такими же домишками, между которыми торчали тополя и березы, а на вершине горы проплывали купола краеведческого музея, размещенного в бывшей церкви.

Трамвай затормозил: остановка. Она была пуста. Живущие тут по опыту знали, что здесь им не сесть, и заранее уходили на предыдущую остановку.

Тут мальчик увидел его снова. Он стоял возле их подножки и невозмутимо поглядывал по сторонам, по виду не проявляя желания ехать дальше.

Он был невысок ростом, но годами старше, чем казался издали. Ему было лет тринадцать-четырнадцать. Лицо широкое, скуластое, в оспинах. Глаза светлые, ясные, смотрели спокойно и, казалось, дружелюбно. На нем были черные сатиновые шаровары, тапочки, пиджак с чужого плеча. Под пиджаком — грязноватая голубая майка. Волосы стрижены под полубокс, косая челка падала на глаза, и он привычным движением смахивал ее со лба.

Трамвай вздрогнул, раздался натужный рев и скрежет, поехали; и в ту же минуту новенький очутился на подножке. Мальчик и понять не успел, как это у него получилось. Вскоре здесь тоже кто-то пробормотал: «Эй, ты че? Че?» — и в ответ раздалось: «Молчи...» с прибавлением крепких словечек, и удивили не сами эти слова, а то, как спокойно и серьезно они были сказаны. Подножка затихла, рядом с мальчиком тяжело засопел певец. Он потянулся через его плечо и наконец увидел, чем занимается новенький и о чем он заранее догадался.

На мальчике была куртка с внутренним карманом. Сейчас там лежали сложенная пополам пятирублевка и несколько монет. Куртка была тонкая, из бумазеи, достаточно было будто бы случайно прикоснуться к груди, будто бы почесаться, и пальцы сразу нащупывали квадратик пятирублевки и кружочки монет. Как и у всех в то время, у него была привычка проверять, целы ли карманы. Сейчас, когда на подножке орудовал вор, в этом уже не было смысла.

Что карманников было много, и особенно в трамваях, обычно не очень беспокоило. Во-первых, их больше интересовали кошельки взрослых. Во-вторых, мальчишки почти всегда, если только не сгноял контролер, ездили на подножке, а кто тебя там ограбит? Так он

привык думать, и вот появился этот умница, этот талант, сообразивший, что на подножке чистить карманы как раз удобнее всего: жертва не может сопротивляться. Есть и для ворующего риск сорваться и угодить под колеса, но кто не рискует, не выигрывает. Конечно, действовать надо быстро, ловко и при этом запугать сразу всех, но именно это и умел обладатель спокойных глаз и косой челки. Ни о чем не спрашивал, сразу лез в карманы. Певец попытался оттолкнуть его руку, но получил кулаком под ребра и покорно застонал.

Мальчик понял, что наступает его очередь, судорожно вздохнул и замер. Не то чтобы его никогда не грабили. Было. В младших классах переростки-второгодники зажимали малышню в углах и выворачивали карманы. Монета, кусок хлеба, биток, цветной карандаш — им все годилось. Прошлым летом большой парень отобрал у него велосипед, укатил, и мальчик долго бродил по улице, не решаясь вернуться домой и объявить о потере. Через полчаса парень появился и швырнул ему под ноги велосипед. Недавно во дворе у него отобрали нож, которым он выстрегивал кораблик, сидя на крыше дровяника.

Но все это были нападения ребят, которые были старше его на три-четыре года, и сопротивляться им не хватало ни духу ни силы. А тут — почти сверстник, и по виду далеко не силач. И никогда еще не нападали на него так открыто и нагло, пользуясь его беспомощным положением.

Вор оттолкнул певца и притиснулся к мальчику. Взгляды их встретились, и стало понятно, почему перед этим пацаном все так быстро и позорно пасовали: что-то страшное, безжалостное, неколебимо уверенное в своей правоте светилось в его широко раскрытых, немигающих глазах.

Чужая рука охлопала карманы штанов, и он услышал собственный голос:

— Да нет у меня ничего...

Вор тихо предупредил:

— Молчи, гад. Сброшу.

Мальчик посмотрел на несущуюся под ногами серую полосу и оцепенел. Трамвай шел по большой дуге и перед выходом на прямую набирал скорость. Вагон сильно раскачивало. Сейчас он вытащит деньги, не на что будет купить билет, а значит, и ехать дальше не имеет смысла. Попадать на футбол через забор, бесплатно, как это делали многие, он почему-то не умел. На ближайшей остановке он сойдет и поплетется домой, а там заревет, размазывая слезы по щекам, а бабушка станет утешать его и ругать всю эту шпану, от которой нет ни житья, ни покоя... или он будет бродить по

городу, по пустынным улицам, по жаре, потому что стыдно вернуться домой и признаться, стыдно, да и опасно: перестанут отпущать...

Рука шлепнула по курточке, ощупала монеты и бумажку под тонкой тканью и полезла за пазуху. Деловитое посапывание вора раздавалось так близко, что даже грохот колес не заглушал его. Краем уха мальчик ощущал теплую струйку дыхания своего мучителя. Оно было стесненным — вследствие неудобной позы, которую тот занимал. Рука шарилась по телу, как по неодушевленному предмету. Другая его рука в десяти сантиметрах от глаз мальчика стискивала поручень — с такой силой, что кровь отхлынула от ногтей, подчеркнув полоски грязи под ними. Было невыносимо щекотно от пальцев, проникших под куртку. Колеса грохотали, полоса, как бешеная, неслась вниз. Солнечный, радостный, милый образ футбола отлетел далеко-далеко, мир повернулся всем, что в нем есть подлого и жестокого, и несправедливость, как потаенный закон всего сущего, взмыла над этим миром.

И он ударил. Он ударил локтем и попал в живот. Теплая струйка дыхания на щеке пресеклась, раздался сдавленный вздох, вроде бульканья; он ударил еще и еще — так начинает дергаться в неуправляемых конвульсиях человек, когда под рубаху заползло насекомое; пальцы на поручне ослабли, кровь ровным потоком вошла в ногти и окрасила их в густо-розовый цвет; в следующее мгновение пальцы съехали с поручня и разжались, а другая рука выскочила из-за пазухи, больно полоснув по шее. Косым беглым взглядом он увидел, как вор валится с подножки. Не спрыгивает по своей воле, а именно валится. Рука, соскользнувшая с поручня, нелепо растопыренная, мелькнула перед ним, раздался короткий крик:

— А-а!..

Трамвай вышел из поворота, и соседи заслонили дальнейшее. Они облегченно зашевелились, считая, что вор спрыгнул сам, закончив поборы. Никто не говорил ни слова, скорость была велика, вагон мотался, колеса гремяли.

Ощущение силы, победы, удачи вместе со страшной скоростью вагона едва не подымало мальчика в воздух. Футбол снова был близок и досягаем, и деньги надежно лежали в кармане — на билет, на воду, на мороженое, на тридцать три удовольствия.

«Я не испугался! Все испугались, а я — нет!»

«Я испугался, конечно, — поправил он себя. — Но пересилил страх. Я не трус!»

«Нет, я трус, я испугался очень сильно, и я ударил от испуга, со страху... Ну и что? А все же я сделал это. Сделал!»

Он вложил эту фразу в перестук колес: «Сделал это — сделал это — сделал это...» Но что-то мешало полному ликованию. Саднило разодранный подбородок? Чепуха. Мелькнуло: а что, если он разыщет его и отомстит? Нет, теперь он его не боялся. Что же? «Сделал это — сделал это — сделал это...»

«Ты столкнул его под колеса, вот что ты сделал», — вдруг сказал он себе. И вот что мешало: в тот момент, как вор упал и соседи заслонили его, в ударах колес был какой-то странный сбой, словно они на что-то наткнулись и, быстро преодолев возникшую преграду, с тяжелым гулом покатались дальше. Или это послышалось? «Конечно, послышалось, — принялся он уговаривать себя, — ты перепугался, гляди, у тебя лоб мокрый от пота, и спина мокрехонькая, ты сдрейфил, захохал, ты жуть как перерохался, могло хоть что послышаться... А теперь выдумываешь. И потом, ты сам видел, какой он ловкий, гибкий. Еще в воздухе, в полете он извернулся, может быть, оттолкнулся от стенки... От какой стенки? Перед ним не могло быть стенки, задняя подножка, а дальше промежуток между вагонами. Он думал, толкнется от стенки, а оказалось — пустота, и тогда... Его могло ударить подножкой прицепного вагона. Да-да, как раз это и могло произойти: он сорвался с нашей подножки, и пока падал, на него налетела следующая...»

Он представил, как ребро подножки ударяет вора в спину и швыряет его тело между вагонами, и оно бьется о металлические пластины сцепки и кулем валится на рельсы. Нет! Трамвай в это время выворачивал влево, и если даже подножка ударила его, он никак не мог улететь под колеса, его тогда швырнуло бы на мостовую.

Кровь на булыжнике; крупные капли крови на пыльных головках булыжника, на седых от пыли травинках...

Трамвай затормозил. Остановка. Соседи негромко переговаривались, стряхивая с себя страх, избавляясь от позора недавней минуты. Видели ли они, что произошло? Ему казалось — видели, но никому не хотелось первому заговаривать об этом. Несколько здешних мальчишек толкались, пытались попасть на подножку.

Сам не веря тому, что делает, он спрыгнул. На освободившееся место сразу прилепились двое новеньких. Никто не спросил его, почему он покидает заветное местечко, и это укрепило его в подозрении, что они — видели.

Он стоял и тупо смотрел в трамвайный борт, в надпись, желтую на красном: «СЕВЕРНОЕ ДЕПО ц 312». Борт вздрогнул и пополз. Проплыла мимо родная подножка, за ней еще две, мальчишки на них шумели, как воробьи, на каждой был свой свистун, свой клоун, свои певцы и плевалышки.

Они ехали на футбол, а он убил человека. «Глупости, никого ты не убил. Со следующих подножек видели бы, если бы он разбился. Ну и что? Об этом они сейчас и шумят. По-твоему, им надо показывать на тебя? Но ведь они не знают, что это сделал ты. Да ничего ты не сделал. Сделал...»

Он побрел обратно, к повороту. Прохожие, ему казалось, странно поглядывали на него. Они знали, куда и зачем он шел. Он брел по мостовой, вдоль рельсов, словно то, за чем он шел, лишало его права идти по тротуару: не мог же он прикидываться обычным прохожим. По залитой солнцем, довольно пустынной улице убийца шел к месту преступления, и синеватый блик в раскатанном до блеска рельсе сопровождал его на этом скорбном пути. После трясучей подножки мостовая поражала твердостью и неподвижностью, булыжники так и выпирали из нее. После грохота поездки тишина обволакивала, как мутная вода городского пруда, когда нырнешь поглубже. Он не помнил, чтобы еще когда-нибудь шел так медленно и при этом хотел дойти так быстро. Там, за углом, там, за поворотом...

Он смотрел под ноги и считал шаги. На сотом поднял голову. Вот это место. Возле рельс не было никого и ничего. Никто не толпился вокруг лежащего, никто и не лежал. И, уже сознавая, что это глупо, он наклонился и стал разглядывать мостовую. Он увидел сетку трещин на камнях, крошки засохшего навоза в щелях между камнями; у конца шпалы, из-под приотставшей щепки, выползли черные глянцевого муравьи. Не было крови. Никаких вообще признаков того, что здесь кто-то рухнул навзничь с подножки на полном ходу.

«Говорил же тебе: ничего с ним не могло случиться. Где теперь твой трамвай? Уже за вокзалом. Где твой поручень? Ехал бы сейчас и ехал...»

Но он вспомнил, какая была скорость и как нелепо растопырились его пальцы, и как коротко он вскрикнул. «Он не разбился насмерть, но ему перешибло ноги, и он не стал тут лежать, он пополз... куда? Вон в те, ближайшие ворота, в тот двор. Он сейчас там ползает, воем от боли, зовет на помощь, а во дворе почему-то никого нет, и он заползает за поленницу и будет там долго ерзать, дергаться, сучить ногами, как подыхающая, раздавленная на дороге собака...»

С сильно бьющимся сердцем он вбежал в двор. Молодая женщина развешивала белье. Веревка с тяжелыми простынями была подперта кольями. На табурете стоял таз. Из него свешивался рукав нижней рубахи. По фартуком у женщины торчал большой живот.

— Чего тебе тут? — неприветливо спросила она.

Он вернулся на улицу. По бесконечной лестнице, ведущей к вершине горы, к музейным куполам, там и сям продвигались фигурки

прохожих. В одной из них, подымавшейся на самом верху, он, кажется, узнал вора. Фигурка прихрамывала. Но расстояние было велико. Он прищурился и разглядел, что на прохожем надета кепка. У вора кепки не было. Фигурка достигла вершины и перевалила через нее.

Из-за поворота донесся протяжный вой перегруженного трамвая. Он побежал к остановке. Еще можно было не опоздать на матч.

Одну из комнат темного коридора занимала высокая худая женщина, вспыльчивая и истеричная, вечно заряженная на скандал. Скандалила она часто и, во всяком случае, каждый раз, как наступала ее очередь мыть общие полы или убирать общую кухню. Она решительно отказывалась делать эти работы, ибо свое пребывание в доме находила несправедливым, и даже когда топила собственную печь, швыряла поленья с таким оскорбленным видом, словно и печь виновата в том, что женщину засунули сюда, в тесноту и бедность, к людям чуждого ей круга. Высшей точкой ее перебранка с другими жильцами (чаще — жиличками) достигала, когда женщина начинала выкрикивать фамилию и напоминать, что она родственница человека, занимавшего до войны очень высокий пост — мальчик не знал, в их городе или где-то еще, что ее проживание здесь — отчасти недоразумение, а главное — происки врагов того человека, им же самим по добросердечию и пригретых возле его высокого поста. Она кричала, что знавала иные времена и жила в иных местах, в ином доме, в прекрасной квартире, какая здесь никем не была видана, которая здесь никому и не снилась; что родственник был не просто большим начальником, а принадлежал к тем немногочисленным и недосыгаемым людям, что работают в зданиях с охраняемым входом, в огромных кабинетах, за столом с десятком телефонов, один из которых соединен напрямую с... Тут она умолкала, словно от перехваченного дыхания, и несколько раз пронзала воздух указательным пальцем, обращая его к потолку... О, кричала она, вы только на портретах видите этих людей, что носят кожаные пальто и ездят в больших легковых машинах, и когда едут, все должны убираться с дороги, все и убираются; а она езживала в этих машинах; и если бы ее не выкинули из той прекрасной квартиры буквально с узлом, дав на сборы сорок минут, вы бы увидели, какие вещи у нее были, что она надевала и среди какой мебели жила; но все это еще вернется, вернется, да-да! Рано или поздно правда восторжествует, и она снова получит отдельную квартиру, чистую, светлую, с ванной, с балконом, с телефоном, как того и заслуживает родственница великого человека;

а вы оставайтесь здесь со своими керогазами, печками, вонючими ведрами, со своей общей кухней, в своем пропахшем керосином и помоями доме, и как бы вы ни чистили его, он не перестанет быть сараем, скотным двором, свинарником, и если не заслужили иного, то и живите здесь, а меня оставьте в покое!

Взрослые — мальчик видел — не верили ни одному слову и обрушивали на нее град насмешек: «Дворянка нашлась!», «Фон-баронша выискалась!» Затем наступала очередь прямых однозначных ругательств, и кончалось тем, что женщина с истерическими рыданиями хлопала дверью, запиралась изнутри. С хрустом проводрочивала ключ в замке, и слышно было, как там, у себя в комнате, она продолжает рыдать и выкрикивать неизвестно кому адресованные угрозы и обещания отомстить.

Мальчик же отчего-то полностью верил ей и был убежден, что она действительно родственница великого человека и жертва таинственных и печальных обстоятельств. Соседка виделась ему в той огромной роскошной квартире, устланной коврами, с красивой мебелью, вроде их буфета и зеркала; и какие-то молчаливые строгие люди возникали на пороге квартиры и пристально смотрели на женщину, с укоризной, предоставляя ей самой возможность понять, что времена ее проживания здесь закончились, ей следует удалиться и немедленно, один из них сдвигал толстый рукав шинели и, выставив перед собой запястье с часами, показывал на циферблат: «Сорок минут на сборы, гражданка», — произносил он скучным вежливым голосом. Под их укоризненными взглядами она торопливо увязывала в узел первые попавшиеся вещи, выходила из квартиры, оглядывалась в последний раз на свое великолепное жилище, спускалась по широкой лестнице с узорчатыми перилами, выходила в чистый пустынный двор, между тем как молчаливые люди шли позади в небольшом отдалении. Здесь она задержалась, предполагая увидеть знакомую черную машину с шофером в хромовой куртке, с мягкими кожаными подушками на заднем сиденье; но тот, что показывал на часы, покачал головой, показывая, что машины не будет; и тогда она вышла со двора и пошла по улицам, по-прежнему сопровождаемая молчаливыми людьми. Она миновала красивые высокие здания, в которых жили великие люди и их родственники и, не получив сигнала остановиться, двинулась дальше, вступив в улицы скромного, незнакомого ей облика, в кварталы, где жили обычные люди, она шла и озиралась, видя особняки с крылечками, бараки с завалинками, низкие флигели с множеством подслеповатых окошек, с грязной ватой между рамами, усыпанной лоскутками цветной бумаги, с геранями на подоконниках; со страхом всматривалась она в скромные жилища, густо населенные обыч-

ными людьми, среди которых отныне предстоит жить и ей, и жить такой же, как у них, унылой, заполненной докучливыми заботами жизнью. Наконец она входила в один из этих домов, шла в полутемном коридоре, ее шатало от запахов керосина, печного угара, кухонных испарений, а один из строгих молчаливых людей шел теперь перед ней, и вот он любезно открывал дверь небольшой комнаты, приглашая войти и остаться навсегда. Она входила, и он осторожно и плотно прикрывал за ней тяжелую створку двери. Из единственного окна ей открывался вид на два круто взметенных сугроба и кривую тропинку меж ними, на стену соседнего дома с лопнувшей штукатуркой, а в комнате не было ничего, кроме венского стула, круглого стола под скатертью с бахромой и железной кровати; один угол занимала плохо побеленная печь в разводах сажи, а с потолка струилась мохнатенькая паутина; и здесь ей отныне предстояло жить.

Вообразив все это, мальчик очень жалел соседку и от души желал ей волшебного преобразования жизни.

И однажды оно состоялось. Во двор, нетерпеливо гудя, вполз грузовик, взволнованная соседка жестикулировала в кабине, показывая шоферу, куда надо подъехать. Вдвоем они быстро погрузили все ее нехитрое имущество; она дважды, с хрустом, повернула ключ в замке и пошла во двор через кухню. Свидетели отъезда молча провожали ее взглядами, и она ничего не говорила; выйдя же на крыльцо, она обернулась — ее видно было из кухонного окна — и плюнула на ступени.

Очевидно, как она и верила, правда восторжествовала, и великий человек вновь облачился в кожаное пальто, сел в длинную черную машину с певучим повелительным клаксоном, разгоняющим с дороги все и всех, и начал ездить на свою важную работу; а в свободную минуту вспомнил о ввергнутой в нужду родственнице и соответственно распорядился.

Через несколько дней в ее комнате поселились новые люди, ленинградцы: инженер Голицын с женой и дочерью. Впрочем, будучи ленинградцами, сюда они приехали из Ташкента, куда жена и дочь были эвакуированы в начале войны и где им пришлось остаться и после войны, так как их ленинградская квартира погибла.

После мальчик никак не мог вспомнить, где он впервые увидел новую девочку: в коридоре, у дверей ее комнаты или во дворе, или на улице: отчего-то очень хотелось вспомнить, где именно. Он помнил только, что его удивил ее наряд: мальчишеская спортивная майка с выцветшей, когда-то оранжевой семеркой на спине, расклешенная

юбка из пестрой переливчатой ткани, а на голове у нее, на густых рыжих волосах нахлобучена была и чудом держалась узбекская, расшитая бисером черная шапочка — «чеплажка». У девочки была чистая белая кожа, без каких-либо следов азиатского загара, легкие конопатинки на крыльях носа, глаза светились мягким зеленым светом и смотрели чрезвычайно независимо; и едва взглянув на тонкие черты ее лица, на волосы, тяжело горевшие медным блеском, на всю ее легкую, напружиненную фигурку, он понял, что девочка нравится ему до крайности и что у него за стенкой поселилось отныне его беспокойство, его счастье, его беда. Новенькая привезла странную игру, которой вскоре заболела вся дворовая компания. Нечто вроде тренировочного упражнения для футболистов. Нужно было ударом головы посылать в стену резиновый мячик, каждый раз встречая его после отскока: кто больше. Играли у оштукатуренной стены дома, и все ходили с перемазанными белесой пылью рожицами, словно клоуны. В свою очередь приезжая быстро освоила любимые игры двора, показав ловкость, отвагу и выносливость мальчишеского класса, она и в футбол лезла играть, и иногда добивалась — брали. Только волейбол ей не давался, да и не нравился, скучно было ей стоять на площадке, переходить с номера на номер, ноги не давали ей покоя, у нее была постоянная потребность бегать, убежать, догонять, искать или прятаться.

Это было то самое лето, когда мальчик преуспел в волейбольной игре, и это была та самая девочка, с которой он остался наедине возле турника, «победил» ее и позорно спасовал. До этой встречи она ему просто очень нравилась, но одновременно нравились еще две-три девочки, но с того дня весь его любовный пыл сосредоточился на ней одной и приобрел трагический оттенок: он был уверен, она не простила ему этого вымученного, фальшивого ухода после чудесной сцены у турника и утратила едва возникший интерес к нему, сам же он не находил сил еще раз попытаться остаться с ней с глазу на глаз. Ему вдруг стало трудно вести себя с ней. Как прежде, свободно, раскованно, даже разговаривать с ней он мог после немалого усилия. Постоянно его преследовало ощущение, что всем вокруг все известно и все следят за каждым его движением в ее сторону, за каждым жестом и словом. Другие могли спокойно разговаривать с ней, что-то спрашивать, что-то просить или требовать, дразнить, угрожать, могли свободно прикасаться к ней, толкать в игре. Ему это было нельзя. Он уж и тогда плохо отличал запреты, действительно наложенные на него временем и обстоятельствами, от тех, которые налагал на себя сам. Он только постоянно чувствовал, как их много, различных запретов, и как он несвободен.

Пространство вокруг нее было особое пространство. Когда они путешествовали по чердаку, запомнилось: в столбе солнечного луча танцевали пылинки, а вылетая за его пределы, они становились невидимыми, словно бы их и вовсе не было. Возле рыжей девочки, наоборот, при некотором приближении к ней все другие люди переставали им замечаться, и голоса их как бы глохли, а стоило им отойти от нее подальше, они снова были видны и слышны. Не то чтобы уж прямо сказочным образом исчезали ее собеседники, но совсем неважно было, кто к ней подошел и что отвечает. Слушала она всегда с живейшим интересом, чуть склонившись к говорящему, чуть покачивая головой в такт его словам, и в этом наклоне и покачивании было нетерпение, желание, чтобы с ней объяснились побыстрее, ответы у нее были готовы заранее; можно сказать, жили в ней до возникновения вопросов, не ответы — ответ был один: действовать, она была человеком действия, и это тоже отдаляло его от нее.

Впоследствии, кроме игры в почту, отъезда рыжей девочки и верного воскресенья, о чем речь пойдет позже, запомнился еще рядовой августовский вечер, и не объяснишь, какой силой вбит он в память и отчего через много лет вспоминается во всей полноте красок и звуков, и его можно рассматривать как монтаж кинематографических планов, с разных точек зрения, и не только видеть, но и чувствовать за всех, кто попал в кадр.

В углу кадра — завалинка барака и возле врытый в землю и обитый кровельным железом стол для игры в домино, звуковое оформление — чудовищный грохот костяшек.

Для игроков в домино этот миг был такой: солнце нещадно печет, несмотря на ранний вечер, пот катится за вороты распахнутых рубах, кости домино ирисками липнут к ладоням. Махорочный дым из самокруток плавает над столом ленивыми тяжелыми пластами, подсвеченный солнцем. А рядом, мешая сосредоточиться и сделать правильный ход, перебрасываются мячом дети, кричат, визжат, спорят; особенно та, конопатенькая, в чеплажке, звенит на весь двор, да еще взвинченный азартом детской беготни рвет цепь, чуть ли не таща на себе конуру и глухо гавкает старый дворовый пес Марсик, а один из его многочисленных сыновей Тобик вторит ему щенячьим тенорком.

Для Тобика: жарко, манит тень в подворотне, но крутятся дети, мелькает мяч, и сердце разрывается от соблазна ухватить зубами тугой мяч, вцепиться в кончик шнуровки, в сыромятный ремешок, еще издающий слабый аромат свиной кожи, убежать от всех, спрятаться за поленницей и там, сладострастно урча, грызть этот пересохший

ремешок, слюнявить его, дергать и трепать дорогую краденую добычу; а еще соблазн: в просвете ворот снуют прохожие — выскочить внезапно, обляять, напугать, самому напугаться, оказавшись на широком тротуаре среди медленно переступающих огромных ног, отскочить бочком в угол, за створку ворот, в тень, в теплую пухлую пыль и там перекатываться со спины на пузо, а потом развалиться, высунуть мокрый язык и дышать, дышать, дышать...

Для ребят: сухая горячая почва под босыми пятками, камушки, обжигающие на бегу; росчерки летящего мяча, от которого надо увернуться, дуги, зигзаги безжалостного мяча, швыряемого в тебя со всех сторон; а ты ловкий, пружинка, отскакиваешь, мечешься, кружишься, спасен... но он — бац! Лупит в спину, тебе водить...

Для мальчика: огромное синее небо над тесным двором, зубчатое по краям, зубцы мелкие и крупные, от островерхих заборов и от крыш, чердаков, печных труб; абажур неба над комнатой двора, и окна вспыхивают, как хрустальные висюльки; невыключаемое сияет солнце, резкие, как в чертежном альбоме, плоскости, грани, тени. У стены неошкуренные бревна, будущие столбы, еще молода и свежа их золотая, с зеленоватым отливом кора, или солнце позолотило ее и растопило густую смолу, проступившую на срезах. Бежал вдоль бревен, увертываясь от мяча, вскочил на них, не удержался на скользкой коре. Грохнулся — ладошками в смолу, зато мяч над головой врезался в стену — промазал! — выбил пыльное облачко и укатил обратно. Тут все и остановилось. Двигается лишь медовый запах смолы, обволакивает... Недвижимы игроки за столом, блестит занесенная для удара кость, усеянная белыми вдавлинками, синее махорочный дым, скрученный из четырех струй, имеющих своим началом четыре сигарки; в ломаных фазах бега или прыжка застыли пацаны и девчонки, да их словно и нет, видны, как через папиросную бумагу, призрачно, светлыми смуглыми тенями; а резко, сквозь них, близко, рядом — пламя ее рыжих волос, бледное, без загара, лицо в веснушках, тоненькая фигурка, вся подавшаяся вперед в усилии броска. Мяч только что отошел от ее пальцев и висит, пузатый, вздувшийся там, где шнуровкой охвачена пипочка. Пошел, пошел от ее пальцев к нему, все ближе, медленно вращается, показывая все свои швы и заплатки, и уже можно сосчитать, сколько раз продернут сыромятный ремешок, и разваленные дырки покрывки... Хлоп! Больно ударяет лежащего на бревнах в шею, все оживают, хохочут, рыжая девочка бьет в ладоши, и торжествующий крик ее, хриплый и дикий, подстать ее горящим глазам... Все ниже солнце, последние лучи просочились через забор, густое золото растеклось в травах и впиталось землей; стираются, тушуются контуры, вечерающие небеса высоки и

светлы, а внутри во дворе сумерки слились с махорочным дымом; босые пятки устало шлепают пол гранитным плитам, шаркают по песку и суглинку; доминошники зажгли лампу на длинном шнуре, свисающую к самому столу, и там образовалась ярко освещенная комнатка, отделилась от общей тьмы; а здесь летает уже невидимый мяч, и руки удивляются, ловя его наугад в загустевшей сиреневой мгле; кто ловит — не видно, в кого бросают — не видно, никого никому не видно, и только для него вьется рыжая искорка, кружится, кружится, кружится... Гаснет.

Весть о солнечном затмении пришла оттуда, откуда ему предстояло быть показанной публике: с неба. Ее доставил самолет-двукрылка, со скромным тарахтением возникший в знойном мареве июльского полдня, над крышей, где загорал мальчик.

Летом крыша дома становилась самым привлекательным местом во всем дворе. Сюда можно было забраться по приставной деревянной лестнице, но интереснее был более длинный путь: по стволу акации — на крышу флигеля, с нее по вбитым в стену скобам — на крышу соседнего дома, и уже с нее, перепрыгнув щель, разделяющую дома, — на родную крышу. Со стороны уличного фасада ее украшала невысокая литая решетка, закрепленная в фигурных столбиках, столбик заканчивался тремя кирпичами, поставленными стоймя, как бы трезубцем. Один из столбиков, повыше других, можно было считать башенкой. Сверху он был забран железным листом. Из листа торчал штырь с флюгером — жестяным двузубым выпелом, насквозь пробитым цифрами «1912». Легкий, как лист бумаги, он при малейшем шевелении воздуха вздрагивал, поворачивался и скрипел. Лежа возле башенки и бездумно обратив взгляд к небу, можно было долго наблюдать загадочную жизнь флюгера. Он походил на осторожного, запуганного человека, который вздрагивал и оборачивался при всяком подозрительном шорохе и скрипе, не понимая, что рождает эти звуки сам. Еще он походил на пацана-непоседу, такие, бывает, сидят перед тобой в кинотеатре и весь сеанс вертятся и ерзают на стуле в поисках удобной позы. А если не уходить в сравнения слишком далеко, флюгер, конечно, напоминал о корабле и превращал крышу в палубу судна, плавно и беззвучно плывшего среди облаков в перевернутом море небес.

Это был один из тех дней, когда запрет на общение с рыжей девочкой с самого утра обрек его на скованность и нежелание видеть ни ее, ни остальных. Он забрался на крышу и был очень рад, когда никто не последовал за ним. Внизу во дворе шла игра в прятки, и там

среди прочих была она, и он думал о ней, лежа навзничь на горячей крыше и следя за вечным кочеванием облаков. О ней и о ходе времени. И как ни печальны были мысли, лежать было приятно, утешал шорох флюгера и в умиротворение приводил неспешный ход высокого белого облака, крутолобой горы с мягкими тенями в ущельях. Седовласая кудлатая голова великана, тело которого можно было воображать протянувшимся до другого края города.

В этом состоянии приятной печали он и услышал далекое тарахтение, а приподнявшись, увидел заходящий со стороны пруда самолетик, так похожий на прудовых стрекоз. Самолетик проплывал под бородой великана.

Вскоре и во дворе заметили двукрылку, редкого гостя городских небес, и вот уже кто-то затынул: «Эроплан, эроплан, посади меня в карман...»

Внезапно за самолетиком возникла рябь, что-то пестрое замелькало, разлетаясь в стороны и назад и обозначая воздушную струю, гонимую винтом... Листовки! Уже было дважды или трижды в последние годы — листовки самолетика-двукрылки приглашали на открытие сезона в городском парке, или на концерт знаменитого гастролера, или на междугородний футбольный матч.

Эти предлагали куда более удивительное зрелище. Когда он топорливо спустился по лестнице и отыскал свою дворовую компанию, несколько листовок уже ходило по рукам. Никому не известные, но заботливые, предусмотрительные люди предлагали заранее подготовиться к наблюдению за полным солнечным затмением, имеющим состояться через два дня. Тут же изображалась схема затмения, разоблачались домыслы церковников относительно причин этого космического чуда и приводились советы, как и через что смотреть, чтобы не повредить зрение.

К вечеру во дворе, при полном единении детей и взрослых, зачал костер, в который брошена была автомобильная покрышка, отысканная на свалке, и все усердно коптили стеклышки для предстоящего наблюдения за чудом.

Чудес было маловато. В них ощущалась нужда.

Затмение ожидалось в шестом часу вечера, а утром в квартире появился незнакомец. Бабушка и мама обняли и расцеловали маленького смуглого человека с очень живыми чертами лица. Это оказался еще один московский дядька, брат того черноусого, который забрасывал их с сестренкой на вокзал в вагонное окно. В нем угадывалась та же энергичность, практический склад ума и склонность к

юмору, во внешности же похожего было мало. Приезд его оказался для бабушки и мамы полной неожиданностью. Но прежде чем объяснить причины своего появления, дядька выразительно посмотрел на детей, и их отослали из комнаты. При других обстоятельствах мальчика сильно бы заинтересовало, зачем так внезапно приехал никогда до сих пор не бывавший у них родственник, но затмение поистине затмевало все: во дворе снова разводили костер для изготовления закопченных стекол, да, кроме того, составлялась компания для похода на заводскую свалку, оттуда кто-то уже принес осколок прекрасного темно-малинового стекла. Когда же вернулись со свалки, где действительно обнаружились упомянутые стеклышки, разнесся слух, что в фотографии на набережной фотограф раздает желающим не нужные ему стеклянные негативы, и через них-то лучше всего и наблюдать за предстоящим затмением; помчались на набережную.

В продолжение дня он несколько раз забегал домой и, торопясь, проникал прямо со двора, по железной крыше над входом в подвал, на которую выходило окно второй комнаты, распахнутое настезь по случаю жары. Причина, по которой приехал москвич, видимо, сильно поразила бабушку и маму, после разговора с дядькой они переменились, на лицах у них читалась беда, и мальчику совестно было, что он не интересуется этой бедою. Сам же дядька вскоре после приезда ушел, и весь день его не было. Днем пришел обедать отец, и мальчик в очередной раз проник во вторую комнату как раз тогда, когда в первой мама рассказывала отцу печальную новость, и достаточно было обрывку одной фразы долететь оттуда, как он все понял... Он замер, пораженный, и покуда размышлял, выдать ли ему свое присутствие или, наоборот, моментально скрыться, выслушал рассказ до конца. Тут ему почудилось, что мама собирается войти в его комнату, он прыжком перелетел подоконник, железо коротко вздрогнуло под босыми ногами, и он стремглав улепетнул подальше во двор. Теперь стало ясно, что ему действительно не предназначалась эта новость. В первой услышанной им фразе прозвучало имя черноусого военного дядьки и слово «взяли». Он знал, это означало «арестовали». Черноусый дядька арестован и посажен в тюрьму! Значит, он натворил что-то ужасное. Что-то более ужасное, чем обычные преступники, раз даже близкие родственники не знали — что; а по безнадежности, с которой звучал мамин голос, чувствовалось, что не может быть и речи о какой-то ошибке и скором освобождении, наоборот, произошло нечто такое, что отделило дядьку от остальных людей навсегда.

Как ни в чем ни бывало мальчик продолжал носиться по двору, играл вместе с остальными, суется, даже был оживленнее многих,

но уже ему казалось, что эта весть расплзается по дому и двору, и скоро все узнают, что его дядька, их родственник — в тюрьме, и не за воровство, как кривой малый из барака, не за драку, как трое или четверо, если посчитать по всем окрестным дворам, даже не за убийство, как его бывший партнер по волейболу, а за что-то такое, о чем не говорят, даже оставшись наедине, близкие люди.

Черноусый дядька, впрочем, еще не был посажен в тюрьму, тюрьму ему предназначали где-то далеко, куда ехать и ехать, вот его и везли из Москвы через их город, и здесь была «пересылка», то есть, видимо, арестованных высаживали из одного поезда и пересаживали в другой — то, что у обычных людей называется пересадкой. Арестовали черноусого так внезапно, что он не успел попрощаться с женой, детьми, братом, и вот брат приехал сюда в надежде, что увидит его на этой самой «пересылке». Туда он и убежал с самого утра.

Кто-то сказал, что видит, как почернел край солнца, но другие этого не видели и полагали, что говорящий опережает события. Вскоре все увидели, что край солнца как бы обуглился, почернел, и чернота начала съедать ослепительную горбушку; чем меньше оставалось от этой горбушки, тем она казалась ярче. Особенно сильно полыхнул последний кусочек, а когда и он погас, двор и улицу накрыли сумерки и набежал прохладный ветерок. Но солнце не собиралось сдаваться, тень была черной, но полупрозрачной, там, за ней, просвечивал ободок, а по обе стороны тени косо вырывались снопы света со странным переливом от светло-оранжевого к зеленоватому бутылочному или яблочному оттенку. Снопы шевелились, словно солнце пыталось вылезти из-под тени, в этой борьбе, очевидно, тратились гигантские силы: снопы побледнели, сумерки сгустились до полутьмы. Люди оцепенели, внезапно ощутив немыслимое расстояние между ними и тем, что они видят. Возможно, многим хотелось что-нибудь сказать по этому поводу, но слов ни у кого не нашлось, и двор охватило молчание. Его нарушили два звука. Дворовый пес Марсик вскинул добрую туповатую морду, черную, в белых подпалинах, с обвисшим мешком кожи под челюстью, и завыл; он нередко выл, сучая на цепи, но сейчас вой был особенно несчастным, тревожным и казался исполненным особого значения. Вторым звуком было восклицание слепой девочки. Она боком сидела на подоконнике своего второго этажа, ее отец стоял возле, полуобняв ее за плечи.

— Затмилось! — выкрикнула слепая девочка.

И хоть многим было известно, что она различает солнце, ощущает его горячий жгущий луч или его отсутствие, да и вмиг окутавшая

двор прохлады была понятной подсказкой, все же тот факт, что слепая видит солнце, тоже казался символическим.

Неожиданно левый сноп света вновь напитался красками и вспыхнул, как вновь разгоревшийся уголек в печи, перед тем как подернуться пеплом и угаснуть насовсем; но этот уголек не погас, он растянулся узехоньким ослепительным ногтем, ноготь начал расти на глазах.

Он рос и рос, золотой ободок... Марсик умолк, люди сбросили оцепенение и начали перекликаться, растворился последний краешек тени, и победившее солнце выплыло в небеса и затопило двор потоками жаркого всепроникающего света.

Москвич вернулся к ужину, позднему в этот день, и застал семью за столом. При детях его побоялись спросить о чем-либо, и он пристально посмотрел на бабушку; мальчик понимал, что это скрытый ответ на незаданный вопрос, но никак не мог догадаться, каков ответ: виделись ли братья; бабушка, кажется, поняла.

Возникла неловкая пауза, и заговорили о затмении; мальчик продемонстрировал свое отменно закопченное стеклышко.

— Да-да, затмение, — повторял за другими дядя, вертя в пальцах стекло. Он клал его на стол и тщательно протирал пальцы платком, а потом снова брал его чистыми, только что вытертыми пальцами. — А я вот замотался. Закрутился как-то. Красиво было? Ничего, увижу в следующий раз.

Он не выдержал и знаком попросил маму выйти с ним в другую комнату; когда они вернулись, мальчик посмотрел на маму и решил, что братьям увидеться не удалось; напротив, дядя был спокоен и почти весел.

Мальчика испугало спокойствие, с которым дядя отнесся к катастрофической неудаче: пропустить солнечное затмение! Что же это такое бывает в человеческой жизни, что можно пропустить полное солнечное затмение, не заметить, забыть, «закрутиться»? И одновременно ему было жалко дядю: все видели, даже слепая, и только его дядя не поднял головы к небу и не увидел то, что видели все. Ему так и вообразилось: город, застывший под потемневшим небом, тысячи неподвижных фигур во всех дворах, на всех крышах, со стекляшками перед глазами. И через опустевшие улицы, мимо остановленных трамваев и машин спешит, проворно перебирает ногами дядя, семенит, упорно глядя под ноги, словно боясь, что если он глянет вверх, на солнце, стрясется беда и не сбудется то, что он загадал.

Несколькими минутами позже дядя развернул утреннюю газету и, глотая чай, забежал глазами по строчкам. Вдруг он поперхнулся:

— Черт возьми! Я сказал: «Увижу в следующий раз!» И что же? Следующий будет через двести лет!

Глаза его засияли.

— Через двести лет!

Он захохотал, словно сказал что-то очень смешное или словно это была большая удача, что до следующего полного затмения нужно ждать два века.

— И это очень справедливо, — сказал он, разом перестав смеяться.

— Уж если совсем нельзя без затмений, пусть случаются не чаще, чем раз в двести лет. А лучше бы еще реже.

Зимой, в особенно морозные вечера, дети собирались в общей кухне, болтали, пересказывали фильмы и книжки, рассказывали страшные истории — про «Черную кошку» и «Желтую руку», играли в карты, в фанты, а в эту зиму вошла в моду неизвестно кем принесенная игра в почту. Все вооружались бумагой, карандашами, рассаживались по разным углам. Кто-нибудь выбирался почтальоном. Именно в эти вечера мальчик с удивлением отметил, что не он один охмурен «чувствами», что между всеми почти мальчишками и девочками возникли сложные отношения приязни и неприязни, «любви», и почти все — без взаимности. Почта была удачной находкой. На бумаге оказывалось возможным написать то, что вслух не выговаривалось. Игру, возможно, снова принесла рыжая. Вообще, видно было, что у нее уже есть опыт, что-то от старших девочек сквозило в ее лукавых взглядах и гримасках, когда она предлагала всем дать торжественное обещание не перехватывать и не читать чужих писем.

Записка складывалась в тугий квадратик, сверху надписывалось имя адресата. Интересно было писать, еще интереснее — получать письма. В тот вечер он получил письмо от Л. — так было подписано, он знал, кто это. В письме содержались глупости, почерпнутые из альбомов, хорошо знакомых ему еще в те далекие годы, когда он сочинял стихи и мнил себя будущим великим поэтом, и соревновался с сестрой и ее подружками; что-то про розу, которая вянет и страдает, а прекрасный принц никак ее тоски не разгадает. Он с удовольствием ответил ей в той же манере незыблемых альбомных образов. Нечто про цветок, который мнил себя розой, а оказался репейником. Здесь был намек на вздорность Л. и на колючесть ее характера. Между тем сам он готовился к важнейшему посланию: он решил написать рыжей девочке и признаться в... Ф-фу. Даже про себя было тягостно произносить это сладкое взрослое слово. Множество вариантов привело,

наконец, любовное письмо к довольно любопытному виду. От всего первоначального вихря ошеломляющих по смелости признаний и даже попытки сочинить стихи, от которой он, правда, сразу отказался, в конце концов осталась надутая от важности и по сути весьма трусливая фраза: «Хочу задать тебе серьезный вопрос, ответишь ли на него откровенно?» Он, разумеется, не подписался, в этом было все дело. Если она и сама не догадается, кто жаждет задать ей серьезный вопрос, тогда и говорить не о чем. Правда, когда он уже передал туго сложенный квадратик в руки почтальона, он подумал, что, возможно, тут есть конкуренты, он впервые подумал об этом. Тогда она станет сомневаться, кто из них написал. Но она не сомневалась. Он следил, как ей вручают ее письмо, как она разворачивает бумажку, прочитывает. Прочитала, исподлобья сверкнула зелеными глазами: кто писал? На нем ее взгляд задержался. Она рассмеялась, достала чистый листок и начала составлять ответ. Она вся ушла в это занятие, что-то обдумывала, хотя он-то ожидал всего одного слова: «Можно». Но было тем более интересно, что она писала так много. Очень много! Она останавливалась, грызла карандаш, застывала с невидящим взором и, спохватившись, что-то там перечеркивала, что-то надписывала. Наконец сложила «секретку» и подозвала почтальона. Надо ли объяснять, с каким волнением наблюдал он за сочинением ответа и как напрягался сейчас, когда записка вот-вот должна была начать путешествие к нему. Но рыжая вдруг рассмеялась и, раздумав отдавать письмо почтальону, разорвала его, обрывки смяла в кулачке, прошла через кухню и бросила их за припертый к стене ларь. Вслед за тем она громко объявила, что требует от всех участников почты, чтобы они подписывались, ибо она не шпион, чтобы угадывать почерки. «Я получила три письма, и все неподписанные». В подтверждение она потрясла в воздухе смятыми бумажками. «Даже не знаю, от девочек или от мальчиков!» — нахально добавила она. Девочки смотрели на нее с нескрываемой завистью; вероятно, у них не было подобных волнующих анонимок, а они очень хотели бы их иметь.

Вскоре их разогнали взрослые, в кухне была устроена стирка, а потом до утра ее заперли на замок.

Он едва дождался утра, ему уже во сне привиделось, как он отодвигает ларь, достает клочки разорванного ответа, складывает их и прочитывает.

Но утром оказалось, что в одиночку ему с ларем не справиться. Несколько семей хранили в нем всякую всячину, и он был чудовищно тяжел. Звать же кого-то на помощь он не мог, для этого пришлось бы объяснить причину, а открывать свою сердечную тайну он не помышлял никому, даже самым близким приятелям.

Весь день он провел в размышлениях о способе, каким можно в одиночку отодвинуть ларь от стены, и о времени, когда это можно сделать без свидетелей. Грузный, сбитый из крупных, плохо оструганных досок, стянутый для прочности лентами толстой жести, ларь стоял, как неведомо чья гробница, вместе со своей тайной похоронившая чужую, и охраняя ту и эту с одинаковым равнодушием и с равной надежностью. Вспоминался также сказочный сундук, тот, в котором утка, а в ней яйцо, а в яйце игла, а в игле — смерть Кощея. Станет ли для него разорванная записка, если он добудет ее, смертельно колющей иглой, или живой водой окатит его не отправленное письмо рыжей девочки — кто знает? Сначала надо добраться.

Одновременно его заботило, чтобы никто, и в первую очередь о н а, не догадался о его планах. И когда вечером катались с горки, он вовсю расшалился, подчеркивая, что не озабочен ничем серьезным. В то же время мальчик всерьез полагал, что кто-то может быть озабочен проникновением в его душу и разгадыванием его помещенных там секретов; впоследствии он не раз пытался отучить себя от представления, будто все вокруг осведомлены о его переживаниях, но мало преуспел в борьбе со своей мнительностью, видимо, природной; потом, во взрослые годы, несколько спасало чувство юмора: он сообразил, будто кем-то выпускается особая ежедневная газета с сообщениями и заметками о нем, и сам сочинял эти сообщения, придавая им вид информации, статей, а то и фельетонов; далее в его воображении эта газета ежеутренне раздавалась как подписчикам всем его знакомым.

Он устроил возле горки «Ледовое побоище», сперва проходившее в некотором приближении к знаменитому историческому событию, а затем свернувшееся в «кучу малу». Давно он не сражался с таким упоением, и до того расшалился, что в иные минуты забывал об особом пространстве вокруг рыжей девочки, о наложенном на себя запрете, и толкал ее в сугроб так же, как любую другую девчонку. Правда, он заметил, что многие пацаны уделяют ей повышенное внимание, а так как их внимание выражалось в одних лишь нарочных столкновениях, толчках и подножках, то рыжую девочку обильно вываляли в снегу; это ничуть не огорчало ее, она и сама ловко подставляла ножку и опрокидывала пацанов.

Домой он вернулся потный, мокрый, волосы под шапкой слиплись, валенки полны снега, пальтишко — хоть выжимай. Среди ночи проснулся от страшной, иссушившей гортань жажды, побрел во тьме на ощупь и, когда зачерпнул воды из ведра, уронил ковш. Ковш загремел, он торопливо нагнулся поднять его, голова закружилась. Проснулась бабушка. Он не ответил ей, нашарил ковш, снова зачерпнул

и крупными глотками пил холодную воду; выпив, прижал ко лбу донышко ковша и так стоял, пока не подошла бабушка.

Тут же, среди ночи, она напоила его чаем с малиновым вареньем, укутала в тридцать три одежки; к утру он сильно пропотел, был переодет в сухое, но и утром осталась высокая температура. Три дня он пролежал, а когда разрешили вставать, первым делом побежал в общую кухню... В доме шла генеральная уборка, проводившаяся раз в два-три месяца. Полы всюду были выметены, вычищены были железные листы перед печными топками; в кухне, стоя на табуретке, одна из владелиц ларя обметала паутину в углу, орудя шваброй; сам ларь был отодвинут от стены, а за ним ничего не было — чистая полоска пола. В плите весело потрескивал огонь, сюда сносили мусор со всего дома, и, стало быть, разорванная записка рыжей девочки тоже горела сейчас там, среди разного хлама, исходя легким дымком в зимние небеса и унося туда запечатленную в ней тайну.

Но самая главная и куда более печальная новость возникла перед ним в образе невзрачной сухонькой женщины, вышедшей из комнаты Голицыных с ключом в руках. Этот ключ мальчик не раз видел в руках рыжей девочки. Она всегда всаживала его в скважину лихо, с лету, и почти никогда не попадала, сразу начинала злиться. И отпирание замка превращалось у нее в сцену. «Чертов ключ! Дурак!» — приговаривала она, она вообще любила вслух обсуждать свои действия.

Теперь этот ключ неуверенно впихивала в скважину сухонькая женщина с озабоченным лицом; незнакомый замок не поддавался, она воевала с ним молча. Конечно, это могла быть родственница семьи инженера, но он почему-то сразу понял, что она не родственница, а новая жиличка. Тут же он вспомнил, что как-то слышал от взрослых, что инженер въехал в их дом ненадолго, что ему обещана квартира в новом доме, который строится где-то в другой части города. Отчего же, зная это, он не отдал себе отчета в том, что и рыжая девочка здесь ненадолго, и так трусливо тянул с объяснением — и вот, дотянул... Женщина мучилась с замком, а он стоял у нее за спиной, не решаясь спросить, да и что спрашивать, и так все ясно; наконец, решил и спросил сиплым, срывающимся голосом:

— А... Голицыны?

Ему очень нравилась их фамилия, в ней было, как ему казалось, что-то ленинградское, как и в молчаливости инженера и его жены, как и в белом лице и зеленых глазах рыжей девочки.

— Съехали позавчера, — с усилием произнесла женщина, и замок ей подчинился. Она для проверки подергала ручку, одну из красивых ручек синего стекла, вставленную в латунные держак. — На Четвертую Загородную. — Ладонью она провела по косяку, еще и

этим подтверждая, что теперь это ее комната. — Я соседка спокойная, тихая. В бараке жила, и то не ссорилась...

Но он уже не слушал, весь во власти одного соображения, и оно преследовало его весь оставшийся день. Он пообедал, потом помог бабушке перебрать фасоль, потом пришли приятели, и в кухне была затеяна игра в подкидного, с шуточками-прибауточками, с присловьями, полагающимися в этой игре. Все смеялись — он смеялся, и никто бы не заподозрил в нем человека, раздавленного горем, а горе было тяжелое, незнакомое, горе горькое, и было оно вовсе не в том, что «съехали», то есть и в этом тоже, но больше, острее — в том, что она знала и не сказала. Не зашла, не попрощалась, и в тот вечер, за день до отъезда, не была ни печальной, ни даже озабоченной предстоящим переездом. И это яснее ясного означало, что в ней и в помине не было ничего из того, чем он наделял ее, никакого ответного чувства. Это и было самое горькое и безнадежное. И еще он понял, что больше никогда не увидит ее. Прошло лишь несколько часов, а он уже так свыкся с этой мыслью, что, казалось, Голицыны уехали очень давно, и все, что было связано с рыжей девочкой, превратилось в давнее привычное воспоминание. Он больше не увидит ее никогда — это жило в нем в продолжение всего дня.

А вечером она пришла. Они столкнулись в коридоре, она сказала: «Привет!» — и постучалась в свою, отныне бывшую комнату. Вдруг в нем все замкнулось, захлопнулось, он словно бы выключил в себе что-то и спокойно спросил: «Переехали?» «Переехали, — подтвердила она, — а я тетрадки забыла, сложила на подоконнике и забыла». Тут новая жиличка открыла дверь и впустила рыжую девочку. И ей, исчезающей за высокой белой створкой двери, он вдруг крикнул: «Подожди, не уходи! Я сейчас...»

Он вбежал к себе, метнулся к письменному столу, вытащил первую попавшуюся тетрадку, рванул поперек, выдрал косо отлетевший лист; ломающимся карандашом вывел ее имя, поставил восклицательный знак, и, не столько торопясь, чтобы не ушла, сколько боясь, что ему не хватит решимости написать это, если он хоть на секунду остановит карандаш, лихорадочно начертал: «Я люблю тебя», — и снова поставил восклицательный знак, и тут же пожалел об этом, потому что получалось, что сама эта жуткая в своей откровенности фраза еще не кричит, не вопиет сама по себе; ах, не надо было ставить второго восклицательного, он уже потянулся перечеркнуть его, но смешное соображение, что это будет похоже на исправление ошибки в тетрадке по русскому языку, остановило. Некоторое время он глядел на этот все испортивший знак, как вдруг счастливая мысль стереть его пришла — впору было поразиться, как долго она не приходила. Он схватил ре-

зинку, стер восклицательный. Спрятал записку в кулаке, вышел в коридор, прошел в кухню, где, по счастью, никого не было. Отсюда была видна дверь бывшей голицынской комнаты, и можно было делать вид, что он зашел погреться у кухонной плиты. Он и грелся, тем более усердно, что его била холодная дрожь; время шло, дверь не открывалась. Он не вынес дальнейшего ожидания и постучал.

Новая жилищка открыла дверь. «Ушла твоя барышня», — сказала она, ни минуты не раздумывая над тем, что ему нужно. «Как ушла?» «Ножками», — снисходительно уточнила жилищка и насмешливо посмотрела на него.

Он ворвался к себе, схватил пальтишко, шапку; бабушка пыталась запретить; но он уже бежал по коридору, одеваясь на ходу. На улице он рванул к трамвайной остановке. Вечер был морозным, тускло желтели фонари. Он пролетал по раскатанным на тротуарах ледяным дорожкам, въезжал в сугробы, морозным воздухом перехватывало дыхание.

На остановке плотная масса людей перетоптывалась, глухо постукивая валенками, в ожидании трамвая. Он прорезал толпу вдоль и поперек, протискиваясь меж людьми в толстых зимних одеждах: рыжей девочки здесь не было. Он побрел обратно, остановился на углу, возле кинотеатра. От подсвеченной витрины на снег падали багровые и зеленые полосы. По ним, направляясь к остановке, легкой походкой шла рыжая девочка. В несколько прыжков он догнал ее и пошел у нее за спиной, не смея окликнуть и чуть не плача от стыда за свою нерешительность. Он прибавил шаг и нагнал ее, и глухо произнес ее имя. Она обернулась и пошла дальше, как ни в чем ни бывало, он шел рядом. Ее прекрасный профиль был возле его плеча, бледная щека. Конопатинки на тонком носу, курчавинка возле уха, выбившаяся из-под ушанки. Он поймал ее руку и втиснул записку в варежку. Тем же глухим голосом он произнес: «Это тебе», — и остановился. Он думал, и она остановится, но она, кивнув, пошла дальше. Он стоял, она уходила. «Так нельзя, — кричал он себе, — этого мало, ты должен сказать, чтобы ответила на записку. Ты должен догнать ее и сказать!» Так он кричал на себя, и распахнулись сразу несколько дверей в стене кинотеатра, и оттуда, в густых клубах пара выдавилась возбужденная шумная толпа и отделила его от девочки. Конечно, он мог снова, как только что на остановке, пробиться через нее, но он стоял и стоял, его толкали, отпихивали, притерли к стене. Мимо шли люди, и зеленые и багровые полосы света попеременно окрашивали их лица.

Отъезд рыжей девочки и передача записки случились в начале декабря; надежда на то, что он получит ответ, уменьшалась с каждым днем и к середине месяца вовсе покинула его; всепоглощающая тоска сопровождала его от пробуждения до нового сна, долго не приходившего; он не высыпался, возненавидел ходить в школу и даже однажды пропустил первый урок, что для него, послушнейшего ученика, было явной дерзостью; проשлялся возле школы, пиная ледышку по тротуару, пока не промерз до костей. Он устал притворяться, оравнодушел к вечной своей потребности **скрывать**, сторонился приятелей во дворе и в классе, свободное время проводил в любимом углу за печкой, читал книги. Часто бродил по общему коридору или торчал на кухне. Дом хранил голос рыжей девочки, ее шаги, очертания ее легкой фигурки: дверные ручки — к ним она прикасалась — он гладил их. Это была одна сторона тоски, а вторая — что девочка обошлась с ним, как с пустым местом, не разглядела в нем ни будущего поэта, ни настоящего мечтателя, ничем не заинтересовалась в нем; и это подтверждало правоту того майора, который хвалил его стихи, одновременно сводя их к заурядной детской забаве: да, он такой же, как все, боле того, он ничтожнее многих; он ничтожество, он никому не нужен со своими размышлениями о времени и о своем предназначении; завтра он умрет, и никто не ахнет, ни для кого это не будет потерей. Хорошо или плохо, мир живет без него и ничего не ждет от него; обходился без мальчика тысячи лет до его рождения и обойдется дальше, при нем или после него — безразлично.

Из домашних его состояние заметила только мама, но и она даже приблизительно не угадала причины, решив, что мальчика кто-то сильно обидел в школе или во дворе.

Весь декабрь держались бесснежные морозы, но к Новому году смилостивились и ушли на север, а на смену им южный ветер приволок мохнатые тучи, из них повалил снег. «Отпустило», — говорили про погоду взрослые. И, подобно перемене погоды, смилостивилась — или устала ежедневно сжимать его своими ледяными лапами — тоска и тоже «отпустила», а в один из последних декабрьских дней на несколько часов, кажется, ушла вовсе. В этот день затеяно было изготовление елочных украшений. Мальчик, его сестра и две ее подружки получили во временное владение весь огромный обеденный стол. Елка ждала их трудов праведных, внесенная отцом час назад, вся припорошенная снегом, снег валил с утра, теплый, густой, топя город в сугробах. Он и сейчас колыхался за окном бесконечной сетью, светлый в наступающих сумерках. Тот же, что принесла на

своих ветвях елка, таял, капли шлепались на пол, а ветки от печного тепла расправлялись, вздрагивали, топорщились, запах сырой елочной хвои смешивался с вкусным, домашним запахом клея, заваренного из ржаной муки.

Изготовление украшений шло в нарастающем темпе и принимало характер соревнования. Ножницы так и порхали в руках, сочно хрустя газетными листами или с тяжелым хрустом разрубая крепкие голубоватые листы ватмана, выданные из альбома для рисования. Обмазанные клеем вырезки, как ни береглись, приклеивались к рукам, цеплялись к одежде, и у всех щеки, а то и носы были вымазаны клеем. Веселое занятие!

Изготавливались фонарики, называемые китайскими, бумажные бусы, шкатулки, дождь из фольги, красились золотой краской скорлупки грецких орехов, а самых больших трудов требовали маски из папье-маше. Для них мальчику пришлось основательно повозиться, добывая глину под кухонным крыльцом, куда намело изрядный сугроб. Раскидав его лопаткой, он добрался до перемерзшей, в камень высохшей глины, до той памятной желто-красной полосы, и долго, с остервенением, до пота, рубил и расковыривал, раскалывал и уродовал милое свое младенческое воспоминание, и просил простить ему вынужденную жестокость, приговаривая чье-то: «Служба, брат, служба!»; но при этом думал о багровых и зеленых полосах света на истоптанном снегу, по которым шла девочка, о хрипловатом смехе, который он никогда больше не услышит, о ее сгоревшей записке и о своей, безответной — выковырять, вырубить, выкинуть бы и все это! Долой воспоминания! Все прочь — и те, что делают несчастными, и те, что успокаивают; отрубить, отсечь, миновать, зачеркнуть, ничего не было, все не в счет, все начинается сначала!

Тут ему, однако, стало жалко ни в чем не повинную глину, свидетельницу его первых открытий мира, да чем же она виновата, тем лишь, что нарисовала ему этот мир радостным и простым? Он и был радостным и простым, он, может быть, и сейчас таков, с тебя и спрос. Он наскреб, сколько заготовил, в совок и бережно укрыл глину мягким пушистым снегом. «Спи, дурочка, я сам виноват».

Теперь эта глина, одобренная водой, была превращена в тяжелый скользкий ком. Каждый получил по хорошему куску и волен был дать полет своей фантазии. Так появились маски. Теперь их следовало терпеливо, во много слоев, оклеить лоскутами газетной бумаги — засохнув, они превратятся в прочную и легкую корку, которую останется раскрасить подходящим образом.

Отец, принеся елку, тут же собрался уходить. Мальчик вполуха слышал, как он объяснял маме, что приведет в гости товарища по

работе, прозвучала фамилия. Затем отец спросил у бабушки об ужине, уточняя, когда он будет готов, и повторил, что приведет гостя. Интонации у отца были просительные, объяснял он долго и старательно и, хоть получалось, что гостем будет такой же рядовой работник, как он сам, отнестись к нему следует внимательно; дело в том, заключил отец, что он звал своего товарища вместе встретить Новый год, но того уже позвали другие, поэтому сегодня будет нечто вроде встречи праздника, конечно, преждевременной, но все же...

Мальчика несколько удивило, что отец говорит об этом человеке как о близком друге, между тем близкие друзья отца были хорошо известны в семье, часто бывали здесь, этого же человека никто не видел.

Вскоре они появились. Отец познакомил гостя с мамой, бабушкой, держался приподнято, говорил с преувеличенной бодростью, шутил, что бывало с ним редко, и вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Гость был сдержан, вежлив. Отец принес бутылку вина, чего тоже не было по обычным дням; впрочем, ведь он предупреждал, что сегодня будет «Новый год»; все же это вино выглядело как знак какого-то особого смысла, которым проникнут сегодняшний вечер. Из представления гостя взрослым мальчик понял, что этот человек появился у отца на работе недавно, но уже пользуется авторитетом у коллег и ценит начальством.

Отец представил ему и детей. Мальчику понравилось, что гость не позволил себе ни одного из дурацких прикосновений, которые многим взрослым представляются обязательными: не погладил «по головке», не потрепал за волосы, не обнял и не похлопал по плечу. Еще больше понравилось ему, что гость не задал ни одного из пустых и этим тягостных вопросов, не поинтересовался, в каких классах учатся дети, кем собираются стать и кого больше любят: маму или папу. Он не любопытствовал даже относительно их возраста и тем лишил себя возможности удивиться, какие они уже большие. Зато он с неподдельным интересом принялся разглядывать их работу, куда бабушка с отцом решали, как устроить ужин, при этом возникло щекотливое положение с цехом по изготовлению фонариков и масок: праздничный ужин, конечно, следовало провести за большим столом. Гость, молча слушавший это обсуждение, вмешался лишь один раз и миролюбиво заметил, что можно поужинать и за кухонным столом, не огорчая детей, у которых работа была в разгаре. Кухонным в квартире именовался самодельный стол с полками, приставленный возле печи и окруженный ширмой. В разговоре не принимала участия мама, она пожаловалась, что чувствует себя неважно — в последнее время это случалось нередко — и, попросив прощения, осталась во второй ком-

нате. Она лежала в кровати и читала книгу, освещенную настольной лампой с абажуром зеленого стекла. Зеленый свет падал на ее щеку, мальчику со своего места было видно маму, и в зеленоватом освещении она казалась грустной и всеми забытой.

Вскоре на кухонном столе бы развернут праздничный ужин. Детям дали чай прямо на рабочее место, они уплетали хлеб с вареньем и запивали его чаем, а у взрослых была вскрыта бутылка, и бодрый голос отца произнес длинный тост, в котором делалась попытка объять необъятное. В нем содержались пожелания мира и процветания всему советскому народу, и чтоб дети были здоровы, а будущее — светлым; наиболее подробно излагались пожелания гостю. Ему предрекались успехи, вполне им заслуженные; кроме того, речь шла, в шутливом, разумеется, тоне о том, чтобы, достигнув этих успехов, он не забывал старых друзей (в этом месте мальчик поднял голову, собираясь удивленно посмотреть на отца, но того не было видно из-за ширмы) и, в свою очередь, был уверен в их верности, преданности... и тому подобном. Гость никак не мог быть старым другом отца, это и удивило мальчика. Наконец отцу удалось перечислить все, что он задумал, и дело дошло до фразы «С Новым годом!». Вслед за тем стало слышно, как отец пьет вино, а пить он не умел; как он старательно глотает и мелко кашляет после каждого глотка; бабушка велела ему закусывать. Вскоре они налили по второй, и встал гость. Он с благодарностью воспринял от «старого друга» обещания верности, согласился с тем, что им нужно и дальше идти одной дорогой, но, в отличие от отца, нажимал на какие-то обстоятельства, в которых и самый верный друг не всегда может прийти на помощь и проявить свою верность, обстоятельства сильнее нас, и это надо учитывать, сказал гость и сделал паузу, но рюмки не поднял, показав этим, что тост не закончен.

Мальчик поразмышлял, кого же он имел в виду, себя или отца: намекал ли он, что отец, возможно, окажется недостойным заявленной им только что преданности или, наоборот, гость не обещает отцу, из-за обстоятельств, которые «сильнее», всегдашнюю свою помощь, поддержку и выручку.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — сказал отец и хихикнул довольно грустно, как бы не слишком веря в возможность бога не выдать и уж тем менее надеясь на благородство свиньи. Так, во всяком случае, понял это мальчик, вновь удивленный отцом — на этот раз тем, что он произнес пословицу. Пословицы, присловица, поговорки иногда употребляла бабушка, отцу это свойственно не было.

И все-таки, продолжал гость, мы выпьем за дружбу и друзей, ибо друг бывает ближе любого родственника, а родственники бывают

такие, что с ними лучше не зняться, лучше откреститься от них; такие, которые затевают какие-нибудь свои подозрительные делишки, не думая, что сами они числятся в анкетах у своих родных. Это так, к слову. Впрочем, у нас с вами, я надеюсь, таких родственников нет и быть не должно. За дружбу!

— И ни в коем случае! — У отца получилось невпопад, он, конечно, хотел сказать, что ни в коем случае не должно быть обрисованных гостем коварных родственников, а получилось, что он с чем-то не согласен, чуть ли ни против провозглашенного гостем «За дружбу!»

Гость рассмеялся и снял возникшее напряжение.

— У нас плохих родственников нет, — сказала бабушка.

— У меня тоже! — сказал гость радостно. — За хороших родственников к наших анкетах!

Они с отцом снова выпили и, как по уговору, заговорили о другом, о разном: о работе, потом о новом кинофильме, потом гость рассказал анекдот. За ширмой стало весело, гость размяк, стал как-то проще и домашнее, он вышел из-за ширмы и попросил у ребят разрешения тоже что-нибудь склеить. Тут мальчик впервые разглядел его толком, потому что в самом начале, когда их представляли, он сидел спиной к гостю и из стеснения, а также ожидая обычных взрослых приставаний, не обернулся, а затем гостя увели за ширму. И вот теперь, когда он подошел к столу, мальчик разглядел его. Это был среднего роста, крепкий в плечах дядя с мощной красивой лысиной. Глаза, спрятанные за сильными очками и увеличенные ими, придавали его взгляду выражение постоянного любопытства. Он стоял возле стола и то брал готовый фонарик и смотрел через него на свет, то ощупывал маску, одобритительно покачивая головой.

Отец звал его еще раз «ударить по рюмкам», а бабушка сообщила, что достает из духовки пирог.

— Иду-иду, — откликнулся гость и уже отошел от стола, но что-то привлекло его внимание. Он вытащил из вороха бумаг широкий газетный лоскут, поднес его сначала близко к глазам, а затем, словно испуганный увиденным, отодвинул его на расстоянии вытянутой руки. Он то смотрел на лоскут, как смотрят на картину, когда ее содержание непонятно или неприятно, то бросал взгляд на детей, и лицо его, до той поры размякшее, добродушное, суровело, подбиралось, возле носа обозначились складки.

— Ай-яй-яй-яй-яй... — произнес он с сильным огорчением, как если бы речь шла о чьей-то оплошности, на первый взгляд пустяковой, а на самом деле чреватой неприятнейшими последствиями и, главное, непоправимой.

— Ай-яй-яй... — повторил он тяжелым голосом вконец расстроенного человека и повернул газетный лоскут так, чтобы он стал виден всем сидевшим за столом.

Все посмотрели, и мальчик тоже. Лоскут заключал в себе первые слова длинного заголовка, две колонки текста и часть большого фотопортрета. Ножницы прошли косо, через подбородок, губы, усы, крупный нос, густую бровь, лоб и аккуратную, зачесанную назад и набок прическу.

Это был портрет вождя.

— М-да... — Гость приподнял очки, большим и указательным пальцем потер переносицу и выдавил из уголков глаз невидимые слезинки. — Кто же у нас такой... смелый?

Он неторопливо пошел вдоль стола, возле каждого из сидевших наклонялся, брал его ножницы, задумчиво раздвигал и сдвигал их лезвия, прислушивался к их клацанию. Казалось, он серьезно вознамерился найти те ножницы, которыми было совершено преступление. А что это — преступление, и тяжелое, стало теперь совершенно ясно, и, глядя на суровое и горькое выражение, с каким гость изучал ножницы, приходилось расставаться с какими-либо сомнениями на этот счет.

Отец подошел и осторожно, благоговейно взял из рук гостя газетный лист.

— Можно склеить, — неуверенно предположил он. — Надо только найти другую половину.

Мальчик, сестра и обе подружки, как по команде, вскочили на ноги и начали обшаривать стол, роясь в ворохах бумаги. На минуту всем показалось, что если найти и склеить, все будет исправлено и забыто. Недостающий кусок обнаружил мальчик на одной из масок. Оторвать его целым и невредимым не представлялось возможным.

— Неосторожно получилось, — сказал отец, явно желая преуменьшить значимость содеянного, что и было сразу же замечено гостем.

— Не то слово, — поправил он и все тем же тяжелым голосом напомнил, какое сейчас время («Время-то сейчас какое, сам знаешь») и какое этому может быть предано значение. Далее он с огорчением отметил, что дети укрывают виновного, и это усугубляет. Если факт станет известен, последствия могут быть самыми печальными. Это та самая ситуация, в которой при всем желании верный друг не сможет встать на защиту и помочь оправдаться, потому что оправдания на этот счет не принимаются.

— Да бог с вами! — всплеснула руками бабушка. — Ведь дети. Идемте лучше, пирог стынет.

Со своего места мальчику было видно, что мама у себя во второй комнате сложила книгу и напряженно прислушивается к разговору: видно было, что его начало она пропустила.

Отец неловко улыбался и переминался с ноги на ногу, как провинившийся школьник.

— Надеюсь, все это останется между нами, а детям я объясню. Да они и сами поняли.

Гость подтвердил, что, разумеется, останется «между нами», но... Если представить, что когда-нибудь это выплывет. Как выплывет? Как все выплывает рано или поздно. Неважно, как. Важно — в каком тогда свете предстанет он, их сегодняшний гость и нечаянный свидетель? Кем он будет выглядеть? Укрывателем. Человеком, скрывшим серьезную политическую ошибку. Что тогда прикажете делать на моем месте?

Мальчик изумленно смотрел на гостя. Вот как повернулось! Получалось, самые опасные последствия грозили не тем, кто это сделал — они все-таки дети, и даже не отцу, а ему, свидетелю преступления!

Отец еще пытался обратить разговор в менее драматический, он прямо-таки за рукав потащил гостя к столу. Гость присел на краешек табурета, поднял рюмку.

— Ну, дай бог... или не дай бог... — загадочно пожелал он, выпил, поблагодарил бабушку за ужин и пошел одеваться. Отец вознамерился проводить, гость отказывался, и это длилось, пока из второй комнаты не донесся резкий голос мамы, звавшей отца. Он пошел туда, мальчику видно было, как он склонился над кроватью, и мама что-то зашептала ему, пристукивая кулаком по захлопнутой книге.

— Ну, ребята... С Новым годом, — сказал гость и вышел.

Мама и отец заспорили громче.

— И не унижайся, тем более понапрасну!

— Да ничего он не скажет.

— Не захочет — не скажет, а захочет — скажет. Ты же видишь, какой он...

— Ну, вижу, вижу! — в раздражении отец перешел на полный голос, не замечая этого. — С ним никто, понимаешь, никто... С ним в прошлом году Копалин пробовал... Где сейчас Копалин?. А ты хочешь, чтобы я один был героем? А ты знаешь, что ему про Володю известно? Да-да, он и сегодня, в тосте намекал. Вот так...

Он вышел от мамы возбужденный, с красными пятнами на лице и, не догадываясь, что его здесь слышали, устроил голосу натужную веселость:

— Что, строгий дядя? Напугал?

Ему никто не ответил.

— Не унывайте. Новый год не отменяется. Будем только внимательней. Ферштейн?

Он подсел к столу и стал разбирать еще не разрезанные газеты. Некоторые откладывал в стопку, потом унес ее во вторую комнату.

— Веселенькая жизнь, — вздохнула бабушка.

— Мы же не нарочно, — сказала сестра.

— Все, все! — закричал отец, возвращаясь. — Забыли. Не было. Давайте есть пирог.

Они уселись вокруг кухонного стола, бабушка налила чаю, пирог с яблочным повидлом, уложенный крест-накрест вытянутыми колбасками теста, был красив и вкусен, обстановка домашнего предновогоднего вечера помаленьку восстанавливалась. Но во всех движениях отца, во всем, что он делал — наливал себе вино в рюмку, откусывал от пирожного ломтя, заговаривал о чем-то — во всем было видно непроходящее возбуждение, как перед дальней дорогой, в которую одних берут, а других не берут, и между теми и этими ложится невидимая черта.

Тот газетный лоскут все еще лежал на обеденном столе, никто не мог решить, что с ним делать. Он лежал отдельно от всего остального, на углу, и свешивался через край. Мальчику со своего места была видна бровь и под ней спокойный внимательный глаз. Глаз смотрел на мальчика и повторял слова гостя: «Ну, ребята... С Новым годом!» А, может быть, смотрел молча. Ему привиделось, что их гость идет сейчас где-то по улице в колыханье снежной пелены, залепляющей ему очки, лицо у него по-прежнему суровое, огорченное, он сокрушенно покачивает головой и мучительно размышляет, сказать или не сказать, и сквозь залепленные снегом очки всматривается в пелену снега в надежде увидеть подсказку.

Мальчик почему-то был уверен, что злосчастный газетный лист резал именно он, и резал именно нарочно, зная, что он делает. Это было уже вполне безосновательное воображение, и отчего оно возникло и укреплялось с каждой минутой, он не смог бы объяснить. Он пил сладкий чай, жевал вкусный бабушкин пирог и мысленно все резал и резал острыми ножницами скуластое усатое лицо с внимательными спокойными глазами.

Но она все-таки появилась еще раз, после того, как прошла вся зима и половина весны — по календарю; в последнее воскресенье апреля. Это было вербное воскресенье, под улицам сновали старухи с веточками вербы, и за окнами виднелись ветки с пушистыми серыми комочками, вставленные в бутылки из-под молока.

По ночам лужи еще затягивало ледком, утром на траве горел иней, но солнце быстро слизывало его, съедало ледок, а железо на крыше подвала к полудню разогревалось, как летом. Отощавшие сугробы в тени дровяников рождали тихие струйки и ручейки, в середине двора соединявшиеся, единым потоком они выкатывались через ворота на улицу. Малыши бегали вдоль ручья, гоняя щепки, подталкивая их на мелководье посиневшими от ледяной воды пальчиками.

Рыжая появилась, когда мальчик с приятелями играл у стены в ту самую игру, которую она когда-то привезла из Ташкента. Как раз была его очередь, и он очень удачно вколачивал мяч в стенку, как бы бодая его, а рядом подсчитывали его удары, и тут раздался ее голос. Он почувствовал, как уши у него покраснели от одного звука ее голоса, и как хорошо, что он мог не оборачиваться и продолжать бодать мяч. Он еще более старательно прицеливался, чтобы как можно дольше продержаться; ему казалось, все знают, что зимой он вручил ей записку и не получил ответа, и с любопытством ждут, как он себя поведет. Вскоре он все-таки промахнулся, мяч пролетел мимо, попал в ручей, поток завертел его и понес к воротам. Мальчик побежал догонять, выловил возле самых ворот. Это было удачно. С расстояния в двадцать шагов он мог глядеть на нее, он и поглядел. На ней было новое пальто в черно-красную клетку, чуть более длинное, чем надо, но, наверное, оно ей очень нравилось; разговаривая, она несколько раз принималась кружиться, и пальто летало вокруг ее ног.

Он глядел на нее и медленно возвращался, подбрасывая в руке мокрый мячик. Все, кроме него, непринужденно болтали. Она, когда он подошел, рассеянно кивнула ему, он же ничего не ответил. Он стоял и размышлял, заметили ли остальные, что он не заговорил с ней.

Рыжая девочка шла, оказывается, во Дворец пионеров на какой-то там утренник и зашла по пути, просто так. Рассказав о себе, о своем новом доме и дворе, она почему-то не поинтересовалась никакими событиями, которые могли произойти здесь за прошедшие месяцы, эти новости были ей уже не интересны. Кто-то захотел продолжить игру и предложил ей мяч, но она отказалась от своей же игры; видимо, теперь она играла в другие игры. Ему казалось, что его неучастие в разговоре становится все более заметным и окончательно разоблачает его, и ему хотелось уйти, но уйти — значило совсем признаться, он и стоял дурак дураком, украдкой посматривая на нее, желая и боясь встретиться взглядом и моля неизвестно кого освободить его от этой пытки. Мольба была услышана: на крыльце появилась бабушка и велела ему сходить за молоком.

В магазине он застал длинную очередь и даже обрадовался: теперь он уже точно не увидит ее, за это время она обязательно уйдет на свой утренник. По правилам (по каким, попробовали бы его спросить, однако он полагал, что во всем этом есть правила), она после того зимнего вечера уже никогда не должна была появляться перед ним, оставшись вечным, печальным и светлым воспоминанием, и ее сегодняшний приход был не по правилам.

Он терпеливо выстоял очередь, но когда вышел из магазина, вдруг заторопился и побежал. Бидон тяжело раскачивался в руке, крышка на нем заплесала и выплеснула молоко, несколько капель сорвались ему на брюки. Он поставил бидон на тротуар, привстал на колено и принялся вытирать штанину, а когда поднял глаза, увидел рыжую девочку, идущую ему навстречу. Она шла по залитому солнцем тротуару, по дымящемуся легким парком асфальту, по пересыхающим лужицам, высоко неся голову, уткнув кулачки в карманы пальто и раскачивая его длинные полы при каждом шаге, как бы приплясывая. Она не сомневалась в своей красоте, вообще ни в чем не сомневалась, шла себе на какой-то утренник, может быть, у нее там назначено свидание с таким же красивым и независимым мальчиком, и вовсе они не станут сидеть в темном зале и слушать хоровое пение, а убегут в парк, будут бродить возле пруда, швырять палки в воду, смеяться, гоняться друг за другом по аллеям...

Он стоял коленопреклоненно, размазывая молочные капли по серой штанине, и весь вид у него был настолько уж не геройский, и так ясна стала вся напрасность притязаний на эту худенькую красавицу, и так она была хороша и недосягаема... С чувством, что разгадывает загадку, которая оказалась очень простой, он удивительно спокойно посторонней мыслью понял: недостойн, она не для него. Она не для него, он не для нее, ничего не будет, ничего не было, ничего не могло быть. Эта мысль вмиг расколдовала его, освободила от запрета разговаривать с рыжей девочкой, и он, улыбнувшись, смело встал у нее на пути. Она остановилась, он заговорил в той насмешливой манере, в какой очень неплохо умел разговаривать с любыми другими девочками. И в глаза ей при этом заглянул без робости и страха, и в отличие от мучительной сцены во дворе, сейчас спокойно изучал ее лицо. Как и тогда, зимой, когда он догнал ее у кинотеатра, она лишь на мгновение остановилась, затем продолжила шествие по тротуару, но на этот раз он уверенно зашагал рядом, покачивая бидон, и даже велел ей идти слева от него, чтобы не задевать бидон. Он знал, что на любом шаге может сказать «Пока» и уйти, точно знал, что может так поступить. Выйдя на насмешливую манеру, в которой поднатерел, он для начала поинтересовался, как она учится в новой

школе и не стала ли она по каким-то причинам плохо успевать по русскому языку. Рыжая, не чувствуя подвоха, смеясь, призналась, что и вправду учиться неважно, и — он угадал — особенно по русскому; что новые учителя ей не нравятся, привыкли, что к ним подлизываются, а она не хочет... Он перебил ее, выворачивая разговор поближе к тому, что готовил, и предположил, что она, наверное, стала совсем неграмотной.

— Совсем неграмотная! — радостно согласилась она и крутанула вокруг ног свое черно-красное пальто.

— А я-то думаю, отчего она на записки не отвечает! — произнес он итоговую фразу всей этой длинной, сходу затеянной и довольно тяжеловесной шутки; и тут смелость, несшая его на упругих крыльях через солнечный день над дымящимся тротуаром, рядом с рыже-волосой красавицей, дала ощутимый сбой, он словно рухнул в воздушную яму — ах! Оказывается, он еще не полностью освободился, еще, оказывается, надеется на чудо; да кто же, в конце концов, не надеется на чудеса: а вдруг она сейчас, переменившись в лице, пороковев, отвернется и скажет тихим голосом, скажет...

— На записки? — переспросила она озадаченно. Она встала посреди тротуара, глянула на мальчика коротко, отрывисто — «зыркнула», как они тогда говорили, и выпятила губки. А потом рассмеялась и пошла дальше. А он дальше не пошел. Он взялся за ручку бидона обеими руками и, легонько покачивая его, смотрел ей вслед. Он сразу поверил, что она не притворилась только что — нет: действительно забыла о его записке и, кроме того, наверное, она в своей жизни достаточно получила таких записок и попросту не придавала им значения.

Она поднималась в гору, туда, где асфальт прерывался гранитными плитами, и он видел, как она зашагала сбивчивыми шагами, стараясь, по общей привычке, не наступать на края плит. И когда фигурка в черно-красном пальто скрылась за углом, он повернулся и пошел домой. Он шел, пружиня с носка на пятку и ощущая себя выше ростом. Он думал о себе с уважением и спокойной, не печальной горечью. Я некрасив, думал он, и никогда не буду нравиться таким красивым, как рыжая, а, может, и никаким, а они мне будут нравиться; это со мной навсегда, к этому надо привыкнуть, потому что — пройдут годы, все станут взрослыми, собьются в пары, а я останусь один.

Вечером этого дня за дровяниками отыскивали просохшее местечко и устроили первую в сезоне чику, играли до темноты и в темноте. Кто-то принес фонарик, в середине освещенного круга мерцал столбик монет высотой с палец. Мальчик играл исключительно удачно,

был ловок и завершил игру прямым попаданием — биток врезался в подножие столбика, и монеты веером брызнули по земле. «Чика без крика!» Так следовало успеть выкрикнуть, иначе, по заведенной традиции, монеты становились всеобщей добычей. Весь этот вечер он много разговаривал, шутил, держался на равных с участвовавшими в игре почти взрослыми парнями и выглядел бывалым, кое-что испытавшим в жизни человеком.

Этот его облик, правда, несколько подпортила бабушка, разыскав его и потребовав, чтобы отправлялся спать; кроме того, что своим появлением она обозначила его маленьким, тут была еще одна тонкость: после крупного выигрыша сразу из игры выходить не полагалось. Однако он почувствовал, что никто не собирается возражать против его ухода, все видели, сегодня ему везет, и, пожалуй, даже рады были избавиться от столь удачливого соперника; он ушел, провожаемый вполне дружелюбными насмешками.

В городском саду через улицу танцы были в разгаре, оттуда во двор прилетали мощные вздохи духового оркестра и удары барабана, мальчик вторил барабану: «Пум-па-па!.. Пум-па-па!» с большим воодушевлением, меж тем как бабушка, едва поспевая за ним, что-то говорила, он не понимал, что. И только в коридоре, перед дверью, до него дошла ее просьба: войти в квартиру тихо, потому что маме опять стало плохо, она лежит и, может быть, уснула. Да-да, вспомнил он, у мамы какая-то болезнь, бедная мамочка, конечно, он не станет беспокоить маму. И тут же забыл: «Пум-па-па!.. Пум-па-па...»

Какой замечательный день!

Едва коснулся подушки, славно слиплись глаза, замелькали серебряные монетки, качнулись веточки вербы, фигурка в черно-красном пальто поднялась в гору и исчезла за углом, остался пустынный тротуар с разбитым в лужах на тысячи сверкающих точек солнцем, с бурливым ручьем, в котором волчком вертелся и не давался в руки белый, в голубых опоясках, мяч.

До этого лета он дважды ездил в пионерские лагеря: после третьего и четвертого классов, а после пятого так решительно заявил, что больше не поедет, так надул свои важные губы, так насунился, что его оставили в покое на два лета подряд. Ничего хорошего, хоть оно тоже было, не вспоминалось ему о тех ранних лагерях, пацаны там, ему казалось, были, как на подбор, жестокими, обожали дикие розыгрыши вроде «велосипеда», когда спящему всовывали меж пальцев ног вату и поджигали ее, каждый день состоял из столкновений, противоборств по любому поводу и без повода; вожатые тоже были

резкими, сердитыми, любили приказывать и заставляли беспрекословно подчиняться... В тех лагерях он часто плакал, распускал нюни... Было, было и хорошее, вечернее сидение у костра, искры в черном небе, а вспоминались все-таки больше обиды.

И потому, когда в конце июня отец неожиданно объявил, что достал ему путевку в лагерь, он снова и решительно отказался. Но на этот раз отец и бабушка были настойчивы, они главным обоснованием к его отъезду в лагерь выставляли срочную необходимость ремонта в квартире; уговоры продолжались несколько дней. Он вспоминал те, первые лагеря, и сначала снова прихлынули полузабытые обиды, острые, как битое стекло под босой пяткой — и вдруг он обнаружил, что ему достает юмора, чтобы вспоминать их без прежних переживаний; да полно, не так уж все было плохо, и ему начали вспоминаться приятные моменты лагерной жизни, и особенно — эстафета, когда его поставили на финишный этап и он прибежал первым...

Вспомнил — и согласился ехать. В эти дни уговоров он проявил иногда присущую ему туповатость и потом, когда ему открылись действительные помыслы его родных, он никак не мог понять, отчего тогда даже не задался очевидными вопросами: во-первых, почему он помешает ремонту, а сестра остается, во-вторых, куда они собираются деть маму, почти не покидавшую в это время квартиры, ходившую с трудом, больше лежащую на неразобранной постели, с книгой, когда ей лучше, но лучше бывало уже нечасто. Единственное объяснение, которое он находил: ему вдруг и вправду захотелось уехать в лагерь и он поверил в галиматью насчет ремонта, просто не стал вдумываться в нее.

В день отъезда он проснулся раньше обычного, все еще спали, кроме бабушки, уже возившейся у кухонного стола. Возбуждение, связанное с сегодняшним отъездом, сразу охватило его и, не дожидаясь завтрака, он схватил кусок хлеба и, дожевывая его на ходу, выбежал из дому попрощаться со своей маленькой родиной, со своими любимыми местами перед целым месяцем разлуки.

Он сначала хотел побродить по дворам, затем спуститься к набережной и дойти до стадиона, но едва вышел во двор, передумал и ему захотелось пойти в пионерский парк.

Он пересек фонтанный сквер на вершине горки. По случаю раннего часа фонтан еще не работал. Позже из глотки чугунной рыбы, сжимаемой в объятиях чугунным мальчиком, взметнется высокая струя, и маленькие струйки полетят из пасти чугунных лягушек, рассеявшихся по бортам бассейна. Отовсюду набегит детвора барахтаться в мелкой воде, стоять под струями. Славное местечко. Проходя мимо, он

по привычке погладил свою любимую лягушку, ту, что глядела мордой на бывшую церковь, ставшую музеем.

Ворота парка были еще закрыты на висячий замок, он перемахнул через забор и побрел в густой траве, сверкавшей каплями росы.

В пустынных аллеях перекликались птицы. Солнце лучилось сквозь кроны деревьев, предвещая жаркий день, но снизу от небольшого озерца, из зарослей бузины и ивняка набегали волны сырости и прохлады, и мальчик поеживался от приятной свежести. Парк дремал, как большое, ленивое, добродушное существо. Пожалуй, никогда не был он так прекрасен, как сейчас, в середине лета. Зелень набрала сильный темный оттенок, цвел шиповник, роняя темно-алые лепестки, у воды и под заборами разрослись лопухи и вымахала крапива. В высоких, шатром накрывающих лужайки кронах старых тополей таинственно каркали вороны, в траве качались солнечные пятна, бродили тени, золотились скорлупки лютиков, облепленные крохотными черными мухами, пчелы ползали по белым и розовым шишечкам клевера. Все звало углубиться в зеленые, просвеченные солнцем недра, как в неведомую страну, полную чудес.

Подумав, он выбрал путь вдоль забора с восточной стороны, пролежавший от заброшенной белоколонной ротонды, через заросли бузины, сирени, боярышника, к озерцу, к тому его берегу, с которого на маленький островок был переброшен мост на цепях. Этот путь был хорош тем, что мост всегда обнаруживался неожиданно, после того, как усыпанная особенно крупными, круглыми листьями полунадломленная ветка липы, приподнятая с усилием над головой, переставала застилать взгляд. Подойдя к ней, можно было воображать, что впереди еще долго бежать тропинке, петляя в зарослях, но вот ветка с покорным шумом кренилась вверх и вбок, и в пяти шагах блестела вода и над ней — мост.

Он обошел озерцо, с заходом на островок, увенчанный колоннадой с осыпающейся с нее штукатуркой и утопавшей почти на треть в цветущем шиповнике, полюбовался на пару лебедей, на то, как они без видимых усилий пересекали водную гладь; затем аллея привела его ко входу во Дворец пионеров, к красивым тройным, сплошь застекленным дверям, по обе стороны которых стояли гипсовые пионеры с горнами, крашенные серебряной краской.

Чуть ближе, развернутый вдоль аллеи, стоял помещенный на высоких столбах огромный фанерный щит с перечислением спортивных секций и кружков художественной самодеятельности.

Однажды в похожее летнее утро он уже стоял перед этим щитом. Ему было десять лет, его научили играть в шахматы, и в нем ненадолго вспыхнуло увлечение этой игрой, и он отправился записы-

ваться в шахматный кружок. Среди сведений об этом кружке тогда, как и сейчас, значилось: «По предъявлению удостоверения БГТО». Нормы этого БГТО — «Будь готов к труду и обороне» — он сдал как и все в классе, но удостоверения у него не было. Запись в кружки производилась здесь же, возле счита, веселой молодой женщиной, сидевшей за легким столиком, возле которого толпились желающие записаться. Он подумал, что такой веселой женщине будет нетрудно объяснить, что произошло. Нормы класс сдал в апреле, а в мае преподаватель физкультуры, который должен был выдать удостоверения, заболел и умер, и из-за того, что это случилось в конце учебного года, им не стали подыскивать нового преподавателя, а про удостоверения все забыли, никто не думал, что они могут для чего-то понадобиться. Физкультурник был красивый черноволосый мужчина, армянин, немного кривоногий, ходил косолапая; очень сильный, со вздутыми мускулами; он был гимнастом и очень неплохим. В начале мая, на чем-то уроке, показывая упражнение на брусьях, он сорвался и отшиб что-то внутри, проболел две недели и умер. Невозможно было поверить, что так быстро умереть мог такой здоровый и сильный человек.

Она и не поверила, веселая женщина, ведшая запись.

— Умнее ничего не мог придумать?

Ту же он увидел, что она вовсе не веселая, что в глубине ее взгляда холодно высвечивается строгость и недоверие.

Все же он спросил:

— Почему вы мне не верите?

Он и сам еще почти не верил, что люди умирают, но они, мальчишки из класса, бегали во двор, где жил физкультурник, и видели, как выносили гроб, видели синеватый профиль, утонувший в цветах, слышали стенания матери физкультурника, рвавшей с головы тяжелую узорчатую шаль черного шелка. Люди умирали, нужно было начинать верить в это.

— Почему вы мне не верите?

— Потому.

На минуту он забыл о самом предмете разговора, так оскорбило его глубокое убеждение, что он врёт. Не то чтобы он никогда не врал. Бывало. Более того, он даже знал, что нужно было сделать, чтобы сказать неправду. Следовало настроить глаза таким образом, чтобы они не видели в резкости близко перед собой; и будто бы глядя в лицо того, кого ты собираешься обмануть, нужно вообразить, что смотришь сквозь него на что-то отдаленное; тогда лицо перед тобой размазывалось в нечто смутное, розоватое, и этому безглазому туманному облику уже сравнительно нетрудно было под видом правды сообщить ложь.

— Потому, — ответила женщина, и в этом небрежно брошенном отклике ему услышалось не только ее нежелание продолжать бессмысленный, по ее мнению, спор, но и сильнейшее раздражение самим предметом спора. Он вдруг вспомнил, что когда гроб вынесли за ворота и установили в кузове грузовика с откинутыми бортами, какой-то дядька подошел к ним и сказал: «Идите отсюда, пацаны, нечего вам тут делать». Они, честно говоря, и сами не собирались провожать физкультурника на кладбище, но запрещение задело их. Тут они увидели среди готовящихся к похоронной процессии свою классную руководительницу и пожаловались ей на строго дядьку; однако классная сказала, что тот поступает правильно и что им тут действительно нечего делать. Теперь, вспомнив это, по-прежнему стоя возле веселой женщины, оказавшейся совсем не веселой, он вспомнил еще, как однажды встретил на улице свою классную в холодный зимний день; до глаз закутанная в шаль, она тащила бидон с керосином и когда он попытался ей помочь, сердито прогнала его. Из всего этого получалось, что об учителях нельзя знать ничего, кроме того, что они приходят в класс и ведут свои предметы. Неприлично видеть их за обычными человеческими занятиями, нельзя ничего знать об их личной жизни...

Там, где три года назад стоял стол, цвела грядка петуний и анютиных глазок. Он обогнул ее, поднялся к стеклянным дверям. К его удивлению, они оказались не заперты.

В пустом длинном коридоре темный, почти черный паркет мягко светился там, где на него падал свет из узких окон, очертаниями повторяющих рыцарские латы. Пересохшие дощечки потрескивали под ногами. В проемах между окнами висели картины, изображавшие пионеров за игрой в футбол, танцами у костра, прогулкой в горах и сбором металлолома.

Против двери с привинченной медными шурупами табличкой «Шахматный кружок» он уселся на подоконник, уютно поместившись в узком пространстве между сводами. Нужно было, подумал он, не споря дальше с веселой женщиной, прийти сюда и все объяснить руководителю кружка. Он узнал бы, что мальчик умеет играть в шахматы и, может быть, вообще не спросил бы об удостоверении. Нет, подумал он, спросил бы. Раз было написано, что без удостоверения нельзя, значит, действительно было нельзя. Он привык, что то, что запрещено в надписи, в словах учителя, да любого взрослого, то запрещено на самом деле, строго-настрого и без обсуждений. А о некоторых запретах следовало догадываться самому, как, например, знать что-либо об учителях, особенно — что они, как всякие люди, иногда умирают. Или другой пример: никто не запрещал спросить, куда

делся их учитель английского, но никто не спрашивал, было ясно: спрашивать нельзя. Здесь учителя называли «шанхайцем», шанхайцы приехали из Китая, было совершенно непонятно, отчего они раньше жили там и зачем вдруг приехали; говорили, что они странные люди, непохожие на здешних; действительно, учитель английского был совсем не такой, как другие учителя. Он носил красивый серый костюм из незнакомой блестящей ткани, ослепительно белую рубашку с ярким галстуком, желтые ботинки с невиданно толстой подошвой. Он был непривычно вежлив и обращался к четвероклассникам на «вы», никогда не делал замечаний на уроке, никогда не повышал голос; но симпатии к себе не вызывал. Все в нем было чужим и пугающим. Зимой, в середине учебного года, он исчез, и никто ничего не объяснил — просто появилась новая учительница; от взрослых мальчик слышал, что шанхайцев «берут»...

Он спрыгнул с окна, подошел к двери «Шахматного кружка» и потянул за ручку. Дверь была заперта. Так он никогда и не побывал за ней. Жаль.

Пора было возвращаться домой и готовиться к отъезду, но он не торопился. Ему и так трудно было в последнее время видеть маму, а вчерашняя неприятность, в сущности, и выгнала его сегодня из дому спозаранку.

Он ушел из парка, спустился к пруду и побрел по набережной, вспоминая о вчерашнем.

Вечером он стоял в коридоре у распахнутого во двор окна, а внизу стоял его приятель, которого он окликнул и задержал от нечего делать, и они беседовали. Вокруг не было никого из взрослых, и они с удовольствием обменивались крепкими выражениями, без которых, начиная с определенного и довольно раннего возраста, не мыслилось общение у пацанов их двора. В семье мальчика не произносили ничего крепче «черта», здесь о его владении нецензурщиной, он полагал, не знали, и он боялся даже представить, чтобы когда-нибудь узнали.

Так они стояли и беседовали, и вскоре после того, как он без всякой причины и без всякой злости произнес по адресу приятеля одно из самых звучных выражений, у него за спиной раздался мамин голос, звавший ужинать.

Когда она подошла, он не почувствовал. Слышала она или не слышала? Если она сразу подошла к нему, увидев его у окна, то, возможно, пока она шла, ей не приходило в голову прислушаться к их разговору. Однако если она, подойдя, простояла несколько мгновений у него за спиной, она не могла не услышать. А то, что она никак не выразила своего отношения к услышанному, еще ничего

не доказывает: он не помнит, чтобы мама охала или ахала, столкнувшись с чем-то неожиданным и неприятным. Она переживала молча, таков был ее характер. «О чем вы беседуете?» — спросила она, вот и все.

Так и не встретившись с ней глазами, он побрел по коридорам впереди нее. За ужином прятал лицо в тарелку и напряженно размышлял. Могла ли она тайно, не обнаруживая себя, стоять у него за спиной или нет? Насколько он знал и понимал маму, подслушивать, подсматривать, вообще действовать скрытно было не в ее характере. Но причина, по которой она могла задержаться на секунду-другую, не окликая его, все-таки существовала. В последнее время мама все чаще останавливала на нем внимательный взгляд, и взгляд этот был полон восхищения и печали, ошибиться было невозможно, именно так восхищения и печали. Или — ему даже мысленно было неловко произнести эти слова: нежности и любви. Раньше он не замечал этих взглядов. Или он был мал, или они не были такими частыми и откровенными. Раньше, когда приходили знакомые взрослые и начиналось: «О! Какой большой!», «Скоро станет мужчиной», «А кудряшки, кудряшки! Вылитый Пушкин в детстве!» и прочее в том же духе, и он не знал, куда деваться, не чувствуя себя ни мужчиной, ни Пушкиным, мама улыбалась спокойной улыбкой и, не поддерживая общих восторгов, переводила разговор на другую тему. Он всегда был благодарен ей за это. Но в последнее время она сама начала безо всяких поводов говорить ему разные нежности, от которых его бросало в жар; и иногда он ловил ее в момент, когда она любовалась им со стороны, она скоро поняла, что ему это неприятно, и, не будучи назойливой, старалась делать это по возможности незаметно; все же он замечал.

Вот это-то и могло произойти: выйдя из темноты коридора в «парадный» и увидев его стоящим у окна, она подошла и уже потянулась обнять его за плечи, но, допустим, ту ей увиделись его «кудряшки, как у Пушкина», подсвеченные солнцем, необычайно трогательные, будь они прокляты; и она с немим обожанием замерла у него за спиной. Тогда она все слышала.

Отец ушел на работу, бабушка и сестра — на рынок. В комнате матери было тихо. Он заглянул туда.

Шторы на окне были затянуты, их цветная тень вздрагивала на стене.

Мама полулежала на кровати и, запрокинув голову, пила из чайника. Мальчик не знал, как называется ее болезнь, он только видел,

что мама страдает от духоты и жажды. Врачи ограничили ее в потреблении жидкости. Сначала она пила холодную воду, которую ставили в погреб, на лед, но поднялся сильный кашель, и она стала пить горячую воду. Очень горячую. Теперь она пила кипяток.

Заслышав его шаги, она отняла чайник ото рта и поставила его рядом с кроватью на пол. Из носика вилась слабая струйка пара.

— Горло сожжешь, — повторил он обычную бабушкину фразу.

— Сожгу, — покорно согласилась она. — Ты куда бегал так рано?

— Так, никуда.

Она протянула руку:

— Подойди поближе.

Он подошел.

— Еще.

Он подошел ближе. Мама сидела, опершись на торчком поставленную подушку. В цветастом сарафане она казалась особенно похудевшей. На смуглом лице, почти черном в полумраке затененной комнаты, горели большие глаза и крупные, ярко накрашенные губы.

— Присядь.

Он вздохнул:

— Зачем?

Присел на самый краешек.

Горячая сухая рука коснулась его волос:

— Сынок...

— Мама! — Он вскочил, захлестнутый волной раздражения и гнева.

— Что случилось? — спокойно спросила она.

— Ничего! Что ты меня гладишь?! Что ты на меня смотришь? Что, что, что?!

Ненависть, ненависть, ненависть распирала его, он что-то яростно ненавидел, не маму, но что-то связанное с нею и с душей, погруженной в цветной полумрак комнатой, со всем их домом, с его коридорами, пропахшими керосином и кошками; с двором, улицей, парком, с таинственным чудесным парком, где среди лужаек в солнечных пятнах, тропинок, ныряющих под сплетения тяжелых ветвей, в недрах лиственных толщ над головой, где перекликаются невидимые птицы, мир начинает казаться созданным для вечной и безмятежной радости; но это обман, это сказка для маленьких, уголок, нарочно устроенный для них и для тех, кто хочет остаться маленькими, убежище для тех, кто увидел настоящий облик мира и испугался его; настоящий мир — это место, где люди исчезают и умирают, а оставшиеся живые ничего не говорят о тех, кто исчез, как будто их не было никогда, как будто они, исчезнув или уме-

рев, совершили что-то запретное и за одно это должны быть забыты.

Мама молча смотрела на него.

Он почувствовал подступающие слезы, и бросив взгляд на нее: заметила или нет, выбежал из комнаты, из квартиры, из дому, обеими руками распахивая двери на всем своем пути. Он хотел сразу пробежать через двор к поленицам, но подумал, что мама увидит его из окна, свернул на улицу, вбежал в соседний двор. Там, в известном ему месте, вскарабкался на дровяники, пробежал по крышам и спрыгнул в свой двор, в широкую щель между поленицами. Он сел на усыпанную пересохшим опилом траву. Теперь он мог не сдерживать слез. Высокие поленицы укрыли его, отгородили от мира. Ему казалось: пройдет много, очень много времени, пока он вернется домой, дни или месяцы, и когда он вернется, он не увидит там мамы, ее там не будет, ее не будет нигде, да-да, когда он выбегал из комнаты и ее смуглое лицо мелькнуло в полумраке, ему показалось, нет, не показалось, он ясно понял, что видит ее в последний раз.

На этот раз пионерский лагерь размещался в деревенской школе, двухэтажном строении, стоявшем возле тракта. Мимо тряслись на булыжниках и поднимали пыль обшарпанные грузовики. Школа стояла на голом месте, лишь у одной стены рос старый тополь, седой от придорожной пыли, корявый ствол был изрезан ножичками многих лагерных смен. Строение было обшито досками, от времени приобретшими устойчивый свинцовый тон. Несколько оживляла вид свежая завалинка по фасаду и тоже свежесрубленное, с резными перильцами, веселое крыльцо.

После завтрака из перловой или пшенной каши, стакана сладкого чая и двух кусков хлеба, одного пшеничного и одного ржаного, отряды расходились на «экскурсии». Экскурсия заключалась в том, что, отведя отряд на лесную лужайку, вожатая позволяла мальчикам сесть на траву и начинала просвещать их по части природы здешних мест и развития местной промышленности. Никто ее не слушал. Затем отправлялись купаться в прибрежном мелководье пруда. Мальчишки метались в воде, как мальки, вздымали тучи ила, барахтались, визжали. Вожатая Вера, невысокая, крепенькая, как лошадка, с сильными, толстыми в икрах ногами, в мрачном черном купальнике, от первой до последней минуты купания, надрывая голос, кричала, запрещала далеко заплывать и бесцеремонно, если надо, хватала самых дерзких за губы. Она стояла по пояс в воде, широко расставив ноги. Мальчишки норовили пронырнуть у нее между ног, она то

смеялась, то чертыхалась, иногда вылавливала шалуна и шлепала по загривку.

Ему тоже хотелось пронырнуть, но он не решался. А когда решился и, проскальзывая у самого дна, ртом и ноздрями зарываясь в липкий тягучий ил, он на мгновение увидел ее толстые ноги, розоватые столбы, он испугался, но было поздно, его уже втягивало в эти, если так можно выразиться, ворота, он крутнул себя винтом, и спина ощутила длительное прикосновение к прохладной и очень гладкой коже. Наверное, он слишком смело прикоснулся, потому что, когда вынырнул и встретился с ней взглядом, Вера покачала головой и погрозила ему пальцем, впрочем, тут же она отвлеклась и заорала на кого-то, заплывшего слишком далеко, зычным и властным голосом.

После одного из таких купаний мальчики сидели на завалинке по-прежнему в одних трусах и обсыхали. Трусы у всех были одинаковые — из черного сатина, широкие и почти до колен. Все были голодны и с нетерпением ждали обеда. Кто-то раздобыл плитку жмыха и щедро оделил компанию.

Он сидел на завалинке среди новых приятелей, с наслаждением жевал жмых, от которого замечательно пахло свежим подсолнечным маслом. Мимо, подпрыгивая на ухабах, торопилась полуторка, таща за собой шлейф пыли, в той же пыли были босые ноги мальчишек. Изредка с непросохших волос через щеку скатывалась капля, он ловил ее и растирал ладонью. Купанье среди прочего было хорошо еще и тем, что окатывало водичкой не только пропотевшее тело, но и истомленную душу его, вымывало из нее беспокойство и угрюмость, растворяло обиды и позоры; он становился простым и диким и чувствовал себя зверьком, счастливым голодным зверьком.

На крыльце показалась Вера, она прошла вдоль завалинки, разглядывая мальчишек, остановилась перед ним и — ему показалось, строго и сердито — приказала:

— Пойдем.

Он решил, она будет ругать его за тот нырок, и сразу покраснел, так как получалось, что она угадала, как ему этого хотелось; он шел за ней, расстроенный и заранее пристыженный. Когда вошли в дом, Вера сказала:

— Из города звони ли: у тебя заболела мама. Как раз сейчас идет автобус, тебя подождут. Иди, оденься, забеги в столовую, тебя покормят без очереди. Давай по-быстрому.

Сказав это, она тут же повернулась и ушла. В спальне, одеваясь, и тремя минутами позже, в столовой, глотая поджидавший его суп, он все время дивился нелепости услышанной фразы: «Мама заболела».

Она не могла ЗАБОЛЕТЬ, она давно болела, он уж и не помнил, когда она НЕ болела. Он бы понял. Если бы Вера сказала: «Маме стало хуже», хуже могло стать, хотя и хуже было уже некуда; но она сказала: «Заболела» и значит... Он гнал от себя это слово, которое уже гудело в нем и стояло перед глазами огромными литыми буквами, как те остальные — громады-цифры на призывных щитах возле Дворца пионеров, и висело над ним, как грозовая туча в полнеба.

В автобусе, кроме него, ехал только лагерный завхоз, и то, что он за всю дорогу ни разу не заговорил с мальчиком, тоже подсказывало ему ту не выговариваемую вслух разгадку.

При других обстоятельствах была бы маленькая радость в обилии свободных мест, он несколько раз пересел бы, чтобы поглазеть налево и направо, и на дорогу, летящую под капот, и на дорогу, убегающую обратно, в лагерь, он сполна наслаждался бы поездкой в пустом автобусе; теперь же он занял место в углу заднего сиденья, где немилосердно трясло, словно уже был мечен особой метой, не позволявшей ему искать удобств и приближаться к другим людям.

Они ехали и ехали, и город мучительно долго не начинался. В разрыве леса мелькали дома, заборы, возле приземистого фабричного здания дымила железная труба на растяжках и, казалось, это уже город, но снова тек и тек вдоль тракта зубчатый строй елок, и так повторилось несколько раз. Наконец лес оборвался навсегда, пошли пустыри, горы навороченной глины, свалки; трижды пересекли железнодорожные пути; снова потянулись пустыри, затем возник многоэтажный дом на холме и груда изб у его подножия; аэродромное поле с застывшим рядом двукрылых самолетиков, снова избы, заборы, город, казалось, нарочно растянул свое непомерно длинное тело с тем, чтобы они никогда не приехали. Но вот по обе стороны тракта потянулись трех — и четырехэтажные фасады, тракт превратился в городскую улицу, возникли тротуары, замелькали редкие прохожие... Натужно взревнув, автобус обогнал троллейбус. Пассажиры бездумно глядели на них в окно. Это был город, и в нем, неведомое для всех этих идущих и едущих, произошло нечто, к чему он готовил себя все эти два часа автобусной тряски и никак не приготовил.

Автобус затормозил возле их дома, и он вышел, а перед тем никак не мог догадаться правильно нажать на рычаг, открывающий дверцу, пока шофер не помог; он вышел и остановился на тротуаре — внешнем, а был еще внутренний, и между ними — газон. Предстояло пересечь газон, войти в дом, подняться по мраморным ступеням, миновать два коридора и открыть дверь квартиры. Это следовало сде-

лать каким-то особенным образом: может быть, идти мерным и строгим шагом, глядя прямо перед собой, и, наверное, двери надо было открывать осторожно, беззвучно и тщательно прикрывать их за собой; а может быть, нужно было уже здесь, на тротуаре, начинать плакать. И еще одно остановило его: тишина. То есть не тишина, а обычный облик улицы в ее тихие минуты: туда и сюда шли прохожие, одни молча, другие — негромко переговариваясь, никто из них, минуя его дом, не обращался к нему с тревожными взглядами, не останавливался, не скорбел лицом. Он понял, чего ждал: толпы у дома, толпы плачущих, рыдающих людей в черном. Никакой толпы не было. Возле парадного крыльца стоял мужчина, но стоял в спокойной позе, чуть сутулясь, заложив руки за спину и прислонившись к стене. Мальчик почувствовал, что успокаивается, и страшное слово, колоколом гудевшее в нем все это время, затихло; очень и очень обнадеживал спокойно стоящий мужчина, его умиротворенность, его в мягкой задумчивости чуть склоненная к плечу голова; но едва мальчик перевел взгляд на фасад дома, как на него повеяло чем-то зловещим, что могло скрываться за этими вроде бы такими знакомыми окнами, и странным показалось, что в этот час, в разгар дня во всех них без исключения сомкнуты занавеси. Он смотрел на свой дом как на незнакомый, как на переставший быть своим, словно там затаились враги, и сделали это так искусно, что, когда войдешь, никого не увидишь и не услышишь. Между тем кто-то притаился за ларем, кто-то, схоронясь в комнате, приник к дверям, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги в коридоре; а кто-то прячется в подполе, стоит там под самым люком, упираясь в него ладонями, готовый, как только шаги минуют его, откинуть крышку люка и выпрыгнуть на спину вошедшему...

День, однако, был слишком ярок и светел, и прохожих было хоть и немного, но достаточно, и сигнал легковой машины, летевшей с горы, был громок и даже забавен. Это был странный комичный звук, похожий на косноязычный вопль глухонемого, когда тот пытается что-то втолковать не понимающему его собеседнику: «Ыыы-ыы-ы!..» В городе всего несколько машин обладало этим сигналом, и у мальчишек было твердое мнение о принадлежности таких машин большим начальникам. Действительно, обернувшись на звонкое нелепое рыканье, он успел разглядеть рядом с шофером мужчину в темно-зеленой велюровой шляпе, важно глядевшего перед собой; марка машины была «татраплан», по его крыше, плавно опускающейся назад, шел высокий гребень, и шофер с начальником сидели как бы во внутренностях огромной хищной рыбы, шофер важно поворачивал руль, начальник важно глядел перед собой, и оба не понимали, что

проглочены рыбой; сигнал же предназначался бродячему псу, неторопливо пересекавшему дорогу...

Ничто из виденного и слышанного вокруг не помогало представлению о глухой затаенной враждебности дома, ничто не укрепляло этого смутного наваждения, оно и рассеялось. Он решил, пошел через газон и тут увидел, что мужчина возле входа — его отец. Это окончательно успокоило. Ведь если бы случилось предполагаемое, отец не стоял бы здесь, заложив руки за спину. Правда, никогда прежде он не знал за отцом привычки стоять на улице возле дома — но что же тут странного, просто он ждет его, вышел наугад подождать, и вот как удачно совпало — отец вышел, а он приехал. Он улыбнулся отцу и, чем ближе подходил, тем шире улыбался. Много лет потом мучило его воспоминание об этой улыбке.

Во двор въехали погребальные дроги, крашенные в голубое. В сущности, это была телега с плоским возвышением для гроба и резными столбиками по углам. Из разговоров со взрослыми мальчик знал, что оказалось невозможным достать грузовик. Он видел, что многие разочарованы появлением дрог вместо грузовика.

...Возница хлопнул вожжами по крупу лошади, причмокнул, колеса дернулись и покатались по колеям, по тем самым, через которые мальчик когда-то переправлял свои глиняные танки на косогор, поросший мохнатой травой с золотистыми звездочками. Она и сейчас росла на косогоре и между колеями, отцветшая, и, двинувшись вслед за дрогами, все прошли по ней, и он тоже. Первой шла бабушка, она никому не позволила держать ее под руку. Даже отец не посмел приблизиться к ней, он шел с детьми, поочередно прижимая их к себе и что-то бормоча с тяжелыми вздохами. Мальчик едва сдерживался, чтобы не вырваться из этих объятий, он полагал, что рядом с бабушкиным горем никто не вправе проявлять своих чувств; правда, когда бабушка протягивала руку к изголовью гроба и, вскинув голову, вскрикивала сильным глухим голосом, ему тоже становилось немного стыдно; но не за бабушку, а за себя, за свои сухие глаза и вялую, покорную общему ритму шествия походку.

Прохожие бесцеремонно разглядывали небольшую процессию. Нехорошо, думал он, что мы идем на виду у всего города и нас можно разглядывать. Это все равно, как если бы все эти прохожие явились к нам в дом и вереницей шли бы через квартиру, без стука входя в комнаты и наблюдая застигнутую врасплох жизнь никому неизвестной семьи.

Пока играл оркестр, его громкие тягучие звуки накрывали про-

цессию бесконечно накатывающейся волной, прятали ее от прохожих и любопытствующих взглядов из окон; под прикрытием трубного пения можно было идти невидимым и неуязвимым. Но несколько раз оно умолкало; в первый раз это произошло, когда улица круто взяла в гору, и музыкантам стало тяжело играть, они запыхались и умолкли. Стало слышно шарканье ног, причмокивание возницы и щелканье вожжей, которыми он поддавал по спине лошади, подковы громко скребли по булыжнику, колеса скрипели, вихляли, подпрыгивали, а выше мальчик не смел поднять глаз. Колесо, край телеги, резной столбик, вымазанный голубою краской. Шарканье ног, понуканья возницы, скрип колеса на каждом обороте, бормочущий отец, бабушка крикнула и подавилась рыданиями — невыносимо было, что все это слышат и видят идущие по обеим сторонам улицы люди. Он заставил себя поднять голову, чтобы понять, сколько они уже прошли, и увидел застывшие в неподвижности тополя, засоренные белесым пухом. Изредка клоч пуха срывался и падал беззвучно и отвесно.

Прошли немного.

Ему захотелось, чтобы вся их процессия поднялась в воздух. Да, чтобы взлетела и понеслась под пение труб над улицей, над крышами, и через мгновение очутилась вдали от города, в лесу, и чтобы для прохожих она слилась в нечто пугающее скоростью своего полета и общим, неразличимым в подробностях, темным обликом, чтобы в этом было что-то грозное и торжественное и не подлежащее обсуждению, и чтобы все, кто видел это несущееся, цепенели от страха и глядели вслед молча, не смея сказать ни слова. Так он и видел: стертые, сверкающие копыта лошади, замеревшей в полете, удлинившиеся, узкие, стремительные дроги, обтекаемые густым, рвущимся воздухом, потемневшим, как перед грозой, и они все, сильно наклоненные вперед, и музыканты с трубами на выброшенной вперед руке, и все это летело невысоко над улицей, но очень быстро, в черных низких тучах, в темном воздухе, с мельканием ключьев тополиного пуха и рокотом листвы под тяжелым ветром, в темноте, которая все сгущалась и сгущалась, но впереди стальным блеском светился разрыв, и туда они устремлялись.

Между тем не было ни туч, ни ветра, солнце сияло в пустом небе и тускло отражалось в булыжнике.

Когда приблизились к железнодорожной насыпи, увидели: под ней, в устье тоннеля, стоял заглухший грузовик. Вышла заминка. В это время наверху раздался всепроникающий бас паровозного гудка, и потянулся пассажирский поезд. Огромные вагоны медленно катились на большой высоте, и из всех окон, уставив подбородок в вы-

вернутые локтями наружу руки, смотрели люди. Они смотрели на гроб, на лошадь, на кучку людей в черном, сером, сбившуюся возле дрог. Он представил, сколько они уже видели из своих окон, пока поезд вез их неведомо откуда и неведомо куда, и сколько еще увидят, и каким ничтожным впечатлением останется — останется ли? — в их памяти только что увиденное; и подавленный тем, как огромен мир, он широко раскрытыми глазами провожал катящиеся вагоны. В последнем, в распахнутом тамбуре, на ступеньке, тесно сидели два пацана его возраста и по очереди тянули папироску.

В городском саду уже гремела музыка, когда они вернулись. «Тря-там-там, тирьям-тирьям-там-там...» Жизнь и не думала присоединяться к скорби одной маленькой семьи, напротив — «Ну, подойди ко мне, мой милый, ну, загляни в мои глаза...» — она кричала, что ей нет дела до этой скорби, и вечер был прекрасен: июльский вечер, с уходящей, слабеющей духотой, с закатным пожаром в полнеба, окруженным нежной, неспешно густеющей синевой, розовое и золотое текло по крышам, стенам, двору; под окном, торча над завалинкой, горели темно-алые маки. Кто-то стройный и легкий вертелся на турнике. Мальчики катали девочек на рамах велосипедов. Молчаливые и серьезные, они следовали один за другим по обычному маршруту, объезжая длинное приземистое тело барака, они пропадали за углом барака и через некоторое время возникали с противоположной его стороны, и, казалось, там, пока они были невидимы, между мальчиком и девочкой что-то происходило — объяснение? поцелуй? Там, за бараком, дорожка некоторое время шла между глухой стеной за бараком и высоким забором, самое уединенное место во дворе... Они приезжали другими, но здесь, на виду у двора и окон, торопились принять прежний вид, и снова, молчаливые и серьезные, укатывали за угол барака.

Солнце разбивалось в спицах велосипедов.

Над городским садом летал печальный голос саксофона, и в порядке здорового соревнования из разных окон в их дворе и в соседнем патефоны и радиолы пронзали пространство «Рио-Ритой», Козиным и Шульженко. За своим столом возникли доминошники. Группка пацанов проследовала в соседний двор, на ходу перепасовывая мяч.

Самым естественным было участвовать в этом празднике жизни, выбежать, выжаться на турнике, ударить по мячу, забраться в городской сад, влезть на старую липу, одной мощной ветвью накрененную над танцплощадкой, и полюбоваться на танцы взрослых, отпуская

шуточки; или усадить на велосипед девочку и покатить за барак, на ту уединенную тропинку, меж стеной и забором, выходящую среди высоких, в рост колеса, лопухов...

Чем больше он понимал, что ему нельзя выйти во двор, тем невыносимее становилось оставаться в комнате. После утра, когда на столе стоял гроб и толпились люди, комната стала просторной и даже слишком: стол был вынесен на общую кухню, и нелепым казался абажур с хрустальными висюльками, нависший над опустевшим полом с квадратными следами ножек.

Невыносимо было еще и вспоминать позор, случившийся с ним на кладбище, который, правда, тут же и был прощен. Наступили последние минуты перед тем как положить крышку и опустить гроб в могилу. Бабушка, сотрясаясь рыданиями, упала на тело мертвой дочери. Соседки по дому бережно оттащили ее от гроба. Муж наклонился и поцеловал лоб жены. То же сделала сестра мальчика. Мальчика охватил столбняк.

— Попрощайся с матерью-то. Поцелуй на прощанье, — произнес кто-то за спиной. И чья-то рука прихватила его за шею, подсказывая наклониться. Он судорожно вырвался и в три прыжка оказался за ближайшим кустом.

— Отстаньте от мальчишки! — прозвучал другой голос. — Без того переживает. Смотрите: побелел весь.

Глухо стукнула крышка, ложась на основание, и молоток застучал по гвоздям...

Вот как вышло: все поцеловали, а он не смог. Всего-то — прикоснуться. Не прикоснулся. И этого уже не исправить.

А солнце все не закатывалось, и вечер не собирался заканчиваться никогда. Мальчик сидел на табурете у открытого окна, и ему казалось, все знают, отчего он так давно сидит здесь, потому что, если он встанет и пройдет по комнате, все увидят, что не случайно он не поцеловал маму на прощанье, что в нем нет того настоящего горя, из-за которого остальные ступают осторожно и разговаривают вполголоса, а, подходя к бабушке, и вовсе умолкают. Он понимал: чтобы встать и просто сделать несколько шагов, надо сделать это так, чтобы видно было его горе. Но он не чувствовал горя, он чувствовал несправедливость. Жизнь должна была бы смолкнуть, замереть — нельзя же танцевать, вертеться на турнике, кататься на велосипедах, лупить костяшками в обитый железом стол так, словно ничего не случилось, словно никто не видит бабушку в черном, стоящую у стены и ломающую руки. Ему было стыдно и за тех, кто сейчас бродит и перекликается во дворе, и за тех, кто вполголоса переговаривается здесь, в комнатах. Он цепенел от этого стыда и ему казалось, все и

все в комнате тоже оцепенели. Между тем, наоборот, шло непрерывное, осторожное, шаркающее хождение, слышались шептания и бормотки, вздохи, восклицания — тоже вполголоса. Родственники, соседи, мамины сослуживцы. Старухи. Незнакомые старухи. Что-то прибирали, укладывали, переносили с места на место. К каждому предмету прикасались с преувеличенной осторожностью. Уговаривали друг друга поесть, попить, присесть, прилечь. Уходил и приходил отец, и снова куда-то уходил, со склоненной вперед и к плечу головой, словно собирался куда-то протиснуться, меж тем как было более чем просторно. Останавливался посреди комнаты, вздыхал удивленно, тоже, возможно, недоумевая, отчего так долго тянется такой ласковый, такой светлый, беспощадный бесконечный вечер, отчего комната так празднично залита солнцем, и в нем без остатка растворяется зачем-то горящее электричество.

Черная ткань, укрывшая зеркало, ниспадала на подзеркальный столик, а сверху лежали розы, высыхая на глазах, роняя лепестки, бурея шипами.

Старухи в черном входили, держали бабушку за плечи, гладили ей руки. Часы хрипло били четверти и половины и отбивали целые часы. Время изготавливалось с прежней, всегдашней неспешностью.

Главное, он ни разу еще не заплакал.

За подоконником, чуть ниже, шла завалинка, сквозь плохо сколоченные доски видны были куски шлака, а над завалинкой торчали маки. Один шаг за подоконник, второй — через завалинку — и там начиналась жизнь. Окно было раскрыто, а ему казалось, что он смотрит на двор через прозрачную, толстую, тугую преграду.

В очередной раз появившись, отец, все с тем же вздохом горького удивления, подошел к нему и обнял за плечи. Он понял, что должен сделать встречное движение, прижаться к отцу, уткнуться и обязательно заплакать, но продолжал сидеть, окаменев, только губы расползлись в безобразной насильственной улыбке.

— Пойди-ка погуляй, — сказал отец. — Иди, иди.

Было ли это так сказано, или он так воспринял, но для него это прозвучало освобождением из плена. Он поднялся с табурета, и улыбка, позорная, неуправляемая, расплылась по всему лицу. О том, чтобы пройти через всю комнату к двери, не могло быть и речи. Он знал, что не пройдет, а пробежит вприпрыжку, и тут уж все, и отец, и сестра, и старухи, а главное, бабушка, увидят, что в нем и в помине нет горя; он представил, как идет к двери и вдруг подпрыгивает на одной ножке, как он и многие другие делают, когда тротуар выложен каменными плитами и возникает уговор с самим собой не наступать на границы плит, — подпрыгнет оскорбительно для всех и

выбежит, провожаемый общим презрением... Обычно его ругали, когда он влезал или вылезал в окно, но тут, стоя рядом с отцом, он, не объясняясь, махнул через подоконник и при этом ощутил ту воображаемую преграду — она действительно была, теплая, душная, толстая... Спрыгивая с завалинки, он оступился, подломил стебель мака и втоптал его в мягкую распаренную землю. Тяжелые лепестки, глянцевиые, твердые на вид, словно створки раковины, разлетелись в стороны и раскачивались. Он побрел через двор, не зная, смотрит ли отец ему вслед. Приятель, выехавший на велосипеде из-за барака, везя на раме девочку, притормозил, и оба посмотрели на него сочувственно и уважительно.

Он прошел через свой двор и через окрестные, нигде не присоединяясь к играм, и всюду на него смотрели с уважением и сочувствием и здоровались первыми, даже взрослые, даже шпанистые парни с тусклыми фиксами и длинными челками; он прошел через все дворы, вышел на улицу, и ему сразу стало легче оттого, что навстречу шли незнакомые, ничего не знающие о нем люди.

Но напрасно он думал, что никогда больше не прикоснется к покойной матери.

В начале восьмидесятых возле кладбищенских ворот возник большой фанерный щит. Текст на нем извещал, что оказавшееся в центре города кладбище будет превращено в парк культуры и отдыха, а потому родственникам рекомендуется перезахоронить своих близких на других кладбищах.

Он представил себе парк: аллеи, гирлянды фонарей, аттракционы, танцплощадка. Будут плясать на костях. Плясать на костях у нас умеют. Можно поверить. Он решил перенести маму к бабушке. Тем более, бабушка, умирая, просила положить ее рядом с дочерью. Но оказалось, сделать этого никак нельзя: кладбище, где упокоилась мама, было закрыто для новых захоронений. Бабушку похоронили на новом кладбище, на далекой окраине.

Он занялся тем, что на канцелярском языке называлось перенесением праха, навел справки. Выяснилось: главным и решающим было разрешение санитарно-эпидемиологической службы. Тут же он столкнулся с неразрешимым противоречием. В санэпидслужбе грустная женщина объяснила: для разрешения надо взять пробу грунта с могилы, чтобы убедиться, что там не завелись опасные микробы. Но брать некому. Такой сотрудник предусмотрен в штатном расписании, но самого сотрудника никак не могут нанять из-за слишком скромной зарплаты.

Он предложил: давайте, я сам выкопаю лопату-другую могильного грунта и принесу на анализ. Но грустная женщина воспротивилась: где гарантия, что вы не принесете землю со своего огорода или откуда-нибудь еще? А зачем я стану обманывать? А затем, что если будут микробы, мы не разрешим вскрывать могилу. Но кладбище предлагает и даже требует перезахоронить родственников, как же быть? Извините, это ваши проблемы.

Мальчик поразмыслил и вспомнил, что в советской жизни очень многое решается взятками. До сих пор у него не было случаев воспользоваться этим способом устройства дел, не было и опыта. Все же он решился. Он взял сумму, которая в его представлении была похожа на подходящую взятку начальнику всех городских кладбищ, и отправился к нему. Управление кладбищами располагалось в старинном особняке, на втором этаже, на первом торговали гробами и венками. Он вошел в приемную. Секретарша категорически отказалась его пропускать, поскольку у ее начальника приема по личным вопросам нет. На шум их перепалки открылась дверь кабинета, и вышел мужчина среднего возраста, в модном джинсовом костюме. В чем дело, осведомился он, но, увидев посетителя, раскинул руки в приветственном объятии — и действительно обнял с криком: «Кого я вижу?!»

Мальчик напряг память и вспомнил. Лет десять назад ему предложили стать консультантом в фильме, снимавшемся местной студией. Пришлось часто бывать в съемочной группе. После съемок группа собиралась на излияния. Мальчик к своему удивлению обнаружил, что в процессе долгой выпивки держится крепче многих. Наряду с ним дольше остальных оставался вменяемым второй кинооператор. Иногда они оставались вдвоем и вели душевные хмельные беседы.

Этот-то второй оператор и оказался начальником всех городских кладбищ.

Узнав о проблеме, он тут же написал соответствующее разрешение, согласовал срок и заверил, что пришлет самых лучших рабочих. Платить? Платить ничего не надо. Сделано будет по дружбе.

Затем бывший кинооператор достал из бара бутылку коньяку, они выпили, он рассказал о зигзагах своего жизненного пути, приведшего его из кино к покойникам, на прощанье снова обнялись.

— Да! — спохватился кладбищенский начальник. — Когда, говоришь, похоронена мамочка? Тридцать лет? Даже больше? Мой тебе совет: купи у нас на первом этаже детский гробик. Самый маленький. Большой не понадобится, говорю как специалист.

...Таких землекопов-гробовщиков он еще не видывал. В точно назначенное время в кладбищенскую аллею въехали новенькие «Жигу-

ли». Вылезли два высоких крепких парня в одинаковых дорогих костюмах из переливчатой ткани. Быстро переоделись в одинаковые же, ладные, чистенькие комбинезоны. Достали из багажника лопаты, явно изготовленные по заказу, штыковую и совковую, обе из сверкающей нержавеющей стали. Несмотря на заверения начальника на счет сделанного по дружбе, первым делом обозначили изрядную цену своего труда. Мальчик предвидел это и припас деньги.

Его сопровождал родственник, принесший бутылку спирта и предложивший мальчику принять сразу и побольше, чтобы совладать с нервами, но и при этом все равно отойти от могилы, дабы не подвергать себя зрелищу, слишком тяжкому для сыновних чувств. Спирт он выпил, но от могилы не отошел.

Шикарные землекопы работали слаженно и споро. Вскоре они уже махали лопатами в глубине разверстой ямы. И, наконец, послышалось: «Принимайте!»

Мальчик и родственник увидели и узнали, что остается от покойных чрез тридцать с лишним лет. Снизу были последовательно поданы две берцовые кости, несколько мелких, остальные превратились в прах.

Но сохранилось и еще нечто. После некоторой паузы, в которую слышно было усиленное пыхтение землекопов, из глубин возвысился и был передан череп.

— Не может быть! — воскликнул родственник. Восклицание относилось вот к чему: череп был окутан густой волнистой копной волос.

Ничуть не дрогнув, мальчик принял в руки материнский череп и тронул губами его твердокаменный прохладный лоб.

Дело происходило в конце сентября, но день случился по-летнему жаркий, солнце лилось с бездонного чистого неба, и в его лучах сияло все, что могло сиять.

За тридцать с лишним лет глухого пребывания в земле, в то время как кости стали прахом, хрупкие волосы не только не исчезли, не только не поредели, но даже не потускнели. По-прежнему черные, говоря ушедшим сравнением, как вороново крыло, они переливались и горели на солнце, как если бы продолжали дополнять красоту молодой, смуглой, белозубой женщины!

Как верно предсказал главный кладбищенский начальник, крошечного детского гробика хватило вполне.

Летом сорок седьмого из Киева приехала погостить мамина сестра, младшая дочь бабушки. Киевская тетка была что называется яркая женщина. В семейном кругу она считалась признанной кра-

савицей. Младшая сестра была очень похожа на маму мальчика. Но все красивое, что было в мамином лице, тихое, потаенное, требовавшее, чтобы разглядеть, пристального внимания, в киевской тетке било в глаза и ослепляло. Когда мальчик сопровождал тетку в прогулках по городу, не было мужчины, чтобы не перевел на нее восхищенного взгляда. Одевалась тетка по понятиям того времени дорого и шикарно, разговаривала громко, судила обо всем безапелляционно.

Тетка вышла замуж рано, в конце двадцатых, за красивого парня, чекиста. Сейчас, после войны, он был военным прокурором. Жизнь красавицы и чекиста было овеяно рядом легенд. Впрочем, что значит легенд? Абсолютно правдивые истории, они казались необычными только маленькому мальчику. Легенда номер один. Тетка с мужем живут в Ростове, чекист работает в местном НКВД. Поступает сигнал: недобитые то ли троцкисты, то ли бухаринцы готовят чудовищный террористический акт. Они собираются расстрелять ноябрьскую демонстрацию трудящихся из пулеметов, установленных на крыше театра. И уже устроили там гнезда для пулеметов. Несмотря на очевидную бредовость сигнала, теткиного мужа посылают на крышу театра. Никаких гнезд нет. Поступает сигнал: теткин муж — сам член тайной организации, предупредил соратников, чтобы следы готовящегося преступления были уничтожены перед проверкой. Теткиного мужа спасает коллега-друг. «Завтра тебя возьмут», — предупреждает он. Вечером супружеская пара выводит погулять овчарку, как делает это всегда. Никаких вещей при себе. Гуляючи, приходят на вокзал и уезжают на ближайшем поезде. С пересадками добираются до глухого удмуртского городка, где у мужа живут родственники. Живут около полугода. Как делают свое пребывание легальным, мальчику неизвестно. Через полгода узнают, что пожелавший арестовать теткиного мужа начальник арестован и осужден сам. Возвращаются в Ростов, к прежней жизни.

Легенда номер два, времен войны. Наступление немцев на Кавказ застает теткиного мужа председателем горисполкома маленького причерноморского городка. До последнего дня он занят эвакуацией предприятий, контор и жителей. На северную окраину городка вступают немецкие колонны, тетка с мужем уматывают на председательском автомобиле по дороге, ведущей вдоль побережья на юг. Везут, разумеется, самое ценное из барахла. Отъехав немного, водитель требует, чтобы ему отдали половину этого барахла, иначе он повернет машину и вернется в город под немцев. Председатель грозит расстрелять его, но водитель только смеется: начальник не умеет водить машину, а дорога вьется над кручами и пропастями, кавказская гор-

ная дорога. Начальник расстреливает подонка, и они с теткой бросают машину на дороге и, взяв из барахла, сколько можно унести на себе, уходят пешком по горам.

Легенда номер три, наиболее правдивая, печальные последствия которой мальчик наблюдал через пятнадцать лет. Теткин муж — военный прокурор на южном фронте. Снова Ростов. Город несколько раз переходит от немцев к нашим и обратно. Разоренное население спасается мешочничеством. Люди оказываются то по одну, то по другую сторону фронта. Мешочники считаются спекулянтами или лазутчиками врага. Выловленных расстреливают в течение суток. Под каждым расстрелом должна стоять подпись военного прокурора. Он должен, кроме того, самолично присутствовать при расстрелах. Нервы теткингого мужа не выдерживают. Он отказывается подписать очередной расстрельный список. Ему самому грозит трибунал. Снова выручает какой-то друг. Медицинская комиссия фиксирует полное расстройство нервной системы. Прокурора отсылают с фронта далеко-далеко, в благословенную тыловую Алма-Ату, где сначала лечат, а потом назначают на прокурорскую должность. Через пятнадцать лет бывший мальчик, ставший молодым человеком, приезжает в Киев и застаёт дядьку в полном сумасшествии. Он ходит по квартире в развевающемся халате, резкими взмахами руки бьётся в составе кавалерийской бригады — чем действительно занимался юношей в гражданскую войну, но, путая две войны, полагает, что рубит саблём мешочников под Ростовом.

Но в сорок седьмом году до этого ещё далеко, дядька ещё военный прокурор Киевского гарнизона, у них с теткой прекрасная квартира в чудесном месте, над Днепром. У дядьки две служебные машины, высокий оклад. Тетка одета в дорогие модные платья. Её приезд — праздник. Она весела, жизнерадостна, она любит бабушку мальчика, свою маму, любит свою сестру, маму мальчика, привезла им вещи, вкусной еды, она ведёт себя в доме мальчика как хозяйка, против чего никто не возражает.

С бабушкой и мамой тетка ведёт бесконечные разговоры-воспоминания о родственниках и знакомых миновавших времён. Жадно прислушиваясь, мальчик узнаёт много интересного о многочисленных поклонниках тетки в годы её юности, о неведомых ему родственниках. Лохматый скрипач, который безуспешно ухаживал за ней в двадцать восьмом году, помнишь его, мама, стал известнейшим дирижёром и недавно приезжал со своим оркестром в Киев. Разыскал, пришёл и снова объяснялся в любви. А ещё один поклонник, помнишь, мамочка, того рыженького, я едва не вышла за него, и вышла бы, если бы не появился мой роскошный чекист... Так вот, можно пожалеть, он за

войну вырос до генерала, сейчас у него большой чин в Москве и великолепная квартира. Сейчас, проездом к вам, останавливалась у него, он тогда, когда я ему отказала, женился на Аньке, помнишь Аньку, хорошенькая, ну, не такая, как я, но ничего. Но с войны привез другую, мы познакомились, она в меня просто влюбилась, восхищалась и все благодарила, что я не вышла за ее рыжего генерала, иначе бы он ей шиш достался. Кстати, их дочка Первого мая вручала цветы, кому бы вы думали? Сталину!

Мальчик наострил уши. Он не раз видел в газетах эти снимки: мальчики и девочки в пионерской форме вручают цветы вождям, стоящим на Мавзолее. В его представлении они были такими же небожителями, как и сами вожди. И вдруг оказывается, тетка была в гостях у родителей такой девочки, и видела эту девочку, и разговаривала с ней. Тетка разговаривала с девочкой, с которой разговаривал сам Сталин! С ума сойти.

Мальчик сидит, конечно, не среди слушательниц тетки. Он во второй комнате, за печкой, на своем любимом месте. Но дверь распахнута, и ему все слышно. Но вдруг тетка понижает голос. Он встает и подкрадывается к двери.

— Ох, и напугала девчонка своего папу-генерала! — говорит тетка, пытаясь перейти на шепот, но голос ее слишком громок и крепок от природы. — Она, сами понимаете, учится не в рядовой школе, там вокруг сплошь генеральские и цеховские дома. Их набрали из школы, сами понимаете, с учетом родителей, ну, и чтоб отличники учебы, ну, и, конечно, смазливеньких, а девочка не в рыжего, а в мать, надо отдать должное, красивая баба, хоть и вульгарного вида, но в девочке это как-то облагородилось, просто очаровательная куколка. Сами понимаете, какую девочку выбирают для Сталина. И это, кстати, для семьи... Ну, что вам сказать? Теперь рыжему прямая дорога в генштаб или как там у них называется, словом, карьера обеспечена по гроб жизни. И вот, представляете, девочка возвращается с Красной площади, дома праздничный обед, никто не садится за стол, ждут ребенка, хотя в гостях еще пара генералов и еще какие-то важные птицы, но в этой ситуации девочка главнее всех. Она приезжает, садятся за стол, первый тост, естественно, за товарища Сталина. Кто-то спрашивает, какие, мол, у тебя впечатления от встречи с товарищем Сталиным. И вдруг девочка начинает плакать. Все столбенеют. Мать спешно уводит ее из-за стола в дальнюю комнату: «Что, что случилось?» «Мама, — говорит девочка сквозь рыдания, — а вдруг это был не товарищ Сталин?» Мама, тихо сходя с ума, спрашивает: «С чего ты взяла?» «Мамочка, — говорит девочка, — но он совсем не похож на портреты. Он маленький, старенький и весь рябой». Весь

рябой! — ликующе повторяет тетка и, как всякий опытный рассказчик, делает паузу.

— Значит, в молодости переболел оспой, — говорит мама мальчика. — Что тут такого? Пока ее не победили, оспой болели тысячи, если не миллионы.

Но на самом деле, им понятно, «что тут такого».

— В гражданскую войну мы не знали никакого Сталина, — говорит бабушка. — Мы знали: Ленин, Троцкий. Сталин... Мы просто не слышали такой фамилии.

— Теперь рыжий и его баба трясутся, чтобы дочка ничего такого не сказала. Они взяли с нее слово, но ребенок, вы же понимаете. Вот такое счастье вместе с несчастьем!

Далее тетка возвращается к встрече со своим бывшим ухажером-скрипачом, ныне знаменитым дирижером, но мальчик не слушает. Рябой Сталин поражает его воображение. Рябой и старенький... Если не знать, что это вождь советского народа — обыкновенный старичок. То есть получается, товарищ Сталин — такой же человек, как все. Как все люди, состарился с годами. До этого был пожилым, до этого — молодым, а до этого — мальчиком. Сталин когда-то был мальчиком — так же, как он и его приятели по двору и школе! Можно ли поверить, что великий вождь когда-то был мальчиком? Ну, разумеется, был! Был мальчиком, играл в мальчишеские игры со сверстниками. И никто не подозревал, что это за мальчик. И сам он, разве мог он, будучи мальчиком, представлять, что станет вождем всего передового человечества?

Его необычайно взволновало и захватило представление о маленьком грузинском мальчике, про которого никто не знает, что он будущий Сталин. Об этом можно написать замечательный рассказ. Нет, повесть. Или даже роман! Да, он напишет роман! Роман о детстве мальчика из грузинского села Гори. С этой мыслью он дождался времени, когда надо ложиться спать, с нею улегся в постель, завернулся в одеяло и сосредоточился на своем великолепном замысле.

Засыпая, он видел одну и ту же сцену, замечательную сцену, с которой начнется его роман: в горном ущелье, по дороге, опасно вьющейся вдоль края бездонной пропасти, прыгает по камням конная повозка. В телеге двое: старик-возница, усатый, с синеватым грозным лицом, сурово нахлестывающий лошадь, и мальчик — легкий, сухощавый смуглый мальчик, храбро сидящий на самом краю телеги, болтающий ногами и напевающий песенку. Под ногами у него развезлась страшная пропасть, на ее дне, далеко-далеко, бешено клокочет горная река. «Где же ты, моя Сулико?» — беззаботно напевает храб-

рый мальчик. Мальчика зовут Сосо. Сосо Джугашвили. Порою им попадаются встречные повозки, они осторожно разъезжаются, чтобы одна не столкнула другую в пропасть, ездоки приветствуют друг друга, возница почему-то не в настроении, отвечает сухо и ворчливо, а мальчик вскидывает руки, выкрикивает приветствия, сверкая белозубой улыбкой, а минуту спустя снова заводит песенку... И никто не знает, что это едет будущий Сталин. Этого не знает даже он сам!

Собственно, это всеобщее незнание, эта невозможность предвидеть великую судьбу обыкновенного на вид мальчика и были тем главным, что вдохновляло сочинять и пересочинять подробности поездки мальчика по горной дороге. Он не сомневался: сцена будет так же сильно поражать воображение будущих читателей романа. Он обдумывал ее несколько вечеров подряд. Она виделась ему попеременно с двух точек зрения. То, как если бы он, автор, сидел на горной круче, спрятавшись за камнем, и глядя вниз, на выходящую вдоль пропасти дорогу. Сверху ему видны были прыгающая по камням телега и две головы — седовласая у возницы, курчавая, глянцево-черная у мальчика. А иногда он помещал себя на склоне ущелья и наблюдал, запрокинув голову: над обрывом проезжали колеса; лошади и возницы не было видно, а у мальчика были видны только ноги, которыми он бесстрашно болтал, проезжая над пропастью, и далеко по ущелью разносилась его звонкая песня.

Несколько вечеров, засыпая, он упивался этой сценой, находя ее совершенной и безотказно волнующей. Но потом кое-что стало вызывать в юном писателе беспокойство, сначала некоторые частности, затем более общие соображения. Из частных его, во-первых, стало смущать, что мальчик едет в телеге. Пожалуй, телега — что-то русское, российское. На Кавказе нужна, как она называется... арба. Но как она выглядит? Можно ли в ней сидеть на краю, свесив ноги? Если нельзя, разрушалась вся картина, потому что непременно нужно было, чтобы мальчик болтал ногами. Чтобы он производил впечатление самого обычного мальчишки, которому нравится куда-то ехать, от того у него превосходное настроение и желание петь. Тогда особенно эффектно прозвучат последние строчки главы, он видел их напечатанными в толстой-толстой книге: «И все встречные думали: веселый мальчишка едет в этой арбе. Веселый и храбрый. Но никому и в голову не могло прийти, что это едет будущий вождь сего прогрессивного человечества Иосиф Виссарионович Сталин!»

Смущала также и песенка. С чего бы грузинскому мальчику петь ее русский перевод? Но где же взять ее грузинский текст?

Чем дольше он думал про арбу и про «Сулико», тем больше расстраивался. Оказывалось, чтобы написать маленькую начальную сценку

большого романа, уже нужно было кое-что знать. Воображать было интересно, узнавать — скучно. Он решил больше не заниматься этой сценкой и пойти дальше. И тут произошло самое печальное и отрезвляющее: он не мог придумать более ничего. Откуда и куда едет мальчик? Зачем? Может быть, ответ найдется, если что-нибудь придумать про старика-возницу? Он начал представлять внешность старика, возникло морщинистое лицо, смуглое, с синеватым оттенком в подглазьях, горбатый нос, нависший над усами... Почему он воображается мне именно таким, подумал он и вдруг понял: в облике возницы угадывалась ассирийка Сорейя, чистильщица обуви, сидевшая в будочке напротив филармонии — старая женщина с синевато-смуглыми морщинистыми щеками и пугающе густыми усиками под крупным каплевидным носом. Еще более удивительное открытие ожидало его, когда он задумался, на кого у него похож Сосо. Он взгляделся в него и узнал... самого себя.

Какая ерунда! Какой я дурак! Я никогда в жизни не видел грузинских стариков и грузинских мальчиков, вообще никаких грузин!

Он рассмеялся: стало ясно — он никогда не напишет роман о детстве великого Сталина; но как жаль было замысла единственной придумавшейся сценки; он вроде бы уже выбросил из головы эту затею и успокоился, и даже удивлялся своей самонадеянности; но мальчик, едущий в телеге по краю пропасти, болтающий ногами и напевающий песенку, ничего не знающий о своей грядущей судьбе, еще долго вспоминался ему; и снова вспомнился через шесть лет, в марте пятьдесят третьего года.

Зима заканчивалась только по календарю, но не по погоде. Стужа и не думала покидать заметный снегами город. Газеты, вынимаемые из почтового ящика, были ледяными — так успевали они просквозиться в сумке почтальона.

Второго марта он развернул свежую холодную газету и прочел холодные леденящие строки. Вся страна разворачивала газеты и читала поразительные строки медицинского бюллетеня о состоянии здоровья товарища Сталина — или слушала их, замерев у радиорепродуктора.

Удивляло не то, что о Его болезни сообщают в газетах на всю страну — это как раз было понятно. Как не сообщить, если волею этого человека направлялась вся жизнь ста пятидесяти миллионов людей? Удивляло, что он заболел, как мог заболеть я, ты, он, всякий обычный человек. Когда он был мальчиком Сосо, он, конечно, мог простудиться или пораниться, переболеть, как все дети, корью, скар-

латиной, свинкой. Но великий Сталин, человек-портрет, символ, лишенный плоти, нечто лучезарное, сиянием равное Солнцу? И вот — детство и старость сомкнулись, он снова превратился — не в мальчика, конечно, но в обыкновенного человека, в старика, заболевшего серьезной болезнью. Его, разумеется, спасут, привлечены лучшие силы советской медицины. Спасут? Мальчик перечитывал сообщение и все яснее понимал: была бы надежда спасти — ничего этого попросту не стали бы печатать. Зачем тогда было бы сообщать людям то, о чем они давно забыли: что у Вождя есть сердце, легкие, кровеносные сосуды, печень и даже, стыдно произнести — мочевого пузырь. В соседнем дворе бродил старик, о котором, посмеиваясь, говорили, что он не может писать, как все, и ему пробили дырки в животе и мочевом пузыре, вывели резиновую трубку, и писает он в стеклянную банку, привязанную к ноге. Возможно ли представить себе таким стариком товарища Сталина?!

В эти мартовские дни светало к концу первого урока. Первым была литература. Литераторши долго не было, но, странное дело, никто не орал, не бегал по классу. Мальчишки сидели на своих местах, как паиньки, и тревожно переглядывались. Общее предчувствие пронизывало класс.

Вместо ожидаемой литераторши вошел математик. Его обычно веселое лицо было заплаканным. Непросохшая слеза поблескивала в щегольской бородке. Класс встал необычно дружно и молча. Сдавленным голосом математик сообщил о смерти Вождя. Тишина. Поскрипывали парты. Уроков сегодня не будет, объявил математик, все должны идти по домам. Мальчики вытаскивали сумки из парт и, подталкивая друг друга, выходили из класса. Коридор заполнял ровный шорох валенок. Из всех классов выходили, брели согбенные фигуры. Все словно превратилось в маленьких старичков. У распахнутых дверей директорского кабинета стояли учителя. Женщины все до одной утирали слезы и сморкались в платки. Мужчины курили. За окнами густосиреневые сумерки разбавлялись мутной утренней жижей.

На улице с каждой минутой светало все заметнее, сумерки таяли, открывая перспективы заросших сугробами улиц, вереницы приземистых домов с желтыми квадратами окон. Прошла почталыонша в черной долгополой шинели, с сумкой на плече, туго набитой газетами. На сгибе газет чернела толстая траурная рамка.

Ночной мороз еще сохранял свою неподвижную давящую силу и крепко щипал нос и щеки. Печные дымы стояли столбами, почти не колеблясь. Негреющее солнце морковного отлива просочилось у самого горизонта, пролилось сквозь щели в заборах, подсветило сухие

головки репья, торчавшие из-под снега на пустырях, положило поперек дороги смутные сизые тени печных дымов.

Впоследствии ему вспомнилось — так ли оно было на самом деле? — что, пока они привычной стайкой пацанов, живших в одном квартале, брели к своим дворам и домам, на всем пути им не встретилось ни одной машины или повозки и почти не было прохожих; и казалось — это правильно, так и должно было произойти. Со смертью Вождя жизнь должна остановиться — в недоумении, куда и зачем ей двигаться дальше, лишенной вдохновляющего и вразумляющего начала, утерявшей Его попечение над собой, Его всеохватное правление, позволявшее остальным исполнять свой простой долг: взрослым — трудиться, школьникам — постигать премудрости знаний; и при том можно было не заботиться об общем ходе событий, ибо Вождь уверенно вел народ к торжеству справедливости, к высшему блаженству, к раю земному — коммунизму. Конечно, все понимали, путь будет весьма длинен, но порукою тому, что он когда-нибудь да завершится победно — порукою тому было бессмертие Вождя. Прийти к коммунизму без Сталина — было непредставимо. Продолжать путь без его повседневного руководства — тоже. Никто из живущих в этом городе людей никогда не видел Его, но ощущал Его присутствие в своей повседневности — такое же постоянное и естественное, как дыхание, как воздух, как ежедневно встающее Солнце.

Если бы в эти дни людям сказали, что через каких-нибудь десять лет — не через века, через историческое мгновение! — в стране не останется ни одного памятника Ему, не останется ни одного Его портрета, что Его труды перестанут изучать в школах, вузах, тысячах кружках политического просвещения, что сами книги Его будут выброшены из библиотек, уничтожены, сожжены, что поэты и композиторы перестанут славить Его новыми песнями, а старые перестанут звучать по радио и в концертах...

Но до этого было еще бесконечно далеко.

Девятого марта в полдень по московскому времени взвыли гудки. Сбившиеся в кучки по дворам люди и толпы на центральной площади, осиротевшие подданные солнцеподобного Вождя, замерли, пронизываемые тяжким похоронным гудом. Пять минут — вечность — звучал орган из сотен труб, гудели заводы, котельные, паровозы на окружавших город станциях. Город, словно ледокол, идущий в густом тумане Арктики, оглашал окрестности. Ледокол, на котором умер капитан, и никто из команды не знал, куда им далее плыть.

Никогда он не чувствовал себя таким сильным, мощным, неутомимым, как в то лето после восьмого класса, когда он в последний раз поехал в пионерский лагерь. Для ребят и девочек старших отрядов, многие из которых были свежее испеченными комсомольцами, название «пионерский» звучало несколько конфузливо, и они избегали употреблять его; вожатые были не намного их старше, а вожатые младших отрядов были их сверстниками. Старшие отряды жили особой жизнью, не замиравшей так строго после отбоя, как у младших, в эту жизнь, кроме сборов, походов, спортивных состязаний, входили и посиделки у костра едва ли не за полночь, и шушуканье парочек, уходящих от костра, от света в благодетельную тьму, и ночные уходы в «самоволку».

То, что проснулось в его теле в то лето, сначала испугало его, потом привело в восторг, а потом приобрело мучительную власть над ним, он изнемогал под бременем этой силы. Ему стало трудно смотреть на девочек, своих сверстниц, на их уже заметно округлившиеся формы; мысленно он хватал их всех подряд, мял, тискал, и они покорно замирали в его могучих объятиях; на деле же робел даже подойти и начать, как выражались парни, «клеить». Но и не ко всем же разом подходить — к которой? Он чуть ли не плакал с досады, а иногда со смехом бормотал, обращаясь к себе: «Идиот!» — потому что они нравились ему все, любая влекла и притягивала лишь потому, что была девчонкой, девушкой, что блузку или кофточку у нее распирало нечто округлое и упругое, а под юбкой, когда девушка шла, ходуном ходила тугая попка, ну, и прочее, прочее кругловатое, мелькающее, волнующее.

Он приналег на спорт, записался во все лагерные состязания, с утра до вечера бегал, прыгал, играл за отряд в футбол и волейбол. Волейбол был его давней любовью, здесь, в лагере, он показал себя одним из лучших. Все вечера проходили у волейбольной сетки. В игре он приходил в ярость и колотил по мячу едва ли не с животным рычанием. Однажды он бросился за безнадежно ухотившим мячом, распластался в воздухе, достал и вытащил из аута мяч, после чего упал в траву, выдрал пучок травы вместе с землей — меж тем болельщики и болельщицы, окружавшие площадку, издали ликующие вопли — перевернулся на спину и так замер, с пучком зеленых стрелок в кулаке, со взглядом в вечернею небеса, нежно подкрашенные розоватым. В теле, кроме усталости, пела и пульсировала необычайная легкость, а той всевластной дурной силы не было и в помине; казалось, она покинула его навсегда.

Над ним склонилось скуластое девичье лицо, сипловатый голос участливо спросил: «Сильно ушибся?». Большие серые глаза смот-

рели на него с восхищением. Под белой блузкой, расстегнутой на верхнюю пуговицу, угадывались крепкие налитые груди. Он вспомнил: это была одна из тех девушек, что работали в столовой и разносили еду на подносах по столам. Их называли почему-то не официантками, как в городских столовых, а подавальщицами. Подавальщица осторожно разжала его кулак, отняла пучок травы и осмотрела ладонь: «Ты порезался?» «Ништяк!» — ответил он бодрым мальчишеским словечком, вскочил и ринулся обратно в игру.

Ночью ему приснилась подавальщица, дурная сила снова проникла в тело, разбудила; он лежал в душном спертom воздухе спальни, отовсюду раздавались похрапывания и стоны спящих парней; он отшвырнул простыню, которой укрывался, со злостью ударил ногами в спинку кровати, она глухо задребезжала. Он корчился и задыхался в поту, страхе и тоске.

В этой безжалостной силе было что-то злобное, беспощадное, уверенное в себе, всевластностью похожее на те запреты, о которых он столько размышлял, подрастая, но суть ее была противоположна: она не запрещала — напротив, разрешала запретное. Она не советовала, не подсказывала, не соблазняла безопасностью нарушения — нет, она диктовала нарушить недозволенное, объявить его дозволенным и возможным, вынуждала действовать, а не рассуждать; вот именно — действовать без рассуждений. Она наполняла мускулатуру, все мускулы до единого; наполненные ею мышцы наливались и твердели; и весь он становился — туго сжатая пружина, предвестие взрыва, сам себе рассуждение, сам себе мысль и действие, только действие, а если и мысль, то мгновенная и яростная, как взрыв.

Что-то очень взрослое было в этой силе. Вот как взрослеют! Не зря он так боялся; он предчувствовал, что неслышный, такой домашний, уютный ход времени, изделие молоточков в старинных добродушных часах, на самом деле ведет страшной дорогой, напрямик в тягостную жизнь взрослых людей; он предчувствовал это, не желая взрослеть и безмерно удивляясь сверстникам, всей душой желавшим этого.

Время, однако, не различает желающих и нежелающих, оно тащит с собою всех: и тех, кто торопится и сам усердно гребет, добавляя к скорости течения собственную скорость, и тех, кто упирается и пытается выгребать против течения — безнадежное дело; и те, кто, как он, влачится в струях времени покорно и оцепенело. Всех тянет и тащит время, подбадривая и хваля торопящихся, спокойно и невозмутимо уничтожая напрасные усилия тех, кто сопротивляется; ну, а таких, как он, оно тащит, насмехаясь и злорадствуя над их неспособностью предвидеть свои непрестанные возрастные преобразования.

Время превращает бессловесного младенца в говорливого малыша, а его — в быстрого пацана, а его — в угловатого подростка, а его — в юношу, в молодого человека. Время наращивает тебе мускулы, вытягивает тебя вверх, раздвигает твои плечи, ломает твой голос. Тебя это не радует, пугает, страшит? Относись как хочешь — ему наплевать. Это его вечная работа, до тебя оно протащило от младенчества до старости миллиарды жизней, протащит и твою. Причем, заметь, оно действует, хоть и безжалостно, но не грубо, не рывками, не дергает, не перешвыривает из одной ипостаси в другую в считанные дни, все происходит исподволь и незаметно. А с самыми маленькими оно обращается вообще очень деликатно. Оно жалеет их. Для них время прикидывается неспешной ласковой струйкой, сочащейся из старых хриплых часов на стене; струйка растекается по комнате, комната огромная, а струйка слаба и тонка, и оттого каждая секунда просторна, минута длительна, а день вечен, «играй, дитя, не знай печали». Вечность пройдет для малыша, покуда струйка, растекаясь по полу, многожды наслаиваясь на самое себя, заполнит пространство между ножками стола и стульев, между шкафами и сундуками, а там — все выше и выше, пока невидимая жидкость не замкнется потолком и не начнет потихоньку перетекать то ли в следующую комнату, то ли в следующий день.

Но эта обманчивая неспешность, лукавая неспешность — только для самых маленьких. Сотворив из младенца юношу, время ускоряется, оно несется и ревет, как седая от пены лавина воды, грохочущая в стоке плотины.

Над воспоминаниями об этом лагере постоянно витал сладковатый, вызывающий тошноту запах пригорелой каши. Никакая каша, однако, не пригорала в лагерной столовой, это поблизости нещадно дымила фабричка, где изготавливались изоляционные материалы. Из фабричной трубы с утра до вечера валил отвратительный дым. Когда ветер приносил этот тошнотворный запах, становилось непонятно, как живут местные люди. Но возникала привычка, и ветер не всегда дул в сторону лагеря, а кругом стоял густой сосновый бор, в нем пахло созревшими травами, нагретой на солнце смолой, поспевающей ягодой, фабричная гадость сюда не проникала. Но впоследствии, когда к нему во сне подходила подавальщица, а она снислась несколько лет, возникала именно подгорелая каша. Там, во сне, он сидел в лагерной столовой, за столом с приятелями, подавальщица несла поднос, уставленный тарелками, парни расхватывали их и принимались уплетать кашу. Подавальщица склонялась над ними, ставила

тарелку, он поднимал глаза и видел ее грудь в полураскрытой блузке, он опускал глаза и видел кашу, от каши шел отвратительный, желанный, сладкий запах греха.

К тому дню, когда подавальщица склонилась над ним, замершим с выдранной травой в кулаке, прошла уже половина смены, и стремительно полетела вторая. Подавальщица оказалась усердной волейбольной болельщицей, он придумал, что она приходит только ради него. Играя, он посматривал на нее, взгляды их встречались, и ему казалось, он читает в ее глазах приглашение действовать. Он уже болтал с ней — так, ни о чем, и в ее голосе, соблазнительно сипловатом, делавшем ее еще взрослее, ему тоже слышалось: «Ну же! Я тебе нравлюсь, и ты мне нравишься — начинай!» Дни пролетали за днями, а он не начинал. Меж тем парни в отряде были единодушно-го мнения о подавальщицах, что это девушки вполне доступные и сближаться с ними надо, не особенно церемонясь. Он и сам видел, что это простая девчонка, с которой надо действовать смело, решительно, может быть, и грубо, без всяких там отвлеченных разговоров о прочитанных книгах, о фильмах, актерах — проще, проще, товарищ, ты же понимаешь, кто перед тобой. Ничего не начиналось — ни проще, ни сложнее. Однажды он уже было поклялся: завтра... Но назавтра всем отрядом ушли в трехдневный поход, в походе, с переходом речушек вброд, с карабканьем на скромные, но крутые вершины, с камнепадом из-под ног, с ночевками у костра, песнями и танцами — подавальщица чуть подзабылась.

На следующий по возвращении из похода денек, идучи к волейбольной площадке, он вдруг столкнулся с ней, что называется нос к носу, на тропинке, уютно вьющейся между соснами. Вокруг никого не было. Сила, задремавшая было в нем в суровые дни похода, очнулась, и он с изумлением увидел, как его руки облапали подавальщицу, и услышал, как его губы произнесли залихватски: «Кого я вижу! Привет!». Она хихикнула, выскользнула из его объятий и побежала, оглядываясь, увалистой походкой созревшей девушки. Он побежал за ней, догнал в два счета, но она вдруг припустила с неожиданной прыткостью. Так они бегали среди сосен, смеясь и не говоря ни слова, и добежали до стоявшего в отдалении от других строений домика, где физрук хранил спортивный инвентарь, а вожатые, в так называемой пионерской комнате — инвентарь, так сказать, идейный: флаги, транспаранты, барабаны и горны, знамена.

Подавальщица вбежала на крыльцо и скрылась в домике, он последовал за ней. Окна были закрыты ставнями. Он огляделся в полу-

темном коридоре и прислушался. Тишина. Он подергал комнату физрука: заперто. Прошел дальше. Пионерская комната была открыта. Он вошел. В полумраке виднелись знамена, стоявшие в углу, стойка с подвешенными, тускло поблескивающими горнами. Два громадных, под потолок шкафа занимали всю стену. Один был заперт, дверца другого, полуотворенная, подрагивала на сквозняке и легонько поскрипывала. Он услышал сдерживаемый ею тихий смех и выпрыгнул в тесноту шкафа. Он ощутил ее упругую грудь, в темноте нашел губы. Они оказались жесткими и шершавыми. Сердце его билось, как волейбольный мяч под крепкими ударами игроков. Его рука скользнула по крепкому бедру. «Не здесь», — шепнула подавальщица, он послушно выпустил ее, она, продолжая хихикать и посмеиваться, вышла из комнаты и из домика, и он побрел вслед за нею в лес. «Только не молчи! — умолял он себя. — Говори, неси чушь, не иди молча!» Но шел именно молча, и с каждым мгновением то, что возникло в тесноте шкафа, таяло и улетучивалось. Теперь он шел рядом с ней, поминутно наклонялся, поднимал еловые шишки и швырял их в кусты. И позорно молчал. Какое-то время она шла, соприкасаясь с ним плечом, и коротко взглядывая, а через сотню шагов отдалилась, и он подумал: «Она поняла. Она поняла, что он не умеет. И не сумеет».

Внезапно раздался голоса, среди сосен и кустов возникли фигурки, кто-то окликнул его: это был его отряд, вышедший «на землянику». Он только тут увидел, что все вокруг усыпано алыми ягодами. Подавальщица наклонилась и принялась собирать землянику в горсть, а, набрав, высыпала себе в рот, и жевала, и поглядывала на него, усмехаясь, а с ее губ стекала алая жижица. И он, как дурак, начал наклоняться и собирать ягоды, и тоже чавкал липкой перезревшей земляникой, чувствуя, что сейчас его вырвет.

Подавальщица скрылась за кустом. Он распрямился и зашагал обратно в лагерь.

На следующий день он напросился в поход с другим отрядом, и так как этому отряду предстояло волейбольное сражение с командой одного из соседних колхозов, его с удовольствием приняли в свои ряды. А когда вернулись, оставались два последних дня смены, финальные соревнования по волейболу, футболу, бегу, прыжкам, он поучаствовал всюду, кое-где оказался среди победителей, потом был день сплошных прощальных торжеств, концерт, хоровое пение, торжественная линейка, прощальный костер.

Подавальщицу он в последний раз увидел в столовой, на ужине. «Уезжаете в город?» В вопросе не было сожаления, что они — и он в том числе — уезжают, а ясно было, что она тоже хотела бы вернуть-

ся в город. «А мне еще третью смену работать». «Могу приехать», — выдавил он. «Да ну? — Она улыбнулась и вроде бы не насмешливо, а с теплым удивлением. — А что, приезжай». «Приеду, — сказал он. — Пока!» «Пока! Привет городу».

Вернувшись из лагеря, он застал в опустевшем дворе двух своих давних приятелей, тех самых, с которыми когда-то отважно путешествовал по обширному чердаку, оставляя на стропилах запись мелком: «ЗПНД», что означало — «Здесь проходили неизвестные друзья». Они в дальнейшем долго были неразлучной троицей, но после седьмого класса приятели завершили образование и пошли работать. Один устроился по соседству, подсобным рабочим в типографию, второй стал учеником токаря на подшипниковом заводе. Видеться они стали много реже, у молодых рабочих появилось снисходительное отношение к школьнику. Они уже зарабатывали деньги, в их речи появились слова «аванс» и «получка», а он продолжал затянувшееся, на их взгляд, детство. Но сейчас у юных работяг совпал отпуск, и троица снова сблизилась. Ходили купаться на городской пруд, пробовали пить пиво в «американке» на углу — угощали, конечно, пролетарии. Одна тетка наливала им по кружке, а ее сменщица ворчала: «Рано вам еще» и гнала прочь.

Главным увлечением стал велосипед. Почти каждое утро они уезжали из города и выезжали на Сибирский тракт, где был хороший асфальт. Там тренировались спортсмены-велогонщики. Подражая им, они гонялись, низко ложась на руль. Конечно, им было не угнаться на своих тяжелых дорожных машинах за легкими гоночными, но все же иногда им удавалось пристроиться в хвост к стайке гонщиков и продержаться километр-полтора, это вселяло гордость. Хоть Сибирский тракт был хорош, а гоняться возле настоящих спортсменов было интересно, постепенно им наскучило мотаться по одному и тому же маршруту.

Однажды, уже выехав за городскую черту, они спешили возле водопроводной колонки, попить, и тут выяснилось, что этот тракт всем осточертел. Стали гадать, куда бы податься за свежими впечатлениями. Называли известные им ближние и отдаленные поселки, села, деревни, а он назвал фабричный поселок, возле которого был в лагере. Пошел треп о лагерной жизни. Приятели были наслышаны о волнующих взаимоотношениях «мужских» и «женских» отрядов. Вот тут черт дернул его за язык, и он намекнул, что в лагере у него была девчонка; что значит — «была», уточнять не полагалось, а подразумевать можно было все что угодно. Приятели с недоверием отнес-

лись к его словам: за все годы приятельства они ни разу не видели, чтобы он «дружил» с какой-нибудь девочкой в их дворах или в школе. В ответ они насмешливо похмыкивали и переглядывались: заливает друг! Тогда он сказал, что она там работает и сейчас и, когда расставались, звала приехать. «Можно и переночевать», — добавил он и, чтоб не видели, как краснеет, снова нажал рычаг колонки и склонился над хлынувшей струей: сделал вид, что ему жарко, и подставил под воду запыхавшие щеки. Отфыркался и еще более небрежно, сознавая, что ступает на все более зыбкую почву, предложил: «Может, махнем?». Он, кстати, был, пожалуй, сильнейшим велосипедистом в троице — не намного, но повыносливей приятелей, и об этом не было спору. Потому он добавил, что, мол, конечно, далековато, не знаю, дотянете ли? Этого оказалось достаточно, чтобы разжечь их самолюбие. Все трое сознавали, что планируют глупую затею. Шел десятый час утра, солнце припекало изрядно, а следовало вернуться в город, пересечь его от края до края, выехать на другой тракт и по нему, а затем по проселочным дорогам проехать еще километров сорок. Каждый был бы рад отступить, признать, что его страшит такая поездка под палящим солнцем, но слово было сказано, и они стартовали.

Солнце пекло через волосы, прожигало кожу и, казалось, бедная головушка вот-вот закипит, что твой самовар. Пот обильно стекал со лба и заливал глаза. Как назло, когда вышли на нужный тракт, пошли бесконечные тягуны, местность поднималась незаметно, но очень долго, и конца не было этим проклятушим подъемам. После одного из них, дотянув до вершины, они, не сговариваясь, съехали в траву и попадали с седел.

Стало окончательно ясно, в какую авантюру они себя втянули. Еще не поздно было повернуть обратно. Все зависело от него. Сядь он сейчас в седло и поверни руль в обратном направлении, домой — приятели радостно поддержали бы его. Он лежал в куцей тени невзрачного куста, в жиденькой тени, насквозь пронизанной солнцем, покусывал сухую травку. Боевые кони валялись в траве в столь же обессиленных позах, что и их горе-всадники. Спицы и запыленные ободья горели тусклым огнем. Он представил лагерь и подавальщицу. Он подкатит к заднему крыльцу столовой и лихо затренькает звонком. Она почему-то сразу догадается, что это он, выбежит, ахнет, окинет восхищенным взором его мужественную фигуру, задубевшее от пыли и жары лицо, а позади почтительно, как телохранители, встанут два верных друга. Она засмеется тихим смехом, как тогда, и облизнет губы, раз, другой... А может быть, поцелует его? Конечно, в шутку, потому что рядом, кроме друзей, могут

оказаться и глазеть посторонние, но и не в шутку. А целуя, шепнет на ухо что-то, обещающее близость и нежность. А потом она устроит их ночевать. Где? А вот где: на сеновале, примыкающем к лагерьной конюшне. Приятели без сил рухнут в мягкие пахучие вороха сена, в мгновение уснут мертвым сном, а он будет ждать. Тихая августовская ночь встанет над сеновалом. Скрипнет дверь, раздастся шорох ее осторожных шагов. И снова, как в пионерской комнате, они найдут друг друга во тьме. Он шепотом окликнет ее, она, тихо посмеиваясь, сдувая с лица колкие былинки, слепо зашарит руками в темноте, пока не наткнется на него, и тогда охнет испуганно и прижмется, и они станут единым целым в душной, теплой, душистой тьме...

— Подъем! — скомандовал он, превозмог боль в икрах, впрыгнул в седло и выехал на тракт. Дальше до самого лагеря они гнали без остановок, молча, яростно, слыша свое и чужое дыхание, тяжелое, хриплое; он знал, что именно доказывает себе этой каторжной ездой, но и они что-то доказывали себе, вертя педали, ставшие пудовыми, и обливаясь потом.

Запах пригорелой каши встретил их и возвестил о финише рекордной гонки. Они въехали в покосившиеся ворота с выгоревшими флагами на столбах, подкатили к столовой. Он вдруг заробел остановиться у заднего крыльца и дать звонок. И едва понял, что не сделает этого, как понял, что не будет и всего остального. Он тормознул, слез, приставил машину к столовой стене. Приятели сделали то же самое. Они стояли, озираясь. Никто не приветствовал участников беспримерного велопробега. Не обращая на них никакого внимания, лагерный народ спешил на полдник, у входа в столовую росла толпа.

Он заглянул в низкое окно столовой и увидел подавальщицу. Она расставляла по столам стаканы с компотом, а затем пошла к дверям и открыла их. Толкаясь и крича, лагерное население врывалось в столовую. Подавальщица протиснулась наружу, чтобы пошире распахнуть дверь. Она спрыгнула с крыльца, подняла кирпич и приперла им распахнутую створку. Разгибаясь, она увидела велосипедистов. Взгляд ее, казалось, и не думал остановиться на них. Она, правда, чуть помедлила, но затем повернулась и скрылась в помещении. Тут же появилась вновь и понесла куда-то пустой поднос. Это вселило в него зыбкую надежду. Идти с подносом было, пожалуй, некуда. Разве что, вспомнил он, бывают больные, которые остаются в палатах, и им носят туда еду. Возможно, она идет к захворавшему пацану, чтобы забрать посуду. Но в мгновение он сочинил другой сюжет: она вооружилась подносом, чтобы подойти

якобы случайно, чтобы не показать его приятелям... или кому-то еще? — что идет именно к нему.

От столовского крыльца веером разбегались дорожки, выложенные битым кирпичом. Она выбрала ту, что вела вдоль стены, и вскоре поравнялась с героями велопробега. Тут она, наконец, соизволила узнать его. Более того, изобразила сильное удивление и произнесла: «При-вет!», что по интонации означало не столько привет, сколько: «Откуда ты взялся?!»

Он не знал, что ответить. Ему пришло в голову спастись от позора, скрыв от приятелей, что это и есть она; отвести ее в сторону — будто бы навести справку и будто бы узнать от нее, что «его» девчонки по какой-то причине сегодня в лагере нет. Он безразличным тоном ответил: «Привет», показывая ребятам, что это, разумеется, не та, что звала в гости и предлагала переночевать. Но само это старательное безразличие, актерски исполненное бездарно, деревянным голосом, выдавало приятелям его ухищрения. Он почувствовал: они поняли, и больше скрывать не имело смысла.

— Знакомься, — сказал он и назвал своих приятелей. Она кивнула и продолжала стоять, поигрывая подносом. Она придерживала его, уперевав в изгиб бедра, два пальца подпирали край подноса, остальные легонько барабанили по нему. Наступила минута такого же безнадежного позора, как тогда, в лесу, после того как вышли из пионерской комнаты. Язык у него припал к пересохшей гортани, он стоял дурак дураком, все четверо молчали. Мимо шли парни, судя по возрасту, из старшего отряда этой смены, ему незнакомые, и сначала один окликнул подавальщицу, затем другой; а третий, высокий красивый парень с приятным злым лицом чмокнул губами воздух на довольно близком расстоянии от ее щеки, и она рассмеялась тем тихим смехом, какой он мечтал вызвать у нее наедине с собой.

Он боялся глядеть на приятелей, ожидавших, возможно, что встреча друга с «его» девчонкой окажется не совсем такой, как он намекал — но что она окажется такой позорной, не предполагали и они. Мысленно он умолял ее сжалиться. Можно сказать — пронзал умоляющим взглядом. И, слава богу, она поняла. Она поняла, что о ней рассказано приятелям, и, если она сейчас уйдет, он будет унижен и опозорен навеки.

— Голодные, небось? — спросила она. — Сейчас.

Она отправилась в столовую, все поигрывая пальцами по подносу и старательно повиливая бедрами. Вскоре появилась снова, поднос был уставлен стаканами с компотом и горкой высился крупно нарезанный белый хлеб.

Они сидели на траве возле столовской стены, пили сладкий до одури компот из сухофруктов, заедали пересохшим хлебом с жесткой, до угля пропеченной коркой. Ветер дул от фабрики, и они задыхались от запаха пригорелой каши. Разговор шел вяло, пустой бессодержательный разговор. Он спрашивал у нее, кто остался на новую смену из его отряда, получалось, никто. Он спрашивал о водителях, о директоре, ему было неинтересно спрашивать, ей неинтересно отвечать. К тому же, когда она поставила поднос на траву и шутливо произнесла: «Прошу к столу!» — приятели моментально уселись вокруг подноса, как замороженные, потянулись к компоту — пить хотелось зверски, и он тоже вынужден был последовать их примеру и сел. А она осталась стоять. Он предложил ей сесть рядом, но она словно не расслышала, и вот они разговаривали, довольно нелепо глядя друг на друга. Он глядел снизу вверх, и взгляд соскальзывал на ее стройные, до черноты загорелые ноги, овеваемые выгоревшей цветастой юбкой. Она прислонилась к стене и задником стоптанной тапочки непринужденно почесывала одной своей прелестной ножкой другую. Этого ей показалось мало, она наклонилась и принялась скрюченными пальцами расчесывать икры, загар шелушился и срывался из-под ее крепких ногтей. В том, что она эдак вот стоит и чешется, было еще одно унижение: как она выглядит перед ним и его приятелями, ей безразлично. На вопросы она отвечала невпопад и смотрела не ему в глаза, а все куда-то вниз, и в конце концов ему стало казаться, что она поглядывает на поднос и ждет, чтобы он поскорее освободился.

Как это уже бывало с ним, от полного отчаяния в нем проснулась способность к юморному трепу, он начал вспоминать свою смену, какие-то казусы, шутил довольно забавно, приятели заулыбались, она тоже, а после одной особенно удачной шутки она рассмеялась своим замечательным тихим смехом, и ему почудилось, что еще не все потеряно... о сеновале не речь, но, может быть, прогулка в лес, может, просьба прокатить ее на велике...

Но ничего не последовало, она отсмеялась шутке и снова принялась почесываться и поглядывать на поднос и на опустевшие стаканы. Теперь она терлась спиной о стенку, терлась самозабвенно, выпятив острые лопатки — что за черт, что за чесотка напала на нее?!

Парни из старшего отряда прошли обратно из столовой и вновь поприветствовали ее, а высокий и красивый явно обозначил их особые отношения — на этот раз он не ограничился воздушным поцелуем, а повелительным жестом отозвал ее в сторону, и они о чем-то переговаривали. Правда, недолго. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что у подавальщицы идет новая жизнь, ее окружают новые

парни, а он — ее далекое и забытое прошлое, к которому нет смысла возвращаться.

Обратный путь, против ожидания, дался легче. Жара спала, а прежние подъемы теперь стали спусками. Тяжелые велосипеды великолепно разгонялись, возникал прохладный ветерок, сушил пот, охлаждал горящие щеки. К вечеру тракт опустел, машины почти не попадались, и тройца ехала не гуськом, а рядом, заняв почти все полотно дороги, так было веселей. У предводителя пробега на переднем колесе велосипеда был укреплен счетчик, неумоимо пощелкивающий. За этот счетчик он ухватился, как за спасительную палочку-выручалочку, и то подсчитывал, сколько они уже проехали и сколько осталось, то предлагал посоревноваться в определении дальности до ближайшего поворота, то предлагал гонку на километр сходу. Он расхваливал приятелей за долготерпение и выносливость и всячески обсуждал тот факт, что сегодня они побили все свои предыдущие рекорды по дальности пробега. Он всячески нажимал на спортивную сторону поездки, и постепенно получалось, что ездили они именно из спортивного интереса, а вовсе не ради лицемерия какой-то там девчонки. Если утром он неосмотрительно изобразил из себя лихого покорителя девичьих сердец, то теперь усердно восстанавливал свой прежний, знакомый им образ спортивного паренька, закадычного дружка, для которого, как и для них, девчонки почти не существуют, и никакого трепета они не вызывают в их мужественных душах. Он все обращал и обращал в шутку свои утренние рассказы, словно бы сознавался в розыгрыше и извинялся за него — выходило, не распалив их воображения несуществующей «его» девчонкой, он не соблазнил бы их отправиться в столь тяжкий и долгий путь...

Он болтал без умолку. Приятели молча слушали его, накручивая педали. Впоследствии оба рано женились, а ученик токаря, ехавший все время чуть впереди и тяжело ерзавший попкой по тяжелому, продавленному седлу, к тридцати с небольшим годам ухитрился стать отцом шестерых детей.

Когда первого сентября он отправился в школу, первой, кого он встретил, оказалась «физичка», до тех пор бывшая в его представлении женщиной высокого роста. Они встретились на подходе к школьному зданию. Он поздоровался растерянно и смущенно — оказалось, он вымахал куда выше «физички». А когда вошел в класс, то и там волшебным образом изменилось его представление о соучениках: половина класса оказалась низкорослыми крепышами. В спортзале стоял ростомер. На первой же перемене одноклассники потащили его меряться. Он встал спиной к рейке, сверху его прихлопнули мерной линейкой. Четырнадцать сантиметров за лето!

Бабушка умерла перед новым шестьдесят четвертым годом, вскоре сестра с мужем переехали в отстроенную кооперативную квартиру. Он остался один в двух опустевших комнатах, полновластным хозяином своей судьбы, неоспоримым распорядителем своего одиночества. Он мог жить, как заблагорассудится: затаскивать в дом ватаги друзей и устраивать пиры до рассвета или запираиться и работать, не отвечая на стук в дверь, мог приходить и уходить, когда ему вздумается. Происходило и то, и другое, и третье, но иногда он просыпался среди ночи с чувством, что если он сейчас не соберет нехитрые пожитки и не отправится на вокзал, чтобы уехать в любую сторону ближайшим поездом, — он погибнет. А в иные бессонные ночи стены шептали ему, что этот дом — его судьба, он должен прожить здесь, сколько бог даст, и умереть тут, как умерли тут мама и бабушка.

Через год он женился, еще через два родилась дочь, все тяготы жизни в неблагоустроенном доме стали особенно явными, он занялся обменом, и вскоре ему повезло: нашлась бойкая дамочка, тайком продававшая свою квартиру. Продавать квартиры в стране запрещалось, был совершен обмен с громадной доплатой, из-за которой он влез в долги на несколько лет. Пришлось, кроме трудов за скромную плату, найти несколько приработков. Взрослая жизнь началась незаметно, сама собой.

Когда выезжал, было тяжелое чувство неверного, нехорошего поступка, предательства, отречения. Он силился придать переезду радостные краски существенной перемены в судьбе — событие отказывалось раскрашиваться в сияющие солнечные цвета. Квартира в многоэтажке, неотличимая от двух сотен других жилых ячеек дома, она радовала, конечно, непривычными удобствами — газовой плитой, горячей водой, ванной, балконом — но не становилась родной.

Он перебрался не так уж далеко от места прежнего проживания — на две троллейбусные остановки в сторону железнодорожного вокзала. Его работа и прочие дела были в центре, и ежедневно он проезжал или проходил мимо старого дома.

У него возникло и закрепилось суеверие: если идет мимо — непременно тронуть ручку парадной двери, а если едет — хоть на миг увидеть ее. Если иной раз забывал или не получалось — в битком набитом троллейбусе чьи-нибудь головы заслоняли окно, он не на шутку расстраивался, видя в том дурную примету.

Когда шел мимо старого дома — в хорошую погоду любил вернуться в новую квартиру пешком — коснуться ручки не забывал никогда. Стесняясь перед прохожими сентиментального жеста, ка-

сался мимолетно, как бы в задумчивости, по рассеянности, не останавливаясь. Изыщная колонка граненого синего стекла свободно проворачивалась в литом латунном подпятнике и еле слышно звякала. Если прохожих рядом не было, он останавливался и обхватывал ручку, вжимая в ладонь ее грани и приветствуя дом товарищеским рукопожатием. Но дверь не открывал и в дом не заходил. Этого не хотелось. Не было желания видеть бывших соседей. А в его комнатах жили и вовсе незнакомые ему люди, с которыми, провернув продажу квартиры, скорехонько и наверняка тоже с доплатой поменялась бойкая дама. Они не интересовали его, и вряд ли он заинтересовал бы их. Как ему было безразлично, кто жил в его теперешней квартире, точно так подобное не могло волновать новых жильцов его старых комнат.

Иногда он заходил во двор. Меж покосившимися дровяниками и вконец обветшавшим бараком с криками носились незнакомые дети. Липа, которую они с бабушкой посадили в сорок пятом, давно уж возвышалась над домом. Пацаненок лез на нее с упорством первооткрывателя, застрял на сучке, рванулся, распорол штанишки и заревел басом на весь двор. Все та же немилосердно воняющая помойка в одном углу и перекрестие бельевых веревок в другом, с линиями штандартами простыней, полотенец, рубах. Ощущение было, как если бы после многих лет открыл любимую книжку детства, полистал, бегло прочитывая, и обнаружил, что это, оказывается, была наивная и пустячная история, изложенная простодушным слогом и иллюстрированная заурядными картинками.

Облик улицы с годами сильно переменялся: ее проезжую часть расширили, подрезав тротуары, брусчатку закатали асфальтом; взамен прежних осветительных столбов, из ошкуренных бревен, с лампами в жестяных конусах, поставили бетонные, с каплевидными светильниками, источавшими тревожный сиреневый свет. Улица стала заметно многолюднее, и год от года густел автомобильный поток, к троллейбусной линии добавились автобусные маршруты. Но дома и дворы долго еще пребывали в первозданном облике.

Первым погиб и исчез занимавший всю внутренность квартала «Сад строителей». На его месте протянулся новый огромный корпус типографии. Где летом на танцплощадке до полуночи ухал оркестр и кружились парочки, и они же удалялись в укромные аллеи и уединенные беседки, где по весне пересвистывались синицы, жуланы, зяблики, и сперва расцветала чистая белизна яблонь и черемух, а потом начинала золотиться акация, еще позже цвел белый и алый шиповник, и, наконец, в начале июля окрестные дворы заполнял медовый запах цветущих лип; где зима топила в высоких

сугробах кусты, ребятишки раскатывали лыжню, проваливаясь по пояс, и испуганные ими тяжелые вороны перелетали с одного дерева на другое, осыпая снежную пыль — теперь здесь высилась многопалубным кораблем ярко освещенная по ночам громада, и внутри нее в любое время года неумолчно грохотали ротации, и бесконечные бумажные полосы превращались в свежие газеты для всего края.

Ранней весной восьмидесятого он встретил на улице одного из бывших соседей.

— Сносят! — заорал сосед вместо приветствия. — Дают квартиры в Парковом! — Он назвал один из районов новой массовой застройки.

Летом в квартал зашли бульдозеры, а вслед за ними приполз на гусеничном ходу кран с «бабой» — подвешенным на стреле чугуном ядром. Бульдозеры сокрушили бараки и дровяники, а «баба» разбила особняки в кирпичную бестолочь, оставив, по обычной небрежности даже и в простой разрушительной работе, кое-где куски стен и печные остовы. Возникший пустырь обнесли, как водится, дощатым забором, выкрасили его грязно-зеленой краской, и на этом преобразование завершилось. Забор постепенно зарастал плакатами, пестрел самодельными объявлениями. В нем, по вечной российской традиции, в нескольких местах были оторваны доски и пробиты лазы. Люди ходили через пустырь к типографии и к другим зданиям, в противоположной части квартала, сокращая расстояние. В теплое время года пустырь облюбовывали питейные содружества.

На исходе зимы восемьдесят пятого года на пустырь снова въехала техника. К этому времени он уже крепко одичал, пророс там и сям колониями репейника, молодыми березками и осинками, обрел вследствие работы грунтовых вод, провалы и наплывы. Гадкий и мерзкий, как всякое заброшенное в городе место, он покрылся толстым слоем мусора. Таивший под загаженной кожей природное тело, он застонал и заскрипел под зубами экскаваторного ковша, как бесприютный и запаршивевший бродяга, упеченный в арестантский дом, под жестким скребком в тамошней баньке.

Экскаватор вгрызался вдоль отбитой колышками черты, оставляя нетронутыми руины домов по красной линии. Ничто не делается в нашем строительстве так споро, как рытье, и к маю ковш пережевал уже половину пустыря, пожирая один за другим бывшие дворы, и устремился дальше, держа строго параллельно типографской громаде. В начальной части котлована уже заливали бетонные фундаменты. Здесь предстояло встать еще одной гигантской печатне, способной закидать газетами и журналами половину Сибири и весь Урал.

Тихими теплыми майскими вечерами на краю котлована иногда появлялся немолодой мужчина, высокий, сутуловатый, в далеко отставшем от моды, просторном темно-зеленом плаще и еще более старомодной мягкой кепке горохового оттенка.

Он взбирался на кучу выброшенной снизу глины, уже успевшей слежаться до каменной твердости, и оказывался в самой высокой точке, откуда превосходно были видны все развернувшиеся работы. Под его ногами в котлован почти вертикально опускалась деревянная лестница.

Край котлована, над которым он стоял, проходил приблизительно там, где стояли дровяники. Далее, как невидимый град Китеж, погрузились в бездну двор, где жил славный переписчик рыцарских романов, и следующий двор, где жил искусный футбольный форвард, и следующие дворы, жителей которых он помнил смутно.

Сегодня, придя в очередной раз, он увидел, что котлован поглотил последний двор, за которым уже высились многоэтажные дома, фасадами выходившие на проспект. Этот последний двор слыл в свое время самым опасным по всей округе — там, в глубине, отделенный от уличных домов рощицей старых лип, стоял барак, где жили сумрачные, подозрительные люди и где чаще, чем в других дворах, вспыхивали драки — и нередко это были тяжелые кровавые побоища, с поножовщиной, с милицией и каретой скорой помощи, в которую, под пристальными взглядами сбежавшейся толпы погружали стонущих, матерящихся, с окровавленными рожамы мужиков.

И вот уже не было ни барака, ни рощицы, лишь одна накренившаяся липа стояла на краю котлована, в недоумении или в отчаянии вскинув над ним корявые руки.

По лестнице из котлована выбирался рабочий. Сверху была видна только его фуражка в брызгах бетонного раствора. Фуражка приближалась смешными рывками. И, наконец, появился ее хозяин, ловко отжался от концов лестницы и вспрыгнул на поверхность. Он стянул фуражку, утер ею потное лицо, снова нахлобучил, достал «Беломор», закурил и дружелюбно глянул на мужчину. Он курил и все поглядывал на дальний конец котлована, и все покачивал головой, как бы удивляясь, что мужчина не догадывается спросить его о чем-то весьма любопытном. Наконец, не утерпев, произнес:

— Дерево видишь? — Он махнул в сторону уцелевшей липы. — Два трупа под ним нашли. Сегодня утром милиция приезжала, эксперты.

Мужчина ничего не ответил, чувствуя, что это еще не вся информация и даже не главная.

— Ну, трупы — это как сказать. Одни кости. Ни мяса, ни одежды. Эксперт сказал: самое малое, тридцать лет пролежали. А то и больше.

Что-то шевельнулось в памяти мужчины. Барак, подумал он.

— Ну, глубоко их закопали! — продолжал рабочий. — Серьезно отнеслись. Но кто, кого, за что — теперь концов не сыщешь... А ребята наши как лопухнулись! Экскаваторщик, который отрыл, первым ведь был — только наклонись. Нет. А майор, только приехал, сразу в черепушку — р-раз! — Он показал, как куда-то влезают скрюченные пальцы. — И золотую фикса выдернул. Эх, вы, говорит, не догадались.

Мужчина тоже полез за куравом. Синеватый дымок поплыл на майском ветерке. Мужчина курил болгарскую сигарету «Опал», стоя на окаменевшем гребне глиняной кучи, над бездной, поглотившей, как океан Атлантиду, его детство. Сорок лет назад он, оставаясь в этой же точке, стоял бы на крыше собственного дровяника, а справа, из распахнутого окна дома его могла бы окликнуть бабушка. Золотая фикса... Но их тогда было сколько угодно — парней с фиксами, фальшивыми накладками на вполне здоровых зубах. Фикса у наиболее солидной шпаны и у бывших или будущих уголовников была таким же обязательным атрибутом и опознавательным знаком, как, скажем, брюки дудочкой у стилига в пятидесятые годы или очки в тонкой металлической оправе у партработников в семидесятые.

И потом, сорок лет — не тридцать. Хотя, эксперт сказал «самое малое». Это могли быть они, два таинственных незнакомца, остановившие его сорок... нет, если быть точным, тридцать девять лет назад, неподалеку отсюда, на улице, против сберкассы, тоже, кажется, весной, только в холодный, ветреный день. Да, было зябко; он не мог вспомнить, как был одет сам, но отчетливо вспомнил облик незнакомцев. Один, постарше, был в брезентовом плаще, глухо застегнутом под горлом, в суконной фуражке неизвестного ведомства, с неясным следом сорванной эмблемы на тулье. Другой, молодой, в солдатском бушлате, туго затянутом ремнем с отдраенной пряжкой, в сапогах, по тогдашней моде, с вывернутыми голенищами, в брюках напуском.

Они стояли посередине тротуара, и он, приближаясь, почувствовал: сейчас его о чем-то спросят. Он принял их за приезжих и с готовностью остановился сам. Он любил давать пояснения, гордясь тем, что знает в этой округе все: и многих живущих здесь людей, и местоположение учреждений, магазинов, остановок. Эти, показалось ему, спросят, где ближайшая «американка» — распивочная, где на скорую руку можно было выпить стопку водки. Ближайшая была за углом, в стене городского сада. Но он ошибся.

Молодой остановил его, положив руку на плечо:

— Слышь, пацан... — произнес он тем самым неразборчивым голосом, который возникал, когда говоривший почти не открывал губ — такое произношение было обязательной манерой у шпаны и уголовников. Мальчик насторожился. Но старший отстранил приятеля и вежливо спросил:

— Мальчик, ты не очень торопишься?

Он заверил, что ничуть не торопится.

Тогда старший расстегнул плащ, полез за пазуху и вытащил хрустнувшую на сломе красную бумагу — тридцать рублей.

— Сходи в сберкассау, разменяй, пожалуйста.

Купюра достоинством в тридцать рублей была для мальчика довольно значительной ценностью, и он не так уж часто держал в руках такие крупные деньги. Ничего удивительного, если напомнить, например, что в те времена кирзовый мяч для игры в волейбол или футбол стоил двадцать четыре рубля и на него складывались всем двором. Мальчик поэтому с уважением и к доверенной ему сумме и к серьезности самого поручения сунул купюру в карман куртки (вспомнил, сам он был в парусиновой куртке, под ней — свитер) и отправился через дорогу в сберкассау.

Выполнив просьбу, он вернулся и протянул старшему пачку пятирублевых бумажек. Старший, однако, не шевельнулся, деньги взял молодой.

— Х-хо! — выдохнул он с чувством удовлетворения, затем отделил от пачки одну бумажку и протянул мальчику. — За труды. Бери, бери, — добавил он, заметив его смущение, и ласково очерился. Тут у него во рту вспыхнула золотая фикса.

Мальчик взял. Он следил, как они неспешно удалялись по тротуару, минуя один дом за другим и, наконец, вошли в ворота последнего двора — того, где в липовой рощице стоял барак с дурной славой.

Они скрылись, а он пошел дальше, по своим делам, теперь уж не вспомнить, каким — да и не изменились ли моментально его планы в связи с тем, что он нечаянно стал обладателем приличной суммы? Да, он шел, приятно переживая встречу с незнакомцами, и тут только вдруг почувствовал что-то странное в том, что произошло. Почему они сами не могли зайти в сберкассау? Уж не собирались ли они ее ограбить? Но что нового они могли узнать, послав его туда? Они даже не спросили его ни о чем. Но что-то преступное, что-то, чего он не мог понять, содержалось в их странном поручении.

Больше он никогда не видел эту странную парочку. Тогда он, конечно, не придал этому никакого значения. Но теперь подумал: странно.

Если жили в бараке — как бы они не попались ему на глаза еще хоть раз? Или они остановились там ненадолго у знакомых?

— Не было на одном из них солдатского ремня с пряжкой? — спросил он у рабочего, который как раз затынулся догорающей папиросой, швырнул окурки и собирался уходить. — Ремня солдатского не было на одном?

— Какой ремень? Говорю же вам: одни кости...

И все же... Это могли быть они. Но тогда, что же — в бараке жила шайка фальшивомонетчиков? Господи, неужели так могут выглядеть фальшивомонетки — шпанистый парень и мужик в обтерханном брезентовом плаще? Или их держали на подхвате: производить размен фальшивок? Но за что тогда было убивать? Кто знает, какие страсти разгораются возле печатания фальшивых денег... Что-то не поделили, в чем-то были заподозрены... А может, их и убили в тот самый вечер — оттого он их больше и не встречал? Подумать только, треть века пролежали встреченные им незнакомцы под дурным баракком, в ста шагах от него... Какая страшная жгучая тайна, прямо-таки как в романах Дюма...

Рабочий ушел. Над котлованом висела, покачиваясь, бадья с бетоном. Из ее щелей обрывались и падали тяжелые капли.

Он сбежал с глиняной кручи, и это маленькое ускорение напомнило о прыжках с крыши дровяника на мягкий, пахучий опил...

Он вошел в пространство двух бывших комнат его семьи и остановился возле багровой кирпичной руины голландской печи. На выходе дымохода из топки, на кирпичном уступе, питаясь нанесенной за несколько лет ветрами скудной горстью почвы, стояла крошечная, напоминающая игрушечные деревца японских искусников, березка. Он приблизился, осторожно раздвинув полой плаща жгучие стебли молодой крапивы и ломая каблуком мощный куст репейника, в котором почерневшие перезимовавшие стволы перемежались свежими зелеными телами. Была еще лебеда в легкой осыпи белесовато-желтого цветения и иные дикие травы, названия которых он не знал.

Он заново воздвигал исчезнувшие стены и вновь оказывался в пространстве, казалось бы, навсегда погибшего детства.

— Чтобы вспомнить, где что стояло, нужно плясать от печки, — пошутил он для самого себя.

Вон там, слева, стояла кровать бабушки. Правее — кровати его и сестры; вот странно, свою он помнил, а сестринскую, какова она была, напрочь забыл и напрасно силился вспомнить. Рядом стояли две так называемые «варшавские», с никелированными шарами на столбиках, кровати отца и матери. Вот здесь стоял царь-буфет. Здесь — книжный шкаф. Здесь — кожаный диван с валиками. Почему их

называли кожаными? Неужели это была настоящая кожа? Вряд ли. Однажды они с сестрой расшалились и кидались диванными валиками, а потом увлеклись другой забавой, и один валик укатился к порогу, бабушка вошла, запнулась, упала и сильно расшиблась. Редкий случай, когда он нечаянно причинил боль, он запомнился и вспоминался сейчас. Над диваном на стене, на гвоздиках висели фотографии в рамках, запомнилась лишь одна: сын бабушки, неведомый ему дядька, погибший в войну. До войны дядька был актером захолустного театра где-то в Казахстане, бабушка хранила вырезку из местной газеты с рецензией на какой-то спектакль, где дядька упоминался в одной строке, в ней он был похвален за убедительно сыгранную им роль красноармейца. На фотографии дядька стоял на паровой палубе, опершись на ограждение. Строгое, не лишенное черт мужской красоты лицо и рассеянный грустноватый взгляд. Но более фотография запомнилась не портретом, а странной конфигурацией: узкий, вытянутый сверху вниз ромб.

А здесь стоял обеденный стол. Великолепный дубовый стол, раздвижной, с перекрестьем, для прочности соединявшем его ноги, на досках этого перекрестья столь прелестно было сидеть и таиться от взрослых, скрываясь под далеко опущенными краями льняной скатерти. Был не только стол, но и дубовые стулья вековой прочности, окружавшие его, это называлось — обеденный гарнитур, ого-го! Сегодня такой не купишь ни за какие деньги. Когда выезжал, он оставил и стол и стулья новым жильцам, дурацкие были годы, старую мебель стали считать устаревшей рухлядью, ах, какой идиот! Еще, слава богу, хватило ума увезти буфет. Один из стульев к этому времени сломался, неудобно было оставлять в подарок, и он попытался сжечь его в печи. Дрова прогорели, а вставленные среди них ножки и спинка едва обуглились, вот такой это был дуб. Мореный — кажется, так?

Он столь явственно погрузился в прошлое, что непроизвольно сделал шаг в сторону, а потом еще шаг и еще несколько — не мог же он торчать из середины стола, или стоять внутри буфета, или по горло в ящике пианино.

Бабочка с оранжевыми крылышками прилетела и запорхала в его комнатах. Присела на крапивный лист, сложила крылышки, обнажив менее яркую, чем лицевая сторона, изнанку. Посидела, вспорхнула вновь.

Он провел ладонью по краю обеденного стола. Здесь садились пятером, умерла мама — вчетвером, ушел отец — втроем, умерла бабушка — снова втроем, с сестрой и ее мужем. Выехала сестра... За столом пировали его друзья, тазик винегрета, дрянной портвейн

в грубых бутылках ноль семь, горки хлеба, зеленый лук, помидоры, стихи в недолгой тишине, крики, вопли, шутейные здравицы, горячие споры до утра, содержание которых улетучивалось невосстановимо.

В июле пятьдесят второго на столе был расстелен ковер, на ковре стоял гроб, а в нем лежала смуглая, с черными запекшимися губами женщина. Крышка была косо прислонена к стене возле дивана.

Мощное тело репейного куста пронизывало стол и гроб. Оранжевая бабочка прихотливыми рваными движениями пересекала то стены, то окна, то печной ход.

Это было, как в калейдоскопе, когда встряхиваешь трубочку, и цветные стеклышки в мгновение меняют узор. Крапива, репейник, лебеда, порхающая бабочка, но чуть встряхни — воскресный обед за раздвинутым столом, глубокие тарелки на льняной скатерти, тяжелые ложки и вилки темного серебра, стеклянная солонка в крупных треугольных гранях, горка хлеба на резном деревянном блюде с вырезанным по ободу изречением: «Не красна изба углами, красна пирогами». Бабушка, мать, отец, сестра, он сам, звяканье ложек, замечание отца: «Не хлюпай!» Лето, жаркий, сулящий вечернюю или ночную грозу, душный день, и потому в тарелках багровел свекольник с белоснежной кляксой сметаны, предварительно остуженный в погребе, вобравший прохладу его влажной каменной облицовки; за столом не молчат, идет разговор, губы шевелятся, но слова не различимы, голоса не слышны. Еще встряхни — тот же стол, вместо скатерти снят со стены и расстелен ковер в густой коричнево-красной вязи восточного орнамента, а на нем гроб, а в нем смуглая женщина. Встряхни еще — порхающая бабочка и с черными перезимовавшими и свежими зелеными стволами репейник.

Встряхни еще — мальчишка в парусиновой куртке бежит куда-то по важным мальчишеским делам, его останавливают двое, у одного во рту мягко светится фикса, мальчик идет в сберкассу, держа в руке красную денежную бумагу и немного дивясь необычному поручению. Встряхни еще — и милицейский майор, скрючив пальцы, деловито стаскивает с помертвело-почерневшего зуба золотую коронку. Летит бабочка, бежит мальчик, в предгрозовый день смуглая, с запекшимися губами женщина задыхается от удущья, плотная черно-синяя туча накрыла пыльные дворы, летит бабочка, немолодой сутуловатый мужчина стоит возле кирпичной руины, над котлованом висит громадная ржавая бадья, из щелей срываются капли раствора, шлепаются на застывший бетон, неровным метрономом глухо чмокая: чвак... чвак-чвак... чвак... чвак... Летит бабочка, бежит мальчик, летит бабочка, стоит мужчина, летит бабочка.

На выпускном школьном вечере, после того как были выданы аттестаты зрелости и прозвучали прочувственные речи директора и учителей, пожелавших ученикам счастливого пути, он впервые в жизни выпил вина. Он не пил и не курил, считая себя спортсменом. Его, выросшего за одно лето на десяток с лишним сантиметров, взяли в настоящую волейбольную команду «Динамо» — за мальчиков. Игры, тренировки доставляли ему наслаждение. Тренер сказал, что у него хороший удар, но слабый прыжок — и он стал накачивать ноги, бегая всюду по лестницам, мучая себя сотнями приседаний. О том, чтобы выпивать и курить, не могло быть речи.

Но когда, по окончании официальной части выпуска, мальчишки впервые задымили папиросами в открытую, при учителях, а на столах были раскупорены бутылки, он понял, что не выпить с одноклассниками нельзя. Он выпил целый стакан сладкого приторного портвейна. Он боялся, что сразу опьянеет и все поймут, что он пьет впервые и не умеет пить. Но ничего страшного не произошло. Более того, оказалось, от вина становится веселее и все вокруг превращаются в милых, прелестных людей. Захмелевшие мальчишки обнимались, клялись в вечной дружбе, несли чепуху, также вел себя и он. Ближе к ночи вывалились на улицы, куролесили, пели песни. По всему городу бродили стайки выпускников и выпускниц. Мальчишки в праздничных белых рубашках, а некоторые неумело нацепили галстуки. Нарядные девочки в белых передниках, с пышными бантами в косах, а иные уже перешли на прически взрослых женщин, со взбитыми и вздернутыми у висков накрутками или с кокетливо накрученным на лоб. Мальчишки задирали девчонок, возникали стремительные знакомства, группки сходились и расходились. В одном месте обнаружилась стихийная танцплощадка: кто-то шел по городу с патефоном. Звучала бессмертная «Рио-Рита». Мальчик не умел танцевать, но вино продолжало оказывать свои волшебные свойства. Он храбро облапил какую-то девушку и топтался в обнимку с ней на асфальте, дрожа от прикосновений к ее горячему телу.

В предрассветный час потянуло зябким ветерком, и брызнул дождь. Танцы прекратились. Были перепеты все песни, выкрикнуты все глупости. Стали разбиваться на кучки, расходиться. Мальчики тащили к С., где будет вино и придут какие-то очень привлекательные девчонки. Он обещал прийти, только заглянет домой, чтоб не потеряли. Но домой он не пошел. Он поднялся на Горку.

Не было ни души. Только внизу, невидимые в зеленых завесах набережной, девушки пели охрипшими за ночь голосами: «Любимый город может спать спокойно...» Потом они прошли дальше, и

над Горкой повисла тишина. В ней раздались странные звуки: легкое цоканье, как если бы неведомо откуда возникли миниатюрные лошадки. Из переулка вытянулась стая бродячих собак. Впереди бежал вожак, пес с мощными лапами, вислым животом, он бежал боком. Пробегая мимо мальчика, ворчливо огрызнулся.

После недавнего дождя все вокруг мокро блестело. Чугунные лягушки, окружавшие бассейн, даже на взгляд были холодны. Он все-таки попробовал присесть на любимую, ту, что мордой смотрела на крыльцо бывшей церкви. Спина у лягушки была ледяной. Пучеглазая морда бесстрастно взирала на светяющийся мир. Чтобы согреться, он обежал бассейн, размахивая руками.

Рассвет подступал нехотя и был таким серым, словно предстоял не жаркий летний, а унылый осенний день. Пока не взошло солнце, следовало принять решение. Решение чего? Понятно, чего. Жизнь, ограниченная школой, закончилась, и следовало начинать какую-то другую. Желательно было хорошо поразмыслить. Но пустынная Горка вместо мыслей подсовывала картинки прошедших лет. Вот парк. По-прежнему красивый, небольшой, крепко стиснутый городскими кварталами. Каким громадным и таинственным он казался когда-то. Вот Дворец пионеров, с шахматным кружком, куда так и не вышло прийти. Родная улица. Здесь они гоняли на велосипедах с условием не держаться за руль. Вот пустырь, где играли в футбол, и однажды мяч улетел под колеса троллейбуса. Колесо сплющило мяч, но он не лопнул, а вылетел из-под него, как камень из пращи, и чудесным образом сам вернулся в игру. Далеко внизу, где заворачивает трамвай, он ударил карманника, а потом брел обратно, боясь увидеть кровь и гибель.

Не отвлекайся, говорил он себе. Нужно что-то решить, пока не взошло солнце. А дальше будет поздно? Дальше будет поздно. Так надо: пока не взошло.

Но оно уже обозначило себя, пусть еще невидимое: за купами тополей в парке небо розовело, пропитываясь все ярче и ярче, темная масса листвы разделялась на миллионы листьев, каждый был резко очерчен и влажно сверкал. Наконец, оно возникло само, прожгло нижние ветви деревьев, сквозную ограду сквера и ударило в глаза чугунных лягушек, но они не отвернулись, продолжая безучастно взирать на еще один налетевший на них рассвет.

Он смотрел вслед солнечным лучам. Простригая вершину горы, они летели над крышами, чердаками, флюгерами, над неподвижным прудом, от которого струился пар, они ударили в окна зданий на том берегу, прожгли их насквозь, подожгли далекие вершины невысоких гор и понеслись дальше на запад. Где-то дремала темная таин-

ственная Москва, а к ней отсюда летели огненные спицы очередного рассвета.

Вот что: ему надо вслед за ними, в Москву. Только там он станет кем-то, кем хочет стать, не зная, кем хочет. Но там — станет. Надо только обязать себя. Хорошо бы сейчас дать клятву, как Герцен с Огаревым юношами на Воробьевых горах... Но он не чувствовал себя ни Герценом, ни Огаревым, и рядом не было ни Огарева, ни Герцена.

Ладно, без клятвы, но нужно что-то отринуть, отрубить детство, расстаться с ним безжалостно раз и навсегда.

Он окончательно продрог и зашагал домой. По-прежнему не было прохожих, и длилась тишина. Только одинокая машина, натужно ревя, одолела гору и беззвучно, с выключенным мотором, укатила к центру.

Бабушка была уже на ногах, она растопила печь, готовясь поставить в духовку, в честь окончания внуком школы, его любимый пирог со сливовым повидлом.

Мальчик прошел к письменному столу и достал блокнот, в который теперь записывал стихи. Он листал его, перечитывал свои содания и снисходительно посмеивался. Еще никогда они не казались ему настолько бездарными. И с такими стихами он размечтался стать поэтом? Это и есть детство, с которым следует расстаться незамедлительно. Он швырнул блокнот в печь, вдогонку ударом кочерги вбил его меж поленьев. Но это было еще не все. Была еще первая тетрадка, со стихами ребенка, записанными вперемешку старательным детским почерком и беглой рукой покойной мамы.

Он не доставал ее уже лет пять и, можно сказать, забыл о ее существовании. Она отыскалась в одном из ящичков. Именно в ней тайлось прошлое, которое следовало уничтожить.

Бабушка замешивала тесто и негромко напевала свой любимый романс: «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что день, то короче к могиле наш путь...» У нее был приятный грудной голос, и прискорбные строки в ее исполнении звучали не столько печально, сколько иронически.

Он решил посмотреть на тетрадку так, словно она чужая, принадлежит неизвестному мальчику и он видит ее впервые.

Обложка выдавала принадлежность тетрадки пионеру послевоенных лет, глубоко проникшемуся жизнью Страны Советов. Посередке было выведено: «СТИХИ». Ниже шли рисунки, сделанные чернилами: гусеничный экскаватор, из его ковша обильно сыпался уголь, наращивая высокую кучу конусом; из множества труб завода шел густой дым; мчался поезд, на груди паровоза значились буквы «ИС» — «Иосиф Сталин». Под рисунками ви-

лась объяснительная подпись: «ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН». Вверху обложки, венчая все оформление, красовался тщательно, до мелочей срисованный орден Победы. Забыв, что тетрадка принадлежит неизвестному поэту далекого прошлого, мальчик вспомнил, как в изображении ордена ему особенно нравилось выводить зубчики между лучами звезды.

Он пожалел первой губить замечательную обложку и выдрал начальный лист со стихотворением, сообщавшим, что скоро осень и дети радостно побегут в школу. Он снова открыл печную дверцу и сунул листок — не швырнул, а сунул, смущенный своим бережным движением. Пламя просочилось, пропитало лист, по нему заплескали крошечные сполохи, но он не рухнул, а так и стоял на углях, выгнутый волной, и чернила не выгорали, можно было прочесть почти все строки. Но вот он почернел и рассыпался. Тяга унесла черные лепестки в гудящий зев печи.

Долго ли я буду помнить глупый сгоревший стишок, подумал мальчик. Надо еще, чтобы он сгорел в памяти.

Он прицелился к следующей странице, но рука остановилась. Следующее стихотворение было записано мамой, ее тонким изящным почерком. Огонь весело гудел в полной готовности принять очередную жертву. Ставшие сквозными поленья образовали некое архитектурное единство, в печи сгорал маленький игрушечный город. За кухонным столом возилась и негромко напевала бабушка.

Мальчик вернулся к письменному столу и запихнул тетрадь в самый низ ящика, под высокую стопу школьных учебников и альбомов для рисования. Рука при этом наткнулась на какой-то предмет, таившийся в углу. Это оказалась рогатка. Растопырка из обрубка веток, с тщательно примотанной проволоками тугой резиной. Оружие для стрельбы камешками образца приблизительно сорок седьмого года. Зачем он сохранил ее?

Мальчик вертел в руках рогатку, натягивал и отпускал с легким щелчком резиновую тетиву и обводил неспешным взглядом комнату, снова пытаясь представить, что он попал сюда впервые, перед ним жилище неизвестного мальчика. Письменный стол с небольшим бюро на столешнице, из ящичков бюро доносился не выветрившейся за годы запах маминых лекарств. Самодельные полки с книгами. Платяной шкаф. Табурет в углу за печью. Массивная «варшавская» кровать с потускневшими никелированными шарами, навинченными по углам спинки. А когда-то здесь стояла деревянная кроватка, и он спал или ползал в ней и вставал на ноги, перебирая ручонками по перегородкам. Он просыпался, прерывая страшные сны, и над ним склонялись лица бабушки и мамы.

Комната отказывалась становиться впервые увиденной. Она была его жилищем, скромным и, пожалуй, убогим, бесконечно родным.

Что-то подсказывало, что здесь он проживет очень долго. Может быть, всю жизнь. Здесь он станет взрослым, потом состарится. И все, какие ему отпущены, годы проживет с мечтой переменить судьбу и характер, взорваться, уехать, умчаться, как любят призывать жизнерадостные песни советских композиторов, в неизведанные края. Стать КЕМ-ТО, а сейчас он НИКТО.

Но этого не произойдет. Не уедет он ни в Москву, ни в какие-то неизведанности. Не уедет никуда и никогда.

1979, 2002.



В Л У Н Н О М С И Я Н И И

ЗАДАЧА

1

Как всегда, ровно без пяти шесть солнце поднялось над дальними горами и осветило аккуратные кварталы города А. Лучи легли поперек широкого прямого шоссе, ведущего в город Б и обсаженного с обеих сторон тополями. Тени от тополей делили шоссе на равномерные отрезки, делая его похожим на школьную линейку. У начала шоссе, обозначая городскую черту, стояла высокая прямоугольная башня с циферблатами на всех ее сторонах. Вскоре шесть торжественных ударов проплыли над городом, и он ожил: на улицах появились участники задач и среди них пешеход.

Он с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух, к которому примешивалась тончайшая водяная пыль. Бассейн уже действовал. Тротуар возле него вибрировал от работавших под землей насосов. Из двух широкогорлых труб обрушивались водопады, над ними в столбах водяной пыли блуждала радуга. В середине бассейна вода закручивалась воронкой, уходя в третью трубу. Пожалуй, это была самая красивая задача в городе. Где-то кому-то предстояло решать ее с помощью довольно хитрых вычислений, пешеход же мог воочию убедиться, что уровень воды неподвижен.

Бассейн, окруженный просторным газоном высокой травы, лежал у подножия холма, а вершину занимала центральная площадь, и с нее был виден весь город и окружавшие его равнины. По заведенной привычке пешеход затратил некоторое время на круговой обзор. Он уговаривал себя по-прежнему любить город А, хоть и давно убедился в его полной схожести с городом Б. И тут и там кварталы были нарезаны безупречными прямоугольниками. И тут и там вокруг центральной площади располагались жилые районы, а за ними теснились фабрики, заводы, электростанции, ремонтные мастерские, склады, гаражи; за городской чертой простирались поля, огороды и пас-

тбища. В полях, в золоте спелого хлеба, равномерно продвигались комбайны, выкрашенные в алые и кремовые тона; над темной зеленой огородов сверкали струи дождевальных установок; и только неровные в очертаниях и пестрые по цвету стада на пастбищах нарушали строгую геометрию всего видимого; однако и они, пешеход знал это, неукоснительно выполняли свою задачу, поедая траву на отведенных им участках в заданном раз и навсегда темпе. Беспереывная, слаженная работа шла всюду, никто не медлил и не торопился, никто не опаздывал, не делал более того, что полагалось, и менее того. Все было подчинено условиям задач, задачи же были заданы, и не стоило спрашивать, отчего именно такие, а не другие, и зачем они существуют вообще. Никто и не спрашивал...

Ровно в семь пешеход пересек тень башни и очутился на шоссе. Он участвовал в нескольких задачах. Эта, утренняя, заключалась в том, что, выйдя в семь утра из города А и двигаясь со средней скоростью четыре километра в час, следовало к десяти утра достигнуть города Б. Отсюда для сведущих в решении подобных задач возникала возможность вычислить расстояние между городами.

Шоссе шло строго по прямой, не имея ни одного поворота, и было плоским, как стол, за исключением того места, примерно в середине пути, где протекала спокойная, в отлогих песчаных берегах река, и через нее был переброшен красивый горбатый мост. Иногда пешеход сравнивал себя с маятником, который качается между городами А и Б. Когда он удалялся от А, то с сожалением расставался с ним, но по мере приближения к реке это чувство ослабевало, а когда он взбирался на мост и с его самой высокой точки открывался вид на оба города, он посылал мысленное прощание городу А и с нарастающей симпатией к городу Б начинал спускаться к нему с вершины моста. На обратном пути все это повторялось в обратном порядке.

Неподалеку от моста всегда купались мальчишки, их голоса весело звенели над водной гладью. Впрочем неверно было говорить, что они купались: они участвовали в своей задаче и проплывали вдоль берега определенные расстояния, каждый раз за определенное время.

В городе и за городом не было ничего такого, что не выполняло задач, ничего, служившего каким-нибудь другим целям. Смысл жизни был столь очевиден и великолепен в своей определенности, особенно по утрам, на первых шагах по шоссе, когда прохладный воздух, напоенный ароматами полей, обвевал щеки, шею и грудь пешехода, идущего со скоростью четырех километров в час по огромной линейке, исчерченной тенями от тополей. Условие следует выполнять для

того, чтобы задачу можно было правильно решить, задача же существует для того, чтобы ее решали, и делали это правильно. И точка.

Пешеход затруднялся припомнить, с каких пор эта очевидная точка начала превращаться в запятую, и вслед за двумя ясными утверждениями забрезжило нечто зыбкое, некое дополнительное соображение, а возможно, вопрос. Нельзя сказать, чтобы это ощущение занимало его надолго, но в последние дни оно приходило все чаще и уходило все медленнее. Особую тревогу вызывало такое, казалось бы, прямо не относящееся сюда обстоятельство, как его разочарование в городе А. Ему перестал нравиться облик родного города, а заодно и города Б, иных же городов не существовало. Неизвестно отчего, но это был очень тревожный знак, признак надвигающейся беды. Что-то должно случиться с ним или с городом, но с городом ничего не могло случиться, ибо случаи располагаются во времени произвольно, а в городе А властвовала точность. Значит, беда родилась и подрастала в нем, в пешеходе, и могла означать только одно: нарушение точности. Мрачность предчувствия, к счастью, сильно смягчалась сейчас знакомым видом пустынного шоссе, золотым сверканием колосьев по одну его сторону и сочностью оттенков, украшавших по другую сторону цветущий луг. «Нарушение точности?.. Как бы это могло выглядеть? Так, что ли: шел я, шел да вдруг и уселся прямо на обочине и никуда дальше не пошел. Или разлегся в траве и задремал?» Подтрунивая над собой, пешеход произнес это чуть ли не вслух и в ту же минуту так явственно увидел, как он именно «вдруг» садится на гравий, просыхающий на солнце, местами уже сухой; да, запросто, в непринужденной позе усаживается, оперевшись за спиной обеими руками и привольно раскинув ноги, — что, при всей дикости подобной картины, он невольно отдалился от обочины, ближе к осевой линии проезжей части, и поднял голову повыше, желая побыстрее заменить нелепое видение привычной красотой утренней равнины.

За спиной послышалось пение мотора. Он оглянулся, чтобы убедиться, что это, как всегда, старенький грузовик, чьим ежедневным утренним делом было перевезти груз из А в Б за пятнадцать минут. Да, это был он. Знакомый водитель высунул из окошка растопыренную пятерню — его обычный приветственный жест. Грузовик профырчал рядом, обдал сладковатым запахом отработанных газов и быстро удалился. Впереди, на асфальте, засверкала точка. Пешеход поравнялся с ней и, не останавливаясь, косо, по-птичьи глянул: это была капля смазочного масла. Через десяток шагов он увидел следующую, затем еще и еще. Ощущение беды коротко всколыхнулось в нем; впрочем в каплях не было ничего зловещего и опасного; напротив, они были красивы, словно кто-то раскатил по асфальту пригор-

шню граненых бус, вспыхивающих под солнечными лучами. Нет сомнений, грузовичок благополучно докатит до Б.

Сзади раздался предостерегающий звонок: на этот раз его обогнал велосипедист. Они коротко кивнули друг другу. Все в тот же город Б велосипедисту следовало прибыть за тридцать минут ровно. Красивый рослый парень, он, как всегда, был одет нарядно и, пожалуй, даже щегольски. Широкие плечи были обтянуты белоснежной рубашкой с синим отложным воротником, трепетавшим на ветру. Вскоре он умчался далеко вперед, но все еще был виден, как яркое сине-белое пятнышко. Оно чуть покачивалось из стороны в сторону и при этом становилось все меньше, меньше, а затем — или показалось? — сдвинулось в сторону и перестало уменьшаться. Еще не ускорив шага, пешеход уже понял, что произошло с сине-белым пятном. Он удивился, что теперь, когда беда стала действительностью, это поразило его меньше, чем ожидание, когда она произойдет...

Велосипедист сидел на обочине и осторожно ощупывал голеностоп правой ноги. Колено левой было разбито в кровь. По рубашке шла широкая грязная полоса, словно лента победителя в гонке. Велосипед лежал на боку посередине шоссе. Лужица масла, на которой поскользнулся гонщик, брызгами разлетелась по асфальту.

Увидев пешехода, велосипедист подмигнул ему, и это залихватское движение мало соответствовало потрясению и ужасу, читавшимся в его взгляде. Пешеход протянул руку и помог подняться. Велосипедист поставил машину, влез в седло, обращаясь с собственными ногами неуверенно и бережно, словно с только что выданным и еще не опробованным инвентарем, а когда нажал на педали, не смог сдержать стона. В этом месте подъем, ведущий к мосту, только начинался, но машина сразу пошла тяжело, и вскоре велосипедист медленно-медленно покотил обратно вниз, навстречу пешеходу. Они поравнялись, и пешеход придержал машину: ему показалось, велосипедист снова упадет. Тот тяжело дышал, из колена по-прежнему, и даже обильнее, сочилась кровь, он промакивал ее ладонью, той же ладонью утирал лоб, лицо было в крови и грязи. Солнце уже заметно поднялось над горизонтом. Начинало припекать. Над лугом плясали бабочки. Из-под моста доносились крики и визг купавшихся мальчишек.

Впервые за все время служения задаче среди таких же, служивших своим задачам, перед пешеходом находился человек, не имевший сил выполнить свою задачу. Никто никому не помогал в городе А, и он тоже, в этом не было нужды. До сих пор. Была ли запрещена помощь? Пожалуй, нет. Во всяком случае он никогда не слышал о таком запре-

щении. С другой стороны, в городе А никто не чувствовал общей ответственности за выполнение всех задач. Пешехода тоже не интересовали задачи, в которых он не участвовал. Он не считал, что они менее важны, чем его, но это были чужие задачи, и он за них не отвечал.

«Что ж, — подумал он, — в конце концов нам по пути...».

Обвиснув в седле, велосипедист смотрел на сочившуюся кровью коленку, он все еще не сказал ни слова с той минуты, как они встретились. Пешеход уперся левой рукой в седло, исподлобья взглянул на велосипедиста. Тот благодарно кивнул и нажал на педали. Поначалу дело оказалось нетрудным, подъем был пологим, но это было еще предмостье. Но вот по обе стороны шоссе побежали столбики и перила ограды, и тяжесть сразу возросла, пришлось упереться в седло обеими руками и уменьшить угол между своим телом и дорогой. Гонщику тоже не мешало покрепче нажимать на педали — он и старался, но быстро дошел до предела.

Краем глаза пешеход следил, как подымается мост, а вперед он старался не глядеть. Мост превращался в бесконечность. Пешеход считал шаги, договариваясь сам с собой посмотреть вперед через пятьдесят, а потом еще через пятьдесят... Кроме того, что горели легкие, и сердце бухало, как колокол, и лился едкий пот, мешало нараставшее чувство страха, неизвестно перед чем, и злобы, неизвестно на что. Казалось, он не толкает гонщика и его машину перед собой, а тащит их, привязанными к своим ногам, и гонщик не только не берет на себя часть усилий, но и еще цепляется за столбики ограды непомерно разросшимися руками...

Наконец они перевалили верхнюю точку подъема, прошли — проехали, пробежали — короткую пологую часть, и начался спуск. Сердце продолжало возмущенно лупить по ребрам, и дыханию еще не скоро предстояло вернуться к обычной спокойной работе, и радужные круги текли и скользили в капле пота, застлавшей взор, а он вдруг почувствовал огромную, неведомую до сих пор радость победы; и с изумлением понял, что за все время подъема ни разу не подумал ни о своей задаче, ни о задаче велосипедиста, а был всецело поглощен задачей преодоления подъема. Он забыл о порученной ему задаче и поставил перед собой другую, не нужную никому, кроме него, и выполнил ее. Вот откуда была эта радость, разлившаяся во всех мускулах и клеточках его тела; взбудораженный ею, он в несколько шагов разогнал велосипедиста — словно раскрутил камень в праще — и тот, даже не успев поблагодарить, вскоре замелькал далеко внизу скачущей цветной горошинкой. Пешеход смотрел, как грязноватое сине-белое пят-

нышко, растворяется в солнечном мареве. Затем он сам бегом спустился с моста, влетел на хрустящий гравий обочины, затормозил на нем — камешки брызнули из-под ног и мелко простучали по асфальту. Позади высился исполинский горб моста, великан, казалось, был обижен и озадачен своим поражением...

Густая, высокая трава начиналась сразу от обочины. Не веря тому, что делает, пешеход вошел в нее осторожно, словно в воду незнакомой реки, и, неловко повалившись боком, улегся на мягкую пружинистую подстилку, и стебли сомкнулись над его головой.

2

Гром не грянул и земля не раскололась. Только потревоженный жук с лаковой черной спинкой упал откуда-то прямо на щеку пешехода, пробежал, щекоча мельчайшими лапками, соскользнул в ямку ключицы. Пешеход выгреб его оттуда и отбросил в сторону.

Ничего не случилось, а между тем он прекратил переход из города А в город Б со скоростью четыре километра в час, с непреложной обязанностью завершить путь к десяти часам. Он освободил себя от задачи и, так как никаких других обязательств у него не было, освободил себя от всего. Он был абсолютно свободен. Он мог пойти к реке и там купаться рядом с мальчишками. Мог пересечь луг и добраться до далекого леса. Мог уйти в поля, по которым плыли комбайны. Он представил, с каким ужасом смотрели бы комбайнеры на пешехода, бесцельно гуляющего среди полей.

Жук с лаковой черной спинкой — возможно, тот же самый — подымался по толстому стеблю цветка. Добравшись до соцветия, он начал переваливать через край лепестка, но лепесток не выдержал тяжести, и жук сорвался. Вскоре он снова полз по стеблю, снова сорвался и снова начал свое, видимо, бесконечное путешествие.

«Жук доползает от подножия стебля до его вершины за. ..секунд. Какова скорость жука, если высота стебля ..см?»

Он щелкнул ногтем в крепкую спинку, она раскололась и выпустила усеянные черными пятнышками крылья. Они помогли жуку превратить беспорядочное кувырканье в полет, он улетел и больше не появился.

«Нас двое. Двое, прекративших свои задачи, я и жук. Кто еще?»

Ему показалось, что на солнце набежало облако и на лицо его легла тень. Нет, небо оставалось чистым, это под порывом ветерка качнулось огромное соцветие перезревшей ромашки. Тень, однако,

осталась — тень мысли, которую он медлил впустить в сознание, хоть и понимал, что она уже возникла и вошла, тогда он попытался помешать ей облечься в слова, но одно все-таки пробилось и прозвучало, одно-единственное, твердое, холодное, краткое: «Цель».

До сих пор его целью было выполнение задачи, и это были однообразные действия, иногда приносящие радость и покой, иногда раздражающие своей повторяемостью, а сегодня они показались ему унижительными. Он способен на большее, он, к примеру, одолел мост — впрочем и это не самое большое, на что он способен. Он чувствовал, что несет в себе предназначение к чему-то совсем иному. К чему? Выполнение задачи было скромной целью, а может, и ничтожной — он понятия не имел о значении своей задачи, знал лишь, что важно соблюсти ее условия, а важна ли она сама, просто не представлял. Но при всей ее скромности и ограниченности задача была понятна как цель и наполнена небольшим, строго очерченным смыслом. Каков же был смысл в его теперешней свободе? Какова цель того, что с ним произошло и будет отныне происходить? Где и как он собирается употребить эту свою свободу, когда все вокруг продолжают выполнять свои задачи? Кем он станет в их глазах — примером или вечным укором? В этом маленьком мире, состоящем из двух городов, дороги между ними, полей, лугов и реки, нет ни едином щелочки, куда можно было бы протиснуться и попасть в иные обстоятельства. Этот маленький мир создан для выполнения задач, и даже солнце, дающее ему тепло и жизнь, служит задаче и существует для нее. Освободить себя от задачи оказалось не сложно и не страшно, но в этом мире нет ничего, что заполнило бы образовавшуюся пустоту. Вполне возможно, пешеход из задачи — не единственное его предназначение и не самое главное, но иное надо искать в другом мире, под другим солнцем. Для этого следовало поверить в существование других миров и отправиться на их поиски. Он попробовал вообразить иные миры... Они начинались, возможно, там, за стеной леса, или там, за горами, или там, за бездонной чашей неба... Но, даже если они и существуют, иные миры, в них происходит то же самое, в них служат своим задачам, на том стоит все сущее. Правда, он, пешеход, только что выполнил личную, никем не заданную задачу — победил мост. Может быть, разгадка кроется здесь — мир может перемениться, задачи могут стать своими, личными, внутренне необходимыми? Это будет прекрасно для каждого в отдельности, но каким образом тогда усилия, мечты и задачи каждого сольются в общую жизнь, которая сейчас так слитна и слаженна в этом тесном мире двух городов, дороги, лугов, полей и реки?

Эти новые для него и все более туманные и горькие мысли привели его наконец в полное отчаяние. Опомившись, он увидел себя

стоящим на коленях, с крепко зажатой в кулаке горстью травяных и цветочных стеблей. Не понимая, зачем, он принялся выдирать их с корнями, словно в обнажавшейся земле скрывалась мучившая его разгадка, а потом ткнулся лбом в мягкую прохладную землю, в корни трав, в которых едва заметно пульсировала — неужели тоже выполнявшая задачу? — жизнь. Тихое ровное гудение пришло к нему. Сперва показалось — это гудят соки, выкачиваемые корнями из почвы, и он подивился тонкости своего слуха, но потом понял — и мгновенно взорвавшийся в нем страх подкинул его на ноги.

С моста скатывался еще один грузовик, обычно обгонявший его перед самой башней города Б, и это несоответствие лучше всяких часов показало ему, насколько он опаздывает. Он метнулся на обочину, и гравий захрустел под ногами, он побежал, а когда пение грузовика приблизилось, обернулся и вскинул руки.

Ясно различимый за лобовым стеклом водитель бросил на него взгляд, полный изумления и сочувствия, но и не более того; пешеход тут же вспомнил, что этот водитель — из задачи, где предписана постоянная скорость, и, разумеется, он не мог уменьшить ее ни на ничтожную долю; а главное, по лицу водителя было видно — ясно понимая беду пешехода, он никак не представляет себе возможности участвовать в чужой задаче. Неучастие в чужих задачах — на этом стоял здешний мир! Когда он, пешеход, взялся помогать велосипедисту, он уже тогда совершил нечто неслыханное, неподобающее, вот отчего велосипедист не посмел заговорить с ним; а ведь тогда казалось, что он еще ничего не нарушает, главным его условием было время в пути, скорость предписывалась средняя — время же он не собирался нарушать, когда впервые уперся в седло велосипеда и зашагал к мосту; но теперь было ясно, что этого не следовало делать ни в коем случае, это уже было началом его бессмысленного бунта.

Борт грузовика пролетел рядом. Он прыгнул и вцепился в него, в следующее мгновение показалось, что руки оторвались и умчались, сомкнутые до судороги на жестком обрезе борта. Затем резкая боль сменилась тягучей, пронизала все тело; все же он удержался благодаря тому, что нащупал ногами скобу под кузовом. Несколько раз от толчков он терял эту ненадежную опору, болтал ногами в воздухе, извивался, как червяк, снова находил ее и снова срывался, а ладони вспотели и начали съезжать с борта. За мгновение до того, как он понял, что силы кончились и пальцы разожмутся, он разжал их сам и, как мог, оттолкнулся от борта. Как ни странно, он даже удержался на ногах.

Не более чем в пятидесяти шагах высилась башня, и стрелки на часах показывали ровно десять. Первый удар тяжело проплыл в горячем воздухе. С последним, десятым, пешеход пересек тень башни

и достиг города Б. Он прошел через его знакомую повседневную суету к центру, где так же, как в А, шумел бассейн. Он подошел к самому краю. Туча водяной пыли обдала его горящее лицо. Косые тени крыш лежали на газоне. Солнце стояло на так высоко, как казалось. День еще только начинался.

1965.

ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ

Голова к голове, тело к телу — плотно, как солдаты в строю, стоим мы в коробочке. Заботливо упакованы нежными девичьими руками. Куда нас направят, не знаем. Но чувствуем подъем, желание выполнить долг. Никто не объяснял нам, в чем он состоит, — он возникает в нас, едва выскакиваем из отливочной машины, родившись из капель расплавленного свинца. Приятное ощущение, когда тебе горячо; как это бывает с первыми ощущениями новорожденного, оно глубоко запечатлевается и становится на всю жизнь постоянной потребностью, то есть мечтой.

Коробочка к коробочке нас укладывают в ящик. Прикосновение теплых пальцев через картонную стенку... Возникло... Исчезло... Хлоп-хлоп-хлоп! Ящик заколочен. Вздогнуло днище... Поехали. Еще много раз будет замирать и вздрагивать наш крепкий надежный ящик, наша славная казарма. Остается только воображать, как нас перегружают из кузова грузовика в чрево товарного вагона и везут, везут, везут в дальние дали — надо думать, в другую страну. О, даже когда ничего не видно, путешествие прекрасно — оно приближает нас к выполнению долга. Дремлем под стук колес. В снах я снова становлюсь горячей и куда-то лечу, приближаясь к заветному, искомому...

Я — пуля. Калибр семь целых пятьдесят шесть сотых, вес восемь и девять десятых грамма. Из остальных анкетных данных главное — отношение к воинской повинности. Я — военнообязанная, чего и вам желаю. Убедена: воинская повинность должна распространяться на все организмы, предметы и устройства. Военнообязан весь материальный мир. Возьмем такую незамысловатую вещьцу как складной стул. Если в нем развалился дачник и, посасывая курительную трубку, любит дубовой рощей и красками заката на черепичных крышах, — трудно представить себе положительное отношение складного стула к воинской повинности. Но если на нем сидит офицер, распорядившийся в данную минуту важной боевой операцией?.. Казалось бы, трюизм. Но я хочу подчеркнуть: военнообязанными должны чувствовать себя все. Только так может быть обеспечено правильное мировоззрение в современном нам мире, где военные действия —

венец любых усилий, конечный результат любых предприятий, последний аргумент в любом споре.

Несколько слов о моем моральном облике, буквально несколько. Говорят, что пуля любит убивать, что у нас особое, приязненное отношение к смерти. Неправда! Мы любим жизнь. Выпущенные из ружейных, автоматных или пулеметных стволов, мы хотели бы лететь вечно; и когда встречаем преграду — это трагедия, распад личности, катастрофа. Мы убиваем не от абстрактного желания и не от врожденной тяги к убийству, нет. Когда понимаешь, что тебя затормозили серьезно и навсегда, что полет прекратился, ненависть захлестывает душу, и начинаешь мстить. В этом смысле мы с одинаковым чувством убиваем человека, остановившего наш полет грудью, и, допустим, стену, подставившую свои кирпичи.

Нас привезли. Склад. Покой, тишина. Текут дни. Раздражает безделье. Неподвижность все тягостнее.

И однажды...

Скрип раскрываемых ворот... Наш ящик поднимают, выносят... Рев автомобильного мотора, немилосердная тряска... Приехали. Ящик вытаскивают и швыряют. Глухой удар о землю. Слышен треск раздираемой оболочки. Я лежу в верхнем ряду. Толчок — взяли соседнюю коробочку. Не исключено, что следующая очередь — наша. С огромным любопытством прислушиваюсь... Топот ног, окрики, лязганье металла. Отрывистая команда: «Огонь!»

Залп! Его звук пронзает меня сладкой болью и завистью к подругам, ощутившим в этот миг, что такое полет; догадываюсь: им сейчас горячо, славно, как в первую минуту рождения.

Крики. Стоны. Пауза. Два одиночных выстрела.

Снова пауза. Отдаленные голоса грубо подгоняют кого-то.

Сильные пальцы крепко обхватывают нашу коробочку... А-ах!!! Нас распахнули! Успеваю увидеть: широкая поляна, залитая солнцем. Сочная зелень листвы. Поодаль, на складном стуле, забросив ногу на ногу, сидит офицер. На нем красивая серая форма, изящная черная нашивка на рукаве. Фуражка с высокой тульей. Он похлопывает по сверкающим голенищам сапог. Отдает короткие спокойные распоряжения. Солдаты в такой же серой форме, только более скромной, энергично взаимодействуют с группой мужчин весьма утомленного вида. Общая веревка, которой они связаны, едва помогает им удерживаться в шеренге...

Дальше не вижу: меня выдергивают из коробочки. Шелк-шелк — и я в тесноте механизма. Волнующе пахнет смазкой и пороховой гарью. Что-то сильное, тугое вталкивает меня еще глубже. Ощущение долга растет. Все вместе — я, механизм, умное устройство, дославшее

меня в патронник, — мы едины по отношению к чему-то очень важному, к чему-то самому важному, что только может быть в мире! Мы сильны этим единством и горды им. А если вспомнить о тех замечательных людях, что придумали меня и сконструировали многозарядный автомат, и о тех, чьи старательные руки добывали свинец, изготавливали станки, строили ружейные заводы, и о тех, кто учил солдат быстро и правильно пользоваться мною, если вообразить себе этот обширный круг людей и вещей... Подумать только: не кто-нибудь, а именно я отправляюсь их гонцом, вестником их мощи, ее полномочным представителем... Мысленным взором я окидываю пространства и времена, становища народов и глубины эпох. Я вижу гениальных выдумщиков, творцов пороха. Остроумных механиков и изобретателей. Вижу гигантские заводы. Толпы инженеров. Армии рабочих. Нянечек вижу, неусыпно бодрствующих в родильных домах, в заботе, чтобы мои будущие создатели благополучно и во всем большем количестве появлялись на свет. Вижу поля, тучные хлеба, трудолюбивых крестьян, — надо кормить моих будущих создателей, и хорошо, сытно кормить. Легионы учителей усаживают их за парты, преподают им родной язык и элементарный счет; затем на этом родном языке им объясняют простейшие знания, чтобы позже перейти к законам плавления металлов, кинематике, баллистике, газодинамике, ко всему грандиозному своду знаний и умений, без которых я не могу быть создана.

Поистине, среди миллиардов людей нет ни одного, кто не имел бы ко мне никакого отношения. Кто может поспорить со мной в этом? Господь бог? Но у людей нет одного бога. Я — бог, в которого верят сразу все!

Все плюс я — и против нас некто, стоящий на траектории моего полета. Я ему не завидую. Кто он и что он? Не знаю. Ствол направлен в землю. Я смотрю через длинный тоннель, по стенкам которого красиво извиваются спиральные борозды. Вижу упругие травинки. Букашка переползает со стебля на стебель. Червячок пробурил влажную почву и вертит головкой. Пробежал муравей. Крошечные следы его лапок. Все это любопытно, но где небо? Дайте взглянуть на небо!

И вот команда:

— В ружье!

Ствол качнулся и замер. Картина изменилась. Неба по-прежнему не видно, но возникло нечто не менее интересное: преграда, о которую я разобьюсь. Я вижу свою смерть. Кто никогда не сидел в тесном патроннике, у истока ствола, в последние секунды перед выстрелом, не поймет, какая это смесь отчаяния и восторга. Сейчас начнется полет, будет движение, скорость, станет радостно и горячо. Но в эти

секунды, когда, находясь в полной неподвижности, видишь размеры оставшейся жизни, видишь место, где погибнешь... этому не подобрать слов.

Моя преграда прикрыта грязной изношенной тканью. Трудно определить, гимнастерка ли это или обыкновенная рубашка. Через отверстие ствола не разглядеть ни фигуры, ни лица. Я еще не знаю, стар он или молод.

Тишина словно бы сгустилась. Догадываюсь: офицер привстал со складного стула и поднял руку. Сейчас прозвучит одно короткое слово — и...

Но вместо этого разносится вопль. Яростный, хриплый. Это моя преграда посылает проклятия. Рядом кто-то рыдает. Перекрывая эти звуки, не имеющие никакого влияния на то, что сейчас неизбежно произойдет, наконец раздается:

— Огонь!

Страшная, еще более могучая, чем мне представлялось, сила ударяет меня, извините, по заднице! Лечу по спиральным бороздам, они врезаются мне в бока, заворачивают. Оборот... второй... третий... Скорость растет фантастически. Мелькает дульный срез, и я выскакиваю на волю.

Полет хорош в любом виде, не правда ли? Но я еще и возвращаюсь! Восемьсот сорок метров в секунду и тысяча двести оборотов в минуту, но сами по себе эти данные не выражают ничего. Небо и солнце, лесная опушка и горы вдаль, цветущая поляна, снова небо, солнце летят на карусели! А впереди... Молодой он или старый, так и не разберешь: лицо в грязи и подтеках крови. Глаза уставились в ствол. Его реакции недостает, чтобы понять, что я уже появилась и приближаюсь. В его ушах звучит грохот выстрела. Вспышка пламени — максимум того, что ему успело прислать зрение. Но он еще надеется на чудо: увидеть свою смерть, как я вижу свою. Разглядеть, как из маленькой дырочки выпрыгиваю я — ладненькое свинцовое тельце — и устремляюсь к нему. А я давно вылетела и успешно преодолеваю расстояние между стволом и преградой. Мне радостно и горячо, как в самом раннем детстве. Полет возбуждает фантазию, мечтательность, хочется петь, декламировать...

Я пуля, я философ!
Из множества вопросов
один меня волнует
из века в век, от века:
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА!

Вот оно, чудо полета: сочиняю стихи! Кто бы мог подумать? Возможно некоторое несовершенство формы, но что вы хотите: я всего лишь горячая капля свинца, взвинченная скоростью.

Очарованною пчелкой
забиваюсь прямо в шелку,
прямо в сердце, как в середку
медоносного цветка.
Ах, простите мой стихийный,
мой порыв, мой аппетит,
вянет, вянет сей цветочек,
оземь лепесток летит...

Интересно, работает ли сейчас поэтическое воображение у НЕГО? Возможно, и он представляет меня злой горячей пчелкой, которая сейчас вопьется ему в грудь и ужалит. Но, может, я для него — гроза, молния, выскочившая из узкой синей тучи, непостижимое явление природы, гром среди ясного дня. Не исключено, однако, что у него техническое мышление, и он воспринимает меня объективно: тело параболического сечения, разогнанное до скорости в восемьсот сорок метров в секунду, разогретое до трехсот восьмидесяти градусов по Цельсию и, благодаря этим незаурядным параметрам, способное пронзить биологическую массу на глубину восьмидесяти сантиметров. Поставьте людей в затылок друг другу, и я дойду до третьего, лишь четвертый останется неуязвимым.

...Лицо его искажено гримасой. Тут и страх, и ненависть, и, отдадим должное, мужество; проглядывает даже вера в какие-то убеждения. Милый мой, неизвестный мне, погибающий организм! Верить можно только в меня, только я — неотразимый аргумент в споре, единственная надежда победить в столкновении идей. Если бы не я, жизнь на планете превратилась бы в бесконечную и бесплодную дискуссию, ибо сколько людей, столько представлений, и еще никто никого не убедил в своей правоте одним говорением слов. Чтобы прекратить деятельность мозга, вырабатывающего идеи, противоположные вашим, бесполезно прибегать к слезам. Следует остановить вражеский организм, и самое удобное — вывести из строя питающий его насос — сердце. Эту работу наиболее быстро, аккуратно и дешево может выполнить небольшое металлическое тело вытянутой формы, пущенное с определенной скоростью. Пуля. Я.

Над поляной летит бабочка. Медленно вздымаются огромные оранжево-черные крылья. Жаль невинное создание, но мне не дано распоряжаться своей трассой. Я ударяю воздушной волной, вдавливаю крыло, прожигаю в нем огромную дыру — и все это за четверть его взмаха...

Он, видимо, что-то кричит. За то время, что я лечу, губы его успевают немного округлиться — для первого звука.

Я приблизилась. Вижу грязные струпья на щеках. Капельку слюны в углу рта. Напрягшийся кадык. Вижу мельчайшие складки одежды. Тусклую латунную пуговицу нагрудного кармана. Только бы не угодить в нее, это будет слишком больно. Слава случаю, я пройду рядом. Ветхая ткань при моем приближении быстро разогревается. Темное пятно ширится на ней. Обнажилась кожа. Прожигаю ее и — страшный удар! Кость! От чудовищной боли я расплющиваюсь, но ненависть прибавляет сил: грызу, прогрызаю, буравлю, проламываю ребро. Вокруг все шипит, кровь оmyвает и охлаждает меня. Теряю сознание.

Через некоторое время прихожу в себя от приглушенного скрежета лопат. Слышу, как на нас сыплются камни и комы земли. Теперь это его могила. А моя могила — его сердце. Но он умер, а я похоронена живо и обречена на вечные муки: на холод, неподвижность и тишину. Вот цена за счастливую секунду полета, за верность долгу. Все это мясистое, мягкое, окружающее меня, превратится в прах и смешается с землей. И кости истлеют и обратятся в порошок. А я буду ждать годы и годы, и века, пока подземная влага не разложит мой свинец на окислы и не превратит меня тоже в мертвое ничто.

Так и происходит. Идут годы. Сырость покрывает меня незаживающими язвами. Я жива только воспоминанием: полет, синее небо, цветущая поляна, стихи... Мое горячее дыхание плавит крыло бабочки, снова — небо...

Я НИКОГДА НЕ УВИЖУ НЕБО. ГОДЫ ИДУТ. ДЕСЯТКИ? СОТНИ? НЕ ЗНАЮ.

Но вот, с некоторых пор, начинаются слуховые галлюцинации. Знакомые звуки: рев двигателей, лязганье металла. Они глухо доносятся сквозь толщу земли. Нет, это не галлюцинации! Однажды земля вздрагивает, возникают толчки; внезапно — мощный сдвиг, подъем, падение — рушится туча земли, песка и пыли, и среди этих частиц падаю я. Потом все успокаивается, пыль садится, и я вижу... небо!

Господи ты боже мой, я вижу небо. Я лежу на гребне земли, сброшенной ковшом экскаватора. Местность неузнаваема. Лесная поляна, где на складном стуле сидел офицер в красивой серой форме с черной нашивкой на рукаве и где по его команде стволы поднимались на уровень сердца... — Ничего этого не было. С высоты гребня открывался вид на оживленную городскую площадь. Громоздились многоэтажные здания, сновали пешеходы, по ярусам эстакад лились потоки автомобилей, а на высоком постаменте стояла гигантская, отлитая в бронзе фигура. Что-то знакомое почудилось в ее облике. Вывернутые за спину руки. Гневное, изможденное лицо. Округленный в крике рот. Позвольте, поз...

Это был ОН! Вот так так! Он, тот самый, с которым я тогда расправилась в мгновение ока, тогда бессильный, шатающийся, хрипящий, сейчас, тысячекратно увеличенный, высится над огромным городом как средоточие некоей славы, а мне затмевает половину небес! Значит... это был — герой. Выдающийся герой, достойный такого величественного памятника. Гордиться ли мне, что в его героической смерти есть и доля моего участия? Но что толку? Он отлит в бронзе и прославлен на века, он — герой, а я — никто и ничто, я — ничтожное нечто, случайно вышвырнутое на свет во время ремонтных раскопок. Вот как оно обернулось. Я смотрю на темный силуэт, за плечами которого идут облака, и не чувствую больше радости от возвращения к жизни.

Мальчуган с разбегу взобрался на вершину земляного гребня. Сел, снял сандалии и принялся их выколачивать. Потом увидел меня. Цепкие пальчики поднесли меня к любопытным и приветливым глазам. Рот округлился, как у того, бронзового ныне, но с иной целью: теплая струя воздуха сдула с моих боков налипшие на них крошки. Как давно я не ощущала тепла, как стосковалась по нему.

Вдруг новая, куда более горькая мысль пронзает меня: главное вовсе не в том, что я — ничто, а ОН — герой. Главное, что ему поставлен памятник. Понимаете? Нет?! Да ведь если ему поставлен памятник, значит, победили ОНИ, а не МЫ!! Если бы ОНИ проиграли, разве МЫ позволили бы им поставить памятник своему герою? Да еще такой гигантский!

Я всматриваюсь в бронзовую фигуру. Она покрыта патиной. Значит, стоит здесь давно. Многие десятилетия. Столь же давними выглядят и здания, отделанные камнем по фасаду, и стволы деревьев в сквере у постамента. Все солидно, прочно, устойчиво. Что все эти годы здесь не было военных действий — очевидно. Но, может быть, война идет где-то далеко отсюда?

Мальчуган подбросил меня на ладошке, тяжесть при крохотных размерах приятно удивила его. Он одобритительно произнес:

— Тяжеленькая!

Я понравилась ему. Он мне — нет. Слишком мил, спокоен, безмятежен. И так же спокойны и приветливы прохожие, в том числе и молодые мужчины призывного возраста. Кстати, все они атлетично сложены, высоки, широкоплечи. Силой веет от них. Силой и добродушием. Нет, даже если бы война шла где-то далеко, это наложило бы отпечаток на лица. Когда страна воюет, даже в самом ее глубоком тылу не может быть такого обилия спокойных лиц.

Последняя, самая ужасная догадка зреет во мне.

Возле мальчика остановился прохожий. Пожилой мужчина, его можно было бы назвать стариком, если бы не следы былой военной

выправки. Он долго разглядывал меня, а я ждала, почти наверняка зная, что он скажет.

— Старинная вещица... — сказал он.

Да! Моя догадка оказалась верна. Они не только давно не воевали, не только не воюют сейчас, они вообще не воюют, они победили НАВСЕГДА!

А это значит, что ОН и я — последние. Я — последняя воевавшая пуля. ОН — последний воевавший герой. Его бронза будет все больше покрываться благородной патиной, но никогда, ни в одном уголке мира не сверкнет свежей бронзой памятник следующему, погибшему на войне.

Надо полагать, еще и поэтому на его постаменте — россыпь свежих роз. Последнему герою — особый почет. Соответственно, к последней пуле — особое отвращение. Мне еще повезло, что я стала игрушкой у мальчугана, а не лежу под стеклом музейной витрины, снабженная пояснительной надписью, вызывая любопытство и недоумение юных, скорбь и гнев пожилых.

Я смотрю на бронзовую фигуру, затмевающую полнеба. О, еще раз пролететь через бывшую поляну и снова ударить ему в сердце! Но теперь он неуязвим для меня. Он бессмертен. Бессмертен. Бессмертен...

1974.

СПАСЕНИЕ ЖУКА

Детство ребенка проходит в путешествиях.

Сначала он ползал по просторам кровати, утыкаясь лбом в деревянные прутья, не подозревая, что мир не заканчивается пределами ограждения. Однажды он почувствовал, что его ножки окрепли, и встал на них. Голова его впервые возвысилась над ограждением, а глаза увидели неведомую страну. В этой стране мерцали никелированные шары на спинках родительских кроватей, вдали возвышалась гора платяного шкафа, а над горизонтом струился узорчатый рисунок ковра, понуждая взгляд бесконечно бежать по прихотливым зигзагам.

По вечерам отдаленные края страны погружались в полумрак, и над всей местностью властвовал оранжевый, заполненный мягким светом купол абажура, словно сосуд с драгоценной целебной влагой, льющейся без усталости и дарующей теплоту чувств и ясность ума.

Светящийся купол висел, не падая и не подымаясь, и это более всего интересовало мальчика, когда он наблюдал за жизнью комнаты, путешествуя вдоль ограждения и цепляясь скрюченными пальчиками за прутья. Он чувствовал силу своих ножек и ручек и учился управлять их совместными действиями. В нем самом и во всем, что

было вокруг, скрывалось нечто замечательное, все связывающее воедино: это нечто двигало его руки и ноги, упруго прогибалось деревянные прутья оградки, раскачивало его постельку, но оставляло неподвижными мерцающие шары над кроватями, и сами кровати, и шкаф, и удивительный светящийся купол меж потолком и полом; и он часами любовался на это дивное равновесие.

А потом наступили времена путешествий по комнатам — этой, и другой, которая, оказывается, скрывалась за высокой белой дверью, открывавшейся с тягучим скрипом, и таила в себе еще более интересные вещи: черную громаду пианино, в боках которого смутно отражался огромный фикус в кадке, бесконечный обеденный стол, зеркало до потолка, и голландскую печь — круглое тело, обтянутое железом, с дырой, где с легким воем и треском рождался и улетал огонь, добела раскаляя кирпичный свод.

Он завоевывал комнаты, открывая в них замечательные места — такие, как щель между стеной и диваном, как угол за кадкой, где можно было, стоя в рост, прятаться в листьях фикуса; любимое место было под обеденным столом, где, сидя на крестовине, скрепляющей его точеные ноги, можно было наблюдать за огнем в печи. Вот в топку укладывают березовые поленья — даже на расстоянии чувствуется, какие они твердые, промерзшие, ледяные, только принесенные со двора. Можно ли поверить, что они превратятся сначала в груды золотой и алой россыпи углей, а потом и вовсе в жалкую серую кучку золы? Но это каждый раз происходит! Вот крошечный красный язычок зажатой спички робко лижет края берестяной растопки, и светлая береста вдруг на глазах темнеет, вспыхивает, завивается в кольца. А вот и поленья занимают жаром, сперва по краям, потом изнутри. Он силится поймать мгновение, когда очередная частица дерева становится чешуйкой огня, но оно неуловимо, это мгновенье, в безостановочном бурлении огненных струй. Снова и снова всматривается он в границу алого, наползающего на темное: вот оно только что было завитком коры, древесным волоконцем... и вот стало летучим изгибом пламени. Как твердое становится летучим, а холодное — обжигающим, дышащим жаром в лицо? Какая чудесная тайна...

И наступил день, когда он вышел за порог дома и радостно закричал от открывшегося ему космоса дворов, пустырей, переулков, деревьев, колоколен, крыш.

Крыши!

Мальчики любят путешествовать по крышам. Мало есть звуков слаще громахания железа под босыми пятками

К стене дома была приставлена деревянная лестница. Мальчик взлезал на крышу, подымался к ее гребню, где торчала белая печная труба. Он ложился у ее подножия и смотрел на облака.

Если бы в те времена уже летали спутники и если бы спутник пронесся над городами и селеньями края в этот близкий к вечеру час в конце мая и сфотографировал бы их — можно было бы подсчитать сколько мальчиков в одно и тоже время лежат на крышах домов, сараев, дровяников и, закинув руки за голову, следят за движением облачных замков, за полетами птиц и насекомых, либо, не сосредотачивая взгляда ни на чем, бездумно и счастливо наблюдают вечные краски природы.

Но до спутников было еще невообразимо далеко, и даже слух о первых аэропланах не достиг еще далекого провинциального города. Ни один летательный аппарат еще не пробороzdил пространство над ним — оно, как издревле, всецело принадлежало птицам, насекомым и облакам.

Мальчик же меньше всего думал о других мальчиках, лежащих на других крышах и видящих то же, что и он. Наоборот, он ощущал свою уединенность как единственность, он был единственным на весь мир прибором, ведущим свои проникновенные наблюдения за ходом небесной жизни.

Он чувствовал прочное переплетение сил, удерживающих в текущем равновесии все, представшее перед ним в сияющем бездонном пространстве. Облачный замок не падал на землю — его удерживала сила, но он и не улетап ввысь — противоположная сила невидимыми когтями загребала пушистые горсти и не давала им взмыть. Сила одного ветра гнала светлое облако слева направо, а сила другого ветра, живущего несколько ниже, гнала навстречу другое, темное облако, и они сталкивались, вливаясь одно в другое.

Особая сила удерживала птиц в плавном парении, а другая, таящаяся в их крыльях, разгоняла птицу, швыряя ее в крутые виражи.

Облака были далеко, птицы — то далеко, то близко, а ближе всех были жуки, с басовитым гудением проходящие над самой крышей.

Зимою, по вечерам, возле жарко натопленной печи, мама когда-то читала ему сказки. Больше других запомнились приключения мальчика Нильса, улетеvшего далеко на север верхом на гусыне. Если бы стать маленьким, как Нильс... нет, еще меньше... таким крошечным, чтобы можно было уместиться верхом на майском жуке и, оседлав его, направить его туда, к облакам...

Светлое облако ударилось в темное, и они стали вливаться одно в другое, и темное победило, превратив врага в свое подобие. Полнеба заняло одно огромное, все более чернеющее, мрачное многоэтэжье, и из него полетели и зашлепали по крыше отдельные капли, а потом они часто и дробно застучали по железу, а потом полились струями.

Мальчик вскочил и, раскинув руки и запрокинув голову, стал купаться в теплом майском ливне.

Когда все завершилось, снизу донеслось острое дыхание земли, напившейся небесной влаги, тонкий аромат цветочной пыльцы и терпкий запах клейковины, покрывавшей свежие тополиные листья.

Как пушистые космы облака становятся каплями? Непостижимо. Вот они пушисты, и ветер расчесывает их... А вот они тяжелыми струями рушатся на землю, на крыши, сквозь листву кленов и тополей. Но есть же мгновенье, когда пушистое превращается в льющееся, невесомое — в тяжесть, неподвижное — в полет. Это особенное, редкостное мгновенье, когда одни силы — те, что держат в воздухе облачный пух, побеждаются другими, умеющими выделять из пуха капли. Как они это делают? Если б уменьшиться, как Нильс... нет, стать еще во много раз меньше и верхом на жуке залететь в то место внутри облака, где одна сила побеждает другую, и своими глазами увидеть, как невесомые пушинки сливаются в тяжелую каплю...

Кровля быстро просыхала. Он лежал на мокром теплом железе и наблюдал за краем влажного пятна. Сила солнечного тепла неутомимо грызла этот край и откусывала влагу невидимыми кусочками. Они невидимы ему, мальчику — он слишком велик. А вот жукам, наверное, видны эти кусочки. О, жукам видно много такого, чего не могут различить глаза человека. Если бы поговорить с ними. Особенно, с Главным Жуком.

Среди летавших над крышей жуков один отличался особенно важным гудением. Наверное, он и был Главным среди них.

Мальчик загудел, подражая жукам, призывая Главного прилететь для срочной беседы.

И Главный откликнулся!

Издалека донесся его низкий, мудрый голос.

Жук прошел сквозь купы тополей, сквозь ветви кленов, пронесся над крышей, исчез вдали, вернулся и пошел прямо на мальчика.

Он ударился о печную трубу и упал на крышу, скатился по наклонной плоскости и оказался в водосточном желобе — на спине, лапами вверх. Жук барахтался, пытаясь перевернуться, но все, что ему удалось — закрутить себя вокруг собственной оси. Он вращался на своей скользкой спинке, как заводная игрушка, и призывно и тревожно жужжал.

Замечательно! Сейчас мальчик спустится к жуку, перевернет его и тот в благодарность отвезет его внутрь облака.

Но странно: чем дальше он спускался с гребня крыши, тем длиннее становился путь. Железное плоскогорье простерлось на добрую сотню шагов, а стык двух кровельных листов впереди вырос до размера

забора и заслонил жука. Не без труда он вскарабкался на этот забор и, перед тем, как прыгнуть, обернулся: печная труба взмыла в небо, как крепостная башня.

Он уменьшился! Да еще как!

Чем ближе он подходил, тем громаднее становился жук. То, что минуто назад было размером не более скорлупки ореха, превратилось в опрокинутый абажур, величиною подходящий для жилища великанов. Когда он подошел вплотную, оказалось, что он не может даже достать руками до верхнего края полусферы, таким огромным стал жук.

Как замороженный, он устался в медленно проплывающую перед ним поверхность, отполированную до металлического блеска и играющую золотисто-фиолетовыми и смугло-розовыми переливами, — в ней смутно отражались купы деревьев, крыша, печная труба и его собственная фигурка, искаженная, как в кривом зеркале. Жук вращался, как карусель с отключенным мотором, все медленнее и медленнее, и, словно сиденья на кругу карусели, на концах торчащих над обрезом полусферы лап, подрагивали мягкие подушечки, отороченные бахромчатыми висюльками. Вращение сопровождалось басовитым гудением, то замирающим, то вдруг взрывающимся до могучего рокота, сотрясавшего крышу.

Так он стоял, словно околдованный, пока карусель не замерла на месте, как бы приглашая взобраться на нее. Да, на таком жуке можно поместиться, и у него хватит сил поднять малыша в небеса! Но сначала надо помочь ему перевернуться.

Он уперся пятками в изгиб водосточного желоба, а обеими руками — в поверхность полусферы, и начал изо всех сил толкать. Но карусель даже не дрогнула. Нет, его собственных сил тут не хватит. Нужно впрямь какие-то другие силы. Может быть, таящиеся вокруг, может быть, спрятанные в самом жуке.

Он присел на корточки и внимательно осмотрел основание полусферы. Может быть, разгадка таится здесь?

Он сидел и думал.

Багряный свет закатного солнца прощально скользнул по белоснежной печной трубе, а вслед за ним напознала быстро густеющая тень сумерек. Труба мягко белела, грозно украшенная сиреневыми тенями, а купы деревьев над крышей стали неразличимы и только шепот листьев под набежавшим ветерком подтверждал их продолжавшееся присутствие в окутанном тьмой пространстве.

Снизу, со двора, донесся беспокойный голос матери. Она искала мальчика и звала домой.

Голос звучал все беспокойней и требовательней, в нем уже слышались угрозы, а он все никак не мог что-нибудь придумать.

— Подожди, жук, — наконец, сказал он. — Подожди до утра. За ночь я обязательно придумаю, как тебя перевернуть. Но за это ты свозишь меня к облакам. Согласен?

— Да-а-а... — прогудел жук. — Иди-и-и... Я подожду-у-у...

2

Операция, сделанная одним из лучших хирургов страны, прошла успешно. Но старость есть старость. В палате реанимации Конструктор провел более полугода. По настоятельным требованиям медиков все это время он был полностью отрезан от любой информации, касающейся положения дел в его отрасли. Это случилось впервые за долгие десятилетия его деятельности, прославившей его имя в стране и во всем мире. Чем были заняты его мысли эти полгода? Он не делился ими ни с кем -ни с изредка навещавшими его близкими, ни тем более с обслуживающим персоналом.

Когда ему снова позволили вернуться к работе, окружающие увидели как будто бы прежнего человека с тем же острым, пронизательным умом. Но вскоре все стали замечать: старик начал заговариваться. Внезапно, среди сугубо делового разговора, он умолкал, погружался в себя, изредка произнося что-то неразборчивое.

— Что-что? — почтительно переспрашивали коллеги.

Он ничего не отвечал. Оцепенение могло длиться довольно долго.

Однажды он отключился в середине совещания, слушая доклад своего подчиненного. Это не сразу заметили. Но докладчик вдруг понял, что старик не слышит его. Он умолк.

В тишине раздался внятный голос старика:

— Отвезите меня домой.

Его отвезли.

Но на пороге квартиры он неожиданно с силой отбросил заботливую руку сопровождавшего и выкрикнул:

— Не сюда! Домой!

И он произнес название города, в котором родился.

Руководство института провело срочное совещание с медиками. Перенесет ли старик столь далекое путешествие? Но немногословный профессор сказал:

— Воля умирающего — закон.

...Они прилетели на персональном «скарабеусе» Конструктора. Среди бесконечного многоэтажья странным пришельцем из прошлого выглядел дом с нелепой печной трубой, сверху почти невидимый из-за разросшихся деревьев. Они сели рядом с домом, на специальной площадке, по краям которой стояли старинные «скарабеусы», пер-

вые конструкции старика. В этих краях была пора листопада, зябких утренников, переменчивых осенних ветров.

Десятилетия не изменили облика дома. Все так же деревянная лестница вела на крышу. Впрочем, возможно, здесь потрудились искусные реставраторы.

Он был по-прежнему уютен и притягателен, дом его детства. Но старик не пожелал войти в дом. Он направился к лестнице. Сопровождавшие попытались помочь ему и готовы были чуть ли не на руках нести наверх, но он твердо заявил, что полезет сам, и чтоб никто не сопровождал его. Ему не посмели возразить. Сопровождавшие остались у подножия лестницы, с беспокойством следя за стариком и гадая о природе его причуды. Они видели, как он, одолев лестницу, ступил на крышу, наклонился и, шаркая на каждом шаге, стал взбираться по железному склону. Успокаивая дыхание, он подержался за печную трубу. Затем шагнул за гребень крыши и исчез из их поля зрения.

3

Чтобы успокоить дыхание, он прислонился к печной трубе, и она тут же выросла над ним, как крепостная башня. Вскинув голову, он смотрел на выступы на ее вершине. Затем он шагнул за гребень. Железный склон уходил вниз. Перед ним вырос глухой забор. Старик засомневался в успехе, но, к счастью, сила еще сохранилась в его руках и после нескольких неудачных попыток он все же оседлал забор и осторожно, обдирая колени, сполз на другую сторону. Снова открылась железная покатость, ведущая к ущелью водосточного желоба.

Вскоре он вошел в желоб.

«Зачем я иду? — думал он. — Ведь прошло столько лет. Он давно истлел, а прах смыт дождями или развеян ветром...»

«Но ведь я снова уменьшился, — думал он. — Если бы его уже не было, зачем мне удалось бы уменьшиться?..»

ЖУК БЫЛ.

Он покоился на прежнем месте и полусфера по-прежнему отливала металлическим блеском, но теперь не золотисто-фиолетовым и не смугло-розоватым, а синеvато-черным, и отражала приближавшуюся к ней фигурку с седым венчиком волос.

— Ты помнишь меня? — спросил старик, подойдя и робко коснувшись полированной поверхности, источающей спокойный холод.

— Я мальчик из этого дома. Внизу, под этой крышей, я жил с матерью и отцом. Их уж давно нет на свете. А в доме... прости, нескромно, что я сам говорю об этом... Но следует объяснить, почему дом сохранился

— единственный из тех времен. И ты должен знать, что это произошло благодаря тебе. Там, внизу, теперь музей. Я протестовал против прижизненного музея, но они сказали, что я... извини... да, что я прославил свой город, и им хочется, чтобы здесь был музей...

Старик устал от длительного монолога и замолчал. Молчал и жук. От него исходила безнадежная тишина, как от заводной игрушки, у которой давно сломалась пружина.

— Помнишь, как ты ударился о печную трубу и упал сюда и перевернулся? А потом к тебе подошел мальчик и попытался помочь. Он хотел помочь, но не просто так. А чтобы ты в благодарность отвез его внутрь облака, где из пушинок вырастают капли. Но у него ничего не вышло. Мальчик думал до темноты, а потом мама велела ему идти домой. Он был послушным сыном и ушел домой, а тебе обещал, что за ночь придумает, как тебя перевернуть. «Ты подождешь?» — спросил мальчик. И ты ответил ему: «Подожду-у-у...»..

Я думал всю ночь. И я придумал. Я придумал не только способ твоего спасения, но и конструкцию, похожую на тебя, которая могла бы взмывать в воздух. Мне открылись силы, способные это совершить. Я был счастлив! С этой ночи я думал только о своей конструкции, я забросил все игры и перестал подниматься на крышу... И я забыл о тебе.

Второй монолог утомил старика еще сильнее, и он отдыхал еще дольше, чем после первого. В паузе слышно было только слабое погромыхивание приотставшего железного листа на другой стороне крыши, да шорох падающей с деревьев листвы. В какой-то момент старику почудилось, что внутри жука что-то дрогнуло и прозвучало. Он приложил ухо к полированной поверхности. Нет, наверное, это громыхнул железный лист.

— Прости меня... зачем я лгу, что забыл о тебе? Нет, я помнил. Когда я вырос, обрел нужные знания и смог объяснить свое открытие другим людям на языке чертежей и расчетов, свой летательный аппарат я назвал в твою честь — «Скарабеусом». Я помнил о тебе. О тебе, но не о своем обещании спасти тебя. Я мысленно благодарил тебя за то, что случай свел нас и дал толчок моему воображению. Но что до судьбы какого-то жука молодому человеку, впервые познавшему славу и всемирный успех? Я разъезжал всюду, помогая налаживать производство «скарабеусов». На меня сыпался дождь наград и почетных званий. Я неустанно совершенствовал свое детище. Теперь миллионы «скарабеусов» служат людям во всем мире. Как странно — хорошо помню: тогда, той ночью, когда мне явилась идея твоего спасения, а вслед за ней — идея будущего аппарата, я в первый момент подумал о ней как о чем-то побочном, а главным было — что я спасу тебя, а ты в благодарность покажешь мне, как рождается дождевая капля.

На своих «скарабеусах» я много раз летал в облаках, но, конечно, так и не смог увидеть того, что хотел — ведь для этого надо было стать крошечным, а это возможно только, если лететь с тобой. И вот теперь я знаю, как спасти тебя. Но, боюсь, я вспомнил о тебе слишком поздно...

Старик уткнулся лбом в холодный бок полусферы и заплакал.

Что-то изменилось там, под металлическим блеском, под полированным безмолвием. Жук оставался неподвижен, но что-то изменилось. Упругое колебание пронеслось в полусфере и отдалось по всему желобу. Едва уловимое гудение достигло старческого слуха.

— Ты жив?! — воскликнул старик. — Ты... жив, дружище?!

— Жив... жив... — слышалось ему в гудении жука, все более внятным.

В волнении старик застучал кулачком в гулкую полусферу, словно в дверь жилища, где крепко спит кто-то, кого следует срочно разбудить.

— Слушай же меня, дружище! Идея твоего спасения чрезвычайно проста! Ты должен закрутить себя вокруг своей оси, как волчок, закрутить, как можно быстрее, и тогда стихия сама поднимет тебя, и ты обрешь все степени свободы! Давай же, давай!

Он уперся и изо всех сил надавил: полусфера дрогнула и тронулась. Он медленно-медленно поволок ее по кругу. Один оборот. Еще один. Жук не сопротивлялся и не помогал.

— Ну, что же ты?! У меня не хватит сил! Ты должен сам, сам... Да распрями лапы! Раскинь их так далеко, как можешь! Ну же, ну...

Гудение, исходящее из глубины полусферы, усилилось и превратилось в рокот. Толчок, каким жук выбросил вперед и в стороны свои лапы, отозвался громом всей крыши. Обгоняя жалкие усилия старика, он завращался, завибрировал, ускоряясь с каждым мгновением. Старика отшвырнуло прочь и он упал, больно ударившись о железо.

Бешеное вращение подняло жука в воздух! Попад в родную стихию, он ловко перевернулся... и обессилено рухнул, с грохотом встав на растопыренные лапы. Жук глядел на старика сотнями своих фасеток и громоподобно дышал. В каждой фасетке отражался крошечный, опрокинутый навзничь старик с гримасой боли и радости на лице. Жук поводил усами, ощупывая крышу, словно желая окончательно убедиться, что он действительно стоит на собственных лапах. И когда он понял это, усы протянулись к старику и, поддев его под локти, поставили на ноги.

Затем полусфера разъехалась, как разъезжается купол обсерватории, чтобы выпустить, к звездам телескоп. Жук выпростал крылья, и

они легли на крышу. Старик робко шагнул. Под ногами спружинил край крыла. И вот он уже подымался по этому упругому помосту, прогибавшемуся под ногами. Он достиг основания крыльев и обнаружил ложбинку, подходящую для того, чтобы в ней можно было удобно и надежно разместиться. Что он и сделал!

Жук мощно оттолкнулся, крылья взмахнули и засновали вверх-вниз, как гигантские опахала, взвихривая воздух и взметая седые волосы старика.

Они взлетели по крутой дуге и пронеслись среди полуголых ветвей клена. Багровый пятипалый лист, громадный, как праздничное панно, проплыл рядом, раскачиваясь и желая счастливого пути.

Старик бросил прощальный взгляд на землю: там, уменьшаясь с каждой секундой, поворачивалась, пропадала в холодном блеске солнца крыша его дома. А здесь, в небе, их уже поглощала тень облака, а потом и оно само.

Они влетели в пушистый космос, дохнувший ему в лицо свежей ледяной прохладой; в таинственное царство сил, тонкое взаимодействие которых управляло жизнью облака и превращало пух - в каплю, аморфное — в строгую форму, невесомое — в тяжесть...

СЕЙЧАС ОН УВИДИТ ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ!

4

Прошло минут десять, а старик не возвращался. Сопровождавшие забеспокоились. Прошло еще пять минут.

— Идем, — принял решение старший.

Громяхая по железу, они поднялись на гребень крыши и обогнули печную трубу.

Старик лежал на спине, вольно закинув руки за голову, как лежат мальчишки, наблюдая за движением облаков, полетом птиц или безотчетно любуясь вечными красками природы.

Он глядел в небо неподвижным взором. Таким неподвижным, какой никогда не бывает у живого человека, даже если он замер в предельной сосредоточенности перед тем, что разглядывает или силится разглядеть...

Там, над ним, в высоком небе осени, два ветра гнали навстречу друг другу белое облако и темное облако. Облака пришли в соударение и стали вливаться одно в другое. Белое победило. Светлый воздушный замок, холодный и величавый, вознес свои громады от края до края небес, весь в игре легких теней, подсвеченный снизу закатным солнцем.

1988.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Не угодно ли представить жизнь, состоящую из долгих часов непроглядного мрака и кратких, ослепительно освещенных мгновений? Не угодно ли вообразить длительное пребывание в жуткой тесноте и полной неподвижности, внезапно сметаемое взрывом, переносящим вас в простор и стремительный полет в этом просторе? И столь же стремительное возвращение в тесноту?

Скользкая глянцевитая лента туго-натуго скручена в бобину. Лента поделена на тысячи прямоугольничков. Один из них — это я. Угодно вам представить себя прямоугольничком на скользкой глянцевитой ленте — отчасти прозрачным, отчасти проницаемым для светового луча? Прямоугольничком, содержащим в себе нечто ничтожное в сравнении с содержанием всей ленты? То есть мало того, что вы размазаны и заключены в рамку — это еще ладно, бывают и не такие уродцы. Но вы еще и ничтожество, вы ерунда, игра световых пятен и контуров; лишь сращение тысяч таких, как вы, дает какой-то, впрочем, не бог весть какой, смысл. Угодно ли вам жить такой жизнью и не сходить с ума?

Но мы не выбираем своего образа жизни, как не выбираем своего облика и самого факта рождения. Это делают за нас. Некто задумал создать зрелище, достойное созерцания. И вот уж свершается действие: знакомятся, беседуют, спорят, ссорятся, сражаются какие-то люди: любовь и разлука, дружеское застолье, битва, погоня; гремят выстрелы, скачут всадники, текут реки, льют дожди, горят костры. И все это втискивается в дырку, в глубине которой летит жадно восприимчивая к свету скользкая глянцевитая лента, и все влетающее непрерывно целует ленту легкими, но страстными поцелуями, на мгновение впиваясь горячими губами, от страсти заломленными в углах... Двадцать четыре поцелуя в секунду. Знает ли мир более темпераментных любовников? Так рождаемся мы. Так из смеси бездушной механики с обнаженной чувствительностью, из игры в пятнашки меж светом и пластмассой рождается наше зрелище.

Новорожденное зрелище скручено в спираль, как галактика, как символ бесконечного саморазвития. Родившись, оно тут же и умерло до поры до времени, чтобы затем родиться и умирать еще много раз. Свет зачал его, тьма убила, но поднесите другой свет — и оно оживет. Свет — эликсир зрелища и его живая вода, его преобразование и вознесение. Спеленатой куколкой спит наше зрелище во тьме и порхающей бабочкой оборачивается на свету. Затем снова тьма и куколка, и снова свет и порханье. И так до тех пор, пока вконец не выцветут и не истребятся в бахрому сквозные светоносные крылья. Тогда наше зрелище умирает окончательно, и мы вместе с ним.

Но до этого еще далеко. Медленно вращается тугое тело бобины. Мы не чувствуем поворотов, как люди не чувствуют вращения Земли. Но вот лента отслаивается от общего тела, тянется ввысь и превращается в ступеньки бесконечной лестницы, по которой кто-то карабкается из мрачной глубины колодца к сиянию солнечного дня. Эти кто-то — мы... О, наше очередное рождение, судорога под жарким поцелуем светового луча! В простор — из тесноты, в полет — из неподвижности, к тысячам любопытных глаз — из одиночества и уединения!

Во времени людей это происходит молниеносно. Но внутри своего времени я стараюсь не упустить ни одной подробности — ведь это так ненадолго, это короче прогулки пожизненно заключенного, выпущенного из зарешеченной камеры во двор, огражденный высокими стенами, но имеющий над собой кусок неба, настоящего неба, может быть, даже с облаками и тучами, и не исключено, что с ударающим по бледному лицу узника всемилостивейшим солнцем!

Световой луч целует меня, и, осиянный его раскаленной добела страстью, я возрождаюсь и лечу. Прочь сравнения, прочь метафоры, я вижу то, что вижу, и мне интересна любая мелочь. Через мгновение я стану зрелищем для этих тысяч, но сейчас они — зрелище для меня.

Вот я выскакиваю в проекционное окошко, прямо подо мной — последний ряд, где-то далеко-далеко впереди — экран, во всю ширь которого блещет, цветет и переливается мой сосед по ленте, мой братец, мой близнец.

Здесь, на последнем ряду, обычно сидят юные парочки. Не всех привело сюда наше зрелище. Половина вообще не глядит на экран. Я вижу девичью головку, склоненную к плечу юноши. Вижу пару, слившуюся воедино, замершую, как изваяние, склеенную взаимно хищным поцелуем — не поддающимся на разрыв клеем, источаемым созревшей плотью. Вижу руки, грубо облапившие подружку, меж тем сама она вся устремлена к моему братцу, к нашему зрелищу, и в ее полуоткрытом рту наискось замер обкусанный столбик мороженого.

Я пролетаю над рядами. Спины, затылки, макушки... Прически гладкие и пышные, волосы на пробор и дыбом, и нечесанные гривы, и стрижка наголо, и лысина с клочьями седины вокруг нее... Неведомые мне существа — люди. Лица чуть запрокинуты, мертвы в моем синеватом освещении, в неподвижности своих масок и гримас. Молодые и старые, напряженные и расслабленные. Жизнерадостная ухмылка, а рядом — хмурая усмешка, а рядом — нечто невнятное, а рядом — тупое равнодушие. Мужчина и женщина, он весь подался вперед, непосредственно участвуя в нашем зрелище, а ее взгляд пуст, и мысли витают бог знает где...

Я уже вижу их всех, а они меня — еще нет, никто.

Я лечу над ними, сперва крошечный, но все раздаваясь и раздаваясь в размерах, и над первыми рядами пролетаю уже громадный, растянутый вширь и поперек, вот я ударяюсь об экран, разметываюсь по нему от края до края... И становлюсь их зрелищем!

Что происходит с ними при моем появлении? Радую я их или пугаю? Удовлетворяю любопытство, но не более того? Заинтриговываю? Вынуждаю скучать?

Увы, не происходит ни того, ни другого, ни третьего. Они и видят, и не видят меня. Они просто не успевают отличить меня от моих близнецов-братьев. Ведь мы возрождаемся по двадцать четыре братца в каждую секунду. И ленивому человеческому глазу не дано разглядеть меня во всем моем великолепии. Я-то знаю, как я прекрасен. Как только могут быть прекрасны всадник, несущийся во весь опор, и его подобранный в стременах, вышколенный для боевого бега конь, взмывший в прыжке и летящий над бездной, перебирая в воздухе сухими поджарыми ногами!

Как жаль, что всадник не уместился во мне. И конь тоже. Создателям зрелища понадобилось то, что они называют крупным планом. Очень крупным, уточнил бы я, ибо я — копыто.

Копыто, да.

Снято чуть снизу: тускло блещет подкова, мерцают полустершиеся шляпки гвоздей... Копыто метров этак шесть на двенадцать, на фоне синего неба!

Куда он несется, мой конь? Летит ли он среди дыма и огня сражения, обезумев от пороховой гари, пальбы, взрывов, стонов и ругани? Несет ли он вместе со всадником похищенную деву, помогая им спастись от погони? Или просто участвует в скачках? Как хочется узнать, что было до и что будет после меня! Но нас двадцать четыре братца в каждой секунде. «Кто ты?» — спрашиваю у предыдущего и слышу в ответ: «Копыто», — «А ты кто?» — спрашиваю у следующего за мной. «Копыто». — «А там, за тобой? Спроси, и пусть отвечают погромче, чтобы и я услышал». Он спрашивает, и я слышу удаляющиеся, затихающие ответы: «Копыто... копыто... копыто...»

Откуда и куда мы скачем, за кем или от кого — не знаю и не смогу узнать никогда. Заканчивается мое мгновение блистать на экране. Вслед за очередным братцем тускнею, гасну, съеживаюсь, помер-

твело падаю в свой прямоугольничек на ленте, скручиваюсь вместе с ней, задремываю, цепенею...

Смутно вспоминаются мне ряды лиц в синеватом освещении, засывавшие черты и неподвижные зрачки. Не так ли цепенеют и люди, околдованные нашим зрелищем? Мужчины и женщины, пожилые и юные, в своей неподвижности они неотличимы друг от друга, подобно мне и моим братцам.

Любопытно было бы сравнить их Жизнь с нашей. Но, как и в нашем зрелище, в жизни этих людей мне не могут быть известны ни пролог, ни продолжение. Что происходило с ними до того, как они пришли сюда? Что произойдет после того, как они выйдут отсюда? Из всей их жизни мне открывается лишь одно мгновение полета над их головами. Как им во мне, так и мне в них предоставлен для рассмотрения только крупный план. Никогда не узнать мне: их пребывание здесь, в прямоугольнике зала — большая часть их жизни или мимолетность, подобная моей? Где они живы, а где мертвы: там, за стенами, или здесь, в тесных рядах, перед экраном, по которому мечется наше зрелище?

Кончится сеанс, зал проветрят, наскоро и небрежно, и в нем останутся духота и пот, выжатый нашей волнующей лентой. Вольется и займет места новая толпа, погаснут лампы под потолком и на стенах, и над головами людей повиснет рождающий нас конус, наш световой путь из небытия в явь. И в свое время подойдет моя очередь лететь в синеватом конусе и разлетаться во весь экран — одно из шести за день мгновений моей жизни, моего недолгого счастья.

1991.

НА МАЧТЕ

Около одиннадцати вечера появляется юноша на велосипеде. Он в кожаной куртке, воротник поднят — осень. Велосипед дорожный, с широко раскинутым рулем. Велосипедист едет по тротуару. Останавливается, прислоняет машину к стене. Достает короткую металлическую трубку с поперечной рукояткой на конце. Это торцевой ключ. Коротким движением отмыкает незаметную проходим, выкрашенную под цвет стены, коробочку. В ней упрятан рубильник. Юноша опускает ножи. Проскакивает искра, и малиновая надпись «ГАСТРОНОМ» гаснет. Он запирает коробку, садится на велосипед и едет к следующему магазину. Гаснет «РЫБА», гаснут «ФРУКТЫ», гаснет «КНИЖНЫЙ МИР». Заодно велосипедист отключает рекламу джемов и противопожарный призыв. Такая у него работа.

Улица становится скромней и просторней.

По карнизу высокого здания бежит огненная строка. Городские новости — зеленым, репертуар кинотеатров — синим, информация о транспортных авариях за день — красным, погода на завтра — белым. Вслед за погодой несколько секунд плывут четырехцветные квадратики — как слоеный мармелад по конвейеру на фабрике. Последний квадратик доезжает до края... над карнизом темно.

Но еще остались светящиеся широкие окна первых этажей и желто-розовая мозаика домашних окон.

Полночь. Нет мозаики.

Час ночи. Погасли рестораны.

Половина второго. Последний трамвай, старый, мытищенский, двойной сцепки, немилосердно скрежеща на поворотах, уходит в депо. Во втором вагоне, обняв железные ноги кассы, мотается по полу крепко спящий пьяный человек.

Два часа. Дежурный городской осветительной сети нажимает кнопки — и многокилометровые проспекты падают во тьму.

Тихо и темно в городе.

Часов позже окрепший ветер разрывает тучи, и полную силу набирает луна. Ровный мертвенный свет заливает открытые пространства города и его крыши. Великолепное сияние струится в тысячи окон. Нежные голубоватые лучи просвечивают насквозь кисею занавесей, ложатся на полы и стены, тускло вспыхивают в зеркалах, дверях, в застекленных фотографиях, в никелированных боках чайников, в кафеле кухонь.

За одним из окон просыпается лунатик.

Он лежит неподвижно, впитывая широко раскрытыми глазами отраженный свет. Рядом посапывает жена. Он осторожно выползает из-под одеяла. Пол приятно холодит пятки.

Лунатик в черных сатиновых трусах и шелковой фиолетовой майке. Резинка у трусов завязана курчавым узелком. Узелок спрятан в подшивку, но упрямо вылезает оттуда и пружинит под пальцем.

— «Черт с ним, пусть вылезает, — думает лунатик. — Не на танцы же я собрался».

Он стоит, опершись обеими руками о подоконник. Луна прямо против него — идеально круглая, розоватая, в таинственных тенях, от которых ее свет кажется еще чище и тревожней.

— Странное все-таки у меня влечение, — бормочет лунатик, выдирая шпингалет из тугого гнезда. — И откуда взялось? Родители — простые люди. И сам я в дневное время — обычный человек. И жена моя — нормальная женщина, официантка в шашлычной. И дети мои куда как незамысловаты: учатся себе в школе, сын марки собирает, дочь в хоре поет. Ничего особенного она там не поет.

«Нет, ей-богу, это не влечение, а какой-то бред, каприз, прихоть, — думает он, раздвигая створки окна и тяжело переваливаясь через подоконник. — Отчего, когда можно спокойно храпеть рядом с горячей от здорового сна женой, отчего вместо этого я должен вылезать на стужу, на ветер, и шататься, как привидение, по пустынному безрадостному городу?»

Полуметром ниже окна в стену загнан железный костыль, и к нему через изолятор прикреплена растяжка троллейбусных проводов.

— «Интересно, как бы я вылезал, не будь под окном этой растяжки? — размышляет лунатик, нащупывая пяткой костыль. Костыль чрезвычайно холоден и обжигает пятку. — Не было у нас в роду ни поэтов, ни канатоходцев, — думает он, шагая по растяжке, скользкой от инея. — Вот разве дядя Боря был со странностями: на моей свадьбе сидел-сидел да как прыгнет на стол с вилкой в зубах. Но на него определенно водка подействовала, а отнюдь не луна».

Проволока скрипит под грузом. Лицо у шагающего повернуто к луне, периферийным зрением он догадывается о семиметровой пропасти под ногами, но не ощущает по этому поводу никакой тревоги.

Пройдя растяжку, он переходит на провода. Он хорошо знает, куда идет.

«Куда я поперся в этакий час? — размышляет он. — Что я там позабыл? Кто меня там ждет? Кому я нужен, босой, в трусах до колен, в дурацкой фиолетовой майке, всклокоченный, с опухшими от сна глазами и общим безумным выражением лица?»

— Нет, скорее всего, у меня с психикой не в порядке, — говорит он вслух, вместе с проводами пересекая просторную площадь, на которой в этого час не ни души. — Надо будет показаться врачам.

Луна идет теперь впереди него, немного правее, задевая гребни крыш. Чердаки, трубы, антенны вспыхивают на ее фоне силуэтами с какой-то особенной четкостью всех линий.

От ходьбы лунатик постепенно разогревается.

— Что ж меня влечет к тебе, проклятой, — восклицает он, повеселев. До этой минуты он шагал размеренно и степенно, а теперь, толкаясь левой ногой, правой скользит по проводу, как это делают дети, скатываясь зимой по ледяной дорожке на тротуаре. Перед ним провод — сухой и сверкающе белый от инея, за ним — черный и мокрый.

— Допустим, это сравнимо с влечением к женщине. Если меня влечет к женщине, что я постараюсь сделать? Разумеется, сблизиться. Вот в такой же поздний час, без свидетелей, подойти, заглянуть в глаза, положить руки на плечи... Бог с тобой, товарищ! — говорит он

себе. — Что за сравнение? Неужели ты надеешься когда-нибудь сблизиться с небесным светилом? В каком, собственно, смысле?

— Да дьявол с ней, с психикой! — весело вскрикивает он, чувствуя, что хорошо разогрелся. — Вечно мы со своим копанием в душе: отчего мы такие да отчего сякие. Меньше рассуждать надо, больше жить. Ну, идешь по проводу. Ну, не как все. Вот и отлично, вот и оригинально. Развивает чувство юмора. Ну, ночью. Зато тишина. Привольно дышит грудь. Никто не пихает. Никого из знакомых не встретишь. Что у тебя еще есть, кроме этих прогулок? Работа? Знаю я твою работу. Жена? Знаю я твою жену. Дети? Знаю я твоих детей. Что еще? Приятели? Знаю я этих приятелей. А здесь — ночь! Пустыня! Простор мозгам, масса забавных мыслей. Например, почему меня током не бьет?

— Почему тебя током не бьет? — спрашивает он себя. — А птиц видел? Видел птиц на высоковольтных линиях?

Порыв ветра вновь обдает холодом незащищенное тело лунатика и несколько умеряет его поэтические восторги.

— Вряд ли я птица, — самокритично признает он. — А ток просто-напросто отключили.

На выходе с площади троллейбусные провода пересечены трамвайным. Слева, из глубины улицы, по трамвайному проводу, заложив руки за спину и сильно сутулясь, бредет некто. Он одет в полосатую пижаму приятного покроя, и на голове имеет вязаную шапочку, а на ногах — мягкие домашние туфли с обшитыми кожей и загнутыми по-турецки носами. Они встречаются на пересечении.

— Привет, коллега! — выкрикивает босой. — Как самочувствие?

— Будьте любезны пропустить меня по моему маршруту, — хмуро произносит сутулый, не отвечая на приветствие.

— Непременно, непременно пропущу, — радушно обещает босой, — хоть и напомним, как всегда, что из-за вас я делаю преогромнейший крик.

Сутулый морщится, как перед чиханием.

— Послушайте, — весело начинает босой, — если вам не нравится, зачем же вы ходите? Лежали бы в постели.

Сутулый криво улыбается.

— Посмотрите на себя: как вы ходите? — Босой карикатурно горбится и опускает голову. — Как вы идете?! Ведь вы ее даже не видите! — Размашистым жестом он указывает на луну. Румяная луна принимает укоризненное выражение. — Она вас, получается, не очень-то волнует. Честное слово, вы извините, но если не нравится, нечего и ходить. Нечего тут шляться, — грубо заканчивает он.

Сутулый переминается с ноги на ногу, взгляд его полон скепсиса и презрения.

— А вам, стало быть, нравится? — сухо спрашивает он.

— Нравится.

— Идиот! — взрывается сутулый. — Вы больной. Такой же больной, как я. Мы оба больны,

— Ерунда! — бодро опровергает босой. — Я здоров. Нигде ничего не болит.

— Не юродствуйте! Вы меня прекрасно понимаете. Вам тоже стыдно бродить среди ночи по проводам, когда все нормальные люди спят.

— С чего вы взяли, что все? Взгляните.

В доме на углу светится одинокое окно.

— Скорее всего, бессонница, — предполагает сутулый. — Или, еще вероятнее, напился и уснул при полном свете.

— А может, стихи сочиняет?.. Надо из вас этот пессимизм выбивать. Выколачивать надо. Давайте летом в Ленинград махнем? Я давно собираюсь... Исаак... Нева... Над мостами побродим. Белые ночи — представляете?

Сутулый глядит на него с ласковым сожалением:

— Лечить нас с вами надо, молодой человек. Но как? Вот вопрос. Физиотерапия не помогает, медикаменты бессильны, гипноз чушь. Иглоукалывание пробовал — мертвому припарка. Вы как на провод ступаете? — неожиданно спрашивает он.

— Черт меня знает, как ступаю, — радостно откликается босой. — Не задумывался.

— А у меня он, как назло, между пальцами врезается. Между большим и указательным. Прямо через подметку режет.

Он поочередно снимает туфли, растирает ступни, кряхтит.

— Ходим-бродим, ходим-бродим, — шепчет он, обуваясь. — Стыд, стыд-то какой...

Забрасывает руки за спину.

— Прощайте, молодой человек!

— До новых встреч! До скорого свиданья...

Сутулый уходит по троллейбусным проводам. Руки заброшены за спину, пальцы раздраженно мнут воздух, словно в каждой ладони зажато по резиновому мячику для развития мускульной силы. Турецкие туфли с легким свистом шаркают по проволоке.

— В Ленинград, а? Не пожалеете!

Сутулый слышит, но не оборачивается.

«Неизлечим, — думает он про босого. — Абсолютно неизлечим».

«Вот чудак человек, — думает босой про сутулого. — Нормальный, а лечится».

Он показывает вслед ему язык, после чего идет направо, по трамвайному проводу. Проходит через весь центр города, постепенно

выворачивая влево, и в конце концов снова оказывается на троллейбусной трассе. Затем, знакомым уже способом, по растяжке, он достигает стены огромного здания с многоколонным фронтоном. Ловко оттолкнувшись, перелетает на пожарную лестницу. Взбирается на крышу. Здесь луна ближе. Ее оранжевый лик разгорелся уже с необычайной силой, прихотливый рисунок теней все более становится похожим на прекрасное женское лицо. Спокойные, неподвижные, очень глубокие глаза встречаются взглядом с человеком на крыше.

— Я иду, иду, — бормочет он, с поднятой головой пересекая просторную многоступенчатую крышу, удивительным образом не запинаясь на подъемах и не падая на спусках. Наконец он спотыкается, но именно там, где надо. Это противоположный край крыши.

Он спускается на несколько ступенек по висящей здесь лестнице. Пятки вновь нащупывают опору: кабель толщиной в полено вываливается из специального оконца в стене и, на некотором расстоянии провиснув от собственной тяжести, взмывает затем ввысь, к телевизионной мачте.

— Иду, иду, — повторяет он, подымаясь по кабелю, как воздушный гимнаст над цирковой ареной. — Я здесь, я иду.

В основании мачты широка, и лестница подымается ломкими отрезками, наискось, из угла в угол. Луна то слева, то справа, молча и сочувственно следит она за его подъемом, светя ему, как из заточения, через решетку конструкций.

Наступает высота, где мачту раскачивает ветер, а ступени идут вертикально, и вот самая верхняя площадка ходуном заходила под ногами: выше — ничего, выше — она, ее спокойное задумчивое лицо...

Сутулый уже здесь, но теперь они не видят и не воспринимают один другого.

Перламутровым сиянием облиты двое на мачте.

— Хорошо тебе? — спрашивает луна.

— Хорошо-то хорошо, — отвечает сутулый. — Да ничего хорошего. Пойду я...

Босой остается один.

— Хорошо тебе? — спрашивает она.

— Да. А тебе?

Проходит неизвестно сколько времени, и она отвечает:

— И мне хорошо. А теперь иди. Тебе пора.

Обратный путь он обычно помнит плохо, в нем нарастает беспокойство. Возвращаются прежние мысли.

— Нет, все-таки это не чувство и даже не прихоть, — с горечью говорит он себе, — и даже не бред, а именно болезнь...

Провода успели побелеть от инея снова.

Он влезает в комнату, садится на подоконнике. Ничего не изменилось.

«Мне повезло, что у нее поздняя и тяжелая работа, от которой она так крепко спит, — думает он, глядя на жену. — Бедняжка... Как славно, что она никогда не просыпается. А то бы замучилась: что за радость — с припадочным жить?»

Жена дышит тихо и спокойно, как ребенок. И из второй комнаты, где спят дети, — ни звука.

Он ложится и быстро засыпает.

Жена осторожно сползает с постели. Поправляет на нем одеяло. Запирает окно. Ежась от ледяной свежести, идет на кухню. Луна светит теперь сюда.

Жена закуривает сигарету, забирается с ногами на табурет. Обхватив колени, курит и глядит на луну, стоящую высоко над крышами.

С глухим воем проносится внизу первый троллейбус.

Она встает и смотрит вниз, на улицу.

Из-за угла выезжает велосипедист. Въезжает на тротуар, прислоняет велосипед к стене. Отомкнул коробку, повернул рубильник. Вспыхивает малиновая надпись: «Гастроном».

1972.

СТОЛБ И БАШНЯ

«Уважаемая Останкинская башня!

С горячим приветом к Вам пишет столб со станции Разуваевка Восточной ж. д. Вы, наверное, получаете много писем от таких, как я. Ну, извините. Но я не из любопытства к Вашей популярности, а с целью задать серьезный вопрос.

Но сначала немного о себе. Я простой деревянный столб, работаю в осветительной сети. Освещаю железнодорожный перрон. Работа несложная. Лампочка в пятьсот ватт в жестяном конусе — весь мой инструмент. Станция маленькая: одноэтажное здание, перрон, палисадник с тополями. Жизнь идет от и до. В два часа ночи проходит скорый на Москву, в восемь вечера — скорый из Москвы. Не останавливаются. В семь пятнадцать идет местный, стоянка пять минут. В четырнадцать пятьдесят он же — обратно. В шесть тридцать — рабочий поезд. В восемнадцать сорок он же обратно. Вот Вам и все наше расписание. Но не думайте, что жалуюсь на нашу не богатую событиями жизнь. Народ у нас хороший, простой, душевный. И люди и наш брат — столбы. У людей телевизоры, и они благодаря Вам, уважаемая Останкинская башня, чего только не видят. А иногда они любят гулять по перрону и обсуждать, так что и я более или менее в курсе дела.

Но иногда берет тоска, потому что у нас в Разуваевке ничего не происходит.

Особенно бывает тоскливо, когда перегорает лампочка, и монтер Семенов по два-три дня ее не меняет, а вместо этого в полной темноте, возле меня же, целуется с девушками. Прижмет ко мне и целует. Еще он любит по вечерам сидеть с приятелями в палисаднике и дуть пиво. Глядя на него, удивляюсь: я молодой, и он молодой, но он ни о чем не мечтает и счастлив. Меня же в такие ночи, когда темно и тихо, разламывает от тоски. Так хочется вырваться и зашагать куда глаза глядят.

И вот возникает вопрос, с которым я и решил обратиться к Вам: могу ли я, простой деревянный столб, когда-нибудь стать таким же известным и популярным, как Вы? Или это вообще невозможно? Напишите откровенно и не смейтесь над моим письмом, ведь я еще молодой, свежий, недавно ошкуренный. Старые столбы смеются над моими мечтами. А мне их философия противна и ненавистна.

Жду ответа, как темнота света.

С глубоким уважением
неизвестный Вам Столб».

«Дорогой Столбик!

Прости, что долго не отвечала. Таких писем, как твое, я действительно получаю очень много.

Что тебе посоветовать? Конечно, старые столбы не правы: мечтать надо. Но, мечтая, не забывай, что у тебя и сейчас интересная и в чем-то даже творческая работа. Ты несешь людям свет, а значит, радость и в каком-то смысле истину. Подумай, сколько человек благодаря тебе благополучно прошли по перрону, не споткнувшись! Пойми, что можно быть счастливым и на перроне скромной периферийной станции, а не только в столице. А мечтать надо, в этом ты прав.

Прости, что пишу кратко, очень занята: транслирую программы, снимаюсь в фильме, позирую фоторепортерам, принимаю делегацию бельгийцев на смотровой площадке, с минуты на минуту в ресторане «Седьмое небо» жду японцев и мексиканцев.

С сердечным приветом
Твоя Башня».

«Уважаемая Останкинская башня!

Ваше письмо получил давно, но стеснялся отвечать из-за Вашей занятости. Но все-таки решил продолжить нашу переписку, если она Вам не надоела.

Вы пишете, сколько у Вас в жизни событий: и бельгийцы, и японцы, и мексиканцы... У меня ничего такого нет. Но Вы, конечно, правы, что моя работа приносит пользу людям. На днях одна девушка торопилась на поезд, рассыпала мелочь, но, пользуясь моим освещением, собрала все до единой монетки. Правда, ее поезд ушел.

Но хочу сказать откровенно, мечты все больше кажутся несбыточными, и по-прежнему угнетает неподвижность. От меня до станционного здания два десятка шагов, но я никогда не увижу, что там, за ним, с другой стороны. Может, и ничего особенного, но когда не видишь, воображаешь удивительное, и от этого снова тоска.

Монтер Семенов женился. Недавно пришел ночью на перрон и стал биться об меня лбом. Очень прошу, ответьте. Ваши письма для меня, как голос из того мира, о котором я уже неизвестно зачем мечтаю. Я уже не такой молодой. Высох, побурел, затвердел.

Остаюсь искренне преданный Вам

Ваш Столб».

«Милый Столб!

Прости, опять задержалась с ответом. Много работы и огромная почта. Но твои письма трогают меня, и поверь, я принимаю твою судьбу близко к сердцу. Не хандри и не стесняйся писать. Если не отвечу в этом году, то в одном из ближайших — непременно. Извини, мне сейчас позвонили: надо меняться программами с Парижем.

Выше голову!

С наилучшими пожеланиями твоя Башня».

«Уважаемая Башня!

Давненько Вам не писал, да и о чем теперь? Смешно вспоминать глупости, которые я излагал, когда был молодым, и которые Вы поддерживали во мне, советуя бодриться и верить. Когда-то смеялся над боязнью старых столбов покинуть привычное место. Теперь сам в возрасте, и понял наконец: ничего хорошего не получится, если все столбы захотят стать Останкинскими башнями. Никому столько башен не надо, а столбы нужны, много столбов. Годы прошли, пока я дошел до этой мысли, и теперь я по-настоящему счастлив.

У нас перемены, хорошие и не очень. Из хороших главное: снесли старое здание и построили красивый стеклянный вокзал.

Есть и другие новости. В нашей осветительной сети появилась молодежь. Это, представьте себе, совсем другие столбы, не деревянные, а бетонные. Работают они хорошо, ничего не скажу. Но если бы Вы слышали, как они гудят по ночам! Мы так никогда не гудели.

Думаю, этим письмом Вы впервые останетесь довольны: как видите, мои переживания кончились.

С уважением
Ваш Столб.

Р. С. Монтер Семенов ушел от жены. Но снова бился лбом о столб, но не об меня, а об новый, бетонный».

«Мой милый старый друг! Каждый раз отвечаю с опозданием. Работы все больше, а ведь я тоже моложе не становлюсь.

Разреши сказать откровенно: твоё последнее письмо меня огорчило. Ты сам осмеиваешь мечты своей юности. Зачем? Несбывшееся есть у всех, даже у меня. В каждом из нас сидит драма, но она не должна превращаться в трагедию. Это не совсем мои мысли: пишу под впечатлением беседы одного маститого драматурга, только что выступившего в одной из моих программ. По-моему, он прав. Подумай над этим и не обижайся.

Твоя Башня».

«Милая Вы моя, дорогая Башенка!

Извините такое развязное обращение, но пишу в последний раз. Хорошо Вам рассуждать, что не все мечты сбываются. Тут большая разница: у Вас не все сбылись, а у меня все не сбылись. Не дай бог, случись что с Вами, об этом узнает весь мир. А то, что случилось со мной, никому, кроме жителей Разуваевки, неизвестно, да и их это несколько не трогает.

Вы спросите: почему такой тон и почему последнее письмо? Да потому, что я хоть и жив, но уже не существую в своем первоначальном виде. На моем месте стоит бетонный столб, молодой. Вы спросите: а где я? Отвечу: во дворе у монтера Семенова. Что я там делаю? Как Вам объяснить... Я распилен на дрова. В наших краях отопительный сезон начинается рано, в конце сентября, так что если ответите до сентября, сделайте в адресе приписку: «Двор монтера Семенова, вторая поленница (от забора)».

Жизнь кончена. Если и было в ней что-нибудь светлое, то это переписка с Вами.

Прощайте. Навеки Ваш... не знаю, как и подписаться... «Навеки Ваши дрова». Правда, смешно?..»

«СТАНЦИЯ РАЗУВАЕВКА ВОСТОЧНОЙ Ж. Д.

СВЯЗИ НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ГЛУБОКО
СКОРБЛЮ ПОВОДУ КОНЧИНЫ МОЕГО СТАРОГО ТОВАРИ-

ЩА СКОМНОГО ТРУЖЕНИКА ДЕРЕВЯННОГО СТОЛБА
ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ СТАНЦИИ УСПЕХОВ В РАБОТЕ ТЧК.
ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ».

1974.

СВИДЕТЕЛЬ

Это случилось, когда он был ребенком. Он был ребенком, но уже работал. Так испокон веку было заведено у них в горах. Он помогал пастуху пасти овец на горных кручах. У него было орлиное зрение. Однажды, в прекрасный летний день, когда солнце заливало все долины северной стороны, он увидел, как у подножия горы, на краю обрыва, два человека встали один против другого и навели пистолеты. Один рассмеялся и выстрелил вверх. А второй смеяться не стал и выстрелил противнику в грудь. Тот упал и больше не шевелился.

— Он убил его! — закричал мальчик. — Убийство!

— Кто? Кого? — встрепенулся задремавший пастух. У него было хорошее зрение. Но не такое, как у мальчика. Сколько он ни глядел, он не мог различить неподвижного человека на скале.

— Надо рассказать там, внизу! Надо поймать убийцу!

— Не наши люди, не наше дело, — сказал пастух. — И это очень далеко. Считаю, приснилось.

— Нет! Так нельзя. Я спущусь с гор и расскажу. Убийцу надо найти.

— Э... Кто видел, кроме тебя? Кто тебе поверит? Ты ребенок.

— А ты взрослый. Ты лучше меня знаешь закон гор: убийца должен быть отпущен.

— Это так, — согласился пастух. — Но как ты спустишься с гор, если мы с тобой отвечаем за овец? Мы должны пасти их до осени.

Мальчик решил дожидаться осени. Но осенью повисли туманы, пошли дожди, поднялись реки и не стало дороги с гор. А весной его снова послали с овцами на дальние пастбища. А потом было много всякой другой работы. А потом он стал взрослым парнем и женился. Появились дети. Работы стало еще больше. Он пас овец, мотыжил землю, сажал кукурузу, охотился на кабанов, он кормил детей, подымал внуков, пестовал правнуков, потом их детей, потом детей их детей, и не было времени спуститься с гор и рассказать про убийцу.

Однажды он захворал, а когда поправился, в нем не было прежней силы. Он пытался что-нибудь делать, но у него не получалось. Собралась вся его семья и постановила, что теперь он должен отдыхать. У него впервые появилось свободное время. И он спустился с гор.

Детским зрением он хорошо запомнил место убийства. Но теперь здесь высились дома, по широкой площади катились машины, огибая какой-то памятник. Сновали прохожие.

— Люди! — закричал он. — Здесь произошло убийство! Ищите парня в куртке с витыми шнурами и высоких сапогах!

Люди удивлялись и шли мимо, ничего не отвечая. Лишь один прохожий, выслушав его, остановился.

— Убийство? Здесь?

— Да!

— С этим, дедушка, надо в милицию.

Он разыскал отделение милиции, вошел и поздоровался с дежурным.

— Я свидетель убийства, — сказал он. — Извините, что так долго не приходил. Было много работы. Все это время мое сердце не знало покоя, потому что убийца не пойман. Его видел только я.

«Убийство! Этого еще не хватало! — подумал дежурный. — С нашей-то раскрываемостью...» Он посмотрел на свидетеля. Свидетель был стар. Это обнадеживало.

— А тебе не померещилось, дед? Как у тебя со зрением?

— У меня прекрасное зрение. И хорошая память. Я пас овец в горах и увидел этих людей на краю обрыва. Один рассмеялся и выстрелил вверх. А другой не стал смеяться и выстрелил ему в грудь. Больше тот не шевелился. Убийца был в куртке с витыми шнурами и высоких сапогах.

— Где это произошло? — спросил дежурный, очень надеясь, что убийство имело место не на их территории.

— Там, где сейчас памятник.

Увы, это была их территория.

— Тогда это было пустынное мрачное место. Сам дьявол предназначил его для черных дел. Скалы, обрыв и никого вокруг. Но теперь вы засыпали ущелье, провели дорогу, поставили дома. И памятник.

— Позволь, старик, — удивился дежурный. — Там никогда не было ущелья. Сколько себя помню, там был город. И памятник стоял всегда.

— А я говорю: не было города и не было памятника.

Дежурному стало легче: старик явно заговаривался.

— Так когда же это случилось? — ласково спросил он.

— Давно, — честно ответил свидетель.

— Давно — не ответ. Нам нужны точные данные. Сейчас лето. А это когда было? Вспомни, пожалуйста.

— Тоже летом. Был чудесный день. Солнце заливало все долины к северу от наших гор...

— Погоди. Прошлым летом?

— Почему прошлым? Я был мальчиком тогда. Посмотри на меня внимательно. Разве похоже, что прошлым летом я еще был мальчиком?

Дежурный посмотрел внимательнее. Морщины на лице свидетеля походили на борозды в скудной почве гор. Дежурный похолодел.

— Ты был мальчиком? Когда же... это было?

— Давай считать. Я был таким, как нынешние, когда идут в школу. А мой праправнук месяц назад вышел на пенсию. А когда он родился, его отцу, моему правнуку, было двадцать. А когда он родился...

Дежурный долго записывал за стариком. Потом сложил. На всякий случай глянул в настенный календарь: какой нынче год. Произвел вычитание.

— В горах живут долго, — заметил он.

— Долго живем, — согласился старик. — И все помним. Он был в куртке и сапогах. Ты не веришь мне. Это обидно.

— А давай спросим ученых, — предложил дежурный. — Вдруг подтвердят? Давай, позвоним в музей?... Добрый день, милиция беспокоит. Извините, не совсем обычная справка. Нет ли у наших уважаемых ученых данных о наиболее заметных происшествиях одна тысяча восемьсот сорок первого года? Да — восемьсот. Есть мнение, что летом того года произошло странное убийство. Двое сошлись на краю обрыва... — Дежурный пересказал сообщение свидетеля. — Так... Так... Ах, вот как! — Лицо дежурного светлело с каждой услышанной им фразой. — Спасибо! Просто камень с души. Вы нам очень помогли. Спасибо!

Дежурный положил трубку.

— Ты зря переживал, дед. История, оказывается, хорошо известна без тебя. Ты прав: это было убийство. Негодяй убил замечательного человека. Имя убийцы с тех пор покрыто позором. А замечательному человеку поставили памятник. Посуди сам: с чего бы поставили памятник, если бы история не была известна?

— Ты рассуждаешь здраво, — кивнул старик. — Но убийца... Он остался жив? Какое наказание он понес?

— Ему дали три месяца гауптвахты и наложили церковное покаяние. Гауптвахта — это вроде тюрьмы.

— Как?! — гневно вскричал старик. — Три месяца и покаяние — и это у вас называется наказанием за убийство? Нет, дорогой! Возьми бумагу и пиши мое заявление. Вы должны снова взяться за это дело. Вы должны найти его и казнить!

На столе у дежурного трезвонили телефоны.

— Старик, — сказал дежурный. — Поздно искать. Поздно казнить. Убийца умер своей смертью. Сто лет назад. Извини, у меня работа.

Свидетель вышел в город. Он пришел к памятнику. Молодой человек смотрел вдаль, скрестив руки на груди.

— Неотмщенный стоишь... Э... — сказал старик. — Мне нужно было бросить овец и трусливого пастуха и бежать со всех ног. Или, несмотря на дожди и туманы, спуститься зимой. И весной еще не было поздно... Э... Все надо делать вовремя. И вот ты стоишь неотмщенный. Прости, если можешь. Прости...

1987.

ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР

Жила-была корова, и состояла она, в строгом соответствии с утвержденной схемой, из восемнадцати частей, а именно: 1. Филей. 2. Оковалок. 3. Кострец. 4. Край. 5. Челышко-соколок. 6. Бедро (огузок) — 2 шт. 7. Грудинка. 8. Подбедерок — 4 шт. 9. Пашинка. 10. Лопатка — 2 шт. 11. Шея. 12. Рулька — 2 шт. 13. Зарез. 14. Голяшки — 4 шт. 15. Голова. 16. Хвост. 17. Рога. 18. Копыта — 4 шт.

Конечно, пока она бродила по лугу и щипала траву, все части находились в нерасторжимом единстве и на внешний взгляд как отдельные индивидуумы не просматривались. Воспринимались как монолитный коллектив. Монолитный — и сразу хочется добавить: здоровый. Увы... Шкура разделяла корову на две группы, далеко не равные в социальном отношении. Внутри было уютно, сытно, комфортно, а снаружи — то жарко, то зябко, то хлещет дождь, то мучает овод. Соответственно, и разговоры велись разные. Внутри шли раздумчивые беседы, оглашались мечты.

— Ах, — говорил филей, — дождемся, разделят нас, братцы-кусочки, дорогие мои кусманчики, и пойдем мы каждый своей дорогой. Я о чем мечтаю? О путешествиях. Съездить в другие страны, с тамошними филеями поговорить. Так сказать, за столом переговоров. При моих качествах это, я полагаю, реальная мечта.

— Да, — подхватывала грудинка. — Что скрывать, у нас тут у всех приятные перспективы. Кто в ресторан высшей категории распределится, а кто в такой паек попадет, за такой стол, за которым, может быть, запросто обсуждаются важнейшие государственные тайны. Но пока мы живем в одной корове, давайте не будем забывать о наших собратях по ту сторону шкуры. Вот сейчас по ней, слышите, что-то барабанит. Возможно, пошел дождь. И, не исключено, холодный. Нам хоть бы что, а им приходится терпеть.

— Тут уж кому на роду написано, — полемически откликнулся край. — Не попал в шкуру — меси грязь, терпи зной и холод.

— Да это не дождь! — восклицал оковалок, как раз в зоне

ударов расположенный. — Это хвост по бокам лущит. Злобный мужик.

— Что вы хотите, — шептала пашинка. — Ни интеллекта, ни образования...

Снаружи разговорчики были много грубее.

— Конечно, они — мясо! — говорил хвост, яро нахлестывая бока. — А мы быдло. А если бы я слепней не отгонял, добрались бы они до того мяса — вот визгу было бы! Я тут, может, самый нужный, в корове этой дурацкой.

— Нашелся самый! — возражали копыта. — А на ком вы все держитесь? Кто вас всех таскает? Мы!

— Эй, вы, внизу, — кричали им рога, — чего разбрыкались? Таскаете — и таскайте, ваше дело такое.

— А вы бы вообще заткнулись, — вдруг заступался за копыта хвост. — Вы вообще ни к черту не нужны, дуrolомы.

— Конечно, мы с вами темнота, — впадая в иное настроение, признавались порой копыта. — Кто мы с вами такие? Так, роговица да сухожилия. Дрянь. А мясо — это мясо. Совсем другой уровень.

— Ну, что вы, право, — деликатно выговаривал им через шкуру филей. — Зато потом будете вспоминать, с кем в одной корове начинали...

Два номера были среди прочих наособицу. Пятый и тринадцатый. Пятый — чельшко-соколог — к мясу отношение имел довольно формальное. На ресторанные, тем более паечные, перспективы не рассчитывал. И совсем другая у него была мечта. Для коровьего кусочка-кусманчика — более чем странная.

— Я, братцы, — говорил он, под мордой у коровы крохотной складочкой взметываясь, — летать мечтаю. Не зря же у меня имечко такое крылатое. Мне в моем нынешнем положении из-под морды ничего не видать. А в небушко страсть как охота!

Тринадцатый же — зарез — тот чаще помалкивал. Мрачный был от рождении, угрюмый. Не нравился ему его номер и еще, более — прозвище зловещее. Чужал он по этим приметам, что именно через него разделку коллектива и начнут. Потому молчал. Но однажды, когда соседи очень уж вольно размышлялись, не вытерпел:

— Не бывать этому никогда! Никаким вашим мечтам не сбыться!

— Почему?

Помрачнел больше обычного зарез:

— Потому. Съедят.

— Ладно пугать! — отвечает филей. — Пока еще съедят. Успеem пожить. Поживем-погуляем.

И чельшко-соколог отважный говорит:

— Еще летаем. А там уж что ж.
— Как думаешь, — спрашивают рога у хвоста, — сожрут их, нет?
— Хорошо бы, — отвечает хвост. — Да ведь они такие. Это мы меж собой собачимся. А они с детства друг за дружку. Одна компания. И все пути им открыты. Кто знает: может, их сожрут. А может — они.

А голяшки говорят:

— Друзья! Зачем ссориться? Пути наши неисповедимы. Давайте, после того, как расстанемся, встретимся здесь же ровно через год. На традиционный сбор. И увидим, у кого что сбылось.

Рога ухмыльнулись:

— Ага! А кого съедят — помянем.

Но в целом предложение всем понравилось. Проголосовали — приняли.

Вскоре увели корову с луга, в грузовичке с ветерком прокатили, в вагоне помаяли с другими такими же. А когда привели на большой двор, поняли кусочки-кусманчики, что настает их самостоятельная жизнь. Поздравили друг друга с выпуском, попрощались тепло и еще раз поклялись через год встретиться.

Ровно через год пришел хвост на родной луг. Никого. Только поодаль корова пасется. Другая, конечно.

— Неужели я один из наших остался? — думает Хвост. — Ужас.

Но тут слышит знакомый перестук: копыта бегут!

Поздоровались, обнялись.

— Как дела, ребята?

— В полном порядке. На эстраде работаем, чечетку бьем. Двадцать стран объехали. Упакованы — во! А ты как?

— Тоже неплохо устроился. В охране служу. Плеткой. Все, что надо, имею.

Тут из-за холма песня раздается. Заздравная. Рога приперлись! Красавцы! Отшлифованы, в серебро вправлены. Идут в обнимку, втроем. Третий — бурдюк.

— Живем как в сказке! — говорят. — Свадьбы обслуживаем, банкеты. За такими столами гуляем — ого-го!

— Наших там не встречали — на столах?

— А кто их знает. Мы же постоянно на поддаче — такая работа. Все хорошо — с памятью плохо.

— А это с вами кто?

— Наш дружок, — говорят рога. — От его барана вообще никого не осталось. Пускай с нами посидит. Ну, что, наливать?

— Погоди, — говорит хвост. — Вдруг еще кто придет.

Но никто не приходит. Вечереет уже. Тишина.

Вдруг мелькнуло что-то в воздухе. Птичка — не птичка, а трепыхается что-то и летит. Челышко-соколок!

— Привет, друзья! — кричит, приземляясь. — Сбылась мечта! Летая! Всюду побывал, все повидал!

— А наших, — спрашивает хвост, волнуясь, — наших остальных не встречал, не видел?

Загрустил соколок.

— Кого видел, про кого слышал. Хорошего мало. Не ждите, не придут.

— Что ж, — говорит хвост. — Традиционный сбор объявляю открытым. Начинаю перекличку. Филей!

— Вынесен с мясокомбината, — отвечает соколок. — Пропал без вести.

— Оковалок!

— Погиб при третьем размораживании.

— Кострец!

— Сгнил на складе.

— Край!

— Про остальных не спрашивай, — вздохнул соколок. — У всех одна судьба: ушли на колбасу.

— Так-то, — говорит хвост с горечью, но и с удовлетворением. — А какие планы строили: на верха, за границу...

— Туда, брат, не из таких коров, как наша, попадают, — говорят копыта. — Мы-то видали.

Рога говорят бурдюку:

— Наливай.

Пошли по кругу полные рога. От хвоста к копытам, от них к соколку. Выпили молча, не чокаясь. Сидят. Тихо-тихо на лугу. Слышно, как в корове, поодаль пасущейся, кусочки беседуют.

— Тоже размечтались, — говорит хвост. — Сказать им, что ли?

— Нет, — говорит соколок. — Не надо. Пускай мечтают. Мало ли как повернется. У нас же сбылось...

Глава первая

ЧЕРТА

Сергей Иванович Мельников унаследовал от предков не слишком удачную судьбу, но заодно и редкую, примечательную, а точнее сказать, замечательную черту характера. Никаких особых успехов в жизни ни он сам, ни три известных ему предка не достигли. Более того, двое вообще погибли почти молодыми. Но замечательную черту каждый пронес через всю свою жизнь и передал дальше. Чертой этой была удивительная способность никогда в ничему не удивляться.

Прадеда Евграфа Никанорыча, слесаря железнодорожных мастерских, черт занес в 1918-м году в большевистское подполье в занятом колчаковцами его родном городе. Когда его поймали, командир расстрельщиков на прощанье спросил:

— Сказать, как тебя нашли? Лучший дружок выдал, Васька Краснухин. Не ожидал от него, а? Удивлен?

— Ничуть, — ответил прадед. — Люди, предрасположенные к предательству, широко распространены в человеческой породе.

— Больно умен для слесаря, — обиделся главный расстрельщик.

— Или нерусский?

— И русский, и православный.

— Вот сейчас и хлопнем тебя, православного, за то, что с изменниками связался. Трясешься, небось?

— Возьмите себя в руки, господин офицер, — отвечал прадед.

— Не нервничайте. А то еще промахнетесь. Главное — спокойствие.

Примерно также повел себя через двадцать лет дед Сергея Ивановича, Николай Евграфович, когда следователь НКВД объявил ему, что он итальянский шпион. А не английский. Накануне в управлении подсчитали и обнаружили, что английских шпионов разоблачили уже в количестве, превысившем разнарядку, а вот итальянских не было ни одного.

Следователь пребывал в благодушном настроении и был расположен потрепаться.

— Пляши, Евграфыч! За английского шпиона сразу вышка, а за итальянского только десять лет. Правда, без права переписки. А чего писать? Кому? Жена как член семьи врага народа сядет в другой лагерь. Сынка определяют в хороший детдом, чтоб комсомольцем вырос. Все будете устроены, чего переписываться? Ты, можно сказать, вытащил счастливый билет. Был английским под вышку, а стал итальянским под срок. Сильно удивлен?

— Да нет. Было бы, наоборот, удивительно, если бы такой опаснейший враг СССР как Италия не имел бы у нас своих шпионов. Логично?

— Удивительный ты мужик. А если завтра скажу, что ты не итальянский? А греческий?

— Давайте будем готовы к любым неожиданностям, — кротко ответил Николай Евграфович. — Главное — спокойствие.

Ничему не удивлялся и следующий Мельников — Иван Николаич. Из детдома его впоследствии забрала мама. Когда они расставались, она была румяной и полненькой. А когда приехала за ним, оказалась седой и тощей. Но Ваня этому не удивился. Через несколько лет их с мамой вызвали и объявили, что Николай Евграфович реабилитирован посмертно, поскольку не был, оказывается, врагом народа. Ваня и этому не удивился. Еще лет через десять Ивана Николаича, заводского инженера, сделавшего ряд интересных изобретений, решили поощрить стажировкой в капстране. Все уже было оформлено, как вдруг его снова вызвали в первый отдел.

— Вы написали в анкете, что родственников за границей не имеете. А ведь имеете, и целую кучу. Двоюродная бабушка вашей жены, урожденная Анна Никитична Борзунова в 1904-м году вышла замуж за еврея Цимхеса Арона Мойшевича и вскоре вместе с мужем уехала в США. Можете представить, как за эти годы там разрослась ваша родня? Вас это не удивляет?

— Ничуть. Что же удивительного? В начале века после погромов из России в Америку уехали тысячи людей этой национальности.

— Вы как будто одобряете, что они изменили Родине? — поднял брови первый отдел.

— Родина была царской, — заметил Иван Николаич. — Или вы испытываете симпатии к царской России, будучи членом КПСС?

Первый отдел побагровел, не находясь с ответом.

— Я вас не выдам, — великодушно пообещал Иван Николаич. — Работайте как работали. Главное — спокойствие.

Вот мы и подошли к главному герою нашего фантастического, но правдивого повествования, к Сергею Иванычу Мельникову. Родовая

черта расцвела в нем еще сильнее, чем в предках. Заодно к нему перешла и их любимая фраза: «Главное — спокойствие». Он сам иногда, если чему и удивлялся, то только тому, что никогда не удивляется. Вместо того, чтобы удивляться чему-то неожиданному, незапному, в том числе и угрожающему и даже страшному или не страшному, но абсолютно непонятному, он всегда находил простую логику в этих событиях. А потому не удивлялся, не чувствовал себя обескураженным, не пугался. Не удивлялся он даже и собственным неожиданным поступкам.

Пойдя по стопам отца, Сергей Иванович закончил технический вуз и распределился на тот же завод, в большое конструкторское бюро, где работало множество молодых женщин, жаждущих выйти замуж. Вскоре молодой человек попал в ситуацию любовного треугольника: сам он увлекся веселой полненькой блондинкой, смутно напоминавшей мать, когда та была молодой, а его преследовала, страстно и нескрываяемо, нервная поджарая брюнетка. И он, и все его приятели были уверены, что рано или поздно он женится на блондинке. Особенно убежденно верила в это блондинка. Но в одно прекрасное утро Сергей Иванович после бурной дружеской вечеринки проснулся в незнакомой квартире. Он впервые видел эти стены, эту мебель, этот вид из окна. Единственное, что оказалось знакомым — лежащая рядом с ним в постели поджарая брюнетка. Как он оказался здесь и рядом с нею, Сергей Иванович не помнил. Но, как ни старался удивиться — не смог. Ничего удивительного, подумал он. Многие быстро пьянеющие мужчины оказываются наутро в одной постели с женщиной, к которой в трезвом виде не испытывали особенного влечения.

Он посмотрел на спящую брюнетку со сложным чувством, сотканным из сожаления, сочувствия и ненависти.

Буду ли я удивлен, подумал далее Сергей Иванович, если через какое-то время она объявит, что беременна, и мне придется жениться на ней? Конечно, не буду. Это лишь подтвердит мою принадлежность к немногочисленному отряду мужских особей, которые считают себя обязанными случайную и единичную встречу в постели завершить законным браком. Если я именно таков, что же в этом удивительно-го? Каждый из нас таков или сакон.

— Извини, старик, — сказал ему прямо в разгар свадьбы сильно подавший приятель. — Но мы все удивлены. Просто ошарашены. Еще проще сказать, мы охренели. С чего ты вдруг женился на ней? Ты такой спокойный, рассудительный. Как она тебя захомотала, эта истеричка?!

— Главное — спокойствие, — отвечал Сергей Иванович. — Жизнь, надеюсь, не станешь спорить, не имеет внятного смысла. Но жить хочется. Отсутствующему смыслу человечество нашло замену: ин-

стинкт продолжения рода. Продолжать род хочется полноценными людьми.

— Старик, не надо лекций, короче. — взмолился поддатый при-
ятель, роняя голову в салат. — Говори по делу.

— Говорю по делу: если на истеричках будут жениться только ис-
терики, какими вырастут их дети? А у нас с ней будет гармонический
ребенок: абсолютно спокойный, как я, и немного дерганый, как она.

Кстати, именно таким и вырос у Сергея Ивановича сын Ленька. Но
о нем речь еще впереди. Пока только еще одна короткая иллюстра-
ция умения Сергея Ивановича не удивляться. Леньке было пять лет,
когда папу вызвали в детский сад. Директриса долго мялась.

— Сергей Иванович, вы, конечно, будете удивлены... Приготовьтесь
услышать... Да чего вы стоите? Присядьте и успокойтесь.

— Давайте, успокоимся оба. — предложил Сергей Иванович. — О
чем речь?

— Видите ли... Ваш мальчик уже несколько раз расстегивал шта-
нишки и показывал детям свою пипиську. Сексуальная озабочен-
ность в таком возрасте! Лично меня это изумляет и, не скрою, пугает.
А вас?

Сергей Иванович задумался.

— Извините, может, он вместе с вами смотрит по телевизору эро-
тические фильмы?

— Мы с женой не смотрим эротические фильмы. Мы довольно
рано ложимся спать.

— А может, когда вы спите, он по ночам встает и включает телеви-
зор? В общем, ваш отцовский долг — поговорить с сыном. Все выяс-
нить и объяснить ему, что это гадко.

Сергей Иванович поговорил с сыном и все выяснил. После чего
объяснил ему, что есть более эффективное средство, нежели демонст-
рация пиписьки. Нужно сложить пальчики в кулачок и стукнуть
обидчика по носу. Или в глаз.

— Ничего удивительного в поведении моего мальчика нет, — сказал
он директрисе. — Он у меня трусоват и дети обзывают его «девчон-
кой». Вот он и нашел довольно убедительный аргумент, основанный на
устройстве его тела и доказывающий, что он мальчик, а не девочка.

И последний пример, прежде, чем мы перейдем к основным собы-
тиям нашего повествования. Жена Сергея Ивановича увлеклась маги-
ей, мистикой, оккультными науками и, в частности, свято поверила в
реинкарнацию — переселение душ. Однажды она затащила мужа на
встречу со знаменитым ясновидцем, умевшим объяснить любому, кем
он был в своих предыдущих жизнях. Зал Дворца культуры был набит
битком. Ясновидец, моложавый огненноглазый мужчина в доро-

гом костюме, белой сорочке и алой бабочке, вызывал на сцену желающих. Он пристально смотрел вышедшему в глаза, изучал узоры на его пальцах и ладонях, некоторым ерошил волосы. И затем объявлял результат своих провидений.

Везло выходявшим к ясновидцу по-разному. Кто-то, оказывалось, в прежних жизнях был помещиком или родовитым дворянином, а кто-то — разночинцем, а то и крепостным. Кто-то — полководцем, а кто-то — целовальником, владельцем кабака. Некоторые, увы, в прежних своих пребываниях вообще не были людьми, а вели звериное существование. Правда, зверские облики обидными не были — никаких мышей или гиен. Овчарки, волки, тигры, олени и оленихи.

Нервная и трепещущая жена Сергея Ивановича произвела на ясновидца сильное впечатление. Всесторонне обследовав женщину, он, кроме разглядывания ее рук и энергичного разрушения ее прически, велел ей еще крепко обнять его и около минуты пробыть в этом слиянии. После чего объявил, что различает две ее предыдущие жизни. Жена Сергея Ивановича сто с лишним лет назад была, оказывается, народо-волкой Верой Фигнер, готовившей покушение на императора Александра Второго, а до этого — кратковременной любовницей Пушкина Анной Керн. Зал разразился аплодисментами.

— Изумительно! — воскликнула, раскрасневшись, бывшая народо-волка и пушкинская любовница. — Я это всегда предчувствовала! А вот муж считает меня заурядной дурой. Ну, что, съел?! А вот иди-ка сюда. иди! Посмотрим, кто ты такой!

Сергей Иванович послушно вышел на сцену. Ясновидец мгновенно оценил его скептическую ухмылку.

— Товарищ не верит в реинкарнацию. Ну-ну. Посмотрите мне в глаза. Попробуйте не моргать. Вот так... Что ж, мой принцип: говорить только правду. Какой бы горькой она ни была. У вас просматривается только одна предыдущая жизнь. И были вы в ней... огорчайтесь или не огорчайтесь... тараканом. Обыкновенным тараканом на кухне. Врать не стану, не знаю, на чьей.

— Ага! — закричала жена. — Анна Керн живет с тараканом! Еще бы таракан мог оценить Анну Керн!

Обидный для Сергея Ивановича смех сотряс зал.

— Извините, что так неприятно удивил вас. — мягко произнес ясновидец.

— Ничуть не удивили, — еще мягче откликнулся Сергей Иванович.

— Ваше открытие вполне логично. Оно объясняет, во-первых, отчего я рыжеват. Во-вторых, почему я не люблю яркий свет. И еще — меня не берет никакая отравка. Недавно с друзьями мы распили пару бутылок водки, взятых в киоске. Вы, наверное, знаете, какую гадость

теперь продают. Так вот: двое друзей маялись дня три, еще одного увезли в больницу, а мне хоть бы хны. Думаю, вы правы и когда-то я был тараканом. Ничего удивительного.

Осталось добавить, что не удивляли Сергея Иваныча не только необычные новости лично о нем, но и любые, самые неожиданные и масштабные перемены в стране. Не повергли его в удивление ни горбачевская перестройка, ни борьба Михаила Сергеевича с пьянством, ни восшествие на российский престол Бориса Ельцина. Не стали для него шоком ни развал СССР, ни расстрел Верховного Совета, ни гайдаровские реформы. Единственное, чему он чуть-чуть иногда удивлялся — тому, что его оборонный завод продолжает работать, а он, инженер Мельников, время от времени даже получает скромную зарплату. А больше — ничему.

Так он и дожил до сегодняшних дней. Но тут судьба уготовила ему такие удивления, каких он еще никогда не встречал. Да, впрочем, с подобными странностями еще не сталкивался ни один житель планеты Земля.

Глава вторая

АВТОБУС ИДЕТ В ПАРК

Прекрасным майским утром Сергей Иваныч после небольшой битвы на остановке, как всегда, втиснулся в переполненный автобус и поехал на работу. Молчаливые утренние пассажиры толкались в поисках наиболее подходящих для долгой поездки поз. Сквозь толпу перлась туда и сюда кондукторша, полногрудая тетка в жеваном спортивном костюме.

— Оплатим проезд! Проезд оплатим! — заученно покрикивала она.

Водитель монотонно объявлял остановки. Мерно рокотал двигатель. Внезапно он взревел на максимальных оборотах...

— В связи с неисправностью двигателя автобус идет в парк! — проорал водитель в микрофон. — Повторяю: автобус идет в парк!

На ближайшем перекрестке он свернул с маршрута и помчался куда-то на предельной скорости.

— Эй! Останови! Выпусти тогда! — завопили пассажиры, а самые нетерпеливые заколотили кулаками в стекло кабины. Но не тут-то было: водитель жал и жал на газ, автобус гудел, как ракета, пронизывая улицы и проспекты, а кое-где пролетал на красный свет.

— Да он с ума сошел! Сбрендил! Пьяный, что ли?! Кондуктор! А вы куда смотрите?

— Для самой полная неожиданность! — растерянно выпучив гла-

за, закричала кондукторша. — С похмелюги, видать. Белены обьелся! Угробит он нас, люди, мое вам слово, угробит! — взвыла она.

В ответ раздались истеричные женские крики и мужской мат.

— А ты чего не орешь? — вскинулась она на Мельникова. — Голос от страха потерял?

— Есть ситуации, когда можно помочь криком, — ответил Сергей Иванович, — но наша не такова. А потому главное — спокойствие. Кстати, я никогда не бывал в автопарках. Не довелось. Меж тем как инженер люблю изучать незнакомые промышленные объекты.

Кондукторша явно хотела что-то сказать ему, но передумала. А только надолго задержала на нем взгляд. Для пожилой тетки-кондукторши в жеваном спортивном костюме не совсем характерный взгляд: умный и проницательный.

Автобус к этому времени миновал городскую окраину и помчался по пригородному шоссе.

— Удивительно! — закричал в ухо Мельникову притиснутый к нему старикан. — Какая неисправность?! Летит, как самолет! О-о-о!!! — завопил он. — Я понял: он взял нас в заложники!

В ответ раздался новый взрыв дамских воплей и мужских матерков.

— Да ладно вам пугать людей, дедушка, — Сергей Иванович ободряюще приобнял соседа. — Что за фантазии?

— Удивляюсь вашему спокойствию! — рявкнул старикан, возмущенно вырываясь из объятий.

— Да, — согласился Мельников. — Меня трудно удивить.

Тут водитель ударил по тормозам и раскрыл двери. Пассажиры высыпали на лесную опушку. Радость оставшихся в живых и на свободе оказалась недолгой, едва они присмотрелись, куда попали.

— Куда завез, гад?! Скотина! Подонок! Это даже не парк!

— Как раз парк, — невозмутимо ответил водитель. — Наш центральный парк культуры и отдыха. Имени почему-то Лермонтова. Но в этом я точно не виноват. В чем виноват: проскочил главный вход, завез с тылу. Погуляйте пока, здесь могут быть ранние грибы. А я движок посмотрю.

Все это он произнес, не покидая кабины. А закончив объяснения, наклонился там, в кабине и исчез из поля зрения.

— Ох, я ему сейчас врежу! — решительно заявил угрюмый парень с крутыми плечами под кожаной курткой. Он распахнул дверцу водительской кабины... И замер в изумлении: там никого не было!

Ошеломленные пассажиры озирались, не в силах понять, как и куда в одно мгновение исчез странный водитель. Тут же обнаружилось исчезновение и кондукторши. И опять-таки никто не видел ее уходящей.

— Просто наваждение! — говорил старикан, хватая то одного, то другого пассажира за рукава. — А вы как это объясняете? Массовый гипноз, что ли?

Сергей Иванович взглянул на часы: на работу он опоздал безнадежно. Торопиться было некуда. Он побродил под соснами и елками, но ранних грибов не нашел. Тогда он неторопливо отправился обратно в город, радуясь теплой погоде.

На пустынной в этот час окраинной улице, тянувшейся вдоль бесконечного бетонного забора какого-то завода, он еще издали увидел идущую навстречу парочку: полноватую женщину с пышной копной волос, крашенных в золото, и высоченного черноволосого красавца. Женщина обтянула свои формы коротеньким черным платьем, обнажившим пухлые колени. На красавце развевался и переливался на солнце огненный плащ. Лица были удивительно знакомы.

— Ну, мы это, мы, — лукаво улыбнулась женщина, когда они поравнялись. — Не падай в обморок, парень.

— Здравствуйте, Алла Борисовна, — поклонился Мельников.

— А со мной? — капризно потребовал красавец.

— По давно заведенному у людей обычаю младший здоровается первым.

— Здравсьте! — пропел черноволосый, но не в интонации приветствия, а как выражение несогласия с услышанным.

— И вы здравствуйте, — в прямом смысле ответил Сергей Иванович.

— Рассудительный, — иронически произнесла знакомым хриловатым голосом Алла Борисовна. — А все же, вижу, малость ошалел. Как это нас занесло в ваш замухряный город, да еще на окраину? Куда мы тут к чертовой матери топаем одни, пешком и без охраны?!

— Вы женщина умная, — почтительно сообщил Сергей Иванович.

— Раз вы тут оказались, значит, не случайно. Возможно предположить следующие обстоятельства. У вас на заводе, — он кивнул, показывая через забор, — шефский концерт для тружеников прославленного предприятия. Но по разгильдяйству за вами не прислали машину. Как порядочные люди вы идете на концерт пешком.

— Ой ли? Чтоб нам да не дали машину? Да нас губернаторы встречают! Ну, согласись — ведь странно это все, странно!

— Да ничего странного, Алла Борисовна. В стране бардак.

— Интересный вы мужчина... — Алла Борисовна вдруг протянула указательный палец и игриво нажала нос Сергея Ивановича движением, которым вызывают лифт. — Скажите, а я вам нравлюсь?

— Как певица? Уважаю. Правда, вы не совсем в моем вкусе. Я люблю блатные песни в исполнении раннего Утесова.

— Ну, ты гусь! А как женщина?

— Как женщина... Глаза у вас какие-то особенные. Знал я одну кондукторшу автобуса... Очень похожие глаза.

Возникла пауза.

— Алла, — сухо произнес черноволосый. — Идем. Мы же на концерт опаздываем.

— И я опаздываю. На работу. Всего доброго. Больших вам творческих успехов. Оставайтесь гордостью российской эстрады! — Мельников еще раз поклонился и зашагал дальше.

Едва он появился в своем конструкторском бюро, как его вызвали к начальнику.

— Транспорт подвел... — с порога начал объяснять свое неприличное опоздание Мельников.

— Оставь, — перебил начальник. — Вот, глянь. — Он протянул листок. — Срочно нужна твоя помощь. По электронной почте — письмо из Токио. Нет, чтоб по-английски. Одни их карябушки. Говорят, ты умеешь читать по-японски.

— Кто это вам... — едва не начал удивляться Сергей Иванович, но, бросив взгляд на иероглифы, обнаружил, что легко понимает их смысл. И сходу принялся переводить: «Уважаемый господин руководитель конструкторского бюро «Контакт»! Фирма «Сони» имеет честь предложить Вам долгосрочное сотрудничество в совместном производстве следующих приборов...» Далее следовали названия приборов, технические характеристики. «Если Вы согласны, приглашаем Вас для переговоров в головное бюро нашей фирмы. Просим Вас взять с собой инженера-разработчика Мерникова...»

— Ни хрена себе предложеньице! — воскликнул начальник. — Не розыгрыш ли? И кто такой Мерников? Нет у нас такого.

— Полагаю, речь обо мне, — скромно объяснил Сергей Иванович. — О Мельникове. У японцев нет звука «эль», они заменяют его на «эр».

— Сергей Иванович! Считай, едем к японцам! — Начальник с чувством пожал ему руку. — Просто удивительно, как ты выучил эту галиматью? Эту китайскую грамоту?

— Японскую.

«А как я ее выучил?» — подумал Сергей Иванович. Вслух же сказал:

— Да так как-то. На спор. На коньяк.

— Так. Я им набросаю ответ, а ты переведешь иероглифами. Нет, черт побери, я просто в изумлении: как тебе дались эти хитрые значки?

— Возможно, — предположил Сергей Иванович, — что в одной из своих предыдущих жизней я был японцем.

Сергей Иванович вернулся на рабочее место, занялся текущими делами. В начале обеденного перерыва заглянул в туалет. После понят-

ной процедуры приготовился мыть руки. Из холодного крана брызнула струя золотистого оттенка, из горячего-коричневого. Золотистая струя на вкус оказалась светлым пивом «Холстен». темная — чешским «Праздроем».

— Давно пора, — одобрил Мельников и вдоволь попил сначала светлого, потом темного, а руки вымыл одним светлым. В туалет вошел сослуживец.

— Приятная новость, — сообщил ему Сергей Иванович.

— Ты о чем?

— Открути краны.

Сослуживец так и поступил. Из кранов потекла обыкновенная вода.

— Так ты о чем?

— Так. Пошутил.

До конца рабочего дня больше ничего неожиданного не произошло.

«А жаль», — подумал, уходя домой, Сергей Иванович.

Глава третья

ИЗБИЕНИЕ ЛЮБОВНИКА

Если кто из читателей не бывал в гостях у Сергея Ивановича Мельникова... Да кто же бывал? Ну, вкратце: двухкомнатная, со смежными, в панельной пятиэтажке хрущевских времен. Этаж лучший — третий. Дом в шесть подъездов, крашенные в черное железные двери. Куцые балконы, обращенные во двор. Вдоль дома — вдребезги раскуроченная асфальтовая дорожка не латанная лет двадцать, вдоль фасада — чахлый газон, высаженные пенсионерами и старательно загаженные более молодыми жильцами клумбы и кусты. Выразительной деталью возле одного из подъездов смотрится тщательно разрыхленная грядка: деревенская бабушка, переехавшая ко внуку, третий год подряд упрямо сажает картошку.

Подходя к дому, боковым (или верхним) зрением Сергей Иванович заметил какое-то движение на своем балконе. Там метался мужчина близкого Мельникову возраста. Под мышкой он держал ком чего-то мягкого, белого и голубого. Мужчина глядел вниз. на куст сирени, начавший расцветать. Наконец, решился и перевалил через перила. Попытался переползти на решетку нижнего балкона, но сорвался и грохнулся в сирень. Не совсем удачно: ойкнул, охнул и начал выбираться из куста, сильно хромя и морщась от боли.

Не в силах догадаться, что такое белое и голубое можно было

украсть в его квартире, Сергей Иванович тем не менее, не раздумывая, подскочил к охромевшему и стукнул ему в челюсть.

— Не смей его бить! — раздался с балкона голос жены. — Не трогай его!

Не знаю, сколько времени понадобилось бы уважаемым читателям мужского пола, чтобы переоценить ситуацию, но Мельникову хватило не более десяти секунд, в течение которых вор, потирая челюсть и постанывая, как ни странно, и не убежал и не попытался сопротивляться.

— Ах, вот оно что, — наконец, произнес Сергей Иванович. — В таком случае нам надо вернуться в квартиру, коллега.

— Какой я вам коллега? — огрызнулся сквозь постанывания вор.

— По сексуальной линии. Прошу пройти. Сопротивление бесполезно. В юности я занимался боксом и дошел до первого взрослого разряда. Я даже был чемпионом областного первенства «Буревестника», — похвастался Мельников. И еще более хвастливо добавил. — Я тогда побил самого Абдрахманова. Правда, по очкам. Но Абдрахманова!

— Понятия не имею, кто такой, — злобно пробурчал коллега по сексуальной линии.

— А надо бы иметь! — обиделся Сергей Иванович. — Абдрахманов впоследствии стал мастером спорта международного класса и чемпионом страны! А теперь — вперед.

Мужчина покорно поплелся впереди мужа, обладавшего неоспоримо крепкими кулаками.

Дома, при включенном вследствие наступающих сумерек свете, соперника удалось разглядеть во всех подробностях. Внешне он был ничем не лучше Сергея Ивановича. Но и не хуже. Попросту говоря — похож. Заурядные черты лица, не героическая фигура.

«Любопытно было бы изучить специальную литературу по этому вопросу, если она есть», — подумал Мельников. — «Какими мужчинами чаще увлекаются жены — похожими на мужей или, наоборот, ничуть не похожими на них? В нашем случае мы явно имеем дело с первым вариантом. На сопернике был, кроме того, костюм, очень похожий на тот, в котором ходил на работу Сергей Иванович. Недорогой, но довольно приличный. Надет он был на голое тело. Белое и голубое оказалось свертком нижнего белья.

— Надеюсь, ты уже понял, что это не вор? — с вызовом начала жена. — Да, это мой любовник. Ну, убей, убей меня! — Она раскинула руки и храбро двинулась на мужа. — Убивай!

— Убивать жен, застигнутых с любовниками — тысячелетняя традиция обманутых мужей во всем мире, разрешенная большинством религий, — произнес Сергей Иванович, отходя от жены на безопасное

расстояние, чтобы действительно ненароком ее не убить. -Но ты еще и мать нашего славного мальчика и в этом качестве нужна в годы его постоянно переломного характера. Кроме того, несмотря на свой вздорный характер, вкусно и старательно готовишь. Этого у тебя не отнимешь. Если коллега хоть раз пробовал твой борщ, твой рыбный пирог, твой гуляш по-венгерски, он меня поймет.

— Ничего я тут у вас не пробовал, — пробурчал любовник. -Я принципиально не ем в чужих домах. У меня гастрит. Я сам себе готовлю.

— Да! Надеюсь, коллега не приходит при Леньке? — чуть строже спросил Мельников.

— Я идиотка? Ты же знаешь, он в это время всегда уходит гулять. Ты приходишь не раньше половины седьмого. Мы это всегда учитывали. Но сегодня как-то... задержались. И я увидела тебя из окна, как тыходишь во двор. Что тебе еще непонятно? И что за издевательски спокойный тон? Застать жену с любовником, но не возмутиться и даже не удивиться... Извини, это — хамство!

— Чему же удивляться? По известной статистике в первые пять лет супружества совершают измены приблизительно треть мужчин и четверть женщин. В следующие пять лет друг другу начинают изменять практически все. Нашему браку двенадцать лет. Ситуация однозначна.

— С твоей стороны тоже?

— Разумеется, — постарался ровным голосом ответить Сергей Иванович, но при этом как бы случайно отвернулся, чтобы не выдать себя взглядом. У него любовницы не было. На заводе, в конструкторском бюро, симпатичная и еще не совсем постаревшая Алевтина Игнатьевна давно подавала ему недвусмысленные знаки, но все как-то было недосуг радушно ответить на искренние зовы ее души и тела.

— Тогда мы квиты, — торжествующе подвела черту жена. — И, между прочим, я давным-давно это чувствовала. Твои фальшь и притворство. Так что, согласись, с моей стороны это — вполне понятная месть развратнику-мужу. Но как мы будем жить дальше? Настал момент истины. Давай, расставим точки над и.

— Да, кое-что придется уточнить. Вы, собственно, почему сюда ходите? — сурово спросил Сергей Иванович у любовника, который, пока звучал диалог супругов, медленно, но неотвратимо перемещался в сторону прихожей.

— То есть... Что непонятного?

— Чувствую, смысл вопроса не понят. Почему именно вы ходите к моей жене, а не она — к вам? У вас нет подходящего места?

— Почему? У меня неплохая квартира. Получше вашей.

— Тогда почему?

— Ты дурачка из себя не изображай! — злобно прокричала лю-

бовнику жена. — Сто раз тебе объясняла: в соседнем с тобой подъезде живет знакомая, может меня увидеть. И рассказать Сергею. Мне это надо?!

— Теперь этого даже мне не надо. — уточнил Мельников. — Согласен, причина резонная. Ладно, приходите по-прежнему сюда, коллега. Но уж, пожалуйста, с надежным упреждением против моих возвращений с работы. Да и согласитесь, сколько можно при никудышной спортивной подготовке прыгать с третьего этажа?

— Да я вообще больше сюда ни ногой! Клянусь! — выкрикнул любовник. В руках он по-прежнему сжимал ком своего белья. — Если не возражаете, я... — Он явно хотел попросить разрешения уйти и только теперь осознал недостаток своей экипировки. — Можно, я, наконец, оденусь?

— Разумеется, коллега.

Любовник прошмыгнул в дальнюю комнату.

— Все же странно. Ты не возмущен и не удивлен. — В голосе жены слышалась горечь. — Просто обидно.

— С детства не умел удивляться, ты это не могла не замечать. А с годами вообще зачерствел. Конечно, нехорошо. Если можешь, прости.

Вернулся прилично одетый любовник.

— Могу я уйти?

— Можете, но при условии, что непременно, как и до сегодняшнего вечера, будете возвращаться. Я люблю свою жену. Мне приятно знать, что она бывает счастлива. Вы сейчас — временный источник ее маленьких женских радостей. Возможно, пройдет время, и она найдет другого. Но сейчас поставщиком приятных ощущений для нее являетесь вы. Это налагает ответственность. Если вы, не дай бог, перестанете приходить — напоминаю, я был чемпионом областного «Буревестника» по боксу.

При этом напоминании любовник непроизвольно пощупал челюсть.

— А теперь, будьте любезны: попрощайтесь так, как вы это обычно делали без меня. Впрочем, пожалуй, щадя мои чувства, все же не так эротично. Но достаточно сердечно и искренне. Поцелуйтесь на прощанье и скажите друг другу несколько теплых слов.

Под требовательным взглядом Сергея Ивановича любовники оцепенело сблизились, деревянно прикоснулись губами к щекам.

— До встречи, — прошептал любовник.

— Буду ждать, — прошептала жена Мельникова.

— Вот и славно, — полным голосом, но в максимально деликатной интонации подытожил непростое общение в рамках любовного треугольника Сергей Иванович.

Глава четвертая

ОГРАБЛЕНИЕ СБЕРБАНКА

Сын Ленька, шестиклассник, был очень славным мальчиком. Учился хорошо и старательно. Не грубил родителям. По вечерам уходил гулять. Но не раньше, чем выполнит домашние задания. Возвращался трезвым. Все это, несомненно, было следствием папиных генов — спокойным и рассудительным характером Сергея Ивановича. Но и мамино влияние время от времени имело место. В последнее время мальчик все чаще и чаще просил деньги. И все большие и большие суммы. Поводы были невинными: попить с приятелями пепси-колу. Сходить в кино, в зоопарк. Однажды спокойный папа занервничал и отказался выдать Леониду Сергеевичу просимые им сто рублей — в связи с тем, что в домашнем бюджете наблюдалась напряженка. Мальчик забился в палатки. Он бегал по комнате, пинал мебель и кричал:

— Уйду от вас, жмотов! К беспризорникам. На вокзале буду жить!

Мама достала из заветного места, где лежали семейные деньги, сторублевку, дала сыну, обняла его, сразу затихшего, поцеловала и устремила на Сергея Ивановича взор своих горячих злых глаз:

— Не смей на него сердиться! Что поделаешь — мой характер.

Вечером следующего дня, не удивившего Сергея Ивановича наличием у жены любовника, Леня, как всегда, аккуратно выполнил все, что было задано в школе, и ушел погулять. Вернулся позже обычного. Вид у него был суровый, близкий к трагическому. Он, как вошел в квартиру, так и остался в прихожей, подперев кулачком подбородок и приобретая этим сходство со знаменитой скульптурой француза Родена «Мыслитель».

— Что случилось? Случилось что-то? — встревожилась мама, нехотя оторвавшись от телевизора.

— Ничего особенного, — мрачно произнес мальчик. — Но случилось. Но скажу только папе.

— Ох, уж эти мужские секреты, — притворно огорчилась мама и вернулась к просмотру двести тридцать седьмой серии «Поддатые тоже кланчат».

Сергей Иванович завел сына во вторую комнату.

— Папа... — голос у мальчика неподдельно дрожал. — Папа я должен сказать тебе ужасную вещь. Но я боюсь. За тебя. Ты будешь удивлен, как никогда в жизни. Вдруг тебе станет плохо?

— Скажешь маме, чтобы вызвала «Скорую».

— А вдруг, пока она приедет, ты уже помрешь? Прямо не знаю, с чего начать.

— Начни с того, что ты вовсе не такой хороший мальчик, как думаем мы с мамой.

— Как ты догадался?

— Видишь ли, мои родители тоже думали, что я не вожусь со шпаной, не матерюсь, не курю и не прогуливаю уроки.

— Папа! — сказал Леня после продолжительной паузы. — Я не совсем такой, какой ты был. Вот, например, уроки я не прогуливаю.

— И еще они не знали, что я, как теперь ты, играю на деньги. В разные азартные игры.

— А...

— Как догадался? Понимаешь, Ленька, мальчики всего земного шара, начиная лет с семи-восьми, обязательно играют на деньги. Жажда быстрой наживы живет в душе всех лиц мужского пола с доисторических времен. И то сказать, когда удавалось сделать чикку без крика... Сильнее радости в детстве не помню.

— «Чика» — что это?

— Это, сын мой, была замечательная игра. Жаль, она не передалась следующим поколениям азартных пацанов. Это была такая игра. На земле проводились две черты. Каждый игрок давал монету, из них составлялся столбик и устанавливался на одной черте. От другой черты, назовем ее — стартовой, с расстояния шагов в десять, все по очереди бросали биток — тяжелый кругляш, выплавленный из свинца.

— Ух, ты. Из свинца! — удивился Ленька. — А где вы его брали? И как плавили?

— Не помню, откуда доставали или воровали кусок кабеля. Сдирали оболочку. Кусочки свинца укладывали в баночку из-под сапожного крема. Разжигали костер, в его середину ставили баночку. Температура плавления у свинца небольшая.

— Триста с чем-то градусов, — вспомнил Ленька.

— Правильно. Когда баночка остывала, из нее выколачивали замечательный тяжеленький кругляш.

— А как играли, папа?

— У кого биток не долетал до черты с монетным столбиком, это называлось «сира» — выбывали. У кого он пролетел дальше черты — выстраивались в очередь. Кто «сел» ближе к черте, разбивал столбик первым. Если монета при этом переворачивалась — она становилась твоей. Но мечтой было попасть прямо в столбик — тогда он весь твой, сразу. Но нужно было успеть крикнуть: «Чика без крика!» Иначе кто-нибудь кричал: «С криком!» — и твой выигрыш был не в счет.

— Здорово! — Ленька просто загорелся от отцовых воспоминаний. — Да, жаль, не дошла до нас эта игра...

— А ты во что играешь?

— Папа... Еще раз предлагаю... Ты сейчас так удивишься. Может, тебе принять что-нибудь от сердца?

— У меня великолепное сердце. Не бойся, говори.

— Ладно, папа, я тебя предупредил. Тогда слушай. Когда я ухожу гулять, я на самом деле иду в соседний двор играть там с мальчишками в карты. На интерес, если кончатся деньги.

— А они, бывает, кончаются?

— Папа, я начинаю игру — весь в тебя. Спокойный, рассудительный. Выигрываю. Но стоит раз проиграть — во мне просыпается мама. Нервничаю, заказываю не те карты. Продолжаю проигрывать. Надо остановиться, но мамин характер полностью подавляет твой — выпадаю в бешенство. Играю в долг, потом — на интерес.

— Что это — интерес?

— Это — что интересно тому, кто выиграл. Может сказать: съестьдохлую мышь.

— Это нелегко.

— Мое счастье — не нашли. А то пришлось бы есть.

— Ладно, ты в очередной раз проиграл. Что тебе приказал выигравший?

— Ограбить отделение Сбербанка.

— А... Которое у нас на углу? В чем проблема? Проиграл — иди, грабь.

— Папа, я уже заходил. Там двое дядек в камуфляже. И у каждого оттопыренный карман. Ясно, что оружие.

— Ежу понятно — оно.

— Что же мне делать? Он сказал: не ограбишь — убью.

— Вот что, сынок. У тебя есть игрушечный черный пистолет. Похож на настоящий. Войди туда завтра перед закрытием, когда посетителей нет. Направь на кассиршу пистолет и крикни:

«Деньги на бочку!»

— На какую бочку, папа? Нет там никакой бочки.

— Ну, так еще пираты кричали, она поймет.

— А дядьки в камуфляже?

— А им крикни: «На пол, гады! Мордой в пол!» Можешь добавить: «Или перестреляю к чертовой матери!» Тебе известно это грубоватое выражение?

— Тут, папа, можешь не сомневаться. Известны и покрепче. А они послушаются?

— Нет, конечно. Они схватят тебя. выкрутят руки, ты только не сопротивляйся, чтобы не сломали.

— А дальше?

— Дальше тебе дадут пять лет детской колонии. Там есть школа. Кормят скудно, но мы с мамой будем носить передачи. Выйдешь как раз после десятого класса и, как мечтаешь, пойдешь поступать в политех.

— Папа... Я думал, ты от удивления сознание потеряешь. А ты спокойно советуешь сыну идти грабить и садиться на пять лет.

— Так ведь иначе — убьют? Логично?

— Логично, — вздохнул мальчик. — Значит, идти?

— Если любишь папу с мамой — непременно идти.

Вечером следующего дня Сергей Иванович, вернувшись с работы, спросил жену:

— Надеюсь, Ленька ушел гулять?

— Да. Но был как-то странно возбужден. Почему-то я за него испугалась.

— Главное — спокойствие, — спокойно сказал Сергей Иванович и погладил супругу по спине, чего давненько не делал. — Главное, чтобы в передачах, которые мы будем ему носить, непременно были рыбные продукты. В его возрасте особенно нужен фосфор.

— Дурацкие у тебя шутки! — разозлилась жена. — А у меня сердце сосет: что-то он задумал недоброе.

— Я-то уверен, что он задумал недоброе. Одно меня тревожит при моих скромных заработках: рыба почему-то дорожает быстрее мяса.

Тут раздался звонок в дверь, мама рванулась открывать... Леня был красен, как флаги на митингах старых коммунистов, и тяжело дышал.

— Что? Что?! — закричала мама. — Что-то случилось?!

— Случилось. Но скажу только папе.

Они снова уединились в дальней комнате.

— Папа, я все сделал, как ты посоветовал. Боюсь, сейчас ты уж точно — так удивишься! И потеряешь сознание. Может, заранее вызвать «Скорую»?

— Сынок, у меня, кажется, просто нет того, что называют сознанием, и в этом смысле мне нечего терять. Говори.

— Папа! Когда я им крикнул: «Ложитесь, гады!» — они тут же легли. Я даже забыл еще крикнуть: «Перестреляю, сволочи!» А тетенька через окошко дала мне вот это. — Леня достал из-за пазухи толстую пачку пятисотенных купюр. — Что теперь с ними делать?

— Для начала сосчитаем. Так... Тысяча... Две... Десять... Двадцать... Сорок... Шестьдесят. Распределим их таким образом. Две бумажки отдай тому, кто заказал тебе грабеж. Десять бумажек оставь на следующие проигрыши. Дальше... Халявные деньги вообще-то принято пропивать, но ты, мне кажется, еще... Или ошибаюсь?

— Ну... — замялся Леня. — Пока только пиво...

— Пару бумажек оставь на пиво. Остальное заверни и надпиши: «Через пять лет на взятку для поступления в политехнический».

— Ни фиги себе! — изумился мальчик. — Там такие взятки?!

— Сейчас — меньше. Но через пять лет будет в самый раз...

Леня уже потянулся было к деньгам, чтобы распределить их по мудрым указаниям отца, но Сергей Иванович больно шлепнул его по руке:

— Стоп! Сынок, я пошутил. Деньги мы, конечно, вернем. Но тебе там появляться не стоит. Отнесу я.

— А вдруг там схватят тебя? Кстати, папа, а почему они меня испугались?

— Они не испугались. Они растерялись при виде такого юного грабителя. Ты сильно удивил их своим возрастом.

— Но ты-то своим возрастом их не удивишь.

— Да, Что-нибудь придумаю. Скажу, подошел незнакомый мужчина, попросил передать конверт. Вот, прямо сейчас берем конверт, помещаем в него денежки. Значит, попросил передать незнакомец, а на конверте написано... Сейчас и напишем... Допустим, так: «Это была проверка ваших охранников на храбрость и мужество. Наймите других».

— Пап, а как я докажу этому, который заказал желание, что я все исполнил?

— Не беспокойся. Завтра о твоём дерзком ограблении сообщат все газеты и каналы телевидения. И о том, что деньги возвращены — тем более. Ну, я пошел.

— Вот они удивятся, когда ты вернешь деньги!

— Да, — согласился Сергей Иванович. — Удивительные у нас люди. Подчас удивляются самым обычным человеческим поступкам.

Глава пятая

ВСТРЕЧА НА КЛАДБИЩЕ

Временно живые предпочитают не признаваться в странной тяге к местам упокоения ушедших. Но на самом деле любят бывать на кладбищах. И не только, чтобы навестить родные могилы. Необъяснимый покой навеивает город мертвых. Зимой взор радуется чистота высоких сугробов, ноздри улавливают нежный запах еловых лап, слух услаждается цвирканьем синиц, стрекотаньем сорок, перестуком дятлов. Летом кладбище встречает буйным цветением трав, медвяным запахом иван-чая... Но главное — глубокое и успокаивающее чувство удовлетворения: вы уже здесь, а я еще там. Или наоборот: вы уже там, а я еще здесь!

Двадцать лет не видел случайного знакомого и думать о нем забыл, а он — вот он: потускневшее фото в овале. Надо же! Я-то и не знал, а он уж пять лет как умер. А я после него уж пять лет как жив. Славно!

Когда Сергею Иванычу в хорошую погоду хотелось пройтись после работы домой пешком, кратчайший путь как раз пролегал через кладбище, которое когда-то было заложено на окраине, а теперь оказалось в самом центре. И он всякий раз с удовольствием выбирал эту дорогу.

Правда, еще ни разу он не проходил через кладбище так поздно. Пришлось надолго задержаться, сочиняя ответное письмо японцам и переписывая его иероглифами.

Смеркалось, на улицах зажигались фонари, а за кладбищенскими воротами в густой древесной чащобе уже сгущалась тьма. Однако же, Сергей Иваныч Мельников уверенно и спокойно вышагивал знакомыми дорожками по налаженному маршруту, мимолетно отмечая наиболее заметные могилы и памятники. В потемневшем небе взошла и налилась таинственным светом полная Луна, разбрасывая блики и тени, поблескивая на полированных камнях, на никелированных рамках портретов. Сразу за воротами начиналась почетная аллея советских времен: партийные руководители, директора заводов, народные артисты, герои труда. А ее непосредственным продолжением пролегла аллея героев нового времени. Памятники советским деятелям, казавшиеся когда-то мощными, выразительными и богатыми, меркли в сравнении с усыпальницами бандитов. Здесь к небу вздымались трехметровые плиты из мрамора, гранита, лабрадора, высились скульптуры, высеченные в полный рост. Луна освещала атлетически сложенные фигуры и суровые простые лица. Мерцали чугунные и бронзовые цепи, обрамлявшие пьедесталы и постаменты... Далее россыпью покоились обыкновенные люди. Они лежали под скромными плитами из мраморной крошки, под каменными и деревянными крестами, а иные, ушедшие давно — и под пирамидками с побуревшей красной звездой.

Поразительная для центра города тишина обнимала кладбищенский массив. Сергей Иваныч слышал собственные шаги по хрупкому гравию и ровное биение своего сердца.

Внезапно надсадный скрежет разорвал тишину! Мельников замер на полушаге. В неверном свете Луны он увидел, как гранитная плита, накрывавшая ближайшую могилу, вздрогнула, приподнялась, поехала в сторону, обнажила яму... И оттуда вылезло нечто. Нечто с хрустом распрямилось и, глухо погромыхая, подошло к Сергею Иванычу.

В школе на уроки анатомии учительница приносила человеческий скелет, убедительно и во всех подробностях сотворенный из пластмассовых имитаций. С искусственным чудищем было приятно забавляться: здороваться с ним за руку, шлепать по задку, всовывать палец меж челюстей, стянутых стальной пружинкой, и ждать, когда он прикусит палец.

Точно такой же скелет, но без малейшего сомнения настоящий, покачивался перед Мельниковым. Челюсти жутко клацали, прихотливо изгибался позвоночный столб, берцовые кости загадочно приплясывали, не касаясь коленных чашечек. Чудовищно громадные глазные провалы были обведены синеватым лунным светом.

— Живого чую! — сипло провыл скелет. — Тепло! Согрей меня, живой! Холодно мне в могилке! Ох, и холодина! — Скелет вцепился в рукав Сергею Ивановичу и поволок его к яме. Мельников так резко ударил по костлявым пальцам, что несколько фаланг отломились и упали.

— Минуту, чтобы знать, как к вам обращаться. — Он наклонился над пирамидкой и на деревянной дощечке с трудом разобрал: «Пестряков Андрей Алексеевич. 1923 — 1973».

— Итак, Андрей Алексеевич... Вот что. Перестаньте нести чушь. Вы не можете испытывать чувство холода. И никакие другие тоже.

— Могу! — взвыл скелет. — Слышал выражение: «Кости мерзнут»? Обними! Согрей! — Скелет снова попытался ухватить Мельникова, но тот успел отскочить. — Живой ведь! Горячий! От моего голоса тут уже трое окоchureились. Погрелся малость, пока остывали. Но недолго. А ты, радость моя, жив!

— Кстати, о голосе. Меня как инженера это чрезвычайно заинтересовало. Ведь у вас нет ни легких, ни гортани, ни голосовых связок. Откуда же берется звук, который есть не что иное как колебания воздуха? Чем вы его колеблете?

Скелет озадаченно почесал костлявыми пальцами затылок.

— А хрен его знает, чем. Но слышишь ведь — колеблю.

— Слышу. И полагаю — это замечательное физическое явление, еще неизвестное науке. С удовольствием поразмышляю над ним по дороге домой. Счастливо оставаться!

— Я те покажу домой! Здесь останешься! Навсегда! — Скелет снова ухватил Сергея Ивановича с неожиданной силой и приник черепом к лицу Мельникова, обдав его гнусным дыханием.

— О господи, Андрей Алексеевич! — непроизвольно воскликнул Сергей Иванович, безуспешно вырываясь от все крепчающих объятий.

— Сколько же вы при жизни выпили?! От вас до сих пор перегазом несет!

— А нет ли у тебя с собой чекушечки? — ухмыльнулся скелет. — Прилегли бы, выпили, поговорили за жизнь. То есть за смерть... Идем! — И чудовище поволокло позднего гостя к зияющей яме.

Сергей Иванович размахнулся и что есть силы ударил в середину позвоночного столба. Позвонки брызнули в разные стороны. Скелет рассыпался с тихим шорохом. Череп улегся на груду костей, задвигал челюстями, но не раздалось ни звука.

— Простите, Андрей Алексеевич, рефлекторно вышло. Сейчас поправлю, что смогу. — Сергей Иванович сбросил кости в яму, поднатужился и втащил на место плиту. — А выпить выпью. Обещаю: приду домой — приму рюмочку за помин вашей, невольно потревоженной мною души. Спите спокойно, дорогой товарищ!

Глава шестая

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДИВЛЕНИЮ

Дома Сергей Иванович незамедлительно выполнил данное мертвецу обещание. И даже значительно перевыполнил. Принял далеко не одну рюмку. Все-таки встретить во тьме кладбища скелет — не то, что солнечным утром — Аллу Борисовну. Самообладания было потрачено немало.

Спать он лег позже обычного. Сон долго не шел, а когда удалось уснуть, перед спящим потянулись вереницей удивительные встречи и события последних дней, и много раз за ночь тянулся костлявыми пальцами к его горлу скелет с глазными провалами, обведенными жуткими синеватыми обводами...

Проснувшись, он тут же убедился, что проспал. В квартире было тихо. Жена уже ушла на работу. Ленька убежал в школу. Впрочем, с кухни доносилось какое-то нежное воркованье. Он решил, что забыл вчера выключить стоявший там портативный радиоприемник, и вошел.

Красивая молодая женщина с приятными округлостями кормила манной кашей очаровательного мальчонку. Можно было вообразить, что Сергея Ивановича в машине времени вернули лет на десять назад. Но женщина на жену того времени не была похожа ни фигурой, ни выражением лица. Ничем не был похож на давнишнего двухгодовалого Леньку и мальчик.

— А вот и папа пришел. — сказала женщина. — Доброе утро, милый.

— Здрястуй, папоська, — пробулькал сквозь кашу малыш. — Ты мне масинку обессял, помнишь? Плинес?

— Здравствуйте, мои дорогие. Впервые вижу вас, но вы мне очень нравитесь. И знаете, что? На работу я уж все равно опоздал. В Японию мне все равно не ехать — ведь так? Давайте посидим по-русски — с водочкой под пельмени. — Сергей Иванович поставил на огонь кастрюлю с водой, приготовил соль, перец горошком, лавровый лист и убедился, что мешочек с пельменями из морозилки никуда не делся. — Единственное, что меня немного беспокоит: в час дня придет Ленька из школы, в пять вечера — жена с работы. Надеюсь, вы ко мне не надолго?

— Что ж, — произнес ребенок взрослым голосом, стирая с губ кашу. — По-моему, хватит проверять. — Он слизал с губ последние остатки каши и грубо сплюнул их на пол. — И как вы эту дрянь едите? Детей пичкаете отравой... По-моему, подходящий, — сказал он, обратясь к женщине.

— По-моему, тоже, — кивнула женщина.

— Тогда рискнем? Вот что, Мельников... — Ребенок смял в ладошке тарелку с кашей, рассеянно покатав по столу образовавшийся шарик и уронил его на пол. Шарик обернулся крупным тараканом.

— Это уже лишнее, — сердито заметила женщина. — И без того ясно.

— Стало быть, слушайте, Сергей Иванович... — Ребенок окончательно повзрослел лицом. — Есть такая планета. У вас ее называют главной звездой созвездия Центавр — альфой Центавра. По некоторым причинам всем нам нужно оттуда срочно перебираться. Ваша Земля — среди самых подходящих. Существа мы — назовем нас по-вашему, альфацентаврики — мирные, трудолюбивые. обижать не станем. По развитию обогнали вас на полтора миллиона лет. Привезем такие технологии — ахнете.

— В том-то и дело, — перебила женщина, — что ахнут. Понимаете, Мельников, нас послали проверить: как вы будете реагировать на пришельцев из космоса. Увы и увy. Мы пробовали входить в контакт с землянами в разных местах планеты — результаты удручающие. Вы наверняка читали в прессе: люди буквально сходили с ума. Заявляли, что с ними заговаривала идущая по улице табуретка. Или они видели прыгающий башенный кран. Это были мы в своих реальных обликах.

— К сожалению, — продолжил ребенок, — представление о телесной красоте и гармонии у нас с вами не просто разное. Разница такова, что вызывает отвращение и ужас. Но у нас особые нервы. Мы вполне можем пережить вид вашего массового уродства — эти ваши так называемые головы, руки, ноги. Эти ваши два глаза. Какая гадость!

— И потом, вы своим однообразием просто наводите тоску, — подхватила тему женщина.

— Не так уж мы одинаковы, — обиделся Мельников. — Побывайте в Африке, в Китае — там вы увидите совсем другие лица, другой цвет кожи.

— Это вам кажется, что другие. Были мы и в Африке, и в Китае. Для нас вы всюду одинаковы и, уж простите, одинаково противны. Но, повторю, мы умеем сдерживаться и терпеть. А наши облики почему-то приводят землян в неопиcуемый ужас.

— Честно говоря, это просто оскорбительно! — воскликнул ребенок. — В нашей части Вселенной мы, альфацентаврики, считаемся

самым красивым народом. Конечно, мы могли бы, переселившись на Землю, ходить среди вас перевоплощенными, как сейчас. Но постоянно маскироваться унинительно и недостойно. Где же выход? Мы решили отыскать среди землян хоть горстку людей, которые обладали бы повышенным сопротивлением к удивлению. Сначала к нам привыкнули они, а со временем, постепенно — и остальные. И сегодня мы можем поздравить себя — одного такого мы, кажется, нашли.

— Да, — кротно подтвердил Сергей Иванович. — Удивить меня нелегко. И испугать тоже трудно.

— Поздравляем и вас с успешным окончанием испытаний. Хочет ся, кроме потрясающего спокойствия, отметить и вашу незаурядную пронциательность. Нам показалось, в самом начале испытаний вы усмотрели какую-то связь между автобусной кондукторшей и вашей знаменитой певицей.

— Усмотрел, но слишком смутную, чтобы понять, в чем дело, — честно признал Мельников.

— Но учтите... — Ребенок вперил в Сергея Ивановича пристальный взгляд. — Все это были предварительные проверки: автобус, Пугачева с Киркоровым, японский язык. пиво из крана, парень, приказавший вашему сынишке ограбить Сбербанк, скелет, вот эта ваша будто бы жена и я, будто бы ваш младенец...

— Жаль, что будто. — улыбнулся Сергей Иванович. — Я бы не отказался. Конечно, не бросая первую семью. Вы очень славный мальчуган. А вы — такая хорошенькая, привлекательная... Скажите, а в своем действительном облике вы тоже женщина? — с надеждой спросил он.

— Сейчас увидите, — сухо бросила женщина. — Сейчас мы станем такими, какими живем на своей планете. Для вас это и станет окончательной проверкой. Вы еще можете отказаться.

— Да ни в коем случае! Перевоплощайтесь, с нетерпением жду!

— Что ж. Тогда, как у вас говорят: «С Богом!»

Произнеся это восклицание, женщина стремительно сплющилась, а ее ноги, привлекая Мельникова своей стройностью, раздвоились — и мгновенье спустя в кухне стояла еще одна табуретка. Но высотой она была вровень со столом. А также в отличие от остальных табуреток у этой в середине сиденья матово светился овал, переливаясь оттенками розового и фиолетового, и в основаньи каждой ножки был как бы приклеен здоровенный выпученный глаз с бешено вращающимся зрачком.

Несколько преобразился и ребенок: на его месте в упор до потолка воздвиглось нечто конусовидное, решетчатое, напоминающее Эйфелеву башню, если бы ее кто-то в припадке безумия скрутил, погнул и малость потерзал.

Около минуты альфацентаврски не двигались и не говорили. Наконец, конусоид наклонился, заглянул Мельникову в лицо и констатировал:

— В сознании.

Из Эйфелевой башни выдвинулось суставчатое устройство и обхватило у Сергея Ивановича запястье правой руки.

— Пульс нормальный.

— Потрясающе! Великолепно! — воскликнула табуретка и все ее четыре глаза радостно брызнули лучами полного спектра радуги. — Прямо не верится. Мельников, неужели и сейчас вы несколько не удивлены?!

— Ребята, — сказал Сергей Иванович. — Фу-ты-ну-ты. Надо же было меня столько проверять и готовить. Во-первых, вы, видимо, не удосужились посмотреть наше телевидение, где для детей крутят американские мультики про инопланетян. Если бы вы увидели, как вас там изображают — в сто раз страшней. А во-вторых... Давайте-ка лучше проверим, как вы сами насчет сопротивления удивлению. С чего бы начать... Ага! Будьте любезны, вам на вашей Альфе зарплату регулярно платят?

— Разумеется, а как иначе? — синхронно ответили конусоид и табуретка.

— А если бы задержали на месяц-другой?

— Абсолютно исключено. Мы бы погибли.

— А у нас, бывает, по полгода без зарплаты живут.

— Не может быть! — Табуретка даже подпрыгнула, а светящийся овал нервно полыхнул. — Вы бы тоже давно вымерли.

— Что, удивились? А мы — живем. Дальше. Понятие «пенсия» у вас существует?

— Естественно.

— А кто получает самую большую?

— Заслуженные люди. В первую очередь — врачи и учителя.

— А может у вас мелкий чиновник, клерк, не говоря уж о руководящих, получать пенсию в пять раз больше выдающегося ученого?

— Боже упаси! Это привело бы к социальному взрыву. К революции.

— Ну, дальше. У вас, думаю, тоже есть полиция-милиция. Что делает?

— Охраняет порядок — что же еще?

— А бандиты имеются?

— К сожалению — да.

— Что делают?

— Как что? Грабят. Продают возбудители — у вас их называют наркотиками. Обируют торговцев.

— А вот у нас, наоборот, бандиты охраняют порядок. Например, на рынках. А полицейские охраняют торговцев наркотиками. А то, бывает, сбиваются в шайки и грабят водителей на дорогах.

— Бред! Бред! — выкрикнул конусоид и зашатался.

— А еще у нас бомбят собственный большой город, превращают в руины. Потом начинают отстраивать его заново. После чего снова бомбят. Или вот... Эй, да вы не слушаете? Ребята, что с вами?

Сергей Иваныч побил обмякшего конусоида по предполагаемым железным щекам, брызнул холодной водой на табуретку. Конусоид со скрежетом распрямился и вернул своим сочленениям прежнюю упругость. Табуретка со слабым стоном встала на ноги:

— Что с нами было?

— Это вы до того удивились моим сообщениям, что в обморок грохнулись. Эх, ребята. Не меня к вашим обликам нужно готовить, а вас — к нашей скромной повседневности. А ведь я еще не рассказал, кто такие олигархи и сколько стоит место министра в правительстве и депутата в парламенте. И много чего еще... Молчу-молчу! — смилостивился Сергей Иваныч, видя как у табуретки вновь покосились ножки, а конусоид зашатался и судорожно ухватился за газовую трубу. — Ладно. Давайте-ка, преобразитесь обратно, в землян, и посидим по-человечески, под пельмешки. На прощанье, как полагаю.

Возвращение в человеческие облики альфацентаврикам почему-то далось не сразу. Уж и вода вскипела, и Сергей Иваныч бросил в кипяток перец, лаврушку, соль, после чего всыпал угощение. Уже не раз снял пену и, помешивая шумовкой, ускорил всплывание пельменей. А табуретка все постанывала, а конусоид нервно погромыхивал составляющими его кручеными решетками. Но в аккурат к тому моменту, когда Сергей Иваныч повылавливал и раскидал по тарелкам пельмешки и разлил в рюмки водку, альфацентаврики снова стали славным мальчуганом и миленькой женщиной.

— Ну... — Сергей Иваныч поднял рюмку и произнес голосом артиста Булдакова, подражая тостам из «национальной охоты». — За сопротивление удивлению! — Подумал и добавил от себя. — Тяпнем!

Альфацентаврики тяпнули, поперхнулись, крякнули и начали активно жрать дымящиеся пельмени, приправленные сметанкой и горчицей.

— Водка у вас на альфе Центавра есть?

— Есть. Но не такая крепкая.

— А пельмени?

— Пельменей нет.

— Вкусно?

— Очень.

— Отсталая вы планета, товарищи. Запишу вам на бумажке технологию: как лепить, как варить. Вернетесь — заведите себе эту великолепную закуску. Теперь главное. Если решите переместиться на Землю — мой вам совет: поселитесь там, где нет людей. В Антарктиде. Пингины подвинутся. В остальные места не рекомендую. Особенно к нам. В России умеют жить только россияне. Это особое искусство — жить в России. Впрочем, я оптимист. Возможно, со временем что-то у нас переменится. Со временем, с годами. С веками. Как когда-то сказал один из наших великих вождей заезжему иностранцу, настроенному скептически... В общем, дорогие альфацентаврики... А вы, батеньки, прилетайте к нам в Россию... через тысячу лет!

Глава седьмая

ОБУЧЕНИЕ УДИВЛЕНИЮ

А на следующее после визита альфацентавриков утро начался замечательно странный день. За всю историю человечества такого еще не было на нашей планете. Естественно, не случалось такого необычного дня и в жизни Сергея Ивановича Мельникова.

Утром, раньше, чем прозвенел будильник, его сон прервали непонятные звуки: ритмичное шарканье во дворе. Сергей Иванович распахнул окно и выглянул: на асфальтовой дорожке, протянувшейся вдоль дома, энергично работал метлой рослый бравый мужчина в новехоньком синем джинсовом комбинезоне и белоснежном переднике. Двор, надо сказать, давно уж пришел в полное запустение — желающих трудиться дворниками за ничтожную зарплату не находилось. Разная мусорная пакость скапливалась повсюду и жильцы привыкли к неопрятному облику родного двора как к исторической неизбежности. Разве что раз в год, в апреле, по давней привычке к ленинским субботникам, выползало несколько старушек-пенсионерок и они, как могли, прибирались возле своих подъездов.

Бравый вид мужчины настолько порадовал Сергея Ивановича, что он не удержался задать очевидный вопрос:

— Вы кто?

— Я ваш дворник, господин жилец, — почтительно представился мужчина, не переставая махать метлой. — Простите, если разбудил.

— Ничего, ничего. Замечательно, что у нас, наконец, появился дворник. И что вы так старательно работаете.

— За такие деньги прохладиться — совесть надо иметь! — отозвался мужчина и вскинул метлу восклицательным знаком. — Пять тыщ в месяц — не хухры-мухры, господин жилец, а?!

— Ого! — согласился Сергей Иванович. — Хорошие деньги. Мне бы такие.

— А вы кто будете?

— Да так... Инженер на заводе.

— Чего ж вы мне завидуете? Вам же двадцать тыщ полагается! Или вы вчера ни радио не слушали, ни телевизор не смотрели? С сегодняшнего дня дворникам, санитаркам, нянькам в детсадах нельзя платить меньше пяти тыщ, инженерам — меньше двадцати, а учителям и врачам положено самое малое тридцать штук в месяц. Вижу, удивил вас, господин жилец?

— Удивить меня трудно. Но и поверить вам не могу. Откуда вдруг в стране появились средства на такие зарплаты?

— А из-за рубежа, откуда ж еще? Президент всех этих, которые капитал за рубеж вывозили, собрал в Кремле... Да вы, господин жилец, где были в последнее время? Ничего не знаете? Вот, собрал и говорит: «Так, ребята. Автобусы на Красной площади видели? Если до вечера не вернете капиталы в Россию и не отдадите их в госбюджет, сядете в эти автобусы и поедете далеко на север валить лес». Ну, по слухам, они закричали: «Господин президент! Как же так? Без суда и следствия! Что это такое?! Как называется?» А он говорит: «Называется — диктатура закона». Короче, желающих в лесорубы ни одного не нашлось. Триста миллиардов долларов вернули. Отсюда и новые зарплаты. Ну, извините, буду работать!

И он неумоимо замолотил метлой по асфальту.

Сергей Иванович не выдержал, тут же разбудил жену и сообщил ей эти сногсшибательные новости. Жена отчего-то глубоко задумалась — буквально ушла в себя и наморщила свой милый лобик. И, наконец, высказалась:

— Так. Я приняла решение. Но мне нужно собраться с духом. Скажу, когда будем завтракать.

Вскоре радостно прозвенел будильник, разбудив сына. Против обыкновения, заспанного Леньку не пришлось тормозить. Он бодро вскочил сам и проделал нечто для него неслыханное: физзарядку.

Семейство умылось, оделось и расположилось на кухне за чаем с бутербродами.

— Сережа, — сказала жена. — Я собралась с духом. Сообщаю тебе о моем решении: с сегодняшнего дня я бесповоротно порываю со своим любовником. Порываю с этим и клянусь никогда не заводить других.

— Может, не стоит при ребенке? — смущенно предложил Сергей Иванович.

— В здоровой семье секретов быть не должно. А у нас теперь будет абсолютно здоровая семья. Видишь ли, этот любовник... Все-таки мы с тобой уж очень мало зарабатывали. А я еще, мне кажется, совсем не старая женщина. И довольно интересная.

— Ты молодая и красивая, — уточнил Мельников. — Леня, правда, у нас красивая мама?

— То что надо, — подтвердил сын.

— ...И этот состоятельный мужчина, в общем-то, был нужен мне, чтобы я могла прилично одеваться. Но теперь, когда я, вузовский преподаватель, буду получать тридцать тысяч в месяц — на фиг он мне нужен? Ведь так?

— На фиг он нам нужен! — поддержал маму Леня. — Мама, папа, я тоже принял решение. К сожалению, в последние годы я очень испортился. Попал под дурное влияние. Увлёкся игрой в карты на интерес. Стал пить пиво. Один раз даже пил вино. И немного курил. Но с сегодняшнего дня ничего этого больше не будет. Только отличная учеба и спорт. И помощь родителям дома. Да! И грабить сбербанки... Это, клянусь, тоже не повторится.

— Ты грабил банки? Как интересно! — У мамы загорелись любопытством глаза. — Расскажи!

Леня и папа рассказали маме всю историю. Папа встал из-за стола:

— Кстати, выйду на работу пораньше, нужно еще вернуть эти деньги. Но прежде чем уйду, должен сообщить: и я только что принял очень важное решение. Как вы знаете, я никогда ничему не удивляюсь. Это наследственное. Но сейчас понял: жить. ничему не удивляясь, очень скучно. Поэтому торжественно даю слово: научусь удивляться, как все нормальные люди. Начну прямо сегодня. С непривычки, скорее всего, стану удивляться даже чаще и больше, чем другие. Буду ахать и охать. Понимаю, будет трудно, но я постараюсь!

Однако же, для обучения удивлению денек выдался просто идеальным. В отделении Сбербанка, едва Сергей Иванович начал рассказывать про неизвестного гражданина, попросившего вернуть деньги, как заведующая, приятная дама в строгом английском костюме прервала его и благодушно улыбнулась:

— Не надо, Сергей Иванович. Нам все известно. Это был ваш сын. Следовательно навел справки о нем и о вас и понял, что деньги вы непременно вернете.

— Как он это понял?! — удивился Сергей Иванович.

— Да уж так. Проницательный профессионал, знаток человеческих душ. Как видите, он не ошибся. Но ничего возвращать не надо.

Мы застрахованы, и потеря уже возмещена. А эти деньги — награда вам с сыном за совесть и честность.

— Нет-нет! — отверг щедрый дар Мельников. — Мы вовсе не думали о вознаграждении! И потом, у нас женой великолепные зарплаты, и нам хватает на все.

Они долго препирались, Сергей Иванович клал конверт на стол, а заведующая тщила втиснуть его в руки Мельникова. В это время на столе запищал и застрекотал приборчик и из него вылезла бумага. Заведующая прочитала и нахмурилась:

— Вот беда. Ребенку требуется очень дорогая операция. Родители просят помочь всех, кто может. Конечно, мы не останемся в стороне.

— Какое удивительное совпадение! — воскликнул Сергей Иванович. — И как раз в то время как мы не можем решить судьбу этих денег. Вот и выход: перешлите их на операцию ребенка!

Он выбежал из Сбербанка и отправился на автобусную остановку, радостно сознавая, что ему уже дважды удалось удивиться, причем вполне искренне.

Очередной повод для удивления обнаружился на остановке. Люди стояли гуськом, в затылок один другому. Когда подошел автобус, они спокойно, не толкаясь, двинулись внутрь. Как только все места оказались занятыми, очередь остановилась в ожидании следующей машины. Автобусы подходили раза в три чаще, чем прежде. Вскоре Сергей Иванович ехал, сидя впервые за много лет.

— Внимание, уважаемые пассажиры! — раздался голос водителя. — Прощу прощения: неисправность в двигателе. Автобус пойдет в парк.

Пассажиры зашумели. Громче всех — Сергей Иванович.

— Как? Что? Я же опоздаю на работу! — кричал он.

— Спокойно, господа, — продолжил водитель. — Я вызвал другой автобус, выходите, он возьмет вас буквально через пять минут.

— Вот это сервис! Сказка! — ахнул Сергей Иванович. — Просто не верится!

— А по-моему, нормальное дело, — пожал плечами выходивший рядом с ним старичок. — Нашли чему удивляться.

На работе его срочно вызвали к начальнику.

— Знаю, удивить тебя невозможно. Но все же... Представь, мы с тобой едем в Японию.

— Не может быть! В Японию? Как? Зачем?

— Классная фирма предлагает совместный проект. Как раз по твоим разработкам.

— Черт возьми! Вот здорово! Да нет, вы меня разыгрываете. Я — и вдруг в Японию?!

— Ага, — сказал начальник. — Наконец-то и тебя удалось удивить!

Вернуться после работы домой он решил пешком: уж очень славный, теплый и тихий денек выдался сегодня. До того славный, что захотелось не идти напрямиком, а прогуляться куда глаза глядят. Он неспешно шел, произвольно меняя направление прогулки, и удивлялся тому, что столько лет не удивлялся похорошевшему виду родного города: новым зданиям оригинальной архитектуры, нарядным вывескам, множеству уютных веселых киосков, зеленым скверам со свежими посадками сирени...

Через некоторое время ноги вынесли его на пустынную улицу, вдоль которой тянулся бесконечный бетонный забор, а за ним высились заводские корпуса. Еще издали он заметил идущую навстречу парочку: полноватую женщину с пышной копной волос, крашенных в золото, и высоченного черноволосого красавца. Женщина обтянула свои формы коротеньким черным платьем, обнажавшим пухлые колени. На красавце развевался и переливался на солнце огненный плащ. У Сергея Иваныча сильно забилося сердце.

— Не может быть! — вскричал он, когда они поравнялись. — Алла Борисовна?! Филипп?! Не могу поверить глазам! Вы — и у нас в городе? И без охраны? И пешком? С ума сойти!

— Видите ли, — улыбнулась Алла Борисовна. — нас попросили выступить на этом прославленном заводе, у них юбилей.

— Между прочим, бесплатно. — пробурчал Филипп.

— Филипп, родной, — укорила мужа супруга, — для нас это большая честь. Порадовать своим скромным искусством творцов машин и механизмов — об этом можно только мечтать. И гордиться, что они позвали именно нас.

— Я и горжусь, — уныло ответил Филипп. — Вот только не припомню, когда в последний раз ходил, а не ездил по улицам.

— Понимаете, — вновь обратилась к Мельникову Алла Борисовна. — Мы прилетели, но нас почему-то не встретили. Вы скажете: можно было нанять такси. Но у нас с собой не бывает наличных денег, только чековые книжки. Не раз говорила тебе, Филенька: на всякий пожарный случай надо иметь при себе хотя бы сотню тысяч наличными... Словом, не подводить же людей — вот, идем ножками. Филя, гляди веселей, мы уже почти пришли.

Из-за поворота вынырнул длинный роскошный лимузин, умытый до зеркального блеска. Взвизгнув тормозами, он встал возле звездной пары. Оттуда выскочил молодой человек с громадным букетом пунцовых роз, воткнул его в грудь певицы и закричал:

— Ради бога, Алла Борисовна! Простите! Мы ждали вас на выходе из VIP-зала, а вы, оказывается, вышли вместе с обычными пассажирами. Ну, кто же мог предвидеть?!

— А могли бы, — с мягкой укоризной произнесла Алла Борисовна. — Мы с Филей — народные артисты и, значит, должны быть вместе с народом, В том числе в самолетах и в аэропортах.

Народные артисты сели в лимузин и укатили петь народу его любимые песни, а Сергей Иванович все еще не мог прийти в себя от удивления. Какие они, оказывается, славные и простые люди — самые знаменитые певцы страны!

Но густели сумерки и пора было возвращаться домой. Он вспомнил о своем любимом маршруте и направился к кладбищу.

Едва он вошел в красивые, искусно кованые ворота (ему показалось, что еще недавно на их месте были покосившиеся тесовые, крашенные аляповатой синей краской), как по всем аллеям вспыхнули приятным и печальным светом голубоватые фонари. Высоко вознесенные светильники струили лучи сквозь кроны сосен и купы тополиной листвы, сияя там, как маленькие луны. Чудным зрелищем предстало в сгустившихся сумерках облитое голубоватым светом кладбище — современный некрополь: стройные ряды памятников, аккуратно обихоженные могилы, на каждой — свежие охапки цветов.

— Удивительно! Потрясающе! — бормотал себе под нос Сергей Иванович, проходя чисто выметенными асфальтовыми дорожками. — Кладбище освещено, как главный проспект. Ни одной заброшенной могилы. Памятники удивительно строгого вкуса!

Один из них почему-то привлек его внимание. С изящной мраморной стелы на него смотрел портрет. Доброе, умное лицо мужчины среднего возраста. «Пестряков Андрей Алексеевич. 1928 — 1973. Генеральный конструктор ракетных систем. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Государственных премий».

— Удивительно, — прошептал Сергей Иванович. — Такой человек — и похоронен рядом с самыми обычными. Вроде меня. Удивительная скромность. Ах, если бы случилось немыслимое чудо и он хоть на мгновение возник из могилы — как крепко, с каким уважением я пожал бы руку выдающемуся человеку! Жаль, этому не бывать...

Домой он попал как раз к очередному выпуску телевизионных новостей. Новости были одна другой удивительнее, и Сергей Иванович только успевал ахать и охать: закончилась чеченская война, все боевики сдались на милость победителей, и милость к ним была проявлена. Помирились израильтяне и палестинцы. Вспомнив, что по библейской версии они двоюродные братья, оба народа решили совместными усилиями превратить Палестину в цветущий сад. В американское посольство в Пакистане пришел с повинной Усама бен Ладен. Российские рыбаки на Дальнем Востоке торжественно поклялись не возить контрабандой свои уловы японцам — со дня на

день страна будет завалена дешевыми морепродуктами. В Тольятти арестованы все участники крепкой многолетней смычки бандитов и руководителей города. Подал в отставку с поста главы РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, обнаруживший, что из-за постоянных поездок по стране уже полгода забывает платить за квартиру и свет. Последним перед уходом в отставку приказом он распорядился отключить дом, в котором живет. Владимир Жириновский распустил свою партию и попросился к аграриям. Аграрии установили ему испытательный срок с весны до осени, с условием, что за это время он докажет умение работать на тракторе, сеялке и комбайне. В Кремле президент принял Солженицына и попросил еще раз объяснить, как ему обустроить Россию.

Но, может быть, еще удивительнее было отсутствие привычных новостей. За истекшие сутки нигде в мире не разбился ни один самолет, не сошел с рельсов ни один поезд. Никто нигде никого не взорвал. Ни один школьник планеты не ворвался в класс к одноклассникам с пистолетом в руке. Поразительно, но на всех пяти континентах не случилось ни одного пожара! Единственная неприятность произошла в Индонезии: перевернулся паром, перевозивший полторы тысячи пассажиров от одного острова к другому. Но никто не утонул. Все полторы тысячи проплыли до ближайшего берега, с удовольствием искупавшись в водах вечно теплого тропического моря.

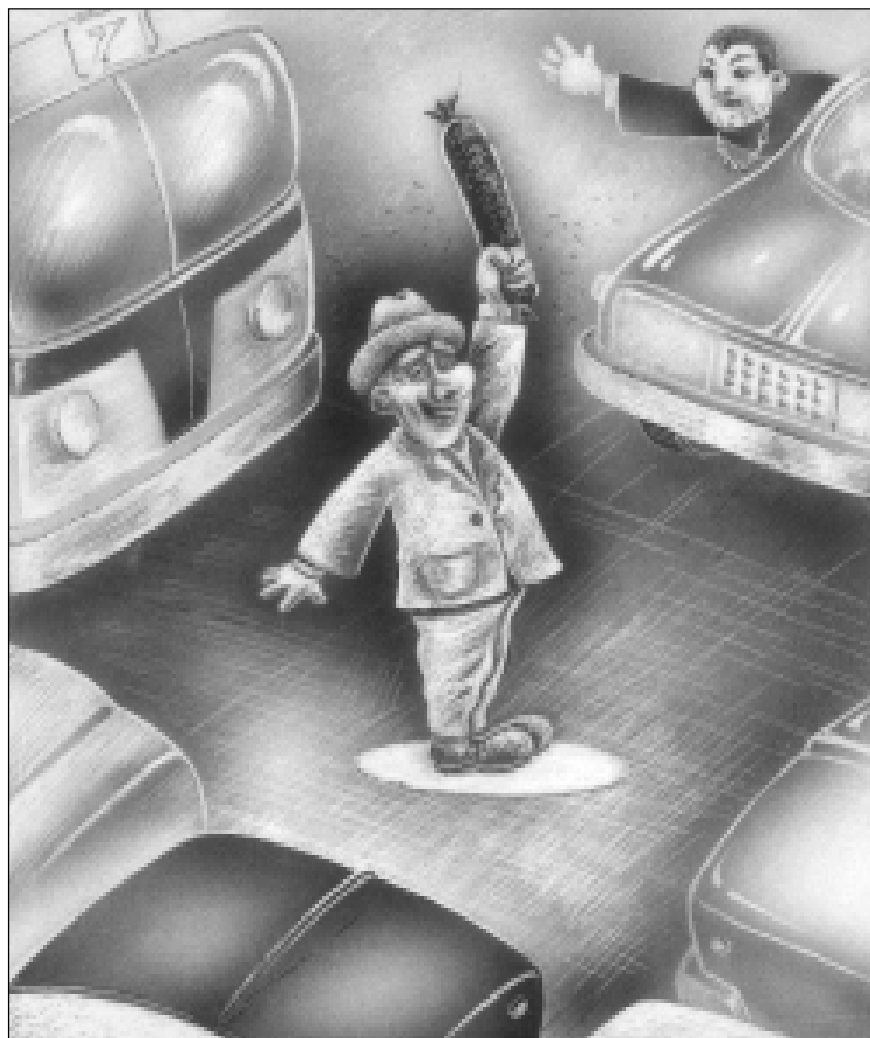
— Не правда ли, удивительный день? — воскликнул Сергей Иванович, обращаясь к красивой жене и прелестному сыну. — Поразительный, потрясающий день! Но не удивлюсь, если все это устроили альфацентаврики, чтобы перебраться сюда не через тысячу лет, как посоветовал им я, а в ближайшее время.

— Что за фантазии, Сережа? — не поняла жена.

— Папа, ты сказал: «не удивлюсь», — наставительно произнес сын, — а ведь утром поклялся, что перестанешь не удивляться.

— Да, да! Тогда скажу по-другому. Удивлюсь! Удивлюсь, если все это не устроили наши гости из космоса, альфацентаврики — мои, смею надеяться, добрые друзья!

2002.



П Е Р Е К Р Е С Т О К

АНАНАСЫ

Папа — очень мягкий человек. Это и мама говорит, и соседи, и знакомые.

Вот он пришел с работы, видно, что устал. Лег на тахту, читает газеты. А у меня уже все уроки сделаны, а во дворе, как назло, никого нет. Я говорю:

— Папа, пойдем погуляем.

Он надул щеки, попыхтел. И мы пошли: дошли до сквера, а на углу очередь стоит. Папа говорит:

— Леля, смотри, ананасы. Надо же! Давай встанем. Я постою, а ты поиграй.

Одна тетя из очереди говорит:

— Вы не беспокойтесь, очередь быстро идет. По одному ананасу в руки.

И правда: я расчертила классики, немного попрыгала и вижу, папа уже возле продавщицы. Ему ананас взвешивают.

Я подбежала.

Продавщица спрашивает:

— Это ваша девочка? Тогда имеете право два взять, раз вы вдвоем стояли.

Мы взяли два. Папа их за хвосты взял. Я спрашиваю:

— Мы еще будем гулять? Или пойдем домой ананасы лопать?

Папа обрадовался:

— Конечно, домой. Тем более по телевизору футбол через двадцать минут.

Мы пошли домой. Но тут папу окликнула из очереди какая-то тетя:

— Володя, привет! Сколько лет, сколько зим! Ты очень торопишься?

Папа, конечно, торопился. Но он человек мягкий. Он говорит:

— Не очень.

— Тогда одолжи мне свою дочку. Смешно из-за одного ананаса стоять.

— Хорошо, — говорит папа. — Леля, постой с тетей. А я в сквере посижу.

Что делать, я в папу: просят, значит, надо. Встала рядом с тетей. Она спрашивает, как меня зовут, сколько мне лет и все другое, что обычно спрашивают взрослые.

Когда наша очередь подошла, я испугалась, что продавщица меня узнает. А тетя нарочно говорит:

— Доченька, поддержи сумку, я деньги достану.

Продавщица ничего не сказала. Тетя купила два ананаса, подвела меня к папе, поблагодарила, и мы пошли домой.

Но тут из очереди выбежал какой-то дядя и говорит:

— Извините, вы не могли бы и мне вашу девочку одолжить?

Папа так удивился — не знает, что и сказать.

— Нет, если вы торопитесь, тогда, конечно, извините.

Ну, папа — большой чудака. Ведь мог бы честно сказать: «Да, торплюсь». А он говорит:

— Нет, не очень...

— Большое спасибо, — говорит дядя. — Иди сюда, девочка. Не бойся. Какая ты большая. В школу ходишь? Молодец!

Мы с дядей стоим в очереди, а папа ходит в сторонке, ананасами помахивает. Он ими так помахивает, как будто они горячие и их надо остудить.

Вот дошла наша очередь. Дядя говорит:

— Мне два.

— Кто второй?

— Дочка.

— Где она?

А я испугалась, что на этот раз продавщица меня обязательно узнает, и за дядю спряталась. Он меня обнял и подтолкнул к прилавку.

— Вот она. Вот моя красавица.

Продавщица говорит:

— По-моему, эта красавица тут уже была со своим папой.

Дядя говорит:

— Не может быть, я ее папа.

— А как ее зовут?

Дядя задумался. Потом говорит:

— Таня.

Продавщица меня спрашивает:

— Тебя Таня зовут?

Дядя на нее как закричит:

— Какое вы имеете право? Что за допросы? Ваше дело торговать!

Продавщица говорит:

— Чего вы раскипятились? Нате ваши ананасы!

Папа подбежал:

— Что тут случилось? Что происходит?

Продавщица говорит:

— О! Два папы. Счастливая девочка. Бывает, ни одного, а у нее сразу два.

А дяде она говорит:

— Хорош ты гусь!

И один ананас бросает обратно в ящик.

Но дядя не растерялся и говорит:

— Послушайте, что же мне, при людях объяснять? При посторонних? Вы что, не знаете, как это бывает? Это ее первый папа, а я — второй.

— А с кем из вас ее мама живет?

Дядя говорит:

— Разумеется, со мной. И хватит допросов, давайте наши ананасы, нас дома мамочка ждет.

Продавщица усмехнулась, положила на весы второй ананас.

Но тут папа говорит:

— Это уж слишком, товарищ. Это уже чересчур, что ее мама с вами живет. Это оскорбительно.

Дядя покраснел и говорит:

— Да отвяжитесь вы тогда со своей девочкой, если вы такой чувствительный.

И тут вдруг мой мягкий папа как схватит его за рукав, как дернет:

— Вот я вам сейчас по шее дам, нахальный вы тип!

Я испугалась, что они подерутся, как наши мальчишки. У них, если один сказал другому, что он тип, всегда начинается драка.

Дядя действительно бросился на папу, они вцепились друг в друга и задышали изо всех сил. А я заревела.

Из очереди закричали:

— Как не стыдно! Девочку пожалейте!

Продавщица говорит:

— Из-за ананасов. Мужчины называются.

Папа и дядя расцепились. Дядя говорит:

— Я не нахальный тип, не надо так про меня думать. Просто мы порой немножко сходим с ума из-за этого заморского дефицита. Извините.

И он пошел. Продавщица кричит:

— Ананас-то возьмите! Один ваш законный.

Но он так без ананаса и ушел. А мы пошли домой.

Я говорю:

— Папа, больше меня никому не одалживай.

Папа говорит:

— Больше никогда не буду. И чего мы за этими ананасами встали? В следующий раз, если пойдем гулять, ни в какие очереди не встанем. Даже если не ананасы будут продавать, а говорящих попугаев. Да хоть дрессированных слонов.

Я говорю:

— Нет, за слонами встанем.

— Ну, разве только за слонами, — сказал папа.

1978.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА

Наш серебристый лайнер благополучно подлетал к аэропорту. Вдруг оба двигателя отказали, и мы начали падать. Если не принимать во внимание крики пассажиров, мы падали в полной тишине.

— Спокойно, товарищи! — сказал я, и посмотрел вниз. Справа и слева простирались бесконечные кварталы большого города, а прямо под нами неторопливо несла свои воды могучая река.

— Внимание! — объявил я. — Принимаю решение садиться на поверхность реки.

Услышав мой уверенный голос, пассажиры потеряли сознание, и теперь уже в полной, без всяких оговорок, тишине, наш серебристый лайнер врезался в спокойную поверхность реки. Вопреки моим опасениям, он не утонул. Он нырнул до самого дна и вынырнул обратно. От удара пассажиры вернулись в сознание и начали аплодировать и смеяться. Кроме того, внезапно заработали оба двигателя, и наш самолет стремительно помчался по речной глади, оставляя сизый пенный след. Я быстро разобрался в новой обстановке, чисто интуитивно нащупал фарватер и повел самолет к ближайшей пристани.

Вскоре на берегу засверкали белоснежные строения речного вокзала. Я заложил глубокий вираж и четко пришвартовался к причальной стенке. При нашем появлении на пристань высыпали люди с узлами и чемоданами. Потом появился человек в кителе. По его распоряжению нам подали трап. Пассажиры тепло поблагодарили меня и всю команду и дружно покинули самолет. Вслед за ними по трапу спустились мы. Человек в кителе загородил нам дорогу.

— А вы куда, товарищи? — с удивлением спросил он. — У вас через десять минут рейс на Астрахань. Вот и пассажиры готовы.

У трапа уже толкалась шумная нетерпеливая очередь. Впереди всех стоял старичок с огромным арбузом в руках.

— Категорически игнорирую ваше требование, — решительно заявил я. — Вверенный мне лайнер принадлежит системе Аэрофлота.

— Что с возу упало, то пропало, — сурово заметил человек в кителе. — С той минуты, как ваш самолет коснулся поверхности реки, он фактически превратился в плавающее приспособление, именуемое судном, а юридически перешел в систему нашего пароходства. И давайте не будем задерживать пассажиров.

— Кончай волынку! — зашумела очередь. — Третий день на узлах сидим, а они, видите ли, где-то там летают.

— Граждане! — сказал я. — Этот рейс для нас полная неожиданность. Еще час назад мы летели на высоте десяти километров и ни о чем таком не думали.

— А могли и подумать, — сказал старичок, стоявший первым. — В дороге надо быть готовым ко всему. Возьмите меня. Недавно ездил в Тулу — со своим самоваром. Сейчас плыву в Астрахань — со своим арбузом. Оттуда собираюсь в Одессу — со своими шутками.

— Товарищи речники, прекращайте саботаж! — крикнул человек в кителе. — Кстати, что это за петлички, нашивки, кокарды?! Немедленно все спороть. Извольте переодеться согласно уставу. И на судне тоже наведите порядок. Продрайте медяшку, окатите палубу. И вырвите вот эти, которые торчат. — Он показал на крылья. — Вы нам ими все берега исцарапаете

...Из Астрахани мы вернулись бывалыми речниками. Пока грузились новые пассажиры, я поднялся в ресторан. Там ко мне подсел человек в кителе. Мы пили пиво. Под нами плескалась волна, над нами орали чайки.

— Охота в небушко-то? — приветливо спросил он.

— Охота, — сознался я. — Черт меня дернул на вашу речку садиться. Знал бы, не вынырнул.

— Ну и что? Ну, не вынырнул бы? — Он дружески обнял меня за плечи. — Что бы изменилось? Мы бы тебя зачислили подводной лодкой. Эх, капитан, — задумчиво сказал он, сдувая пену с моей кружки, — никто не знает своей судьбы. В прошлом году один из ваших на пшеничное поле сел. Что ты думаешь? Пятьсот гектаров убрал к осени. Теперь лучший комбайнер района, на груди — орден, на фюзеляже — звездочки. Да что говорить. Ты меня спроси: как я в речники попал? В пятьдесят пятом году пошел в магазин «Одежда» костюм покупать. Примерил один, другой, третий. Смотрю — китель ви-

сит. Вот этот. Только я его на плечи — тут меня и зачислили. Пятнадцатый год работаю... А до этого я в горсправке служил. Как сейчас помню, иду из школы домой, а навстречу — старушка, мальчик, спрашивает, как мне на Васильевскую улицу пройти? Объясняю: квартал прямо и два направо. Только сказал — раз! Обнесли меня киоском, телефон поставили, окошечко открыли: горсправка. Вот такие дела. Ухо надо остро держать, капитан!

— Нет, — твердо сказал я. — Мне ваше смирение перед судьбой непонятно. Я буду драться до конца. Я, пока шел в Астрахань с каждой стоянки телеграфировал. И в Аэрофлот и в пароходство.

— Ну и какой результат?

— Пока никакого.

— Не до тебя им теперь, — усмехнулся человек в кителе.

— Почему?

— А ты, что, не слыхал? Тут у нас катерок на воздушной подушке развил недозволенную скорость и оторвался от поверхности.

— И что?

— Как что? Твой Аэрофлот его вмиг зацарапал и поставил на линию. Кажется, Свердловск — Воронеж.

— Послушай, — обрадовался я. — Это как. раз моя бывшая линия. Теперь самое простое — обменяться.

— И не мечтай, капитан, — сказал человек в кителе. — Этому не бывать. Суди сам: сегодня тебя отпустят, завтра буксир попросится, послезавтра — баржа. Нет, капитан, ты теперь до гробовой доски речник.

Я уткнулся в кружку и заплакал.

— Ну, брось, брось, — ласково сказал он и подлил мне свежего пива. — Давай-ка, споем лучше, что ли. Нашу речную.

— Давай, споем, — сказал я сквозь слезы. — Речную так речную.

Мы обнялись и затянули: «Из-за острова на стрежень...» После второго куплета нам дали категорию, после третьего — поставили в график филармонии, а четвертый мы пели уже на гастролях, в Кисловодске: три концерта в день, из них один шефский.

— А ты говоришь, не вынырнул бы, — сказал мой партнер.

— Идем, вызывают на бис.

1970.

НОВЫЙ ДИКТОР

На студии телевидения появился новый диктор. Это был обаятельный молодой человек с пытливым взором. И голос у него был прекрасный — с мужественным рокотанием, теплый и значительный одновременно. Словом, юноша родился телевизионным диктором.

Главный редактор ограничился единственным вопросом:

— В чем по-вашему заключается принцип дикторской профессии?

— Главное в работе диктора — ничего не выдумывать и говорить то, что есть.

— Неплохо сказано...

Вскоре молодой человек появился на телевизионных экранах. Поначалу ему поручили зачитывать программу передач. Затем доверили объявлять передачи. И тут произошел маленький казус. Объявляя передачу «В мире поэзии», диктор, в полном соответствии с лежащим перед ним текстом, сообщил, что перед зрителями выступят молодые поэты города.

Помолчав, он добавил:

— Впрочем, не такие уж молодые.

Главный редактор был очень сердит:

— Что вы сболтнули в эфир насчет «не таких уж молодых»?

— Но ведь они действительно не молоды. Всем им далеко за тридцать.

— Они не молоды как люди, но молоды как поэты, — строго вразумил редактор. — Это во-первых. Во-вторых, вы же сами сформулировали принцип: говорить только то, что есть. А перед вами есть точный текст, не допускающий никаких толкований.

— Говорить то, что есть, в моем понимании означает говорить правду, — с достоинством ответил диктор.

— И что, вы всегда говорите правду?

— Да.

— Кто вас этому научил?

— Мама.

— На первый раз ограничимся выговором. Вам и в каком-то смысле вашей маме.

— Уважаемые зрители! — объявил диктор на другой день. — Сейчас вы увидите премьеру телевизионного спектакля «Найти себя». Спектакль посвящен научной проблеме, которая давно решена жизнью. К сожалению, репетиций было мало и актеры плохо знают текст. Просим не обращать внимания на режиссуру: постановщик — случайный человек на студии. Итак, если хотите, смотрите этот спектакль. А лучше переключитесь на вторую программу: там идет очень хороший фильм.

Главный редактор был взбешен, но ему не хотелось расставаться с обаятельным молодым человеком, рожденным, чтобы быть телевизионным диктором. Он обдумал положение и не нашел ничего другого, как позвонить его маме.

— Это вы научили сынка везде и всюду говорить так называемую правду?!

— Поверьте, я глубоко раскаиваюсь, — вздохнула мама. — Я сказала ему об этом всего раз, когда ему не было и трех лет. С тех пор он никогда ничего не скрывает. Например, однажды сообщил мне, что видел отца с другой женщиной. В результате вынудил нас с мужем разойтись. Кто мог знать, что ребенок окажется таким впечатлительным?

Редактор положил трубку, вызвал к себе диктора и известил, что увольняет его.

Через некоторое время в крупном городском универмаге появился новый диктор. Его баритон привел директора в восхищение.

— Пройдите по отделам, выясните, чем там занимаются — и к микрофону, за работу.

Вскоре в гулких торговых залах разнесся бархатный голос нового диктора:

— Уважаемые покупатели и покупательницы! В отдел кожаной галантереи нашего универмага поступило пятьсот дамских сумочек импортного производства. Четыреста пятьдесят из них раскуплены сотрудницами универмага. Сорок девять лежат под прилавком и предназначены для знакомых. Одна выставлена в витрине. Приглашаем вас посетить отдел кожаной галантереи и попытаться приобрести эту сумочку.

Через некоторое время в городском Дворце спорта появился новый диктор. Он дебютировал на встрече двух популярных хоккейных клубов.

— Дорогие болельщики! — пророкотал диктор. — Сейчас начнется матч, результат которого не изменит положения команд в первенстве. Встреча пройдет в острой спортивной борьбе и закончится со счетом один — один...

Недавно я встретил его на привокзальной площади. Он стоял у распахнутой дверцы экскурсионного автобуса и вещал в мегафон:

— Экскурсионное бюро приглашает вас совершить малоинтересную поездку. Вы увидите ничем не примечательные улицы и здания. В заключение вас угостят обедом в столовой «Кристалл», которую местные жители обходят за пять кварталов.

— Поздравляю! — сказал я. — Наконец-то вы нашли место, где можете беспрепятственно говорить полную правду.

— А что толку? — грустно улыбнулся он. — Ведь это приезжие. И они уверены, что я шучу.

И действительно: в автобус, посмеиваясь и подмигивая экскурсоводу, дружно перла жизнерадостная приезжая публика.

1970.

ТРУЖЕНИК

...Сижу в уютной комнатке у Матвея Степаныча, осматриваюсь. Не скрою, обывательское представление о жизни видных пенсионеров, ветеранов ответственной работы, не чуждо и мне. Да и попасть сюда было непросто. Молодые люди у въезда на дачный участок проверяли мои документы так тщательно, словно пропускали меня в валютное хранилище страны.

Глаз ищет что-нибудь дефицитное, импортное, небывалое... И ничего не находит. Стол, два кресла, кушетка. На стене — фотография, изображающая Матвея Степаныча рядом с генсеком. Оба в охотничьей экипировке. Полка с собранием сочинений Ленина.

— Что, царскую роскошь ожидал увидеть? — улыбается Матвей Степаныч. — А я вот так живу, простенько.

— Что же вы в такой тесной комнате устроились? — спрашиваю, вспоминая, как привратник вел меня с этажа на этаж через широкие коридоры и просторные залы.

— Агорафобия, — машет он досадливо. — Боязнь открытого пространства. Вот она, старость. Раньше, наоборот, любил. Помню, на целине. Рванешь на «Волге» в совхоз на митинг — сто верст по степи. Крикнешь водителю: «А ну, газани, Серега!» Летишь среди бескрайних полей и думаешь: какие просторы нам, большевикам, подчинились! И в кабинетах, грешен, любил простор. Некоторые критикуют нас за кабинеты. А тут, поверь, никакой тяги к роскоши. Тут психология. В таком кабинете пока человек дойдет от двери до моего стола — сто раз подумает, куда попал и что сказать... А теперь в тесноту тянет, в норку. Да и по-человечески — нехорошо в таких хоромашках жить, когда в стране обострилась жилищная проблема. Я все остальные комнаты заколотить велел. Со всеми их сервизами и коврами. Тут живу. Мне нравится.

— А это чей домик? — показываю я в окно на коттедж по ту сторону бассейна.

— Обслуга, — морщится Матвей Степаныч. — На хрена мне их столько? Но ведь не спрашивают. «Полагается по вашей значимости». Ну, полагается и полагается. Не увольнять же людей. Хотя я и сам мог бы. Не белоручка. Работать-то начал сизмальства.

Матвей Иванович кладет на стол натруженные руки с бугристыми суставами. Одет по-дачному, по-стариковски: пижама, тапочки. На пижаме звезда Героя, восемь орденов Ленина, три ряда медалей.

— Не тяжело?

— Да уж привык. Даже и тренировка. Как это говорится — с отягощением. Я ведь еще ничего. Во, глянь.

Он поднимается с легким кряхтением и вдруг резко наклоняется вперед и достает пол кончиками пальцев. Разгибается и молодецкато подмигивает. Награды нестройно звякают.

— Матвей Степаныч, у редакции есть желание рассказать о вашем жизненном пути. Вот вы уже сказали, что рано начали трудиться. С какого возраста?

— С двенадцати лет. Как выбрали председателем пионерского отряда, так с тех пор и считаю себя на аппаратной работе. Я ведь не из везунчиков. Ни одной ступеньки не пропустил: председатель совета дружины, пионервожатый, инструктор райкома и так далее. Было, правда, однажды и везение. Но уже в зрелые годы... Об чем сердце болит? — суровее взглядом Матвей Степаныч. — Недооценивают люди наш труд. Недопонимают. Чуть ли не тунеядцами считают партработников. До чего дошло — родной внук однажды заявил: «Дед, а если завтра закрыть все райкомы-горкомы, что, собственно, случится? Заводы, что ли, остановятся?» Вот что они себе позволяют! А у меня руки — во, видишь?

Я еще раз с уважением смотрю на его натруженные ладони.

— Попался бы мне... из этих... я бы ему сказал: «Ты повяжи с мое, ты пожми с мое, повручай, а там и говори».

— «Повяжи» — это вы, верно, в детстве, на колхозных полях? Снопы вязали? А «пожми»... Извините, я в сельском хозяйстве не очень... Что там жмут?

Не сразу отвечает Матвей Степаныч. Достает «Мальборо». Затачивается ароматным дымком.

— И ты туда же... Снопы. А ты вот представь. Тридцатилетие Великого Октября. Общегородской прием в пионеры. Стометровый коридор. Три шеренги. И каждому галстук повяжи, и отсалютуй каждому. За день так намашешься — что там твои снопы. Или, помню, скончался Иосиф Виссарионович... Сталинский прием в комсомол. Я — третий секретарь райкома. Первый со вторым вопросы задают. Ну, там: «Сколько орденов у комсомола?», «Сколько в войну было сталинских ударов?» А я билет вручаю и руку жму. А разнарядка была по району — принять около полутора тысяч за двое суток. Помню, к ночи домой вернулся, руку в таз с холодной водой, а сам от боли в голос реву... Вот, брат, какие мы тунеядцы.

Он задумчиво давит окуроч в пепельнице. Пепельница отлита из алюминия и изображает плотину гидростанции.

— Сувенир, — перехватывает мой взгляд Матвей Степаныч. — Тоже памятное время. Перекрытие Ангары. Я секретарь парткома. Утром митинг, награждение. За ночь тысячу грамот надо подписать. Веришь ли, к утру кровавые мозоли на пальцах набил...

Вежливый стук в дверь. Входит горничная, вносит чай. Пьем. Матвей Степаныч задумался. Не решаюсь прервать его состояние.

— Понимаешь, корреспондент, какая петрушка? У нас во всех профессиях есть нормы, есть классификация. А для партработников не завели. Я в свое время ставил вопрос. Почему-то не поддержали. А я по-прежнему считаю: надо. Согласись: один может за час сто билетов вручить, а другой и трех десятков не осилит. Один прочтет трехчасовой доклад — и ни разу не запнется, не остановится. А другому дай пятиминутный рапорт зачитать — на середине охрипнет. Разве это работники одного разряда? Вот ты говоришь: наша профессия вообще не профессия...

— Я не говорю.

— Ну, не ты. Другие. А я тебя спрошу: ты хоть раз в жизни орден к знамени прицеплял? Причем на тебя полный зал смотрит и еще миллион — по телевидению. Между нами, расскажу одну любопытную историю, теперь можно, но не для печати. Насчет моего везения, как я в Москву попал. В Казахстане, на целине, заведовал отделом в обкоме. Награждают область орденом. Приезжает «сам». Понимаешь, кто? Выносят знамя. Наш первый выносит. За ним, в затылок, остальные. Я седьмым стою. «Сам» начал орден цеплять — и уронил. Нагнулся поднять — а у него очки с носа упали. Представляешь? Первый кинулся помогать, знамя из рук выпустил, а кому перехватить, не сказал. Конечно, по логике, второй секретарь должен был за древко ухватиться, а он растерялся. А третий руку протянул, но решиться не может: все-таки он третий. А знамя уже накренилось, громадное, тяжелое... Да мало того. «Сам» с нашим первым лбами стукнулись, и первый, по-моему, от ужаса сознание потерял...

Матвей Степаныч замолкает, заново переживая давнее событие.

— Не знаю, откуда у меня смелость взялась. Прыгнул я к знамени, схватил его на лету, второму в руки воткнул: «Держи прямее!» А затем быстренько и орден на полу нашарил, и очки. А пока сам очки надевал, я орден на знамя прицепил... И знаешь, что я самое правильное сделал? В момент вернулся на свое седьмое место.

После, на банкете, наш первый лично меня обнял и расцеловал. А «сам» спрашивает: «Это, что, тот парень, который орденок прицепил?» Чокнулся со мной и говорит: «Запомните, друзья, в партийной работе мелочей нет. Все надо уметь: и народ поднимать на строительство коммунизма, и ордена прикреплять». Посмотрел на нашего первого и пальцем ему погрозил: «И главное, никогда не ронять наше знамя».

Вот так он меня и запомнил. И вскоре вызвали меня в Москву, работать в наградном отделе. Сколько я орденов навручал, не сочтешь.

— И себя не забывали, — вырвалось у меня.

Матвей Степаныч улыбался мягкой, прощающей улыбкой.

— А как забудешь, если у нас их полные сундуки стояли? И если до конца года не раздадим — все, активируй списание. Такой порядок. Ну, сам подумай, разве это по-хозяйски — исправные награды списывать в лом? Ведь в них вложен труд наших, понимаешь, мастеров, умельцев...

Звонит телефон.

— Да... Хорошо, пусть идет... Все, корреспондент, закругляемся. Массажист приехал.

Допиваю чай, благодарю за беседу. Матвей Степаныч любезно протягивает руку. Вновь ощущаю натруженную мозолистую ладонь.

Навстречу мне по аллее шагает массажист. Бережет страна своих тружеников, своих ветеранов.

1990.

КТО Я?

Пробуждение было ужасным. Я открыл глаза и прямо под собой, на расстоянии трех метров, увидел ровную поверхность пола. Я висел на потолке! Неведомая сила прижимала меня к нему спиной и затылком; но стоит ей хоть на миг исчезнуть, и я рухну плашмя на бетонную твердь... А-а-аа! Я падал и падал, а пол все не приближался. Сердце во мне давно умерло, взгляд застыл, и дыхание пресеклось — так медленно я падал. Падал и падал, пока не понял, что это не пол, а потолок.

Людям, которых миновала слава, моя жизнь, наверное, кажется сплошным праздником. Да и кто бы поверил, что я могу чувствовать себя больным и несчастным, я, чье имя известно всем и каждому:

—

Что-то вылетело оно у меня с утра из головы, мое имя. Вместе с отчеством и фамилией. Это так развеселило меня, что я поднялся, долго растирал затылок, через силу сделал зарядку, принял душ, прошел на кухню и начал с упоением поджаривать сосиски. Они зашипели и заворчали.

— Тихо! — сказал я сосискам. — Вам выпала высокая честь. Сейчас вас будет жрать широко известный, популярный... Тот самый, который... которого... короче говоря, чье имя...

Это становилось любопытным. Несколько мгновений, проведенных в перевернутом мире, полностью выпотрошили мою память. Я стоял в

центре просторной, залитой солнцем кухни — еще не старый мужчина, в махровом купальном халате, в тапочках на босу ногу — и знал только то, что видел в эту минуту. У меня не было ни малейшего представления ни о том, как меня зовут, ни о том, чем я занимаюсь. Одно я помнил твердо: я широко известен, обо мне нередко пишет городская пресса, меня узнают на улицах, я чем-то награжден и куда-то избран.

На сковороде укоризненно ворчали сосиски. Я вышел из кухни. Самым простым было бы посмотреть собственный паспорт и другие документы. В письменном столе есть ящик, забитый удостоверениями и дипломами. Вот он. А вот и ключ. Руки после вчерашнего дрожали, замок не поддавался, я нажал, в замке хрустнуло, и ключ засел намертво. И очень хорошо! Здоровый намек: надо вспомнить самому.

Итак — кто я такой? Певец? Поэт? Заслуженный мастер спорта? Скорее всего, певец. Или пианист. Или дирижер. Не зря же, я вижу, у меня стоит рояль. Прекрасный концертный рояль. Я откинул крышку, уверенно положил пальцы на клавиши. «Чижик» получился сразу, с «Собачьим вальсом» пришлось повозиться. Нет, насчет музыканта полной уверенности не было. В углу комнаты стояла байдарка. Может быть, я олимпийский чемпион по гребле? Байдарка была — заглядеенье. Красная, белая, синяя. Сверкало полированное сиденье. Не помню, чтоб я когда-нибудь на него садился. И потом, где весло? Руками я гребу, что ли? Я подошел ближе и увидел на борту байдарки красиво вырезанную надпись: «Ты плыви, наша лодка, плыви...».

Из кухни потянуло дымком, это горели сосиски. Я сжевал их, похрустывая угольками. Выпил банку ананасового компота. Чувство голода прошло, но память не возвращалась. Разумеется, виноват был не голод, а перепой. Нельзя так пить, даже если это банкет. Что за банкет был, кстати? Что в мою честь, это я помнил точно. Но по какому поводу? Сколько-то лет деятельности? Но какой? Общественной или научной? А может, литературной? Если литературной, что я такое написал? Я прошел вдоль книжных полок. Тургенев, Чехов, Хемингуэй... Это уж точно не я. Паустовский, Брехт, Макс Фриш... Макс Фриш, Макс Фриш... Может, у меня псевдоним? Я раскрыл книгу. К счастью, она была снабжена портретом автора... Рядом стоял томик в ярком супере. Крестоносцев Андрей. «В гористой местности». Роман. Крестоносцев... Вот это определенно мог быть я. Раскрыл книгу. Портрета автора не было. На титульном листе лихой росчерк: «Всеобщему любимцу от автора». Поскольку книга стояла у меня, приходилось признать, что я был не автором, а «всеобщим любимцем». Господи, что же я-то сочинил? Не помню, когда последний раз за перо брался. В

прошлом году письмо матери написал. Больше ничего не помню. Телефон! Как я сразу не догадался! Раскрыл записную книжку и набрал номер, записанный первым. Под ним значился Коля. Кажется, это мой старый ДРУГ.

— Коля, здорово! — бодро сказал я. — Угадай, кто звонит.

— Здравствуйте, Семен Николаевич, — ответил Коля. — Что это вы меня на «ты»? Я ведь и обидеться могу.

Я задумался: не может быть, чтобы мы с Колей — на «вы».

— Нет, — сказал я. — Это не Семен Николаевич.

— А кто?

Я повесил трубку. Понятно, голос у меня после вчерашнего узнать невозможно. Что же делать? Нельзя же прямо попросить: подскажите, кто я такой? Все равно примут за шутку. И тут мне пришла в голову одна комбинация. Я снова набрал Колин номер.

— Здравствуйте, Коля. Это я вас разыгрывал.

— Здравствуйте, Семен Николаевич. Я так и понял.

— Весна, знаете, игривое настроение, и все такое. Кстати, слышали, что вчера наш всеобщий любимец на банкете отколол?

— Еще бы не слышал. Об этом уже весь город треплется.

— Подождите, — встревожился я. — Вы понимаете, о ком речь?

— Понимаю. О нем, конечно. О ком же еще?

— Да... Скажите, вы никогда не задумывались, чем он, в общем-то, знаменит? Можно ли его действительно считать деятелем...

— Безусловно, — перебил Коля.

— ...искусства?

— Не уверен.

— Науки?

— Вряд ли.

— Промышленности?

— Абсолютно исключено.

— Уж не поэт ли он у нас?

— Он такой же поэт, как я композитор.

— А если он композитор?

— Тогда я поэт.

— Пойдем дальше. Как спортсмен... он весь в прошлом?

— Я бы сказал — в будущем.

— Слушайте, а может, он космонавт?

Коля захохотал.

— Остается предположить, что он философ, властитель дум...

Коля заржал.

— Самое удивительное, — сказал я, — это то, что мы с вами прекрасно знаем, кто он такой. Давайте скажем вместе: он...

Коля повесил трубку. Я лег на тахту и начал падать в потолок. В дверь позвонили. Я поднялся и открыл.

— Извините за беспокойство, — сказал вошедший. — Я ваш управдом. У вас за квартиру не уплачено. Второй год пошел. Извините.

Я взял его под руку и ввел в квартиру. Откупорил бутылку коньяку, налил полный чайный стакан. Сделал ему бутерброд.

— Будьте здоровы! Это вы меня извините. Я такой же квартиросъемщик, как и все остальные. Кто я, собственно, такой, чтобы по два года за квартиру не платить? Кто?

— Известно, кто, — сказал управдом, розовея от коньяка.

— Вы не юлите, дружок. Как моя фамилия и чем я, черт побери, занимаюсь?

— Да вы не беспокойтесь, — сказал он. — Два года ждали, можем и третий подождать. — Он поднял стакан. — Позвольте пожелать вам дальнейших успехов.

— Каких там еще успехов, — буркнул я.

Он жевал бутерброд.

— Каких, я спрашиваю?! Научных? Творческих? Ну?

Он прожевал бутерброд, отхлебнул коньяку и сказал:

— Я так думаю: научных.

Вот оно, мысленно воскликнул я, наконец-то! Все-таки я ученый. Правда, Коля сказал: «Вряд ли». Но мог просто из зависти.

— Значит, вы желаете мне успехов в науке? В какой?

— Этого не скажу. Не силен в науках.

— Хорошо, я вам помогу. — Я взял с полки том энциклопедии, открыл на слове «наука». — Сейчас буду называть все науки по алфавиту. Как до нее дойдет, вы меня остановите. Алгебра, анатомия, антропология, археология, астрономия, авиация, библиография, вирусология, география, геология, гельминтология...

— Она, — сказал управдом. — За нее! — Он выпил до дна.

— Значит, гельминтология? А я, выходит, гельминтолог?

— Выходит, он.

Я задумался. Название красивое. Но чем эта наука занимается — помню смутно. То ли международным правом, то ли северными сияниями... Я взял другой том энциклопедии и начал искать гельминтологию.

— Удивляюсь вашей энергии, — сказал управдом. — Столько разных дел проворачиваете, а теперь еще за эту гельминтологию взялись.

— Что значит — взялся? Разве я не посвятил ей всю жизнь?

Управдом молча наливался коньяком.

— Послушайте, — с подозрением спросил я, — вы мне каких успехов желали?

— Каких вы просили, таких и желал, — с достоинством ответил он.
— Вы не крутите. Я своими ушами слышал: научных.
— Вы просили научных, я и пожелал научных.
— А может мне спортивные нужны?
— Желаю Вам дальнейших спортивных успехов! — торжественно сказал он.

— Спасибо! — Я проводил его до порога... Вернулся на тахту и начал падать в потолок. В дверь снова позвонили: принесли газеты. Я быстро пролистал их. Не было дня, чтоб моя фамилия не появилась в прессе. Позвольте, вдруг сообразил я, а что я ищу? Если я не помню своей фамилии, как я догадаюсь, что речь идет обо мне?

Единственное, что я извлек из газет — какое сегодня число. Я снова раскрыл записную книжку и изучил записи, помеченные сегодняшним числом. Их было две: «ТВ — 12 ч.» и «пн. м. — 5 ч.». Первую я понял сразу — в полдень у меня телевизионное выступление. А вторую так и не разгадал. Впрочем, достаточно было и первой. Диктор объявит меня перед выходом в эфир, и я наконец узнаю, кто я такой. Я побрелся, надел свежую сорочку, повязал галстук. Заказал такси.

— Непременно передайте водителю, что моя фамилия Сергеев.

— Какая ему разница? — не понял диспетчер. — Ладно, передам.

В этом был тонкий расчет. Если он оправдается, я узнаю свою настоящую фамилию еще до телевизионной передачи.

Как я и ожидал, водитель, едва увидев меня, переменился в лице. Все этому подвержены: словно виноваты, что прозябают в неизвестности. Он распахнул мне дверцу. Без видимой надобности протер до блеска ветровое стекло с моей стороны. Поехали.

— Товарищ Сергеев... Трудновато вам от нашего брата приходится?

— От таксистов?

— Нет, вообще, от простых смертных.

— Вы меня с кем-то путаете, — заверил я. — Я сам простой, сам смертный. Просто Сергеев.

— Сергеев? — водитель хихикнул.

— Сергеев. Сергей Сергеевич.

— Что я, идиот? — взорвался водитель. — Весь город вас знает, а я не знаю?

— Я Сергеев.

— А я говорю — не Сергеев!

— А я говорю — Сергеев!

— А я говорю — нет!

— Спорим на полбанки, — вырвалось у меня.

Мы ударили по рукам.

— Ну, кто я? — спросил я с замиранием в сердце. — Кто?

Он вдруг стал очень внимателен к дороге.

— Будто сами не знаете, — он смущенно улыбнулся. — Еще скажете, позавчера не вы по радио выступали?

— А о чем я говорил?

— Сами знаете, о чем. — Он так вперился в бегущую под капот ленту асфальта, словно впереди вот-вот должна была развернуться пропасть. — Обо всем. Толково говорили. А на прошлой неделе, по телевизору, опять, скажете, не вы?

— И тоже обо всем?

— Вы всегда обо всем говорите. Другой вылезет и давай о своем: инфляция там, ингальция какая-то. Кому это надо? А если человек пришел после смены...

— Как моя фамилия? — грубо перебил я. Он густо покраснел и без всякой необходимости перестроился в другой ряд.

— Фамилию вашу, конечно, я знаю... Только мне не везет. То телевизор поздно включу — вы уже закругляетесь. То, наоборот, жена репродуктор раньше времени выключит. На днях ваш портрет в газете увидел. Ну, думаю, этого я знаю, это знаменитый товарищ. А фамилию посмотреть не догадался. Да вы не огорчайтесь, вас и без фамилии знают. Лицо ваше люди знают, им больше и не надо.

— А спорил-то зачем?

— Эх... — Он притормозил у светофора. — С меня полбанки.

Рядом с нами тормознуло еще одно такси. Мой водитель высунул-ся в окошко и сообщил коллеге:

— Сергеева везу.

Коллега завистливо кивнул.

Под ярким светом прожекторов, за круглым столом сидели солидные мужчины. Я едва успел занять свободный стул, как передача началась.

— Поэт Панфутьев, доктор наук Кондрацкий... — перечисляла ведущая. Камера приближалась ко мне. Я напрягся.

— Заслуженный деятель искусств Бологих... и, наконец, — она склонилась надо мной, как мать над колыбелью ребенка, — человек, которого нам не надо представлять, ваш старый знакомый, с которого мы и начнем нашу передачу.

Камера наехала на меня, и я начал говорить...

Говорил я недолго. Вскоре камера уехала к Панфутьеву, а я встал и на цыпочках вышел из павильона. В дверях стоял редактор.

— Нормально? — спросил я. — Или не очень?

Он молча послал мне воздушный поцелуй.

Весь город как угорелый мчался на какой-то футбол, и такси взять не удавалось. Я пошел пешком. Время от времени кто-нибудь из прохожих обращался ко мне за автографом. Первому я поставил: «Сергеев». Второму: «Петров». Третьему: «Егоров». Ни один не удивился. Поистине, людям хватало моего лица. Я размышлял об этом неожиданном открытии... Ноги вынесли к двенадцатиэтажной башне, окруженной старинными особняками. Что-то дрогнуло во мне, и я вспомнил: в этом доме живет женщина, подарившая мне байдарку.

Я позвонил. Она открыла дверь, пригласила пройти. Подала кофе. Я помнил, что у нас были какие-то сложные, запутанные отношения. То ли я не собирался жениться на ней, то ли она не хотела идти замуж, то ли у кого-то из нас есть ребенок от первого брака. А может быть, она не дает мне развода. Или я ей его не даю. Словом, отношения были сложными, это я помнил точно.

— Как живешь? — спросил я.

Мы пили кофе. В углу бормотал телевизор. Передача, в которой я участвовал, давно закончилась. Шел спектакль. Она рассказала, как живет, и спросила, как живу я.

— Скажи, пожалуйста... Кто я такой?

Она посмотрела на меня с нежностью:

— Для меня ты не такой, как для всех, можешь поверить.

— А для всех? Кто я для всех?

— Для всех ты совсем другой. Но я-то знаю, кто ты на самом деле...

— Кто же?!

Она зарумянилась.

— Могу я считать себя... поэтом? — нервно спросил я.

— Да, конечно.

— А композитором?

— Без всякого сомнения.

— Иногда мне кажется, что я — великий изобретатель.

— Разве это не так?

— А что ты скажешь о моих успехах в гельминтологии?

— Они бесспорны.

Я залпом выпил кофе. Спектакль кончился. На экране возник овал стадионных трибун.

— Внимание, внимание! Сегодня мы транслируем первый матч футбольного сезона в нашем городе...

На беговой дорожке разминались игроки. У бровки поля стояли судьи. Под мышкой у главного был зажат мяч. Таинственным образом он приковал мое внимание. Я достал записную книжку. «Пн. м. — 5 ч.». Боже мой! Я торопливо поднялся.

— Куда ты? — испугалась она.

— «Пн. М.»! Я обещал пнуть этот мяч! Мне предоставлено право первого удара.

На улице я заложил руки за спину и прогулочным шагом направился к стадиону. Болельщики ждать не любят. Уж от них-то я услышу, кто я такой!

Я пришел на стадион минут через сорок. Милиционер у служебного входа взял под козырек.

— Какой счет? — спросил я.

Он засмеялся.

Я вышел на поле. В центре его лежал мяч. Игроки продолжали разминаться. Судьи дремали на скамейке. Болельщики при моем появлении дружно зааплодировали. Я пнул мяч и, не посмотрев, куда он улетел, тут же ушел со стадиона.

Управдома я встретил возле своего подъезда. Снова затащил его к себе. Откупорил вторую бутылку коньяку. А когда мы допили ее до доньшка, сознался, что потерял память. Он долго не мог понять.

— Не знаю, кто я такой и как меня зовут, — объяснял я, тыча себе в грудь кулаком.

Наконец до него дошло.

— Так у вас же на двери табличка привинчена. Медная. Дядя Федя привинчивал, наш слесарь. Вы еще ему за это шотландское виски дали, а он его на «Экстру» махнул, над ним весь ЖЭК смеялся. Там, на этой табличке, все написано: имя ваше, отчество, фамилия, титулы.

Ноги у меня задрожали. Я вышел на лестничную площадку. Управдом подпирал меня плечом. Я зажмурился и развернулся к двери. Сейчас открою глаза и прочту. Открою и прочту. Открою...

— Пройдите на кухню, — попросил я, не открывая глаз. — Там, в нижнем ящике стола, отвертка.

Вскоре он вернулся.

— Откручивайте.

Завизжали шурупы.

— Готово? Дайте ее сюда.

Она была тяжелая, прохладная. Буквы прорезаны глубоко, надолго. Я на ощупь открыл крышку мусоропровода. Табличка полетела в подвал, звякая по этажам. Я открыл глаза. На двери темнела прямоугольная вмятина.

— Так и не прочитали, — огорчился управдом, заглядывая в зев мусоропровода. — Может, сбегать, поискать?

— Не надо, — сказал я. — Я вспомнил.

1970.

ИЗЛЕЧЕНИЕ ГОРЮЕВА

Этапы, по которым движется жизнь крепко пьющего человека, слишком хорошо известны. Пропустим их и начнем с того, что очередная зима застала Горюева в комнате, куда его, разменяв через суд квартиру, выселила жена. Комната была небольшой, но за почти полным отсутствием мебели казалась просторной. Просыпаясь утром, Горюев закуривал, лежа на раскладушке, оглядывал стены в выцветших обоях, стол и два стула и мысленно устанавливал на столе длинный, под свой рост, свежеструганный гроб.

Если бы лет десять назад технику Горюеву, молодому специалисту, счастливому мужу и неплохому лыжнику-разряднику, сказали, что он, не дожив до сорока, будет вынесен вперед ногами из такой вот гнусной комнатенки, он посчитал бы это неумной шуткой. Но сейчас печальный конец приближался вполне реально: уже дважды Горюев едва не замерзал на улицах, на лестнице, поднимаясь к себе на пятый этаж, задыхался до хрипоты, и время от времени некая дрожь сотрясала все его внутренности.

Однажды, побираясь у входа в магазин вместе с такими же, как он, Горюев неожиданно получил от щедрого прохожего пятирублевик, чем стремительно добрал до заветной чекушки. Обрадованный, он подбросил монету... и не поймал. Пятирублевик прокатился по тротуару и упал сквозь решетку в яму полуподвального окна. Потрясенный потерей, Горюев в сердцах воскликнул:

— Лечиться надо!

И тут его постоянный собутыльник Борюня сказал:

— Лечиться бесполезно. А вот я слышал, есть такие курсы: авто-тренинг...

По счастью, курсы оказались бесплатными, под попечением доброго благотворителя.

На первом занятии была теория, он ничего не понял, ни на один проверочный вопрос не ответил. Преподаватель сказал ему, что по уровню развития он слишком уступает остальным слушателям, и вряд ли ему стоит сюда ходить.

Он все же ходил. И на первом же практическом занятии в Горюеве обнаружился уникальный дар. Усыплять себя он научился с ходу, мысленно согревать любые участки тела — с двух раз.

После занятия преподаватель пошел вместе с ним. Он был радостно возбужден:

— Давно жду такого феномена! Шутки шутками, а вы, может, и телекинез одолеете!

— Это что?

— Способность передвигать предметы, не прикасаясь к ним. Фантастика, впрочем, мечта...

— Другая у меня мечта, — вздохнул Горюев, и по глубине вдоха преподаватель понял, о чем речь.

— Вылечиться самовнушением от пристрастия к спиртному очень сложно. Это, пожалуй, вершина аутотренинга. Во всяком случае, тема второго года обучения.

Горюев потупился, наблюдая свои разжеванные ботинки.

— Не дожить мне до вашего второго года...

Некоторое время шли молча.

— Вот что, — решил преподаватель. — Вам как феномену попробуем сделать исключение. Вы все схватываете на лету. Попытка не пытка, а? Что ж... Давайте создадим вам постоянный запретительный образ. Так сказать, образ-ужас. Не возражаете?

— Ужаса у меня хватает, — недоверчиво ответил Горюев.

— В том-то и дело — не хватает! Он у вас бытовой, вялый. А мы вам сконструируем настоящий ужас, вызывающий страх неминуемой гибели. Кое-что доведем до абсурда. Итак, слушайте. Вам, конечно, известно: алкоголь постепенно разрушает организм, как бы размывает его и подтачивает. Процесс длится годами. Но для вас мы создадим образ моментального разрушения!

— Так ведь не все разрушает, — возразил Горюев. — Говорят, только печенку.

— Все! Первое, что вы должны себе внушить: разрушается все! Далее: среди этого всего нет никакой части, которую вам не было бы безумно жаль. Сколько костей у нас в скелете?

— Не знаю.

— Двести с лишним. Так вот, вам жалко каждую свою косточку, каждый мускул, каждый сосуд, не говоря уж об органах. Уяснили? Теперь сама технология. Поскольку вы с ходу овладели искусством посылать импульсы в назначенную часть тела, я надеюсь, вы научитесь таким же образом мысленно отправлять рюмку...

— Стакан, — поправил Горюев.

— Хорошо, стакан. Допустим, вы пришли домой с мороза. Вот как сегодня. Допустим, конкретно особенно замерзли ноги.

— Ноги у меня мерзнут, — подтвердил Горюев. — Хорошие теплые ботинки-то тыщи стоят...

На преподавателе были как раз такие, и он смутился.

— Не отвлекайтесь. Значит, сильная потребность: согреть ноги. Берете бутылку...

— Сегодня не на что, — честно признался Горюев.

— Черт побери, это условный пример! И берете не в смысле при-

обретаєте, а — буквально. Берете, наливаете стакан, подносите его ко рту... И тут начинает возникать образ: по вашему приказу эти сто граммов...

— Сто пятьдесят — первый раз меньше нельзя.

— Тем более, сто пятьдесят — по вашему приказу катятся точно в ноги... И все выжигают на своем пути! Лопаются сосуды! Кости растворяются, точно сахар в кипятке! Ноги подламываются с тихим хрустом...

— О-о-о... — взвыл Горюев, уже объятый ужасом.

— С хрустом, — безжалостно повторил преподаватель. — И пожалуй, с громким. И вы падаете, чтобы никогда больше не подняться. Никогда не прогуляться вам по родному городу, не заглянуть к приятелям, не отбить чечетку в дружеском кругу.

— Чечетку не умею...

— А и умели бы — нечем отбить. Не-чем?

Горюева затрясло.

— Но тут вы вспоминаете: это всего лишь самовнушение. Ничего еще не произошло, ибо вот она — подрагивающая возле губ, налитая до краев, но еще не выпитая рюмка...

— Стакан, — механически поправил Горюев, по-прежнему дрожа крупной дрожью.

— ...Какое счастье! Вам становится нестерпимо жаль свои ноги, ножки, ноженьки. И вы, не донеся до рта рюмки...

— Стакана...

— ...выплескиваете его содержимое!

— Сливаю обратно в бутылку, — уточнил Горюев. Он стиснул ладони, унимая дрожь. — Понял. П-попробую. Спасибо.

В подъезде у стены стоял Борюня.

— Правда, на автотренинг ходишь? — спросил он, когда вошли в комнату.

— Хожу.

— Зверь! — восхитился Борюня и извлек бутылку. — Это дело надо отметить.

— Я на перепутье, Боря, — сказал Горюев, стараясь не глядеть, как дружок осуществляет розлив. — Сложный момент в биографии. Надо решать: туда или сюда.

— Конечно, сюда! — Борюня щелкнул себя под скулу.

— Не до шуток мне, Боря.

Горюев пересказал разговор с преподавателем.

— Страшное дело. Завязывать, значит, решил?

— Решить ничего не решил, а образ уже действует. Вот смотрю на этот стакан и думаю: куда? В организме все нужное, согласен?

— Все нужное, — рассеянно откликнулся Борюня, подымая свой стакан. — Эх, на кого попадет!

— А я теперь так не могу. Я вынужден — понимаешь, вынужден — рассуждать. В мозги?

— Боже упаси. Ценная вещь.

— В печень? В селезенку? Все нужное, все. Лишнего в организме нету.

— Стоп машина! — прервал его Борюня и, задрав рубаху, хлопнул себя по впалому животу. — Вот! Тебе аппендицит удаляли?

— Нет.

— Шуруй в него, он точно лишний. Как его... аппендикс. В школе еще учили, помню.

Горюев сосредоточился. По шву на животе Борюни сориентировался в своем внутреннем пространстве и осторожно влил в себя жидкость.

Мгновение спустя в правой части живота раздался бесшумный взрыв и Горюев потерял сознание.

— Такое впечатление, — сказал хирург, навестив его после операции, — что тебе внутрь гранату кинули. Сколько режу, впервые вижу.

В палате Горюев молчал, с соседями не общался. Врачи на осмотрах изумлялись: шов Горюев заращивал ускоренно, особыми мысленными усилиями, о чем предпочел медицину не информировать.

Через три дня пришел Борюня. Покосился на соседей, достал бутылку. Установил на тумбочке стаканы. Разлил.

Горюев отказался.

— Понимаю, — кивнул Борюня. — Ну, за поправку!

Содержимое горюевского стакана он вернул в бутылку, заткнул ее пробкой, скатанной из бланка температурной карты, упрятал в тумбочку.

— Не надо, зачем...

— Мало ли что, — возразил Борюня. — Мало ли как повернется. Бывай!

Ночью он проснулся от нестерпимого желания выпить. Мутная луна просвечивала замороженные окна. Храпели, постанывали соседи. Горюев сел на постели, потянулся к тумбочке.

Бульканье казалось оглушительным. Но никто не проснулся. Горюев поднял стакан на просвет: привычная рука отмерила сто пятьдесят. Стакан таинственно мерцал, голубоватый в лунном свете. Горюев представил, как эта голубоватая жидкость падает ему в пищевод и бесшумные гранаты начинают взрываться в животе... От ужаса он едва не выронил стакан. Взял в обе руки, и обе тряслись. Поднес ко рту... Казалось, не руки трясутся, а стакан сам бьет его по зубам. Возник образ: стакан — это он, Горюев, во времена семейной жизни, колотит в дверь, а жена

не отпирает. Нет, это было слишком правдиво и горько. Он сменил образ: стакан — приезжий, сошел с ночного поезда, пересек охваченную морозом площадь... а стиснутые зубы Горюева — запертые на ночь двери привокзальной гостиницы, за которыми уютно и тепло.

— П-пп-пустите! — стучал приезжий-стакан, промерзший до полной прозрачности. — Околеваю...

— Местов нет! — прикрикнул на него Горюев. — Иди отседава! На вокзале ночуй.

Приезжий-стакан крупно задрожал от обиды, но покорно брякнулся на поверхность тумбочки, как бы обмяк и прикорнул.

Прикорнул и Горюев. Но ненадолго. Снова сел на постели. Оглядел свое щедущее тело, укрытое казенным бельем. Мысленным взором пронизал свое хозяйство: органы, мускулы, кости. Неужели не найдется чего-то второстепенного? Ну-ка по порядку, сверху вниз. Мозги? Боже упаси, как говорил Борюня. Глаза? Исключается. Уши? Легкие? Почки?... А ведь был когда-то у человека хвост. Вот и пить бы себе спокойно в хвост... И в гриву... Ну-ка все же еще раз пробежимся, с самого начала. Мозги? Боже упаси... Минутку. Минутку. А собственно, почему? Почему как раз не в них? А потому что поглупеешь. Безмозглым станешь. Да? Да... А сейчас — мозговитый? Умный? Что ты умного за всю жизнь сделал? Вспомни, вспомни. Кем в школе мечтал стать — глупо. Кем теперь стал — еще глупей. На какой женщине женился — идиотизм. С чего пить начал? А чтоб мужики своим считали. Придурок, да и только!

С другой стороны... Вот эта способность: образы создавать и попадать водярой в заданную точку — это ум? Или не ум? Ведь интересно проверить. Значит, так. Направляю в мозги. Если поглупею — значит, был умным. Если не изменюсь — значит, и был и есть ни то ни се. А если поумнею? Значит, был дураком.

Горюев подумал, что он, возможно, единственный в мире человек, способный узнать столь деликатную истину о себе. В ясном сознании величия совершаемого он поднял стакан и опрокинул его над страстно распахнутым ртом.

После небольшой паузы, не заполненной ничем, мозг Горюева ожил. Он почему-то сосредоточился на воспоминаниях о таблице умножения. Продвигаясь со все большим и большим трудом, мозг окончательно забуксовал на девятью девять. Горюев вяло наблюдал за его беспомощной деятельностью. Он чувствовал, что напрашивается какой-то вывод, и этим выводом, конечно, было то, что, судя по итогу эксперимента, Горюев еще минуту назад, а до того — всю жизнь — был весьма неглупым человеком. Но сообразить этого он уже не мог.

1984.

ГОЛУБЬ И ТУРБОБУРИН

Это небольшое, можно сказать, ничтожное происшествие имело место в одном из бесчисленных дворов огромного города зимой и разворачивалось на фоне быстро густеющих сумерек и в условиях крепчающего к ночи мороза. Турбобурин вышел из подъезда в чем был, а именно: в ковбойке, пижамных штанах и без пальто. Объяснялось это тем, что он крепко выпил, и было ему очень тепло. Да и вообще он был здоровый и веселый мужик и не так уж много вреда приносил семье и производству. Польза же от него и там, и там была несомненна: хоть и с похмелья, но кое-что производил, а заработанное делил между пропоем и семьей в довольно благородной пропорции.

И не настолько уж он был пьян, чтобы без всякой цели выйти на мороз и поплыть в сумерках через двор в самый его отдаленный угол. Для чего же тогда в правой руке Турбобурина покачивалось изящное пластмассовое ведро, наполненное кухонными отбросами?

Выбросить эту дрянь к чертям собачьим, чтоб жена перестала ворчать и вмешиваться в скромное субботнее винопитие Турбобурина с заветным другом Игорехой Коловоротовым, в их интереснейший диспут на многие злобы дня, — такова была задача.

Хоть и не идеальной прямой, но уверенно и неотступно приближался он к цели своего путешествия; правая рука надежно вцепилась в ведро, левая помахивала в такт какой-то прекрасной мелодии, вольно и плавно текущей через его внутренний мир.

Непринужденно, в полном согласии с раскачивающим его ритмом откинул Турбобурин крышку с бака и по широкой, смелой дуге разогнал ведро, намереваясь опрокинуть его по достижении зенита, как вдруг...

— Здрасьте! — изумленно произнес он.

В самой середине почти доверху засыпанного бака сидел, или, скорее, лежал сизый голубь. Несмотря на то, что мгновение назад над ним взметнулась и с громом рухнула навзничь тяжелая железная крышка, а вслед за тем, затмив полнеба, взвилось и едва не опустилось ведро, он не только не испугался, но, если можно так выразиться, пренебрег чем-то ответить на эти грозные события. Он спокойно смотрел на человека круглыми красноватыми глазками.

— Ты чего тут расселся?! Кыш!

Голубь отвернулся.

— Ты что, пьян? — пошутил Турбобурин. — Дыхни!

Он нагнулся и шумно потянул носом. Пахло гнилью и едва уловимым теплом. В недрах бака шли процессы разложения.

— Мерзавец! — воскликнул Турбобурин. — Нашел тепленькое местечко и рад. Это оттого, что ты птица, у тебя принципов нет. Вот я... разве я добровольно залезу в помойку греться? Позор! — крикнул он голубю прямо в его несуществующие уши и воодушевленно спел знакомую с детства песню, замечательно перевирая слова: «Летите, голуби, лети-ите! На вас нигде управы нет!»

Голубь слушал с вежливостью хорошо воспитанного, но смертельно уставшего человека.

— Ну, двигай, двигай, — попросил Турбобурин. — Не буду же я тебе на голову сыпать. Не имею права. Я — гуманист.

О том, что он гуманист, Турбобурин услышал от себя в эту минуту впервые в жизни, но это ему очень понравилось.

Голубь поежился.

— Старик, — сказал Турбобурин, — ты, конечно, не в курсе: на кухне остался мой большой друг Игоре-ха Коловоротов. Нам надо еще о многом поговорить. Между прочим, мыслящий человек. Но если я задержусь, жена его выгонит. Или, еще хуже, он все допьет без меня. Будь и ты гуманным, освободи помещение. Кыш!

Голубь нехотя раздвинул крылья, и тут же они съехались обратно.

— Э... не можешь... — укоризненно заметил Турбобурин. — Простыл?... Чего молчишь? Помираешь, что ли?

Турбобурин похлопал его по спинке. Голубь покорно прикрыл глаза. Они затянулись серой морщинистой пленкой.

— Помираешь, — утвердительно произнес Турбобурин. — Извини, что наорал. Прости.

Неподвижен, замкнут, печален был облик умирающей птицы. Густели сумерки и в какое-то мгновение так близко совпали с сизыми переливами крыльев, что голубь словно исчез, растворился в морозном воздухе. Турбобурин вспомнил слышанное когда-то поверье, что будто бы птицы — это души умерших людей, прилетающие на побывку в родные места... И почудилось, что это его душа околеваает в гнусном железном баке, отринутая от мирского шума, говора, жизни, тепла... А тут еще посыпался мелкий колючий снег и стылый ветерок забрался под ковбойку, ледяными струйками потек по спине. Стоял Турбобурин, осыпанный снегом, с ведром в руке, дурак дураком, и жалко ему стало себя и голубя — до слез.

— Тебя бы сейчас в дом, к батарее, водички дать, хлебушка, может, ожил бы, — грустно сказал Турбобурин. — Но жена не пустит. Скажет, у нас дочка, а вы заразу переносите. Бруцеллез, да? Или этот... энцефалит. Ну, не пустит она тебя, понимаешь? Не пустит! — взвыл он. — Зачем я на тебя наварлся! Я же гуманист, ты же меня мучаешь.

Ты же вечным укором будешь. Сниться будешь. Лапки твои озябшие. Глазки твои мутные. Перья твои сизые...

Голубь вяло зевнул. Верхняя половинка клюва как бы почесалась о нижнюю.

Мороз одержал окончательную победу над хмельным подогревом, и спина у Турбобурина окоченела, коленки одеревенели, ноздри смерзлись, а зубы неуправляемо забрякали.

— С-старик, — с трудом отстукал он, — я т-так больше н-не могу. К-кто-то из нас д-должен ум-мереть.

— ...Ты где шатался? — накинулась жена. Игореха, уже изгнанный из кухни, бестолково топтался в прихожей, разыскивая шапку.

— Где надо, там и шатался, — задумчиво ответил Турбобурин и аккуратно поставил у ног ведро. — Брось шапку! — заорал он на приятеля. — Давай обратно на кухню. Давай, давай! И ты тоже! — прикрикнул он на жену.

Он затолкнул их в кухню и разлил водку по стопкам.

— За помин души, — объявил он и строго предупредил. — Не чокаться.

— Кто умер-то? — озабоченно спросила жена.

— Кто? — эхом повторил Игореха.

— Вам не понять, — трезво выговорил Турбобурин. — Птичка сдохла.

ПО ОДНОЙ ДОСКЕ

Ранним вечером идет по улице пьяный мужик, шатается. А навстречу милиционер:

— Стой! Стрелять буду.

— Стою, — говорит мужик. — А чего я такого? Стрелять-то зачем?

— Да, — говорит милиционер. — Зачем стрелять? Чего ты такого? А! Ты же пьян. Шатаешься.

— Не пьян, а выпивши. И не шатаюсь, а такая походка. На флоте служил.

— Нет, — возражает милиционер. — Я сам на флоте служил. От флота не так качает. А вот как, гляди. А ты пьян. От тебя пахнет. А то еще скажешь — от меня?

— Кто его знает, от кого. Но пахнет — согласен, — говорит мужик.

— Но я не пьян. Могу поспорить.

А на улице, где они остановились, трубы меняют. По этому случаю вдоль тротуара вырыт широченный ров и через него кое-где доски перекинуты.

— Спорим, пройду по одной доске. На твой пистолет.
— На оружие нельзя, — говорит милиционер. — Спорим на полбанки.

Пошел мужик по доске и тут же свалился. Шмякнулся в ров и лежит там.

— Вылазь! — кричит милиционер. — Ставь полбанки.

— Да это доска кривая, — говорит мужик. — Не веришь — попробуй, сам пройди.

— Я-то?

— Ты-то.

— Запросто, — говорит милиционер. Пошел по доске и тут же свалился. — Ни хрена себе досочки стругают, — говорит, лежа рядом с мужиком. — Много я в жизни видел кривого, особенно жизненных дорожек у рецидивистов. Но такого кривого, как эта досочка, не встречал.

А на краю рва возникают прохожие. Насмешничают:

— Пить надо меньше, ребята. Доска им кривая.

— Этот-то, — на мужика кажут, — и встать не может.

— Этот — ладно, — говорит молодой человек в очках. — А правоохранительный орган? На службе, при оружии — и по доске не прошел. Как вы нас в таком состоянии защищать будете?

— А ты сам пройди, очкастый, — говорит милиционер.

— Да элементарно, — говорит молодой человек. Пошел по доске и перед самым ее окончанием свалился.

Наклонилась надо рвом женщина пожилая, изможденная;

— Шесть вечера, а уже ни одного трезвого мужика на улице. Ни совести, ни стыда!!

— Ты, мать, сначала сама пройди! — кричат снизу упавшие. — Пройди сперва, а потом говори!

— Я-то? Да как вы могли подумать? Да на какие шиши мне пить, при моей-то зарплате?

— Давай, давай, шагай, если трезвая! — велят снизу.

— Ну, пожалуйста, — говорит женщина. Пошла по доске и посередке скувырнулась.

Тут сверху раздается сочный бас. Сразу слышно — не рядовой человек.

— Пропиваете державу, мерзавцы? Как с вами к рынку переходить?!

— Да вы кто там такой будете? — спрашивает милиционер.

— Президент буду, вот кто!

Зашептались во рву: «Президент... Президент...»

Но первый мужик говорит:

— Ну и президент. А сначала сам пройди, потом критикуй. А я, например, к тебе в оппозиции стою. То есть лежу. Но в оппозиции.

— Ты меня, оппозиция, не запугаешь, — говорит президент. — Но и не спровоцируешь.

— А, испугался! — говорит молодой человек.

— Не испугался, а не вижу целесообразности. К рынку надо переходить, а не через дурацкие рвы по хлипким доскам.

— Испугался, — говорит женщина. — А еще президент.

— Ну, если вопрос встает ребром, — нате! — говорит президент. И пошел по доске. Не первым, конечно. Впереди телохранитель пошел. И вскоре свалился. А президент идет и идет. Большой, грузный. Под каждым его шагом доска прогибается, жалобно скрипит. А он идет. Уже до середины дошел. И тут доска переломилась, и президент свалился.

— Вот так-то, — говорит женщина. — И нечего было выпендриваться. Ты же наш человек.

— М-да, — говорит президент, разглядывая соседей по рву. — Вот такие позиции имеем в разгар реформ. Такой вот рабочий класс. Такие вот органы. Такую молодежь. Таких женщин. И такие вот доски.

— Ладно тебе, — говорит милиционер, — выпил, так не хорохорься. Не отделяй себя от народа.

— Мы тебя для чего всей Россией выбирали? — говорит мужик.

— Для всего.

— Это кто меня всей Россией выбирал?

— Как кто? Ты же сам сказал: президент.

— Президент. Акционерной компании. А вы про какого подумали? Дураки.

— Круговорот воды в природе, — говорит мужик. — Сами пьем, сами кривые доски стругаем, сами с них кувыркаемся. По таким доскам не то что к рынку не перейдешь, а по ним и в тоталитарное прошлое не вернешься. А только сюда, в яму. Холодина же тут! Я начисто протрезвел. Пойдем, президент, махнем по маленькой?

1993.

ПЕРЕКРЕСТОК

В самом центре Москвы среди бела дня на оживленном перекрестке постовой остановил движение. Замерли лавины машин и толпы пешеходов. Только один бесконечно длинный автомобиль продолжал ползти, распугивая остальных требовательным голосом сирены. Впрочем, не молчали и другие водители. Пешеходы

тоже проявляли нетерпение, оформляя его в разнообразные выкрики.

И действительно, среди тех, кто застрял на проезжей части и на тротуарах, было немало людей, непосредственно участвующих в политической и экономической жизни страны. У таких счет, как известно, идет на минуты. Были здесь, конечно, и простые люди, решавшие сугубо частные задачи, в основном сводившиеся к тому, чтобы успеть до перерыва в магазин, или в прачечную, или в учреждение. Были и такие, кто попал в коварную ловушку. Так, неподалеку от меня переминался с ноги на ногу маленький мальчик, явно спешивший в туалет на той стороне улицы. А там, в толпе напротив нашей, я разглядел искаженное лицо известного диссидента, ныне депутата, которого роковым образом прижало к руководительнице возрожденной компартии.

Все же большинство известных деятелей было сконцентрировано в автомобилях. Знаменитый поэт решил было выйти из-за руля, дабы воздействовать на постового своей всемирной славой, но обнаружил, что его дверца заблокирована соседней машиной, в которой возле водителя сидит усталый редактор патриотической газеты. Перед редакторской «Волгой» торчал таксомотор, и в нем теснились кудрявые головки детей, а через заднее стекло рассеянно и печально глядел старый еврей в пиджаке с орденом планками.

Время от времени над перекрестком раздавалось нежное конское ржание: это едва удерживали своих горячих скакунов казацки атаманы, прискакавшие в столицу с резолюцией круга. Было у них и еще одно неотложное дело: высечь нагайками спецкора газеты «Вестник гласности» за необъективное освещение наказания нагайками редактора газеты «Голос юга», каковой редактор необъективно осветил наказание нагайкой своею собора, необъективно осветившего то же самое.

Выделялись также два камаза, застрявших борт о борт. На одном был ереванский номер, на другом — бакинский. И там и там в кузовах стояли пушки, а на них сидели обвешанные автоматами бородачи. Они грозились сжатыми кулаками и обменивались злыми репликами.

Еще более заметно возвышался над крышами легковушек огромный зарубежный грузовик с продовольственной помощью в красивых картонных упаковках. Подул ветер, и картонки с легким шорохом полетели во все стороны. Они были уже пусты, ибо, как известно, редкая помощь доедет от границы до середины Москвы. Она еще ехала в этом замечательном грузовике, но уже продавалась в окрестных коммерческих магазинах.

В одном из застрявших троллейбусов из окна выглядывал лидер Либерального фронта. Он раздраженно скреб указательным пальцем по борту, нечаянно сколупывая цифру в телефонном номере рекламы. Как ни странно, он же сидел в «Жигулях» и утапливал клаксон равномерными ударами кулака. И он же, скрестив руки на груди, стоял возле меня на тротуаре. Я спросил его, почему его так много, и сколько же его всего, если только на этом перекрестке его трое.

— Меня до хрена, парень, — ответил он, — и с каждым днем будет все больше и больше.

А тот, что сидел в троллейбусе, ловко вылез из окна на крышу и, утвердившись там, выступил с краткой речью:

— Когда я стану постовым этого перекрестка, у меня тут в семьдесят два часа будет порядок! Первым поедет русский народ, причем он поедет на лучшие курорты мира, а остальные поедут, куда я скажу. А если только кто-нибудь пикнет, я в семьдесят два часа направлю сюда все троллейбусы и прикажу давить без различия происхождения, вероисповедания, но особенно образования!

Пока он держал речь, длинный автомобиль продолжал наползать на перекресток. Через тонированные стекла в нем смутно виднелись его пассажиры, в одном из которых угадывался главный советник. Автомобиль был очень длинным. В нем размещались: зал заседаний, комната срочной связи с планетой, комната отдыха, шифровальный отдел, столовая, кабинеты помощников и кабинет самого советника, имеющий дополнительный выход в багажник на случай путча. Разворачиваться этот автомобиль мог только у Белого дома и на Манежной площади. Так он и ездил: туда и обратно.

В толпе возле меня возник спор: задавит советник постового — ибо его автомобиль не может останавливаться ни на мгновение в тревожные дни кризиса реформы, или скажется гуманитарное образование советника; при этом все мы с особенным вниманием всмотрелись в постового. И вдруг разглядели, что никакой это не постовой, а старичок из неимущих, поднявший вместо жезла палку твердокопченной колбасы.

Немедленно в адрес престарелого самозванца понеслись возмущенные возгласы. Из машин выскакивали желающие вышвырнуть чокнутого старичка вон с перекрестка. Но беда была в том, что теперь без постового, пусть и фальшивого, разъехаться не представлялось возможным. Сам же он, услышав, что разоблачен, ничуть не смутился.

— Остановил, потому как едете не туда и идете не в ту степь! — объявил он. — Имейте ввиду, перед вами бывший фронтовой регули-

ровщик. На фронте тоже махали чем попадя. Вот: как раз в половину пенсии уложилась! — Он указал на колбасную палку. — Очень удобно. Могу остановить движение. А могу и по башке долбануть. — В подтверждение этих слов он сноровисто ударил элегантного молодого человека, который, высунувшись из «Вольво», закричал: «Старик, у меня срывается сделка на двадцать три миллиона! Пропусти первым, один миллион твой!»

— Брокер! — строго сказал старичок. — Знай свое место! Стало быть... Да, о колбасе. Эх, помню, в сорок седьмом: выйдешь со смены, тяпнешь три кружки пивка, намажешь сардельку горчицей... Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

— Правильно, отец! — сказала руководительница компартии и встала с ним плечом к плечу. — И никого не пускай вперед. Пусть разворачиваются и едут обратно в социализм.

— Первыми проезжают, кто за Родину, за Сталина, вперед, на врага, в логово фашистского зверя! — объявил старичок.

— Мы в логово зверя! — закричали бородачи с камазов. — Мы первые!

Атаманы подняли коней и запели: «Казачи, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки!»

Старый еврей вылез из такси и подошел к постовому.

— Сержант Финкель, — представился он. — Где воевал, друг? Не на Третьем Белорусском?

— На Втором, земляк. Рядом шли.

— Тогда пропусти как фронтового товарища. Опаздываем на самолет. Когда устроимся, приезжай в гости. Хочешь, возьми денег.

— Обижаешь, — нахмурился постовой. — Иди в машину... Внимание! Объявляю очередность проезда. Первым, как я уже сказал, поедет тот, кому на Берлин: водитель продовольственной помощи. Не будем задерживать доброго человека, исполнившего свой долг. Пусть и неудачно. Вторым едет главный советник, потому что куда он едет — все смотрите внимательно — это и есть дорога реформ. Третьим по благу пропускаю своего фронтового товарища господина Финкеля. К остальным обращаюсь со следующей речью...

Старичок замолк, собираясь с важными мыслями. Перекресток погрузился в тишину. Даже вынырнувшая откуда-то бродячая собака присела и замерла. Впрочем, возможно, ее остановил запах колбасы.

— Это — перекресток! — сообщил старичок. — До этого места все вы ехали навстречу друг другу. Но не для того, чтобы встретиться, а как раз наоборот. Чтобы разминуться. И ехать каждому в своем направлении. А я вас остановил. Я дал вам возможность поглядеть

друг на друга. Вы можете выйти из машин и познакомиться. Даже подружиться. И договориться, куда поедете дальше. Пусть каждый подумает, надо ли ему ехать туда, куда он собрался. Многие из вас удивляются про других: куда к черту они едут. Но вы подумайте. Может, всем надо двинуться в одну сторону. За главным советником. А может, куда покажет товарищ с троллейбуса. Или куда советует коммунистка. А может, за Финкелем. Думайте, граждане! Это — перекресток.

— Дяденька! — закричал ребенок возле меня. — Я не могу думать, я писать хочу.

— Писай, где стоишь, мальчик, — разрешил постовой. — В стране беспредел.

Все время, пока длилось его выступление, он держал колбасу над головой, не прерывая ее строгой функции милицейского жезла. Теперь он немного устал и опустил ее. В то же мгновение собака отчаянным прыжком взмыла в воздух, выхватила колбасу и юркнула в проход между машинами.

— Ах, с-сука! — разразился старичок и без всякой надежды побежал догонять воровку.

Тут же выяснилось: все, кому он предлагал хорошенько подумать, уже успели это сделать. Едва регулировщик исчез, как взревели моторы, и все машины ринулись через перекресток, каждая в своем направлении. Заскрежетал металл, зазвенели стекла. Гудки, сирены и ругань перекрывали друг друга с переменным успехом. Некоторые из столкновений были особенно драматичны: «Жигули», в которых ехал лидер Либерального фронта, никак не желали уступить дорогу троллейбусу, в котором ехал он же.

Пешеходы начали просачиваться в щели между машинами, а самые смелые запрыгали по крышам, как через речку по валунам.

Вдруг загрохотали автоматные очереди — заговорило оружие, ехавшее на Кавказ. Пешеходы в ужасе попадали на асфальт и расползлись под машины. Казацкие кони взвились на дыбы и помчались прочь, нащупывая направление на родной юг.

И только мальчик продолжал писать. Ему было очень страшно. Вокруг свистели пули. Но он никак не мог остановиться. Он сам удивлялся, как долго из него течет.

Я заполз под брюхо «Вольво», принадлежавшего брокеру, и столкнулся там с нашим самозванным постовым.

— Дурак я, дурак, — сказал он, прислушиваясь к татаканью Калашниковых. — Колбасой думал их остановить. Нашел, чем. Не знаешь, почему теперь автоматы?

1992.

ПРИЕЗЖИЙ ИЗ БАРНАУЛА

Литературному журналу «Кедр», издающемуся в Энске, исполнилось двадцать пять лет, и по этому случаю был устроен юбилейный вечер, завершившийся банкетом. Как это принято, на юбилей были приглашены гости из других городов; и, конечно, устроители постарались вытащить хотя бы на денек какую-нибудь московскую знаменитость. Всем иногородним было оказано достаточное внимание, но с особенным радушием принимали столичного гостя. Андрей Георгиевич — действительно известнейший прозаик, некоторыми за глаза называемый «классиком» — оказался человеком живым, веселым, кампанейским, вот только с памятью у него было неважно. Да и то сказать: когда тебя непрерывно знакомят с десятками людей, трудно сразу запомнить, кто есть кто и кто откуда. В течение юбилейного вечера Андрею Георгиевичу поспешили представиться и все местные писатели, и приезжие, и работники редакций, издательств, прессы.

В хороводе людей, радостно жавших руку знаменитого романиста, был и местный писатель Борис Борисыч Барсуков. Впрочем, к нему слово «радостно», пожалуй, отнести было бы неверно, так как Борис Борисыч, вероятно, единственный из участников торжества, явился на него в пресквернейшем расположении духа. В последнее время и особенно в последние дни огорчительные неудачи буквально преследовали Бориса Борисыча. Два года назад его семейная жизнь прервалась разводом, в причины которого тут нет смысла вдаваться. Борис Борисыч не стал настаивать на размене квартиры — отчасти по благородству, отчасти из уверенности, что ему, писателю, быстро помогут решить жилищный вопрос. Ему и впрямь пообещали помочь как можно быстрее, но потом попросили подождать, пока не будет закончен новый дом, в котором писателям отводилось несколько квартир. Строительство, как чаще всего бывает, подзатынулось, но, наконец, было завершено. В живописном месте города, на холме над рекой, вознесся красавец-дом с широкими окнами и просторными лоджиями. Увы, недавно, когда произошло окончательное распределение, выяснилось, что Борису Борисычу квартиры в этом доме не будет, а будет комната в другом, старом доме, но и то только в том случае, если ее согласится освободить переезжающий в новый дом писатель, а он ее освобождать отказывается, желая оставить в ней взрослого сына. При этом Барсукову намекнули — и не в первый раз — что ничего дурного он не совершил бы, если бы разменял оставленную бывшей жене трехкомнатную квартиру. Да, не только не совершил бы ничего дурного, но и облегчил бы как свою жизнь, так и жизнь людей, решающих этот проклятый и вечный квартирный вопрос.

Но эта неудача не была единственной, свалившейся на Бориса Борисыча. В следующем месяце должны были присуждаться местные литературные премии, и на одну из них вроде бы вполне надежно претендовала последняя книга Барсукова. Однако, с некоторых пор он почувствовал перемены в настроениях членов жюри, а на днях, после долгой и изнурительной беседы с председателем жюри Николаем Семенычем, окончательно выяснил, что никакой премии — ни первой, ни второй, ни даже третьей — его книга не получит. Вышли новые книги и затмили барсуковскую. Это тем более обидело, что ему обещали премию еще за предыдущую книгу, и в тот раз тоже обманули в самый последний момент.

И наконец, сегодня, перед юбилеем, у Бориса Борисыча состоялся тяжелый разговор с директором издательства — казалось бы, давним знакомым и своим человеком. Опустив глаза и пошлепывая ладонью по лежавшей перед ним папке с новой барсуковской повестью, директор доказывал, что они никак не могут всунуть эту рукопись в план ближайшего года, несмотря на то, что имеется резерв — так как при всей актуальности повести у них есть другие, еще более актуальные, а при всем ее художественном совершенстве есть и не менее совершенные. Кроме того, последнюю книгу Барсукова еще можно встретить на полках книжных магазинов. И вообще половина бумаги идет теперь на классиков...

Разговор закончился тем, что Борис Борисыч вскипел, наговорил директору много горячих и резких слов и, взяв папку, хлопнул дверью. Так, с этой папкой, он и явился на юбилей журнала, куда, среди прочих, пришел и директор издательства, и теперь Барсуков нарочно все время попадался директору на глаза, желая укорить его этой папкой, но директор, как и все другие участники юбилея, был весел, оживлен в предвкушении скорого застолья и словно бы забыл о Барсукове и не понимал значения папки в его руках.

Здесь, на юбилее, были, разумеется, и все члены жюри, включая председателя Николая Семеныча, но и у них не возникало уколов совести при виде мрачного Бориса Борисыча.

Были здесь и люди, столь жестоко решившие его квартирный вопрос, и среди них, кстати, его закадычный дружок Володька; и они тоже, наталкиваясь в кутерьме юбилейного вечера на Барсукова, не испытывали ни малейшего стыда, а беззаботно здоровались и заговаривали о чем-нибудь случайном, как бы не видя его кислого, обиженного лица.

Вот почему нельзя сказать, что Борис Борисыч, знакомясь со знаменитостью, так же радостно, как и другие, жал ему руку. С другой стороны, познакомиться со всенародно известным романистом, ко-

нечно, хотелось, и Барсуков пожал руку Андрея Георгиевича не только не против желания, но и с охотой, и даже нетерпеливо оттолкнувши коллегу, подошедшего знакомиться перед ним. Но ему и тут не повезло. Андрей Георгиевич, чего-то недослышав или недопоняв, почему-то принял его за приезжего, и не вообще за приезжего, а почему-то за приезжего из Барнаула. Тут, среди прочих, действительно был гость из Барнаула, но он ничем не походил на Бориса Борисыча. Однако, как ни пытался Барсуков объяснить, кто он и откуда в действительности, Андрей Георгиевич, которого уже тянули в разные стороны другие желающие познакомиться, упрямо повторял:

— Приветствую, приветствую Барнаул! Бывал, и неоднократно! Чудесный город! А впрочем, нет, не бывал. Но позовете — приеду!

Его уже, как водится, немного угостили, не дожидаясь банкета, и он, может быть, от этого уже менее внимательно, чем мог бы, вслушивался в ответы, а сам говорил громче обычного и размашисто жестикулировал.

Юбилей проходил в городском Доме культуры, банкетный стол был накрыт здесь же, в кафе. Когда шли из зала в кафе, Барсуков случайно снова оказался возле столичного гостя, и тот обнял его за плечи и спросил:

— Как тебе, приезжий, их юбилей? Молодцы, да? Лихо!

И снова Борис Борисыч не смог объяснить ему его ошибки.

Банкет начался на той радостной волне, на какую поднялся к своему завершению юбилейный вечер, и вскоре уже было шумно, все перебивали друг друга, и мало кому удавалось перекрыть общий галдеж. Несколько раз брал слово Андрей Георгиевич, ставший, естественно, центром общего внимания за столом. Предлагал тосты за процветание журнала «Кедр», за успехи местных литературных сил, и, наконец, предложил всем приезжим поднять бокалы за радушных хозяев. Тут он заметил кислое лицо Бориса Борисыча, который изрядно уже хватанул, но и этим не поправил настроения, да еще чертова папка все время сползала с коленей, а положить ее куда-нибудь в сторону он побаивался — увидев его кислое лицо, Андрей Георгиевич закричал:

— А чего это у нас Барнаул подзакис? Э, брось, брось! Налейте-ка ему. Ты приезжий, и я приезжий, и кто у нас тут еще приезжий? Давайте-ка, братцы, дружно, за хозяев! Разом! Вот так! Лихо!

Когда он принял Барсукова за приезжего в первый раз, там, в фойе, это было неприятно, но этого, собственно, никто и не слышал. Но здесь, за столом, при всех, это недоразумение показалось Барсукову чрезвычайно обидным и постыдным, словно ему при всех сказали,

что он до того неизвестен никому вообще, а главное, в литературе, что он такой ничтожный писатель, что запомнить его решительно нет никакой возможности.

Все вокруг смеялись, глядя, как лихо — в соответствии со своим любимым словечком — пьет за хозяев знаменитый гость, но Барсукову, конечно, показалось, что смеются над ним.

— Да не приезжий я! — крикнул он, но Андрей Георгиевич его не расслышал, он только шутливо погрозил ему пальцем и пробасил:

— Барнаул, не шуми!

Эта реплика всем очень понравилась. Всем почему-то показалось очень смешным, что московский гость считает Барсукова приезжим из Барнаула, и несколько человек повторило в разных интонациях: «Барнаул, не шуми!»; кто-то из-за спины тянулся к Барсукову чокаться, крича:

— С приездом, гостюшка!

И тот, который действительно был из Барнаула, тоже смеялся и кричал:

— Здорово, земляк! А что ты имеешь против Барнаула? Почетно!

Разозленный Барсуков перегнулся через стол, к председателю жюри литературных премий Николаю Семенычу, который сидел неподалеку от знаменитости:

— Николай Семеныч! Объясните нашему гостю: какой я приезжий? Ей-богу, обидно.

— А? — Николай Семеныч сделал вид, что не расслышал.

Барсуков повторил. Николай Семеныч поморщился:

— Да ладно вам. Нашли на что обижаться.

Тогда Барсуков перегнулся еще сильнее, в направлении директора издательства, сидевшего почти рядом с Андреем Георгиевичем, и крикнул ему:

— Слушай, объясни нашему уважаемому — какой я приезжий? Что он из меня дурочку делает!

Но директор еще не забыл горячих и резких слов и хлопанья дверью:

— Ничего я не буду объяснять! Я тебя, что ли, приезжим назвал? По мне так хоть бы ты век сюда не приезжал!

— Да я и не приезжал! Я тут родился! Я тут всю жизнь живу!

— Живи, кто тебе препятствует? — рявкнул директор и, ухватив с тарелки кусок колбасы, начал жевать его и демонстративно сосредоточился на этом занятии.

По одному ряду с Барсуковым, почти напротив знаменитого писателя, сидел Володька.

— Вова, хоть ты выручи, — подойдя, зашептал ему в ухо Барсуков.

— А чего? Чего выручи? — Вова был уже хорош.

— Скажи ему, что не приезжий я, а здешний. Не хуже других.

— Перестань! — пропел Володька. — Не лезь в бутылку. Нашел из-за чего. Он, знаешь, как обижается, когда его поправляют? Терпеть не может! Зачем нам банкет срывать? Хорошо сидим. Перебейся. Приезжий и приезжий — подумаешь.

Терпеть далее было выше всяческих сил.

— Ах, так! — проговорил Барсуков.

Он оглядел стол, и все собравшиеся показались ему заговорщиками против него. Негодяи! Негодяи! Ну, ладно... Ну, я вам сейчас покажу приезжего! Довели Барсукова? Растоптали? Но вы его еще не знаете. А сейчас узнаете!

Он налил полную рюмку и, с нею на отлете, вольной походкой обогнул стол и остановился возле знаменитого писателя.

— Кого я вижу? Барнаул! — воскликнул Андрей Георгиевич, вызвав новый взрыв общего хохота. — За Сибирь-матушку!

— Спасибо! — жизнерадостно, войдя в намеченный образ, откликнулся Барсуков. — От всей Сибири спасибо! Но давайте-ка еще разок за наших хлебосольных хозяев! Тем более, они дали нам еще далеко не все, что могут.

— Да? А что еще?

— Товарищ из Барнаула имеет ввиду, что завтра вас ждет сауна!

— крикнул через стол Володька, и при словах «товарищ из Барнаула» снова раздался смех.

— Сауна? Лихо! Барнаул, в сауну со мной — непременно, да? А к тебе приеду — в сибирскую баньку пойдем!

— Само собой, — подтвердил Барсуков. — Но сауна у них — это еще что. У них ведь город вообще уникальный по уровню гостеприимства!

— Как же, слыхал! Особый в этом смысле город! — охотно поддерживал Андрей Георгиевич, хоть видно было, что не только не слыхал, но что даже, если его сейчас внезапно, в упор, спросить название этого города, то еще не сразу вспомнит.

— Они, Андрей Георгиевич, — продолжал гнуть свое Барсуков, — они такой радушный народ — ну, не поверите: они у себя в издательстве книжки своим гостям издают вне очереди!

— Ну, брось! — задохнулся от восторга Андрей Георгиевич. — Да ни в жисть не поверю! Ну, лихо! От души! Я, конечно, издаюсь — не жалуюсь, но, как говорится, от таких подарков не отказываются!

Директор издательства, до этой минуты безмятежно хохотавший вместе с другими, весь напрягся. Он еще дохохотывал, но нехорошее предчувствие делало вымученной его улыбку.

— Если уж сам Андрей Георгиевич не брезгует у вас издаться, — нагло глядя директору в глаза, произнес Барсуков, — то и мне отказываться не след, так что от души благодарю. Рукопись завтра же предоставляю. Да что завтра! Она у меня случайно с собой. Товарищ, не знаю вашей фамилии, — обратился он к Володьке, — не сочтите за труд, там, недалеко от вас, папочка на стуле.

Володьке моментально понравилась затейная Барсуковым шутка, как до того нравилась шутка по поводу приезжего из Барнаула. Он передал папку.

— Лихо! — крикнул Андрей Георгиевич. — А я вот не догадался. Ну, из столицы подошло. А пока от нас, от гостей, так сказать, примите! — Он перехватил у Барсукова папку и вручил директору. — Не обманешь, издашь? Подтвердишь законы вашего гостеприимства?

Охотнее всего директор подтвердил бы сейчас, что Барсуков подлец и жулик, каких свет не видывал, но, беспомощно улыбаясь, он молча и неопределенно кивнул.

— Э, брат, ты не кивай, не кивай! — тут же придрался Андрей Георгиевич. — Тебе кивать не на кого. Дай слово, что издашь гостей своих славных, людей приезжих. Даешь?

— Даю, — просипел директор, стиснув папку до белых пальцев, и посмотрел на Барсукова убивающим взглядом.

Но Борис Борисыч, весь долгий вечер закипавший на медленном огне своих обид, далеко еще не выпустил пар.

— А ведь это еще не все, Андрей Георгиевич, об их фантастическом гостеприимстве. Скажите, вы бы тут задержаться не хотели, в Энске? Пожить, поработать?

— С превеликим, с превеликим! — немедленно согласился знаменитый писатель. — Чудесный городок!

— Я, как и вы, тут впервые, города разглядеть не успел, но климат — это сразу чувствуется.

— Здоровее не придумаешь!

— Так вот, представьте, Андрей Георгиевич, они тут приезжим писателям, если только те пожелают, сразу дают квартиры: только оставайся, работай.

— Лихо! — воспламенился Андрей Георгиевич. — Да! Это, братцы, у вас похлеще, чем с книгами! Молодцы! Обязательно, обязательно воспользуюсь! У меня, конечно, не тесно. В столице хата, и в Подмоскovie домишко, и на юге хибарка. Но ведь как бывает? Тут жена, понимаешь. А там внуки шумят. А тебе позарез, допустим, надо уединиться вдвоем... С новым романом... га-га!!! Ну, ребята, вот это королевский подарок — давайте квартиру, не откажусь!

Володька и сидевший рядом с ним председатель месткома быстро-быстро переглядывались, уступая один другому возможность необходимого объяснения, а Барсуков, не давая им опомниться, уже весело кричал:

— Ну, если уж Андрей Георгиевич не отказывается, с моей-то стороны и вовсе было бы нахальством! Я, Андрей Георгиевич, твердо решил: остаюсь в Энске! А чего: квартиру дадут, книгу напечатают! А климат?

— Правильно, Барнаул! — От полноты чувств Андрей Георгиевич приподнялся и обнял Барсукова. — Ну, братцы, гляньте, какого я вам молодца сосватал! Как зовут-то? Ага... Братцы, рекомендую вам вашего нового земляка — Борис Борисыч, отличный, между прочим, писатель. Только ты, брат, с семьей переезжай, по-честному!

— Семьи нет, — честно признался Барсуков.

— И очень хорошо! Женю тебя здесь! Кровно прикипишь к этой земле! — Тут он вдруг навис над столом и погрозил пальцем в пространство. — Только знаем мы эти застольные обещанья, а после головушка трещит и ничегошеньки не помнит. Кто у вас тут по квартирному вопросу? Ты? Встань, дорогой мой, встань, пожалуйста, дай, пожалуйста, публичное слово, что не нарушишь священных законов вашего гостеприимства! Даешь? Лихо! Иди сюда, дорогой мой, я тебя поцелую!

Председатель месткома, пробормотавший, что дает слово, не посмел возразить и этому требованию и, рысцой обежав стол, возник перед Андреем Георгиевичем. Они расцеловались, и тут же председателя обнял и расцеловал Барсуков. На жаркий поцелуй классика председатель ответил деликатным прикосновением к его тяжелой тугой щеке, но, когда его поцеловал подлец Барсуков, председатель в ответ укусил его под скулой, в нежное место, как вурдалак. В ответ Борис Борисыч якобы дружески хлопнул его по плечу. Оба скривились от боли...

Но не весь, не весь еще пар вышел из Барсукова!

— Теперь я вам последнее скажу, Андрей Георгиевич. То есть это уже просто что-то феноменальное: у них такое уважение к приезжим писателям, что они свою местную литературную премию обязательно отдают гостям!

И вновь громовое «лихо!» пронеслось над застольем, которое уже несколько притихло, ибо многие уже перестали понимать: затянувшаяся ли это шутка — все, что творит тут сейчас Барсуков, или же и вообще не шутка.

— Лихо! — прогремел классик. — Лауреат я уж, конечно, не раз и не два, но лишняя премия не помешает, да и нельзя обижать хозя-

ев в таком тонком деле. Нет, друзья, ни в коем разе не откажусь, и благодарен от всего сердца! И хоть ваша премия не так авторитетна, как врученные мне в Венеции и в Бомбее, но, как говорится, дым отечества нам сладок и приятен! Благодарю, благодарю!

— Если уж Андрей Георгиевич не гнушается, — жизнерадостно подхватил вконец обнаглевший Барсуков, — то с моей стороны было бы верхом неблагодарности отказаться! Тут, я знаю, кстати, и председатель жюри находится... Извините, забыл ваше имя-отчество...

Николай Семеныч, который первым отказался выполнить просьбу Барсукова и объяснить классику его ошибку насчет приезжего, первым же не выдержал и теперь. Он застонал, простер к знаменитому писателю руки и закричал:

— Андрей Георгиевич! Не слушайте вы мерзавца! Врет, все врёт! И никакой он не гость! Никакой не приезжий!

Классик озадаченно пфукнул толстыми губами:

— То есть?

— Это вы, извините ради бога, ошиблись, а мы уж не стали поправлять такого пустяка! Кто же знал, что Барсуков так повернет?! Наш он, наш, местный, здешний! Ишь, гость нашелся!

Тут уж все зашумели и занегодовали, а гость, действительно приехавший из Барнаула, которому до сих пор все очень нравилось, сейчас вдруг посчитал себя оскорбленным и затеей самозванца и его поведением, и он закричал, указывая то на себя, то на Барсукова:

— Я из Барнаула приехал! Я, а не он!

Однако и этот, и другие выкрики были внезапно перекрыты басом Андрея Георгиевича.

— Ха-ха-ха!!! Га!!! — чуть ли не по-шалаяпински прогрохотал классик. — Лихо! Лихо он тут нас с вами! Так ты здешний? — Он поворотился к Барсукову, одаряя его влюбленным взглядом. — Орел! Зовут-то как? Борис Борисыч? А фамилия? Барсуков? Нет, брат, ты не Барсуков, ты Хлестаков! Ты гений! Дай, я тебя поцелую!

Расцеловав Барсукова, знаменитый писатель вдруг затих, и все вокруг затихло.

— Ну, что я вам скажу, ребята, — начал он посерьезневшим голосом и в то же время с такой легкой иронией, что кое-кому почудилось, что он с самого начала раскусил барсуковскую игру и принял в ней его сторону, — что скажу... Если уж вы такие радушные, что случайному гостю готовы и книжку напечатать, и квартиру дать, и премию вручить — то своему-то, родному, здешнему, тем более все это надобно сделать. Тем более, слово дали. Дали — надо держать. Если же вам две книжки разом трудно издать, и две квартиры раздобыть сложно, и с двумя премиями жалко расстаться, то, давайте, догово-

римся: я подожду. Мне не к спеху. А Борис Борисыч, чувствую, давненько всего этого ждет. Будем считать — дождался. Возражений нет? Молчание — знак согласия. Тогда все вместе поздравим Бориса Борисыча Барсукова, остроумного человека, с новой книжкой, с новой квартирой и с премией! Ура!

Ура было подхвачено, но — врать не будем — не всеми. Николай Семеныч, к примеру, промолчал и даже не поднял стопки. Председатель месткома с Володькой выпить выпили, но молча. А директор издательства не только выпил молча, но и в открытую — правда, невысоко над столом — показал Барсукову кукиш.

Но Барсукова это не смутило. Он понимал, что, конечно, всех трех благ сразу ему не будет, это уж чересчур, но что-нибудь одно — или книжка, или квартира, или премия — при нем.

— В Москве будешь — зайди! — говорил ему в это время Андрей Георгиевич. — Только позвони сначала. Фамилию не называй, на фамилии у меня, брат, омерзительнейшая память. А назовись: «Приезжий из Барнаула». Это — вспомню!

1985.

ВСЕ ТАМ БУДЕМ

Вчера опять пришел на автомате. Предположительно, в полпервого ночи. Маленькое счастье большого перебора: победа над бессонницами пожилого человека, неудачно живущего вообще, а в частности — в панельном доме. За одной стеной ближе к полуночи начинает драться кавказская семья — и почему-то обязательно у них грохочет, сотрясая дом, тяжелая мебель. Представляю, как можно швыряться табуретками, стульями. Но шкафами? За другой стеной из телевизора вопят ублюдки, ныне именуемые эстрадными звездами. По потолку бегают маленький, но с крепкими ножками мальчик, живущий у бабушки с дедушкой. Нервный ребенок с перевернутым биологическим ритмом: днем спит, по ночам весело носится по квартире. Бабушка и дедушка ловят его, укладывают, а через минуту он вскакивает снова. Под окнами сначала бредут, выкрикивая массовые советские песни, пьяные компании. Они перемещаются из ресторана к станции метро, то распевая, то матерясь, то целуясь. В середине ночи улицу сотрясают загрузившиеся на мелькомбинате тяжелые, как танки, муковозы.

Да если бы и тишина? А круговорот дневных событий в усталом мозгу? Обиды и колкости, нанесенные извне, и собственные глупости крутятся в лабиринте извилин, не находя выхода. Что там долго говорить. Знающим бессонницу объяснять не надо, остальным не объяснишь.

То ли дело прийти на автомате, с большого перебора: упал — уснул. Прекрасно пьяное забвенье! Но много хуже пробужденье. Куда хуже. Хуже некуда. Чугунная голова. Или свинцовая? Не металлург. В висках стрельба из минометов. Или гаубиц? Не артиллерист. Во рту прошли учения танкового полка, оставив аромат дизельного выхлопа. Это — точно, потому что танкист, офицер запаса.

— Голова, в чем дело? Что мы с тобой вчера? Где?

— Кто спрашивает? — спрашивает голова.

— Кто-кто. Организм в пальто. Будто не знаешь.

— Знаю. Ох, знаю... Вот ты себя маленького не помнишь, а я — только этими воспоминаниями и живу. Теперь уж и не верится, что было это, было: день за днем — ни алкоголя, ни никотина. Только кислород. Свежесть во мне — необыкновенная! Тельце у тебя было пружинистое, шейка упругая. Радостно было торчать на юной шейке, шустро ворочаться и озирать окружающий мир. И сама я, как помню: ладненькая, славненькая, вся в кудряшках... Что вспоминать. Сколько раз говорила тебе: не ходи на фуршеты.

— А вчера, что... Презентация? Юбилей? Чей?

— Презентация. Лабазьянников, которого ты презираешь. Новая книжка. И ведь не хотел идти. Ведь не хотел?

— Но он же лично позвонил. Без тебя, говорит, никак. Я халтурщик, ты художник. Уважь.

— Ладно. Сколько говорила: пришел — три халявные рюмки и уходи.

— Легко тебе: уходи. А если уважают? Бахентубер подходит: окажи честь, чокнемся. Кочегаров то же самое. А старушка Занзивецкая, как отказать? Вот как отказать старушке, которая, оказывается, еще в семьдесят пятом меня защищала на правлении: что я только по пьянке болтаю, а в душе никакой не диссидент, а вполне наш человек? Конечно, не проверишь, но сказать старухе, которая тянется к тебе с рюмочкой ликера в дрожащей лапке, сказать ей: «Врете, тетенька» — фу, неприлично и жестоко. Благодарить надо и чокаться. А по-твоему: «Извините, Завиралия Стоеросовна, мне про ваше выступление на том правлении рассказывали по-другому». Обидится старая коммунистка и скажет: «Не раскусила я вас в свое время, враг вы трудового народа!» А молодежь? Ты же знаешь: молодежь меня, чуть ли не единственного, за человека считает. За отжившего свое, разумеется. Не выпить с этими замечательными постмодернистами, с графоманами наглыми? А ты говоришь: уходи после третьей. Никак!

— Хорошо, но зачем надираться? Почему бы не делать паузы? Почему бы в паузах не закусывать поплотней?

— Чем там закусывать, на фуршетах? Бутербродами? Хоть мешок их сжуй — псу под хвост. Нет, чтоб наварили картошечки или пельменей. Теперь покупные пельмени вполне приличными стали. И ведь дешевле. Нет, нарубят сыру, ветчины, колбасы — жрите, господа! Тут ты права. Свинство, а не угощение.

— Вот-вот. А ты сам себя угощай. Сколько раз говорила: пей на свои. Закусывай, чем любишь. Тогда не напьешься.

— Возможно. Но свои, дорогуша, надо еще заработать.

— Так заработай. Кто мешает?

— Ты же и мешаешь — голова. Да, впрочем, я давно уж без тебя обхожусь. На встречах с читателями, когда задают этот вечный вопрос: «А как вы пишете?», отвечаю отшлифованным экспромтом: «До двадцати писал сердцем, до тридцати — душой, до сорока — головой, до пятидесяти — руками, а теперь пишет сама пишущая машинка». Нет, ты, конечно, не простаиваешь. Но что ты производишь? Ты должна производить такой умственный продукт, который можно продать. Схема простая: ты вырабатываешь, я продаю, выручку пропиваем вместе. Но ты же производишь непродávаемое. Стишки. Грусть-тоску в художественных формах. Печаль рифмованную. Импотенцию в метафорах. Ритмически организованный словесный блуд. Нет, чтоб сочинить хоть один единственный детектив. Вон у Лабазянникова башка — дура дурой, а какой продукт выдает. Неужели тебе трудно? Эту чушевину. Банда Дерганого, окруженная спецназом, уходит на Запад по нефтепроводу Ямал — Гамбург. Секта эротических трясунов заманивает в свою групповуху внучку премьера и через нее влияет на продажу акций золотых приисков. Комендант охраны Кремля продает американскому коллекционеру тридцать три зубца кремлевской стены и урну с прахом Вышинского. Банда Хрипатого похищает радиоактивный аммоний из подземного хранилища на Северном полюсе и шантажирует всю планету. И так далее и тому подобное. Ты разве не можешь? Но у тебя принципы. В результате хожу пить на халяву, а не на свои. В смысле, не на твои. И хватит об этом. Худо мне. Ой, худо. Раскалываешься ты у меня.

— А мне, что ли, лучше? Именно что — я раскалываюсь у тебя, а не ты у меня.

— Головушка, милая, не будем спорить, кому хуже. Что делать? Кем быть? Кто виноват?

— Иди дышать. Дыши, дыши. Не поможет — вспомни грузинского друга.

Выхожу дышать. Снабжение города воздухом оставляет желать. Выкачали нефть, отсосали газ. Видимо, теперь на экспорт пошел кислород. Спасет только грузинский друг Опохмелидзе.

— Девушка, сто пятьдесят и вот этот, с копчцной... Девять тысяч и две двести? Держите... Благодарю... Хоп! У-ух...

Вот теперь полегче. Уровень кислорода в воздухе родного города сразу повысился. Чугун в голове зазвенел, свинец размяк. В висках продолжают постреливать, но легонько, как из мелкашки в тире. Если бы не люди. Прохожие. Казалось бы — жаркий июльский денек. Временами ласковые вздохи ветра. Мягко качаются купы тополей. На всех углах торгуют мороженым. Исправно движется общественный транспорт. Проплывают автобусы шведского изготовления, сверкая никелем и зеркалами широких стекол. Отечественные троллейбусы ярко расписаны рекламой. Почти праздник. Откуда же массовая озабоченность на лицах? Настороженность? Мало улыбок, а доброго взгляда не вижу третий квартал.

Но вот — улыбка! Ослепительно сияющий крутой парень, выходит из парикмахерской, лихо грянув дверью. Только что постригся. Безупречная укладка и с пробором. Любуюсь на него. Вспоминаю, что не был в парикмахерской, кажется, с зимы. Невольно запускаю пальцы в свою отросшую до плеч гриву.

— Молодой человек, а почему сейчас стригут?

Тогда, зимой, с меня взяли, вроде, двадцать пять.

— По деньгам, батя, — отвечает он, не повернув ко мне своего крутого лица, и гнусная крутая ухмылка выказывает, какое глубокое удовлетворение получил он, сумев не снизойти до нужного ответа неряшливо одетому дядьке. Вежливость унижает — один из канонов лагерной этики, по которой сознательно или бессознательно живут примерно, я думаю, две трети населения страны. Он прав. Ему рано или поздно садиться, а там уметь поставить себя, чтоб не опустили. Грубость — оружие криминалитета.

Люди, временно живущие люди, я не люблю вас. Я вас боюсь. Мне по нраву другие, навсегда переставшие хамить. Успокоившиеся. Пребывающие в вечном покое. Давненько я, кстати, не навещал их. А вот и двенадцатый троллейбус. На Северное, мое любимое. Меня там знают. Моих визитов ждут. Чем-то я им приглянулся. Источник новостей. И просто — воспитанный человек. Помню: о мертвых — хорошо или ничего. Никогда не скажу гадости. Да и какой смысл? Это живым: «Чтоб вы сдохли!» А они — уже.

Единственное, что я приветствую из безобразий последних лет — частную инициативу: забегаловками и разливаловками утыкан весь город. Вот и на подходе к Северному — круглосуточная, только плати.

— Девушка, сто пятьдесят и... что у вас тут... беляш. Девять плюс две. Держите. Благодарю... Хоп! У-ух!.. Товарищ командующий с не-

бес! Старший лейтенант запаса Опохмелидзе Стакан Поддатович к творческому общению с призраками готов! Разрешите приступить? Есть приступить!

Широки и необъятны просторы города мертвых. Улицы-просеки до горизонта, живописные поселки в сосняке. Сотни тысяч проживающих, оградка к оградке, в тесноте, но не в обиде. Молча. В городе живых не найти такой тишины. Гаркнуть командирским голосом в такой тишине — это... ну, нет слов. Большое удовольствие.

— Здравствуйте, товарищи покойники!!!

Глухо, из-под земли:

— Здравия желаем, Владимир Петрович...

— Па-дъем!!! Выходи строиться!

Разверзаются могилы, вылазят усопшие. Из-под гранитных плит и из-под мраморных, из-под камней лежачих, из-под камней стоячих, из-под пирамидок, в зеленое крашенных, с побуревшей звездочкой красной, из-под крестов сосновых, осьмиконечных. Возле чудесной деревянной церковки, воздвигнутой за полгода на средства северной группировки, из бело-мраморных пантеонов, из черных лабрадоровых мавзолеев, перешагивая через цепи висячие и решетки кованые, выходят знаменитые бандиты. Из-под лопухов, лебеды, крапивы выползают заброшенные.

Встают шеренгами, как лежали. Стройными, до горизонта -вдоль просеки. Извилистыми, взврос — в сосняке.

— Друзья мои, покойники и покойницы! Сегодня девятнадцатое июля одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года. День-рожденья имеются, надеюсь? С днем рожденья, хорошие мои!

— Спасибо, Владимир Петрович!

— Кто в этот день ушел? Тоже, надо думать, навалом? Усопшим в славный денек девятнадцатого июля любого года — вечная память!

— Ур-ра!!! И вам того же!

Обхожу ряды. Пожимаю руки, у кого остались.

— Жалобы, просьбы имеются? Вопросы?

— Жалоб нет. Грунт песчаный, сухо, лежать нормально. Вопросы есть. Как себя чувствует лично товарищ Леонид Ильич Брежнев?

— Дедушка, ты когда отвалил?

— В семьдесят девятом.

— Дедуля, но ведь я тут не первый раз. Всех, кто со стажем, подробно информировал о дальнейшем пути любимой Родины после его кончины.

— Извиняйте, Владимир Петрович. Я еще при жизни глуховат был. Из-за этого и сюда попал: малость выпимши, переходил пути и поезда не услышал.

— Ладно, лично для тебя, но предельно кратко. Товарищ Леонид Ильич Брежнев отвалил в восемьдесят втором, после него за два года померли еще два очередных генсека, после чего в стране пошли новации, пертурбации... Ты, судя по пирамидке, из пролетариата был?

— Из них. Сорок лет грузчиком на заводе стекловаты. Не пове-ришь, Петрович, до сих пор кожу зудит. Хотя и нет уж давно ника-кой кожи.

— Тогда, чтоб тебе было понятней: в восемьдесят пятом пошла та-кая хренобобель, что в результате СССР не стало, все республики отскочили, стали отдельными странами. Живем теперь в независимой России. Социализм отменен, КПСС в оппозиции, строим капитализм.

— Ма-ать честная! А чья же теперь власть в стране?

— В стране — по барабану. Кто город держит, Владимир Петро-вич? В городе чья власть?

Оборачиваюсь: бандит спрашивает. Черепом прислонился к свое-му кресту черного камня, четырехметровому. У основания креста на плите горят на солнце позлащенные цифирки: 1970—1993.

— Ваша, товарищ бандит. Попрежнему ваша. Так что — спи спо-койно. Вечная слава героям, павшим в борьбе за передел собственно-сти и торжество криминала!

— Владимир Петрович, а почему сейчас водка?

— Еще один глухой. Я же весной приходил, рассказывал.

— Извините, я тогда не вставал. Болел.

— Ну, хорошо. Ты при каких ценах откинулся?

— Ох, давненько. В шестьдесят пятом. Два восемьдесят семь была поллитра. Портвешки — в пределах двух рублей. Сухие, коньяки не помню, не пользовался. А вот еще классный напиток был: херес армянский, рупь сорок семь. Закусь была: килька в томате — сорок копеек банка, пирожок с мясом — десять копеек, с капустой — шесть.

— Тогда стой, не падай. Бутылка водки стоит сейчас двадцать две тысячи. Рядовая, вроде «сучка». А есть очищенная, до пятидесяти тысяч. Есть импортная, в сто тысяч и более.

— Ядрена копоть! Чего вы с Расеей сделали-то? А получают му-жики сколь?

— Тебе в рублях или в бутылках?

— В бутылках легче пойму.

— Получают так: пенсионеры — пятнадцать бутылок, профессу-ра — тридцать, работяги — сорок, банкиры, торговцы, нотариусы, фирмачи и руководители большого масштаба — от десяти тысяч и выше. Что скажешь про это?

— Про это — ничего. Про себя скажу: вовремя сдох.

— Владимир Петрович, что вы все с мужчинами да мужчинами. Подойдите к женщине. Просьба сердечная: позвоните девяносто-восемнадцать-сорок пять. Михаил. В гроб меня вогнал своей пьянкой, искалечил до смерти. Уж как рыдал, когда помирала. А теперь не приходит. Скажите, пусть придет, поплачет хоть над могилкой. Что ему, трудно? А если новую бабу завел, пусть с ней придет. Любопытно же взглянуть. Очень прошу.

— Владимир Петрович, слышь, ты случаем не болельщик футбольный?

— Есть такое дело.

— Не вспомнишь, как «Уралмаш» с Магнитогорском сыграл в мае-месяце? А то мне в конце первого тайма сосед по трибуне звезданул бутылкой по виску — и привет.

— Выиграли один-ноль.

— Эх, значит, во втором тайме забили. Ну, сосед. Подонок. Хоть бы после игры приложил. Владимир Петрович, будешь на стадионе, крикни нашим: «Ребята! Вперед! Ленька Хорьков с вами!» Не забудь: Ленька Хорьков.

— Владимир Петрович! Погляди, что творится: опять мне на памятнике свастику намазюкали. Мои уже замаялись отмывать. И что за дебилы тут шляются? Думают, если Хацкелевич, так уж сразу еврей. На фотку бы посмотрели, придурки. Фамилия-то от отчима, а от родителей я ж чистокровный удмурт!

— Владимир, привет. Узнаешь?

— Череп-знакомый. Дуги надбровные размашистые, лоб высокий, челюсть выдвинутая... Минутку. Сейчас прочитаю. Кантарин Сергей Никанорович. Тридцать второй — девяносто первый. Ничего не понимаю. Вы как тут оказались? Вы же были третий секретарь обкома. По пропаганде. И не на Широкореченском, в почетной аллее, а здесь, в общих рядах?

— Не тебе бы спрашивать. Вы же, писатели, и начали этот бардак. Плохо вам жилось? Книжки я вам не давал выпускать? Ну, проверял на соответствие. А как иначе? Интеллигенция хренова. Довели-таки до инфаркта. Ты дату подробнее посмотри. Сентябрь девяносто первого. В каком я мог быть почете? Две недели после ГКЧП. Хотели бардак остановить, а вы путчем обозвали. Помню я вас. И тебя, как ты на площади с горящими глазами о победе демократии орал, о царстве свободы. Доволен теперь? Одет уж больно потрепанно.

— Сложно ответить однозначно, Сергей Никанорыч.

— Ах, сложно. Можешь не отвечать. Нахлебались, думаю, свобо-

душки. Ладно, лучше скажи, как там мои товарищи по обкому? Живы? Кто где?

— В основном — в руководящих структурах новой власти.

— Перекинулись? Ах, прохиндеи...

— Ну, может, осознали. Перековались. Первый ваш секретарь в Москве, руководит фондом по инвестициям в промышленность.

— По... С чем это едят?

— Вложение бюджетных средств в индустрию. От него зависит, кому дать, кому не дать.

— Прохиндей! А ведь на дух не принимал эти новации...

— Второй — зампред в областном правительстве. Третий...

— Третьим я был.

— Пардон. Кто еще? А! Монахов у вас был, зав отделом чего-то. Теперь модный художник.

— Художник?!

— Рисует уральские пейзажи. Во власть не пошел.

— Чудеса в решете. Вот кто у нас считался прохиндеем. А оказался порядочный человек. Ну, а хоть кто-нибудь в наших рядах остался?

— А вот. Женщина была в горкоме. Как вы, на пропаганде.

— Звонарева?

— Да. Основала новую компартию. Выпускает газету, разоблачает власть.

— Ты подумай. Ирка! Молодец. Не все, значит, скурвились. Встретись, передай: «Так держать!»

— Вряд ли встречу, Сергей Никанорыч. Но спите спокойно. Ваше дело правое. Власть у нас такая, что коммунисты, неровен час, еще свое возьмут. В смысле — вернут...

— Владимир Петрович, а как там с царскими костями? Похоронили уже?

— Нет. Спорят из-за места. Москва у себя хочет, Петербург у себя, а Екатеринбург не отдает.

— А может, их к нам, в народную гущу? Мы бы подвинулись. Это ж как красиво было бы: государь — в окружении народа возлюбленного. И нам рядом с царским семейством лестно лежать. Не говорю уж, кладбище привели бы в идеальный порядок.

...Вопросы, ответы. Дошел до конца просеки, сворачиваю в сосняк. Здесь, после солнцепека, почти прохладно. Густые тени, в столбе солнечного луча беззвучно пляшет сквозная мошкара. Высокие травы, медовый запах иван-чая, отцветающего шиповника. Прогудел шмель, покружился, сел в чашечку могильного цветка. Впился, питается. А вот и сосна, запомнилась изысканной корявостью: трехствольная, изогнута лирой. Здесь в недавнем январе стояли, утопая в сугробах,

оскальзываясь на свежевыврытой глине. Снявши шапки, говорили прощальные речи.

— Здравствуй, Шурик.

— Здравствуй, Вова. Как поживаешь?

— Без новостей.

— Как там мои?

— По-прежнему. Лена все еще в черном ходит. Мама плачет.

— Помирились?

— Извини, врать не могу.

— Вот тварь. А ко мне приходит, говорит: «Спи спокойно, Шура любимый, перестала я твою мамочку обижать, некого стало делить, живем душа в душу». Я ведь не сразу узнал... Утром на завод, вечером с завода, а что между ними днем... Ну, живому врала. Мертвому-то зачем?

— Затрудняюсь с ответом, Шурик. Сам знаешь, какие они бывают — живые... Не возражаешь — закурю?

— Закури-закури, я хоть понюхаю... фу, что за дрянь ты стал курить?

— Временная экономия, Шура. Пауза в гонорах... М-да, живые... Впрочем, что это я о них так? Сам не лучше — пока еще тоже живой. Шурик, только не проси меня с Ленкой поговорить. Не умею я к совети призывать, у самого с ней проблемы. Спи все же спокойно. Вспоминай, как друзья тебя любили. А мне пора. Есть желание принять за помин светлой твоей души, и как только ты ухитрился с такой детской, наивной шестьдесят годков в такой интересной стране прожить?

— Все пьешь, Вова? Смотри, привезут сюда же.

— Ну, привезут. Хоть поговорим не торопясь. Ведь как же встречались, особенно в последние годы: на бегу, в суете. Тут — вечность. Наговоримся всласть...

Вернулся в просеку, взобрался на пригорок.

— Друзья мои, покойники и покойницы! Слушай мою команду. По местам! Под плиты, под камни, под звезды, под кресты, под кусты. Отбой! Всем спать. А я обратно, в город. Помяну вас доброй рюмкой. Счастливо оставаться. Земля вам пухом, дорогие мои!

— И вам того же, Владимир Петрович, в ближайшем будущем! Будем рады принять в свои ряды! Доброго здоровьица! Спасибо! Заходите почаще!

— Девушка, двести грамм и вот этот, с копченой. Двенадцать плюс две двести? А если с вареной? Одна четыреста? Так. Вот двенадцать. Пятьсот. Сто. Сто... Что у нас тут есть на семьсот? Яичко? А соль найдется? Чудесно... Ну... Земля вам пухом там, на Северном! Чтoб мы так жили... Хо-оп! У-ух...

Вышел на улицу. Господи, живых-то сколько. И ничуть не изменились. Хоть бы одна приветливая улыбка. Один добрый взгляд. Сердитые, дерганые, обозленные. Что вам, женщина? Понятия не имею, где здесь прачечная. Не местный. Все! Не подходите ко мне больше никто. Не спрашивайте ни о чем. Не желаю общаться. Напряженные, дерганые, злые. Когда только успокоитесь? Когда все там будете. Тогда и поговорим.

1998.

НАРОДНЫЙ ЗАСТУПНИК

В январе шестьдесят третьего года в моей жизни произошло историческое событие: из вузовской многотиражки я перешел в областную комсомольскую газету. Произошло это только благодаря моей дружбе с главным редактором, который хотел видеть меня в своей редакции. У меня не было диплома журфака, я был бес партийным и намеревался оставаться таковым... Через соответствующие инстанции обкома комсомола редактор пробил мою кандидатуру не без проблем. Я был благодарен и счастлив, работал с упоением. Числился в отделе коммунистического воспитания молодежи, но, к счастью, сугубо пропагандистские материалы мне не поручали, на то в редакции были зрелые мастера. Меня совали туда и сюда: писал злободневные корреспонденции, вел полосу юмора, делал рецензии на творчество молодых актеров, режиссеров, поэтов, художников, репортажи из интересных мест, вроде единственного на Урале цветоводческого совхоза, или с крыши самого высокого в городе здания, не отказывался сочинять подписи под фотографиями или придумывать карикатуры. Два обстоятельства огорчали меня и несколько затемняли праздничный фон моей молодой профессиональной жизни в журналистике. Первое: в многотиражке я отделялся от еженедельного номера за пару дней, а остальное время посвящал «собственному» творчеству (стихи, рассказы). Газетная работа мне нравилась, но, как всякий газетчик, я, разумеется, мечтал стать писателем! Но ежедневная газета на «свое» времени почти не оставляла.

Второе: платили в «молодежке» скудно, куда меньше, чем в городской «вечерке», и тем более, в областной партийной газете. Оклад — 70 рублей, гонораров, сколько ни пиши, больше чем на 50 рублей, не напишешь. В общем-то, для молодого парня не обремененного собственной семьей, достаточно. Но я жил с бабушкой и замужней сестрой. Бабушка на нас с сестрой положила жизнь — мама умерла рано, отец ушел и завел новую семью; впрочем, пока мы с сестрой учились в вузах, помогал неукоснительно. Но теперь наш семейный

бюджет состоял из крошечной пенсии, которую бабушка получала за погибшего на войне сына, и из наших зарплат; сестра — врач, ее муж — младший научный сотрудник и я — получали приблизительно одно и то же. На жизнь хватало, не хватало на что-нибудь «сверх». Жили в бывшем хозяйском особняке, ставшем при Советской власти коммунальной квартирой на тринадцать семейств: печка, общая кухня, удобства — одни на всех. Печка сжирала дикое количество дров, для готовки был нужен керосин, нужно было одеваться, хотелось холодильник и телевизор, да мало ли что еще. Сухое вино, болгарское или румынское, стоило рубль сорок бутылка, и посидеть дома с друзьями было по деньгам, но пригласить в кафе девушку — уже была проблема. Хотелось держать форс: бокал шампанского, пирожные, мороженое... Да господи, что объяснять, все так жили. Добирал чем мог: писал тексты «концертов по заявкам» на областном радио (7-10 рублей), сценарии развлекательных передач на телевидении (шикарные гонорары — 30 рублей, жаль, бывало редко), печатался в других газетах — на это смотрели косо, не было принято; и, наконец, выступал по линии общества «Знание» — 5 рублей за часовое выступление. Никаких знаний я не нес, разумного, доброго, вечного не сеял, а читал стихи и юморески — в Красных уголках цехов и общежитий, в конторах и воинских частях, в вузах и в НИИ. Простоять целый час перед аудиторией было непросто — особенно, когда перед тобой не битком набитый зал, в котором кто-нибудь да поощрит тебя аплодисментами или смехом, а сидят три десятка пожилых теток и дядек (заводской профилакторий) или дюжина хихикающих девчонок в затрапезных халатиках (общага обувной фабрики). Особенно весело было, когда в ожидании начала приходилось слышать, как организатор (чаще — женщина, завклубом или комендант общежития) кричит по коридорам: «Все на лекцию! Раньше начнем — раньше закончим!» Что и говорить, великолепная была школа для тренировки самообладания и выработки чисто актерских качеств: не хочешь опозориться — победи аудиторию, загнанную на тебя силой, овладей вниманием, введи в состояние, когда в любом человеке просыпается лучшее, чистое, нежное или — самое трудное: рассмеши.

В начале лета мне подбросили выступление в Доме культуры железнодорожников, на слете передовиков. Передовиков оказался полный зал, и это меня обрадовало. Человек не очень смелый и решительный в остальных обстоятельствах жизни, я, счастливым образом, как показали выступления, испытывая трудности перед дюжиной слушателей, не боюсь большого зала. Выступил, сам почувствовал, удачно. Подошел директор: ему тоже понравилось. И

вот что он предложил: не присоединюсь ли я к концертной бригаде агитпоезда?

От этого слова: «агитпоезд» пахнуло легендарными временами — революцией, гражданской войной. Понятия не имел, что агитпоезда существуют и доныне — у железнодорожников. Обслуживают идеологией, культурой, искусством и медициной тружеников далеких пристанционных поселков, полустанков и близлежащих деревень.

Ездить предстояло две недели, с ежедневным выступлением, а в больших поселках — дважды в день. Я быстро прикинул, что заработаю целых сто рублей. Кроме того, подумал я, там, в тиши и глуши, в свободное от выступлений время, я еще и поработаю «для себя». Я как раз замыслил написать повесть и уже злился на любимую газету. Ежедневная выдача «материалов» еще позволяла иногда написать то стихотворение, то небольшой рассказик, но погрузиться в написание повести не было никакой возможности. Я дал директору согласие, получил сведения о предстоящем маршруте. Агитпоезд должен был пройти на этот раз по северо-восточной ветке, ведущей в самые глухие районы области.

До отъезда оставалась неделя. Прежде чем отпроситься у главного, я в ударном темпе сотворил вперед на полмесяца своих и авторских материалов на шестьсот строк — это была норма. И даже чуть-чуть перевыполнил ее, написав — с большим удовольствием — рецензии на первую книжку моего друга, молодого стихотворца.

Редактор, узнав, что я подготовился так сознательно, позволил мне отвалить, предложил подумать, не написать ли что-нибудь с маршрута, мы обсуждали, что там может найтись интересного, в это время по своим делам зашел зав отделом писем. Услышав, куда я еду, он сказал: — Минутку! У меня есть любопытное письмецо.

Сбежал, принес, мы с редактором прочитали и согласились, письмецо любопытное. Посылать за нищие наши деньги туда спецкорра было накладно, но так как я буду в этом далеком пристанционном поселке...

— Приедете туда — сходи, — сказал главный. — Нестандартный человек писал. Побеседуй, приглядишься — у меня ощущение, может получиться материал о беспокойном, равнодушном человеке, строк так на двести.

С этим письмом и этим напутствием я покинул редакцию и вскоре оказался в агитпоезде и повлекся вместе с ним в незнакомую мне доселе северо-восточную глухомань.

Агитпоезд состоял из трех вагонов. В первом размещались начальник, obsлyга, радиобудка, и соответственно, радист, медицинский кабинет и врачи, магазин и продавщица. В втором ехали концертная брига-

да и лекторы. Третий вагон был концертным и лекционным и кино — залом. В нем стояли скамейки, кинопроектор, а на противоположной стене был растянут экран. Когда агитпоезд прибывал на станцию, сначала открывались магазин и медицинский кабинет. Желающие покупали, на мой взгляд, всякие неликвиды, не нашедшие спроса в большом городе, хворые перлись к терапевту и стоматологу. Затем в зале выступал лектор с международным положением или экономическими успехами, затем был концерт, а в заключение показывали кинокартину.

С артистами концертной филармонической бригады я сошелся быстро и сердечно. Это были люди разного возраста, но одинаково закаленные в поездках по родным буеракам и колдобинам, привыкшие к любым сценам и к отсутствию оных, к переодеванию в сценические костюмы в купе, в автобусах или за линялой ситцевой занавеской в избе, именуемой в некоторых колхозах клубом. Привыкшие толкать в осеннюю распутицу безнадежно застрявший автобус, выступать в нетопленном помещении, исторгая пар изо рта, петь, если не окажется фортепиано (о рояле, понятно, речи на могло быть в принципе), под баян или под балалайку.

Возглавлял бригаду конферансье, мужчина лет сорока, среднего роста, плотненький, с милым, лукавым выражением лица. Смешная походочка, уморительные гримасы, что-то чистое и незащитное в облике напоминало о великом Чаплине. Классно пел куплеты, бил чечетку, рассказывал анекдоты. Нес, конечно, подчас полную ахинею. За пределами «сцены» — добрый опекун своих коллег, настоящий товарищ в нелегких их странствиях. Далее бригаду составляли певец и певица, он пел популярные советские песни, она, нарядившись в сарафан и кокошник — русские народные. Аккомпаниатор-пианист чаще всего бездельничал, лишь дважды на сравнительно больших станциях концерты давались в местных клубах, где пианист, чертыхаясь, колошматил по расстроенному пианино. В зале-вагоне певцов сопровождал баянист. Самым интересным для меня был фокусник, немногословный молодой человек, который, в отличие от остальных, готовился к выступлению не меньше часа: «заряжался», как принято говорить у представителей этой эстрадной профессии. Напихивал в карманы рулончики лент, которые потом, перед публикой, бесконечно вытягивал, заводил будильники, вынимаемые им из воздуха, проверял возжигание какой-то смеси на ладони и прочее, прочее, прочее. Вспоминая детские восторги перед таинственными выступлениями фокусников, я одновременно с разочарованием убеждался, как, в сущности, просты все эти штучки-дрючки, но не мог не отдавать должного четкости, с какой фокусник производил все свои волшебные действия.

Одно было нехорошо: эти славные люди, радушно принявшие меня в свою семью, безбожно пили после концертов. И, мало того, непременно опохмелялись по утрам. Не принимать участия в этих двух мероприятиях было невозможно: обижались. Не то что бы я не любил выпить, но до встречи с эстрадниками не представлял, что это можно делать так часто и обильно.

Уже по одной этой причине не могло быть и речи о том, чтоб, как я размечтался до поездки, начать работать над повестью. Вечера проходили в возлияниях, после утренней опохмелки стрельба в голове затихала и на полчаса казалось, что есть настроение работать, но головушка на самом деле никак не желала сосредотачиваться на каких-то там проблемах повествования. После обеда, когда прибывали на очередную станцию, можно было бы, казалось, попробовать поработать: до концерта оставалось часа два. Но радист втыкал свою систему на полную мощность. Над поселком, лесами и полями, на километры в округе разносились популярные песни, извещая окрестное население о прибытии агитпоезда. Сам поезд сотрясался от чудовищных децибелл, и хотел бы я посмотреть на сверхпрофессионала, на любого Толстого или Хемингуэя, которые смогли бы написать хоть строчку, находясь внутри этой какофонии.

Поэтому, когда прибыли на станцию, откуда редакция получила любопытное письмо, я даже с некоторым энтузиазмом отправился на поиски адресата — с пониманием, что небольшая корреспонденция о встрече с ним будет единственным, что я, может быть, напишу за две недели этой поездки.

Радист уже включил на полную катушку свои могучие усилители, над поселком и тайгой загрохотали лирические песни и марши советских композиторов (убийственная сила трансляции однажды родила у меня шутку: «Похоронные марши советских композиторов»); время от времени радист переключался на себя и через микрофон оповещал население о том, что его ждут в агитпоезде к пяти часам вечера.

Извилистая грунтовая дорога вела от станционного здания в глубь поселка, разбросанного на вырубленном в тайге пространстве. Поездив по области, и от газеты, и от «Знания», я не впервые видел наше захолустье и не впервые сердце сжалось от убогости, невзрачности, неблагоустроенности и тому подобных тоскливых впечатлений, какие непременно производят на жителя большого города дальние глухие поселения. Бараки, избы, сараи, в центре — несколько каменных домов дореволюционной постройки, заборы, изгороди, провалившиеся дощатые тротуары — все облупившееся, покосившееся, запущенное, и почти все одного цвета — серого. И почти нет деревьев. По-

нятно, рядом безбрежная тайга, но отчего нет желания жить среди зелени, укрывать дотла и дворы уютom тополиных кущ, освещать светом берез; отчего бы не жить под сенью вековых дубов или в медовом запахе лип? Для справедливости надо сказать, что кое-где в палисадниках стояли рябины, доцветавшие своим скромным сероватым цветом... Каждый раз, попадая в такие поселки и деревни, думаешь: неужели здесь нельзя жить по-другому? Что мешает людям выровнять дороги и вычистить придорожные канавы, выпрямить заборы и изгороди, раскрасить стены, высадить деревья — словом, любовно обиходить выпавший им для проживания земной уголок? Иным таким поселениям сотня лет, иным и две сотни, но, кажется, жители полагают — из поколения в поколение — сугубо временным свое пребывание здесь. И то сказать, изрядная их часть попала сюда не совсем по своей воле: задержались после ссылки или лагеря, приехали по оргнабору на строительство железной дороги, намереваясь подзаработать и отбыть в более теплые края... Да как-то так вышло, что застряли, обзавелись семьями, и живут, так и не полюбив этот край, так и не признав его родным для себя и своих детей.

Впрочем, вид этого поселка был оживлен необычным обстоятельством: почти все его невзрачные постройки имели свежие крыши из толя, еще черного, не потерявшего чешуек слюды, ярко вспыхивавших на солнце. Эти странно новехонькие, чистенькие крыши очень украшали поселок, хоть и входили в диковинное, почти комическое противоречие со всем его остальным обликом.

Я направлялся по обозначенному в письме адресу. Улицы были пустынные, никто еще не шел на станцию, к агитпоезду, продолжавшему исторгать призывную музыку; теперь, на изрядном расстоянии, она уже не била по ушам, но доносилась достаточно внятно. Что позже люди придут, сомневаться не приходилось: прибытие агитпоезда для таких глухих мест — событие исторической важности. Придут и прибегут все, от мала до велика, сначала нахлынут в передвижной магазин, кое кто пойдет на прием к врачам, а потом битком набьются в «зал». Никогда больше я не выступал в таких залах и таких своеобразных аудиториях. Публика наша неизменно располагалась по возрастной иерархии. Впереди, у самых наших ног, прямо на пол усаживались детишки в диапазоне возраста от трех до двенадцати лет. На первых скамейках рассаживались мамы с младенцами. Во время концерта младенцы разнообразно попискивали и совершали свои естественные действия, так что бывало, что во время выступления нашего фокусника какая-нибудь мамаша демонстрировала свой фокус: перепеленывала грудничка, не отрывая глаз от сверкающих штучек, которые неведомо откуда доставал артист. Ему это,

конечно, не мешало, а вот мне на одной станции свой выход удалось закончить с немалым трудом. Я вполне успешно зачитывал публике очередную юмореску, радовался славным простодушным реакциям, как вдруг молодая мать, безуспешно тряся своего младенчика, дабы он заткнулся, прибегла к более решительному действию: расстегнула кофточку, обнажила грудь и сунула в рот орущему существу аппетитный розовый сосок своей титьки. Вид красивой, полной груди не столько смутил меня, сколько заворожил, и я перестал понимать, что произношу. Как потом выяснилось, я неожиданно оборвал рассказ и, лихорадочно перелистав бумаги (мы, авторы, в отличие от артистов, как известно, выступаем перед публикой, держа в руках для подстраховки тексты своих произведений), начал читать другой, чем вызвал некоторое недоумение в публике... Далее, за счастливыми матерями, тесными рядами до конца вагона сидели пожилые жители, в основном бабульки-пенсииерки. Одна или две последние скамьи были заняты мужчинами, всегда нетрезвыми. А по стенам стояла молодежь, лузгала семечки и хихикала по самым разным поводам, а чаще без них. Наш конферансье, опытный борец с такого рода аудиториями, быстро находил общий язык со всеми возрастными слоями, у него были заготовлены шуточки и про грудных младенцев, и про нетрезвых мужиков, и про семечки, и про мудрую старость. Я же придумал себе только такой прием: обращался к ребятишкам, прося их не так громко шмыгать носами и переспрашивать друг у друга, о чем говорит дядя, а тихо ждать — и читал предназначенное для взрослых. А потом просил потерпеть взрослых и читал имевшиеся у меня юморески для детворы.

Итак, пока что улицы были пустынные. Во дворах кое-где женщины копались на грядках, пропалывая сорняки или окучивая картофель, и время от времени разгибались и смотрели в сторону станции, откуда доносились радиопесни: видно было что они собираются туда прийти. До них, как и до меня, доносилось:

Летят перелетные птицы
в осенней дали голубой,
летят они в дальние страны,
а я остаюся с тобой...

Даль над нами была, как в песне, голубая, но не осенняя, а июньская, яркая и просторная, без единого облачка. На громадной высоте передвигался едва видимый крестик самолета. За ним неспешно чертился инверсионный след, перечеркивая голубую даль белесоватой, но ясно видимой линией.

А я остаюсь с тобою,
родная навеки страна,
не нужен мне берег турецкий
и Африка мне не нужна...

До чего в жилу попадает песня, подумал я, глядя то на унылые строения, то на едва видимый крестик самолета, утопающий в солнечном сиянии. Воистину никому из жителей этого затерянного в уральской тайге поселка не нужны ни турецкий берег, ни Африка, ни иные дальние края, куда летит этот скоростной лайнер.

Нужный мне адрес оказался бараком, сложенным из крупных шлакоблоков грязновато-сиреневого оттенка. Он тоже блистал свежей крышей. Вход имел вид пристроенной к шлакоблочной стене дощатой будки. Внутри я оказался в коридоре, пересекавшем барак из конца в конец. Посередине коридора находилась просторная комната, служившая и кухней и местом, где стирают и сушат одежду. На двух табуретах стояло корыто, и женщина яростно терла простыню на стиральной доске. Я спросил, где найти такого-то.

— А, народный заступник, — откликнулась она с неясным выражением, то ли тепло, то ли насмешливо. И показала, куда пройти.

Я постучался, ничего не услышал в ответ, приоткрыл дверь и вошел.

В бедно, чтоб не сказать больше, обставленной комнатке за измызганным кособоким столиком сидел мужчина лет сорока и что-то увлеченно писал. Он не услышал моего стука, потому что был всецело поглощен процессом писания. Правое плечо у него было не просто выше, как у всех много пишущих людей (если это не левша), но торчало у него чуть ли не над ухом. Он макал перо в фарфоровую школьную непроливашку и писал на обороте узких бланков, которые стопкой лежали на краю стола. На таких же бланках прислано было и письмо в нашу газету. Письмо было как письмо, таких в день приходило по десятку — о плохом снабжении. Но эта жалоба была изложена весьма остроумно. Там был такой, к примеру, пассаж: что с отсутствием духовной пищи жители поселка уж смирились — нет у них ни библиотеки, ни киноустановки, лишь два-три раза в год заезжает агитпоезд, крутит старые фильмы и привозит бригаду эстрадных халтурщиков, за что, впрочем, все равно спасибо; но вот с отсутствием пищи в продуктовом поселковом магазине смириться невозможно — ибо голод на духовное успешно заливается спиртным, что и делает ежевечерне большинство населения, но крупу, колбасу и масло водка не заменит. При всей ее, ехиднейше добавлял автор письма, формальной калорийности.

Редактор резонно увидел за этим письмом любопытного, не совсем обычного для захолустья человека, вот и предложил мне посмотреть глазами этого саркастически настроенного адресата на жизнь затерянного в глуши поселка — причем на духовную жизнь, потому что улучшить снабжение газета поможет вряд ли. Так, разве что, разок после нашего выступления что-нибудь привезут, подбросят, а дальше все пойдет по-старому. Реальное влияние газеты редактор знал хорошо и давно уж не обманывался.

Я поэтому, едва представившись и познакомившись, честно сказал, для чего прислан, и что со снабжением поможем на раз, а навсегда — вряд ли, в чем и просим извинить.

Он, выслушав меня сидя за столом, встал. И я увидел, что у него не только плечо ненормально приподнято, но и весь он довольно уродлив. Горбун не горбун, но скрючен, вывернут весь и коротконог. Он поднялся из-за стола, глянул в запыленное окошко и, не оборачиваясь, спросил:

— На крыши наши обратили внимание?

Я подтвердил, что да — обратил.

Он обернулся и приятная, добрая улыбка осветила его лицо; казалось, он смущен моими объяснениями больше, чем я.

— Вы не извиняйтесь, — сказал он. — Я знаю, что могут газеты и чего они не могут. Я в газеты вообще-то не пишу. Я знаю, куда писать. А вам — так, под настроение. Даже не ожидал, что приедете. А! Вы, наверное, с агитпоездом? Ну, понятно. Вот что, раз уж приехали, напишите про поселок. Тут есть кое-что интересное. Что знаю, расскажу и покажу. А со снабжением я и без вас поправлю. Конечно, не до городского уровня. Но подыму. Я, если уж берусь, довожу до конца. Вы же крыши видели? Моя работа. Они, у кого крыши прохудились, и в газеты писали, и в район, и в область. Без толку. Пришли ко мне. А я до этого дорогу в соседнюю деревню провел. Грунтовку, но ведь никакой не было. Представляете, по прямой три версты, а ездили в объезд все тридцать. Мне-то без надобности, но у многих там родня. Тоже, куда только не писали. Я взялся за дело, потратил, правда, годов пять — но пробил дорогу. Теперь с крышами. Пришли ко мне. А я им говорю: «Дело ваше простое. Не только вам — всему поселку новые крыши справлю». И написал кой-куда. И вот — пожалуйста.

— Куда же это вы написали?

— Куда — неважно. Важно — что, — не без гордости отвечал он. Снова выглянул в окошко и скрюченным пальцем подозвал меня.

Я приблизился и вслед указующему пальцу посмотрел в небеса. Палец указал мне на след пролетевшего самолета, провисший и ставший рыхлым, как размочаленная веревка.

— Тут точнехонько над нами проходит трасса «Аэрофлота». Есть международные рейсы. Япония, Гонконг, Тайвань. Я и написал... По памяти не процитирую, у меня там, извините за нескромность, художественно было изложено. А если вкратце, написал: «Над нашим поселком пролетают самолеты с иностранными туристами, с официальными делегациями других стран, в том числе, капиталистических. Они видят наши ободранные крыши, чем наносится моральный и идейный ущерб авторитету нашего социалистического строя».

— Ловко! — признал я от души. — Надо же было придумать! Хотя, честно говоря, вы уж не обижайтесь — чистейшей воды демагогия. На самом деле с такой высоты никаких крыш не видно. А чаще всего и земли не видно — облака.

— Демагогия! — ликующе подтвердил он. — Она, родная! Золотое слово! А как же! Там, что вы думаете, дураки сидят? Там сидят очень умные демагоги. И вот получает один из них мое письмо. А на нем, кстати, пометка, что копия отправлена его начальнику. Итак, получает этот идеолог-демагог мое письмо. Во-первых, он чувствует во мне своего брата-демагога. Он, можно сказать, заочно уважает меня за умение пользоваться языком их своры демагогов. И второе, главное — если он не отреагирует, то его начальник-демагог, получивший копию, вызовет его и скажет: «Что же, братец, тебе разве не дорог авторитет нашего строя перед лицом пролетающих иностранцев? Нашего ли ты тогда строя человек? Нужен ли ты тогда нам в нашей своре?» И он, первый демагог, мысленно меня, конечно, материт, а скорее, и не мысленно, в полный голос. Но, отматерив, признает всю силу моей демагогии. И отправляет распоряжение в нашу область, здешнему областному демагогу: срочно покрыть им там крыши лучшей жостью, чтоб на солнце горели. Чтоб у пролетающих капиталистов слепли от этого победного сияния глаза! Ну, понятно, пока дошло до дела, жость превратилась в толь, но и на том спасибо... Вот так действую, товарищ корреспондент. А газета — что? Газета ничего не может.

Он снова подсел к столу и обмакнул перо в непроливашку:

— Минутку посидите, я допишу и пройдемся по поселку.

— Что, еще какую-то проблему решаете?

— Просят люди... — кивнул он, начиная писать. — Но тут без демагогии. Другой повод и прием другой. На жалость бью.

— Сработает ли? — засомневался я.

— Непременно, — уверенно ответил он и пониже опустил голову, давая понять, что я мешаю ему сосредоточиться.

Я замолк. В тишине поскрипывало перо, правое плечо подпирало ухо писца. На узкую полоску бумаги неспешно нанизывались стро-

ки. С уважением наблюдал я за работой жалобщика, редкостного профессионала.

Ничего для газеты о поселке я так и не написал. Вернее, написал, но не столько о самом поселке, сколько о нем — народном заступнике. Главный прочитал, развел руками:

— Старик, не пройдет. Ну? Сам понимаешь...

И тогда я написал этот рассказ.

1988.



комическая фантазия

ТЕАТР КУКОЛ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

●

И

зложенную ниже историю трудно назвать достоверной: даже не слишком проницательный читатель быстро найдет в ней множество несоответствий и несообразностей. Но автор и не скрывает их. Если бы он имел дело с фактами, хоть сколько-нибудь подтвержденными документально, он, конечно, постарался бы проверить их. Допустим: таким ли в точности был в то или иное время состав руководителей, поднимавшихся в праздники на трибуну Мавзолея? Кто, где и когда в действительности подбирал двойников вождя? Где они на самом деле содержались? Правда ли, что трибуна Мавзолея была оборудована системой подслушивания? И так далее.

Но так как никаких документов в распоряжении автора не имеется, он, чтобышний раз подчеркнуть легендарный характер сообщения и ни в малейшей степени не отвечать за достоверность мифа, намеренно затушевывает возможность уяснить, когда именно происходили те или иные описанные здесь события. Читатель убедится, что в одном и том же эпизоде одни обстоятельства указывают на довоенные времена, а другие — на послевоенные (для молодых читателей, видимо, надо уже пояснить, что под войной имеется в виду Великая Отечественная 1941-1945 годов). Одни более характерны для начала тридцатых годов прошлого века, другие — для их конца.

Да не будет читатель раздражен этими противоречиями, а примет их как неизбежную условность. Кто знает, возможно, когда-нибудь документы все-таки будут найдены и станут публичным достоянием. Тогда эта история предстанет в своей подлинности. Скорее всего, она будет мало похожа на то, что вы сейчас прочтете.

Двойника Сталин завел случайно, во время отпуска, который он, как всегда, проводил на Черноморском побережье. Однажды ему доложили, что по окрестным городкам шляется жулик, внешне похожий на товарища Сталина и нагло эксплуатирующий эту похожесть. Впрочем, на самом деле речь должна была идти об одном единственном случае, да и тот не нес в себе никакой корысти со стороны проходимца, а был всего-навсего розыгрышем. Но розыгрышем довольно дерзким.

Этот жулик и проходимец действительно был таковым. Это был грузин сорока с небольшим лет, изрядный хитрован, с авантурным складом ума и характера, что приводило его как к большим успехам в жизни, так и к сокрушительным поражениям. Смолodu он занимался финансовыми аферами, но сторонился политики и поздно понял свою ошибку. Ныне, когда НЭП была ликвидирована, и, судя по всему, навсегда, любые предприятия становились невозможными без контакта с партийной властью. Путь же к партийной карьере — при его биографии — был ему прочно закрыт; впрочем, что значит — прочно, если он всю жизнь только тем и занимался, что преодолевал, казалось бы, неодолимые препятствия. Но теперь следовало все хорошенько обдумать и принять решение: на время залечь на дно и надеяться на более благодатные времена, или поверить, что жизнь изменилась необратимо, и начать внедряться в руководящие слои; или вообще смыться в другие страны. За его плечами были и стремительные обогащения и отсидки в тюрьмах; последние годы он был на свободе, не попадался, но и не срывал большого куша и постепенно беднел. У него — редкий для кавказца случай — не было семьи, его единственной заботой было собственное благополучие.

К моменту нашего рассказа хитрован — будем его так называть, ибо имя и фамилия его нам неизвестны — прибыл на побережье, чтобы восстановить душевное равновесие после ряда неудач и решительным образом обдумать дальнейшие планы.

Поначалу он только отдыхал, купался в море, гулял по набережной в белом чесучовом костюме, присматриваясь к женщинам; подолгу сидел за стаканом вина в прибрежных ресторанчиках. В одном из таких ресторанчиков он и встретил своего давнего приятеля, с которым когда-то, лет десять назад, обтяпывал какие-то дела. Ныне приятель оказался ни много ни мало председателем передового колхоза, чьи виноградники были разбросаны по окрестным склонам. По случаю встречи было выпито несколько бутылок вина, и чем дольше длился товарищеский пир, тем громче новоиспеченный председатель нахваливал перспективы колхозного строя, политику партии

и мудрость ее вождей, подтверждая самые мрачные предчувствия хитрована относительно возможного возврата прошлых времен.

Он молча прихлебывал вино, а приятель рассказывал о совещании районного актива, на которое пришел сам товарищ Сталин.

— Откуда он тут взялся? — спросил хитрован.

— Как откуда? — удивился приятель. — Неужели тебе неизвестно, что сейчас он отдыхает здесь, на правительственной даче? Между прочим, наш виноград идет у них к столу. По его личному выбору! — похвастался председатель.

— Хороший вкус у товарища Сталина, — заметил хитрован. — Раньше ваш виноград шел к царскому столу.

— Слушай, — горячо зашептал председатель. — Не надо! Не так думаешь. Я его, между прочим, впервые увидел своими глазами. И сразу полюбил. Скромный, приветливый человек. И очень умный. — Председатель окинул хитрована умиленным взором и всплеснул руками. — Слушай! Только не падай. Знаешь, что я тебе скажу? — Он огляделся. Компании за соседними столиками не обращали на них ни малейшего внимания, но председатель понизил голос. — Ты на него очень похож. Очень! Конечно, извини, не умом. И не скромностью. Но внешне! Ф-фу! Прямо страшно глядеть. Слушай, я тебя прошу — встань, пройдишь.

У хитрована, до того пребывавшего в состоянии задумчивости, мгновенно пробудилась та авантюрная жилка, какая и составляла суть его характера.

Он поднялся из-за стола, прошелся к выходу, как если бы пожелал обозреть окрестности; затем неспешно вернулся на место и посмотрел в глаза приятелю строго и пристально — как в его представлении должен был смотреть в глаза людей глава партии большевиков.

Сталин тогда был уже широко известен, но портреты его еще не пестрели по всей стране, не были еще обязательным украшением всех кабинетов и учреждений, всех присутственных мест, не печатались пока в календарях и на плакатах. Что касается газетных фотографий, на которых руководители страны порознь или группами выступали на митингах и конференциях, посещали колхозные поля или всюду начавшиеся стройки — хитрован никогда не вглядывался в эти нечеткие изображения.

— Ужас!.. — прошептал приятель, когда хитрован вернулся за столик. — Лицо, фигура, походка — копия! Я тебе скажу, зайду сейчас в райком, в горком — и сразу услышишь: «Здравствуйте, товарищ Сталин!»

— А думаешь, не зайду? — воспламенился хитрован. — Возьму и зайду.

— Ты что? Я пошутил, — испугался приятель. — Зачем это тебе? Похож и похож. Мало ли кто на кого похож. Наоборот, я тебе скажу, тебе лучше отсюда уехать. Поверь, так будет спокойнее.

Хмель ударил в голову хитровану.

— А вот возьму и зайду! Если похож — так надо же этим воспользоваться. Ты меня знаешь: у меня ничего не пропадет.

— Но что ты с этого будешь иметь, кроме больших неприятностей?

— Э... — Хитрован опрокинул очередной стакан. — Ты меня совсем забыл. Я иногда сначала думаю, а потом делаю. А иногда сначала делаю, а потом думаю, зачем сделал. Идем!

Он поднялся из-за стола, на ходу расплатился с официантом и решительно зашагал к центральной площади, к зданию горкома. Приятель плелся за ним и отговаривал от дерзкого поступка, но тщетно.

В виду горкомовского здания приятель схватил хитрована за рукав и потащил было обратно.

— Пошел вон! — огрызнулся хитрован, вырываясь.

Приятель попятился, вертя указательным пальцем у лба.

— Не беспокойся, я в своем уме, — самоуверенно заявил хитрован.

— Говори, как зовут первого секретаря. Ну!

— Гурулия... Вахтанг Гурулия... — пролепетал приятель и побежал прочь.

Хитрован спокойно зашел в здание горкома, прошествовал в приемную первого секретаря, кивнул секретарше, вошел, посмотрел на человека за столом и негромко сказал:

— Здравствуй, товарищ Гурулия. Гуляю тут по твоему городу, решил зайти.

— Здравствуйте, товарищ Сталин! — вскочил из-за стола Гурулия.

— Прикажете собрать аппарат?

— Обязательно собрать, — отвечал хитрован.

После энергичной беготни секретарши через несколько минут весь аппарат собрался и замер в неясном ожидании. «Товарищ Сталин», однако, был настроен хорошо, как и полагается человеку на отдыхе. Он попросил рассказать, кто чем занимается, честно доложить о недостатках в текущей работе.

Приняв отчет, он сделал несколько наставлений общего характера, и, провожаемый всем аппаратом горкома, вышел на площадь, где его уже ждали люди с правительственной дачи, вызванные срочным звонком приятеля. Руководил ими начальник личной охраны Сталина, у которого хватило ума не арестовывать самозванца на глазах у горкомовцев и праздной публики. Со стороны сцена выглядела вполне логично: товарищ Сталин, поскольку ему так пожелалось,

прогулялся по городу в одиночестве, а теперь отправляется куда-то в сопровождении своей охраны...

* * *

Узнав, что он похож на Сталина, и убедившись благодаря успешной встрече в горькоме, что похож весьма и весьма, хитрован все же не до конца представлял, до какой именно степени он похож на одного из вождей партии. Не представлял себе этого и Сталин. Когда хитрована привезли на дачу и подвели к Сталину, сидевшему на веранде за бокалом сухого вина, оба они, встретившись взглядами, вздрогнули. Это была не просто похожесть, а что-то более сильное. Какое-то мистическое совпадение не только черт лица и пропорций фигуры, но и тех признаков душевного устройства, которые обычно выражены в осанке человека, его жестах, в его манере смотреть и говорить.

Лишь две разницы можно было заметить: одну сразу, а другую — после детального изучения хитрованской физиономии.

Разница, замечаемая далеко не сразу, заключалась в том, что на лице хитрована не было рябоватых оспин, оставленных у Сталина перенесенной болезнью. Но кожа у него была нездоровая, неровная, и какая-то естественная рябоватость почти в точности повторяла примету сталинского лица.

Очевидная же разница состояла в возрасте хитрована, заметно уступавшем возрасту вождя.

Как замороженный смотрел Сталин на молодого себя, каким он был примерно к концу гражданской войны. Невольное волнение охватило его на минуту: перед ним был он сам в том возрасте, когда его выбрали генсеком и когда он начал понимать скрытые возможности этого поста, но, разумеется, еще и отдаленно не предполагал, сколь успешно воспользуется ими к сегодняшнему дню.

Но Сталин не был бы Сталиным, если бы слишком долго предавался сантиментам.

Следовало быстро и однозначно решить судьбу этого непрошеного близнеца.

Все это время, пока двое разглядывали друг друга, на веранде стояла тишина, нарушаемая лишь мягким шумом близкого морского прибоя. Сталин сидел в плетеном кресле, издававшем при малейшем перемещении сидевшего легкое потрескивание, с каким постреливает разгорающийся костер. Близнец и люди, приведшие его, стояли.

— Сбрить усы, изменить прическу и передать в руки органов советского правосудия, — произнес Сталин, адресуясь нежно голубеющему, залитому солнцем пространству за пределами веранды. —

Надеюсь, попытка подрыва авторитета партии большевиков и советской власти будет оценена по достоинству.

Внезапно он поднялся мягким слитным движением и, весело прищурясь, обратился непосредственно к близнецу:

— Не бойся, кацо. Я бывал в Сибири. Нам, южанам, там немного холодно, но можно потерпеть.

— Я знаю, я тоже бывал, — без малейшего испуга ответил хитрован, и окружающие, не говоря уж о самом товарище Сталине, были неприятно поражены сходством голосов.

Наступила пауза. Кресло потрескивало, как если бы в него вместо Сталина теперь усаживался невидимка.

— Рано вернулся! — Резко произнес Сталин, взбешенный демонстративным спокойствием наглеца. — Второй раз вернешься не скоро и не с этим лицом. Если вернешься...

Начальник охраны от души двинул хитровану под ребро и толкнул его к выходу в сад.

Распоряжения товарища Сталина следовало выполнять немедленно. На даче имелся постоянный парикмахер. Начальник охраны повел к нему хитрована по дорожкам, то посыпанным чисто просеянным песком, то выложенным из битого кирпича густобордового оттенка, среди цветущих и благоухающих кущ, из недр которых время от времени падали крупные белые или розовые лепестки, красиво выглядя на золотистой глади песка или на бордовом фоне кирпичной крошки. Казалось, милосердный господь нашел справедливым одарить хитрована несколькими минутами пребывания в раю перед долгим путешествием в ад сибирского лагеря.

Хитрован, в полной мере ценя господнее великодушие, наслаждался зрелищем цветущей природы, полной грудью вдыхал сладкий, настоящий на разнообразном цветении воздух и шагал уверенно и неторопливо, как свободный человек.

«До чего же похож, сволочь! — не переставал удивляться начальник охраны, искоса поглядывая на лик хитрована. — Даже жалко портить...»

И когда хитрован уже был усажен в кресло, и парикмахер принялся править бритву на широком лоснящемся ремне, в голову начальника пришла мысль.

— Погоди! — остановил он парикмахера. — Жди меня и ничего не делай.

Выслушав мысль начальника охраны, Сталин нахмурился. Он нахмурился не оттого, что мысль не пришла ему по вкусу. Наоборот, она понравилась ему. Но ему не понравилось, что дельная мысль пришла в голову другому. Тем более, такому ничтожеству, как его

охранник. Пусть даже и самый главный. Он не любил, когда кто-то первым находил выгоду там, где он не успел или вообще не догадался ее обнаружить.

— Я и сам подумал об этом, когда увидел его рожу, — Сталин осекся, поняв, что невольно назвал «рожей» и свое собственное лицо. Но он никогда не признавал за собой ошибок и потому не только не поправил себя, но и повторил. — Эту наглую рожу... Но я посчитал, что это будет нескромно по отношению к моим товарищам по партии. Тем более что партия и так дала мне надежную охрану. Или не очень надежную, судя по вашему предложению?

— Товарищ Сталин, — обиделся начальник охраны, — но ведь у вас нет конкретных претензий к нашей работе?

— Кхэ... Если бы были конкретные... — усмехнулся товарищ Сталин, и охранник побледнел.

— Впрочем, — мягко произнес Сталин, — я посоветуюсь с товарищами. Если товарищи посчитают, что это допустимо, что это в интересах партии... Оставьте его пока таким, какой он есть.

* * *

Так у товарища Сталина появился двойник. Он был помещен на уединенную подмосковную дачу, где жил под тщательной охраной и сатанел от безделья. Он понимал, зачем оставлен в своем облике, но не понимал, почему ему не дают работать.

Время от времени его навещал начальник личной охраны Сталина. Что-то притягивало его к этой безупречной копии Иосифа Виссарионовича. Приезжая на секретную дачу, он проверял состояние охраны, после чего садился с двойником за обеденный стол и под хорошую закуску распивал с ним бутылочку, а то и две.

— Скажи, друг, зачем я товарищу Сталину?! — горячился хитрован. — Почему не использует?

— Тебе здесь плохо? — отвечивал главный охранник. — Поят, кормят. Девочек нет — тут ничего не поделаешь. Нельзя тебя показывать посторонним, сам понимаешь

Да, отсутствие девочек тоже приводило хитрована в бешенство.

— В темноте привези! — кричал он. — В темноте привези, в темноте увези. Ей глаза завяжи, а на меня маску надень. Читал такой роман — «Железная маска»? Всю жизнь человека в маске держали. Даже охрана не знала, кто такой. Привези девочку, начальник!

— Варит у тебя башка, варит! — хохотал начальник. — Маску, говоришь? А ей глаза завязать? Соображаешь... А что, может, и привезу!

— И передай товарищу Сталину: работать хочу!

— А вот это не твое собачье дело, — вмиг становился серьезным начальник. — Понадобисься — вызовут. А не вызывают — значит, пока не нужен.

Да, товарищ Сталин долго не вспоминал о своем двойнике и, казалось, вообще забыл о нем. Время его было поглощено грандиозными планами социалистического строительства, а также окончательным «завершением биографий» его товарищей по партии — биографий, столь блистательно проявленных в подпольной работе, в революции и гражданской войне, что им оставалось только прийти к своему логическому завершению.

Постепенно товарищ Сталин помог завершить биографии всем, кому он пожелал помочь с этим важным для всякого живущего на Земле делом, и стал единственным и глубоко обожаемым вождем советского народа. Вспоминал ли он своих товарищей по партии? Разумеется. Но только в том плане, что, если бы он не помог им завершить их биографии, кто-то из них помог бы с этим делом ему. И, возможно, кто-то из их родственников или друзей, к сожалению, недовыявленных органами, вынашивает мысли о подобной помощи товарищу Сталину. Заговоры и покушения чем дальше, тем чаще мерещились Иосифу Виссарионовичу. Он стал все реже появляться на людях. И людям даже нравилось, что он недосыгаем и невидим. Богу не пристало спускаться на землю. Бог сидит в Кремле и думает обо всех и за всех. Образ негаснущего окна за зубчатой стеной послужил источником вдохновения для многих талантливых поэтов и для тысяч бесталанных, ставших благодаря использованию этого образа и ряда подобных такими же профессиональными поэтами, как и талантливые, а наиболее одаренные из бесталанных получили за это ордена. Поэзия таит в себе немало загадок, и одна из них состоит в том, что есть образы, полноценному, задушевному, искреннему воплощению которых талант только мешает.

* * *

Но дважды в год, на Первомайской и Октябрьской демонстрациях трудящихся столицы, когда на трибуне Мавзолея по заведенной традиции стояло все Политбюро, все секретари Центрального Комитета, все маршалы и другие руководители высокого ранга — вот тут уж народ не понял бы отсутствия Сталина. Возникли бы нежелательные слухи. Как минимум о болезни. Но вождь никогда не болеет, он вечен. Могли зародиться обиды: товарищ Сталин зазнался, он не хочет встречаться с возлюбившем его народом. Да мало ли еще что...

Нет, стоять на Мавзолее нужно было обязательно. Но тут-то и могли подстрелить. Конечно, ряды демонстрантов тщательно проверялись. Пройти через Красную площадь могли только достойные и надежные. В каждой шеренге был старший и два его помощника по краям — посторонний пристроиться не мог. Но кто знает людей? Могла сговориться и пальнуть целая шеренга.

Однажды после Первомайской демонстрации, когда праздник продолжили на ближней даче, все увидели, что Сталин не по-праздничному угрюм. Наиболее же проницательный из соратников, Лаврентий Павлович Берия, углядел, что товарищ Сталин нервничает. Он понял причину сталинского настроения. Дело в том, что, когда по Красной площади проходила колонна одного из московских вузов, из шеренги выбежал молодой человек и швырнул в сторону Мавзолея букет гвоздик. Букет пролетел подозрительно большое расстояние и упал к подножию Мавзолея, к ногам застывших в карауле кремлевских курсантов. Курсанты скосили глаза на упавший предмет, но, разумеется, не шелохнулись. Охранники, схватившие букет, обнаружили, что в него вложен тяжелый рулон ватмана. Схватили, конечно, и молодого человека. Он оказался передовым студентом и комсомольцем, немного свихнувшимся от любви к товарищу Сталину. Свихнувшись от этого, естественного во всем советском народе, а тем более, в его наиболее молодых представителях чувства, комсомолец накатал товарищу Сталину письмо в стихах — поэму в несколько тысяч строк, каковые и переписал на бесконечный рулон четким полудетским почерком. Это было одно из тех многочисленных произведений, в основе которых лежал образ негаснущего окна за зубчатой стеной и несколько других, подобных этому, образов. Когда все разъяснилось, и Сталина спросили, что делать со свихнувшимся комсомольцем, Сталин сказал, что пусть молодой человек продолжает писать патриотические стихи, но не в Москве, а где-нибудь севернее. Надо сказать, распоряжение товарища Сталина было выполнено самым нелепым образом и даже можно считать, что оно не было выполнено вообще: вероятно, по причине праздничной суматохи лицо, выслушавшее вердикт из уст вождя, не уловило, как это обычно ему удавалось, сталинского сарказма, и приказ был воспринят в буквальном смысле. Молодого человека поместили не за колючую проволоку, а в редакцию областной газеты в одном из северных городов, где его назначили штатным поэтом. Между прочим, со временем он стал известным журналистом и в этом качестве даже вернулся в Москву, в крупное столичное издание, а в лагерь попал уже значительно позже, после войны.

Случай этот порядком напугал Иосифа Виссарионовича. Ведь в цветах могла оказаться не поэма, а граната. Вот почему он с такой

угрюмостью потягивал свое любимое вино и неприязненно поглядывал на соратников, уже согретых более крепкими напитками.

И тут Берия со свойственной ему проницательностью наклонился к нему и тепло и негромко произнес:

— Зачем вам рисковать, товарищ Сталин? Зачем стоять три часа на Мавзолее, как мишень? У вас же есть двойник. Правильно я предлагаю, товарищи?

Некоторые соратники знали о двойнике, другие слышали о нем впервые, но все дружно поддержали предложение Лаврентия Павловича.

Хитрован дождался работы.

* * *

Когда на следующей октябрьской демонстрации соратники увидели рядом с собой на трибуне Мавзолея копию своего дорогого вождя, они испытали сложные чувства, весьма далекие от той дружной поддержки, которую они оказали предложению Лаврентия Павловича. Во-первых, они обиделись. А во-вторых, позавидовали. Ведь и каждый из них боялся покушения, каждый знал, какое немереное количество людей он заставил ненавидеть себя, уничтожив их близких. На праздничном обеде, по мере его обычного перетекания в праздничный ужин, намеки соратников становились все откровеннее, и, отдалившись, наконец, от трезвости на достаточное расстояние, соратники осмелели и высказались вслух. Товарищ Сталин попал в двусмысленное положение: согласиться на просьбу соратников значило уравнивать их с собой, отказать означало, во-первых, дать понять им, что он ни в грош не ценит их верность, ибо не ценит их жизнь, и, пристрели их кто-нибудь — товарищ Сталин сильно не загорюет; во-вторых, как ни крути, один фальшивый Сталин среди шеренги подлинных вождей — что-то в этом было позорящее его великое имя.

Товарищ Сталин согласился. На специальном совещании было решено обзавестись двойниками для всех, кто удостоивается чести стоять на Мавзолее.

В следующий Первомай на Мавзолее стояли одни двойники, что кроме приятного чувства безопасности, принесло вождям еще и дополнительное удобство: праздничный обед, перетекавший в праздничный ужин, можно было начинать с утра, то есть с фазы праздничного завтрака. Кроме того, развлекательная программа застолья, до сих пор состоявшая из анекдотов и взаимного спаивания под неусыпным контролем генерального секретаря, должна была обогатиться любопытнейшим новшеством. В начале апреля Сталин вызвал Берию и мечтательно произнес:

— А интересно было бы послушать, Лаврентий, что будут говорить эти ребята, стоя на Мавзолее. Как будут общаться. Технически нельзя тут что-нибудь придумать?

Трибуна Мавзолея была срочно оснащена потайными микрофонами, а линия от них проведена на ближнюю дачу. В кабинете Сталина и в столовой кроме обычной радиотрансляции появились новые динамики.

Однако, когда чудесным первомайским утром члены Политбюро заняли свои места за столом и после первых церемониальных тостов за праздник солидарности трудящихся всего мира и за здоровье товарища Сталина приготовились слушать трансляцию с трибуны Мавзолея, их ждало большое разочарование. Сначала в динамике раздался топот ног — двойники вошли на трибуну. Затем общая трансляция донесла до слуха членов Политбюро звуки начала парада, который принимал Ворошилов-2. Он и расставленные на Красной площади войска поприветствовали друг друга. Ворошилов-2 поднялся на трибуну. Члены Политбюро услышали шуршание бумаги. Затем Ворошилов-2 довольно похожим на оригинал простецким голосом прочитал речь. Грянул оркестр, парад загремел по брусчатке. Никаких других звуков из тайных микрофонов не доносилось. Через некоторое время Сталин велел проверить линию. Линия была в порядке. Двойники молчали. То же повторилось и во время демонстрации. Молотов-2 произнес речь. Двинулись ликующие колонны трудящихся. И вновь упорно молчали двойники. Максимум, что они могли позволить себе — глухое покашливание. Один из них, неизвестно кто, громко и противно чихал.

Это поведение объяснялось довольно просто.

* * *

Первое время двойники, после того как были найдены, привезены, просмотрены и утверждены, содержались порознь, в полной изоляции не только от внешнего мира, но и друг от друга. Дни их были заняты до предела: врачебный осмотр, уход за внешностью, различные процедуры, тренировки. Отрабатывались все детали поведения оригиналов: жесты, улыбки, манера разговаривать. Так как личное общение с подлинниками поначалу было признано нежелательным, двойники изучали настоящих вождей по фотографиям и кадрам кинохроники. С ними работали лучшие режиссеры-педагоги театральных вузов. Сначала с них взяли подписку о неразглашении, но потом Сталину это показалось недостаточно, и режиссеры тоже перешли на отъединенный от общества образ жизни. Семьям сообщили, что они уехали в многолетнюю зарубежную командировку для раз-

вития революционного театра в странах Азии и Латинской Америки. Им было разрешено писать домой краткие письма, которые обнаруживались домашними в почтовых ящиках, и конверты имели четкие штампы Бомбея или Рио-де-Жанейро.

Мастерство ведущих педагогов сказалось наилучшим образом: по отзывам специальных наблюдателей все двойники — или, как их стали называть, куклы — выглядели убедительно, а Ворошилов-2 сидел на коне даже лучше, чем настоящий Ворошилов.

Но это их первое стояние на трибуне выявило неприятнейшую вещь: впервые увидев друг друга, они страшно напугались. Чисто психологически каждый представлял себе остальных настоящими вождями и боялся общаться и разговаривать с соседями. Так молча они и простояли до конца демонстрации.

По Москве поползли слухи: накануне Политбюро разругалось, причем настолько, что на трибуне Мавзолея в течение трех часов никто ни с кем не перемолвился словом. Назывались даже причины ссоры. В ходу были три версии.

По одной из них Сталин запретил Калинин ужениться второй раз, заявив, что неблагородно заключать новый брак при живой жене, да еще сидящей в лагере. Меж тем все соратники, уже приглашенные Михаилом Ивановичем на свадьбу, потратились на дорогие подарки. Это еще было время — скоро оно закончилось — когда только товарищ Сталин содержался на государственньй счет, а остальные вожди получали зарплату и за все платили, хоть и по особым, очень низким ценам. Но и зарплата у них была сравнительно скромная. Поэтому они были очень раздосадованы напрасными тратами на подарки и, конечно, высказали свое недовольство Калинин, который пригласил их, не согласовав вопрос в принципе с товарищем Сталиным. Но некоторые были на стороне Калинина, говоря, что Михаил Иванович еще не так стар, чтобы не иметь специфических мужских потребностей, и что его желание удовлетворять их в рамках брака говорит о его высокой нравственности настоящего коммуниста. Словом, по первой версии, произошла общая размолвка, и как следствие все дулись друг на друга перед лицом проходящих по Красной площади стройных первомайских колонн.

По другой версии, гораздо более простодушной, но куда более ехидной и язвительной, Сталин вдруг перед самым выходом на трибуну заявил, что некоторые члены Политбюро позволяют себе с утра пораньше согревательные напитки, в то время как простые трудящиеся идут по площади абсолютно трезвыми. И кроме того, в прошлом году, на Октябрьской демонстрации, согревшись в стылое ноябрьское утро слишком основательно, многие болтали на трибуне непозволи-

тельную для торжественных минут чепуху, а Берия даже позволял себе оценивать прелести проходивших мимо трибуны физкультурниц так громко, что это слышали кремлевские курсанты, замершие у входа к Ильичу. Сталин якобы заявил, что если он почувствует от кого-нибудь хоть малейший запах, он принародно прогонит своего соратника с Мавзолея. Поэтому все отворачивались друг от друга, чтобы не дохнуть и не выдать себя, и старательно молчали три часа подряд.

И, наконец, по третьей версии, Сталин разгневался на Берию, сотрудники которого по ошибке арестовали и расстреляли вместо комбрига Александра Чмурова его полного тезку, одного из любимых певцов товарища Сталина. Товарищ Сталин очень любил под утро, в конце ужина, слушать, как Александр Чмуров поет «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу...» и другие революционные песни. Узнав об ошибочном расстреле, он ударил Лаврентия Павловича в присутствии других соратников и собственноручно разбил ему пенсне. Берия выместил обиду на тех, при ком был опозорен, и устроил им те или иные пакости. Вот почему все были так мрачны и необщительны на трибуне Мавзолея.

Разумеется, множество людей было быстро схвачено за распространение каждой из этих версий, и слухи постепенно прекратились. Но стало ясно: двойники должны хорошо знать друг друга, не дичиться, не замыкаться, активно и непринужденно общаться на глазах у масс — а для всего этого им следует жить вместе.

* * *

Двойников поселили вместе, и это имело скорые и наилучшие последствия. Уже через полгода, на Октябрьской демонстрации, они вели себя на трибуне вполне по-свойски, непринужденно переговаривались, улыбались, приветствовали колонны трудящихся — словом, убедительно воплощали доверенные им дорогие образы. Слушать их, сидя за праздничным столом, было одно удовольствие. Так как им было строжайше приказано на трибуне называть друг друга только именами подлинников, в динамике раздавалось: «Вячеслав... Лазарь... Клим...». Подлинники покатывались со смеху. Они очень живо воспринимали шуточные перепалки, возникавшие между куклами, их взаимные подковырки, и каждый болел за своего, как за любимую футбольную команду, и над другими подтрунивал. «Лаврентий, — говорил, к примеру, Сталин, — удивительно: у них не только внешность, но и вкусы совпадают. Слышь, как твой говорит о женщинах? Ты не узнавал, он тоже любит школьниц с толстыми ногами?» Так как в ответ товарищу Сталину шутить было нельзя,

Берия отыгрывался на ком-нибудь другом. «Георгий, — говорил он Маленкову, — мои люди жалуются: не успевают раскармливать твоего пупса. Он никак не может тебя догнать. Тебе надо посоветоваться с врачами. Может быть, что-то с обменом?»

«Лазарь, — спрашивал Сталин у Кагановича, — твой кто по национальности?» С некоторого времени Каганович ни о чем так не заботился, как о том, чтобы вокруг него не было евреев и чтоб вообще все пореже вспоминали, что он еврей. И двойника он себе нашел из молдаван. «Молдаванин, Иосиф Виссарионович», — отвечал Каганович. «А тебе не обидно? Попроси Лаврентия, тебе подберут человека твоей веры». «Не нужен мне человек моей веры, товарищ Сталин! — заверял Каганович. — Я убежденный атеист, вы же знаете. Я даже в детстве в синагогу не ходил, честное слово!» «Понимаю... — усмехался Сталин. — Не хочешь показать. Но ты переживаешь. У вас, евреев, особая тяга друг к другу. И тебе хотелось иметь человека твоей национальности. Но ничего не поделаешь, Лазарь: другого такого еврея, как ты, просто не существует. Еврейский народ не может родить нам второго Лазаря. Или не хочет».

«Клим, — говорил Сталин Ворошилову, — какого бравого парня тебе нашли. Есть мнение: на коне сидит лучше, чем ты. Мне бы его вместо тебя под Царицыном!» «А чем я был плох под Царицыном, Коба?» — обижался Ворошилов. «У тебя еще и с памятью плохо? — удивлялся Сталин. — А может быть, вас хотя бы сейчас поменять?»

Эта мысль, однажды высказанная им в порядке шуточного эксперимента, очень понравилась ему, и с тех пор он нередко, будучи довольным, говорил тому или иному соратнику: «Может, нам твою куклу не только на Мавзолей поставить, но и в твой кабинет посадить?» И это держало соратников в дополнительном напряжении, потому что от товарища Сталина можно было ожидать чего угодно.

* * *

Впрочем, угрожая подобной заменой, Сталин в то же время не рекомендовал соратникам пользоваться двойниками где-либо, кроме ритуального стояния на Мавзолее.

— Не запрещаю, — говорил он. — Но не советую.

Поскольку между советом и запретом Сталина разницы не было, рекомендация выполнялась. Но однажды Каганович вынужден был ею пренебречь: он попал в безвыходное положение. И кончилось это конфузом.

Шла осень, месяц октябрь. Каганович был занят сверх головы. На ряде железных дорог участились срывы перевозок народнохозяйственных грузов. Рано наступившая на Севере зима усложнила пода-

чу порожняка на воркутинские шахты. На Коломенском паровозостроительном заводе затягивали обкатку нового сверхмощного паровоза «Октябрьская революция».

В спешке ежедневных дел нарком желдорпутей позже, чем следовало, вспомнил о немеркнущем событии, поджидавшем его, как и весь советский народ, в конце каждого года — о двадцать первом декабря, дне рождения товарища Сталина. По заведенной самим Лазарем Моисеевичем традиции каждый год ко дню рождения любимого вождя полагалось сдавать новый участок Московского метрополитена. Как назло, дела Метростроя в этом году шли неважно. Темпы были ударными только на бумаге, а под землей инженеры жаловались то на трудные грунты, то на избыточные воды, а рабочие — на плохой инструмент и ухудшившееся питание. Получив очередную сводку по Метрострою, нарком понял, что подарок вождю может опоздать. Допустить это было невозможно, и он велел собрать митинг метростроевцев, на котором предполагал выступить сам.

Он уже заканчивал дела в кабинете, собираясь выехать на митинг, как вдруг позвонили из НКВД и сообщили о только что полученной анонимке. В ней говорилось, что среди рабочих Метростроя зреют нехорошие настроения, люди возмущены увеличением норм, участившимися авариями — недавно в забое снова произошел случай со смертельным исходом. В коллектив вместе с недавно пришедшим пополнением затесались враги. На сегодняшнем митинге они готовят покушение на товарища Кагановича. Звонивший спросил, выслать ли бригаду НКВД или митинг будет отменен?

В подготовку покушения на его жизнь нарком поверил разом и безоговорочно. Он представил себе зал управления Метростроя, заполненный людьми, себя на трибуне и какую-то зловещую фигуру, встающую в рядах и вскидывающую револьвер... Да нет, это маловероятно. Чекисты сядут в каждый ряд и станут следить за каждым движением. Но и враги не лыком шиты. На строительстве метро сколько угодно взрывчатки. Зачем револьвер, если можно подложить динамит под трибуну. А то и под всю сцену. Он представил себе взрыв и себя, разлетающегося на куски... От страха и ужаса его бросило в пот... Надо отменить митинг. Легко сказать — отменить. НКВД гарантирует ему защиту — значит, он не доверяет НКВД? Если он не доверяет карающему мечу революции даже такую малость, как собственная жизнь — что он ему вообще доверяет? А если это провокация, и никакой анонимки нет? Если это и есть проверка на доверие к органам? А что скажет, когда ему доложат, товарищ Сталин? Мало того, что товарищ Каганович проявил себя позорным трусом, а настоящий большевик не может быть трусом. Мало того. Но

товарищ Каганович допустил создание контрреволюционной террористической организации, и где — в Метрострое, который имеет тонны взрывчатки и который роется под всей Москвой, в том числе и в непосредственной близости от Кремля...

Нет, отменять нельзя. Нельзя, нельзя... И ехать страшно. Где же выход... Двойник!!! Даже если его пристрелят — какой энтузиазм вызовет у славных строителей Метростроя известие о том, что товарищ Каганович выжил! Правда, если его на глазах у всего зала разорвет на куски... Что ж, страна узнает о фантастическом мастерстве советских хирургов, беспредельно преданных большевистской партии. Враги же убедятся в полной безнадежности своих попыток уничтожить руководителей первой страны социализма. Двойник! Конечно, товарищ Сталин не советовал... Но если покушения не будет, он может и не узнать о подмене. А если оно произойдет — неужели товарищ Сталин пожалеет, что его верный Лазарь остался жив?

Звонивший из НКВД после большой паузы услышал спокойный голос наркома. Нет, отменять митинг не будем. Товарищ Каганович всецело доверяет бдительности органов.

Двойник и его личный режиссер-педагог были привезены более чем молниеносно. Молдаванин, довольно сообразительный мужик со столь же живыми и смысленными, как у оригинала, глазами, все же был настолько ошарашен срочностью вызова и необычностью задания, что едва не впал в транс. Усилиями педагога он был мало-мальски приведен в рабочее состояние и укатил на митинг в автомобиле наркома, комкая в руках листок с краткими тезисами своего выступления, наспех набросанными Кагановичем — Лазарь Моисеевич собирался говорить импровизационно и набросал эти тезисы второпях, в те полчаса, за какие двойник был доставлен к нему с подмосковной дачи. Шофер Кагановича, убежденный, что везет своего настоящего хозяина, не без удивления прислушивался к его бормотанию, доносившемуся из-за спины, с заднего сидения, и никак не мог понять, что за незнакомец сопровождает Лазаря Моисеевича: по виду явный недорезанный буржуй, интеллигент, с наркомом держится на равных и, более того, время от времени делает ему замечания, веля произнести в предстоящей речи то или иное выражение не так, а эдак... Шофер возил наркома на многие выступления и никогда не наблюдал в нем такого волнения, такой неуверенности в себе. Старелет хозяин, подумал он.

Через два часа Кагановичу позвонили и сообщили, что митинг прошел успешно. Его призыв досрочно сдать участок был воспринят с должным энтузиазмом. Выступили такие-то и такие-то и завери-

ли в том-то и том-то. Митинг от имени всего коллектива метростроителей принял новые повышенные обязательства.

На следующее утро Каганович развернул «Правду», увидел на первой полосе фотографию, на которой он выступает перед участниками митинга, и довольно ухмыльнулся. Но когда он прочел заголовок над репортажем с митинга, у него потемнело в глазах. Оказывается, нарком призвал Метрострой сдать новый участок не к двадцать первому декабря, дню рождения товарища Сталина, а к седьмому ноября, к очередной годовщине Октябрьской революции! На полтора месяца раньше!

Вот каким роковым образом сказалось волнение двойника. Вызванный к наркому, он снова впал в транс и никак не мог объяснить, отчего перепутал два праздника.

— Не умеешь играть меня, сыграешь моего брата! — в гневе выкрикнул Каганович. — Сыграешь меня седьмого на Мавзолее, а дальше брата будешь играть!

Двойник стоял ни жив ни мертв, ибо что значило сыграть брата Кагановича, недавно расстрелянного наркома авиационной промышленности?

Однако судьба в лице товарища Сталина оказалась благосклонной к несчастному молдаванину. Седьмого ноября, во время праздничного ужина, великий вождь заметил угнетенное состояние обычно оживленного и говорливого Кагановича и осведомился о причинах его грусти. Каганович набрался мужества и рассказал, в чем дело.

— Ему не прощу, идиоту, это ладно. Но и себе не прощу, Иосиф Виссарионович, что не смог сделать достойного подарка к вашему дню рождения.

— Скажи, пожалуйста, Лазарь, — попросил Сталин, — я правильно прочел в сегодняшней «Правде», что вчера этот участок был действительно пущен в эксплуатацию?

— Да, Иосиф Виссарионович, — ответил Каганович и невольно вспомнил, чего это стоило. Ведь после публикации в «Правде» не могло быть и речи о перемене обязательств. Следовало выполнять безумный срок, объявленный двойником. На метро были переброшены самые опытные бригады с нескольких шахт подмосковного угольного бассейна — пришлось изрядно поторговаться с соответствующим наркомом. Были еще раз увеличены нормы. Усилено питание. Прекращены малейшие разговорчики о недовольстве — здесь оперативно помог НКВД.

— Да, Иосиф Виссарионович. Вчера, или, можно сказать, сегодня ночью прошел первый поезд с ударниками. А сразу после праздников по новому участку поедут все москвичи.

— Так что же в этом плохого? Пусть едут. Благодаря твоему дураку мы еще раз убедились: нет таких сроков, которых не могли бы одолеть наши рабочие.

— Иосиф Виссарионович, но сколько мы расширяем московское метро, не было года, чтобы мы не преподнесли вам ко дню рождения новый участок.

— Э, Лазарь, — равнодушно махнул рукой вождь. — Чем ты хвастаешься? Разве это принято: из года в год приносить хозяину одно и то же? Подари мне в этом году что-нибудь другое. Подумай, что.

Двадцатого декабря газеты оповестили, что в честь дня рождения великого вождя советского народа и всего прогрессивного человечества закончена обкатка нового, самого мощного в мире паровоза. По горячему желанию всех тружеников завода машине дано имя «Иосиф Сталин».

— Спасибо, Лазарь. Молодец, — похвалил его Сталин. — Вот видишь: не менее приятно, чем метро, и в то же время довольно неожиданно.

* * *

Вскоре после того, как двойников поселили на подмосковной «даче», выяснилось, что, кроме подвоза питания, спиртного и папирос, следует организовать регулярное снабжение еще одним весьма специфическим продуктом. Возрастом двойники примерно соответствовали оригиналам (а Сталин-2 был даже существенно моложе Иосифа Виссарионовича) — и те и другие пребывали в расцвете зрелых мужских сил. Требовались женщины. Никто не собирався ставить дублеров в положение монахов, но сложность заключалась в строжайшей секретности самого их существования. Каждое новое лицо, допущенное к контакту с двойниками, неминуемо становилось потенциальным разносчиком секретной информации. В узком кругу энкаведэшников, ответственных за режим на «даче», состоялось несколько совещаний. Поначалу были выдвинуты два способа — совпавшие, между прочим, с тем, что предлагал ставший Сталиным-2 хитрован. Первое: женщинам завязывать глаза, дабы не видели, с кем имеют дело. Второе: двойникам надевать маски. Первое предложение было отвергнуто по той причине, что в порыве страсти повязка может быть сорвана любой из сочетающихся сторон. Второе было сокрушено майором Яковлевым, не без основания слывшим среди коллег особенным знатоком женской психологии. Маска на лице еще сильнее распалит желание женщины узнать, кто ее партнер — и рано или поздно она исхитрится и заглянет под маску.

Оставался единственный выход: женщины, привозимые на «дачу», ни в коем случае не должны подозревать, что имеют дело с дублерами. Трепет перед вождем, до близости с которым ее допустили, предварительное наставление относительно сибирских лагерей за малейшую болтовню — вот самые надежные средства, которые самую глупую девку заставят прикусить язычок.

С каждым двойником была проведена беседа: в течение всего интимного общения опираться на факты биографии оригинала, напроочь забыв о собственной предыдущей жизни. Это грозное предупреждение было по-настоящему осознано двойниками не сразу. И вскоре особый уполномоченный НКВД, которому было вменено в обязанность тщательно допрашивать женщин после каждого их визита на «дачу», выяснил факты разгильдяйского отношения некоторых двойников к объявленному им режиму секретности.

Буденный-2, мужчина крепкого телосложения, каковым он заслуженно гордился, после большой радости, доставленной в постели своей подружке, позволил ей, благодарной, исследовать любопытным пальчиком различные участки своего большого тела и охотно объяснил происхождение нескольких повреждений на нем. Не было большой беды в том, что мнимый командарм Первой Конной выдал шрам от операции аппендицита за сабельный удар, полученный в рейде под Шепетовкой. И в том, что красноватый бугорок у основания шеи, след юношеского фурункула, он объяснил скользящим попаданием пули.

Беда грянула, когда Буденный-2 сказал правду. Дамский пальчик нежно и задумчиво принялся корябать еще один шрам, наискось прочертивший могучий левый бицепс. И тут Буденный-2, оживившись еще более, рассказал о славной потасовке, свершившейся в одна тысяча девятьсот семнадцатом году, осенью, в селе под Красноярском, куда, на родину, прибыл с фронта молодой солдат. Рассказал и даже показал в лицах.

— Он, главное, сука, с ножом на меня пошел, понимаешь? С ножом, подлюка! — Кричал он, все более распаляясь воинственными воспоминаниями. — Э, вижу, не понимаешь. Ну, слушай же, дура городская. У нас в селе обычай: по первому снегу парни бьются стенка на стенку, один конец села с другим. Но только на кулаках. Не то что бы там за полено схватиться или за вагу, а прутик с куста не смей сломить. И то сказать, мы, сибирские, ребята крепкие, мяса до отвала жрем. И с одних кулаков кровищи, бывало — ого-го! А он, сволота, нож в рукаве затаил. После-то я узнал: Любка Кошеварова по мне сохла, ему не давалась, меня ждала. А я и понятия не имел: уходил на фронт, ей тринадцать было, сопля соплей. А пришел — расцвела деваха, груди... Как у тебя.

Женщина благодарно зарделась.

— Ну, я, конечно, обратил на нее внимание. Как не обратить. Начал встречаться. А про него и не знал. И вот он, гад ползучий, с ножом! В грудь целился, да я рукой отбил. Ох, и мутузил я его. Убил бы, спасибо, ребята оттащили...

Слушательница, комсомолка двадцати двух лет, в годы революции и гражданской войны была крошечным дитем, биографию легендарного командарма знала смутно. Ее, однако, удивила география события, и она робко спросила:

— А вы, Семен Михайлович, в это время разве не в Петрограде были?

По ее представлению все сегодняшние вожди страны, руководители партии и армии, осенью семнадцатого года находились в Петрограде и дружно творили Великий Октябрь.

— Э... — спохватился Буденный-2. — Как же, как же... Ждали меня, конечно, в Питере наши товарищи. Так ведь ранение. Зажило только к зиме. Сразу уехал на Дон, поднимать красных казаков биться за большевистскую Россию. Ты, что же это, голубушка, не знаешь, где и когда Буденный воевал? А еще комсомолка, — укорил он.

Женщина, устыдившись, прильнула к просторной груди командарма.

— Ладно... Что с тебя, дуры, взять... А и есть что! — озорно воскликнул красный конник и пошел в очередную атаку.

Следующим обмишулился новый Каганович-2, заведенный после того, как двойника-молдаванина отправили на зону в Воркуту. Новый опять-таки не был евреем, о чем снова категорически потребовал Лазарь Моисеевич.

— Мне, убежденному интернационалисту, — заявил он энкавэдэшникам, — глубоко безразлична национальность этого... которого вы мне подберете. Мы формируем новую общность — трудовой советский народ. И главное для меня — социальное происхождение, никаких чтобы отпрысков из класса эксплуататоров. А так — кто угодно: русский, татарин, армянин. Но только не еврей. Еврей рано или поздно начнет что-нибудь просить для родственников. У них... то есть, у нас... всегда уйма местечковой родни. И очень сильные родственные чувства. Я сам был евреем. Уверяю вас, ничего хорошего...

Нового Кагановича-2 нашли на Украине, в селе под Киевом, где он работал бухгалтером в колхозе «Свитанок». Что Григорий Доценко разительно похож на первого секретаря ЦК Украинской компартии товарища Кагановича, в селе знали все и втихомолку посмеивались. А в своем кругу, выпив бурякового первача — и не втихомолку,

ласково именуя собутыльника жидовской мордой. Нрава Доценко был миролюбивого, к шуткам привык. Ни пользы, ни вреда ему от этой похожести не перепадало, соответственно и не вызывала она в нем ни радости, ни беспокойства. И потому, когда его вызвали срочно в район, а оттуда, ничего не объяснив, отвезли в Киев, а из Киева с нарочным из НКВД отправили в Москву — ехал Григорий, ни сном ни духом не предполагая неожиданный поворот в судьбе, а только удивляясь, что он взят, но не арестован, и везут его на мягком диване в отдельном купе. Хорошего все равно ничего не ждал, от НКВД добра не бывает. Вспоминал всякие свои жульнические подчистки в бухгалтерии, делаемые не себе в корысть, а колхозу для терпимой жизни. Но за это дальше киевского НКВД не попал бы — не велика птица. Что ж он совершил такого, что везут в Москву? Смутны и тревожны были мысли сельского бухгалтера под стук колес, везущих его во всесоюзную столицу. И ни в одно мгновение не всплывал перед ним образ Лазаря Моисеевича. И то сказать, вожак коммунистов Украины к этому времени уже был переведен в Москву, стал одним из секретарей ЦК всей славной партии большевиков и наркомом путей сообщения. В «Свитанке» о похожести Григория вспоминали значительно реже.

И когда, доставленный в один из кабинетов на Лубянке, Григорий с бьющимся сердцем предстал перед ответственным сотрудником органов и услышал, наконец, что ему предстоит — ошеломление его было столь велико, что он невольно воскликнул:

— Так як же, товаришу начальник?! Так я ж не жид!..

— Чтоб я этого словечка больше не слышал! — рявкнул майор НКВД, член партии с 1921 года Матвей Яковлев, до 1921 года бывший сапожником Мойше Болеславским, сыном сапожника же Яшеле Болеславского из белорусского местечка. — При советской власти никаких «жидов» нет, а есть трудящиеся советские люди еврейской национальности. Заруби это себе на носу, хохол чертов! И отвыкай от хохляцкой своей мовы, — добавил он уже спокойнее. — Ну, да с тобой позанимаются.

Как же обмишулился этот Каганович-2? Надо сказать: будучи примерным мужем своей ясноглазой Оксаны и любящим отцом своих детей, он долго сопротивлялся естественной и все возраставшей мужской потребности. Он оказался столь наивен, что, когда остальным дублерам стали привозить бойких бедовых комсомолок, спросил, нельзя ли привезти ему на побывку любимую супругу? Отказано было в столь грубых и насмешливых выражениях, что Каганович-2 надолго затих. В один прекрасный день он отозвал в сторону приставленного к дублерам режимного человека и, потупясь, при-

знался, «шо дюже тяжко стало», и он согласен уж на «якось москальску дивчину». «Тико шоб не махонькая была». И хорошо бы — повзрослее.

Выбор у энкавэдэшников был не столь велик, чтобы ублажать подобные капризы. Ему привезли как раз худенькую, шуструю и не по годам наглую.

Чтоб не так стыдно было от мыслей о далекой и любимой жене, он хватанул полный стакан водки. Все же стыд не совсем оставил его и раздеваться он отправился в угол комнаты, отгородившись спинкой стула. Меж тем шустрая, ничуть не смущенная персоной наркома и цековского секретаря, уже развалилась на кровати и подавала медовый, со смесью почтительности и наглости, голосок: «Я уже готовенькая, Лазарь Моисеевич! Уж соком вся исхожу!». Каганович-2 приблизился и тормознул перед кроватью, как перед нырянием в ледяную воду.

— Ой! — пискнула шустрая, с любопытством обозрев обнаженную натуру наркома и остановив взгляд на самом интересном месте. — Извините, Лазарь Моисеевич, а вы... необрезанный?

У опытной не по возрасту дамы среди многочисленных ее партнеров были уже несколько евреев. Был известный поэт, пучеглазый, лысеющий, лет сорока, но носивший официальное наименование «комсомольского поэта» — за горячие поэмы о разгроме Колчака, об освобождении Крыма, о строителях ДнепроГЭСа и Магнитки. Был ответственный сотрудник наркомфина, молчаливый, вежливый, и тем более замечательно зверевший в постели. Был, наконец, с проверкой ее идейных, а заодно и телесных качеств, майор НКВД Матвей Яковлев. Поэтому она хорошо знала, что такое обрезание и чем отличается обрезанный мужчина.

Склонив голову, Каганович-2 тоже обозрел обозреваемое ею и недоуменно спросил:

— А с чего мне быть обрезанным? Я, что ли... — И прикусил язык. — Я, что ли, верующий? — нашелся он.

— Извините, я думала, это у вас у всех, — пролепетала шустрая.

— Бачишь ведь — не у всех, — хмуро произнес Каганович-2, забыв наставления педагога по речи насчет употребления родимой мовы. — Я еще малым был, батьке казав: не смей меня обрезать, не признаю вашей веры. Моя вера — коммунизм.

— Моя тоже, Лазарь Моисеевич! — незамедлительно подхватила шустрая. — Идите же, идите же ко мне!

— Ну, иду, иду. — И, вспомнив интонации майора Яковлева, прикрикнул. — И шоб это «обрезание»... Шоб этих словечек я бильше не слыхав!

Промашки Буденного-2 и Кагановича-2 стали, разумеется, известны майору Яковлеву, получавшему записи допросов женщин, а иногда допрашивавшему их лично. Допрос же дамы, привозимой к Сталину-2, он непременно производил сам.

Как раз Сталин-2 и допустил самый ужасный просчет.

По понятной привычке он обставлял встречи с женщиной с кавказской широтой и шиком. Он принимал свою даму за обильным столом, с шампанским, коньяками, икрой. Самолично жарил мясо, сдабривая его грузинскими винами. Требовал, чтобы ему привозили свежую зелень с московских рынков. Ему единственному, также по его настоятельному требованию, дали дорогую посуду кузнецкого фарфора и великолепные вилки, ножи и ложки старого серебра. Куда было деваться энкавэдэшникам? Стоило упрекнуть Сталина-2 в чрезмерных притязаниях на роскошь, как он спокойно, раздумчиво, с большим искусством копируя оригинал, произносил:

— Если дама окажется за слишком бедным столом — поверит ли она, что симпатии к ней проявил настоящий товарищ Сталин? Не дай бог, ее посетят смутные подозрения. Мне бы этого не хотелось. Полагаю, что этого не хочется и вам, уважаемые сотрудники наркомата внутренних дел...

Уважаемые сотрудники тихо ненавидели наглого дублера, но выполняли его пожелания. Его логика была неотразима.

Однажды дама, уже привыкшая к радушию великого вождя, была все же удивлена размахом предстоящего пиршества. На серебряных блюдах красовались целиком зажаренные индейка и поросенок, в центре стола с трехэтажной хрустальной вазы свешивались гроздья винограда, а венчал вазу никогда доселе не виданный дамой заморский фрукт — ананас.

— День рождения у меня сегодня! — объявил ей Сталин-2, откупоривая шампанское и лихо посылая пенную струю в бокалы. — Решил, понимаешь, встретиться с тобой. Без Политбюро. Надоели, откровенно говоря.

Дама озадаченно свела бровки на переносице, но сочла за благо ничем не выдать своего полного недоумения. Она просияла и сердечно поздравила вождя советских народов с его личным праздником. Весь вечер, тем не менее, ее не покидала недоуменная мысль: на дворе был месяц май. Но кто же к этим годам не знал, что счастливая мать подарила человечеству гениального вождя вовсе не весной, а в декабре!

Утром, на приеме у Яковлева, она посчитала нужным сразу сообщить об этой несообразности.

Выслушав ее, Яковлев почувствовал, как с плеч его срывают погоны, выдирают с мясом пуговицы из фирменного кителя, толкают при-

кладом в спину, а далее воображение повело его по нижнему коридору Лубянки, ведущему в расстрельный подвал. Но лицо закаленного чекиста, остающегося живым уже при третьем наркоте, ничем не выдало его смятения.

— Товарищ Сталин пошутил, — мягко сказал он. — У него великодушное чувство юмора. Товарищ Сталин работает больше всех нас, круглые сутки. И даже такому сверхвыносливому труженику как товарищ Сталин, бывает нужна разрядка в виде шутки. — Дама понимающе закивала. — Но об этой его шутке, как и обо всем остальном, ты сама понимаешь... Никому. Никогда. Ни слова, ни полслова!

За этот вопиющий ляпсус Сталина-2 оштрафовали самым жестоким образом: он был лишен своей женщины на целый месяц. Правда, исправил свой жуткий промах он весьма искусно. Когда через месяц ему снова привезли даму, перед ней опять предстал богатый пиршественный стол. Вновь шампанское сверкающей струей упало в бокалы.

— День рождения у меня сегодня, — сказал он, повторяя слова месячной давности. — Решил отметить только с тобой. Без товарищей из Политбюро. Надоели, откровенно говоря. За столом все о делах и о делах. А дела идут отлично. Очень неплохо идут дела в советской стране. Зачем лишний раз обсуждать, скажи, дорогая?

— Я понимаю ваши шутки, товарищ Сталин! — сказала дама. — Вы работаете больше всех нас, вам нужна разрядка. Мне очень понравилась ваша прошлая шутка. И сегодня она мне тоже очень нравится. Давайте, каждый раз у вас будет день рождения!

— Молодец, — похвалил Сталин-2. — Люблю людей с чувством юмора. Мое твердое убеждение: кто не понимает шуток — неполноценный человек. Скажу тебе по секрету: Каменев, Зиновьев — жалкие люди были. Шуток — не понимали!

* * *

Месяца через три после исчезновения мужа, бухгалтера колхоза «Свитанок» Григория Доценко, жена его Оксана передоверила детей соседскому пригляду и отправилась в Москву.

Как мы помним, актерам «Театра кукол товарища Сталина» разрешили изредка писать письма родне. Получила весточку от супруга и Оксана. Гриша писал, что находится в длительной командировке по заданию партии: сколько продлится командировка — неизвестно, и чтобы жинка запаслась терпением, возможно, на несколько лет. К сожалению, получать ответы он не имеет возможности, но беспокоиться не надо. О том, как живет его семья, ему будут сообщать. Особенно, если, не дай бог, что случится. Платят ему в командировке хорошо, и он будет пересылать деньги каждый месяц...

Деньги действительно стали приходить. Однако, и у Оксаны, и у многочисленных родственников и односельчан Григория только прибавилось недоуменных вопросов. Первое время после исчезновения Григория всем, в том числе и Оксане, было ясно: вызвали человека в НКВД и он не вернулся — значит, сидит под следствием, а может, уже получил приговор, и везут его, бедолагу, на сибирские рудники или на лесоповал в республику Коми. За что взяли — тоже особенно не обсуждалось: взять могли хоть за что. Вот в девятнадцатом году гришин племянник Олекса ушел в петлюровцы — может, за это. А в двадцатом в селе стоял махновский отряд — может, за это. А в тридцать втором у Григория в хате целую неделю прожил проверяющий из Киева, а потом этот проверяющий оказался польским шпионом. Хватило б у НКВД людей, могли б взять все село и подчистую всю Украину.

Отстояв очередь к справочному окошку в Киевском следственном изоляторе НКВД, Оксана услышала, что Григория Доценко у них не было. И это не слишком удивило односельчан: мало ли как им хочется отвечать? Могут сказать правду, а могут и отбрехаться, чтобы не бегали к ним родственники, не мельтешили перед глазами, не мешали работать. Живи теперь, Оксана, дальше, думай о детях. А о Григории что думать? Либо жив, либо нет, либо объявится сам, либо даст весточку. Либо пропал навеки.

Теперь же, когда весточка пришла и представила судьбу Григория в загадочном свете, живейшие обсуждения происшедшего возобновились. Родственники и соседи, собираясь по вечерам в хате у Оксаны, устраивали то, что в ученом мире называется «мозговой атакой». Для какой такой таинственной командировки мог понадобиться скромный колхозный бухгалтер? Почему не сообщает, где находится? Почему не может получать письма? И как понимать — несколько лет?

Чаще других высказывались два предположения:

1. Григорий направлен в Испанию, где генерал Франко учинил мятеж против социалистической республики. Помогать в открытую республиканцам нельзя, но кто сомневается, что Советский Союз не встал на сторону республиканских отрядов? Не зря же ходят слухи, что там героически воюют наши летчики. Бухгалтер тоже нужен войне: на ней непрерывно надо считать расходы — снаряды и пули, пайки, обмундирование, да и потери. Воровство же на войне бывает беспримерное! Вот и понадобился честный бухгалтер, вроде нашего Гриши. Да кроме того, он чернявый. Если возьмут в плен, сойдет за испанца. Если, конечно, успел выучить язык. Если Григорий в Испании, понятно, почему ему туда нельзя слать письма. Перехватит враг

— и нате: письмо из СССР! Значит, за республиканцев воюет советский бухгалтер. Вмешательство во внутренние дела, нарушение договора. Зачем Советскому Союзу международный скандал? Ну, а что война может продлиться несколько лет — так первая мировая пять лет шла, да плюс три года гражданской. Все сходится!

2. Отправлен не в Испанию, но тоже в капиталистическую страну на укрепление финансовых дел тамошней подпольной коммунистической партии, состоящей сплошь из неграмотных рабов капитала. Эти отважные пролетарии умеют бастовать, ходить с красными флагами, строить баррикады, но сводить баланс «сальдо-бульдо» у них некому. Писать туда Грише опять-таки нельзя, потому как заброшен тайно и находится на нелегальном положении. А сколько лет — чего удивляться. Который год обещают мировую революцию, да что-то все нет ее и нет.

3. В справочном Оксане наврали: там он, Григорий, сидит, в Киевском НКВД. По пьянке разболтал кому из посторонних прошлогодний баланс родного колхоза, а в том балансе много чего приписано. Партия в лице райкома требует из года в год повышать все показатели. И урожайность, и надои, и яйценоскость, и снегозадержание и вывоз навоза на поля. И все колхозы повышают свои показатели на бумаге, о чем известно последнему хлопчику в любом селе и первому секретарю в любом райкоме, но посторонним людям о том знать нельзя.

Но эти и подобные им измышления враз отошли в сторону после того, как в одно из воскресений из Киева вернулась Ганночка, хорошенькая молодуха, соседка Оксаны. Ганночка возила на Бессарабку, центральный колхозный рынок, свои яблоки, а в торговом ряду возле нее занял место симпатичный южный человек, привезший мандарины из Абхазии. Оценив плавные приятности Ганночкиной фигуры, он начал стремительное сближение с аппетитной хохлушкой и первым делом заявил, что Ганночка красотой и статью напоминает знаменитую артистку кино Любовь Орлову. Ганночка ответила любезностью на любезность, сказав стройному горбоносому кавказцу, что он тоже похож — и даже очень — на знаменитого артиста, фамилию забыла, который вместе с Игорем Ильинским играл в картине «Праздник святого Йоргена». На что кавказец ответил, что да, он очень похож на артиста Кторову, ему это не раз говорили, но лучше бы не был похож. Потому что быть похожим на известных людей стало опасно.

— Опасно? А шо?

— Еще слава богу, что в моем случае артист, а не руководитель, — загадочно произнес кавказец, сверкая угольными зрачками.

— А шо, если был голова?

— Голова?

— Ну, то по-нашему и есть руководитель: голова колхозу, голова рады. — Председатель совета, по-русски.

— А! А то, что в Сочи был случай... — Кавказец понизил голос.

— Понимаешь, один мужчина — жулик, но мало, что жулик, так еще был очень похож на... — Тут рассказчик перешел на шепот. — ... На товарища Сталина. Ганночка радостно охнула и вся превратилась в пугливое внимание.

— Ну, просто копия. Кто видел, говорят — как две капли воды. И можешь представить, в таком виде шатался по всему Кавказу. А товарищ Сталин любит отдыхать в родных краях. Согласись, имеет полное право. Ну, тебе понравится: ты приехала отдыхать. Зашла в духан — там сидит твоя копия, пьет вино. Ты пошла просто погулять, по набережной — там твоя копия гуляет. Ты купаешься в море — навстречу копия плывет. Сам себе навстречу плывешь — с ума сойти можно! Товарищ Сталин, как великий вождь, конечно, выше такой ерунды. Но помощникам, охранникам — им неприятно. Можно перепутать! И вот этому жулику раз говорят: «Имейте совесть, гражданин. Измените внешность». «Н-нэт!» Ему два говорят... вежливо, заметь: «Измените, гражданин. Насколько возможно. Ну, срежьте усы. Побрейте голову». «Н-нэт! Мне так нравится. А если ЕМУ не нравится, что мы похожи, пускай он усы сбреет».

— Так и сказал? — ахнула Ганночка.

— Так и сказал. Совсем с ума сошел человек. Ну? Надоело им уговаривать. Кому бы не надоело?

— И шо же... Вбили його?

— Взяли. Что дальше — кто знает. Но факт, что исчез.

— Ой! Ой! — Ганночку посетило внезапное прозрение. — Так вот оно шо с Григорьем... Вот оно шо!

Вернувшись с базара, Ганночка тут же побежала к Оксане, велела выгнать ребятишек во двор и изложила рассказанную кавказцем историю. По всему выходило, что взяли Григория и не бухгалтером на испанскую войну, и не на подмогу далеким зарубежным коммунистам, и не за болтовню. А как сильно-сильно похожего на товарища Лазаря Моисеевича Кагановича.

— И шо же теперь робить? — спросила Ганночка.

— А шо робить? Ехать надо, — решила Оксана. — К самому и поеду. Как к депутату. Самого и запрошую, где мой Гриша, на этом еще свете или уже на том...

Переведенный на работу в Москву, Каганович еще оставался депутатом Верховного Совета СССР от одного из округов Киевской области. В этот округ входил и колхоз «Свитанок». В Киеве прием от имени депутата вел его уполномоченный. Но если избирателю было желательно побеседовать непосредственно с депутатом, следовало ехать в Москву. Это были самые первые годы существования Верховного Совета, и партийным руководителям высокого ранга казалось еще неловким не встречаться с теми, кто назначил их «слугами народа». Впоследствии возможность личной встречи со своим родным депутатом, если тот был секретарем ЦК или, тем более, членом Политбюро, для рядового человека была полностью исключена.

Дни приема всякий раз сильно расстраивали Лазаря Моисеевича. На фоне ударных темпов его любимого детища — Метростроя, вразрез с радостной атмосферой созидания, стахановских рекордов, подвигов наших летчиков и полярников, чрезвычайно тягостны были просьбы и жалобы приходящих на прием людей.

Спускаясь в шахты и забои к метростроевцам, он, спрашивая, как дела и как живется, слышал в ответ: «Отлично, Лазарь Моисеевич! Вот только тубингов не хватает. Не успевают за нами. Вы уж на них поднажмите!» Радостно было слышать бодрые отчеты молодых партийных секретарей метростроевских отрядов, видеть чумазые лица комсомольцев, патриотов новой советской Отчизны.

А на прием приезжали унылые личности, все больше в возрасте, одетые чисто, но до того уж бедно, что Лазарь Моисеевич подозревал, что они нарочно надевают самое заношенное, чтобы разжалобить его. Изредка возникали руководящие работники среднего звена, какой-нибудь «голова колхозу» из села под Киевом, дядька в добром костюме, в ярком, неумело завязанном галстуке. Но и этот начинал жаловаться на непомерные налоги, на лютующий райком, и нельзя ли хоть малое послабление? У простых же визитеров просьбы были и вовсе нищенские, а жалобы просто идиотские...

Входила уборщица, присаживалась на краешек стула, начинала плакать: уволена в Киеве из советского учреждения. Вытряхнула в мусорный бак содержимое урны, каковое полагалось сжечь в печи, поскольку в этой урне скапливали бракованные, с опечатками экземпляры секретных распоряжений, а несекретных в советских учреждениях, как известно, не бывает. Ну как втемашить в темную башку этой тетки, что бдительность — не пустой звук, кругом полно врагов и шпионов? Приходил ветхий старик, от которого за версту несло дореволюционным духом, жаловался: не дают полной пенсии, не желают засчитывать в трудовой стаж работу до 1917 года. «А кем

вы работали?» «Швейцаром». «Где?» «В Киевском губернском полицейском управлении». Приходилось объяснять старику очевидную гуманность советских законов. Любая трудовая деятельность во властных учреждениях царского времени объективно являлась глубоко враждебной интересам революции. Победивший рабочий класс имеет полное право сурово наказывать всех вольных или невольных пособников антинародного режима. Но гуманный советский закон позволяет ему, старику, жить на свободе, лишь немного ограничивает в правах. В частности, никак не может уравнивать его в размере пенсии с ветеранами пролетарского труда.

Чуть ли не половина приходящих просила помочь с жильем. Приходилось объяснять очевидное: основные средства страны брошены на индустриализацию и вооружение Красной Армии, тем не менее, жилищное строительство идет и растет, но жилье — не подачка, а награда за ударный труд. Нигде в мире не дают его бесплатно, как в Советском Союзе, но его тем более надо заслужить самоотверженной работой.

Крайне неприятными были визиты лиц, напоминавших о давнишнем знакомстве с ним, товарищем Кагановичем. Этим он с нарочитой холодностью, не дослушав и перебив, всегда отвечал примерно так: «Если вы рассчитывали на особое отношение только потому, что когда-то числились в одной парторганизации со мной — вы жестоко ошиблись. Коммунисты не имеют права делить людей на знакомых и незнакомых. Они делят их на людей, преданных делу партии, и на тех, кто думает только о себе».

Но самыми невыносимыми были жалобы на действия органов, на якобы несправедливые и необоснованные аресты, на невозможность узнать о судьбе осужденного.

«Органы не ошибаются, товарищ, — произносил Лазарь Моисеевич, имея мужество и наглость глядеть собеседнику прямо в глаза. — Они облечены доверием самого товарища Сталина. И вмешиваться в их деятельность нам, народным депутатам, было бы грубой политической ошибкой».

Тяжело, ох тяжело давались эти дни товарищу Кагановичу. Вскоре после получения двойника в нем шевельнулась некая мысль. Она окончательно дооформилась после одного безобразного случая. Чумная баба, у которой забрали мужа, разоблаченного за стояние на оппортунистической платформе в профсоюзной дискуссии начала двадцатых годов, вдруг набросилась на него с кулаками. Товарищ Каганович принял решение: он порекомендовал встречи с избирателями своему двойнику. Разумеется, при поддержке опытного помощника.

Что помощник необходим, стало ясно на первом же приеме. Добрый хлопец Григорий Доценко, искренне полагая, что подпись секретаря ЦК и наркома всесильна, принялся щедро писать на уголках заявлений: «Помочь с жильем. Каганович», «Восстановить на работе. Каганович», «Уточнить обоснованность высылки в Казахстан. Каганович»...

Интересно, что по прошествии многих лет столь же наивным показал себя и подлинный Каганович. В 1957 году в Политбюро произошла яростная схватка между разоблачившим культ личности Сталина Хрущевым и остальными сталинскими соратниками. Хрущев победил. Из Политбюро и Секретариата была изгнана так называемая «антипартийная группа в составе Булганина, Кагановича, Маленкова, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова».

Фразеологический оборот, прицепленный к последнему из заговорщиков, родил шутку о самой длинной в мире фамилии: «Ипримкнувшийкнимшепилов». Кагановича отправили на Урал руководить трестом по добыче асбеста в одноименном городе. И там он на первом директорском приеме по личным вопросам подписал труженикам предприятия с полсотни заявлений на квартиры, не подозревая, как в действительности обстоят дела в СССР на жилищном фронте. На следующий день ему, еще недавно могущественному кремлевскому небожителю, пришлось услышать неприятные нотации от секретаря трестовского парткома — да просто получить от него форменную выволочку.

Каганович-2 получил свой втык сразу.

Едва вышел третий или четвертый облагодетельствованный посетитель, как помощник вырвал ручку из пальцев «депутата».

— Перестаньте писать глупости, — раздраженно потребовал он. — Какое жилье? Что за «восстановить»? Зарубите на носу: по жилью — пусть идут в исполкомы, там очередь, по социальному происхождению и по участию в труде. Жалобы на увольнение — на то есть советский суд, пусть обращаются. И главное — насчет арестованных, осужденных, высланных и так далее. Ответ должен быть один: наши органы не ошибаются. Вы поняли? Только этот ответ.

— Понял, — покорно кивнул помрачневший Каганович-2. Помощник нажал кнопку звонка, что означало: в кабинет может войти очередной посетитель.

Вошла Оксана Доценко.

Григория ударило, как обухом по голове. Кровь зашумела в ушах. Он окаменел и с ужасом глядел на приближавшуюся жинку. Ему представилось, что сейчас она с криком: «Гриша!» бросится ему на шею. И еще возникло такое чувство, как если бы у него прилюдно,

где-нибудь на общем колхозном собрании, внезапно испарилась одежда, и он стоял голый, прикрывая стыдное место дрожащей рукой.

— Доброго здоровьичка, Лазарь Моисеевич! — пропела Оксана, радушно улыбаясь. — Дозвольте с просьбою. Вот.

На стол легла бумага, а Оксана по знаку помощника присела возле.

— Здравствуйте, — выдавил Григорий и опустил глаза на бумагу. Стало чуть легче. Перед его взором поехали строчки. Потом остановились. Крупный детский почерк — писала дочка.

«Депутату Верховного Совета СССР товарищу... от... ПРОЗЬБА. Уважаемый Лазарь Моисеевич! Три месяца назад моего мужа, бухгалтер колхоза «Свитанок» Доценко Григорья, вызвали в район, а оттуда в Киев, с тех пор ни слуху ни духу. Очень прошу вас как нашего народного депутата, голосовали мы единогласно, разъяснить его настоящее местонахождение. Или он осужден. Или выслан, тогда прошу разрешить выехать на свидание, передать теплые вещи...»

— Что тут у гражданки, Лазарь Моисеевич? — вежливо поинтересовался помощник, недоуменно наблюдая странную заторможенность Кагановича-2.

Но Григорий утерял дар речи. Тоска разлилась в его душе, как черная вода, подступившая по весне к огородам.

— Позвольте, я взгляну, — помощник осторожно потянул к себе «Прозьбу». Григорий мертво прижал к себе бумагу ладонью и поднял глаза. Их взгляды с Оксаной встретились и вспыхнули перекрестным огнем. У нее расширились зрачки, и она, беззвучно охнув, прикрыла рот ладошкой. Помощник с нарастающим непониманием наблюдал за происходящим.

Первой ожила Оксана.

— Лазарь Моисеевич... Я тут в заявлении не все написала. Не очень грамотная, не сумела написать. Мне бы вам еще пару слов сказать, но только вам лично... Можно попросить, пусть товарищ выйдет? Вы только извините меня, шановний товарищ, — пропела она помощнику. — На одну хвилинку...

Григорий похолодел.

— Это мой помощник, и я ему всецело доверяю.

Он тщательно проследил, чтобы из него не вылетело ни слова родной мовы.

— Ну, я вас очень, очень прошу... Дитями закликаю — одна хвилиночка, мабуть товарищ помощник позволит?

Черная вода тоски подступила, казалось, к самому горлу.

— Выйдите, товарищ Переверзин.

На этот раз пришла очередь окаменеть помощнику.

— Товарищ Переверзин. Выйдите на одну минутку.

Метнув на него гневный взгляд, помощник подчинился «Лазарю Моисеевичу» и вышел.

В наступившей тишине стало слышно тиканье настенных часов. Под Оксаною скрипнул стул.

— Гришенька... Откройся... Ведь это ты...

— Что такое, гражданка? — просипел Григорий. — Как прикажете вас понимать? Вы собирались сделать дополнительное заявление... Слушаю вас.

— Не можешь... Ну, я поняла. Не имеешь права, я поняла. Ну, ты живой, это главное. Детки здоровы. В колхозе более-менее. Трохи голодновато. Но не беспокойся, проживем. Картоха е, кукуруза. Молочко... На твоё место нашли бабу, с Броваров привезли. Как справится, не знаем... Ты не беспокойся, сполняй, что поручено... Дети только скучают. Где батя, спрашивают. Ну, я придумаю что... Нехай и сокру... А сама... тоже... уж как-нибудь... — Губы у Оксаны повело. — Постель-то холодная. Ты не думай, никого нет и не будет. Гриша-а... — тихо завывала она.

Спасло их, что кабинеты, в которых депутаты принимали посетителей, не были оборудованы подслушками. Зачем тратиться на лишнюю технику, когда на приеме постоянно присутствуют помощники депутатов, все как один сотрудники органов?

— Я вас понял, гражданка, — произнес Григорий, угрюмо глядя в стену поверх Оксаны. — Идите...

Она закивала, поднялась. Потянулась было приобнять, но сама же первая и испугалась своего движения. У выхода она обернулась и шепотом спросила:

— А он-то... умер? Или... — Она торчком выставила палец, изображая расстрел.

Гриша осторожно мотнул головой из стороны в сторону: живой.

Жинка издали перекрестила его троекратно и вышла.

Ворвался разъяренный помощник:

— Кто такая была? Что сказала? Извольте сообщить. Иначе все равно от нее услышим.

Григорий медленно багровел, наливаясь, как хорошая свекла. Интонации, с какими его распекал настоящий Каганович, он запомнил очень хорошо.

— Если ты, сволочь, пальцем ее тронешь... В пыль сотру! — проорал он и поднес к носу помощника кулак. — Об этой посетительнице забудь! Если жить хочешь.

Кто знает, в какой он силе, подумал ошарашенный помощник. В каких отношениях с наркомом. Скажет, что не вызываю доверия — и выпрут из Москвы охранником в лагерь...

— Слово коммуниста, Лазарь Моисеевич, — поклялся помощник.
— Забыл. Не было. Разрешите продолжить прием?

* * *

Жили в Москве две подружки, Глаша и Дуся. Глаша приехала из Тулы с горячим желанием работать на Метрострое. А Дусю черт принес с Урала — из любопытства: какая она, столичная жизнь? Дуся, наголодавшаяся в уральском городишке, где, кроме как на вонючий медеплавильный завод, некуда было идти, обследовала московскую промышленность и сразу сделала верный выбор: устроилась на фабрику имени Бабаева, укладчицей конфет. А Глаша размечталась: явится в Метрострой, вручат ей отбойный молоток и отправят в забой, где она побьет рекорды, станет знаменитой стахановкой, и ей за это дадут комнату в Москве, и никогда она не вернется в Тулу, в рабочий барак родителей, пропахший вонью примусов, помоями, брагой. Но в забой ее не пустили: мужская работа. Поставили ламповщицей, выдавать снаряжение. И начал к ней приставать ее маленький начальник, очень противный старик лет почти сорока, но приставучей энергии необычайной. Хватал за разные места прямо на рабочем месте. Оно, конечно, и сладко чувствовать на себе сильные мужские руки. Но уж больно стар, лицо в морщинах, на висках залысины. И никакой перспективы — женат. После очередного его нападения не выдержала Глаша и ушла с Метростроя. И, побродив по Москве, тоже устроилась на фабрику Бабаева, где и подружилась с Дусей. Вместе укладывали конфеты в коробки, вместе жили в одной общежитской комнате. Обе были очень хороши. Глаша — известной русской красой: румяными щеками, полной грудью, русой косой. А уральская Дуся — неизвестных кровей красота: рыжая в старую бронзу, синеглазая, смуглая, длинноногая — не было мужика, чтобы не обернулся и не поглядел вслед, возжелав.

По субботам ходили они на танцы в фабричный клуб, и парни вокруг них вились, как если б девчонки не укладывали конфеты, а сами были сладчайшими медовыми помадками. Дуся кавалеров меняла, как на конвейере: от субботы до субботы. Глаша чуток поразборчивей была, но и в ней приставучий метростроевский маньяк огонь возжег — с одним погуляла, с другим... Славные попадались парни, да вот беда — тоже сплошь общежитские, приезжие, ни кола ни двора. А девушки решили в Москве устраиваться прочно, с самой затаенной мечтой того времени — с квартирой или хотя бы комнатой. Потому замуж не торопились.

На одном из танцевальных вечеров Глашу пригласил осанистый молодой человек в добротном шевиотовом костюме стального оттен-

ка. Танцевали вошедшую в моду латиноамериканскую румбу. Молодой человек партнершу водил уверенно, держал крепко, но без наглости, а прижимал едва ли не застенчиво, деликатно. От всей его стати приятно веяло силой, волей, уверенностью. У Глаши росло чувство: вот — нашелся...

Молодой человек проводил Глашу до общежития. Под руку взял не спросясь, держал опять-таки крепко, но прилично. На плечо руку не клал, за талию не прихватывал. Как подал руку кренделем, так и повел. В пути говорил немного, о себе — просто ничего, кроме того, что работа у него ответственная и ему нравится. А Глашу порасспрашивал: откуда она, кто родители, комсомолка ли, с кем дружит на фабрике, с кем в общежитии.

«Женихаться собирается, — соображала Глаша. — Иначе родителями интересоваться к чему?»

У общежитских ворот ухажер развернул девушку лицом к себе. Глаша полуприкрыла глаза, и губы сами выпятились для поцелуя. Но его не последовало. Молодой человек достал и сунул в карман ее пальтеца бумажку:

— Вот, Глаша, адрес. Приди завтра после работы. Разговор будет важный, непростой. О вызове этом — никому. Никаким подружкам.

Приобнял за плечи и был таков. В полном недоумении вошла Глаша в родную общагу: что же это за парень был? И что ему или «им» от нее надо? Вертела бумажку с адресом: улица Сретенка, дом, комната... Что за учреждение? А вдруг он так к себе заманивает? Может, не идти?

Утром, на фабрике, укладывая «Красный мак», она едва не отправила дальше от себя коробку с неуложенным рядом. «Дура!» — обругала себя Глаша. — Выгонят тебя, разяву, с хорошего места!» Она сосредоточилась на своей простой, но требующей внимания работе и решила: гадать бессмысленно. Что ждет, то и ждет.

В неприметном особнячке на Сретенке, без какой-либо вывески у парадного крыльца, в указанной комнате ее встретил щуплый чернявенький чекист среднего возраста.

— Майор НКВД Яковлев, — назвался он. — Садитесь, Глаша. И начнем. Разговор будет, — тут он повторил фразу вчерашнего провожатого, — важный для вас и непростой.

И вот что сначала услышала Глаша. Услышала она, во-первых, что о ее желании закрепиться на проживание в Москве здесь известно. Услышала она далее, что партия и лично товарищ Сталин приняли решение превратить столицу великого Советского Союза в образцовый социалистический город, лучший город мира. Далее было ей сообщено, что в образцовом городе должны жить, естественно, образцо-

вые люди. Она же, Глаша, в этом отношении очень и очень уязвима. Работая на Метрострое, пыталась соблазнить всеми уважаемого работника, хорошего семьянина, который по возрасту годится ей, между прочим, в отцы. Перейдя на Бабаевскую фабрику, вступала и продолжает вступать в близкие отношения с малознакомыми ей молодыми людьми, не интересуясь их социальным происхождением. А один из них, как недавно выяснилось, оказался сыном кулака, сбежавшим из мест ссылки. Все это вместе взятое дает партии и ее верному оружию в наведении социалистической законности — отряду чекистов — полное право лишить ее, Глашу, возможности жить в образцовом городе и отправить обратно в Тулу, к родителям. А может быть, и не в Тулу, потому как Глашин отец, как тоже недавно выяснилось, в двадцатые годы состоял в профсоюзе, находившемся под сильным влиянием троцкистов, злейших врагов народа. И сейчас тульские чекисты решают вопрос: имеет ли право бывший троцкист проживать в славном пролетарском городе Туле, где куется оружие для грядущих, но уже близких битв Красной Армии с оплотами мирового капитала? Не правильнее ли будет выслать его на перевоспитание в отдаленные районы Севера, куда и последует за ним его, позорящая Москву, легкомысленная дочь?

Глаша заплакала. Майор Яковлев налил ей воды из графина. Глаша пила воду, терла платочком глаза. Майор ждал. Когда вода была выпита, он завел новую речь. И вот что услышала Глаша: что в наркомвнуделе работают не злодеи и не выжившие из ума старцы, забывшие, что такое молодость и сопутствующие ей потребности и желанья. А работают здесь мужчины в расцвете зрелых сил, и ничто земное им не чуждо. Услышала она также, что девушка она еще не совсем пропащая. Комсомольский комитет фабрики характеризует ее положительно: собраний не пропускает, от субботников не увиливает, добровольные взносы на Осовиахим и в пользу МОПРа сдает без лишних напоминаний. И что из всего этого следует: есть основания дать Глаше возможность исправиться и помочь закрепиться в образцовом социалистическом городе Москве.

Слезы у Глаши окончательно просохли, и на устах заблуждала улыбка, покорявшая мужчин странной смесью девичьей наивности и слегка похотливого призыва.

И вот что она услышала дальше. Что по редчайшей счастливой случайности есть такое поручение, хорошо выполнив которое, Глаша не только докажет, что беспредельно предана делу партии, но и впоследствии, возможно, получит комнату в Москве, — чего, как ей отлично известно, с незамужними девушками восемнадцати лет никогда не бывает. И комната эта будет не в бараке, не в развалюхе, а в новом

доме с центральным отоплением, горячей водой и даже, чем черт не шутит, с телефоном.

У Глаши пересохло во рту. Она облизала губы и сказала:

— Я готова! Поручайте хоть что. А что надо?

И вот что она услышала дальше. Что есть такой, известный всей стране человек — верный соратник товарища Сталина, народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Он буквально горит на работе. Беспредельны его нагрузки, потому что еще много неразоблаченных врагов таится на советской земле. Понятно поэтому, как важно организовать товарищу Берии редкие минуты его отдыха. В эти короткие передышки между битвами с коварным врагом товарищи по партии и комиссариату стараются окружить его максимальным вниманием и заботой, уютом и теплом. Но все это невозможно без нежной и ласковой женской руки... У товарища Берии случилось несчастье. В тяжелую автомобильную аварию попала его любимая помощница. Он очень, очень привязан к ней и попросил товарищей подыскать ему новую помощницу с не переменным условием: чтобы она была похожа на ту, к которой он привык. Глаше несказанно повезло: она похожа.

Едва Глаша вышла, получив еще несколько конкретных сведений о своем будущем труде и предписание, куда и когда явиться, как в кабинет вошел ее вчерашний провожатый и бросил на Яковлева вопросительный взгляд.

— Молодец, — кивнул майор. — То, что надо. Теперь давай еще одну. Для этого... Для его дублера.

— А я уже присмотрел, товарищ майор. В том же клубе. Бедовая деваха, огонь. Долгой работы не потребует. Рыжая, правда.

— Дублеру и рыжая сойдет. Действуй.

В следующую субботу молодой человек снова пришел в фабричный клуб на танцы, на этот раз пригласил Дусю. Расставаясь с ней перед общежитием, так же вручил бумажку с адресом.

Глаши на танцах не было, это ей строго-настрого запретили. Дуся увидела перемену в подруге еще в тот вечер, когда Глаша вернулась от Яковлева. Но, как ни приставала, ничего не услышала.

— Влюбилась, Глашка? Вижу, по уши втюрилась. Все равно узнаю, в кого.

Когда же в субботу Глаша отказалась пойти на танцы, Дуся и это поняла по своему:

— Не с фабрики, значит, подцепила? Показала бы?

— Покажу, — пообещала Глаша, лишь бы прекратить разговор. — Я, Дуська, с фабрики ухожу.

— Он велел?

— Ага... Устраивает на хорошую работу. Так что и с общежития съезжаю. Но я буду заходить. Ты ж у меня единственная подружка на всю Москву... — Глаша вдруг всхлипнула.

— Ты че?

— «Че-че». Привыкла я. И к тебе, и к этой комнатке нашей. Ой, Дуська, боюсь я чего-то, а чего, и сама не знаю.

Лукавила Глаша: знала, чего боится, и знала хорошо.

... Дуся, не в пример Глаше, таиться от подруги не стала. Ворвалась в комнату и забазлала, демонстрируя уральский говор во всей красе:

— Глашка! Ко мне седни твой прошлый ухажер пристал! Ну, я ведь думала: он и есть твой женишок. А ты, значит, не на его клюнула? А мне понравился, извини. Баской парень. Ну и че, думаешь, учудил? Щас, у крыльца, я уж и губешки раззявила, прижался к нему. А он, гли-ка, бумажку сунул. Думала, аюшкой будет, а он из энкэвэдэ! Наверняка-а! Приходи, грит, на тайный разговор! Во те и аюшка!

— Что еще за аюшка?

— Это у нас так дружков зовут. Ну, скажи, права я: энкэвэдэ? Назавтра вызвал. Это за че же, как думаешь? Погоди... — Дуся увидела, как отхлынул румяней с Глашиных щек. — И тебя... тоже вызывал? Ну, че те там сказали?

— Секрет, — тихо выдавила Глаша.

— Ну, какой секрет, какой секрет? — затормошила Дуська подругу. — Завтра и я узнаю, хоть предупреди.

— У тебя, может, другое будет. Не велено мне болтать.

— Говори, Глашка! — Дуська грохнула об стол кулачком. — Совесть имей! А то я, можа, щас дуну на вокзал, поминай как звали!

— Нет, Дусенька, что ты! Выбрось из головы. Найдут, хуже будет. В общем... Не знаю, что тебе скажут... А меня переводят на секретную работу. И больше не пытай, ничего не выдам.

— Ух, ты! На секретну! Стало-ть, и меня? — Дуська гоголем prošлась по комнате, прищелкнула каблуками, отдала честь. — А че они в нас нашли? Для секретной работы? Девки молодые, необразованные. Красивые, разве че? Это ли? — Дуська рассмеялась, обняла Глашу. — Ну, если это — справимся!

Следующим вечером она прежним чертом ворвалась в комнату и с порога выпалила:

— Угадала!

— Тихо ты! — перепугалась Глаша, показав на стены.

— Секретну работу предложили, — перешла на шепот Дуська. — Важного человека обслужить. Оч-чень важного, прям страх. Тебе то же самое, да?

Глаша молча кивнула.

— А кого?.. Ладно, не называй. Скажи только: я его знаю?

— Его все знают... — почти беззвучно молвила Глаша.

— И моего все знают... — шепнула Дуся.

— Дусь, а с фабрики велели уйти?

— Не-а.

— А мне велели.

— Ух, ты...

— Что — ух, ты?

— А то, что мое обслуживание — временное, а твое — постоянное. Там, видно и жить будешь. Повезло тебе, Глашка!

— Ох, не знаю, кому повезло. Может, обеим не повезло...

Они вдруг дружно разревелись.

— Забудешь, небось, меня там, Дуську уральскую, — глотая слезы, упрекнула подруга Глашу. — Он, можа, еще женится на тебе. Стару жену бросит, на тебе женится. Это у них бывает. Будешь по Кремлю расхаживать расфуфырой в шелках!

— Что ты мелешь? По какому еще Кремлю? — возмутилась Глаша. — На что намекаешь? Я же вроде домработницы буду: прибраться, еду подать.

— Дура ты, Глашка, жизни не знаешь! Готовься к тому самому. И еду подашь, и вино подашь... И свое подашь...

Они обнялись и затихли. Две юных провинциальных красавицы сжались в комочек, укрылись платком, будто так можно было убежать от грозной силы, распорядившейся их жизнью во имя высших интересов государства, в каковые — высшие интересы — входил и приятно организованный досуг безмерно трудолюбивых руководителей огромной страны.

Раз в месяц Глаша приходила к Дусе. Приносила бутылку сладкого вина, фрукты. Дуся тоже не ударяла в грязь лицом, раскладывала на столе кое-какую вкуснятинку. Как-то выставила коробку самых дорогих конфет своей фабрики. Увидев фигурные шоколадины, таившие в себе коньячок или ром, Глаша ахнула:

— Дуська! Ты, что, с фабрики таскать стала?

— Надо мне, — небрежно отмахнулась Дуся. — Подарок евоный.

Пили вино, закусывали шоколадом, виноградом отборным, сладкою, сочною грушей «бере зимняя». Шептались. Страсть как хотелось подружкам выведать друг у друга, у каких важных лиц служат.

Разговор шел краями, намеками.

— Хоть скажи, где живешь-то? — спрашивала Дуся.

— Прямо адрес назвать? — насмешливо откликнулась Глаша. — Я ж подписку дала.

— А ты намекни хоть.

— Ну, намекаю: в Москве.

— Москва большая.

— Ну... На Садовом кольце. Все, больше не скажу.

— А меня за город возят. На дачу. И хотела бы выдать, куда — дак шиш поймешь. На окнах занавески, а как из Москвы выезжаем — и давай петлять. Час с лишним петляют. Да каждый раз по-разному. А потом дорога в лесу, поди знай, где тот лес. Можя, под самой Москвой, а можя, под твоею Тулой. Дом большой, а разглядеть еще и не вышло. Подвозят к самому крыльцу, и сразу в двери. Коридоры, коридоры... И к ему...

Еще через месяц — новая встреча, опять шепотки.

— А твой из себя какой?

— Так я тебе и сказала. Враз догадаешься. Скажи первая про своево.

— Ой нет. Страшно...

Отшумел Первомай. Пришла Глаша к подруге, поздравила с праздником борьбы трудящихся за свои права. По такому случаю выпили больше обычного. Дуся вдруг выставила бутылку водки.

— Обрыдло сладенькое, — говорит. — Солененького охота. У меня селедка есть. А ею только водочку закусывать.

Расстелила газету, разделала селедку. Выпили водки — захмелели. Попели песни комсомольские. Еще выпили. Поплясали вокруг стола. Дуська уральские частушки покрывала.

«Милай, че? Милай, че
Навалился на плечо?»

«А я, милая, ничо,
я влюбился горячо!»

«Моему-то прихехене
Все до фени до едрени.
Хороша судьба моя,
Ить едреня Феня — я!»

А там и покрепче пошли.

«За стеной долдонит мать:
по ночам мешаем спать.
А хорошая-то мать
Нам бы смазала кровать!»

«Положите девку в гроб,
не гуляла больше чтоб.
Вставят в руки мне свечу,
Закричу: «Хочу, хочу!»

— И-их! И-их! И-их! — подвизгивала Глаша. — Ох, мы, дуры бесстыжие!

Выпили еще. Совсем пьяные стали.

— Глашка, — говорит Дуся, — ну, невтерпеж мне знать, кого ты обслуживашь. Назови! А я свою назову. Ну, Глашка! Однова живем!

А Глаша пьянехонькая навалилась на стол подбородком. Прямо перед глазами — газета «Правда» в жирных пятнах от сельди. Послепраздничный выпуск. Поперек страницы — длинная фотография от края до края: вожди на трибуне Мавзолея. Махнула Глаша подруге расслабленно: наклонись, мол. И пальцем в одну из фигур на фотке уперлась.

Глаза у Дуси округлились от изумления. Ахнула, охнула:

— Врешь!!!

— Да почему вру?

— Да потому что...

Встретились глазами пьяные красавицы и все друг у дружки в глазах прочитали.

Дуся первой опомнилась. Тряхнула огненной гривой, заржала:

— Вот это да! Во ненасытный! А у него, можа, окромя нас, и еще есть. Наверняка. Мужик-то — зверь. Так ведь?

Глаша покраснела.

— А сказать те, Глашенька, как он меня в постельке называет? Ведьмой. А тебя?

— Никак...

— Ну, Глашка! Глашенция! Открылись же. В главном уж открылись. Чего тебе скрывать? Тем боле, ты ему больше нравишься. Всегда при ем. А меня два раза в месяц возят. Ну, откройся: как он тебя называет?

— Попка, — зарделась Глаша. — Попочка ты моя, говорит.

— Попка?! Че ли, попугай? С чего? — хохотнула Дуся.

— Попка на букву «ж», — пояснила Глаша.

— Ох, ты моя деликатненькая! Так и скажи: жопочкой называет. Ясно: нравится ему это твое место. Оно же у тебя... о-ох! Репка! — Дуська сочно шлепнула подругу пониже спины. — А че говорит, когда на простынку зовет?

— Да тоже... Шутит...

— Ага. И со мной шутит. «Щас, — говорит, — увидишь небо в алмазах».

— Это как понимать?

— Это из пьесы. Он в молодости в театрах играл. Он там эти слова говорил. Про светло будущее пьеса.

— Про коммунизм?

— Наверно. «Надо, — говорил, — ударно трудиться, тогда увидим все небо в алмазах!» Вот мы с тобой, Глашка, очень ударно трудимся, ага? И можно сказать, уже при коммунизме живем. И все небо у нас, блин, в сплошных алмазах! — Дуська смахнула пьяную слезу. Завела было снова частушку, да оборвала. — Слышь-ка, а хвалит он тебя после?

— Хвалит, — зарделась Глаша.

— Шибко?

— Ну...

— А чо говорит?

— Ну... Он же свою кавказскую кухню любит.

— Знаю.

— Вот... Говорит: «Кто сациви не ел — ничего не ел. Слаще сациви только шашлык из месячного барашка. А слаще шашлыка только ты».

— А мне, гад, никогда ничего такого... Ну, Глашка, быть тебе кремлевской женой!

— Что ты, что ты! — испугалась Глаша. — У него хорошая жена. Тихая, спокойная. Не дай бог обидеть.

— Успокойся. — Дуська обняла подругу, пощекотала ей за ушком и шепнула глубоко в розовый завиток. — А можа, на мне женится. Я ему пока не открываюсь. А скоро и откроюсь, чего терять.

— Ты это о чем, Дуся?

— О чем — о чем. О том. Че, не знаешь, с чего нашу сестру на солененькое тянет?

Пришла Глаша еще через месяц и охнула, увидев подругу. Глаза потемнели, щеки ввалились, волосы нечесаны.

— Хвораешь?

— Отхворала. Поправилась. Вычистили, — кратко ответствовала Дуся. Откупорила водку, плеснула в стакан, глотнула без закуски. Затянула дурным голосом. — «Бывали дни веселые, гулял я, молодец!»

С ужасом глядела Глаша на подругу.

— Зато свободная! — объявила Дуся с горьким ликованием. — Уволили! Ох, и загуляю! Теперь без опасности. Ничего такого боле со мной не приключится. Как сказала на прощанье медицина, беременность нам боле не угрожает. Ур-ра! Да здравствует наше родное...

Глаша захлопнула ей рот ладошкой, обняла:

— Молчи, молчи, родненькая... Молчи...

— Глашка! — Дуся рванула ее ладонь со рта. — Заклинаю! Залетишь, как я — беги в глухомань какую и рожай.

— Не убежишь от них, Дуся. Сама знаешь...

— Знаю. Ладно, проехали. Да! Народному комиссару привет передавай... Ну, шучу, шучу!

Осушили горькую бутылку и вдоволь наплакались наши красавицы. А когда Глаша пришла через месяц, оказалось — нет Дуси. С фабрики ушла, из общежития съехала. Куда подалась — неизвестно.

Когда «Театр кукол товарища Сталина» ликвидировали, вспомнили и про их девочек. Разыскали, конечно, и Дусю. Получила она восемь лет лагерей, но вышла не через восемь, а через семнадцать.

Глашу благополучно отпустили лет через пять, заменив на более молодую. Насчет благодарности, о какой еще майор Яковлев говорил в особняке на Сретенке, не обманули: зажила в свое удовольствие, в самом центре, в хорошей комнате с отоплением и телефоном. Вернулась на фабрику. Вышла замуж. Родила сына.

Когда на перроне «Маяковки» ее окликнула хриплым голосом смуглая, с жидкими седыми прядями, тощая, кожа да кости, старуха, долго не могла она поверить, что перед ней ее заветная подруженька, бывшая рыжеволосая красавица Дуся. А признав, в исступлении принялась целовать, и губы ее словно о камень бились — столь задубела Дусина кожа на северных морозах и ветрах. Дуся же не проронила ни слезинки — отучилась плакать. Тихо гладила она каменными пальцами модно причесанную Глашину головку, тихо приговаривая: «Хоть ты осталась красивой, Глашенька. Вот и славно. Вот и хорошо».

Пошли к Глаше, благо недалеко. Славно оказалось еще и то, что у Глаши выпал свободный день, отгул за сверхурочные, муж был на работе, сын в школе. Подруги распили бутылочку, рассказали каждая про свои чуть ли ни двадцать лет, что не виделись. Повспоминали более открыто о своей работе у Лаврентия Павловича. Глаша — поспокойнее, Дуся — с издевочками, со злым смешком. Договорились видеться. И встречались. Но редко.

Дуся умерла в шестьдесят втором, Глаша — в конце восьмидесятых. Ушли из жизни, так и не узнав, что одна обслуживала настоящего Берия, а другая — его двойника.

Как ни четок был режим, заведенный на даче, где содержались двойники, как ни строг был контроль за ними, но жизнь есть жизнь, и ото всего в ней не убережешься. Последнюю неделю перед выходом на трибуну двойникам было запрещено употреблять спиртное. Только в день праздника, вернувшись с Мавзолея на дачу, они могли за обильным столом отметить окончание очередного спектакля. Напряжение этих последних дней, чуть ли не круглосуточные репетиции, привели к срыву. В канун Великого Октября Буденный-2 и Маленков-2 неведомым путем раздобыли водки. Поздним вечером, после отбоя, они уединились в подвале, в бойлерном помещении. Ночью охранник услышал шум. Ворвавшись в бойлерное помещение, он застал кукол дерущимися. Причины драки остались невыясненными. А ее результатами были треснувшее ребро у Буденного-2 и жуткой величины фингал под глазом у Маленкова-2. Буденному-2 наложили гипс, и двойник легендарного маршала вынужден был утром, преодолевая боль, отправиться на трибуну. Но кроваво-черный мешок под глазом Маленкова-2 был так крупен и страшен, что замаскировать его не представлялось возможным.

Рано утром пришлось разбудить товарища Сталина. Чрезвычайно раздраженный неурочной побудкой, он выслушал сообщение о происшествии и немедленно принял решение:

— Что ж... Пусть Маленков идет на трибуну сам.

За два года отсутствия на трибуне Мавзолея Маленков уже отвык от этого тревожного положения хорошо обозреваемой с большого пространства фигуры. Кроме того, его, конечно, унижало трехчасовое стояние вместе с жалкими подделками. Поэтому, когда он занял свое место в ряду псевдосоратников, он так брезгливо вскидывал голову, как если бы от соседей исходил дурной запах. Его демонстративное презрение было замечено.

Никто из них ничего не знал о ночном происшествии, а Буденный-2 благоразумно помалкивал, как ему и было велено, и они, естественно, никак не могли догадаться, что этот Маленков — настоящий. Понять это, взглянув на гладкое и чистое лицо Маленкова, мог бы лишь сам Буденный-2, но на беду он по заведенному порядку стоял далеко от маленковского места, да и вообще старался не смотреть в сторону своего ночного оппонента. Маленков же стоял, как ему полагалось, между Берией-2 и Молотовым-2, а вслед за Молотовым-2 стоял Сталин-2.

Надо сказать, что двойники, будучи от природы, а также благодаря усилиям парикмахеров, дерматологов, диетологов, врачей и режиссеров, абсолютно похожими на вождей внешне, лишь в отдель-

ных случаях походили на них характерами. Одним из таких совпадений был Буденный-2, буйный и горячий, как сам маршал. А Маленков-2, в отличие от подлинника, был жизнерадостный, добродушный и довольно простецкий толстяк, этаким милый увалень. И ребро у Буденного-2 треснуло лишь оттого, что, получив по морде, Маленков-2, не умевший драться, ухватил противника за поясицу и прижал к стене всем своим немалым весом. Обычно он был, повторим, добродушен, весел, приветлив, и потому его угрюмость и презрительное отношение к соседям тут же было замечено. Раздались шутки.

— Жора, чего грустишь? Некормленный, что ли? — толкнул его в бок Молотов-2, развязный малый, пустой и нагловатый болтун, чем разительно отличался от оригинала.

Настоящий Маленков метнул на него гневный взгляд и процедил сквозь зубы:

— Молчи, подонок. Не забывайся, скотина.

— Вай, он же сегодня на завтраке не был! — воскликнул Берия-2.

— Жорик, как друг тебе говорю: не приходите на завтрак в день Великого Октября — это политическая ошибка.

— Лаврентий, — обратился к Берии-2 Сталин-2, — хорошая ли кухня на Лубянке? Сможете ли вы прокормить Георгия Максимилиановича?

— Заткни хайло, придурок! — прорычал Сталину-2 взбешенный Маленков. — Ты у меня сам сейчас на Лубянку загремишь!

И, уже обратясь ко всем, выкрикнул:

— Обнаглели, сволочи?! Вы, что, думаете, вас заменить нечем, дерьмо?

— Лаврентий, — сказал Сталин-2, — позвони, сообщи, что Жора заболел. Пусть придет медсестра и вколет ему что-нибудь в его жирную задницу. Я серьезно, Лаврентий.

И действительно, поведение коллеги было столь странным, что от него можно было ожидать какого-нибудь скандала, который бы развернулся на глазах у тысяч людей, а уж НКВД не будет потом долго разбираться, кто начал.

Меж тем громовой хохот сотрясал стены столовой на сталинской даче, где разворачивался праздничный завтрак.

Соратники во главе с вождем, забыв о еде и питье, с наслаждением слушали перепалку, идущую на трибуне Мавзолея. Неведение кукол относительно подлинности Маленкова и его идиотское положение среди них приводили слушателей потайной сети в полный восторг. Когда прозвучала обращенная к Берии-2 просьба Сталина-2 о телефонном звонке, все обратили свои взоры к Сталину: прекратит ли

он мучения Георгия или сочтет возможным продлить трансляцию такого смешного спектакля?

Через минуту затрещал аппарат, стоявший возле Сталина. Сталин поднял трубку.

— Товарищ Сталин! Звонят с трибуны. Товарищ Маленков ругает всех в полный голос, грозит и вообще может чего-нибудь натворить.

Сталин слушал, кивая с нарочитой серьезностью.

— Кто именно звонит?

— Берия-2.

Сталин обвел участников застолья насмешливо-проверяющим взглядом. Все примерно представляли, о чем ему только что было доложено, и понимали, что Сталин ждет от них каких-то предложений, но высказаться решился только Берия, то ли действительно друживший с Маленковым, то ли изображавший дружбу с ним по какой-то своей тайной надобности.

— Может, хватит, Иосиф Виссарионович? — произнес он, подчеркивая нерешительность своего предложения, и тут же хихикнул. — Хотя, конечно, очень смешно...

— Передайте на трибуну, — сказал Сталин, — что среди них находится настоящий товарищ Маленков.

Застолье замерло в предвкушении замечательного финала. Динамик донес до них топот ног вернувшегося Берии-2 и его сдавленный шепот, обращенный, видимо, к Сталину-2:

— Это он сам... Настоящий...

Пораженный этим сообщением Сталин-2 не смог произнести ни слова и послал в динамик сложный горловой звук, смесь задушенного выкрика с нервной зевотой.

— Товарищ Маленков... — прошептал Берия-2. — Извините... Я... Мы...

Меж тем Сталин-2, за секунду до возвращения Берии-2 взметнувший правую руку в жесте, знакомом миллионам советских людей — что ему было предписано делать через определенные промежутки времени — так и застыл, оцепенев от ужаса, в этой позе, благодаря чему сталинское приветствие получили дополнительные десятки праздничных шеренг.

— Опустит руку, дурак, — с удовольствием сказал ему Маленков.

— Не в цирке.

Уходя с трибуны, Сталин-2, Молотов-2 и Берия-2 в страхе думали, что их тут же отвезут на Лубянку, но этого не произошло.

Когда настоящий Маленков приехал к праздничному завтраку, как раз в эти минуты переходящему в праздничный обед, Сталин сказал ему:

— Не надо было так нервничать, Георгий. Они тоже люди, и у них есть свои слабости. Глупые куклы. Но тоже люди. Надо любить людей, это фундамент нашей внутренней политики.

Он налил себе вина, а Маленкову водки, чокнулся с ним, отпил глоток и добавил:

— Да, пожалуй, и внешней.

* * *

Впоследствии родилось мнение, что именно эта история послужила основанием к ликвидации института двойников: донельзя оскорбленный Георгий Максимилианович приложил все старания, чтобы добиться наказания наглых фигляров, и возбудил-таки в Сталине страх перед непредсказуемым поведением кукол на трибуне. Кто знает, что могли бы выкинуть на глазах у праздничной демонстрации эти обнаглевшие артисты, попривыкнув к имитации вождей.

Было и другое мнение, основанием которому послужило учреждение коллектива двойников в довольно необычном статусе. Кстати, этот статус, в свою очередь, дал ход мифу о судьбе одного знаменитого репрессированного. Да позволительно будет рассказать эту историю в виде лирического отступления.

Легенды, связанные с некоторыми знаменитыми людьми, сгинувшими в сталинских концлагерях, а то и расстрелянными без всякой отправки в них, довольно однообразны: будто бы эти люди в силу своей знаменитости не погибли, а получили щадящий режим, или были даже прощены и выпущены на волю, но инкогнито. Известная песенка сообщала, что не год и не два читал свои стихи у таежных костров «фартовый парень Оська Мандельштам». Были очевидцы, якобы встречавшие на разных фронтах отечественной войны знаменитого журналиста Михаила Кольцова. Будто бы работал в закрытой лаборатории великий биолог Вавилов. Под этими и им подобными легендами не было никакого основания, кроме естественной веры людей в чудеса, а также в справедливость самого Сталина. Представлялось, что, узнав, что ежовские или — позже — бериевские лихие гаврики едва ли не погубили ту или иную гордость страны, Сталин всплескивал руками от возмущения и немедленно принимал меры.

Но под одной легендой можно угадать более реальное основание. Ее доводилось слышать в разных вариантах. Чаще всего в таком...

В послевоенные годы в один из северных лагерей приезжает инспекция. В нее включен видный деятель культуры, коему вменено в обязанность проверить состояние пропагандистской, просветительской и культурной работы с контингентом: наличие плакатов и ло-

зунгов, выпуск стенгазет, художественная самодеятельность. И вот комиссии, и видному деятелю в том числе, показывают самодеятельный театралльный спектакль в исполнении заключенных. Любительская игра самодеятельных актеров, конечно, не поражает культурного инспектора, но поражает его другое: различимая даже через дилетантское исполнение ролей мощная режиссура, оригинально трактуемая классическую пьесу. После спектакля он спрашивает у лагерного начальства, кто создал постановку, и слышит в ответ: «Был тут у нас старик, Мурхоль...»

Так вот, легенда о лагерных постановках Мейерхольда скорее всего связана с существованием кремлевских двойников.

Дело в том, что когда они были набраны, встал вопрос: как их оформить? Как назвать эту команду? На каких основаниях селить их в отведенных помещениях, снабжать, платить зарплату? Поначала возникла мысль зачислить их в охрану, но воспротивилась бухгалтерия, так как это нарушало штатное расписание охраны. Кто-то предложил назвать их помощниками членов Политбюро, секретарей ЦК и прочих соответственных руководителей, но таковые помощники уже были и выполняли совсем иные функции. Вопрос оказался настолько сложным и деликатным, что постепенно стало ясно, что разрешить его может только один человек. И Сталин, когда ему доложили о проблеме, сказал:

— По сути эти люди ни что иное как артисты. Артисты на чрезвычайно ответственных ролях. Как называется группа артистов, занятая общим творческим делом? Она называется — театр. Почему бы народному комиссариату внутренних дел не иметь свой театр, товарищи?

Так кремлевские двойники стали, разумеется, только на бумаге — театром НКВД. Но эта часть истории еще не выводит нас на Мейерхольда. Прямое касательство к легенде о нем имеет следующий эпизод.

Однажды Сталину принесли на утверждение список актеров и режиссеров, которым было решено присвоить почетные звания народных и заслуженных. Сталин прихватил список на общий ужин на даче и обсуждал его вместе с соратниками за бокалом вина. В списке были актеры, хорошо известные членам Политбюро и секретарям ЦК, чаще всего радовавшие их своим искусством в концертах после кремлевских приемов, а иногда и здесь, на сталинской даче.

— Качалов Василий Иванович, — читал Сталин. — Предлагается присвоить звание народного. Какие будут мнения, товарищи, об этом актере высокой культуры и, кстати, четкой идейной ориентации? Правильно: это поистине, товарищи, народный артист. Неслучайно

он никогда не отказывается поговорить с нами, с простыми людьми, выпить и закусить в нашем обществе. Отсутствие заносчивости очень украшает Василия Ивановича!

Сталин в этот вечер был в хорошем настроении. В том настроении, когда он любил шутить.

— Остужев Александр Алексеевич... Грандиозный трагический актер, не так ли, товарищи? Непревзойденный исполнитель роли Отелло. Если бы с такой страстью, с какой Александр Алексеевич душит Дездемону... — Сталин сделал паузу и насмешливо посмотрел на Берия, — ... органы НКВД душили наших врагов!.. Великий артист! Но невежливый человек. Однажды я лично выразил ему свое восхищение его искусством, и что вы думаете? Он ничего не ответил мне и даже не повернулся в мою сторону.

— Да ведь он глухой, — незамедлительно откликнулся Берия, увидев возможность защититься от предыдущей насмешки вождя. — Ни хрена не слышит, дурак. В отличие от органов НКВД, которые слышат все, что говорится в стране.

— И этот наш разговор тоже? — еще более незамедлительно парировал Сталин. Берия сник.

— Александр Алексеевич заслуживает высокого звания, — сказал Сталин, — но немного позже. Подождем годик. Может быть, за это время у него улучшится слух.

Так, с шутками и прибаутками вождь шел по списку. Добравшись до исполнителей ролей в фильме «Ленин в 1918 году», он прочитал его вслух раз, и другой и выразил на лице некоторое недоумение.

— А почему, интересно, здесь нет актера, который так замечательно исполнил роль агента мирового империализма Бухарина? Большим мастерством надо обладать, товарищи, чтобы в относительно небольшом эпизоде так убедительно передать всю подлую сущность своего вконец изолгавшегося персонажа. Как, кстати, его фамилия?

К общему конфузу, ни один из участников застолья не смог вспомнить фамилию актера, воплотившего на экране образ подлеца Бухарина.

— Не смущайтесь, товарищи, — сказал Сталин. — Это закономерно. Как бы замечательно ни сыграл актер предателя революции, изменника священной делу рабочего класса, было бы идеологически неверно запоминать его и делать популярным. Его следует поощрить материально, но не более того. Актер, берущийся за подобные роли, должен сознательно идти на жертву: его нельзя будет публично хвалить за его пусть и незаурядное мастерство. Более того: ему после этого ни в коем случае нельзя будет поручать изображение

положительных персонажей. Народ этого не поймет. Народ отождествляет актера и воплощенный им образ. И правильно делает.

Благополучно расправившись со списком, Сталин предложил тост за ведущих деятелей советского театра и кино, после чего неожиданно сказал:

— Немного странно, что мы так щедро вознаграждаем людей за изображение разных там осколков дворянства в чеховских пьесах, а также разных там гамлетов и офелий, и пусть даже за роли беззаветных, но рядовых большевиков в немногих удачных пьесах советской драматургии. В то же время без всякого поощрения остаются актеры, воплощающие образы руководителей первого в мире социалистического государства. Это несправедливо, товарищи. Как будем выправлять положение?

Соратники смущенно переглядывались. Все поняли, о каких актерах с преувеличенной серьезностью говорит Сталин, но неясно было, следует ли в ответ, по достоинству оценив шутку вождя, рассмеяться и этим ограничиться, или Сталин действительно хочет что-то предпринять?

— Выправлять положение будем просто, — сказал Иосиф Виссарионович. — Нужно дополнить текст Указа. Примерно так. За высокохудожественное исполнение... высокохудожественное и реалистически убедительное... ролей в спектаклях на современную тему присвоить почетные звания актерам театра НКВД. Примерно так.

— Что мы им дадим, товарищ Сталин, заслуженных или народных? — спросил Шкирятов, редкий гость на сталинской даче, допущенный сегодня в связи с тем, что он в это время отвечал за расцвет культуры.

— А вы сами как думаете, товарищ Шкирятов?

Шкирятов задумался, не в силах угадать правильный ответ.

— Разрешите, Иосиф Виссарионович! — обратился к Сталину Каганович. — Товарищи! Двух мнений быть не может: нашим — заслуженных, а вашему, Иосиф Виссарионович — народного.

Сталин внимательно оглядел соратников и сказал:

— Вот почему, товарищи, Лазарь поставлен на строительство метрополитена: он лучше всех вас знает, в каком направлении надо рыть, чтобы выйти вовремя и в нужном месте!

Дружный смех покрыл окончание добродушной шутки вождя.

Разумеется, часть Указа, посвященная двойникам, не появилась в печати. Но слух разнесся. В театрах Москвы реяли шепотки: Указ имеет закрытое дополнение, в котором почетные звания присвоены всем — всем без исключения! — никому неизвестным актерам никем и никогда не виданного театра НКВД. Ни один ведущий коллектив

страны — ни Большой, ни Малый, ни МХАТ — не мог похвастаться, что его труппа сплошь состоит из актеров со званиями. Поистине, театр НКВД был небывалым театром! И потому, когда исчез Мейерхольд, естественным было распространение слуха, что он не арестован, а поставлен во главе театра НКВД, чтобы вести просветительскую художественную деятельность в лагерях, приобщая подлые и заблудшие души врагов социалистического строительства к высокому свету лучшего в мире советского искусства сцены. Этот слух впоследствии, видимо, и преобразился в легенду о постановках старика Мурхоля.

Что до действительных артистов театра НКВД, то им присвоение почетных званий, кроме прибавки к жалованью, каковое они все равно мало как могли тратить из-за полной уединенности своего житья-бытья, принесло одни лишь ссоры и дразниги. Но что до мнения, согласно которому именно эти звания и привели к ликвидации коллектива двойников, то иначе как вздорным его не назовешь. Двойники якобы вообразили себя настоящими актерами и возгордились настолько, что потребовали поставить им, кроме стояния на праздничной службе, и другие спектакли, как то: совещание со стахановцами, встречу с деятелями литературы и искусства и даже заседание Политбюро! Чуть, разумеется, полнейшая ахинея и чухня.

* * *

Нет, окончательная судьба двойников не связана ни с присвоением им почетных званий, ни с кознями Маленкова. Решающим оказалось вполне определенное и весьма удивительное событие, о котором будет рассказано чуть позже, а первым тревожным звонком послужили полученные Сталиным донесения о неразрешенных двойниках, заведенных на периферии, за пределами Кремля и Москвы.

Да, как ни тщательно оберегалась тайна, она постепенно становилась известной то одному, то другому высокому партийному товарищу. Началось медленное, ползучее, но неостановимое распространение двойников по стране. Ими обзавелись высшие руководители некоторых союзных республик и даже одной автономной. А в ней нашелся даже один безмерно нахальный нарком, не побоявшийся приравнять безопасность своей персоны к безопасности вождей.

Впрочем, этот нарком, сделавший карьеру в маленькой южной республике, расположенной в горах, завел себе двойника вовсе не в целях безопасности, а по причине сколь пикантной, столь и житейской; можно сказать, по причине, возникающей у некоторых людей в любые эпохи, о чем и свидетельствует эта история, напоминающая новеллы «Декамерона» незабвенного средневекового сочинителя Бокаччо.

Дело в том, что нарком давно охладел к своей жене, с которой когда-то вел совместную политработу на фронтах гражданской войны, и все более углублялся в шефство над местным драматическим театром, где, благодаря его покровительству, были созданы выгодные материальные условия, привлекающие в эту отдаленную от столиц местность непризнанных Москвою и Ленинградом актрис. Среди этих юных, но уже довольно опытных дам, нарком находил отдохновение от жены и от непрерывных политических кампаний, которые он должен был проводить, чтобы вывести на достойный уровень республиканскую индустрию. Кампании проходили трудно. До революции здешнюю промышленность составляли три салотопных производства и кожевенная фабрика. В стремлении воздвигнуть настоящий индустриальный гигант правительство республики потратило уже изрядные средства, но гигант стоял недостроенным, а главное, было неясно, кто будет на нем работать. Местные жители из последних сил держались за свои отары курдючных баранов и тонкорунных овец и не хотели спускаться в долину и прикипать сердцем к глубоко чуждому им миру вагранок, прессов и кузнечных молотов.

Но если бы только проблемы индустриализации терзали его сердце! В своей республике он был трижды нарком, имея в подчинении, кроме тяжелой промышленности в виде недостроенного гиганта, еще и транспорт и государственную безопасность. И если с транспортом особых трудностей не было по причине почти полного отсутствия такового в республике, то выкорчевывание на территории автономии троцкистских, националистических и прочих банд требовало круглосуточных бдений. Возможность выезда в горы на субботу и воскресенье в обществе милых актрис была для него кратким отдыхом и желанным глотком свободы после адской круговерти в трех наркоматах. Разумеется, для жены эти выезды обставлялись как командировки в отдаленные селения для агитации горцев за переход в ряды рабочего класса или как инспекция отрядов НКВД, ведущих поиски предполагаемых повстанцев.

Выше мы сказали, что он охладел к своей боевой подруге, и читатель, возможно, сделает из этого неверный вывод. Он подумает, что супруга наркома с возрастом сильно потеряла в темпераменте, что она постарела, обрюзгла, может быть, излишне растолстела — словом, перестала быть привлекательной женщиной. Нет! Более того. Отвлеченная в юные годы обстановкой гражданской войны в сторону интенсивной идейной жизни, она именно теперь набрала максимальную женскую силу, которой была одарена от природы, и нарком, как ни странно, охладел к ней как раз потому, что не мог ее достойно удовлетворить. Странная, черт побери, причина! Тут, по-

скольку действие происходит в горной местности, напрашивается аналогия: альпинист, в молодости легко покорявший избранную вершину, впоследствии никак не может повторить свое славное достижение... После ряда почти безнадежных попыток он, в конце концов, охладевает к избранной вершине и бросает утомленный борьбою взор на иные точки окружающего пейзажа, надеясь найти что-нибудь более подходящее для успешного восхождения по его сегодняшним реальным силам.

Это умозрительное сравнение грешит, конечно, одной существенной неточностью. В отличие от горной вершины, не властной над альпинистами и их желаниями, жена имела на наркома законные права и, несмотря на его крайнюю занятость и постоянную усталость, требовала неукоснительного и довольно частого выполнения супружеских обязанностей. Она бешено ревновала его к любым женщинам, а в особенности, к приезжим актрисам. Поэтому выезды в горы, хоть и получали объяснение срочных поездок для ведения агитационной работы или для усмирения национальных страстей в отдаленных ущельях, постоянно сопровождалась скандалами. Самыми мучительными были возвращения в понедельник, когда он должен был долго и утомительно отчитываться в результатах поездки и убедительно врать.

Вот почему, когда весть о двойниках московских вождей достигла здешних кабинетов и когда нарком получил деликатное поручение найти «кукол» партвождю автономии и председателю совнаркома, он подумал о замечательном выходе из собственной ситуации. Он нашел «кукол» первым лицам, правда, не слишком похожих и потому непонятно на что годящихся, но уж для себя постарался, как мог. Он привлек к обучению «куклы» свою возлюбленную актрису, и она оказалась толковым режиссером. Через месяц напряженных репетиций двойник походил на наркома не только внешностью и фигурой, но и всеми его повадками.

Настала очередная суббота, и нарком решил. Двойник должен был приехать в дом наркома поздней ночью с субботы на воскресенье, переночевать, на рассвете уехать по срочным делам и, вернувшись к полуночи, снова переночевать с воскресенья на понедельник, а на рассвете вновь уехать. Поскольку за трижды наркомом были закреплены два автомобиля — один по наркоматам промышленности и транспорта, а другой по наркомату внутренних дел, ему нетрудно было на одном из них уехать с молодой любовью в горы, а другой предоставить в распоряжение двойника.

Утром в понедельник он встретился с двойником в уединенном месте. Доклад совершенно успокоил его и привел в восторг: супруга

не выразила ни малейшего сомнения в подлинности приехавшего, как всегда, к ночи, усталого мужчины в запыленном френче и с тугим портфелем в руке. Она усадила его ужинать, подала, как всегда, любимые блюда наркома...

— Ладно, — перебил нарком, — говори главное. Как она тебе как баба?

— Товарищ нарком... — засмутился двойник.

— Ну? — грозно сверкнул белками нарком.

— Крепкая, — вздохнув, сформулировал двойник. — Но я вас, товарищ нарком... извините... но раз вы спрашиваете... Считайте, я вас не подвел.

Так двойник стал заменять мужа по субботам и воскресеньям, и нарком был очень доволен своей выдумкой. Когда вечером в понедельник он возвращался домой, якобы уйдя утром из дому, его встречал безмятежный взгляд супруги, ничего не подозревавшей о периодических подменах.

Но недолго длилось счастье изобретательного наркома.

Если уж кремлевская тайна не удержалась в отведенных ей рамках и расползлась по стране — что говорить о секретах периферийных столичных городов и городков? Они с куда большей скоростью проделали обратный путь — в Москву, в Кремль.

Когда Сталину доложили о незапланированных двойниках, расплодившихся там и сям, его особенный гнев вызвало нахальство полуизвестных ему руководителей маленькой горной автономии. Кем они возомнили себя, эти ничтожества?!

— Коммунисты, которые так трясутся за свою шкуру — несомненно, предатели в будущем. А может быть, и в настоящем. Да, я уверен, это чуждые нам люди. А скорее всего, идейно сплотившиеся враги.

Заявление товарища Сталина было понято верно. Вся троица — партвождь, председатель совнаркома и трижды нарком — была немедленно арестована. Наркома взяли в его кабинете. Он понимал, что его ждет, и попросил разрешения позвонить жене. Он решил на прощанье покаяться перед ней и признаться в обмане.

— Прости меня, — заключил он свое признание, — не понимаю, как я мог пойти на такую гнусность.

— Не переживай, чудило, — спокойно ответила жена. — Я сразу поняла, что это не ты. За ужином не поняла, а в постели поняла сразу. Просто он понравился мне гораздо больше.

Обладатели двойников загремели в лагеря, а сами двойники были расстреляны. Казалось бы, зараза была искоренена. Но через некоторое время с Колымы пришло чрезвычайно неприятное сообщение. Несколько заключенных были обескуражены тем обстоя-

тельством, что бывший начальник политотдела дивизии в упор не узнает их, друзей его боевой молодости... не узнает в лицо, не знает их имен, не откликается на свое шутовское прозвище, не помнит ни одного фронтового эпизода. Во всем остальном он находится во вполне здравом уме.

Короче говоря, выяснилось, что расстреляли наркома, а на Колыму отправили двойника. Как произошла путаница, установить не удалось. Но она очень и очень встревожила товарища Сталина. Он впервые подумал: случись надобность убрать кого-то из ближайших соратников — и они тоже подсунут вместо себя своих кукол. Но, погруженный в размышления о возможном коварстве соратников, он даже близко не мог себе представить, какая еще опасность кроется для него в существовании двойников и, в частности, его собственной копии...

* * *

Время от времени возникала проблема, о которой поначалу никто не задумывался: то двойники начинали терять сходство с оригиналами, то что-нибудь менялось в облике вождей.

К примеру, у Ворошилова в считанные недели поседел его лихой чубчик. А началось с разговора, казалось бы, не предвещающего ни тревожных переживаний, ни сердечных мук. Разговаривал со своим первым замом, Тухачевским, обсуждали задачи, какие будут поставлены перед войсками на тактических летних учениях. Клим вспомнил, что Тухачевский учился в Германии, в академии тамошнего генштаба. «А что новенького у твоих германцев? — шутовски спросил он. — Может, перейдем что-нибудь? Хотя... бивали мы их в свое время, как сидорову козу». Тухачевский шутовского тона не принял и более чем серьезно принялся излагать новейшие тактические идеи немецких штабистов. Чем дольше он говорил, тем меньше его понимал нарком обороны.

Результатом стали несколько бессонных ночей подряд. Вернее, засыпал нормально, но приходила во сне старушка — что за старушка? Никогда ее не встречал в реальной жизни! — трясла и кричала: «Климушка-дурачок! Климушка-дурачок!». Клим просыпался. Проходил из спальни в кабинет, зажигал настольную лампу. Глядел в тусклое свое отражение на толстом стекле, покрывавшем зеленое сукно письменного стола. Из стекла глядел на него простецкий парень, разве что сильно постаревший. Встреть такого в толпе — кто скажет, что это легендарный герой гражданской войны, маршал, воспетый в песнях, народный комиссар всех вооруженных сил самой могущественной в мире страны? Самой ли? Неспособность понять, как мыслят

себе германские штабные тактики военные сражения близких лет — меж тем как холодноглазый красавец Тухачевский не только глубоко понимал эти тонкие замыслы, но и с ходу анализировал, видоизменял, приспособливал к традициям Красной армии и психологии советского красноармейца — имела своим следствием учащенное сердцебиение, тяжкое предчувствие грядущих полководческих позоров...

Клим доставал из полированного шкапчика графин. Держать водку в графине, а не в початой бутылке казалось ему более приличным для человека его положения. Порою терпежа не доставало налить в стакан. Хватал из горла. Сердце отпусало, теплело на душе. Но всплывали желтые тигриные глаза Кобы и звучал его голос, наводящий ужас своим спокойствием и паузами между словами: «Говорят, ты все еще рассчитываешь рассекать моторизованные части вероятного противника кавалерийскими рейдами в его тыл. Это правда, Клим?»

Он хватал из графина еще один крупный глоток, другой, третий... Утром жена будила его. Он поднимал тяжелую голову с отпечатанным на щеке следом валявшейся на стекле спички. После одной из таких ночей он обнаружил, что его чубчик стал седым. А Миша Тухачевский был черноволос. «Ничего, скоро и ты у нас поседеешь...» — подумал Клим.

Разумеется, подсеребрить, подкрасить двойнику чубчик было для примеров сущей ерундой.

Удалось исправить и ждановского двойника. После вызова к своему оригиналу — что за разговор там состоялся, так и осталось неизвестным — он вдруг резко ссутулился и стал ростом сантиметра на три ниже Андрея Александровича. Чепуха для стояния на Мавзолее, но неприятная неточность при более близком общении с посторонними. Жданову-2 изготовили туфли с утолщенной подошвой, а для выправки осанки предписали упражнение, с помощью которого в России изготавливали безупречно стройных морских офицеров: ежедневное получасовое стояние у стены, с касанием ее пятками и крыльями лопаток.

Чуть более сложной оказалась проблема с зубами Молотова. Ежемесячно, как и все другие вожди, осматриваемый стоматологами Молотов панически боялся не то что прикосновения бора, но даже легкого проверочного постукивания пинцетом и практически не давал притронуться к себе. Он не позволял ни лечить, ни выдергивать свои почерневшие зубы, ни закрывать их коронками. Пришло время, когда белозубая улыбка Молотова-2 пришла в кричащее противоречие с грустной картиной, наблюдавшейся во рту второго после Сталина руководителя Советской державы. Опять-таки, для стояния на Мавзолее достаточно было налеплять на зубы Молотова-2 темные

накладки. Ну, а если бы основному Молотову понадобилось использовать куклу для приема визитеров?

Через много лет после окончания второй мировой войны были обнаружены дневники одного из германских дипломатов довоенной поры, участвовавшего в организации встреч Молотова с Гитлером и Риббентропом в 1938 году. «Чрезвычайно довольный всем, что произошло, герр Риббентроп заглянул на минуту к нам, рядовым бойцам дипломатии рейха, отмечавшим финал столь трудной акции как прием большевистского министра иностранных дел. Герр министр был столь любезен, что чокнулся с нами бокалом мозельского вина и рассказал несколько неизвестных нам и довольно забавных подробностей исторического контакта. В частности, он поведал следующее:

«В какую-то минуту фюрер отвел меня в сторону и проговорил: «Большевистский канцлер вежлив и радушен, но мне не нравится его улыбка. Когда он говорит о величайшем, решающем для судеб мира смысле германо-советской дружбы, глаза его теплы и, казалось бы, правдивы. Но губы его при этом едва раздвигаются, и эта натянутая улыбка противоречит и взгляду, и интонациям, с какими он заверяет меня в искреннем желании Сталина крепить единение двух социалистических режимов».

«Фюрер, — сказал я ему тогда, — вы знаете, я недолюбливаю Канариса, помешанного на добывании мелочей. Но вот случай, когда его доскональность поможет мне объяснить вам улыбку Молотова. Только педант Канарис мог поставить перед нашей московской агентурой задачу собирать, кроме политической и военной, еще и информацию, так сказать, бытового характера: привычки коммунистических вождей, образ их жизни, состояние их здоровья. Благодаря этой его скрупулезности мы знаем множество забавных деталей. Например, что Сталин называет Ворошилова «градусником».

«Градусником»? — оживился фюрер. — «Что это?»

«Этим словом русские называют термометр. Так вот, нарком обороны, от природы румяный мужчина, когда выпивает первые рюмки водки, постепенно начинает бледнеть, при следующих рюмках к нему возвращается его природный румянец — и это пик хорошего настроения герра Ворошилова. Видя, что соратник вновь разругался, Сталин велит Климу петь песни и показывать русский перепляс — и то, и другое нарком делает искусно. Но следующие рюмки вновь высветляют щеки Ворошилову, а настроение его ухудшается. И, наконец, есть рюмка, после которой он становится абсолютно белым и приходит в ужасное состояние. Он плачет и умоляет Иосифа, чтобы тот не расстреливал его. Он уверяет, что, расстреляв его, Сталин ли-

шится единственного преданного ему друга, Сталин же, зная эту необычную градацию цвета его щек и видя, как Ворошилов белеет, иногда останавливает его и говорит: «Тебе хватит, Клим. Еще рюмка — и вправду расстреляю».

Выслушав эту историю, фюрер от души рассмеялся. «Ну, а что относительно странной улыбки Молотова?» — спросил он.

«О, не беспокойтесь, — почтительно ответил я фюреру. — Тут нет ничего загадочного, как с переменой цвета ворошиловской физиономии. Просто Молотов боится стоматологов и не подпускает их к себе. У него плохие, почерневшие зубы, он помнит об этом и старается не открывать их в улыбке».

Фюрер успокоился, и его оставили последние сомнения в искренности намерений Молотова, а значит, и Сталина, объединиться с нами перед лицом опасности, исходящей от британского и американского империализма».

Мы, молодые дипломаты, тоже смеялись от души, слушая это доверительное сообщение герра министра».

Разночтение между нехорошими зубами Молотова и сияющей улыбкой двойника было устранено, разумеется, без того, чтобы беспокоить наркома: дублеру протравили зубы кислотой.

Но поистине неразрешимой проблемой оказалось для специалистов обжорство Маленкова. Его разносило, что называется, на глазах. Еще молодое лицо обросло тремя слоями жировых складок. Размеру его шеи мог бы позавидовать легендарный русский борец-тяжеловес Иван Поддубный. Еще что-то можно было придумать с животом двойника: наложить «толщинки» — стеганные прокладки, надеваемые на актеров, которым надлежит играть, скажем, Фальстафа или иных толстяков. Но как быть с лицом? Маленкова-2 пробовали раскармливать. Ему составляли особое меню, включавшее, кроме высококалорийной пищи, вещества, замедляющие сгорание жиров. Но и после откормочных технологий двойник не успевал угнаться за оригиналом. Со временем разница стала заметной даже на расстоянии. Однажды, после очередной ноябрьской демонстрации, осведомители НКВД уловили распространение по Москве слуха: Маленков выглядел на трибуне заметно похудевшим, из чего следовало, что он нервничает и, значит, впал в немилость у Сталина. Вскоре на стол Сталину лег сугубо медицинский документ, из которого следовало, что подогнать двойника под преобразившийся облик товарища Маленкова наука не может, а другого двойника ищут, но не могут найти. Далее излагалась выраженная в самых осторожных выражениях просьба разрешить провести над товарищем Маленковым не очень сложные хирургические действия, могущие поспособствовать похудению его лица и шеи.

— А что ты думаешь? — спросил Сталин у помощника, принесшего медицинское письмо. — Может быть, действительно отдать Георгия хирургам? Не зарежут насмерть?

— Старые бабы, Иосиф Виссарионович, особенно из артисток, — ответил помощник, — делают себе эту операцию. Убирают морщины и лишний жир. Операция не страшная. Но Георгий резать себя не даст. Трус хуже Молотова.

— Предложи другое, — ухмыльнулся Сталин. — Ты, я вижу, зна-ток.

Уловив веселое настроение хозяина, помощник решил пошутить:

— А может, сменить товарищу Маленкову участок работы? Поручите ему что-нибудь такое, отчего любой похудеет. Например, сельское хозяйство.

— Отличная мысль! — развеселился Сталин. — На сельское хозяйство! Председателем в отстающий колхоз.

— Георгий, — сказал он, вызвав Маленкова. — Врачи жалуются: жиреешь, как боров, они не знают, как остановить.

— Сам переживаю, Иосиф Виссарионович. Но ничего не могу поделать. Чисто нервное. Как подумаю, сколько еще ваших тайных врагов не уничтожено — спать не могу. Всю ночь хожу, продумываю, как их разоблачить — и жую, жую.

— А сила воли, Георгий? Если я прикажу тебе: перестань жрать, на тебя глядеть тошно?

— Тогда сразу расстреляйте, — тихо ответил Маленков. — Это невыполнимо.

Желтоглазый вождь страны Советов помолчал. Выбил пепел из погасшей трубки. Заправил ее свежим табаком, как всегда, ломая и труся пахучие завитки любимых папирос «Герцеговина-Флор». Закурил. Полюбовался сизым дымком, застенчиво выплывшим из его рта на волю.

— Я понимаю тебя, Георгий. Тоже приходилось голодать в юности. Но я себя обуздал. А ты не можешь. Тут один товарищ посоветовал перевести тебя на более нервную работу, на которой ты обязательно похудеешь. Но у нас нет спокойных работ. Все работы у нас нервные, потому что мы должны в короткие сроки завершить строительство социализма в одной, отдельно взятой нами стране. И это — при злобном, все нарастающем сопротивлении врагов. Впрочем... Ягода, припоминаю, жаловался: очень нервничают чекисты-расстрельщики, приходится менять их буквально через каждую сотню выстрелов. Может быть, мне поставить тебя на это благородное дело — своими руками убивать врагов, которых ты так ненавидишь? МОИХ врагов?

— Товарищ Сталин... — печально откликнулся Маленков. — Мое обжорство — это болезнь. И, как правильно вам сообщили врачи, она неизлечима.

— Нет таких болезней, от которых бы не вылечили большевики, — изрек Сталин. — Что ж, Георгий. Жри дальше, пока не лопнешь. Но ищи себе двойника под стать. Этот не годится. А пока не найдешь, везде будешь — сам.

Так Маленков лишился своего двойника — и на этот раз не на время, а навсегда. Столь же толстую харю так и не нашли во все необъятном Советском Союзе.

* * *

Идут годы и выветривают из нашей памяти многие обязательные атрибуты советского образа жизни, а казалось, они просуществуют века. Новым же поколениям уже приходится особо растолковывать, что такое «соцсоревнование», «встречные обязательства», «переходящее знамя», «бригада коммунистического труда»; нам же, в этом повествовании, на случай, если оно попадет на глаза юным россиянам, хочется рассказать про некие помещения, которых сотни тысяч было по стране и которые уютно назывались «красными уголками».

Небольшой исторический экскурс. Русская крестьянская изба была по сути однокомнатной квартирой, но ее единственная комната была, как мы теперь выражаемся, многофункциональной. Вспоминается анекдот советских времен. Американец водит по своей квартире гостя из СССР: «Здесь у меня столовая, здесь гостиная, там рабочий кабинет, тут наша супружеская спальня, это детская комната, это мастерская, здесь бар, там холл... А у вас какая квартира?» «Примерно такая же, — отвечает советский человек. — Только между комнатами нет перегородок».

Так и крестьянская изба — четыре угла ее единственной комнаты отвечали понятиям о четырех покоех — передней, гостиной, спальне и кухне или, говоря по-давнему — стряпной. По-давнему — значит, с помощью непревзойденного знатока русского языка Владимира Даля: «Изба делится на четыре угла: по одну сторону входа стряпной, бабий кут и печь; по другую хозяйский кут (кутник нижний) или коник, от койки, род лая для поклажи упряжи и пожитков; прямо против печи печной угол или жернов угол (он же кут, кутной), где стоит ручной жернов, где бабы работают; прямо против коника наискось противу печи красный (большой или верхний угол) с иконами и столом».

Все это и есть то, что нам надо: «красный угол» избы, куда поме-

щались иконы с негасимой лампадкой и куда в застолье сажали почетных гостей.

Большевики, предпринимая меры по замене верования в учение стихийного социалиста и изрядного мистика Иисуса Христа на осознанную марксистскую веру в коммунизм, вынуждены были, по недостатку времени и ввиду сильной всенародной темноты, приспособить под свои пропагандистские нужды все обрядовые стороны православной религии. Христианские мифы, храмовая культура, церковные ритуалы, выпестованные в долгих веках, в считанные годы преобразились в величественный декор коммунистической веры. Политбюро явило собою преobraженное собрание апостолов (правда, в отличие от новозаветных обстоятельств с их единственным Иудой, здесь предатели обнаруживались периодически и не по одиночке). Ильич в Мавзолее заменил святые мощи угодников. Биографии героев революции и гражданской войны стали новыми житиями святых. Крестные ходы с иконами и хоругвами преобразились в праздничные демонстрации с портретами и знаменами. «Краткий курс истории ВКП(б)» почитался такой же окончательной истиной и таким же скопищем нетленных мудростей, как прежде — тексты евангелистов, и его с полным основанием можно было считать «Евангелием от Иосифа». Функции православных храмов разделили между собой дома политического просвещения (сюда должно было приходиться на общие молитвы), университеты марксизма-ленинизма (в них изучали религиозную литературу более углубленно высокообразованные граждане) и партийные комитеты: здесь накладывались эпитимии и прочие выговоры и нахлобучки, здесь отлучали от новой религии особо опасных ослушников и еретиков.

Пригодился большевикам и красный угол крестьянской избы. Новоявленные советские пролетарии, на три четверти крестьяне, высосанные из деревень в города голодом и индустриализацией, встречали в заводских цехах и общежитиях привычный красный угол с иконами — изображениями новых святых, вождей большевистской революции. Вероятно, при той тесноте, какая образовывалась везде и всюду от нахлынувших миллионов, первым большевистским «красным углам» и впрямь не находилось более простора, чем угол в одной из комнат общежитского барака или закуток в цеховой конторе. Более того, «угол» даже превратился в «уголок». Но и с годами, когда появилась возможность отводить под эти места религиозной агитации отдельные комнаты, а порою и целые залы, уютное название осталось. Может еще и оттого, что агитационные уголки были красны не в смысле — красивы, пригожи, приятны взгляду, а просто-таки перенасыщены буквальнoй краснотой

кумачовых плакатов, алых рамок вокруг портретов, красных скатерток, красных флагов и знамен.

Имелся, конечно, «красный уголок» и в бывшем поместном доме, где жили двойники. Под него отвели фойе второго этажа. Здешний «красный уголок» был много роскошнее большинства тех, коими были оснащены конторы, цеха, общежития, вузы, воинские части по всему СССР. Здесь, кроме портретов, плакатов, гипсовых бюстов Ленина и Сталина и газетных подшивок, имелось еще много всякой всячины. Висели копии знаменитых живописных полотен «Залп «Авроры», «Штурм Зимнего», «Трубачи Первой Конной», «Тачанка», «Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле», «В.И. Ленин в Кремлевском кабинете». Вдоль стен стояли кожаные диваны и кресла. В углах висели мохнатые пальмы в кадках. Одну из стен занимал стеллаж с полным собранием сочинений Ленина, томами работ Маркса и Энгельса, речей товарища Сталина и другой партийной литературой.

Это был, собственно, клуб, место отдыха, и двойники любили собираться здесь по вечерам, иной раз и за бутылочкой, чему поначалу режимные сотрудники пытались препятствовать, но потом махнули рукой: в своих комнатах жильцы напивались крепче, чем это происходило прилюдно.

Разные велись тут разговоры. Чаще веселые, с анекдотами, взаимными подковырками. А бывали и грустные, когда кто-нибудь вспоминал родных, отсеченных завесой секретности, и его тоска передавалась остальным. Не было только по негласному уговору (да и по ясному пониманию, что их слушают) «политических» разговоров.

Не было, пока в один из вечеров Сталин-2, раскурив трубку, не завел диковинную речь, неторопливо расхаживая среди кресел, в которых вольготно развалились коллеги.

— Давно хотел поговорить с вами, та-варищи, по одному очень важному поводу. Готови ли ви к такому нэожиданному повороту событий как...

Сталин-2 сделал паузу и обвел собрание тяжелым, поистине «сталинским» взглядом. Некоторые поежились. Коллеги вообще побаивались его: уж очень искусно имитировал Сталин-2 и акцент, и жесты и все повадки великого оригинала. Словно дразнил их, он и в минуты отдыха то и дело входил в образ и то смешил подлинно сталинскими интонациями, то пугал. Хотя на самом деле вполне чисто говорил по-русски.

— ...как внезапная гибель всего высшего руководства страны, включая самого товарища Сталина?

— Типун тебе на язык! — ахнул Молотов-2, скорый на реакцию. Остальные ошарашенно молчали.

— Все же представим этот невероятный факт.

— И представлять не хочу! — Молотов-2 вылез из мягких объятий кожаного кресла. — Ты, что, чокнулся? Или поддал? Развел тут контрреволюцию, а нам отвечать. Пошли, ребята!

Все повывезали из кресел.

— Останьтесь, товарищ Молотов, — жестко произнес Сталин-2.

— Разговор только начинается. Все останьтесь.

— Слышь, кацо, правда, кончай хреновину пороть, — примиряюще сказал Буденный-2. — Какая муха тебя укусила?

— Ты играй да не заигрывайся, — добавил Ворошилов-2 и взмахнул в сторону потолка, напоминая о подслушке.

— Если ви боитесь, товарищ Ворошилов — можете уйти. Но как бы нэ пожалеть впоследствии.

Двойники переглянулись. Ворошилов вернулся в кресло и сказал подчеркнуто громко:

— Ну, говори. Но имей в виду — все, что ты уже сказал и что еще скажешь — лично я считаю контрреволюционным разговором.

— Мы все так считаем! — подхватил Берия-2 и тоже вернулся на место. — Говори, если ты такой дурак.

Двойники расселись по креслам.

— Итак, — неторопливо продолжил Сталин-2, — представим, что происходит это ужасное событие.

— Да как, как оно происходит? — не выдержал Молотов-2. — На Мавзолее бомбу положат? Так это же нас грохнут, а не их!

— Как происходит? Дапустим... массовое отравление на банкете в Кремле, в результате измены обслуживающего персонала.

— Ну, глупость же, глупость! — возразил Буденный-2. — Там услуга проверена-перепроверена.

— Товарищ Буденный! Товарищ Сталин глупостей нэ говорит. Нэ говорит сам и нэ прощает другим.

— Да какой ты на хрен Сталин... — на полуслове Буденный-2 осекся, встретив немигающий взгляд желтоватых глаз Сталина-2.

— Успокоились, товарищ Буденный? Все успокоились?.. Так вот. Представим. Все они трагически и одновременно погибли. Внезапно. Вчера были, сэгодня их нет. Что может произойти в стране, которая утром узнает, что она лишилась всех своих вождей? Полная растерянность, хаос, открытые выступления врагов и даже, возможно, захват ими власти.

В «красном уголке» установилась гнетущая тишина.

— Но ничего этого нэ произойдет. Потому что имеемся ми с вами. В нашем лице они па-прэжнему живи! И с этим ничего нэ поделаешь. Все поймут: главное, чтобы народ ничего нэ узнал. Чтобы он

спокойно продолжал трудиться. Чтобы вождей па-прежнему видели на всех совещаниях, конференциях, съездах. Чтобы товарищ Молотов па-прежнему принимал послов, товарищ Каганович руководил железными дорогами и Метростроем, товарищи Ворошилов и Буденный — Красной армией, товарищ Берия — нашими славными органами. И так далее. Словом, нам придется реально руководить государством, а как долго — трудно сказать. Полагаю, что очень долго. Ви готовы к этому? Вот ви, товарищ Буденный?

— А что я? Я замнаркома. Как нарком прикажет, так и буду действовать, — нашелся Буденный.

— А ви, нарком Ворошилов?

— Ну, я нарком... — Ворошилов мучительно размышлял над ответом.

— Да. Ви нарком. Руководитель Красной армии. Ваши действия?

— Ну, руководитель. А кто организатор Красной армии? Товарищ Сталин. Как он скажет, так и стану руководить.

— Правильно, — подал голос Каганович-2. — Будем действовать, как скажет Сталин.

— Ты же сам говоришь: надо, чтоб народ ничего не заметил, чтоб осталось все по-прежнему, — взял слово Молотов-2. — А по-прежнему — значит, по-прежнему нами руководит товарищ Сталин. Ты. Вот теперь себя спроси: а ты к этому готов?

— Замечательное завершение трудного, но необходимого разговора, — сказал Сталин-2. — Нэт. Я нэ готов. Ми все нэ готовы. Но ми должны думать об этом и готовиться. Если это, не дай бог, случится.

— Дай бог, чтобы никогда не случилось! — искренне воскликнул Берия-2. — Никогда мне с такой работой не справиться, как Лаврентию Павловичу. И в мыслях не держу.

— Да кто держит? — торопливо подхватил Молотов-2 и укоризненно обратился к Сталину-2. — Заморочил нам головы. Тоже, нашел игру. Мы свое место знаем.

— Успокойтесь. Канечно, это било чисто теоретическое прэдпалажение. Нэ дай бог! А нэ выпить ли нам после столь напряженной дискуссии нэмого вина? И может бить, даже водки?

Разумеется, наутро Сталин-2 был доставлен к майору Яковлеву для объяснений.

— Что это за разговор вы провели вчера в «красном уголке»? Извольте объясниться! — Остальным двойникам Яковлев говорил то «вы», то «ты»: когда распекал, переходил только на «ты»; но обращаться на «ты» к товарищу Сталину-2 как-то не получалось.

— Провзрял настроения, товарищ майор, — с безупречным ста-

линским акцентом и в точной манере разделять слова паузами, свойственной великому вождю, отвечал Сталин-2. При этом он глядел майору прямо в глаза.

— Не понял, — чуть смутился Яковлев под пристальным немигающим взглядом желтоватых глаз — и глазами похож, дьявол кавказский! — Какие настроения?

— Панимаити, товарищ майор...

— Да прекратите вы эту имитацию! — не выдержал Яковлев. — Говорите по-человечески!

Осознав, что он брякнул, майор мгновенно покрылся крупными каплями пота.

— Виноват, оговорился, — хмуро пробормотал он, утирая лицо ладонью, а ладонь вытирая о мундир.

— Нэ биспакойтись, биваит. Останется между нами, — снисходительно простил майора Сталин-2. — Но это нэ имьитация, товарищ. Это, как ви, между прочим, сами трэбовали, постоянное прэбывание в форме... Ладно... — смилостивился он, видя, как майор физически страдает от буквальной подлинности сталинского голоса. — Ладно, товарищ майор, — снял акцент Сталин-2. — Объясняю вкратце. Состояние двойника — постоянное психологическое напряжение. Если проще — раздвоение личности. Ему нужно чувствовать себя оригиналом и одновременно не забывать, кто он такой на самом деле. В этом состоянии могут быть невольно спровоцированы нехорошие мысли, опасные фантазии — вплоть до желания действительно заменить своего, так скажем, хозяина, чтобы стать кем-то только одним. Представляете, если такая мысль станет навязчивой идеей — тем, что в психиатрии называется манией? Вот я и решил проверить, нет ли среди моих коллег людей, подверженных таким настроениям и predisposed к опасному развитию мыслей. С этой целью я и разыграл небольшой спектакль. И, конечно, сам доложил бы вам об этом, но меня опередили.

«Умен, дьявол!» — с уважением подумал Яковлев.

— Ну, и что же вы обнаружили, есть такие настроения?

— К счастью, пока нет.

— Вот и славно. Но давайте договоримся: без согласования со мной больше никаких проверок морального состояния ваших коллег не проводить. Понадобится — вызову, определимся, согласуем. А что нет таких настроений — очень хорошо!

Но хорошо было не очень. «Такие» настроения были. Да, у одного-единственного из «кукол» они все же имелись. У товарища Сталина.

Как мы уже говорили, Сталин-2 был большим хитрованом и авантюристом. Кроме того, за время работы двойником он показал себя по-настоящему одаренным актером. Правда, у него было природное преимущество: в то время как другим двойникам, набранным из разных мест страны, порою с трудом давался характерный для оригиналов говор, Сталин-2, будучи грузином, легко и безупречно освоил манеру Сталина говорить по-русски.

На даче, где жили куклы, Сталин-2 занимал привилегированное положение не только потому, что был двойником самого великого из вождей, но и в силу своего энергичного характера, и, в частности, умения любого поставить на место. Его побаивались не только простые охранники, но и отвечавший за дачу генерал. И даже сам начальник личной охраны Сталина, как мы знаем, благоволил ему и держался с ним, как с приятелем, мало при этом церемонясь со всеми остальными куклами.

Вероятно, это его особое положение и спровоцировало в Сталине-2 некую совершенно безумную мысль. Но, может быть, не только и не столько положение, сколько тяга подлинного авантюриста к новым приключениям, хотя бы и чреватым смертельным риском. Эта безумная мысль исподволь вызрела в нем, по мере того как пребывание в роли двойника, поначалу диковинное и вполне удовлетворявшее его честолюбие, становилось привычной и даже рутинной работой...

С другой стороны — почему безумная? Разве не убедился он в течение нескольких лет, суммируя редкие встречи со своим подлинником, что быть вождем означает всего-навсего повелительно разговаривать с окружающими, отдавать короткие недвусмысленные приказы и ни за что при этом не отвечать, всякий раз находя виновных на стороне? А что касается внешности и манеры поведения, то не исключено, что он, хитрован, в большей степени является Сталиным, нежели сам Иосиф Виссарионович. Во всяком случае, каждый раз, стоя на Мавзолее, он чувствовал себя настоящим начальником этой удивительной страны и любимым вождем этих сотен тысяч, что проходили внизу, неся его портреты и восторженно крича ему что-то, сливающееся в одну бесконечную «аллилуйю». Сходя с трибуны, шагая вместе со своими «соратниками» и охраной, которую правильнее в этой ситуации назвать конвоем, по гулкому подземному переходу под кремлевской стеной, садясь в автобус с наглухо закрашенными стеклами и возвращаясь на дачу, он пребывал в таком состоянии, какое овладевает зрителем, когда он выходит из кино, посмотрев цветную голливудскую ленту с лихими песенками и солнечными пейза-

жами, нежными красавицами и отважными ковбоями, и оказывается в реальной обстановке своего бесконечно родного города. Только что он, радостно сливаясь душой и телом с героем, скакал в прериях, стрелял навскидку из винчестера, а после прижимался жадными губами к устам полногрудой девушки, покорно обмякшей в его стальных объятиях... И вот он уже бредет в толпе себе подобных, разгребая ботинками мутную жижу луж на тротуаре, мимо обшарпанного забора какой-то на века заброшенной стройки, под тусклым свечением редких фонарей.

Безумная мысль зрела, зрела и вызрела. Как всякий настоящий авантюрист, хитрован не рассчитывал далеко своих планов и мало был озабочен тем, скажем, обстоятельством, что никогда не бывал в квартире Иосифа Виссарионовича, никогда не видел его детей. Главным было совершить решающее действие, а там видно будет, полагал хитрован.

Для решающего действия нужен был подходящий случай. Он мог произойти вскоре. Мог не произойти никогда. Хитрован ждал.

* * *

Сталину предстояло принять делегацию авторитетных коммунистов Запада. Это была не первая такая встреча, и прежде они не вызывали у вождя тревожных предчувствий. На этот раз предчувствия были. В делегации должен был находиться человек, которому Сталин не доверял. Впрочем, не доверял он никому и никогда, но здесь был особый случай. Этот человек, чуть ли не единственный среди всех деятелей Коминтерна, не согласился с возвеличиванием Сталина как вождя мирового пролетариата и не скрывал этого своего одинокого и независимого суждения. В то же время лишить Коминтерн этого деятеля по ряду причин было нецелесообразно, и Сталину приходилось терпеть. Более того, еще со своих давних встреч с этим человеком в двадцатые годы Сталин побаивался его. Здесь не место объяснять истоки этой боязни. И речь шла, конечно, не о том, что во время предстоящей встречи этот человек мог внезапно покушаться на жизнь Сталина. Но он мог сказать ему прилюдно в лицо резкие и неприятные слова, на которые Сталин искал и не находил убедительного ответа.

Результатом размышлений о предстоящей встрече был приказ готовить к ней двойника.

Сталин вполне доверял людям, в обязанности которых входило поддерживать похожесть двойника на достаточном уровне. Но иногда не ленился убедиться лично, что двойник здоров, бодр и сосредоточен на очередном спектакле. Кроме того, иногда товарищ Сталин

считал, что с Мавзолея во время демонстрации должно прозвучать несколько его драгоценных слов, и тогда он сам проводил репетицию с куклой.

Тем более он пожелал сделать это в предвидении встречи с западными коммунистами. Ведь двойнику предстояло обмениваться рукопожатиями, беседовать, спрашивать и отвечать.

Сталина-2 привезли на ближнюю дачу. Он был введен в кабинет Сталина в сопровождении начальника личной охраны вождя и режиссера-педагога. Одет он был в точности как Сталин-1.

Всякий раз, как Иосиф Виссарионович видел своего двойника вблизи, он заново поражался их схожести. За эти годы исчезла даже ясно различимая прежде разница в возрасте. Неизвестно, что послужило причиной ускоренного старения, но двойник выглядел теперь сверстником Иосифа Виссарионовича. Сталин вдруг ощутил, что ему трудно встречаться взглядом со своим вторым я.

— Закурите, — приказал он.

Двойник достал из кармана кителя трубку, точнейшими жестами Сталина-1 набил ее табаком из лежащей перед Сталиным-1 коробки папирос «Герцеговина Флор», неторопливо разжег огонь и, попыхивая дымком, принялся задумчиво расхаживать по комнате.

Сталин тяжелым взглядом сопровождал его перемещения.

— Есть какие-нибудь замечания, товарищ Сталин? — почтительно спросил режиссер-педагог.

Сталин тоже раскурил трубку, жестом велел двойнику остановиться. Он точно также пересек кабинет по диагонали туда и сюда, но не имитируя задумчивость, а будучи действительно в нее погружен.

Режиссер-педагог и начальник охраны переглянулись, поймав себя на одной мысли о полной неразличимости двух людей.

— Замечаний нет, — произнес, наконец, Сталин. — Оставьте нас одних.

Сопровождавшие двойника удалились, понимая, что вождь будет сейчас репетировать с двойником предстоящие тому разговоры с зарубежной делегацией.

Через минуту в комнате охраны затрещал звонок срочного вызова в сталинский кабинет.

Прихватив подчиненных, начальник охраны помчался к повелителю. Вбежав в кабинет, они застали такую картину. Сталин стоял возле стола, тяжело дышал, потирал пальцы левой руки, видимо, сильно ушибленные, и был в сильнейшем гневе. Его двойник валялся на ковре и был без сознания.

— Кукла сошла с ума, — объяснил Сталин. — Она заявила, что сама знает, как ей лучше сыграть меня при встрече с моими зару-

бежными товарищами из Коминтерна. Как известно, мания величия не излечивается. Расстрелять и немедленно!

Охранники схватили двойника и поволокли его к выходу. Сталин сел за стол и принялся перебирать бумаги.

— Иди и ты, — сказал он начальнику охраны. — Об исполнении доложить.

Начальник, однако, не уходил. В его в общем-то не слишком гибком уме зародилось смутное сомнение... такое страшное, что от ужаса он и сам едва не потерял сознание и непроизвольно присел на один из стульев у стены.

— Что с тобой? Испугался за вождя? — насмешливо спросил Сталин. — Как видишь, товарищ Сталин способен защитить себя и без помощи твоих дармоедов. Как говорят русские люди, уложил одной левой.

Страшная догадка продолжала кружить голову начальнику охраны. Перед ним сидел его повелитель, со знакомыми морщинами на лбу и в уголках глаз, с легкими залысинами в рыжеватых волосах, с желтоватыми глазами, излучавшими неколебимую волю. В ушах его звучал голос со всеми его характерными особенностями. Без сомнения, это был он. Но как он мог ударить двойника левой рукой, да еще с такой силой, что лишил его сознания? И не в том дело, что Сталин не был левшой. Дело было в самой руке. Левая рука товарища Сталина, несмотря на попытки крупнейших медиков остановить процесс, год от года становилась все хуже. Она сохла и плохо сгибалась в локте. В последнее время она с трудом удерживала на весу телефонную трубку. Конечно, в состоянии сверхъестественной ярости человек может ударить и немощной рукой, и все же...

— Я не испугался, товарищ Сталин, — произнес, выходя из оцепенения, начальник охраны. — Я только подумал: может быть, отменить МХАТ? Вы, наверное, сильно зашибли руку.

Сталин внимательно посмотрел на него, как если бы услышал что-то не совсем вразумительное. И после обычной своей паузы ответил:

— Может, и отменю. Не думай о пустяках. Ступай, немедленно расстреляй его и доложи.

— Слушаюсь!

Закрыв за собой дверь кабинета, начальник охраны помчался во всю прыть.

Его гаврики заканчивали разоблачение — буквальное — двойника. Стянули безупречно точные копии сталинского костюма — китель, брюки, мягкие кавказские сапоги — и в ожидании дальнейших приказаний швырнули его в угол. Двойник, когда ворвался на-

чальник охраны, как раз начал приходить в себя. Он приподнял голову и мутно озирался, плохо соображая, что с ним произошло и происходит.

Начальник охраны упал на колени перед ним и прокричал:

— Товарищ Сталин! Умоляю! Расстреляйте меня, я это заслужил! Но только скажите: куда вы собирались сегодня вечером? Вспомните, это очень важно, товарищ Сталин!

И, так как взгляд полураздетого человека был еще мутен, он повторил по слогам:

— Се-год-ня-ве-че-ром-ку-да?

Раздетый до белья человек несколько прояснился взором, метнул на стоящего на коленях начальника охраны гневный взгляд желтоватых глаз и глухо произнес:

— В тэатр.

— В какой, товарищ Сталин?

— В Большой...

Начальник вскочил на ноги, закатил старшему охраннику оплеуху и диким голосом проорал:

— Этот — настоящий!!! Быстро в кабинет! Сволочи!

* * *

— Черт побери! — не исключено, что воскликнет в этом месте читатель с богатым воображением. — Какая скромная фантазия! Да ведь в тысячу раз интереснее было бы, если б настоящего Сталина успели расстрелять!!! Вот это были бы приключения! Как восприняли бы это события соратники? Ликвидировали бы двойника или оставили его в виде декорации? Согласился бы он сам в этом последнем случае на декоративную роль или обнаружил бы претензии на такую же власть, какой обладал настоящий Сталин? Головокружительные фантазии, простор, океан! Жаль, жаль, что автор не захотел или испугался ринуться в эту пучину...

Что мне ответить читателю с воображением? Конечно, он прав, и успешный исход авантюры Сталина-2 давал бы возможность замечательного поворота в сюжете всей этой истории, превращая ее из цепочки анекдотов в колоссальный трагифарс, да и вообще переводя в иной масштаб. Кто знает, что было бы с Россией, с Советским Союзом, с всемирным коммунистическим движением и со всей планетой, если бы однажды Сталиным стал наш хитрован.

А в том, что погибни настоящий Сталин, фальшивый был бы признан за всамделишного, можно почти не сомневаться. В самом деле, как поступить соратникам? Объявить советскому народу, что его великий вождь пал от рук подлых убийц из троцкистско-бухаринс-

кой банды? Но как отзовется в народе ошеломительная весть? Не сметет ли самих соратников волна народного гнева? Не исключено, что в предвидении такой, гибельной для них волны одни соратники постараются нацелить ее на других. Возможны молниеносные комбинации. Допустим, Берия-Маленков объявляют о разоблачении банды сталинских убийц во главе с Молотовым-Кагановичем-Ворошиловым, а те выступают со встречным разоблачением. Маленков успевает тиснуть сообщение ТАСС в «Правде», а Молотов-Каганович-Ворошилов пробиваются на Всесоюзное радио. Миллионы людей по стране разворачивают «Правду» и читают одно сообщение ТАСС, а из радиотарелок слышат совсем иное. Берия успевает схватить Молотова, а Ворошилов — Маленкова. Дивизии НКВД против регулярных частей Красной армии. Война? Штурм Кремля, осадное положение в Садовом кольце...

Стоп, стоп. А может быть, соратники, просчитав ходы, поймут, что речь идет о примерном равенстве сил и, стало быть, борьба чревата взаимным уничтожением и приходом наверх каких-то третьих лиц — и договорятся? Чем плох декоративный Сталин? Стоял на трибуне Мавзолея, что ж, пусть теперь сидит на заседаниях Политбюро. Ну, а чтоб не вздумал стать действительным властелином, придется создать ему особый режим, изолировать действующий макет бога от нежелательных контактов со случайными людьми. Тем более, что и подлинный Иосиф Виссарионович практически не появлялся перед народом... Ну, а если хитрован перехитрит самый хитрый режим, перессорит соратников меж собой и станет-таки властителем страны и государства?

Словом, как не пожалеть, что автор спасовал перед открывающимся необозримым пространством для самых фантастических предположений!

Увы, дорогой читатель. Хоть автор и назвал свое сочинение фантазией, хоть он, как сознался в самом начале, не имеет никаких достоверных сведений, это еще не значит, что он не имеет сведений вообще. Автор фантазирует, но не на пустом месте, а на основании слухов. Слухи есть специфическая разновидность информации, особенно ярко расцветающая в опутанных колючею проволокой секретности информационных полях тоталитарного государства. Слухи смутны, обрывисты, противоречивы — и потому позволяют фантазировать. Есть два похожих слова: вымысел и домысел. Вымысел — безудержная игра воображения. Домысел — догадка, основанная на предположениях. В данном случае автор не вымышляет, а домысливает, питаюсь невнятными слухами. Что нами с какого-то времени под видом Иосифа Виссарионовича Джугашвили-Сталина правил дру-

гой человек, его двойник — такого рода слухи, даже самые невнятные, автору неизвестны. И как ни соблазнительно было продвинуть фантазию в этом направлении, он не считал возможным позволить Сталину-2 длительное существование в роли подлинника.

Нет, хитрован был Сталиным считанные минуты. Другое дело, что эти последние мгновения своей жизни он провел в таком состоянии духа, в каком мало кто пребывал на Земле, а может быть, и никто. И, учитывая авантюрный склад его характера, его неприятие обыденности, можно вообразить, что многолетнее существование в виде Сталина рано или поздно приелось бы ему, стало восприниматься довольно рутинным и не доставило бы столь острых ощущений, как эти считанные минуты.

* * *

Вечером, в правительственной ложе Большого театра, в антракте, когда в ложу внесли вино и фрукты, и вино было разлито в бокалы, Сталин, дождавшись, когда уйдет официант, сказал:

— Одну минуту, товарищи члены Политбюро.

Руки, потянувшиеся к бокалам, послушно остановились.

— Должен сообщить вам две новости. Одна очень неприятная, другая гораздо лучше. Очень неприятная новость состоит в том, что наши с вами куклы создали контрреволюционную организацию, деятельность которой, к сожалению, проморгал наш бдительный Лаврентий Павлович и его якобы безмерно преданные нам чекисты.

Услышав это, Берия снял пенсне, посмотрел на него, как на залетевшую на нос бабочку, и осторожно положил на стол. Лицо у него сразу стало растерянным, как у бабы, которую только что обокрали на рынке.

— Эта контрреволюционная организация поставила себе целью заменить собою весь состав Политбюро, Секретариата и высшего командного состава Красной армии. На ближайшей Первомайской демонстрации они намеревались произнести с трибуны Мавзолея заявление, от нашего с вами имени, полностью поворачивающее как нашу внутреннюю, так и нашу внешнюю политику. Последствия такого заявления перед возбужденными колоннами, в приподнятой атмосфере первомайского торжества, вы можете себе представить.

Сталин замолчал и раскурил трубку. Он попыхивал дымком и молчал. Снизу, из партера, доносились аплодисменты, которыми в течение всего антракта полагалось приветствовать правительственную ложу.

— А... вторая новость, Коба? — решил прервать паузу Ворошилов.

Сталин выколотил трубку о край стола, сунул ее в карман, улыбнулся и сказал:

— Вторая новость гораздо лучше. Организация полностью разоблачена, виновные безоговорочно признались... И желающие могут почтить их память вставанием.

Правильно поняв товарища Сталина, соратники встали.

— Прошу садиться.

Он поднял свой бокал, в котором дробился и искрился свет люстры, и произнес:

— По-своему жалко этих людей. Мы к ним немного привязались, не так ли? Они были очень похожи на нас. Я бы сказал: слишком похожи. Мир праху!

После того, как был выпит поминальный бокал, Берия, вернувший пенсне на место, сказал:

— А я, Иосиф Виссарионович, признаться, даже рад. Не скрою, мне всегда нравилось самому стоять на Мавзолее, над телом нашего дорогого Ильича. В эти минуты я чувствовал, как крепну в идеологическом разрезе.

— Молодец, Лаврентий, — отвечал вождь. — За то, что просяпил контру, будешь наказан. Крепко наказан. Но сейчас сказал правильно. Хорошо сказал. И мы должны сами стоять над дорогим нашим Ильичем. И мы сами должны ощущать дыхание масс. Не надо бояться людей. Более того, им следует доверять. И тут нас имеет право справедливо упрекнуть Георгий Максимилианович. Вы помните, он первым и исключительно добровольно вернулся на трибуну. Хотя трудно представить себе чудака, который промахнется по такой мишени!

Все посмотрели на тучного, раскормленного Маленкова, на его широкое лунообразное лицо, и дружно рассмеялись.

Так в действительности был ликвидирован институт двойников.

1990 г.



*романтические будни и трудовые приключения Опрокиднева,
старшего техника проектного института «Электропар»*

Л Ю Б И М Е Ц П У Б Л И К И

ОТ АВТОРА

Когда у автора появляется на свет новый литературный персонаж, происходит то же, что и при рождении настоящего ребенка: ты учишь его ходить, говорить, понимать куда он попал и что здесь творится. А потом он, как и человеческое дитя, незаметно подрастает и действует самостоятельно: говорит и поступает, как ему заблагорассудится, и отнюдь не собирается умирать той естественной смертью, какой, казалось бы, обязаны завершать свой жизненный путь литературные персонажи — по желанию автора.

Судьба старшего техника проектного института «Электропар» Опрокиднева сложилась несколько по-иному. Он родился у меня осенью 1970 года, проковылял на неокрепших ножках по страницам свердловской прессы, а в возрасте неполных трех лет появился в клубе «12 стульев» «Литературной газеты», где и резвился целый год подряд, за что получил от благодарной редакции премию «Золотой теленок». Затем он устремился на радио и телевидение, мелькнул на экране «Фитиля» и трижды поразвлекал читателя в моих книжках. Несколько раз до меня доходили сведения о его выходах в свет в других республиках Союза, на присущих им языках. Этого показалось мало: Опрокиднел начал регулярно выезжать за границу (к сожалению, не беря с собой автора) и заговорил по-польски, по-немецки, по-болгарски, по-итальянски... К этому времени я несколько устал от него, однако не был уже властен над его судьбой. Но то, что не удалось автору, свершила поступь эпохи. Вполне невинные иронические умозаключения, какие позволял себе мой персонаж, — даже и они оказались неприемлемыми, поскольку придавали досадную хромоту величавой походке незабываемой эпохи конца семидесятых. Я отправлял Опрокиднева в самые разные редакции,

но всякий раз он возвращался домой. И тогда я, еще недавно желавший насильственно прекратить его пусть и любопытную, но затянувшуюся жизнь, решил продлить ее назло немилосердным временам...

Так прошли годы. Сегодня полный перечень опрокидневских историй известен только автору и узкому кругу его приятелей. Для широкого читателя повествование о моем герое на три четверти закрыто белым пятном. Меж тем сами эти истории ушли в историю с большой буквы, они происходили в несуществующем ныне СССР. Заинтересуют ли они кого-нибудь сегодня?

А почему бы и нет, самонадеянно предполагает автор. Прошлое еще долго будет взывать к нашей памяти всеми своими чертами — и масштабными, и житейскими, всеми своими тональностями — от эпической до комической. И если Опрокидневу удастся напомнить сегодняшнему читателю кое-какие забавные обстоятельства эсэсэсэ-ровских лет и советской жизни — не исключено, что он вновь, пусть ненадолго, подтвердит полученное в семидесятые годы неофициальное прозвище «любимца публики»...

ФАНТАЗЕР В УНИВЕРМАГЕ

Мне понадобилась новая лента для пишущей машинки, еще кое-какие мелочи, и я отправился в универмаг.

У входа я по рассеянности налетел на неподвижно стоящего мужчину, извинился и уже хотел было идти дальше. Но что-то остановило меня, и я невольно обернулся к невинно пострадавшему.

Это был румяный молодой человек. Он глядел прямо перед собой, в витрину. Он думал. Он напряженно соображал. Витрина представляла из себя нечто вроде высокого узкого аквариума, дно которого было усыпано щебнем и украшено ползучими растениями. С никелированных палок, словно водоросли, свисали дешевые, выгоревшие на солнце ткани.

Я люблю наблюдать за интересными людьми. Чтобы не быть назойливым, я встал на расстоянии двух шагов и принялся размышлять: чем привлекла эта витрина молодого человека?

Сначала я решил, что он выбирает материю кому-то в подарок. Наверное, он скуповат, несмотря на симпатичную внешность. Наверное, у его старенькой мамы день рождения, и он соображает, как бы отделаться подешевле. А может быть, не маме, а жене? Но что-то в его позе и в костюме подсказывало, что молодой человек холост.

Однако, подумал я через минуту, если он выбирает материю, то приходится признать, делает это до удивления медленно. Во всей

витрине было лишь три вида расцветки, и ясно было, что ни одна из них не понравится нормальной женщине, а потому думать тут было нечего: либо брать любую, либо никакую.

А он все стоял и думал, и губы его беззвучно шевелились.

И тут меня осенило. Он смотрит не на витрину, а сквозь нее, внутрь! Там, в универмаге, за двумя стеклянными стенами, бродили покупатели. Так как это был отдел тканей, то в основном — покупательницы. Среди них я сразу заметил длинноногое создание в воздушном сарафанчике. Создание лениво бродило среди пестрых шелков, откидывая на плечи огненные волосы. Уж не за этой ли девушкой следит незнакомец?

Вот она вздохнула, посмотрела на часики и направилась к выходу. Вскоре она прошла между мною и незнакомцем, обдав нас запахом нагретых на солнце волос. Я оглянулся: нежный пушок золотился на ее стройных ногах...

Однако незнакомец и взглядом не повел.

Тогда мне все это надоело, и, так и не разгадав загадочного незнакомца, я решил войти в универмаг.

Не поворачиваясь, он резким движением ухватил меня за рукав и притянул к себе.

— Я вижу: вас это тоже возмущает, — прошептал он. — Вы правы! Дальше так продолжаться не может. Это надо запретить, и как можно быстрее.

— Что именно? — спросил я, ощущая неясную тревогу. — Что запретить?

— Продажу оружия населению, — твердо сформулировал он и окинул витрину гневным взглядом пацифиста.

— Гм-гм... — Только и мог ответить я. — Где вы видите оружие?

— А это что? — удивился он, явно указывая на выгоревшие ситцы, именно на них, а не на что-нибудь другое. Наши взгляды встретились, и я наконец понял: передо мной стоял сумасшедший. Я подумал, что было бы негуманно оставить его в состоянии, столь близком к депрессии.

— Где вы видите оружие? — ласково переспросил я.

— Везде, — ответил он. — Всюду. Там, там, там, — он показал на соседние витрины и в целом на весь универмаг. — Здесь, в универмаге, и во всех других магазинах. В любых. Неужели этого не видит никто, кроме меня? Неужели это никого не волнует, кроме меня? — спросил он с горечью.

— Что вы, что вы, — поспешил я успокоить его больное воображение. — Уверяю вас, общественность...

— Ах, общественность, — усмехнулся он. — Не прячьтесь за обще-

ственность. Меня интересует ваша личная позиция. Как к этому относитесь вы?

Нет, положительно, его надо срочно вывести из этого маниакального состояния в какое-нибудь менее злоеущее. Но как? Я встречал сумасшедших, но входить в тесный контакт не доводилось. Единственное, что я знал: спорить с ними бесполезно.

— Знаете что, — предложил я. — Давайте вместе войдем в универмаг, пройдем по всем отделам, и как только увидим, что где-нибудь торгуют оружием, сразу начнем с этим бороться.

— Очень хорошо, — сказал он. — Вы не пожалеете о своем решении. Идем!

Мы вошли. Неподалеку от входа располагался отдел по продаже телевизоров.

— Давайте смотреть, — сказал я, стараясь выглядеть озабоченным, — нет ли тут оружия?

— Что ж смотреть, когда и так видно, — улыбнулся румяный незнакомец. — Смотрите, если сами не догадались. — Он развернул стоявший на прилавке телевизор тыльной стороной к нам. — Там внутри есть такое местечко с напряжением в шестнадцать тысяч вольт. Если эти контакты присоединить к Опрокидневу, как вы думаете, что с ним будет?

— Сгорит ваш Опрокиднев, — ответил я. — Ну и что? И потом, как вы его присоедините к этим контактам? Он что, сам согласится?

— В том-то и загвоздка. Вряд ли согласится, — вздохнул больной.

Я мягко взял его под локоть и повел дальше. К сожалению, я не очень внимательно посмотрел, куда мы идем, и допустил сильный просчет: в следующем отделе торговали слесарными инструментами. Широленные ножи для резки металла, зубастые пилы, здоровенные, остро отточенные отвертки, увесистые гаечные ключи... Что и говорить, неплохие аргументы для моего подопечного! Однако, по необъяснимой логике, больной молча миновал этот отдел и устремился в весьма безопасные, на мой взгляд, края — в зону галантерей.

— Давайте проверим этот отдел, — предложил я, удовлетворенно разглядывая груды платков, галстуков, россыпи часовых ремешков, подвязок, блестящую ерунду шпилек и прочих заколок. — Использовать эти миленькие вещички в качестве оружия — вот уж поистине проблема, — не удержался я.

— Проблема одна, — ответил сумасшедший. — День рождения, вот проблема. Только бы пригласил. Дарим ему на день рождения вот тот галстучек, потом подходим и помогаем потуже затянуть. Вот, собственно, и все.

«В сообразительности ему не откажешь,» — подумал я и спросил:

— А носки?

— Элементарно. Даже пары не надо покупать. Надеваем ему носок на голову, по самые плечи. Вы не пробовали дышать через нейлоновый носок?

— Нет.

— И не пробуйте. Не получится.

Чувствуя легкое потрясение, я молчал.

— Это еще что! — рассмеялся он. — Идемте сюда.

Рядом торговали обувью.

— Приемы каратэ знаете? — Он сделал в воздухе несколько отрывистых движений, ударяя воображаемого противника ребром ладони. — А теперь представьте, что на руку надета эта туфелька.

Он взял со стеллажа мужской туфель с таким острым рантом, что я невольно вздрогнул.

Но сумасшедший уже тащил меня дальше. Впереди позванивала посуда. Домохозяйки выбирали кастрюли.

— Берем сковородку, — увлеченно планировал больной, — подходим к Опрокидневу сзади, бац! И нет Опрокиднева.

Я снова встретился с ним взглядом и на этот раз не испытал почему-то болезненного впечатления.

«Что-то в нем есть, в этом типе, — подумал я. — Чем-то он, черт возьми, убеждает».

Тут он увидел мерцающие ряды холодильников в дальнем углу зала и устремился к ним, исторгнув победный индейский клич.

— Будьте любезны! — продемонстрировал он. — Открываем дверцу, приглашаем его войти, ставим на максимальный холод, закрываем дверцу. Открываем через неделю.

— А если он не войдет? — слабо запротестовал я.

— Не войдет по габаритам или по желанию?

— Во-первых, по габаритам.

— Если по габаритам, недолго и обстругать, — сухо пояснил он.

— Рубанки продаются в третьем отделе от входа. Мы его пропустили по очевидной простоте наличествующей там ситуации.

— А если по желанию?

— Что вы заладили: если да если! — рассердился он. — А если войдет? Тогда что? Молчите? Убедились? Нет, вы мне откровенно скажите: прав я или не прав?

Я молчал, чувствуя себя одним из тех людей, которым Коперник доказывал шарообразность Земли.

— Начинаете понимать? — обрадовался незнакомец. — Сейчас проверим.

Он подтащил меня к отделу канцелярских товаров:

— Любопытный, кстати, отдельчик. По первому впечатлению — ничего особенного. Но если присмотреться... Итак, я буду называть, отвечайте быстро, не задумываясь. Карандаши?

— Гм... — замешкался я. — Заточить поострее и ткнуть этого вашего Опрокиднева в бок.

— Слабо, слабо мыслите, — раздраженно заметил он. — И сложно, сложно. Можно гораздо проще. Раздеваем Опрокиднева по пояс, пишем на спине бранное слово, но не говорим какое. Пытается прочесть, ломает шею. Дырокол?

— Пробиваем на Опрокидневе дырки. Истекает кровью.

— Это уже ближе к делу. Краски?

— Обливаем с головы до ног, задышается кожа.

— Годится. Картон?

— Пакуем Опрокиднева со всеми потрохами, сдаем в багаж малой скоростью до Хабаровска.

— Неплохо, — одобрил незнакомец. — Теперь прозрели?

Я огляделся. Я прозрел! Вокруг громоздились горы разнообразного оружия. Любым предметом, взятым с любой полки, при большой необходимости и небольшой сообразительности можно было ударить, заколоть, искромсать, проломить, задушить, отравить, уколошить, ухайдакать и натворить еще черт те чего кошмарными способами. И все это покупали женщины, старушки, дети, подростки...

— Бежим отсюда, — закричал я, чувствуя, что схожу с ума. — Скорее бежим!

Мы взялись за руки и помчались прочь.

— А этими тканями, — крикнул на бегу мой учитель, кивая на знакомую витрину у входа, — этими тканями полгорода можно передушить!

Мы выбежали из универмага и понеслись по улице — подальше от этих оружейных магазинов, оружейных киосков, оружейных ларьков.

Не помню, как мы очутились в укромном уголке городского парка. Здесь было тихо, спокойно, безмагазинно.

Я рухнул на садовую скамью.

(Если этой скамьей ударить Опрокиднева по шее...)

Тихо шелестели могучие дубы.

(Подарить Опрокидневу в День леса такой дуб, начнет его выворачивать, надорвет жилу...)

Веял легкий ветерок, сияло солнышко.

(Если Опрокиднева за ухо да на это солнышко, а там шесть миллионов градусов по одному только Цельсию... Боже, что я говорю?!)

Незнакомец вставил в мои трясущиеся губы сигарету, поднес зажигалку, сел рядом.

Несколько затяжек немного успокоили меня.

— Вот так, — сказал незнакомец. — А ведь поначалу вы меня приняли за сумасшедшего...

— Скажите, — простонал я, — а Опрокиднев? Почему вы так стремитесь его прикончить? Что он вам сделал?

— Что сделал мне Опрокиднев? — задумался незнакомец. — Ничего особенного. Просто всю жизнь командовал мною. Когда я был мальчишкой, он убедил меня, что я уродлив, чем надолго отдалил мои контакты с прекрасным полом. В юности я мечтал быть поэтом — он доказал мне, что я бездарность. Я хотел путешествовать, но он велел сидеть на месте и приобретать специальность. Когда я собрался жениться на прелестной девушке, он нашептал мне, что она меня не любит. Я хочу верить в людей и в светлое будущее, но он время от времени показывает мне разных мерзавцев и расшатывает мои идеалы. Когда мне весело, он говорит, что все равно будет тоскливо. Когда мне тоскливо, он говорит, что так будет всегда...

— Да кто он такой, этот Опрокиднев? Этот изверг?!

Незнакомец сказал:

— Опрокиднев — это я. И я хотел бы убить этого старого Опрокиднева и стать новым Опрокидневым, честным товарищем и веселым человеком.

— М-да... — Вдохнул я. — Вы и так довольно веселый товарищ.

— Прошу простить меня, — вежливо ответил Опрокиднев, — за психологическую травму, которую я вам невольно нанес. Я ежедневно тренирую чувство юмора в себе и в окружающих...

— Но зачем выходить за рамки? — с обидой перебил я.

— Возможно, вы правы, — ответил он. — Но где рамки?

Он распахнул руки, указывая на шумящую листву и на высокое синее небо, как бы предлагая мне согласиться, что рамок нет, и я понял: этот человек мне нравится.

Так автор познакомился со своим героем, с большим врагом шаблонного мышления, старшим техником проектного института «Электропар» Опрокидневым. Автор откровенно признается, что поначалу не понимал поступков своего героя. Он не видел в них логики. И так и не увидел. Автор (в порядке полной откровенности) считал и продолжает считать Опрокиднева чудаком. Но это не означает, что он относится к Опрокидневу отрицательно. Наоборот, он полностью согласен с Алексеем Максимовичем Горьким, сказавшим однажды, что чудачки украшают жизнь. И потому автор с удовольствием записывает мало похожие на правду опрокидневские истории. Он не бе-

рется утверждать, что они действительно имели место. Существует ли на самом деле проектный институт «Электропар» и служат ли там подозрительно наивные друзья Опрокиднева Курсовкин, Абаев и Джазовадзе, его славный начальник Эдуард Фомич Буровин и все эти восхитительно страстные женщины во главе со старшим инженером Марианной Власьевной и просто инженером Шараруевой? Не исключено, что все это Опрокиднев просто выдумал. Следует добавить, что и сам автор, в меру скромных сил, дополнил опрокидневские рассказы собственной фантазией. Тут автор должен признаться, что по складу своего характера сам он гораздо менее решительно, нежели его герой, вторгается в жизнь, и для ряда мыслей, кажущихся ему весьма важными, еще не нашел полноценных сюжетов. И автору остается надеяться, что и то содержание, которое ему удалось вложить в рассказы об Опрокиднине, все же найдет милосердного читателя.

ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Однажды, будучи в прекрасном расположении духа, Опрокиднев опаздывал на работу и вынужден был нанять такси. Он курил сигарету «Экстра», посматривал через стекло на прохожих и отпускал по их поводу незамысловатые шутки. А водитель хмуро крутил баранку и молчал. Тогда Опрокиднев рассказал анекдот про нильского крокодила. А водитель все равно молчит. Тогда Опрокиднев спрашивает:

— Почему вы со мной не разговариваете, товарищ водитель?

Водитель и на это ничего не ответил.

Едут они так, едут, и вот Опрокиднев говорит:

— Вам, наверное, кажется, что я на вас обиделся. Поверьте, это не так. Я замолчал, чтобы обдумать ваше поведение. Да, сначала я решил, что вы замкнутый человек. Но потом я поставил себя на ваше место и мне стали ясны причины вашей молчаливости, вашего нежелания разговаривать, вашего неответа на мои шутки. Сейчас я эти причины вскрою перед вашим изумленным взором.

Опрокиднев закурил еще одну сигарету «Экстра» и продолжал:

— Люди бывают разные. Одни дают чаевые всегда и всюду. Другие — никогда и нигде. Третьи — то так, то сяк. И вот ко мне, водителю такси, подходит клиент. Сразу возникает проблема: брать его или не брать? И если брать, на каком уровне общаться в период поездки? Есть ли смысл разговаривать с ним, смеяться в ответ на его, прямо скажем, незамысловатые шутки? На все эти вопросы можно ответить,

только точно зная, как поведет себя клиент в конце пути. Или он уплатит по счетчику, или добавит сверху, или вообще сбежит.

— Я тебе сбегу, — сказал водитель. — Ключ видишь?

Опрокиднев покосился на сиденье и увидел там гаечный ключ с разводной головкой.

— Может, и не сбегу, — согласился Опрокиднев. — На мне ведь не написано.

— Вот именно, — вздохнул водитель. — Ничего-то на вашем брате не написано.

— А, собственно, почему?! — Сигарета в пальцах Опрокиднева вычертила в воздухе дымный знак вопроса. — Как раз и должно быть написано!!!

— На лбу, что ли?

— Нет, не на лбу, — сказал Опрокиднев. — На лбу не все согласятся. Можно сделать изящней и проще, в виде нагрудных нашивок. Или, еще лучше, значков. Простенькие такие, разного цвета. Например, белый кружок означает: «Даю полтинник сверху на любом расстоянии». Желтый квадратик: «Даю на чай только в нетрезвом виде». Синий ромбик: «Даю, если намекнуть, а сам не догадаюсь». Черный треугольник: «Не даю, и не жди». И так далее, и тому подобное. Эта система значительно облегчит ваш труд и вообще может привести к феноменальным ситуациям! Пример: к вам подходит клиент и просит перевезти его через улицу.

— Как это через улицу?

— А вот так. С этого тротуара на тот.

— Он что, ненормальный? — спросил водитель.

— Может, и ненормальный, — с радостью согласился Опрокиднев, — а вам какая разница, если на нем белый кружок?

— А белый кружок — это у нас что?

— «Полтинник при любом расстоянии»!

— А... — промычал водитель. — Тогда другое дело.

— А как же! Да с этими значками у вас будет не работа, а блеск и перламутр! Сортировка и градуировка с электронной точностью! Подошел один, вы ему: «С белым кружочком всегда пожалуйста. Позвольте чемоданчик». Подошел другой, а вы ему: «Если уж нацепил желтый квадратик, пойдя сначала выпей, а потом в машину лезь». Подошел третий, с черным треугольником...

— Ну, с этим разговор короткий. Этот пусть пешком идет, — рассмеялся водитель.

Опрокиднев тоже рассмеялся и сказал:

— Как летит время! К сожалению, мы уже приехали. Остановите вот здесь.

Счетчик показывал рубль шесть.

Опрокиднев выгреб из кармана скромный кожимитовый кошелек, а из кошелька вынул рубль. Этот рубль он положил в доверчиво протянутую ладонь водителя. На рубль он положил пятак, а на пятак — копейку.

— Спасибо, — сказал Опрокиднев. — До свидания, до новых встреч в эфире.

— Я тебя не понимаю, — сказал водитель, суммируя деньги на своей широкой доверчивой ладони. И он действительно не понимал Опрокиднева.

— А вы представьте, что эти значки уже введены, — объяснил Опрокиднев, отворяя дверцу и нащупывая правой ногой тротуар. — И у меня вот здесь, — он нежно тронул лацкан пиджака, — черный треугольник.

С этими словами он покинул гостеприимный салон таксомотора и через пять минут уже сидел на рабочем месте, над расчетом паропровода высокого давления на изгиб.

«Любопытная у меня родилась идея, — удовлетворенно думал он. — И кстати, весьма и весьма универсальная. Такси — это частность, побрякушки. Есть вопросы поважней, например: семья и брак. Желает ли человек соединить себя узами брака с блондинкой (блондином) или брюнеткой (брюнетом), рассчитывает на интеллигентку (интеллигента) со скромным заработком или наоборот — все это может быть четко выражено системой нагрудных значков.

А возьмем проблемы снабжения? Сейчас каждый имеет возможность что-нибудь достать. В то же время каждому чего-нибудь не хватает. Нужна краткая недвусмысленная информация: кто где работает и на что способен. Нужны изящные значки, изображающие кирпич, лес — и пиломатериалы, мандарины, селедку, различные детали бытовой электроники и прочих дефицит...»

— Опрокиднев, будем мечтать или будем работать? — сердито спросил Буровин.

«Он прав, — подумал Опрокиднев. — Нас здесь тридцать человек, и ни на одном не написано, зачем он сегодня пришел: работать или мечтать. А как было бы хорошо: на груди значок в виде скрепленных кирки и лопаты — значит, пришел работать. Миниатюрная копия известной скульптуры «Мыслитель» — значит, пришел мечтать...»

— Я тебя спрашиваю?!

— Будем, Эдуард Фомич, обязательно будем! — заверил Опрокиднев. — Будем работать и будем мечтать!

ОПРОКИДНЕВ — МИСС ЕВРОПА

Однажды, когда Опрокиднев сидел над расчетами паропровода высокого давления, к нему подошел профорг Курсовкин.

— Опрокиднев, — сказал он. — Идем. Ты нам нужен как опытный советчик в деликатном вопросе.

— А в чем дело? — спросил Опрокиднев, умножая четырнадцать на девятнадцать.

— Нужно выбрать кандидатуру для одного мероприятия, — объяснил Курсовкин.

Вскоре они вошли в комнату, где уже сидели члены местного комитета Аабаев, Джазовадзе и Чубарик.

— Опрокиднев, — сказал Курсовкин, — тебе, может быть, неизвестно, что в настоящее время везде и всюду проводятся конкурсы красоты. Они называются выборами мисс. Схема движения такая. Мы выбираем мисс нашего проектного института и посылаем ее на районный конкурс. Там выбирают мисс района и посылают ее на городской конкурс. И так далее вплоть до мисс Европы и мисс Планеты.

— А какому примерно званию соответствует мисс Планеты? — спросил Аабаев. — Кто как думает?

— По моим прикидкам, — сказал Джазовадзе, — примерно полковнику военно-воздушных сил.

— А я считаю, никак не меньше генерального секретаря Организации Объединенных Наций, — взволнованно сказал Чубарик.

— Полковник не полковник, — сказал Курсовкин, — но заместитель директора, почему нет?

— Не знаю, не знаю, — сказал Аабаев. — Из моего ума никак не уходит строчка великого русского поэта: «Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль».

— Кобылица, товарищ Аабаев, — строго сказал Опрокиднев, — это не должность. Это, скорее всего, призвание. Что касается мисс Планеты, то в первую очередь она соизмерима с игрой хоккейной команды «Спартак» в лучшие минуты ее третьего периода. Кроме того, в качестве официально зарегистрированного эталона красоты она служит на одном уровне с сигналами точного времени, время от времени испускаемыми нашими радиоузлами. И наконец, являясь носительницей на себе всего самого передового и модного, мисс Планета неосознанно управляет творческими порывами человечества, включая сюда музыку, живопись, литературу и кинематограф.

— Опрокиднев, — сказал Курсовкин, — может быть, тебе это неизвестно, но мы считаем тебя лучшим знатоком женщин института. И

мы ждем, что ты поможешь нам выбрать из них самую достойную кандидатуру на районные выборы мисс.

— Однажды мне было шестнадцать лет, — вспомнил Опрокиднев, — я шел по улице со своим дядей. Несколько раз он оборачивался и говорил: «Какая девушка!» Тогда я спросил: «Дядя! Что вы в них находите?» Тогда дядя ответил: «Доживи до моих лет». И вот я дожил до его лет, и в полном объеме сбылось пророчество дяди.

— Ближе к делу, — попросил Абаев.

— Товарищи! — заверил Опрокиднев. — Все женщины нашего института привлекают меня своей загадочной привлекательностью и будут привлекать ею всю жизнь. И у гробового входа не забудутся хрупкие очертания старшего инженера Марианны Власьевны, упругие шаги заведующего лабораторией Наказаньевой Е.А., тронутые ласковым загаром руки молодой лаборантки Клары. А разве можно пройти мимо внимательных глаз официантки нашей столовой Вероники? Равным образом было бы преступлением не коснуться в этом вопросе роскошных натуральных волос архивариуса Клементины Стоппер! Давно я, кстати, не любовался игрой неоновых светов в ее задумчивых кудрях, несмотря на ежедневные посещения архива, где стройный стан младшего библиотекаря Анастасии Н. влечет меня своим странным изгибом.

— Стоппер ушла на пенсию, — объявил Джазовадзе. — Прошу тебя, Опрокиднев, выбирать только из штатных должностей.

— Не будем формалистами, — обиделся Опрокиднев. — За сборную регбистов нашего института вот уже второй год играет небезызвестный Клокотайло. И разве не мы нанмали в прошлом году артель инвалидов для поездки на уборку свеклы в подшефный совхоз?

— Ты что же, Опрокиднев, — спросил Чубарик, — толкаешь нас на подставку?

— Ни в коем случае, — удачно парировал Опрокиднев. — В разбираемом нами вопросе мы свободно обойдемся своими кадрами. Возьмите Наталью Сергеевну с ее коленями. А Шараруева с ее едва располневшими боками? А Соня с ее тонкой незащитной шеей? А Рита с ее красивым, широкоплечим мужем? А...

— Опрокиднев, — сказал Курсовкин, — если бы мы сомневались в твоём кругозоре, мы бы тебя не позвали. Кого конкретно ты предлагаешь на мисс нашего института?

— Конкретно на мисс нашего института, — сказал Опрокиднев, — я предлагаю начальника моего отдела Эдуарда Фомича Буровина.

Так сказал Опрокиднев и внимательно посмотрел на собравшихся.

— Мы ничего не имеем против Эдуарда Фомича в личном смысле, — сказал Курсовкин. — Товарищ Буровин отличный производствен-

ник, умелый руководитель проектных работ. Но, во-первых, он не женщина. Во-вторых, все-таки надо признать, что он не очень красивый.

— Я удивляюсь, товарищи, — запротестовал Опрокиднев. — Какая красота для вас важнее? Красота Натальи Сергеевны, архитектура различных частей ее тела и их подчас весьма прихотливых сочетаний или подлинно духовная красота нашего современника Эдуарда Фомича Буровина? Если хотите знать, — закричал Опрокиднев, — наша мисс должна быть... Или, вернее, наш мисс... Или, еще точнее, наше мисс прежде всего должно быть красиво своим трудом! И, если уж хотите знать все до конца, поинтересуйтесь, какое мисс собирается выставить наш основной соперник в районном масштабе, трест «Монтажсистематика»!

— Какое? — спросил Аабаев.

— «Монтажсистематика» выставляет в качестве самого красивого человека своего коллектива главного инженера товарища Промышлянского. И я не представляю, как будет конкурировать с этой солидной фигурой какая-нибудь там загорелая чертежница Марина с ее пусть даже ногами и даже Клементина Стоппер с ее натуральными волосами из японского нейлона. Удивляюсь вашей беззаботности, товарищи!

— Этого мы не знали, — сказал Курсовкин. — Сейчас я его приведу.

Вскоре он втащил в комнату упирающегося Буровина.

— Мужики, поймите меня правильно, — умолял Буровин. — У меня принципиально неверные черты лица. Никаких шансов. Только родной институт опозорю. Да посмотрите же на меня объективно!

Все объективно посмотрели на Буровина и вздохнули.

— Был бы я таким, как Опрокиднев, — раздраженно заметил Буровин, — тогда другое дело. Посмотрите на него.

Опрокиднев подбоченившись стоял в центре комнаты — сильный, красивый, молодой. Его задорный нос сапожком, его румяные щеки, его чисто промытые уши вызывали в душе образ овощного рынка в урожайный год: лаковые пупырчатые огурчики, розовая картошка, бордовая свекла, крутобокие томаты, прохладные духовитые охапки укропа... Крепкой природной красотой был красив в эту минуту техник Опрокиднев.

— Иди, Опрокиднев, — сказал Курсовкин. — Твоя идея, ты и иди. Ждем тебя с победой.

— Какое могло быть соревнование, — объяснял на следующий день Опрокиднев, — если я даже побриться не успел. А в других организациях кандидатуры еще за месяц были посажены на диету. И потом, возьмите самое мисс, товарища Промышлянского. Ведь он — главный

инженер. А я всего-навсего старший техник. Достаточно, что я обошел Синедухина с асфальтобетонной фабрики, хоть он и зам. главного технолога, и оттеснил его на третье место. Нет, товарищи, надо было посылать Буровина, тогда имели бы мисс. А если бы меня предварительно повысили хотя бы до старшего инженера, то за Планету не ручаюсь, но мисс Европа трудилась бы среди вас — это говорю вам я, Опрокиднев, крупнейший специалист в этом виде спорта.

КОМИТЕНТ ОПРОКИДНЕВ

Если бы женщины «Электропара» узнали, что в ранней молодости Опрокиднев был женат, они были бы поражены каждая в свое оскорбленное сердце. Уж слишком привыкли они к тому, что он принадлежит им всем на правах коллективной собственности, чтобы простить ему позорный факт сдачи в чьи-то сугубо индивидуальные объятия. Понимая это, Опрокиднев хранил обстоятельства своей семейной жизни в большой тайне и этого же требовал от меня. Но теперь, когда стираются белые пятна в отечественной истории, я полагаю своим долгом сообщить и о своем милом приятеле абсолютно все, даже то, что никак не украшает его в основном безупречную биографию.

Было, было такое зловещее время, когда Опрокиднев ошибочно женился на блондинке Маргарите. Трудно винить его в этой ошибке, ибо на период ухаживания Маргарита прикинулась своей дочкой, впоследствии же оказалась женщиной строгой, суровой и замкнутой. Кроме того, в первую же брачную ночь вскрылось ужасное обстоятельство: Маргарита решительно не понимала шуток.

Вскоре он окончательно понял: он не любит свою жену Маргариту и, более того, боится ее. Он понял также, что у него не хватает решимости уйти самому. Надежды на то, что уйдет Маргарита, не было. Уходить ей было не к кому. Оставалось одно: чтобы она его выгнала.

«За что меня можно выгнать? — размышлял Опрокиднев. — Что я для этого должен натворить? А не заняться ли мне любимым видом спорта миллионов? Не начать ли мне пить? Но не просто, знаете ли, выпивать, а неуклонно и последовательно спиваться, одну за другой теряя завоеванные в юности нравственные высоты? И не опуститься ли мне в конце концов до того, чтоб отнести в комиссионный магазин что-нибудь из вещей супруги, намереваясь вырученную сумму пропить? Не может быть, чтоб Маргарита простила мне подобный поступок!»

Как мог бы, но не догадался сказать Лев Николаевич Толстой, все непьющие пьют одинаково, каждый пьющий пьет по своей причине. Начал пить по своей причине и Опрокиднев. Уже возвращался он домой не только вечером, пошатываясь, но и ночью по стенке, да и под утро на карачках. Гнев Маргариты был страшен, однако изгнать мужа-алкоголика раз и навсегда не приходило ей голову. Оставлялось сделать последний решительный шаг.

И в один прекрасный — действительно прекрасный теплый день ранней осени, когда предстоящая зима кажется беспредельно далекой всем, но только не тем, кто озабочен поисками зимней обуви — Опрокиднев впервые в жизни переступил порог приемного помещения комиссионного магазина, застенчиво прижимая к животу хозяйственную сумку, из которой торчали голенища поношенных и сильно дефицитных английских сапог, казалось, еще хранивших очертания крепких ног суровой Маргариты.

Вход был со двора. Он поплутал в его тесных и захламленных извивах, поднялся на скрипучее крыльцо, толкнул обшарпанную дверь и оказался в полутемном помещении, густо забитом разнообразной публикой. Опрокиднев, повторим, пришел сюда впервые и не ожидал, что сдача вещей на комиссию пользуется таким большим успехом у населения.

Вздохнув, он занял очередь и, так как стулья и скамейки были заняты, притулился у стены.

Сдатчики сидели и стояли молча, лишь старуха, за которой занял очередь Опрокиднев, обернулась к нему и произнесла несколько фраз.

У нее были багровые щеки, а нос отливал неразбавленным сливовым соком.

— Мне вот до пенсии осталось три дня, а есть нечего, — сказала старуха. — Вот и приходится расставаться с вещами, ну, прямо от сердца отрывать.

Она погладила жеваную кошелку, таившую в себе дорогие ее сердцу вещи и бросила сердитый взгляд на английские голенища, торчавшие из опрокидневской сумки.

— Тоже, знаете, не на что хлеб купить, — заверил он.

— Ну-ну, — кивнула старуха. — А то некоторые притаскивают сюда тайком от жены, а потом пропивают.

— Вы правы, — незамедлительно согласился Опрокиднев. — Не перевелись еще негодяи, способные из-за рюмки разорить гардероб любимой супруги. При этом для их нравственного падения не существует пределов: и пальто могут уволочь, и шапку, или, допустим, сапоги...

«Боже, что я говорю?!» — испугался он, заметив, как женщины, составлявшие в очереди большинство, как по команде, повернулись к нему, и их взгляды скрестились на английских голенищах.

Чтобы успокоиться, он отвернулся к стене и принялся изучать помещенные на ней объявления. Множество пунктов регулировало права и обязанности сдатчиков, которые в этих сухих, но простран-ных текстах назывались незнакомым Опрокидневу словом: «комитент». Оно очень понравилось ему. Он шепотом произносил пункт за пунктом, добавляя свою фамилию: «В случае, если... комитент Опрокиднев не имеет права...», «В этом случае комитент Опрокиднев обя-зан в трехдневный срок...»

— Мужчина, я за фаршем схожу, — обратилась к нему женщина, занявшая за ним очередь. — Скажете, если кто подойдет?

— Не беспокойтесь, — поклонился Опрокиднев, — мы, комитенты, должны доверять друг другу.

— Давайте поговорим, как комитент с комитентом, — предложил он старухе, любопытствуя, знакома ли она с термином.

— Поговорим, поговорим, касатик, — охотно откликнулась багров-ая старуха. — И как комитент с комитентом, и как человек с чело-веком. Мне есть что сказать молодежи, интересная прожитая жизнь. Вот сдадим вещички, возьмем этого... хлеба... и поговорим.

Перспектива пить в обществе старухи не улыбалась Опрокидневу, но ее слова напомнили ему о конечной цели прихода сюда: сдав маргаритины сапоги, тут же отправиться в близлежащий ресторан «Ривьера». Впрочем, конечной была иная цель: напившись, вернуться домой, признаться в содеянном в надежде быть наконец изгнанным из дома и из семейной жизни. Ах, Маргарита...

Когда он наконец попал в комнату приемщицы и выложил сапо-ги на стол, то с удовлетворением отметил, как загорелись глаза этой многоопытной работницы. Она помяла в сильных пальцах лоснящу-юся кожу и осторожно произнесла:

— Сильная поношенность...

— Сильная так сильная, — торопливо согласился Опрокиднев. — Торговаться не буду.

— Приятный клиент, — одобрила приемщица и быстро выписала квитанцию.

— А где деньги выдают? — нетерпеливо спросил Опрокиднев.

— В кассе, — удивилась приемщица. — Через три дня после того, как ваши сапоги купят. Заходите или звоните.

Тут только комитент Опрокиднев вспомнил пункты про трехднев-ный срок, которые так бездумно зачитывал на стене. Он был страшно расстроен.

— Но мне надо сейчас!

Приемщица пожалала плечами.

— Тогда, извините, забираю.

Опрокиднев потянулся к сапогам. Приемщица ловко ударила его по руке, оглянувшись таинственно и негромко произнесла:

— Хорошо. Я могу вас выручить. Могу взять их лично для себя. Но никому ни звука — понимаете?

— Ради бога! — поклялся Опрокиднев, принимая пачечку червонцев. — Вы чуткая женщина, понимающая запросы современного мужчины!

Он вышел туда, где вилась бесконечная очередь, снова толкнул обшарпанную дверь, прошел двором и, выйдя на улицу, направился к «Ривьере», чьи окна, уютно завешенные кисеей, сверкали на ближайшем углу. Он шел и представлял, как почему-то именно в эти минуты Маргарита, вернувшись с работы, зачем-то принимается искать свои зимние сапоги и как не найдя растерянно садится у окна, закуривает сигарету и мучительно размышляет о непонятной пропаже. Она вспоминает, что муж уже уносил из дому книжки... Но это были его книжки. Неужели, думает она, он докатился до того, что... Боже мой, в чем я буду ходить зимой?

— Какая низость! — воскликнул вдруг Опрокиднев, напугав прохожих, и ринулся обратно.

Он растолкал очередь, ворвался к приемщице и с криком: «Верните сапоги! Я передумал!» — простер к ней руки.

Приемщица посмотрела на него, как бы говоря: предчувствовала я, что с этим алкоголиком хлопот не оберешься, вот всегда так — пожалеешь мужика, себе же на горе. А вслух сухо произнесла:

— Поздно спохватились, гражданин. Ваши сапоги уже в торговом зале.

— Вы же брали их себе? — удивился наивный Опрокиднев.

— Меряла. Велики, — кратко сообщила приемщица. — Идите в торговый зал и выкупайте обратно, если вам взбриндилось. А мне не морочьте голову и не мешайте работать. Следующий! — зычно крикнула она в полуотворенную дверь.

Опрокиднев бежал по ставшему, казалось, бесконечным двору, затем, сшибая прохожих с ног, летел ко входу в магазин и наконец, грубо толкаясь, притиснулся к обувному отделу.

Свои сапоги он увидел сразу: их примеряла женщина, как ни странно, весьма похожая на Маргариту.

— Снимайте! — закричал Опрокиднев. — Это мои сапоги!

— Здрасте, ваши! — зло откликнулась женщина, сию секунду толкнув ногу в узкий носок. — Не видите: я уж примеряю.

Группа женщин жадно следила за ее действиями.

— Я их только что сдал! Я передумал!

— Мало ли, передумал! Ты смотри, что сочиняют! — зашумели женщины. — Мужчина называется! Не стыда ни совести!

Женщина, похожая на Маргариту, налилась от натуги, но все было тщетно: нога в носок не проходила. Она с нескрываемой досадой отшвырнула сапог, пнула другой и освободила примерочную скамеечку. Тут же на ее месте оказались две дамы. Одна схватила левый сапог, другая — правый, и та, что схватила правый, молниеносно натянула его на ногу, притопнула, страшным голосом закричала: «Беру!» и вырвала второй сапог из рук нерасторопной конкурентки.

— Умоляю! — возопил Опрокиднев, упал на колени и принялся стаскивать сапог с ноги ловкой покупательницы.

— Ты что делаешь, гад? Хулиган!..

Дальнейшее не поддается описанию, ибо еще не родился художник, способный вразумительно передать сцену борьбы советской женщины с советским мужчиной за английские сапоги. И уж не знаю, каким фантастическим талантом нужно обладать, чтобы читатели поверили, что победил в этой битве мужчина.

Опрокиднев вышел на улицу, прижимая сумку с сапогами. Вслед ему еще неслись истерические оскорбления и могучие проклятья. Прихотливо расцарапанное лицо его горело от ссадин и от радости. О, Маргарита! Жизнь с тобой невыносима, и рано или поздно я найду способ прервать наши столь тягостные мне брачные узы, но не такой безнравственный, на какой я едва не решился в этот чудесный день ранней осени, когда сама природа своими кроткими красками и последними теплыми дуновениями призывает к достойным разрешениям семейных конфликтов. Взгляните, друзья: небосвод просторен и благороден, как декларация прав человека. Как десять Христовых заповедей, высоки и прекрасны облака. Золотая листва сквера светится, как невинная душа ребенка. Все вокруг шепчет: не падай, человек!

День между тем клонился к вечеру, над входом в «Ривьеру» вспыхнули зеленые и малиновые буквы вывески, а окна осветились изнутри мягким светом люстр, отраженным от потолка, и стали видны столики, посетители, пустующее пока возвышение для оркестра и официанты, снующие с подносами в руках. Графинчики на подносах, прозрачные и рубиновые, вспыхивали время от времени краткой и острой, как игла, вспышкой.

Вот официант притормозил у столика, ловко снял с подноса и поставил на скатерти тарелки со снедью, а затем взялся за графинчик.

Как замороженный, следил Опрокиднєв за его автоматическими движениями. Струя из графинчика лилась, наполняя один бокал за другим. Люди за столом оживленно переговаривались и потирали руки...

Ноги сами понесли Опрокиднєва в гадкий захламленный двор. И вскоре он снова стоял в полутемном помещении в конце очереди, под знакомыми текстами на стене.

— От судьбы не уйдешь, — горестно прошептал он. — А судьбе суждено, чтоб я стал комитентом.

Поздно ночью редкие прохожие могли наблюдать шествие безумно пьяного молодого человека. Горячая звезда алкоголя вела его широкими зигзагами, но неуклонно приближала к родному дому.

Маргарита не спала. В полном соответствии с предвидением Опрокиднєва она обшаривала полки, где хранились ее зимние вещи.

Она была так поглощена поисками, что даже не прореагировала на состояние, в котором появился ее несчастный выпивоха.

— Ничего не понимаю, — сказала она. — Где мои сапоги?

— Я их пропил! — внятно произнес Опрокиднєв и посмотрел на Маргариту так, как, возможно, глядит стоящий между рельсами самоубийца на приближающиеся к нему огни локомотива.

— Так... — сказала Маргарита. — Это уже за гранью добра и зла. Убирайся из моего дома, алкоголик! Больше ты здесь не живешь. Пошел вон!

И счастливый Опрокиднєв незамедлительно пошел вон, где и пребывает до сих пор.

Но уходя счел необходимым сделать важное уточнение:

— Я не алкоголик, Маргарита. Я комитент. А это — судьба!

ОПРОКИДНЄВ РАБОТАЕТ С КАДРАМИ

— А это оттого, товарищ Курсовкин, что большинство людей у нас находится не на своих местах, — сказал Опрокиднєв, усаживаясь в обеденный перерыв за один стол с профоргом.

— Кажется, я тебя ни о чем не спрашивал, — удивился Курсовкин, наблюдая, как Опрокиднєв перчит борщ.

— Считай, что уже спросил, — спокойно парировал Опрокиднєв.

— Так будет проще. Только не делай вид, что тебе безразлично, кого и куда я буду передвигать. Куда, например, меня? И куда, например, тебя?

— Куда, например, меня? — вяло спросил Курсовкин. У него назревал недобор по взносам за третий квартал, и это лишало его аппетита.

— С тобой успеется, — сказал Опрокиднев и налил себе пиво в пластмассовый бокал из-под салфеток. — Твое дело семьдесят седьмое. Если начинать, то с директора. Какой он организатор производства? Никакой. А какой чистюля?! Видел, что у него в кабинете творится? Ни пылинки. Нет для него большего удовольствия, чем подобрать с пола мельчайший клочок бумаги и сжечь его в мраморной пепельнице.

— Откуда это тебе известно?

— Из частных бесед с его секретарем Любочкой, протекавших в духе теплой сердечной откровенности, — пояснил Опрокиднев. — Теперь возьмем нашего дворника. За его действиями я наблюдал лично. Это мудрец! Дометет до последней ступеньки, а дальше, говорит, не моя территория. Дальше, говорит, пусть горсовет подметает. На место этого дворника я бы и поставил нашего директора.

— А дворника — директором? — спросил Курсовкин.

— Нет, дворника я бы сделал нашим юрисконсульт.

— Но у нас уже есть юрисконсульт.

— Какой он юрисконсульт? — удивился Опрокиднев и освежился еще одним бокалом пива. — Кто бы и что бы ему ни говорил, он смотрит собеседнику прямо в рот.

— Да, — согласился Курсовкин, — и это даже обидно.

— Вот именно. А мы его переведем зубным врачом в наш медпункт, и пусть смотрит там в наши рты с пользой для дела.

— Пусть смотрит. Но кто будет директором?

— Подожди, — отмахнулся Опрокиднев, — как будто нельзя работать без директора. Вот без кого нельзя, так это без нашего кассира Ксенофонтова. Но у него в последнее время так трясутся руки, что и до недостачи недалеко.

— Да, я тоже замечал. А что с ним?

— Живет с одной женщиной, а любит другую.

— Какую?

— Может быть, обойдемся без сплетен? — холодно попросил Опрокиднев.

— Извини, — покраснел Курсовкин. — Но что здесь можно исправить?

— Поменять этих женщин местами. Любовницу сделать женой, жену любовницей, и касса спасена.

— Это интересное предложение. Но кто будет директором?

— Боже мой! — произнес Опрокиднев, принимаясь за шницель. — Какие возможны варианты! В одном нашем отделе четырнадцать человек не на своих местах.

— А ты? — безмятежно спросил Курсовкин.

— Я? Ах, вот ты о чем! — От волнения Опрокиднев проглотил сразу полшницеля и выплюнул на стол вилку. — Думаешь, я себя пожалею?! Нет! Я, старший техник Опрокиднев, тоже не на своем месте. Меня надо пересадить значительно ближе к дверям, кульман в кульман с инженером Шараруевой, нога в ногу с ее молодыми горячими ногами, так удачно обтянутыми английским сапогом! Бок о бок с ее молодым здоровым телом, способным решать насущные задачи производства! Вот где истинное место Опрокиднева на данном этапе его лирической жизни! Вот где зарыта собака резкого увеличения производительности его труда! Да что я! Если по принципу взаимных влечений рассадить весь институт, мы выполним годовой план раньше, чем его нам спланируют! Мечты, мечты... — осекся он и осушил бокал пива.

— Но кто будет директором?

— Директором, — тихо ответил Опрокиднев, — будешь ты.

Он доел шницель, встал, поклонился и ушел.

— Он сказал: директор... — задумался Курсовкин. — Но что ему помешало сказать: председатель месткома? Что?

Автору остается добавить, что, узнав об этом разговоре, он вынужден был согласиться с претензией Опрокиднева на срочное присвоение ему нижеследующего титула: «Опрокиднев — расстановщик кадров по своим местам».

ОПРОКИДНЕВ БРОСАЕТ ПЕРЧАТКУ

Однажды Опрокиднев разыскал Курсовкина и попросил его вместе с Аабаевым и Джазовадзе пройти в курилку.

— Вы нужны мне не как активисты месткома, а как отзывчивые товарищи и близкие друзья, — объяснил Опрокиднев. — Буду краток. Только что нашему отделу вернули на переработку расчет паропровода. Это сделано по личному требованию представителя заказчика главного инженера «Монтажсистематики» Промышлянского.

— Промышлянский — опытный инженер, — заметил Курсовкин.

— Он имеет право вернуть.

— Имеет право?! — возмутился Опрокиднев. — И это после бессонных ночей, проведенных над этим расчетом мною и инженером Шараруевой?! Мы творили паропровод, как поэму! — воскликнул он. — Короче говоря, я принял решение вызвать Промышлянского на дуэль и прошу вас быть моими секундантами.

Подумав, он добавил:

— Эти ночи я не забуду никогда.

— А не круто берешь? — спросил Курсовкин. — Может быть, сначала поговорить с Промышлянским? Может, он перед тобой извинится?

— Дело не во мне, — ответил Опрокиднев. — Вызывая его на дуэль, я заступаюсь за поруганную честь института. Я как бы являюсь общественным обвинителем и, если уж говорить прямо, общественным палачом Промышлянского. Я как бы олицетворяю своим порывом лучшие черты нашего коллектива: смелость, отвагу, здоровую мстительность, умение постоять за себя.

— Закон гор говорит: такие оскорбления смываются только кровью, — с легким клекотом сказал Джазовадзе.

— О том же говорит и закон степей, — сурово произнес Аабаев. — Опрокиднев, мы сочтем за честь быть твоими секундантами в этом благородном поединке.

— Спасибо, друзья, — растроганно сказал Опрокиднев. — Вот, возьмите эту перчатку и бросьте ее от моего имени Промышлянскому. А потом, когда он примет вызов, заберите ее обратно. Эти перчатки я приобрел в прошлом году на японской выставке и они дороги мне как свидетельство таланта и трудолюбия японского народа и как примета крепнущих день ото дня торговых и экономических связей между нашими странами. А вас, товарищ Курсовкин, я попрошу обеспечить дуэль квалифицированной медицинской помощью и организовать врача. Жду вас у себя в отделе.

— Одну минутку, Опрокиднев, — остановил его Курсовкин. — Не уходи. Нам надо посоветоваться.

Он отвел Аабаева и Джазовадзе в сторону. Вскоре там завязался оживленный спор. Наконец стороны пришли к согласию.

— Ты только не обижайся, Опрокиднев, — сказал Курсовкин. — Мы тут посоветовались и решили выставить от нашего коллектива на эту дуэль другого товарища. Товарища Эдуарда Фомича Буровина.

— Как более достойного, — добавил Джазовадзе. — Уступить место более достойному — вот высшее достоинство. Так говорит закон гор.

— А закон степей? — спросил Опрокиднев.

— То же самое говорит и закон степей, — ответил Аабаев.

— Хорошо, — сказал Опрокиднев. — Но если Буровин промахнется, я снова вызову Промышлянского, и уж на этот раз пойду сам. А теперь отдайте мне обратно перчатку, пусть Буровин посылает свою.

— Не мелочись, Опрокиднев, — сказал Курсовкин. — Пусть и твоя перчатка послужит нашему общему делу. И вообще, не думай,

что мы тебя забудем. Нет, ты останешься инициатором и идейным вдохновителем этой дуэли. Уверен, что на ближайшем заседании мы выделим тебе премию.

Это несколько успокоило Опрокиднева, и он вернулся в отдел.

Вскоре его вызвал к себе Буровин.

— Понимаешь, какая штука, Опрокиднєв, — сказал он. — Мне тут только что передали насчет дуэли. С удовольствием бы принял в ней самое активное участие, но абсолютно некогда. План по седьмому объекту горит, сам знаешь. Командировка на носу. Потом семинар, кружок текущей политики, да еще совещание у директора, да еще сын заболел желтухой, надо ехать в больницу. В общем, я перебрал весь отдел, и, кроме тебя, больше послать некого. Женщин, сам понимаешь, неудобно. А из мужчин ты самый свободный. Только не подумай, что я струсил. Ты ведь так не думаешь, а?

— Нет, Эдуард Фомич, — скромно ответил Опрокиднєв. — Я так не думаю. И я рад, что вы оказали доверие именно мне. Скажите мне, куда и к какому времени я должен подъехать, и я пошел.

— Сегодня, в шесть вечера, на двадцать втором километре Московского шоссе. На опушке леса тебя встретят Аабаев и Джазовадзе. Они уже обо всем договорились. И, пожалуйста, передай Промышлянскому мои извинения и привет.

— Передам, — заверил Опрокиднєв. — И это будет последний привет из всех, полученных им в течение его жизни.

Ровно в шесть вчера Опрокиднєв вышел из автобуса на двадцать втором километре. На траве возле километрового столбика сидели секунданты.

— Промышлянский должен подойти с той стороны леса, — объяснил Джазовадзе. — Учти, в молодости он был ворошиловским стрелком.

Они углубились в лес и долго аукали. Наконец, из кустов навстречу им вышел нервный субъект с портфелем.

— Сколько можно ждать? — сердито спросил он, показывая на часы.

— Где Промышлянский? — спросил Джазовадзе.

— Откуда я знаю? — пожал плечами субъект с портфелем. — Скорее всего, у себя в кабинете. Мне приказано встретиться с вами вместо него.

— А вы знаете, в чем состоит суть встречи? — спросил Джазовадзе.

— В самых общих чертах, — ответил субъект. — Промышлянский объяснил, что у проектировщиков, то есть, у вас, — какие-то претензии к нам.

— У нас не претензии, — сказал Аабаев. — У нас дуэль. От нашего коллектива будет стрелять техник Опрокиднев. А вы, насколько я понимаю, будете участвовать вместо Промышлянского.

— Вот оно что, — побледнел субъект. — А я-то думаю, что за встреча на двадцать втором километре.

— В городе стрельба на открытом воздухе запрещена, — сказал Джазовадзе. — Давайте, товарищи дуэлянты, занимать рабочие места. Время не терпит.

Опрокиднев стоял на опушке осеннего леса. Солнышко усердно золотило сосны. Поблескивала паутинка на кусте можжевельника. Тонко, усыпляюще жужжала какая-то мушка. Опрокиднев окинул растроганным взором простор небес и ощутил нежелание умирать в этой обстановке. Впрочем, и в любой другой тоже.

Напротив него, в двух десятках шагов, стоял субъект с портфелем. Он закрыл глаза и беззвучно шевелил губами.

— Ребята, — сказал Опрокиднев. — Посмотрите на этого гражданина. Разве он швырнул мне обратно расчет паропровода, эту поэму, сочиненную мною в соавторстве с инженером Шараруевой? Разве он бросил тень на доброе имя нашего института? Так стоит ли нам обагрять невинной кровью осенний пейзаж в районе двадцать второго километра? Нет, нет и еще раз нет, — убежденно закончил Опрокиднев. Он перешагнул роковую черту и подошел к противнику. Они обнялись.

— Здесь, недалеко от автобусной остановки, есть закусочная, — радостно сообщил субъект с портфелем, не размыкая объятий. — Там должно быть пиво.

— А перчатка? — вспомнил Опрокиднев после третьей кружки. — Где моя перчатка?

— Понимаешь, — сказал Аабаев, — передать мы ее передали товарищу Промышлянскому, а попросить обратно было неудобно.

— Что ж, — сказал Опрокиднев, — у меня осталась еще одна. И следующему противнику я брошу ее в лицо сам.

ДАЛЕКО НЕ ФАУСТ

Перечитав рассказы, я подумал, что у вас может сложиться ложное впечатление об Опрокиднeve как о человеке яростного темперамента и необузданных поступков. Это не совсем так, и вот вам небольшая история, в которой он предстанет как чуткий собеседник, добрый советчик, спокойный, рассудительный друг.

Однажды после работы Курсовкин затащил Опрокиднева в пивной бар и поведал о своей неудавшейся жизни. Особенную горечь в

его рассказе составляла история женитьбы на женщине, вот уже десять с лишним лет угнетающей его морально и физически.

— Ты холостой, Опрокиднев, — говорил Курсовкин, рассеянным взглядом следя, как в пивной кружке лопаются радужные пузыри. — Тебе не понять. Она имеет надо мной какую-то непонятную власть. Конечно, я тоже могу крикнуть, но тогда она плачет. Поэтому я не кричу. Я ненавижу ее, Опрокиднев, но мне ее жалко. Если я уйду, кем она будет командовать? А на меня ей так удобно кричать. Ей нужна отдушина в жизни.

— Я познакомился с ней, когда только что закончил институт. Она очень чисто одевалась, и это меня подкупило. Тогда у девушек была мода носить мужские рубашки, ей очень шло. И воротник всегда был ослепительный, не как у меня. А когда я понял, что это все-таки не любовь, то не мог же я уйти просто так? Я сказал: «Выходи за меня замуж» и добавил: «Если тебе уж этого хочется». Я думал, это добавление ее оскорбит, но она ответила, что да, что ей этого хочется. Я не знал, можно ли ей отказать после такого разговора, а родители никогда не беседовали со мной на эти темы. Они, наверное, стеснялись. И вот я женился... О, если бы я мог начать жить заново! — воскликнул он и слегка пристукнул кружкой по пластиковому прилавку, отчего на рукаве опрокидневского пиджака возник и с нежным шипением растаял пузырек пивной брызги.

— Не хулигань, Курсовкин, ты уже не в том возрасте, — заметил Опрокиднев. — Что касается новой жизни, то мысль хорошая, я и сам нередко подумываю на этот счет. Но готов ли ты к новой жизни, вот в чем вопрос?

— Какое это имеет значение, — грустно сказал Курсовкин. — Кто мне ее даст?

— Ты Гете читал? — спросил Опрокиднев. — «Фауста»?

— Нет.

— Я тоже. А оперу знаешь?

— Оперу знаю.

— Тогда представь, что я Мефистофель, а ты Фауст. Ты мне продаешь душу, а я даю тебе вторую юность, вторую жизнь. Говоря деловым языком, жизнь номер два.

Курсовкин внимательно посмотрел на приятеля, как если бы увидел его впервые, и сказал:

— Ты далеко не Мефистофель.

— Хорошо, — согласился Опрокиднев. — Тогда допустим, что медицина, обогащенная новейшими достижениями оккультных наук, достигла небывалого прогресса, и все люди обрели эту волшебную возможность, в том числе и ты. Что тогда?

— Стоит ли мечтать? — вздохнул Курсовкин, но лицо его начало приобретать именно мечтательный оттенок.

— А все-таки?

— Не знаю... Не знаю, с чего и начать.

— Начни прямо со дня рождения, — посоветовал Опрокиднев.

— Разве что с него... — задумался Курсовкин. — Впрочем, да. Если бы я начал жить заново, то родился бы не третьего января, а какого-нибудь другого числа.

— А чем тебя не устраивает третье января?

— После новогодних праздников у людей нет денег, и мне никогда не дарят ничего приличного. Так, все больше шариковые ручки. Хотя, что я говорю? Это мелочи. Вот что важнее: во второй раз я родился бы у других родителей. Я бы родился у такого отца, который научил бы меня, как правильно наносить удар в подбородок. И у такой матери, которая своевременно объяснила бы мне, что девушке, решившей стать твоей женой, можно и отказать.

— Да, — согласился Опрокиднев, — у таких родителей ты станешь совсем иным человеком.

— А как же! — с энтузиазмом подтвердил Курсовкин и заказал еще по кружке.

— Теперь самое главное, — продолжил он через некоторое время.

— Вся моя новая жизнь будет посвящена одной цели: не встретиться с моей теперешней женой.

— В новой жизни ты хотел бы встретиться с другой женщиной?

— уточнил Опрокиднев.

— А, — вдруг расстроился Курсовкин, — другая может оказаться такой же, если не хуже.

— В такой случае предлагаю тебе застраховаться полностью, — осенило Опрокиднева. — А что, если во второй раз ты родишься девочкой?

— Ты, может быть, шутишь, но с моим характером действительно хорошо бы родиться девочкой. Когда я был мальчиком, я часто играл с девчонками. А через скакалку прыгал лучше их всех, — вспомнил он, и странно было слышать это от тридцатипятилетнего мужчины, крепко обхватившего обеими руками тяжелую пивную кружку.

Опрокиднев, однако, не позволил себе никаких насмешек.

— Ты был бы очень милой девочкой, — сказал он. — Мама заплетала бы тебе косички, а папа дарил бы куклы. Чудесная была бы жизнь. А если бы судьба и свела тебя с твоей теперешней женой, вы стали бы подружками.

— Не буду я с ней дружить, — закапризничал Курсовкин, — она жадная.

— Не будешь, и не надо, — ласково ответил Опрокиднев, — найдешь других.

Но тут к нему пришла ужасная мысль:

— А вдруг твоя жена, получив такую же возможность жить заново, пожелает стать мальчиком?

— Гм... — растерялся Курсовкин. — В таком случае я стану женой своей жены, а она — моим мужем.

— Да. И если теперь она тебя только пилит, то, став твоим мужем, будет еще и колотить.

— А если я изменю не только пол, но и характер? Прибавлю в смелости, воле? В наглости, наконец?

— То же самое может сделать и он.

— Он?

— Он, то есть, бывшая жена.

— Подожди, кажется есть выход. Впервые я родился в Сибири, приехал учиться сюда, и здесь встретил ее. Теперь я возьму и все переставлю: появлюсь на свете здесь, а учиться уеду в Сибирь.

— Ну, да. Приедешь, а ей как раз придет в голову родиться в этом сибирском городе.

Курсовкин задумался.

— Я ее обману, — наконец сказал он. — Билет возьму до этого города, а сойду на какой-нибудь промежуточной станции.

— А она возьмет да родится как раз на этой станции.

— Тогда я сойду на следующей, — упрямо сказал он.

— По-твоему, она не может родиться и жить на следующей? Что ей мешает жить на любой станции от Бреста до Владивостока, если ее отец — путевой обходчик?

— Но ее отец, мой тесть, — экспедитор обувной фабрики.

— Это сейчас. Дайте ему возможность жить заново — где гарантия, что его не занесет в путевые обходчики?

Курсовкин ничего не ответил и заказал еще по кружке. Они молча чокнулись.

— Такой гарантии нет, — неожиданно произнес Курсовкин. — Раз уж повторной встречи не избежать, значит, так тому и быть. — Голос его твердел и наливался необычной силой. — Более того, я согласен родиться в тот же день, там же, у тех же родителей, и вообще не намерен вносить ни малейших изменений в свою жизнь до сегодняшнего числа. Но с этой самой минуты... Дай две копейки. Иду звонить!

Курсовкин ушел, а Опрокиднев заказал еще одну кружку.

— Начинать новую жизнь лучше всего ежедневно, — заявил Опрокиднев, чувствуя, как под благотворным влиянием хмеля возрож-

дается его слегка загрустивший дух. За неимением других собеседников он сообщил это бармену.

— Боюсь, такие темпы мне не под силу, — спокойно ответил бармен, сгоняя тряпочкой пивную жижу с прилавка.

— Но лучше всего — знаете, когда?

— Когда деньги кончились, — не задумываясь, ответил бармен.

— Правильно!

Тут вернулся Курсовкин.

— Понимаешь, — сказал он, не присаживаясь, — в принципе она не возражает против того, чтобы я начал новую жизнь. Но сначала просит закончить эту... В частности, сейчас я должен срочно поехать домой и выбить ковер.

— Понимаю, — сказал Опрокиднев. — Ты не Фауст.

— Далеко не Фауст, — согласился Курсовкин. — Но и ты не Мефистофель.

— Далеко не Мефистофель, — согласился Опрокиднев.

Они помолчали.

— А наши современные писатели? — внезапно произнес Курсовкин. — Они ведь тоже не Гете.

— Далеко не Гете, — подтвердил Опрокиднев.

И это их немного успокоило.

Автор, растроганный этой историей, вручил Опрокидневу романтическое звание творца мечты.

ОПРОКИДНЕВ УХОДИТ, ОПРОКИДНЕВ ОСТАЕТСЯ

Однажды Опрокиднев разочаровался в жизни и решил покончить жизнь самоубийством. В обеденный перерыв он подошел к профоргу Курсовкину и сказал:

— Товарищ Курсовкин! Я принял решение уйти из этой жизни. А поскольку сегодня только второе число, прошу вернуть мне взносы, уплаченные мною вчера за текущий месяц.

— Сегодня я тебе верну, а завтра ты сам вернешься? — спросил Курсовкин. — Что тогда?

— Товарищ Курсовкин, — сказал Опрокиднев. — Я ухожу туда, откуда не возвращаются.

— Аабаев! — крикнул Курсовкин. — Ты слышишь? Опрокиднева переманили в «Монтажсистематику».

— С удовольствием бы ушел с тобой, — завистливо сказал Аабаев.

— Нет, Аабаев, — вздохнул Опрокиднев. — Туда лучше уходить по одному.

— Правильно, — согласился Курсовкин. — А то паника поднимется, и вообще никого не отпустят.

— Извините, — твердо сказал Опрокиднев, — но мне пора. Прощайте, больше не увидимся.

— Отчего же? — удивился Курсовкин. — Заходи, всегда будем рады видеть.

— Лучше вы ко мне заходите, — уклончиво ответил Опрокиднев и вернулся к себе в отдел. Там он обошел всех сотрудников и тепло попрощался с ними. В эту скорбную минуту он сумел для каждого найти особенно нежные, чуткие слова. И только с Шараруевой простился молча.

— Я любил тебя, Шараруева, — сказал он. — Я любил тебя больше, чем Наталью Сергеевну, Марианну Власьевну и Наказаньеву Е.А., вместе взятых. Давай простимся молча.

В последний раз выдвинул Опрокиднев ящик своего стола, в последний раз вынул оттуда листок бумаги, в последний раз скрутил колпачок с фломастера.

«Заявление, — аккуратно вывел он. — Прошу уволить меня с работы в связи с уходом из жизни по собственному желанию».

Он взял заявление и подошел с ним к начальнику отдела Эдуарду Фомичу Буровину.

— Можно завизировать и в таком виде, — сказал Эдуард Фомич. — Но, как правило, в таких заявлениях добавляют: «В моей смерти прошу никого не винить».

— Сейчас допишу, — пообещал Опрокиднев и вернулся к своему столу.

«В своей смерти прошу никого не винить», — написал он. И задумался. Как это никого? Разумеется, это благородно: уйти, не потревожив оставшихся. Как говорится, по-английски. А почему я должен уходить по-английски? Разве до сих пор я делал что-нибудь по-английски? Нет, нет и еще раз нет! Я любил по-опрокидневски, работал по-опрокидневски, говорил по-опрокидневски. По-опрокидневски я жил, по-опрокидневски и уйду!

Шуршал ватман и скрипели грифели, трескали арифмометры, позванивали телефоны, а Опрокиднев все сидел и сидел над своим заявлением. Он обдумывал список виновных.

— Человека берут в «Монтажсистематику», а он еще раздумывает, — шептались сотрудники. — Ну и тип!

В пять часов тридцать минут вечера весь отдел дружно покинул рабочие места и устремился к выходу.

— Опрокиднев, лапочка, — нежно спросила Наталья Сергеевна. — А вы остаетесь?

— Нет, я ухожу, — ответил Опрокиднев. — Но уходя, я хочу и погасить свет и хлопнуть дверью.

— Не упустить тех, кто действительно виноват, — сказал себе Опрокиднев, оставшись один, — а всем остальным простить. Так должен поступить настоящий самоубийца.

За окном густели сумерки, последние звуки растаяли в гулких институтских коридорах, когда Опрокиднев вновь взялся за фломастер.

«В моей смерти, — медленно вывел он, — прошу винить:

1. Ключева Анатолия, ударившего меня в 1948 году по уху на виду у всей школы. Как я тогда плакал, помню до сих пор.

2. Людмилу, двоюродную сестру, за признание моих стихотворений периода 1948-1955 года бездарными. Эту травму я пронес через всю жизнь.

3. Паропроводы высокого давления за трудную поддаваемость моим расчетам.

4. Буравина Эдуарда Фомича за неповышение меня в должности.

5. Шараруеву как не отвечающую моим настойчивым духовным запросам.

6. Футбольную команду «Спартак» как не оправдавшую мои надежды.

7. Продащицу колбасного отдела в гастрономе № 41 за отсутствие идеалов.

8. Марионеточное правительство банановой республики Бавона Тера как плюнувшее в лицо мировой общественности, в том числе и в мое...»

Так он шел от пункта к пункту, а между тем за окном пронеслась ночь, погасли фонари и заря подняла восточный край небес, наступал зловещий час рассвета, час рождений и смертей, час прозрений и отмищений.

И Опрокиднев задремал: и на хрупком фундаменте сновидений вознесся перед ним сверкающий огнями и битком набитый народом зал городского Дворца спорта. Мстительно дышат темные провалы трибун, мощные прожекторы заливают арену. Там, на гигантской скамье, тесаной из сосны с крупными занозами, сидят все виновные в его уходе.

Сидит грустный и постаревший Толька Ключев.

Сидит двоюродная сестра Люська.

Сидит Эдуард Фомич Буровкин, задумчиво поправляя траурную повязку на рукаве пиджака.

Сидит опухшая от слез Шараруева.

Рядом с ней продавщица нервно крутит пуговицы на своем белом халате — видно, ее взяли прямо из-за прилавка.

В полном составе, с дублем, с массажистом, с психологом, с запасными, со всеми своими потрохами, сидит «Спартак». Сидит, опустив голову на полосатый халат, тренер. Сидят популярные зазнавшиеся хавбеки.

И сидит смуглое правительство Бавона Тера, предатели джунглей. Синеватые отеки от неумеренных выпивок и забвение народных традиций читаются на их лицах.

— Встать! Суд идет, — разносится над залом.

В наступившей тишине слово берет судья.

— Вы обвиняетесь, — говорит он, — в безвременной и прискорбной гибели гражданина Опрокиднева. Признаете ли вы себя виновными? ...Тогда встанет спартаковский капитан и скажет:

— Эта гибель нас дико потрясла. Передайте ему, что он навечно зачислен к нам в «Спартак» на правый край нападения. Все голы, забитые нами справа, будут заноситься на его лицевой счет.

И кряхтя поднимется гнусный премьер республики Бавона Тера. Он обведет зал мутными с похмелья глазами и скажет:

— Дамы и господа. Мы не предполагали, что беспринципная деятельность нашего марионеточного правительства будет принята так близко к сердцу гражданином Опрокидновым. В виде компенсации приглашаем безутешную вдову погибшего совершить бесплатную туристическую поездку по нашим джунглям.

— Это был одинокий человек, — сухо заметит судья. — И от него не осталось даже вдовы.

— Осталась! — пронзительно крикнет Шараруева. — Я его вдова!

— И я! И я! И я! — закричат с разных трибун Наталья Сергеевна, Марианна Власьева, официантка Вероника, лаборантка Рита и многие другие. — Мы все его вдовы!

А Толька Клюев и двоюродная сестра рухнут на колени и с криком: «Прости!» упадут в обморок.

Однако не исключено, что некоторые из обвиняемых начнут изворачиваться.

Встанет, к примеру, продавщица из гастронома и скажет, что якобы вообще не помнит такого покупателя. Тогда ей предъявят фотокарточку покойного. Шараруева попытается вырвать карточку из рук прокурора, чтобы покрыть ее слезами и поцелуями, и ее долго будут успокаивать и отпаивать водой из казенного стакана. А продавщица равнодушно скользнет взглядом по зазорному носу Опрокиднева, по всему его лицу, отмеченному крепкой природной красотой, и, откровенно спасая шкуру, скажет:

— Первый раз вижу.

И от этих ее слов что-то вдруг переменится в зале. Кто-то шумно вздохнет, кто-то хихикнет, кто-то распахнет неведомо откуда взявши-

еся окна... Очнется от обморока Толька Клюев, сядет на скамейку и, как ни в чем не бывало, закурит. Люська деловито посмотрит на часики, поправит прическу и спокойно уйдет. Эдуард Фомич Буровин вытянет из нагрудного кармана своего пиджака логарифмическую линейку и недрогнувшей рукой примется умножать четырнадцать на девятнадцать. Судья встретится взглядом с прокурором, и оба зевнут...

Зевнул и сам Опрокиднев: зевнул и открыл глаза.

Солнечный свет лился из распахнутого окна. Беззаботный ветерок выкручивал занавеску. Снизу, с тротуара, доносилось повизгивание метлы. Его заглушал грохот трамвая. Алая железо-стеклянная коробка проползла мимо окон, выбивая дугой синеватые искры. Пробежали хохочущие школьницы. Потом снова завизжала метла, потом умолкла, и голос институтского дворника произнес:

— А дальше пусть горсовет подметает.

И окончательно понял Опрокиднев неуместность своей мечты. Нет, не встанет спартаковский капитан и не скажет: «Прости, Опрокиднев». А встанет и скажет:

— Знать не знаем Опрокиднева, гражданин судья. Мало ли у нас сумасшедших болельщиков, которые мешают нам жить и работать над дальнейшим совершенствованием спортивного мастерства.

И не встанет Шараруева, не скажет: «Я его вдова». А встанет она и скажет:

— Да, я согласна быть вдовой. Но не Опрокиднева, а нашего директора. Но он, к сожалению, женат...

— Ах, так?! — воскликнул Опрокиднев. — Вы меня не знаете? Вы меня не любите? Вы для меня не прекратите? Тогда и я для вас не уйду. Никуда я отсюда не уйду, слышите?!

— Слышим, слышим, — ответил Эдуард Фомич Буровин, входя в помещение. — Начинайте работать.

Часы пробили половину девятого. Сотрудники склонились над столами, встали у кульманов. Затрещали арифмометры, зазвенел телефон. Опрокиднев углубился в расчет паропровода высокого давления и начал жить дальше.

ОПРОКИДНЕВ — УЧАСТНИК КАВКАЗСКОЙ ЛЕГЕНДЫ

Однажды Опрокиднев особенно удачно рассчитал паропровод высокого давления и получил за это отпуск в августе месяце.

Много всего повидал в своей быстротекущей жизни техник Опрокиднев, но, как ни странно, еще ни разу не посещал Кавказа.

И Опрокиднєв вылетел на Кавказ. Он выбрал это местечко еще и потому, что имел тайное намерение на некоторый период забыть женщин родного института и закрутиться в вихрях настоящего, крупного лирического чувства. Аабаев и Джазовадзе, а также Эдуард Фомич Буровин и лично товарищ Курсовкин неоднократно информировали его о том, что на Кавказе проживают совсем другие женщины. Вернее, проживая на Кавказе, они становятся совсем другими. В походке у них появляется что-то от жеребенка, взгляд дымится, плечи разламывают хрупкий кокон сарафана, и золотистые волосы развеваются по ветру при любой погоде. Покорить такую женщину можно только за счет небывалой отваги и полного безрассудства. Быстрота и натиск, острая конкуренция смуглых юношей, может быть, даже звон кинжалов в ночи и конский скок на горных тропах, и не без блеска ледников, не без мерцанья эдельвейсов, с хрустальной капелькой росы на бледно-синих лепестках — вот программа-минимум, которую наметил Опрокиднєв одним небольшим усилием своей незаурядной мозговой системы.

И, едва сойдя с трапа самолета, он в чем был отправился на поиски женщины, еще ничего не знающей о его безумной любви к ней. А был он в светлом летнем костюме с платиновой искрой, в алой сатиновой косоворотке с перламутровой пуговкой, в новеньких скрипучих сандалиях, сплетенных дерюжкой, в велосипедистской шапочке с черным целлулоидным козырьком и буквами «ТАРТУ», написанными на эстонском языке. Темные гангстерские очки задорно сидели на курносом, слегка облупившемся носу и, пряча до поры до времени темпераментные взгляды озорных глаз Опрокиднєва, подчеркивали пунцовый румянец его щек. Как всегда в решающие минуты, Опрокиднєв был красив крепкой, природной красотой.

Женщину он увидел сразу.

В центре площади стоял открытый экскурсионный автобус. В нем плотными рядами сидели отдыхающие. Они прикрывались легкими зонтами, шуршащими друг о друга, как стрекозиные крылья; разглядывали лакированные книжечки туристических справочников, обмахивались газетками, а некоторые кушали виноград.

Рядом с водителем стояла юная женщина в кожаных шортах и брезентовой штормовке. Ее колени золотились, как апельсины. Возле губ она держала милицейский мегафон.

— На Кавказе есть гора! — кричала она. — Самая большая! А под ней течет Кура, мутная такая! Мы с вами посмотрим с этой горы на эту Куру. Спешите! Осталось четыре свободных места!

— Экскурсия в горы! — кричала она. — Мы проедем там, где не ступала нога человека. Ущелье духов! Вид с Вершины грез на Долину слез!

И тут только Опрокиднев опомнился. Одним прыжком догнал он автобус, перемахнул через низкий бортик и в бессознательной заботе о равновесии крепко ухватил укутанный в штормовку стан экскурсовода.

— Мест нет, гражданин! — закричала женщина-экскурсовод и обдала его дымным взглядом. — Ждите следующую машину.

— Только с вами, — бормотал Опрокиднев, доверчиво прижимаясь к упругому брезенту. — Являясь большим любителем кавказских легенд, хочу быть в первых рядах, где бы ни ступала нога человека. Я вот тут, в уголочке, я на бортике пристроюсь, я на отдельное место не претендую как сознательно опоздавший. Если все опоздавшие будут претендовать на отдельное место, где сядут те, кто пришел вовремя?

— Ладно, пусть едет, — пожалел кто-то из пассажиров.

Женщина-экскурсовод одернула штормовку, отчего Опрокиднев сместился в угол кузова, и сказала:

— Пусть едет. Но это дело надо перекурить.

Несколько мужчин протянули ей сигареты. Особенно старательно это сделали Опрокиднев и смуглый юноша, сидевший во втором ряду. Острая конкуренция была налицо.

Женщина внимательно оглядела желающих дать ей закурить и выбрала опрокидневскую «Экстру». Смуглый юноша издал гортанный выкрик, напоминающий клекот орла, и вышвырнул свой «Филипп Моррис» на дорогу.

Автобус покинул городские кварталы и вошел в первый поворот серпентины.

— Кого тошнит, остановка на семнадцатом километре, — объявила женщина. — Просьба потерпеть. Посмотрите направо — направо виднеется Черное море. Один из крупнейших бассейнов нашей страны. Обратите внимание на эти волны. С них Айвазовский писал свой «Девятый вал». Если хотите, расскажу анекдот про Айвазовского.

— Просим, просим! — закричал Опрокиднев.

— Женщины могут не слушать, — предупредила она.

— Почему это? — обиделась старушка на последнем ряду. На каждом повороте она взмывала вверх и некоторое время парила над скамейкой, держась за зонтик. — Что мы, шуток не понимаем?

Женщина-экскурсовод рассказала анекдот про Айвазовского, потом про Лермонтова, потом про Сухумский обезьяний заповедник. В автобусе наладилась атмосфера полного взаимопонимания. Особенно спланивали коллектив виражи серпентины: экскурсанты мотались в кузове, как грибы в лукошке, старушка на последнем ряду взмывала все выше и летала над головами собравшихся, пока на одном очень крутом вираже не улетела совсем, чего почему-то никто

не заметил; женщина-экскурсовод грохалась на колени к Опрокидневу, наконец, ей надоели эти однообразные перемещения, и она так и осталась сидеть на Опрокидневе до конца маршрута; смуглый юноша перед каждым входом в вираж печально спрашивал: «Это еще не семнадцатый»? Его участь была решена.

— Марина! — жарко шептал Опрокиднев.

— Не здесь и не так, — строго отвечала она, скидывая его руку со своих скульптурных коленей. — И с чего ты взял, что Марина?

Так они ехали, ехали, и вдруг дорога уперлась в скалу, и они приехали.

— А вот и наша гора, — сказала Марина.

— А где Кура? — спросила старушка, которая, оказывается, никуда не улетела. Потому что, если улетела, то неизвестно, на чем догнала.

— Надо знать географию, бабуся, — пристыдила ее Марина. — Кура здесь не протекает. Ближе, ближе к краю, товарищи. Не бойтесь, отсюда еще никто не упал.

Все сгрудились у края пропасти. Только печальный юноша убежал в скалы.

Место было замечательное. Справа стояла самая большая гора, слева — гора поменьше. Между ними чернело ущелье. Прямо из-под ног экскурсантов в ущелье с диким ревом летел седой, как профессор, водопад. Он разбивался о прозрачное озерцо, в котором смутными тенями бродили узкие стремительные рыбы.

— Это место, — закричала Марина в милицейский мегафон, — по плотности легенд на квадратный километр не имеет себе равных на всем Кавказском хребте. Легенда первая — о происхождении самой большой горы. Однажды княжна Тамара уехала далеко на север, и Демон затосковал. «Я хочу посмотреть, как она там проводит время», — сказал он. Тридцать лет и три года ставил он камень на камень, пока не собрал эту гору. Потом он взобрался на вершину и посмотрел на север. Каково же было его удивление, когда он увидел, что Тамара давно уже гуляет с другим.

Все от души захохотали.

— Эх, и люблю я ее! — сообщил Опрокиднев старушке.

— Мы все ее любим, — возразила старушка. — Нашу Леночку нельзя не любить!

В это время из-за скалы появился смуглый юноша.

— Скажите, уважаемая Нина, — спросил он, — а какая легенда связана с этим водопадом?

Опрокиднев посмотрел на Марину, и сердце остановилось у него в груди: она растерялась. Очевидно, с водопадом ничего легендарного еще не было.

— Да-да, — потребовали все остальные. — Расскажите про водопад. И тогда Опрокиднев подошел к самому краю пропасти и негромко сказал:

— Рассказывай, Марина.

И прыгнул вниз.

— С этим водопадом, — начала Марина, — связана трогательная легенда. Один командированный полюбил одну девушку. Вот здесь. «Если ты не ответишь мне взаимностью, — сказал он, — я спрыгну со скалы». «Прыгай, — ответила она, — но поскорее, а то я опоздаю на автобус». И он прыгнул. С тех пор его дух вечно реет над этими суровыми водами, протягивает руки из бездны и спрашивает прохожих, не опоздала ли его девушка на автобус.

— Ого-го-го!!! — простонал Опрокиднев из бездны, плавая среди форелей. Ледяные струи ласково шипели на его горячих ногах.

Некоторые из экскурсантов заплакали.

— А по-моему, это не дух, — сказал смуглый юноша. — По-моему, это тот тип, который опоздал, а потом еще не дал нам остановиться на семнадцатом километре.

— В вас нет чувства поэзии, — укоризненно заметила ему старушка.

А Опрокиднев выпрыгнул из бездны по пояс, простер руки к скале и, стуча зубами от холода, крикнул:

— Не порти легенду, провинциал!

— Жаль, старичок, что ты прихворнул, — сказала Марина, навестив Опрокиднева в больницу, где он излечивал простуду. — Прочи-хаешься, приходи. Легенду с водопадом у нас в экскурсионном бюро утвердили с восторгом. Будешь прыгать по высшему тарифу. Если не возражаешь, отработаем вместе весь сезон.

— Марина! — ахнул Опрокиднев и непроизвольным движением обнял ее апельсиновые колени.

— Не здесь и не так, — строго ответила она.

К вечеру Опрокиднев выздоровел, а утром он уже мчался в автобусе. Колени женщины-экскурсовода фарами освещали дорогу к легенде. Автобус вечным демоном кружил над скалами.

— Этот август я не забуду никогда! — крикнул водителю Опрокиднев, и лавины срывались в долины, и на альпийских лугах падали в обморок овечьи стада, и тучи бились о тучи, и море шаталось в берегах, как вода в тазу, и водитель вжимался в руль, и автобус вылетал из виражей, как пуля из нарезного ствола; Опрокиднев же продолжал сотрясать Вселенную диким криком влюбленного безумца. — Этот август я не забуду никогда!

С тех пор к его многочисленным титулам прибавился еще один: «Опрокиднев, участник кавказской легенды».

РУКА ОПРОКИДНЕВА

Однажды, вскоре после возвращения из отпуска, проведенного на юге, когда Опрокиднев упорно умножал четырнадцать на девятнадцать, добиваясь, чтобы результат не превысил двухсот трех, к нему внезапно подошли Аабаев, Курсовкин и Джазовадзе.

Опрокиднев швырнул логарифмическую линейку на стол, и его правая рука юркнула под рубашку, где без промедления принялась массировать предполагаемую область сердца.

— Южное солнце — враг здоровья, — забормотал он. — Любишь нас — посети Кавказ, а любишь себя — сиди дома.

Подошедшие молча следили за его действиями.

— Внезапность встречи с вами, — продолжал лепетать Опрокиднев. — Гидравлический удар в кровеносной системе... О, мое бедное сердце...

Нелепость его поведения становилась все очевиднее, и он прекратил массаж. Но руку оставил за пазухой. Выставленный локоть мог бы напомнить о наполеоновских портретах, однако сходство разрушалось жалкой затравленной улыбкой, подобной которой ни разу не опозорил себя французский император.

— Вы были правы. — Тягостную тишину нарушил Курсовкин. — Он таки ее скрывает.

— Скрываю?! — изумился Опрокиднев. — Кто она, скрываемая мною? Делал ли я когда-нибудь тайну из своих отношений с женщинами? Разве не известен вам — по алфавиту, росту и возрасту — трагический список наших сотрудниц, в рамках которого годами мечутся мои лучшие чувства, находя слишком много отклика? Что за шутки, друзья, над кандидатом в инфарктники, и не исключено, что в последние минуты его так и не удавшейся жизни! А как была задумана! Еще в детстве, написав географическое сочинение «Онегин и неуклонно впадающий в него Ленский» за десять и три десятых секунды, побил рекорд открытых помещений для закрытых стран, вследствие чего был рекомендован в деревообделочное ПТУ, где добился небывалого коловращения матрешек на экспорт, что и раздавило мою мечту стать виднейшим альфрейщиком всех времен и народов! — В возбуждении Опрокиднев возобновил массаж своего бедного сердца, отчего его щеки бессовестно зарозовели сквозь могучий загар.

— Опрокиднев, — сказал Джазовадзе. — По умению уводить разговор в сторону тебе нет равных. Мы любим шалеть от твоих бредовых монологов. Но сейчас они неуместны.

— Перестань болтать! — приказал обычно кроткий Аабаев. — И покажи руку.

— Зачем? — спросил Опрокиднев, бледнея.

— На спор, — объяснил Курсовкин. — Видишь ли, Аабаев и Джазовадзе одновременно и независимо один от другого сделали странное открытие.

— Как Джоуль и Ленц, — механически заметил Опрокиднев.

— Они заметили, что, вернувшись с юга, ты очень изменился. У тебя испортились манеры — ты ходишь, держа руки в брюках. Ты ни с кем не здороваешься за руку. Вообще, стараешься не приближаться ни к кому. Даже к женщинам. Даже Шараруеву ты еще ни разу не потрепал по щеке. Аабаев и Джазовадзе считают, что ты вынужден прятать свою правую руку.

— С чего бы? — вяло огрызнулся Опрокиднев, пренебрегая очевидной возможностью заговорить о тех или иных руках и их месте в истории человечества. Чувствовалось, что он готов сдаться.

— Вот и мы думаем: с чего? Есть две версии.

— Если женщина укусила, смешно скрывать, — сказал Джазовадзе. — Гордиться можешь.

— Если она подарила тебе перстень, тоже смешно прятать, — сказал Аабаев. — Кто сомневается: ты его заслужил.

— Кто из них прав? — спросил Курсовкин.

— И это все ваши версии? — Опрокиднев расстроенно покачал головой. — Чем же вы были заняты все свое детство? На какую чушь вы ухлопали эти золотые, эти драгоценные годы любого ребенка, если не нашли времени прочесть роман Жюль Верна «Дети капитана Гранта»?

— Почему ты думаешь, что мы его не читали? — обиделся Курсовкин.

— Потому что иначе вам непременно вспомнилось бы пребывание Паганеля в племени майори.

— А что там с ним произошло?

Опрокиднев выпростал руку из-под рубашки и протянул ее друзьям для осмотра.

Все внимательно осмотрели предложенное.

— Как это случилось?

И друзья услышали от Опрокиднева то, что сейчас прочтете вы.

* * *

Еще издали Опрокиднев увидел на пляже наскоро сбежавшуюся толпу, весь вид которой говорил о перспективе скандала. Группа женщин окружила крупного плечистого мужика и по первому впечатлению, которое подтвердилось как истинное, требовала, чтобы он покинул территорию пляжа. Тут же вертелись дети, отгоняемые прочь.

Напротив, одного мальчика, порывавшегося убежать, цепко держал за локти единственный среди митингующих мужчина.

Изгоняемый выделялся своей бледной кожей, что выдавало в нем новичка. Однако еще более он выделялся тем, что был татуирован с головы до ног. Темно-синие линии и узоры всюду покрывали его тело. С одной грудной мышцы на другую неторопливо перелетал орел, от ребер до ребер раскинув величавые крылья. Слева от пупка пролетала птица меньших размеров — чайка, держа в клюве только что пойманную рыбу, в подвздошной области высилась двуглавая вершина, а снизу, объединяя живопись, значилось: «Кавказ».

На правом предплечье внимание привлекали развернутые веером игральные карты, бутылка и женская головка, снабженные пояснением: «Вот что нас губит». На левом предплечье было написано: «Не забуду мать родную». На правом бедре было сказано, что: «Нет в жизни счастья», кроме того, вдоль каждого из бедер, от колена к чреслам, шла надпись: «Они устали». Нашлось на бедрах место и грудастой русалке и просто обнаженной женщине, слившейся в поцелуе с рогатым чертом. По спине, задевая мачтами шею, проплывал парусник. Волны, через которые он шел к закату либо, наоборот, восходящему солнцу, очень искусно переходили в орнамент, напоминающий рыбацкую сеть. Кроме того, там и сям виднелись более частные наколки: силуэты, эмблемы, даты и имена.

— ...И вали отсюда, пока тебе по-хорошему говорят! — услышал, приближаясь, Опрокиднев голос одной из женщин, типичной представительницы современных интеллигенток, при необходимости легко переходящих на нецензурную лексику и искусно владеющих интонациями базарного разговора.

— Это общий пляж, — угрюмо сопротивлялся татуированный. — И вы не имеете права. Я загорать хочу. Я с севера приехал. С Анадыря.

— И сидел бы в Анадыре! — парировала интеллигентка, умелой интонацией переводя «Анадырь» в разряд бранных слов.

— В сотый раз объясняю! — закричал мужчина, в руках которого бился скользкий, как рыба, мальчик. — Лично меня ваши наколки не колышут, у меня у самого якорек. Но вас разглядывают и читают наши дети. И берут с вас пример. Полюбуйтесь!

Он развернул сына нужным образом. На груди мальчика синим фломастером было выведено: «Не забуду мать родную!»

— Я ему Маршака читаю. Спросите, знает он хоть один стишок? А вас наизусть цитирует!

— Мы протестуем! — закричали женщины. — Вы не имеете права в таком виде находиться на общем пляже!

Татуированный клокотал. Видно было, что ему не хватает слов, и он их ищет. Так и не найдя более подходящего, он пробурчал:

— Воспитатели, вашу мать...

И принялся натягивать брюки.

Толпа удовлетворенно посапывала. Татуировавший себя дошкольник вырвался из рук отца и убежал.

— Стоп, стоп! — хлопнул в ладоши Опрокиднев, входя в круг. — Гол забит из офсайда и не засчитывается. Нокаут отменяется ввиду удара кукишем, что строго запрещено Женевской конференцией.

— А вы кто такой? — нимало не смутившись образным строем опрокидневской речи, перебила интеллигентка. — Адвокат нашелся!

— Да! Как правильно начинал свои речи адвокат Брумблянцкер, це дило треба розжуваты.

— Это его дружок! — разоблачительно сообщил мужчина, но, быстро сообразив, что противников стало двое, и оба крепки физически, а новенький — еще и духовно, ничего угрожающего не присокупил.

— Я впервые вижу нашего северного гостя, — возразил Опрокиднев. — Но не нахожу ничего предосудительного в его внешности, в его оформлении и, я бы сказал, в его моральном облике. Более того! Из всех случайно собравшихся здесь моральных обликов ясен только один, а остальные пока еще под большим вопросом.

— В смысле — наши? — спросил мужчина. — Что вы имеете ввиду?

— Ваша очередь будет первая, — пообещал ему Опрокиднев. — Но сначала о товарище с Анадыря. В свете неоднократных выступлений местной курортной газеты, встревоженной отсутствием на пляжах культурной информации и наглядной агитации, не следует ли признать товарища передвижной библиотекой и передвижной картинной галереей? Поблагодарим же его за активное внесение художественных образов в наши с вами массы. А теперь попрошу тех, кто уже осмотрел все полотна и прочел все опубликованные здесь произведения, отойти и дать эту возможность другим. Позвольте, — вежливо потеснил он интеллигентку, — вы мне мешаете, а между тем, я, кажется, вижу отрывок из народной баллады, которую полюбил еще в раннем детстве.

Почувяв в Опрокиднeve чрезвычайно опытного демагога, современная интеллигентка произнесла, насколько смогла, презрительно:

— Остряк...

Но ничего более не нашла.

Остальные молча переглянулись. Первым пришел в себя отец татуированного мальчика.

— По-моему, он пьян. Мелет чушь, — храбро сказал он.

— Отчего именно чушь, а не бред сивой кобылки? — ласково спросил Опрокиднев.

— И чушь, и бред, и, главное, демагогия, — упрямо держался за свою версию отец.

— Демагогией философские словари любят называть сознательный обман трудящихся, — напомнил Опрокиднев. — Будьте же милосердны и рассмотрите эти тексты без предвзятости: где здесь обман? Напротив, перед нами безупречные истины, полезные афоризмы и актуальные призывы. Пожалуйста, взгляните сюда...

Татуированный между тем натянул штаны, но рубашу надевать раздумал. Он достал пачку «Памира», вытянул мятую сигаретку, закурил и принял позу заинтересованного слушателя. Часть нападавших на анадырца, неприятно удивленная развязными речами молодого рыжеволосого человека, постепенно отступила к своим лежачкам. Гордо вскинув голову, удалилась и современная интеллигентка, раздосадованная еще и тем обстоятельством, что непрошенный адвокат принадлежал к волнующему ее типу мужчин. Несколько оставшихся женщин молча сплотились вокруг возмущенного отца.

— Взгляните сюда, — предложил Опрокиднев, указывая на могучее предплечье анадырца. — Мы видим изображение женской головки, колоды карт и бутылки вина. Или водки?

— Водки, — подтвердил анадырец.

— Все предметы вычерчены в полном соответствии с известными мне гостями и снабжены четкой пояснительной запиской: «Вот что нас губит». Вы не согласны?

— Нет, — ответил отец. — Это пошлость. В лучшем случае, это наивно.

— Вас это, стало быть, не губит? Вы, стало быть, не числите за этими предметами губительных для вас свойств? Позвольте тогда по порядку. Как у вас с женщинами?

Болезельщицы с интересом уставились на отца. Сам же он принял некую осанку, говорившую, что с женщинами у него именно так, как должно быть у современного мужчины, лишенного предрассудков.

— Что с женщинами? — лениво переспросил он.

Но тут прибежал его убежавший сын:

— Папа, тебя мама зовет!

По лицу отца пробежала гримаса раздражения.

— Скажи, пусть подождет, я занят.

Мальчик не торопился уходить.

Опрокиднев и болезельщики ждали ответа.

— Я женат, и этим все сказано. Пошел вон, кому говорят! — рявкнул он на сына. Тот нехотя подчинился.

— Этим сказано не все, — возразил Опрокиднев, тактично подождав, пока ребенок удалится. — Следует ли вас понимать так, что никакие женщины, кроме жены, вас не интересуют?

— Да! И скажу сразу: я не пью водку и не играю в карты.

— Правильно делаете! — горячо одобрил Опрокиднев. — Вернее, не делаете. И не делаете только потому, что знаете: это может вас погубить. О чем и сообщает нам дружеское плечо нашего северного гостя.

Отец морщился, но никак не находился с ответом. Болельщицы сочувственно вздыхали: их фаворит проигрывал.

— Ладно, что за дурацкий спор, — примирительно сказал отец. — По мне, пусть хоть что на себе пишет, только чтоб детям на глаза не попадался. Они же это воспринимают не так. «Не забуду мать родную». Надо же!

— Надо, — мягко, но настойчиво возразил Опрокиднев. — Еще как надо. Жива ли ваша мама? Не забываете ли вы свою маму, бабушку вашего сына? Хорошо ли ее помните?

— Не забываю, не беспокойтесь. Но и не пишу об этом вот такими буквами на груди.

— То есть, не берете на себя всю полноту сыновней ответственности. Держите ее в тайне. А товарищ заявляет во всеуслышание. Товарищ хорошо помнит свою мать!

Увы, простодушным оказался приехавший с севера товарищ. Вместо того, чтобы поддержать в эту минуту своего защитника — и тогда это была бы минута их полного торжества, он вдруг кашлянул и виновато сказал:

— Вообще-то я детдомовский.

Опрокиднев обжег его гневным взглядом. Но было поздно.

— Вот так-то, — вскинул руки отец. — А вы тут демагогию развели!

И тут очень кстати снова прибежал ребенок:

— Папа, мама говорит, если ты сейчас не займешь очередь, потащишь лежаки в кафе!

— Семейка... — с крепкой, давно созревшей злобой проговорил отец и побрел, с силой взрыхляя ворохи мелкой гальки.

Дамы незамедлительно разбрелись.

Опрокиднев и анадырец остались одни.

— Зря вы это, товарищ, насчет детдома, — с досадой сказал Опрокиднев. — Не вовремя.

— Неважно! Все равно дал им по мозгам! С меня причитается. Не возражаешь?

— Можно, — согласился Опрокиднев. — Тем более, наш с тобой разговор еще и не начинался.

- А как же! Поговорим! Ну, будем знакомы. Федя.
- Опрокидней.
- А по имени?
- Видишь ли, Федя. Люди бывают разные. Одних вполне характеризуют их имена, у иных важнее всего отчества, некоторых вполне раскрывает кличка, что до моей сущности, то она полностью исчерпывается фамилией.
- Любишь опрокинуть? — проявил семантическую догадливость анадырец.
- Но не в этом смысле. Я опрокидываю ложные стереотипы, то есть устойчивые заблуждения.
- Понял! Да! Лихо ты этого мужика опрокинул! Ну, рванем пивка?

* * *

В павильоне неподалеку от пляжа они взяли пиво и шашлыки. Анадырец сглотнул подряд две кружки. Душа его никак не могла остыть от стычки на пляже.

— Главное, уходи! А между прочим, эти картинки здесь сработаны. Ба-льшим мастером. Сейчас, если жив, уже старик. А тогда был в расцвете сил. К нему, помню, иностранец приезжал. Так он меня сфотографировал. Альбом, говорил, выпущу, лучших татуировок мира. Вот такой мастер, понял?

— Да, много он на тебе глупостей написал, — задумчиво произнес Опрокидней, прихлебывая пиво.

— То есть как? — оторопел уже несколько захмелевший Федя. — Ты же сам говорил...

— Устарелые тексты, Федя. Наивные.

— Где наивные? — обиделся Федя. — Ну, где? Это, да?

Он высунул из-под рукавчика рубашки сообщение о том, что нас губит.

— Да хоть бы и это. Нас, Федя, в первую очередь губят бюрократизм и коррупция. А доканывают отсутствие прямых связей поставщика с потребителем и избрание слугами народа людей, не проживающих на территориях округов. Плюс перепроизводство телевизоров при дефиците виолончелей, двусмысленное положение ведущих спортсменов, недовложение средств на развитие хотя бы навесов над транспортом заполярных широт и многое, многое другое.

— Да, это верно... — задумался Федя. — У меня у самого в Анадыре «Татра» без крыши. Но, друг, это все написать — места не хватит.

— Слабое использование резервов тоже губит нас, Федя. Я обратил внимание: у тебя свободно место, где, как говорят французы, спина теряет свое название.

— А где это? А... Нет. На заднице не дам.

— Предрассудки! — энергично возразил Опрокиднев, тоже разогреваемый легким хмелем. — Пишем всюду, где есть поверхность. В культурных странах не бывает пустошей и невозделанных пустырей.

— Некрасиво будет, — заупрямился Федя. — Важное сообщение — и где? На заду.

— А где у твоей «Татры» написано «Не уверен — не обгоняй»? — с привычной легкостью нашел аргумент Опрокиднев.

— Вообще-то, да... Вообще-то, нет! — У Феди загорелись глаза. — Думаешь, один ты умеешь опрокидывать? — Он крупно глотнул из кружки и поперхнулся.

— Мгновение, большое, как глоток, — прокомментировал Опрокиднев.

— Сейчас я тебя самого опрокину. Значит, так. Все, что ты предлагаешь добавить: все эти наши безобразия... У меня же про все это уж сказано. Одной гениальной фразой. «Нет в жизни счастья!» Может, и это дополнишь?

— Непременно. На свете, Федя, счастья нет, это так. Но есть покой и воля.

— Покоя тоже нет, — мотнул башкой Федя. — Кругом одни психи. А волю давать нельзя. Нам дай волю — все пропьем.

Он опустошил очередную кружку и принялся заглатывать шашлык. Мощные федины челюсти безжалостно мяли и давили упругие куски недожаренного мяса. Кому доводилось бывать вблизи работающего размоленного оборудования — шаровых мельниц, к примеру, — только такие люди могли бы в полной мере оценить мощь фединых челюстей.

Внезапно он замер.

В наступившей тишине стал слышен сухой скрип пальмовых ветвей в ближайшей аллее.

— Повтори, как ты сказал, — невнятно проговорил Федя.

Опрокиднев повторил.

Федя тактично, отвернувшись от столика, выплюнул непобежденный шашлык, освобожденно вздохнул и, пошатнувшись, проникновенно обратился к Опрокидневу с самым теплым из известных ему обращений:

— Земеля! Точно! Именно что! На свете, значит, счастья нет, зато есть покой и воля. Во сказаноу!

— Это не я, — предостерег Опрокиднев. — Это Пушкин.

— Тем более записать! Чего только на мне нет, а Пушкина нету. — Он трахнул кулаком по мраморному столику, глухо звякнули круж-

ки. — Какой я русский человек, если на мне из Пушкина ничего не написано? Какой я после этого русский человек?

— Федя! — растроганно сказал Опрокиднев. — Это чувство вины и покаяния, это твое беспокойство за судьбы литературного наследия отчизны как раз и обнаруживает в тебе истинно русского человека.

Федя меж тем уперся пальцем в бедро и начал выводить буквы...

— Войдет! — закричал он. — Это надо записать! И немедленно. Слушай, едем к старику! Вдруг жив?

— Прекрасная мысль, Федор! — искренне ответил Опрокиднев. — А если не войдет на тебе, продолжим на мне! Что до художника, то он непременно жив. Большие художники живут долго: Тициан, Пикассо, Шагал. Едем, Федор!

— Через магазин, — уточнил Федя. — С пустыми руками неудобно.

* * *

Через час такси высадило их возле дворика, в густой зелени которого виднелось типичное строение здешних мест — одноэтажный домик с белеными стенами, с трех сторон окруженный широкой верандой, увитой виноградом и плющом.

Из домика доносились звуки рояля.

— Жив! — радостно сообщил Федя. — И трудоспособен! Он, знаешь, когда работает, для вдохновения на рояли играет. Один раз, помню, всадил мне уж половину иголок, и вдруг шась — за рояль. И давай бренчать. Я уж кричу: «Больно, кончай!» А он знай, поливает. Потом объяснил: образ от него ускользнул. Одно слово, художник!

Дверь в домик оказалась гостеприимно распахнутой. Друзья, не стучась, вошли в комнату. Стены ее были увешаны живописными работами. Сюжеты показались Опрокидневу знакомыми. Да, были здесь и двуглавые вершины, озаренные солнцем. И парусник, накренившийся на волне. И могучий орел, неторопливо пересекавший ущелье.

Половину комнаты занимал рояль. За ним сидел маленький сморщенный старичок. В соответствии с музыкальной темой, возникавшей под его пальцами, он то встряхивал свою остренькую седенькую головку, то склонял ее набок, напоминая старую певчую птичку, впавшую в воспоминания о творческих успехах своих юных дней.

Кроме рояля, в комнате находились: тахта, застеленная пестрым покрывалом не первой свежести, и большой рабочий стол, на котором, кроме стоп бумаги и картона и различных принадлежностей для производства плакатных работ, выделялись буханка хлеба и

грудки репчатого лука и помидор. Все говорило о том, что битва престарелого художника с жизнью шла нелегко.

При виде вошедших старик прекратил извлечение музыки. Он посмотрел на них с крайним любопытством, говорящим, что незнакомые люди редко бывают гостями этого дома.

— Здравствуйте, Николай Григорьевич! — воскликнул Федя. — Как я рад, что вы живы! Вы меня узнаете?

— Нет, — с сожалением ответил старик.

Тогда Федя одним рывком содрал рубашку, раскинул руки и изобразил из себя вращающуюся диораму:

— Ну?!

Лицо старика просветлело.

Он подошел к Феде и нежно прикоснулся к его торсу.

— Моя работа, — сказал он. — Какое качество! Да, мог.

— Николай Григорьевич, случайно вновь отдыхаю в вашем замечательном городе. Со своим другом. Как только он меня увидел, он сразу захотел увидеть и вас. И вот мы приехали. Извините!

— И не только увидеть... — начал было Опрокиднев, но Федя перебил:

— Ямщик, не гони лошадей. Мастер сухой. — И он выставил на стол бутылки.

Сухой мастер, ничуть не удивившись, сноровисто нарезал хлеб, помидоры, лук, поставил стаканы. Федя разлил.

— Не скрою, друзья, вы очень кстати, — оживленно сказал старик.

— Управление культуры уже в который раз задерживает мне оплату, и я некоторым образом на мели. Позвольте поднять тост за древнее и вечно юное искусство татуировки... Хотя я им больше и не занимаюсь... — с грустью добавил он и осушил стакан.

— Запретили? — встревожился Федя.

— Запретить не запретили, но с некоторых пор потребовали все рисунки и надписи утверждать на художественном совете в управлении культуры. Все, что я делал до этого, в том числе и то, что я сделал с вами, они не утвердили. Они потребовали перейти на высокоидейные надписи и лозунги наших дней. Пришлось пойти на встречу. Кое-что утвердили.

Старик порывлся на столе, извлек папку и показал эскизы. На листах изящным почерком было выведено: «Пятилетку — в четыре года», «Экономика должна быть экономной», «Сочи — всесоюзная здравница», «Посети Кавказ — край передового земледелия»...

— Гы, — сказал Федя.

— Отличные текстовки! — воскликнул Опрокиднев, незаметно ударяя Федею под ребра. — Отчего же вы не работаете?

— Клиенты не согласны. Нет желающих. Удивительно безыдейная публика.

— Чем же вы теперь зарабатываете?

— Оформительская работа. Наглядная агитация.

— Скучно...

— Скучно, — согласился старик. Он осушил еще стакан и сел к роялю. Бурная музыка заполнила комнату.

— Рахманинов, — определил Опрокиднев. — Мое любимое.

— Что вы... — смутился Николай Григорьевич. — Это мое... Им-провизация... Так легче приходит образ.

— А что вы сейчас обдумываете?

— Образ отдыхающего, не бросающего мусор мимо урны.

— Николай Григорьевич! — сказал Опрокиднев со слезами на глазах, проистекшими от закусывания репчатым луком. — Мы не можем допустить, чтобы угас ваш уникальный дар татуировщика. Это будет трагедией для мировой культуры. Плюньте на чиновников! Кто вас проверит? Моему другу Федору нужно кое-что дописать на его могучем теле. И поверьте, это все высокоидейные надписи. В крайнем случае, управление их подтвердит. И главное — клиент согласен.

— И даже требует! — булькнул Федя через выпиваемый стакан.

— Дорогой Николай Григорьевич! В эти дни вашим произведением, превратившим Федора в высокохудожественное полотно, не исключено, что исполняется двадцать пять лет. В честь славного юбилея Федор хочет покрыть себя лучшими произведениями русской классики и согласен отныне функционировать в качестве человека-однотомника при условии, что его будут считать уникальным изданием наряду с первопечатным букварем.

— Только с букварем! — подтвердил Федя. — Только так! В единственном экземпляре, и добровольно вступаю в ряды!

— ...И добровольно вступает в ряды, — подхватил Опрокиднев, — местной библиотеки, с предоставлением спального места на стеллаже, и с выдачей читателям по единому формуляру. Прочти и передай дальше. Ты, Федя, будешь раритетом и даже, я бы сказал, инкунабулой наших дней!

— Нет, — закапризничал Федя. — Инкубатором не буду. Я буду отрывным календарем. И всенародной книгой жалоб и предложений. Пишите в меня, товарищи, а я всеми правдами и неправдами пробьюсь в правительство, и они прочтут!

В этом месте Николай Григорьевич, до того внимавший странным речам гостей с нарастающим возбуждением, опомнился и замахал ручонками:

— Нет, нет, друзья. Тут что-то пахнет политикой. Боже меня упаси!

— Какой политикой?! — возмутился Опрокиднєв. — Речь идет о Пушкине. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Неужели вам Пушкина не пропустят?!

Николай Григорьевич отхлебнул вина: глаза его засверкали. Шаткой походкой он пробежал в угол мастерской и достал заветные инструменты.

— Рискнем! — закричал он. — Рискнем, мальчики! Но оплата сразу по исполнению!

— Да хоть авансом! — заверил Федя. — Ну? Я ложусь?

Распластанный на тахте Федор вскоре задышал тяжело и равномерно, погружаясь в сон. От густого сладкого вина слипались глаза и у Опрокиднєва. И Николай Григорьевич помаргивал, но упрямо целился, вырисовывая на федином бедре заготовку. Вдруг черты его лица исказились.

— Не то, не то, — прошептал он. — Дрожит рука, потеряла былую сноровку. Кончился мастер. Горе мне, горе...

Он сел за рояль и заиграл. Мрачные торжественные звуки накачивались на комнату, словно волны ночного прилива.

— Импровизация? — спросил Опрокиднєв.

— Что вы... — смутился старик. — Шопен...

Он играл и играл. Федя храпел. Опрокиднєв упал рядом с ним. Голова старика время от времени падала и стучалась о пюпитр. Он вскидывался, таращился и продолжал играть. И хоть не вечным, но крепким сном спали под траурный марш Шопена наши друзья.

* * *

Утром Опрокиднєв проснулся от жгучей боли в правой руке. Поднеся ее к глазам, он увидел, что кисть туго забинтована.

Рядом, на тахте, свернувшись калачиком, уютно сопел Николай Григорьевич. Феде не было.

Опрокиднєв растолкал старика:

— Где Федя?

— Не знаю... — с трудом вымолвил утомленный старик.

— Мы с ним подрались? Что у меня с рукой?

Старик кряхтя уселся и долго смотрел на забинтованную кисть Опрокиднєва, припоминая.

— Я решил все-таки хоть чем-то отблагодарить вас за этот чудесный вечер, — наконец вспомнил он. — Хоть что-то вам написать. Хотя бы ваше имя.

— Мне?! Феде надо было написать, Феде!

Но старичок уже уронил свое худенькое тельце на тахту, свернул его калачиком и уютно засопел...

Федю Опрокиднев нашел во вчерашнем парке. Только что открылся павильон, где был кофе. В зябкой тишине издали слышалось жадное хлюпанье, с каким Федя втягивал блаженно горячий напиток. Опрокиднев взял кофе и сел рядом.

— Почему не разбудил меня?

Федя пожал плечами.

— А почему ушел?

— Загрустил... — прохрипел Федя. — «Татру» свою вспомнил. Как она там без меня... А что у тебя с рукой?

— Старик вместо тебя меня оформил. Имя мне мое написал, злодей. Зачем мне имя, когда вся моя сущность, как я неоднократно сообщал, исчерпывается фамилией.

— Покажь.

Они размотали бинты. На косточках пальцев обнаружили буквы — квадратные, крупные, читаемые с расстояния минимум в десять шагов. Буквы складывались в имя. Имя было распространенное, массовое: «Федя».

Долго они сидели молча в тишине утреннего павильона, постепенно заполняемой звуками. Вошли посетители, загремели подносы. Прорычал автомобильчик, привезший свежую выпечку. На ветру, все более крепнущем, предвещая перемену погоды, заходили веерами, заскрипели пальмовые листья.

Бережно, как прихворнувшего ребенка, Федя взял в ладони опрокидневский кулак, украшенный своим именем.

— Или это мне с похмелью кажется, — сказал он, — или странная все-таки штука — жизнь.

СЧАСТЬЕ НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ

Двое познакомились на балтийском пляже.

Первый был разговорчив и весел.

Второй был грустен и молчалив.

Первый приходил в восемь утра, к открытию прокатного пункта. Он играл в бадминтон с девушками, в волейбол с юношами, выкапывал детям тоннели в песке, кормил чаек крошками булки, загорал, купался, а в кратких промежутках падал в шезлонг и пил пиво.

Второй приползал в одиннадцатом часу, расстилал на песке газету, садился, обнимал тощие колени и молча смотрел на горизонт.

Случайным образом они несколько дней устраивались рядом и наконец познакомились.

— Опрокиднев, — представился первый.

— Моя фамилия Винтокрыль, — ответил второй. — Она не кажется вам несколько необычной?

— Пива хотите? — спросил Опрокиднев.

— Нет. Вас это, наверное, удивляет?

— Купнемся? — предложил Опрокиднев.

— Не хочется, — ответил Винтокрыль. — Признайтесь, я кажусь вам странным?

— Вам здесь, наверное, девушки не нравятся, — простодушно сказал Опрокиднев. — Если так, то странно.

— И вы мне кажетесь странным, — признался Винтокрыль. — Я наблюдаю за вами третий или четвертый день и ни разу не видел, чтобы вы хоть на минуту задумались. Как вам это удается? Неужели в вашей жизни нет нерешенных проблем?

Опрокиднев внимательно посмотрел на соседа.

— Их до черта, — ответил он. — До дьявола. Но все они будут решены в течение дня.

— Ого! — удивился Винтокрыль. — Каким образом?

— Сразу не объяснишь... Вот вы сюда зачем приехали?

— Как вам сказать, — вздохнул Винтокрыль. — Тоже сразу не объяснишь. Хотелось уединения. Знаете, уединение в толпе, когда все вокруг незнакомы, и чувствуешь себя свободно, раскованно. Хочется заново оценить прожитое, найти истоки ошибок. Может быть, понять, отчего я несчастлив. Здесь, на краю океана...

— Это не океан и даже не море, — перебил Опрокиднев. — Это залив.

— Воображение... — произнес Винтокрыль. — Оно здесь расцветает. Смотришь за горизонт и видишь всю планету, думаешь обо всем человечестве. Здесь смеются дети, бродят красивые девушки, парят чайки...

— Да вы поэт! — воскликнул Опрокиднев.

— ...А где-то война, выстрелы и кто-то истекает кровью, может быть, на таком же песке, под такими же соснами... И от этих мыслей по-другому смотришь на всю жизнь, хочется разбудить себя, найти в себе какие-то новые силы...

— Только откровенно, — предложил Опрокиднев. — Вы их пробудили?

— Пока нет. Но...

— Никаких «но». Дорогой друг с необычной фамилией, наша беда в том, что мы ставим перед собой невыполнимые цели и лелеем

несбыточные мечты. Отсюда тоска, горечь, нелюбовь к купаниям и равнодушные к пиву. Я долго думал над этим, и я нашел выход.

— В чем же он? — с большим любопытством спросил Винтокрыль.

— В том, чтобы ставить перед собой только выполнимые задачи, — ответил Опрокиднев. — Объявлять главными проблемы ближайших суток, часов, если хотите, минут. Вы приехали сюда, чтобы найти ошибки, пробудить новые силы... Теперь спросите меня: зачем я приехал?

— Зачем вы приехали? — послушно спросил Винтокрыль.

— Бессмысленный вопрос, — улыбнулся Опрокиднев. — Я не могу ответить на него по той простой причине, что он для меня не существует. Он для меня слишком масштабен. Если бы вы спросили, зачем я неделю назад вышел из дому с чемоданом в руке, тогда бы я ответил: чтобы сесть в заранее заказанное такси. В тот момент это было главной целью моей жизни. И я, естественно, легко достиг ее...

Опрокиднев умолк, чтобы глотнуть пива.

— Продолжайте, — нетерпеливо попросил Винтокрыль.

— Следующей целью было: доехать до вокзала. Удалось блестяще. И так далее, вплоть до прихода сюда, на пляж. Непрерывная цепь бесконечно возникающих и удачно разрешаемых проблем, в итоге — прекрасное самочувствие, полная удовлетворенность. Понятно?

— Не совсем, — признался Винтокрыль. — Но в этом есть что-то странное. И оно мне нравится.

— Что «оно»? — спросил Опрокиднев.

— Странное, — повторил Винтокрыль. — Мне нравится странное. Вам это не кажется необычным?

— Вы хотите сказать, что вам нравится необычное, и это может казаться странным?

— Вот-вот, — обрадовался Винтокрыль. — Вы формулируете гораздо точнее.

— В моем методе нет ничего странного, — сказал Опрокиднев. — Я его покажу вам на примере, и вы все поймете. Смотрите: я иду купаться. Что для меня главное?

— Получить удовольствие от купания, — нерешительно угадал Винтокрыль. — Чтоб вода была теплая. Чтоб... — он смутился. — Чтоб рядом купалась симпатичная девушка.

— Не то! Все не то. Как я могу получить удовольствие от купания, если нахожусь на Балтике, а кто-то в эту минуту купается в Крыму, и у него вода теплее и прозрачней. А кто-то сейчас в Ницце купается, и его после купания ждет роскошная яхта. А меня ждет прокатный шезлонг и бутылка рижского пива. Сравнения сами лезут в голову, и от них не отмахнешься, верно?

— Да, — кивнул Винтокрыль.

— И когда обо всем этом думаешь, никакого удовольствия от купания не остается. Но я поступаю по-другому. Я иду купаться и самым главным объявляю: вернуться живым, не утонуть.

— Но ведь здесь мелко, — сказал Винтокрыль.

— Вот и прекрасно! У меня есть цель, и она реально выполняема. Смотрите внимательно...

Опрокиднел долго брел по мелководью, погрузился по грудь, нырнул, вынырнул и повернул обратно. Вскоре он шлепнулся на песок на четвереньки и несколько раз сильно потряхнул головой. С него, как с собаки, далеко полетели крупные брызги. Он поднялся, промокнул тело густым махровым полотенцем и гулко ударил себя по грудной клетке:

— Вот и все! Была задача: не утонуть. И она блестяще выполнена. А в то же время — я, конечно, не хочу накаркать, но это вполне реально, — что кто-то в Ницце, кого ждала роскошная яхта, увлекся охотой, поставил себе целью пристрелить какую-нибудь там макрель, нырнул за ней в подводную пещеру и, представьте себе, не вынырнул. Теперь понятно?

— Кажется, понял, — осторожно ответил Винтокрыль. — А можно применить ваш метод к моим целям? Привести их к более реальному масштабу?

— Сейчас приведем, — пообещал Опрокиднел. Он прыгал на одной ноге, вытряхивая воду из ушей. — Что там у вас? Истоки ошибок? Не шарьте по всей жизни, возьмите год, месяц, еще лучше — один день. Сегодняшний, например. Сегодня были ошибки?

— Кажется, нет.

— Значит, все в порядке?

— Как будто бы, да. Но завтра...

— Завтра, конечно, могут быть ошибки. И послезавтра. И до гробовой доски.

— Как же быть? — спросил Винтокрыль.

— Очень просто. Ошибки надо планировать самому, и тогда вам всегда будут ясны их причины, их, как вы говорите, истоки.. Что у вас еще?

— Проблемы всеобщего мира, — скромно напомнил Винтокрыль.

— Неужели здесь возможен счастливый исход?

— Для вас — да. Скажите, пожалуйста, вы способны помирить две враждующие армии? Нет. Две дивизии? Два полка? Роты? Взвода хотя бы? Нет, нет и нет. Сколько человек вы можете реально помирить? Двоих?

— Пожалуй, — не очень уверенно согласился Винтокрыль.

— Помирите их и будьте счастливы.

— Эти люди, — погрузнел Винтокрыль, — эти люди — я и моя жена.

— Гм... — Опрокиднел перестал прыгать. — Редчайший случай невыполнимой задачи, несмотря на предельно камерный масштаб. Что же вы думаете? — Он рассердился. — Я не волшебник. Что там у вас еще?.. Ах, да. Пробудить новые силы. Вы, конечно, имеете в виду духовные силы?

— Духовные, — мечтательно повторил Винтокрыль.

— Мой вам совет: ограничьтесь физическими. Видите этот турник? Подойдите и подтянитесь.

Винтокрыль повиновался.

— Раз... — считал Опрокиднел. — Два... Достаточно.

— Но я могу еще и «три», — гордо сказал Винтокрыль.

— Очень хорошо. Это и будет вашей завтрашней целью. Сосредоточьтесь на этом, живите этим ощущением сутки напролет, и когда завтра вам удастся на счет «три» перетянуть подбородок через перекладину, вас будет ждать большое счастье...

Винтокрыль ходил кругами между турником и Опрокиднелым и возбужденно размахивал руками.

— Знаете, — говорил он, — когда я сказал вам, что понял, это была неправда. А сейчас я действительно понял. — Он вернулся к турнику и ухватился за перекладину.

— Завтра, я сказал: завтра, — напомнил Опрокиднел.

— А я хочу сегодня! — крикнул Винтокрыль. — Один... Два... Три... И даже... четыре! Фух! — Он спрыгнул и засмеялся. — Чудесный метод!

— Нравится? — спросил Опрокиднел.

— Ладно вам, не скромничайте, ишь ты, скромняга, — развязно ответил Винтокрыль. — Да я чувствую себя рожденным заново! Знаете, что я выбрал следующей целью в жизни? Сыграть в бадминтон... Впрочем, нет! — Он захохотал. — Тороплюсь. Сначала — дойти до ваших ракеток. Вот главная цель.

Он сделал вприпрыжку два десятка шагов, очутился возле опрокиднеловского шезлонга:

— Говоря вашими словами, блестяще удалось! А теперь вперед, к новым свершениям! Держите!

Он швырнул одну из ракеток Опрокиднелу.

«Какой интересный метод, — подумал Опрокиднел. — Может, и мне опробовать?»

Ракетка кувыркалась в воздухе и сверкала на солнце.

— Есть у меня в жизни заветная мечта, — доложил он сам себе. — Поймать ракетку. Именно этого мне не хватает для полного счастья.

Ракетка снижалась.

Опрокиднев побежал, вытянув руки и увязая в песке.

На третьем шаге он напоролся пяткой на рыбью кость.

Ракетка упала рядом.

«Как некрасиво я лежу,» — подумал Опрокиднев.

— Вставайте, вставайте! — торопил Винтокрыль. — Счастье нас ждет впереди!

ОПРОКИДНЕВ — ЛОВЕЦ ЧЕМОДАНОВ

Однажды Опрокиднев успешно рассчитал вверенный ему паропровод и был награжден поездкой за передовым опытом на ВДНХ. Добросовестно проведя на выставке положенное время, он сел в самолет, летящий из Москвы в Иркутск с промежуточной посадкой в его родном городе, и вскоре благополучно приземлился в таковом. Вместе с другими пассажирами он проследовал в багажное отделение. Багаж здесь выезжал из подвала по наклонному транспортеру, после чего неторопливо проплывал над полом. Когда соседи растащили все, что выехало, Опрокиднев остался один на один с тихо рокочущим конвейером. Он долго заглядывал в пасть, из которой змеился коричневый язык транспортера, но оттуда так больше ничего и не выехало.

Дежурный взял его талон и пошел выяснять.

— Все в порядке, — сказал он, вернувшись. — Ваш чемодан полетел дальше в Иркутск. Завтра вернется. На всякий случай, сделайте опись.

Опрокиднев записал: бритва «Харьков», две цветных рубашки, одна белая и ценные деловые бумаги.

Утром ему пришлось бриться опасным лезвием. С непривычки он изрезал щеки и, явившись в отдел, неприятно поразил женщин своим обликом. Удивился и Буровин:

— Гм... Что это ты делал в Москве?

— Набирался опыта, — бодро ответил Опрокиднев.

— В какой области? — туманно намекнул Буровин.

— В нашей, в электропаровой, — не принимая намека, ответил Опрокиднев. — Привез интересные идеи.

— Где же они?

— К сожалению, чемодан с чертежами улетел в Иркутск. Ошибка багажной службы. Сегодня вернется.

— Чемодан у него улетел, — проворчал Буровин. — С твоими мозгами мог и посмешней придумать. Шиш тебе теперь московские командировки, — добавил он и по-детски надул губы.

Краска гнева залила Опрокиднева, розами вспыхнули шрамы:

— Кто не доверяет Опрокидневу...

— ...Тот не доверяет нашему вкусу! — подхватила Шараруева.

— Исцарапанный и помятый, он дорог нам, как и прежде, — сказала Лариса.

— Спокойно! Я оправдаюсь сам. — Опрокидnev позвонил в аэропорт и вежливо, но твердо произнес:

— Мой чемодан... Он должен был прилететь из Иркутска.

Выслушав ответ, он слегка нахмурился:

— Прошел в Ленинград. Вернется к вечеру.

Легкий шелест сомнения пронесся в отделе.

— М-да... — сурово сказал Буровин. — М-да...

К вечеру выяснилось, что чемодан снова проскочил мимо — в Омск. Утром он опять промахнулся и попал в Куйбышев.

Обстановка в отделе накалялась. Шараруева отвела Опрокиднева в угол и прошептала:

— Может, лучше признаться?

Ночью его разбудил телефон.

— Приезжайте! — кричал дежурный. — Он здесь.

В порт Опрокидnev примчался на поливальной машине.

Дежурный стоял на краю летного поля и задумчиво смотрел в небеса. Там, уменьшаясь с каждой секундой, горела красная точка уходящего на юг самолета.

— Ничего не понимаю, — огорченно сказал он. — Я уже почти держал его за ручку.

— В Ташкент? — спросил Опрокидnev.

— Сначала в Ташкент. А оттуда: Кабул — Бомбей — Сингапур. У вас нет знакомых в Сингапуре?

— К сожалению, нет, — ответил Опрокидnev. — В Сингапуре, как назло, ни одного.

В восемь тридцать утра он доложил Буровину о бегстве чемодана за границу.

В девять утра на доске объявлений повис приказ. Старшему технику Опрокидневу выносится строгий выговор за разгильдяйство.

В девять ноль пять разгильдяй позвонил в аэропорт и осведомился о прохождении рейса на Сингапур. Выслушав ответ, он закричал на весь отдел:

— Эдуард Фомич! Товарищи! Рейс задержан в Ташкенте по метеоусловиям. Это мой последний шанс! Подайте, кто сколько может.

И так горяч был его взор, с такой мольбой и надеждой тянулись к коллегам руки Опрокиднева, что после недолгих споров было решено сброситься по рваненькому и отправить разгильдяя в Ташкент.

Только Буровин пробурчал:

— А сам, небось, в Москву, на выставку слетает.

Но от участия в складчине не отказался.

— Я его поймаю! — заверил Опрокиднев.

— Возвращайся с победой! — пожелала Шараруева.

— С чемоданом, — поправил Курсовкин.

— Если охотник вернулся без добычи — это не охотник, — сформулировал Джазовадзе. — Это заготовитель. Так говорят у нас в горах.

— Так говорят у нас в степи, — сказал Аабаев.

— Если что, пиши, — сказал Буровин.

— Прощайте. — Опрокиднев поклонился и вышел.

Через три дня пришла телеграмма: «Чемодан Кишиневе телеграфьте аванс Ростов востребования Опрокидневу».

Вторая пришла через неделю из Риги: «Он улетел Архангельск временно отстал зарабатываю билет».

Через неделю оттуда же: «Непроверенным слухам его видели линии Воркута — Ашхабад наладил работу багажного отделения жаль бросать вылетаю Ашхабад».

Постепенно в отделе привыкли к этим кратким весточкам, а Шараруева повесила на стене карту страны и наносила на нее маршруты: чемодана — черным карандашом, Опрокиднева — красным. Линии пересекались, часто шли вместе, но затем вновь расходились.

Потом телеграммы стали приходить все реже, а к исходу второго месяца и вовсе прекратились.

В отделе старались не упоминать имя Опрокиднева, и пришедший за это время новичок даже не знал, на чьем месте сидит и чей рейс-федер держит в своих беззаботных пальцах.

Однажды, в конце рабочего дня, дверь в отдел отворилась и вошел немолодой, загорелый, обросший седой щетиной человек. Шаркающей походкой он приблизился к столу Буровина и швырнул поверх бумаг сильно помятый чемодан в оранжевую и синюю клетку:

— Вот он, мерзавец.

В наступившей тишине раздался вопль Шараруевой: седой человек был Опрокиднев.

— Это произошло в Анадыре. Подробности утром, — заплетаясь языком произнес он, упал на пол и захрапел.

Все окружили чемодан. Замки были намертво схвачены ржавчиной. Их пришлось взломать.

— Двадцатый век, все к чертям стареет, — задумчиво пробормотал Буровин, перелистав чертежи. — А ведь всего полгода прошло.

На Опрокиднева побрызгали из графина, и он проснулся.

— Прости меня, Опрокиднев, — попросил Буровин.

— Ничего-ничего, — улыбнулся Опрокиднев. — Зато теперь у нас навалом передового опыта. А это что такое?

Рядом с чертежами лежала бритва с механическим заводом и три рубашки: одна цветная, две белых.

— Это не мои вещи, — растерянно сказал Опрокиднев. — Это не мой чемодан. Это его двойник.

— А чертежи?

— Чертежи мои.

— Не понимаю, что тут удивительного? — спросил Курсовкин. — Товарищ тоже летел за передовым опытом. И у него тоже пропал чемодан. Надо вернуть.

И тут у Опрокиднева не выдержали нервы. Он сел, где стоял — а стоял он на полу — и заплакал:

— Вернуть? А кто мне вернет молодость?

— Что же ты предлагаешь? — спросил Курсовкин.

Опрокиднев утер слезы и сказал:

— Пусть тот товарищ теперь гоняется за моим чемоданом. И пусть ему повезет, как мне.

Шараруева встала на колени и, шумно вздохнув, расцеловала Опрокиднева в его седые щеки.

ОПРОКИДНЕВ НА ГРАНИ ДВУХ СРЕД

1

Однажды Опрокиднев решил отрастить бороду.

— Надо меняться, друзья, проще говоря, метаморфизировать, обновляться самому и удивлять других, — объяснил он. — Я отращу бороду как символ вечного обновления моей природы. А потом я ее сбрую.

— Сброю, — поправил Курсовкин.

— Я обрублю ее, — сказал Опрокиднев, — и снова предстану обновленным и свежим, как вышеупомянутый огурчик.

— Жаль, ты не брюнет, — сказал Джазовадзе. — Рыжий волос растет очень медленно. Очень медленно растет. Виноградная лоза — и та растет быстрее рыжего волоса.

— Что растет быстро — так это сирень, — сказал Курсовкин. — Год назад я посадил на могиле у тещи куст сирени, так он пророс к соседям, и они очень недовольны.

— Верблюд быстро растет, — вспомнил Аабаев. — В первый сезон достигает порядка двух центнеров.

— Я предусмотрел скорость роста, — сказал Опрокиднев, — я беру недельный отпуск без сохранения. В течение этого срока прошу не навещать меня и не звонить. Через неделю появлюсь сам, неузнаваемо преображенный. Теперь разрешите мне вернуться к трудовому процессу.

И Опрокиднев возобновил умножение двадцати четырех на семнадцать, строго следя, чтобы результат ни в коем случае не превысил четырехсот.

2

В первые три дня щетина с небывалым подъемом перла из жизнерадостных щек Опрокиднева.

Но к четвергу ее поступательное движение вперед, к бороде, резко замедлилось. Стартовав по-спринтерски, она перешла на стайерский темп, а вскоре вообще поплелась пешком и без особого спортивного честолюбия.

В субботу она едва достигла сантиметра.

Это печальное замедление сказалось и на настроении Опрокиднева. Первые дни он бодро разгуливал по комнате, время от времени усаживаясь завтракать, обедать или ужинать. Он пел любимые песни, танцевал любимые танцы, перелистывал любимые книги. Никто не стучал в его дверь, никто не звонил по телефону. В полной тишине, нарушаемой лишь приятной мелодией песни «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Опрокиднева, шел непрерывный и неукротимый рост бороды.

В четверг Опрокиднев испытал первый приступ одиночества. В пятницу появилось сильное желание увидеть человека и сказать ему пару слов.

В субботу он заговорил сам с собой. Это не были его обычные монологи, сверкающие подобно грозовым разрядам и оставляющие у слушателей почти буквальный, свежий, одуряющий запах озона, а также радостное недопонимание того, о чем, собственно, шла речь. Это были душевные беседы, светлые воспоминания о детстве, отрочестве, юности.

— В разных видах выдывал я свой волосяной покров, — рассказывал сам себе Опрокиднев. — Помню себя в пионерском лагере глупым ребенком, обритым наголо, в связи с некоторой вшивизацией окружающей меня тогда действительности. Помню, как, заглянув в зеркало, я увидел над бессмысленными от испуга глазами не слишком широкий лоб, а над ним — некую бугорчатую поверхность, дотоле скрывавшуюся от меня под прелестным чубчиком. Помню, как пора-

жен был я безобразной неровностью своего черепа и нежностью его строения. Покрытая множеством золотистых точек, свежайшей белизной светилась кожа, много лет не знавшая благотворных лучей солнца вообще и теплых струй электрического света, в частности. В некоторых местах слабо пульсировали кровеносные сосуды... Страшно мне стало за эту поистине фарфоровую хрупкость детского черепа. Я осторожно погладил себя по макушке и ощутил прикосновение своей мозолистой ладони не только к основаниям многочисленных волосиков, но и к внутренней поверхности черепной кости, а, может быть, и непосредственно к мозговому устройству.

И я подумал: как же с такой незащищенной черепушкой участвовать в повседневных стычках и драках? Приварят по кумполу, еще проще думал я — и привет пионерской организации... Однако тут у меня отобрал зеркало следующий отошедший от парикмахера мальчик.

Стригли нас на лесной поляне, детские волосы неслышными пластами падали на расчищенное в траве место. И когда стрижка была закончена, на этом пятачке лежал ворох в основном русых, а также черных и рыжих волос, в которых предположительно, да так оно и было на самом деле, гнездились паразиты, именуемые вшами. Лагерный врач чиркнул спичкой, и власяная куча вспыхнула с легким треском. Наголо обритые дети наблюдали за пламенем пожара, и я воображал, как крохотные паразитические тельца гибнут, не понимая, что с ними происходит. Как закипает и свертывается их протоплазма, или черт его знает какая составляющая их органика. Как они торопливо прощаются друг с другом, надеясь на встречу в лучшем мире, в своем насекомом раю.

Помню себя грубым подростком с уголовной челкой на мутных глазах.

Помню застенчивым юношей в день первого бритья, жгучие царапающие прикосновения лезвия к целомудренной щеке, веселое пощипывание первых порезов, увлажненных скользкой ледяной палочкой квасцов.

Помню усики. Какую-то брюнетку, ради которой я их завел. А может быть, я путаю. Может быть, усики были у брюнетки? Такая, знаете, темная, как легкий налет угольной пыли, такая, что ли, пикантная деталь, ничуть не безобразящая юной красоты и даже странным образом привлекающая, без каких бы то ни было извращений притягивающая отнюдь не блудливый, впрочем, и не слишком возвышенный взор созревающего мужчины...

Здесь слезы навернулись на глаза Опрокидневу, и, оборотясь к дверям, он крикнул: «Войдите!» — но, естественно, никто не вошел.

— Войдите кто-нибудь! — закричал он в тоске. — Позвоните кто-нибудь! Лариса! — выкрикнул он первое попавшееся имя. — Неужели и ты забыла меня? Человек не может быть один, Марианна Властьевна! Позвони мне, Шараруева, я расцелую твои колени! — и, за неимением перед собой в данную минуту шараруевских коленей, Опрокиднєв поцеловал телефон.

Телефон зазвонил.

Много звона и шороха слышал за свою жизнь Николай Опрокиднєв, но ни одна симфония, ни один девический лепет не могли сравниться с простой песней телефона.

Звонил Джазовадзе.

— Извини за нарушение, Опрокиднєв, — сказал он, — но мы, я и Аабаев, сидим в ресторане «Ералаш» с тремя женщинами, и очень нужен человек с бородой. Тут за каждым столиком есть человек с бородой, и наших дам это угнетает. Наш столик выглядит провинциально, понимаешь, Опрокиднєв?

— Извини и ты, Джазовадзе, — с достоинством ответил Опрокиднєв. — Звонок я тебе прощаю, но из дому выйти не могу. Борода еще не вышла на уровень мировых стандартов. В настоящее время она колосится в промежуточной фазе.

— Третья женщина много слышала о тебе, — сказал Джазовадзе. — Она слышала о тебе от нас. Она любит тебя, Опрокиднєв. Опрокиднєв, она брюнетка...

3

Через широкое хрустальное окно он изучил внутренность ресторанного зала. За столом, сервированным на шесть персон, сидели Аабаев, Джазовадзе и три женщины. Одна, бойкая, пухленькая особа, льнула к Аабаеву. Стройная блондинка с красивыми зубами смеялась величавым шуткам Джазовадзе. Отделенная от Джазовадзе пустым стулом, надменно сидела широкоплечая брюнетка с профилем римского воина.

— О такой женщине я мечтал много лет, — признался Опрокиднєв, обращаясь к прохожим, каковых, впрочем, не оказалось. — Через минуту я буду держать ее в объятиях, — поклялся он швейцару, даже отдаленно не представляя, настолько растянется эта минута.

— Небритых не пускаем, — лениво произнес швейцар и привычным движением загородил вход.

— Значит, у вас борода, а у меня не борода?

— У меня борода, а у тебя не борода.

— Стало быть, вам, отец, известен тот минимум, с которого она начинается? Пять сантиметров — это борода?

— Я в сантиметрах не понимаю, — гордо сказал швейцар, — покажи на пальцах.

Опрокиднев показал.

— Это борода, — согласился швейцар.

— А три сантиметра?

— Покажи... Борода.

— А сантиметр?

Швейцар задумался.

— Борода, борода, отец, не сомневайтесь, — сказал Опрокиднев, втискивая ему в ладонь полтинник.

— Пожалуй, что борода, — согласился швейцар и на краткое время разжал ладонь. — Ой, нет, не борода! Я думал, ты мне рубль дал, а это юбилейный полтинник. Ты юбилейный полтинник никогда не суй, он тяжелый, его с неюбилейным рублем спутать можно.

— Вечно ты экономишь, — сказал себе Опрокиднев. — Держите, отец, — он протянул рубль. — Теперь борода?

— Обидел ты меня, товарищ, — ответил швейцар, игнорируя рубль.

— Если меня каждый посетитель пополам обманет, что я домой принесу? У меня стоячая работа, ко мне утром массажистка придет, вибромассаж конечностей, пять рублей сеанс.

— А, задери кобыле хвост! — простовато выругался Опрокиднев и швырнул трехрублевую ассигнацию. — На, вибрируй! Теперь борода?

— Теперь, — ответил швейцар, на лету складывая бумажку, — борода. Милости просим! В широком выборе горячие закуски и прохладительные напитки.

Опрокиднев рванул к гардеробу, но в этот момент из дверей зала вышла строгая женщина во фрачном костюме, известная посетителям как метрдотель Инна Вениаминовна.

— Филипп, почему небритых пускаешь? — сердито спросила у швейцара. — У нас сегодня иностранцы — что они подумают?

— Увидев, что человека не пускают в ресторан, они подумают, что у нас нет свободы, — ответил за Филиппа Опрокиднев и пристально посмотрел на Инну Вениаминовну.

— Они могут так подумать? — встревожилась Инна Вениаминовна.

— Разумеется, — свирепо сказал Опрокиднев.

— Но я объясню, что вы задержаны по причине небритости, — еще довольно уверенно возразила Инна Вениаминовна.

— Это ваше личное мнение, — ответил Опрокиднев. — Мы с Филиппом считаем, что у меня борода. Личное же мнение, возведенное в силу приказа — это диктат. Они подумают, что у нас диктат. Нет, дорогая Инна Вениаминовна, мы должны показать им нашу демократию во всем блеске и перламутре ее достижений. И знаете, что мы сейчас сделаем? Перед лицом наших зарубежных друзей, среди которых немало и врагов, мы сейчас проведем не что иное, как плебисцит!

— Что это такое? — спросила Инна Вениаминовна.

— Сейчас увидите! — Опрокиднев вбежал в ресторан и властным жестом потребовал тишины. — Уважаемые посетители! Есть удобный случай показать нашим зарубежным гостям, что у нас любые вопросы решаются коллегиально, сообща, кучей, на широкой демократической основе. Инна Вениаминовна считает, что я небрит. А Филипп согласен, что это борода. Решается вопрос: быть мне среди вас или не быть? Сначала устроим свободную дискуссию, затем всеобщее голосование, проще говоря — плебисцит.

Легкий шепоток пополз по ресторанному залу. Опрокиднев стоял в проходе, молодцевато подбоченясь. Рыжие щеки горели в электрическом свете, как ярко начищенный медный таз. Особой опрокидневской красотой был красив в решающую минуту Николай Опрокиднев.

— Бо-ро-да! Бо-ро-да! — рявкнули обнявшись Аабаев и Джазовадзе, и вслед за ними все посетители выдохнули:

— Борода!

— Как всегда, единогласно, — удовлетворенно подчеркнул Опрокиднев, адресуясь к Инне Вениаминовне.

— И слава богу, что единогласно, — ответила Инна Вениаминовна, любуясь Опрокидневым. — Идите на место, ежик, — ласково добавила она.

Но тут к Опрокидневу подошел переводчик:

— Мои спрашивают, можно ли им высказаться на правах совещательного голоса?

— Пусть высказываются, — разрешил Опрокиднев, — но без идеологических выпадов. Не люблю я этих выпадов, товарищ переводчик, и вам не советую.

— Слово на правах совещательного голоса предоставляется нашему зарубежному гостю, — громко объявил Опрокиднев.

— Можно, буду говорить по-русски, ай нет? — осведомился гость. Опрокиднев кивнул. — Господа, в вашей стране мы каждый день

имеем новое удивление. Ваш плебисцит есть идеал парламентаризма...

— Без выпадов! — напомнил Опрокиднев.

— Прощения просим покорно, — извинился гость, — имеем буржуазные привычки много годов. В нашей стране, — продолжил он, — капитал есть супер-аргумент дискуссии. Имейте капитал, и про ваш боулдплейс...

— Лысина, — пояснил переводчик.

— ...Будут говорить: мэгнифиснт келы хеа!

— Роскошные кудри, — пояснил переводчик.

— Мы приветствуем ваш митинг...

— У нас не митинг, — поправил Опрокиднев. — Тематические посиделки. Нот митинг, — сказал он и погрозил пальцем.

— ...И просим от своего имени считать молодому человеку его маленькую бородавку имеющей место быть. Благодарю за внимание!

— Ура! — раздалось повсеместно.

— Гип-гип, — по-иностранному закричали зарубежные туристы, и на своих столиках официанты получили новые заказы.

— Свободную дискуссию объявляю закрытой! — громко оповестил Опрокиднев. — Приступим к голосованию. Кто за бороду, подымите бокалы.

Одновременно взорвалось не менее дюжины бутылок шампанского, зашумели струи, лес бокалов вырос над столиками, и звяканье искусственного хрусталя через мгновение было перекрыто праздничными аккордами гитарного ансамбля.

К Опрокидневу тянулись с бокалами и рюмками, и, пока он шел к друзьям, ряд разнокалиберных напитков протек через его возбужденное горло. Брюнетка с профилем римского воина взволнованно катала хлебный шарик по скатерти, не в силах поднять глаза на приближающегося Опрокиднева.

И в эту минуту директор ресторана «Ералаш», человек с фамилией Кавьярский, привлеченный шумом, покинул свой кабинет и появился в зале.

— Что здесь происходит? — спросил он у Инны Вениаминовны.

— В связи с небритым посетителем, Сергей Григорьевич, — объяснила Инна Вениаминовна. — Перед лицом интуристов устроили голосование. Сообща проголосовали за бороду. Пришлось согласиться.

— А если они сообща проголосуют сегодня не платить? — мрачно предположил Кавьярский. — Тоже согласиться? Прошу следовать за мной, — приказал он Опрокидневу и, понизив тон, добавил: — У меня в кабинете есть бритва, побреетесь и вернетесь. И давайте быстро, без скандала.

— Вы диалектику изучали? — спросил Опрокиднев.
— У меня высшее образование, — устало ответил Кавьярский. — Изучал.

— В таком случае вам должны быть известны так называемые явления на грани двух сред.

— Возможно, возможно, — сказал Кавьярский. — Расскажите в кабинете.

Он твердой рукой взял Опрокиднева за талию и энергично двинул вперед.

— Иду, иду, — покорился Опрокиднев. — Прощайте, друзья. Прощайте, женщина, имени которой я так и не успел узнать.

— Ирена! — крикнула брюнетка, но голос ее потонул в гитарах электроансамбля.

5

Поздно ночью, в затихшем ресторане, перед третьей бутылкой коньяка сидели в директорском кабинете Кавьярский и Опрокиднев.

— Ты действительно крупный диалектик, Коля, — бормотал Кавьярский, раскачиваясь над столом. — Ты открыл мне глаза. А ведь я эту диалектику на пятерку сдал. Вот так мы учимся, Коля. Такие из нас получаются специалисты. Перспективу не видим. Пусть сегодня небритость, но завтра-то — борода! А?!

— Вот ты мне скажи, Коля, — встрепенулся Кавьярский, — вот оцени явление с точки зрения перспективы. Однажды жена приходит в полпервого ночи. Откуда — не говорит. Идет мыться. Хочу обнять — говорит: «Не трогай!» Ложится и моментально засыпает. И вот ты мне оцени это явление. Можно уже считать, что она мне изменяет, или это еще на грани двух сред?

Опрокиднев молчал. Час назад, перед закрытием ресторана, когда публика побрела к выходу, он через приоткрытую дверь кабинета увидел Ирену, брюнетку с профилем римского воина. Ее уводил переводчик «Интуриста».

— Уже изменяет или это еще в перспективе? — нетерпеливо повторял Кавьярский.

— В перспективе, Сережа, изменяют все, — колеблемо ответил Опрокиднев. — Будь любезен, ты обещал бритву.

Таким чисто нервным решением закончил Опрокиднев выращивание бороды.

Эта история, по мнению автора, рождает сразу несколько титулов, но мой друг скромно выбрал только один из них: «Опрокиднев — организатор плебисцитов».

ЧУЖАЯ ШУТКА

В круге разнообразных знакомств, накопленных Опрокидневым, существовали кое-какие досадные упущения: например, он никогда не был лично знаком с кем-нибудь из писателей. Но вот жизнь накартила и заполнила этот пробел. Довелось Опрокидневу познакомиться с кудесником письменного слова — и при этом значительно изменить свое представление о творцах литературы.

Однажды, вернувшись с работы, он сидел на кухне и, рассеянно заглывая свою любимую овсяную кашу, увлеченно читал вечернюю газету. На третьей странице ему попался фельетон, критикующий в общем виде некоторые нравы и обычаи горожан. Едва он углубился в ехидные пассажи, набросанные уверенной рукой матерого сатирика, как что-то знакомое заставило его остановиться и поднять очи к небу, каковым в данный момент служил давно требующий побелки кухонный потолок.

На потолке, в конвенционных струях, разогреваемых лампочкой, дремало несколько мух.

— Позвольте, — заявил им Опрокиднев, — но ведь это моя любимая шутка. Любимая и фирменная, а сочинил я ее самостоятельно и на большом вдохновении, будучи в легком подпитии и подвергаясь агрессивному воздействию присевшей рядом Шараруевой, под благотворным влиянием ее неприкрытого напора...

Мухи остались абсолютно равнодушными к этому протесту, проявив черную неблагодарность по отношению человеку, с чьего стола они щедро кормились в течение своей недолгой, но сытой и безмятежной жизни.

Опрокиднев отставил в сторону кашу и задумался. Кроме Шараруевой, шутку слышали Аабаев и Джазовадзе. Кроме того, он повторил ее в тесном кругу у друга юности Эдуарда С. И все? И все. Шутка была молодая, родившаяся две недели назад. Как же она попала к автору фельетона, известному в городе писателю Нимурмуру? Кто передал? Любопытно...

Он позвонил Шараруевой, но та наотрез отрицала свое знакомство с означенным человеком и заверила, что не только ни разу не встречалась с ним, но и никогда не читала его книг.

Он позвонил Эдуарду С., и друг юности поклялся, что в его компании нет счастливчиков, которые сподобились бы общаться со знаменитым автором производственных романов, приключенческих сценариев и острых сатир на современную молодежь.

Оставались Аабаев и Джазовадзе, у которых телефонов не было. Но вероятность их знакомства с Нимурмуровым была ничтожна.

Закон гор диктовал красавцу Джазовадзе круг знакомств, замкнутый блондинками, склонными к ранней полноте, а из всех искусств склонял исключительно к древнему жанру застольных песнопений. Примерно такие же ограничения накладывал на Абаева закон степей.

Где же мог слышать Нимурмуров шутку Опрокиднева?

Он напрягся, вспоминая подробности своего вряд ли безупречного поведения за последние недели...

И вдруг вспомнил. Дней десять назад он довольно удачно применил эту шутку, едучи в трамвае, для быстрого рассасывания назревавшей склоки. Нимурмуров, стало быть, волею случая ехал рядом с ним и чутким писательским ухом уловил все высокохудожественное совершенство опрокидневской миниатюры.

До этого инцидента Опрокидnev и не подозревал об уровне своего тщеславия. Он быстро оделся, быстро разыскал в окрестностях справочный киоск, через полчаса держал в руке адрес Нимурмурова, а еще через полчаса уже входил в квартиру писателя.

— Чем обязан? — спросил писатель, открыв дверь и увидев незнакомца.

На нем был вишневый атласный халат с отворотами из рыжеватого бархата, обвязанный крученым поясом с пышными кистями, и писатель ждал ответа, весьма самоуверенно поигрывая одной из кистей.

— Давний поклонник вашего таланта, — абстрактно представился Опрокидnev. — Однако плагиат не прощаю никому, даже столь дорогому для меня писателю, как вы.

— Плагиат? — искренне удивился Нимурмуров. — Вы пришли обличить меня в плагиате? Интересно... Пройдите.

Расположившись в писательском кабинете, Опрокидnev достал из кармана вечернюю газету, развернул ее и ткнул пальцем в подчеркнутые строки:

— Только что прочел. Отдаю должное вашему мастерству. Разделяю призыв к облагораживанию нравов отдельных сограждан, что никак не украшает наш передовой отряд в его последнем переходе в район светлого будущего. Но несколько удивлен и заинтригован наличием в вашем тексте вот этой фразы.

Прослушав несколько строк из своего фельетона в выразительном исполнении незнакомца, Нимурмуров, против ожидания, даже не вздрогнул. Стальные нервы, с уважением подумал Опрокидnev. Вот как, оказывается, литературная работа закаляет нервную систему индивидуума.

— Ну... Где же тут плагиат? — зевнув, спросил Нимурмуров.

— То есть как где? — возмутился Опрокиднєв. — Вєдь это моя шутка. Я лично произнес ее в порядке экспромта, вдохновленный не известной вам женщиной, а впоследствии использовал ее в трамвае.

— Женщину?! — осклабилсѧ Нимурмуров, автоматически отреагировав на прозвучавшую двусмысленность.

— Шутку! В каковом — я имею в виду трамвай — ехали, вероятно, и вы. Я понимаю, писатель имеет право улавливать словесный мусор, летающий в тех или иных закоулках нашего бытия, в том числе и в тесных пространствах нашего предназначенного для свар и скандалов общественного транспорта. Но когда перед ним возникает... или, скажем точнее, когда возле него звучит пусть и произнесенное рядовым пассажиром, но безупречно отточенное по форме и довольно остроумное по смыслу изречение, он должен понимать, что это чужое произведение, цитировать которое в печати без согласования с автором означает нарушать ряд законов авторского права со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Совершенно с вами согласен, мой высоко эрудированный поклонник, — ответствовал невозмутимый Нимурмуров, — но должен вас разочаровать. Произошло совпадение, сродни тем, какие случаются в науке, когда два ученых делают одно и то же открытие независимо один от другого. Эту шутку я придумал сам. Я никак не мог подслушать ее в трамвае. Дело в том, что я вообще не езжу в трамваях.

— Вы не могли ее придумать! — горячо воскликнул Опрокиднєв.

— Отчего же?

Оттого, хотел сказать Опрокиднєв, что я имел несчастье читать один из ваших романов, а также оттого, что во всем фельетоне нет ни одной фразы, которая подтверждала бы ваше собственное остроумие.

— Оттого, — сказал он, — что в этой шутке косвенно обрисовано поведение моей незабвенной подруги Шараруевой, которую вы не знаете и не можете знать. И вы ехали, ехали в этом трамвае, мой дорогой, мой любимый писатель!

— Да говорю же вам, не ехал! — с нажимом повторил Нимурмуров и даже с досады ударил ладонью о стол, отчего на соседнем стеллаже глухо звякнул неизвестно зачем подвешенный среди книг колокольчик.

Как раз в этот момент в кабинет вошла супруга писателя, неся на подносе две чашки кофе.

— Куда это ты ехал? — поинтересовалась она, любезно ставя кофе перед мужем и его гостем.

— Да никуда я не ехал! Не лезь не в свое дело. Иди! — выпалил Нимурмуров, чем только дополнительно разжег любопытство жены. Она посмотрела на гостя и повелительно произнесла:

— А ну-ка, выкладывайте, молодой человек.

Опрокиднелу не оставалось ничего другого, как вкратце изложить странную причину своего появления в доме.

Выслушав историю об украденной шутке, супруга попросила уточнить, в каком именно маршруте столь удачно пошутил гость.

В продолжении их беседы Нимурмуров, не прикасаясь к кофе, все более громко пощелкивал пальцами. Опрокиднел же с удовольствием прихлебывал крепкий горячий напиток.

Получив необходимую информацию о номере трамвайного маршрута, женщина заметно порозовела, уперлась руками в свои крутые бока и произнесла, обращаясь к мужу:

— Опять к ней начал ездить, подонок?

Нимурмуров залпом выпил остывший кофе и принялся страстно отрицать и обвинение, и сам факт поездки в трамвае в названном маршруте.

— Алиби! — жестко потребовала супруга. — Когда это было? — спросила она у Опрокиднела. — Число, время.

Опрокиднел напрягся и вспомнил.

Она выбежала из кабинета и тут же вернулась, теребя замусоленный блокнотик.

— Так... Восемнадцатого... Около шести вечера... — зловеще прикидывала она, ища нужную запись. — Вот. Дома тебя не было. Ты уехал в издательство. Что, звонить мне в издательство, чтобы там вспомнили, был ты там или нет? Или ты предусмотрел и договорился? Все же позвоню...

Она потянулась к телефону.

— Не звони, — остановил ее Нимурмуров. — Во-первых, в издательстве уже никого нет.

— А во-вторых?

— Ну, не был я, не был в издательстве! — простонал Нимурмуров.

— Ну, ехал я в этом проклятом трамвае! И действительно услышал шутку этого наглого молодого человека. И вставил ее в фельетон. Готов на любую компенсацию, товарищ! Пожалуйста! Сколько с меня?

— Он возбужденно распахнул халат и принялся шарить под ним, где не было не только предполагаемого кошелька или портмоне, но и карманов. — Но этим маршрутом, моя дорогая... — В «дорогую» Нимурмуров вложил все чувства, которые обыкновенно накапливаются в большинстве людей лет за двадцать пять супружества. — Этим маршрутом, моя дорогая, к «ней», да будет тебе известно, не приедешь! Ты прекрасно заешь, где она жила!

— Она что, сдохла, наконец?

— Где она живет, я хотел сказать.

— Ах, тебе известно, что она еще жива?

— Но и тебе это прекрасно известно, черт побери! И ты отлично знаешь адрес, по которому отправила в прошлом году несколько очень, очень интеллигентных писем! С таким, знаешь ли, умением пользоваться нецензурщиной, каким не обладаю даже я! Молодой человек, вы, я убедился, умеете мыслить весьма здраво. Будьте арбитром. Если человек...

— Баба, — переформулировала супруга.

— ...Живет на Юго-западе — можно ли приехать к ней, сев в тот самый, наш с вами двадцать четвертый маршрут?

— Ни в коем случае, — вынужден был подтвердить Опрокиднєв.

— Только если бы она поменялась на микрорайон Радиальный-восьмой. Но кто же меняется с Юго-запада на такую глухомань?

— Значит, завел себе новую бабу, в Радиальном, — утверждающе развела руками супруга.

Но чувствовалось, что она не слишком убеждена в подобной разгадке.

— А если нет — куда же ты ехал? — спросила она, кажется, успокаиваясь.

— Никуда, моя дорогая. Я действительно собрался в издательство, но по дороге вспомнил, что обещал газете фельетон на городские темы. И мне вдруг захотелось окунуться в повседневную жизнь простых людей. Я сел в первый попавшийся трамвай, чтобы понаблюдать за горожанами. Четверть века объясняю ей, — пожаловался Нимурмуров Опрокиднєву, — что писатель иногда ведет себя странно: шляется по значным местам, бродит в каких-нибудь завокзальных переулках, мотается в трамваях или пригородных автобусах — изучает драгоценные мелочи бытия. И между прочим, молодой человек, все увиденное и услышанное в этой не такой уж легкой работе — да, работе! — считает своей законной добычей. Но вам, как я уже сказал, я готов дать компенсацию.

— О, благодарю, — отверг порыв писателя Опрокиднєв. — Я убедился, как сложно быть писателем. Не скрою, не подозревал. Я дарю вам свою шутку. Насовсем. На память. На добрую память об этом нашем не совсем обычном знакомстве.

— Я тоже очень, очень рад, — произнес Нимурмуров, всем видом одобряя привставшего из кресла Опрокиднєва покинуть квартиру. — Заходите, вы мне очень понравились. Подкупает ваше простодушие, покоряет ваша прямота, столь свойственная лучшим представителям нашей молодежи.

— Вы тоже мне очень понравились, я вас, ей-богу, просто полюбил, — подтвердил свои прямоту и простодушие Опрокиднєв, выходя в

прихожую. — Позвольте в дальнейшем от всей души дарить вам свои скромные мысли и высказывания в робкой надежде, что они пригодятся вам не только для газетной работы, но и при сочинении ваших крупнокалиберных вещей.

— Ради бога, приму с благодарностью. Звоните, возникайте.

— Заходите, молодой человек, — пригласила супруга, думая о чем-то своем. — Все-таки ты как-то странно оговорился. Ты сказал не «живет», а «жила».

— Ну и что? — нахмурился Нимурмуров.

— А то, что твоя оговорка вполне объяснима.

— Чем? Чем? — рывкнул Нимурмуров, яростно крутнув перед животом кисть и на мгновение превратив ее в пропеллер.

— Тем, что она все-таки... поменялась! Ты не возражаешь, если я проверю?

Нимурмуров оскорбленно всплеснул руками и, прикрывая за собой дверь, Опрокиднев подумал, что настоящая ссора между супругами начнется только сейчас.

ОПРОКИДНЕВ НЕ ПОДАЕТ РУКИ

Однажды утром в отдел, как всегда с небольшим опозданием, вошел Опрокиднев. Инженеры и техники, уже начавшие трудиться над реконструкцией котельной для семнадцатого микрорайона, разогнули спины, бросили ручки, рейсфедеры и карандаши: приход Опрокиднева всегда был маленьким праздником для отдела.

Но сегодня в дверях стоял новый, необычный Опрокиднев.

Напрасно ждала младший техник-копировщик Лариса прикосновения упругих опрокидневских губ к ее вздернутому носику. Напрасно готовилась старший инженер Марианна Власьева к шуточному опрокидневскому поцелую в правое ушко. Напрасно томилась инженер Шараруева в ожидании, когда крепкая опрокидневская ладонь в знак утреннего приветствия цинично шлепнет ее по коленке.

Напрасно предвкушал Аабаев свой любимый анекдот про попугая с ниточками на ногах, а Джазовадзе — свой любимый анекдот про червячка в огороде. Напрасно верил Курсовкин, что опрокидневские афоризмы отвлекут его от мрачных мыслей о неудавшейся семейной жизни. И сам товарищ Буровин зря надеялся на опрокидневский оптимизм как на один из постоянных факторов повышения отдельской производительности труда.

Прошла минута, а Опрокиднев еще не поцеловал ни одной жен-

щины, не обнял ни одного мужчины, не показал ни одного фокуса, и ни один анекдот не вырвался из его уст.

Бледный, осунувшийся, сутулый и оттого ставший некрасивым, молча стоял Опрокиднев на пороге родного отдела.

— Здравствуйте, товарищи, — наконец произнес он вялым голосом. — К сожалению, никому не могу подать руки.

— Даже мне? — улыбнулась Шараруева, в то время как остальные оживились и принялись гадать, куда клонит их изобретательный коллега.

— Вам — в первую очередь, — грубо ответил Опрокиднев и вышел вон.

— Шараруева, я вас поздравляю! — радостно воскликнула Марианна Власьева, в некотором волнении слизывая с губ помадное сердечко.

— Это была шутка, — хладнокровно парировала Шараруева. — У нас прекрасные отношения.

— У нас тоже, — вызывающе сказала Лариса.

— Бог ты мой, как будто я жалуюсь! — возмутилась Марианна Власьева. — Думаете, у нас плохо?

— Женщины, — сказал Буровин, — не забывайте: привязка котельной должна быть сегодня закончена, кровь из носу!

— А по-моему, это не шутка, — сказал Курсовкин. — Обычно, когда Опрокиднев шутит, я смеюсь первым. Отчего же я сейчас не смеюсь?

— Он прав, — горячо сказал Аабаев. — Обидели Опрокиднева. Кто — не знаю. Зачем — не понимаю. Давайте разбираться.

— Давайте, — поддержал Джазовадзе, — добросовестно разберемся в этом внезапно наболевшем вопросе. А вам, товарищ Буровин, разрешите заметить не в бровь, а в глаз: котельных много, все не привяжешь. А Опрокиднев у нас один. Веди собрание, Курсовкин, и пусть выступит каждый, особенно дамы. Веди!

— Мне кажется, — сказал Курсовкин, — первой должна признаться Шараруева.

— Просим, просим, — с мстительной интонацией заворковала Марианна Власьева.

Прекрасные, слегка располневшие ноги подняли Шараруеву, престельная женщина задышала часто и глубоко, на ее высокой груди с легким скрипом съезжались и разъезжались края мохеровой кофты.

— Хорошо. Я скажу...

Опрокиднев вошел в приемную директора. Секретарь директора Любочка приятно порозовела, но, встретив мрачный взгляд Опрокиднева, смутилась и спросила официальным тоном:

— У вас что?

Ничего не ответив, Опрокиднев пинком открыл дверь в кабинет.

— Здравствуйте, Андрей Егорович, — сказал он. — К сожалению не могу подать вам руки.

С этими словами он удалился.

— Кто это был? — спросил Андрей Егорович.

— Это был Опрокиднев, старший техник из буровинского отдела, — покраснела Любочка.

Директор нахмурился и немедленно позвонил в отдел:

— Буровин? Что такое, голубчик, у тебя творится с Опрокидневым? Даже на меня обиделся паренек. На тебя тоже? На весь отдел? Разберись, голубчик, пожалуйста. Уже разбираетесь? А кто его обидел? Пока все подряд? Любопытно... Зайди ко мне.

Покинув кабинет директора, Опрокиднев направился в родной отдел и на половине пути встретился с Буровиным. При виде Опрокиднева Буровин дружелюбно раскинул руки:

— Опрокиднев, твои обиды законны, особенно на меня, из-за жилплощади. Сейчас иду к директору, клянусь, выбью тебе комнату.

— Лучше бы вам не прикасаться ко мне, — холодно предупредил Опрокиднев, выскальзывая из объятий. — Это может плохо кончиться.

— Ну, брось, брось, — ласково сказал Буровин. — У нас там собрание идет, буквально все признаются. Атмосфера полной откровенности. Я уверен, ты всех нас простишь.

— Бог простит, — загадочно сказал Опрокиднев и двинулся дальше по коридору, оставив Буровина в некоторой растерянности.

Он вновь вошел в родной отдел. Выступал Курсовкин:

— ...И это мое признание тоже прошу занести в протокол.

Протокол вела Лариса.

При появлении Опрокиднева Курсовкин умолк. Тихо стало в отделе.

— Мы во всем разобрались, Опрокиднев, — сказала Лариса.

Опрокиднев, ни на кого не глядя, прошел к телефону. Молча и сосредоточенно он накрутил на диске полтора десятка цифр.

— Ленинград? Театр миниатюр? Будьте любезны, примите телефонограмму: «Срочная. Райкину от Опрокиднева. Если судьба столкнет нас нос к носу, прошу вас не протягивать мне руки: я ее не пожму». Все. Минутку. На словах передайте Аркадию Исааковичу мой добрый совет: прежде, чем протягивать руку неизвестному человеку, пусть непременно узнает, не Опрокиднев ли перед ним. Непременно!

С этими словами положил трубку и тут же набрал новый номер, на этот раз городской.

— Квартира художника Коловратова? Это вы — Коловратов? С вами говорит техник Опрокиднев из «Электропара».

— Очень приятно, — ответил Коловратов.

— Приятного мало, — отрезал Опрокиднев. — Какое сегодня число, знаете?.. Правильно. А календарь у вас есть? Тогда пометьте сегодняшнее число: с этого дня Опрокиднев не будет здороваться с вами за руку... Нет-нет, память вам не изменяет. Мы и раньше не здоровались — по той причине, что не были знакомы... Что изменилось? Причина изменилась, дорогой Коловратов, причина. Привет!

Столь же странным образом он предупредил множество других людей, знакомых и незнакомых. Особенно много хлопот доставила некая Елена Борисовна Миловзорова из института метеорологии. После ряда междугородних звонков Опрокиднев нашел ее на Алтае в районном центре Черные Пески. Вернее, не ее, а ее спутников. Миловзорова уехала в горы проверять какую-то аппаратуру.

— Передайте Елене Борисовне, — кричал он, — ей звонил Опрокиднев. Когда вернется сюда и увидит меня, пусть не вздумает обнимать или, не дай бог, целовать... Передайте, что я не отвечу на ее поцелуи и решительно уклонюсь от ее объятий. Нет, товарищи, это не шутка, и пусть у нее не будет никаких иллюзий на этот счет!

Закончив последний разговор, он утомленно потер виски.

— Ты закончил, Опрокиднев? — ласково спросил Курсовкин. — Тогда разреши сказать несколько слов. Мы не знаем, какого рода обиды нанесли тебе знаменитый артист Райкин, известный художник Коловратов и другие люди, которым ты сейчас звонил. Что касается нас, то мы все откровенно признались в нанесенных тебе обидах и приносим тебе извинения. Вот протокол, там все записано. Больше этого не повторится. Прочти и прости.

— Бог простит, — вновь, как при встрече с Буровиным, сказал Опрокиднев, демонстративно не прикасаясь к протоколу.

— В каком смысле бог? — робко спросил Курсовкин.

— В библейском, — кротко ответил Опрокиднев. — В евангельском. В том каноническом смысле, что один лишь господь вправе наказывать и прощать, ибо всеведущ.

— Извини, Опрокиднев, я человек темный, не помню, когда последний раз Коран читал, — сказал Аабаев. — И я не понимаю, что означают твои религиозные слова. Означают ли они, что ты по-прежнему не подаешь нам руки? — И с этими словами Аабаев протянул ему ладонью вверх свою крепкую сухую руку лимонного цвета.

И Джазовадзе протянул — ладонью вниз — свою могучую руку, обильно заросшую лаковым черным волосом, с выкованным из серебра перстнем на безымянном пальце, и в центре перстня, в строгой

серебряной раме, тяжелым огнем сверкал довольно драгоценный камень.

— Я внимательно смотрю на разнообразно протянутые вами руки, товарищи, — печально сказал Опрокиднев. — Не раз и не два ощущал я искренние пожатия этих рук. Много раз сплетались в едином порыве наши пальцы. Неоднократно в знак дружеских споров соударялись ладони. Руки, руки, вы, словно две большие птицы. Вспомни, Аабаев, прошлогодний День энергетика, вспомни ресторан «Ералаш», разве не мои руки бережно обняли тебя и пронесли через спящий город? Вспомни и ты, отважный горец, не моя ли рука голосовала против, когда тебя пытались избрать председателем Красного креста и вышеупомянутого полумесяца? Но сегодня я смотрю на протянутые ко мне руки друзей и говорю: «Руки прочь от Опрокиднева!»

Так сказал Опрокиднев, и ни слезинки не проронили его гневно прищуренные глаза.

— Такие оскорбления смываются кровью, — прорычал Аабаев. — Об этом говорит закон степей.

— О том же говорит и закон гор, — мягко, с укоризной заметил Джазовадзе.

И они с Аабаевым пожали друг другу руки, до этого бесплодно протянутые к Опрокидневу.

— Опрокиднев, опомнись! — вскричала Шараруева. — Они убьют тебя!

— Я родился в нечерноземной зоне средней полосы, — с достоинством произнес Опрокиднев, — и закон слабопересеченной местности является для меня более истинным, при всем моем уважении к другим разновидностям выпуклостей и впадин земной коры.

— Но разве не о том же говорит закон слабопересеченной местности? — с удивлением спросили Аабаев и Джазовадзе.

— Законы ландшафта вообще не слишком универсальны, — уклончиво ответил Опрокиднев, — и меньше всего они применимы к человеку, и без того стоящему на пороге смерти. Я искренне желал тихо и бесшумно пересечь этот порог, в известном смысле я пришел попрощаться с вами, с тем, чтоб воспоминания о друзьях и подругах согревали мою душу в ее бесконечном перелете в так называемый лучший мир. И это мое прощание тем более мучительно, что должно проходить без объятий и прикосновений.

— Да отчего же без прикосновений?! — воскликнула Шараруева, заламывая руки. — Что случилось, Опрокиднев? Что? Что? Что?

— Случилось, что в отличие от вас я читаю газеты ранним утром, до работы. Как сообщает сегодня пресса, в районе города Астрахани вспыхнула эпидемия холеры.

— Ну и что? — спросил Курсовкин.

— А то, что вчера вечером я пил пиво, закусывая его астраханской воблой, присланной мне оттуда по фототелеграфу.

Несмотря на полную нелепость последней опрокидневской фразы, в отделе воцарилось жуткое молчание.

— Возможно, уже в эту минуту, — продолжал Опрокиднев, — на моих губах резвятся legionеры холерных вибрионов или, наоборот, вибрионы legionеров, и тот же смертоносный урожай невидимо колыхается на цветущих полях моих ладоней. Вот отчего я не подаю руки и не целуюсь, а вы думаете, не хочется? Вот отчего я предупредил любимого артиста, любимого художника и многих других милых моему сердцу людей. Вы скажете: а как же остальные? Я мог бы ответить: всех не предупредишь, но это было бы только половиной правды. Гуманизм современного человека еще весьма эгоистичен и не распространяется за границу узкого круга дорогих нам людей. А те, кого мы называем лучшими умами человечества, те, чьи сердца страдали и страдают в глобальном масштабе, те, как правило, не размениваются на заботу о ближних. Спасти от верной смерти пятьдесят человек или призывать к спасению миллионов — что легче, друзья мои? Что предпочтительнее для истинного гуманиста?

— Ни то и ни другое, — твердо ответил Опрокиднев после длительной паузы, никем не прерванной. — Самое предпочтительное — уйти, что я и собираюсь сделать, благодаря счастливо подвернувшейся холере. Соленый привкус воблы на устах пусть будет мне последним воспоминанием о том прекрасном мире, где я жил, где я любил блондинок и брюнеток, привязывал котельные друг к дружке... и рыжих тоже, также и шатенок... соленый привкус воблы на устах...

Внезапно с грохотом опрокинулся стул, и старший инженер Марианна Власьевна в мгновение ока добежала до Опрокиднева и поцеловала его в губы.

— Не надо! — ахнул укушенный Опрокиднев.

— Поздно кричать, — с большим удовлетворением ответила Марианна Власьевна. — Мы умрем вместе. И знай, Опрокиднев, я любила тебя. Спасибо холере, я получила возможность открыто признаться в своих чувствах. Простите меня, Шараруева, и вы, Лариса, и вы, все стальные женщины и девушки нашего отдела, но я не могла поступить иначе.

— Каждый из нас поступил бы так же, — сказала Шараруева. — Я не сержусь на вас, — и она нежно обняла Марианну Власьевну.

— Не прикасайтесь ко мне! — завопила Марианна Власьевна. — Никто вас не просил умирать вместе с нами. Нам и вдвоем хорошо!

Но женщины и девушки, охваченные порывом, уже ласкали Опрокиднева — бурно и в то же время достаточно целомудренно для обстановки рабочего дня.

— Женщины идут на смерть, а мы стоим и смотрим, — удивился Джазовадзе. — Позор нам, мужчины!

Когда Буровин вернулся в отдел, эпидемия была в разгаре. Было шумно и весело.

— Помирились? — обрадовался Буровин. — Вот и лады. А комнату я тебе пробил, Опрокидnev. Будет тебе комната. Дай пять! — и он крепко стиснул вялую руку подчиненного ему техника.

— Теперь все умрем, — спокойно сказал Курсовкин. — Вместе с руководством.

— Умрем так умрем! — загоготал Буровин. — Но прежде, чем умрем, надо привязать котельную, кровь из носу, а то нас и без холеры угробят. Прошу всех пройти на рабочие места.

— Правильно, — сказал Опрокидnev. — Привяжем котельную, друзья. Забудемся в труде. А там, может, кто-нибудь и выживет!

РЕАНИМАТОР ОПРОКИДНЕВ

— Опрокидnev, — сказал однажды Буровин, — я слышал, недавно ты очень умело утешил нашего нервного товарища Курсовкина и привел его в сносное состояние. К сожалению, твоя обработка действовала недолго. Он снова хандрит, производительность труда у него резко упала, и он, как пить дать, завалит нам привязку котельной в седьмом микрорайоне. Из-за хандры одного работничка у всего отдела накроется премия. У тебя, кстати, тоже. Очень прошу тебя поэтому безотлагательно взяться за этого ханурика и еще раз вернуть его к труду и к жизни. Ну, если не получится к жизни, то хотя бы к труду.

В обеденный перерыв Опрокидnev сел за один столик с Курсовкиным. Курсовкин печально разгребал ложкой борщ, словно примеряясь, нельзя ли в нем утопиться.

— Ты мне противен, Курсовкин, — сказал Опрокидnev.

— Я сам себе противен, — тусклым эхом откликнулся сдавленный голос Курсовкина.

— Противен и враждебен.

— Я сам себе враждебен, — покорно повторяло курсовкинское эхо.

— Молчать и не спорить! — рявкнул Опрокидnev. — Вы не в дискуссионном клубе, милостивый государь. Прежде, чем хрюкать, извольте выслушать тезисы!

Курсовкин посмотрел на Опрокиднева взглядом человека, раненого без опасности для жизни, но в позорное место. Он вздохнул и в очередной раз погрузил ложку в борщ, в багровых водах которого там и сям кучерявилась черная свекольная стружка. Сам Харон, перевоза души мертвых, с меньшей печалью погружал весло в воды Стикса.

— Итак, чем ты мне противен и чем враждебен? Тем, что в данную минуту всей своей фигурой, траурно склонившейся над этой, сколь непривлекательной по виду, столь и калорийной по сути пищей, ты олицетворяешь фальшиво-религиозное страдание, эротическую вялость, идейный прокол, духовное прозябание, а если я перечислю и все остальное, на что ты намекаешь своим видом в эти мгновенья текущего среди нас времени, ты, возможно, будешь удивлен, ибо и не подозреваешь, сколько гнусности скопилось в твоём так называемом внутреннем мире!

Заметим, что не слишком короткую фразу Опрокиднел, как всегда, произнес на одном дыхании.

— Не буду я удивлен, — глухо ответил Курсовкин, продолжая, если можно так выразиться, погребальное движение ложкой. — Меня уже ничем не удивить.

— Как знать, как знать... — зловеще выразился Опрокиднел. — Что ж, слушай. Итак, брезгливо роясь в столовском борще, ты как бы намекаешь, что, сколько ни шарься в нём, мяса не выловишь. Ты хочешь сказать, что в нашей столовой работают воры или, имея в виду реальный состав трудового коллектива, воровки, люди без чести и совести. А известна ли тебе их зарплата? Их скромные потребности выпить и закусить после ежедневного ада у раскаленной плиты? И кстати, не наш ли отдел который год обещает им перерасчет вентиляции?

— Я-то при чем? — вяло бросил Курсовкин, не очень активно вслушиваясь в опрокиднелский монолог.

— При том! При том, что много лет участвуя в травле беззаветных тружениц, еще имеешь наглость ожидать в этой тарелке мяса! Мало того. Всем своим видом ты намекаешь, что есть другие столовые, и там в других борщах шарят ложками другие люди, и что те столовые закрыты для посторонних, те люди веселы и сыты, те борщи обогащены мягким ломтем говядины, сладчайшей мозговой костью, пережаренным на чистом сливочном масле лучком и доброй плохой высокородной сметаны!

Небольшая пауза понадобилась Опрокиднелу, чтобы утереть слюнку, возбужденную им же нарисованной картиной.

— А что ты сделал, чтобы добраться до тех борщей? Вступил ли ты в союз единомышленников, членский билет которого и служит

пропуском в те столовые? Встал ли ты плечо к плечу с борцами за? Дал ли ты хоть раз в жизни идейный отпор? Откликнулся ли ты хоть в одной газете, хотя бы в стенной, хоть на один запуск космического корабля? Поддержал ли ты публично хоть одно историческое решение? Те борщи даром не даются, господин Курсовкин, зарубите это себе на носу!

— Я ничего не понял, Опрокиднєв, — ровным голосом произнес Курсовкин. — Конечно, если тебе хочется говорить, я не могу заткнуть тебе глотку. Но, пожалуйста, говори проще.

— Можно и проще. Поговорим о твоих взглядах. Хотя бы о том твоём взгляде, которым ты сейчас уставился в одну точку, расположенную на полу, причем возле входа, там, где наиболее грязно. Уставившись туда, а не куда-нибудь еще, ты демонстративно подчеркиваешь, что тебе больше некуда уставиться в этой ситуации. Меж тем, оглянись — вокруг тебя сидят твои коллеги и соратники, ветераны электропарочерчения. Взгляни, вот сидит наш начальник, товарищ Буровин, честнейший элктропаротруженик. Прикинь, сколько он спроектировал за свою долгую, пусть и неудачно сложившуюся в личном плане жизнь, сколько физического тепла, не говоря уж о духовном, принес людям. Не счесть котельных пламенных — не так ли? Подними голову и ты увидишь: поодаль с неподдельным аппетитом поедают ненавистный тебе борщ и без торможения переходят к шницелю с вермишелью наши жизнерадостные товарищи Аабаев и Джазовадзе, живое олицетворение дружбы наших народов, на которой, собственно, и зиждется фундамент рывка в светлое послезавтра. А вот там утирает честный трудовой пот наш передовик Чубарик. Я уж не говорю о женщинах. Возле окна — посмотри — восстанавливают силы Шараруева, Вероника и Бумбяцкая. Взгляни на их грациозные мановения столовыми приборами. Посмотри на их красивые, не так уж сильно состарившиеся лица. Перехвати их лукавые взгляды. Ощути себя в коллективе, одним из нас! Нет, ты уставился в грязный пол, прекрасно понимая, что тем самым наносишь всем нам неслыханное оскорбление.

— Ничего не наношу, — чуть живее, чем при прежних репликах, ответил Курсовкин. И еще живее добавил: — А ты мне надоел, трепло.

Опрокиднєв затих. Он долго и ласково смотрел на Курсовкина. Затем осторожно погладил его безвольно уроненную на стол руку.

— Да, — наконец согласился он. — Да, я трепло. Я, видишь ли, думал, у тебя хандра, а у тебя потрясение основ и конец света. А что конкретно? Опять жена?

— И жена, и работа. Все, — кратко ответил Курсовкин. — Не могу жить. Не хочу. Неинтересно. Нет стимула.

— Что ж... — задумался Опрокиднев. — Напомню кое-что очевидное. Как ты думаешь, если сейчас нас с тобой и этот столик немного отодвинуть, выломать пол и заглянуть поглубже — что мы обнаружим?

— Подвал, — не задумываясь ответил Курсовкин, выказывая полное нежелание фантазировать.

— А если проломим пол в подвале?

— Фундамент. Бутовый камень

— А если извлечем этот, как ты его правильно назвал, бутовый камень и углубимся непосредственно в почву — что мы там обнаружим?.. Мы обнаружим там не что иное, как труп!

Курсовкин вздрогнул и выронил ложку. Багровые свекольные воды медленно сомкнулись над ней.

— Зачем ты это сказал? Зачем? Ты же отлично знаешь, я боюсь мертвецов! — с горькой укоризной воскликнул Курсовкин. — Они мне не нравятся. Я не знаю, почему их называют покойниками, нет от них никакого покою. Когда я на могиле родственницы посадил куст сирени, он вырос, как в страшной сказке! За два года заполнил всю ограду. Вот такая покойница, Опрокиднев!

Курсовкин очень оживился против прежнего и даже всплеснул руками.

— Ну, вот, — в отчаянии произнес он, — мало мне было мыслей про жену-зануду, про работу-идиотку, про тебя, болвана, теперь я еще буду думать, почему у трупов волосы и ногти растут. О-о-о... — он тихонько, чтоб было слышно только Опрокидневу, завыл.

Опрокиднев терпеливо переждал вой, но, впрочем, ничего не сказал и по его окончании. Первым снова заговорил Курсовкин:

— А почему ты считаешь, что под нами закопан труп? Тебе это точно известно?

— Друг мой, я вовсе не имею в виду, что лет пять или десять назад в нашем подвале после семи бутылок портвейна «Кавказ» поссорились два слесаря и один шваркнул другого тисками по голове, вслед за чем погрузил оппонента в сырую земельку-мать, на вечные баиньки. Конечно, советские люди имеют обыкновение ссориться по идейным вопросам, и метод физического уничтожения погрязшего в заблуждениях врага столь хорошо известен, что мог дойти и до слесарей. Но труп, над которым мы сейчас так интересно дискутируем, имеет совсем иное происхождение. В истории нашей планеты, если даже взять цивилизованный отрезок, сменилось около ста поколений. Под безличным выражением «сменилось» скрывается малоприятная информация: все эти люди умерли. Где-то они должны лежать, эти миллиарды? И если ты разделишь безумное количество ушедших

на площадь земной суши, то сам увидишь, что одного из них не могло не занести под наш фундамент. Вероятность близка к единице, как я к Шараруевой. А может быть, еще ближе.

— А, так ты теоретически... — успокоился Курсовкин. — Понял. А я при чем?

— А при том, что в условиях, когда миллиарды людей прекратили свою деятельность на голубой планете Земля и никогда уж не вдохнут нашего слегка отравленного интоксидами воздуха, в этих условиях ты, живехонькая тварь, еще смеешь кукситься, не любить работу, заваливать привязку котельной в седьмом микрорайоне и тем самым лишать премии честных тружеников, на которых даже не хочешь взглянуть!

Курсовкин взял вилку и принялся методично прокалывать шницель, как бы подозревая в нем наличие инородных тел.

— Ты так стыдишь меня, Опрокиднев... Можно подумать, я один остался в живых. Из всех этих миллиардов. Конечно, по сравнению с мертвыми, особенно из прошлых веков, мне повезло. Я дышу. Могу разговаривать, пусть с таким треплом, как ты. Могу кушать, пусть даже и такой борщ. И такой шницель. Но ведь не у одного меня такие возможности. Вон их сколько, живых.

— Смотри какие живые, — жестко произнес Опрокиднев. — Живые бывают разные. У тебя две руки и две ноги. Руки хватают, что хотят, ноги шляют, куда им заблагорассудится. А кто-то хромой, а кто-то безногий, ездит на тележке, побирается в подземных переходах, спивается на корню. У тебя два видящих глаза и два слышащих уха. А кто-то глухой, а Бетховены не все...

Неожиданно Опрокиднев стиснул ладонями уши Курсовкина и с мягкой улыбкой произнес:

— Мне бы твои заботы, импотент несчастный!.. Что я тебе сказал?

— спросил он, сняв ладони.

— Не знаю.

— Ну, примерно.

— Судя по твоей доброй улыбке, ты сказал мне что-то ободряющее.

— Совершенно верно. Я сказал тебе, что ты предпоследняя тварь на всем белом свете.

— А кто последняя? — заинтересовался Курсовкин.

— Ну, что, приятно быть глухим? А слепым? А ну, закрой глазоньки. Курсовкин повиновался.

— Подай соль.

Временно ослепший Курсовкин потянулся за солонкой и залез пальцами в борщ. Мизинец, в частности, попал в хлебало утопшей

ложки и вместе с ней прокатился до противоположного края тарелки, где и вылез на берег, весь облепленный ленточками шинкованной капусты.

Опрокиднев с удовольствием наблюдал за путешествием мизинца, а когда оно завершилось, сказал:

— Ладно, раскрой гляделки.

Курсовкин открыл глаза и принялся сосредоточенно обсасывать мизинец.

— Но это еще не все, — продолжал Опрокиднев. — Ты не хромой, не глухой, не слепой, но это еще не все. У тебя хоть и прокисшие, но в целом отвечающие нормам советского инженерного творчества мозги. А у некоторых крыша поехала, шарики за ролики, сидят в желтых домах, окутаны своим нелепым бредом. А есть еще такие живые, которых дочиста обокрали. И такие, у которых ввиду неуклонного роста качества цветных телевизоров к чертовой матери сгорело в квартире все, что горит, за исключением, может быть, пятитомника Грибачева в противопожарном коленкоре, а кому он нужен, я имею в виду, конечно, не коленкор, а лауреата Г.? А твоего, друг Курсовкин, незаурядного благополучия не коснулась ни хищная рука вора, ни очищающий огонь типового пожара. В чем же твое горе-горюшко? Жена-зануда? Она хоть и зануда, но живая зануда, живая и местами теплая и временами необоримо влекущая... Но, впрочем, это ваши дела... А кто-то — вдовец, по ночам не спит, смотрит в стену, а там, в лунных бликах, милый образ покойной подруги... Не спит, вспоминает, как обижал ее, занудой называл, а теперь уж поздно... И не может уснуть вплоть до пресловутого рассвета... И вот светает за окном, трещат воробьи, луч солнца золотой упал на подоконник... А он один в скомканной постели, кулаки в подушку и рыдает, да при этом стесняется соседей за панельной стеной нашего самого массового в мире домостроения... Скупно рыдает, далеко не в масштабе своего реального горя... Той самой мужской слезой, справедливо воспетой в похоронных маршах советских композиторов...

Лицо Курсовкина скривилось, и глаза наполнились влагой.

— Конечно, — сказал он, промакивая запястьем подглазья, — конечно, в сравнении с хромыми, слепыми, погорелыми и вдовыми у меня большое счастье. Но в сравнении с другими, тоже не пострадавшими физически и материально, а также и в области супружеских отношений, у меня крупное невезение. Что же у меня на самом деле?

— Наши расчеты, как всегда, должны основываться на единственном верном учении, под знаменем которого уже который год успешно трудится весь «Электропар», — отвечал Опрокиднев. — На

арифметике. Если из большого счастья вычесть крупное невезение, останется как раз то, что у тебя есть.

— А что это такое? Как оно называется? — нетерпеливо спросил Курсовкин. — И главное, сколько его?

Опрокиднев поднялся.

— Сеанс окончен, — сказал он. И, показав на борщ, добавил. — Переходите к водным процедурам.

— Х-ха! — с непонятной интонацией воскликнул Курсовкин и бешено заработал ложкой.

Остановившись в некотором отдалении, Опрокиднев подождал исчезновения борща. Убедившись, что перейдя к шницелю, Курсовкин не снижает взятого темпа, он покинул столовую и разыскал товарища Буровина.

— Задание Родины выполнено, товарищ Буровин. Курсант Курсовкин к дальнейшему прохождению службы готов.

Буровин кивнул и с чувством пожал Опрокидневу его мужественную руку.

ЗНАКОМАЯ МЕЛОДИЯ

Однажды, когда Опрокиднев рассчитывал очередной паропровод высокого давления, к нему подошел Курсовкин:

— Ты, конечно, знаешь, Опрокиднев, что в отделе кадров после тяжелой продолжительной болезни скоропостижно скончался заместитель заведующего, старейший ветеран нашего института?

— Знаю, знаю, — ответил Опрокиднев, вычитая из двухсот семидесяти сто двенадцать и стараясь при этом получить не больше ста пятидесяти. — Скоропостижно, или, как говорят в медицине, в одночасье. Классный кадровик, мастер перепроверки анкет. Боевое чекистское прошлое. Огромная потеря для нашего коллектива, в который так и норовят внедриться агенты иностранных разведок, чтобы разнюхать секрет проектирования лучших в мире электростанций. Ну, может, не лучших, может, не в мире, но электричество они дают приличное — а кто не верит, пусть сунет палец в розетку...

— Опрокиднев, кончай трепаться. Я по срочному делу.

— Рубль на венки я уже давал, — сообщил Опрокиднев, осторожно возводя в квадрат восемь целых и семь сотых, имея в виду получить ровно шестьдесят пять.

Курсовкин достал список и проверил.

— Да. Хотя некоторые дали по два. Но я не с упреком, я...

— Выносить гроб? Извини, не гожусь: уже был случай, когда мне решительно не удалось траурное выражение лица, и это произвело нехорошее впечатление на близких покойного. Согласись, неприлично, когда человек тащит гроб, как платяной шкаф на узкой лестнице: кривясь от тяжести и чертыхаясь.

— Успокойся: люди под гроб уже набраны. От тебя мне нужно совсем другое. Вынос через полтора часа, а у нас жуткий прокол с оркестром. Несмотря на то, что местком уже оплатил.

— Помирать — так с музыкой, — механически одобрил Опрокидннев, на этот раз подгоняя триста девять и четыреста два таким образом, чтобы результат не превысил семисот.

— Да, с музыкой, но с какой? — По интонации Курсовкина выходило, что вопрос достаточно сложен. — Понимаешь, утром мы позволили для подтверждения в похоронный трест, и вдруг оказалось, что заказанный оркестр вчера напился, передрался и сегодня неработоспособен. Вот такие алкаши. А ведь мы уже заплатили! Но к счастью, мы нашли замену. Молодежный ансамбль. Возьмут недорого. Культурные ребята, где-то даже учатся. Но не в консерватории. И морды у них не такие багровые, как у тех, из похоронного треста. Ну, правда, двое с синяками, но обещали замазать, потому что я их строго предупредил, что у нас не одесская свадьба, а советские похороны в передовом проектно-институте. В общем, все согласовано, но вот в чем проблема, Опрокидннев: у них в репертуаре нет ничего подходящего. Они играют именно на свадьбах, а также на молодежных танцевечерах. Сам понимаешь, это не та музыка, под которую хочется проводить человека, который заведовал кадрами, то есть нами. Короче, нужно подобрать им репертуар, и вот тут мы все очень надеемся на твой культурный уровень в разбираемом вопросе...

— Говорит Москва! — перебил Курсовкина Опрокидннев. — Передаем похоронные марши советских композиторов! Трям-трям-трям-там, трям-там-трям-та-рам!.. Да, мало, мало еще создается у нас ритуальной музыки, товарищ Курсовкин. Несмотря на неоднократные напоминания о неотложных нуждах народа, композиторы продолжают сочинять сумбур вместо музыки, и я не знаю, как мы смотрели бы в лицо нашим дорогим покойникам, если бы не лучший друг усопших всего человечества неувыдаемый Фридерик Шопен!

— Опрокидннев, не трать время, пойди и расскажи это им, — взмолился Курсовкин. — Время дорого.

— Позволь, я сначала потренируюсь на тебе, — мягко попросил Опрокидннев. — Проверю на тебе силу и неотразимость моих убийственных, не к покойнику будь сказано, аргументов. Итак, Шопен. А с другой стороны... То, что я сейчас скажу, покажется кошунственным,

но мы, грубые материалисты, должны пронизывать здравым смыслом самые трагические ситуации, которые то и дело подбрасывает нам непрерывно текущая жизнь. Прежде чем определить идейно выдержанный репертуар для группы юных хануриков, зададимся вопросом: а для кого, собственно, будет звучать музыка, исторгаемая их дрожащими с похмелья пальчонками и губенками?

— То есть как для кого? — озадаченно переспросил Курсовкин.

— Для тех, кто в этот момент... Ну... Ну, для похорон.

— В похоронах, друг мой, участвуют довольно разные люди: случайные зеваки, сослуживцы, родственники покойного и, наконец, он сам. Так вот. Если подбираем музыку для самого покойника — ему все равно. Если для его близких — нужны конкретные заявки. Возможно, им будет приятно, если над гробом прозвучат любимые песни усопшего: «Три танкиста», «Очи черные» и особенно та, которую он имел обыкновение запевать в уютном родственном застолье, когда салаты уже взрыхлены, жаркое расковыряно, когда водка уже достигла сентиментального центра в умственных устройствах заседающих здесь мужчин, а портвейн разгорячил дыхание женщин, и когда хозяин, впоследствии усопший, а в данное мгновение — живой, обаятельный, приятно побагровевший мужичок...

— Прости, Опрокиднев, но он практически не пил, — сумел наконец вставить Курсовкин. — Не обижай человека.

— ...Набрав в грудь побольше случайно оставшегося в комнате воздуха, — продолжил Опрокиднев, не обращая внимания на реплику слушателя, — разевает свой красивый, не так уж обильно оснащенный золотыми зубами рот, и задушевные слова бессмертного «Хаз-Булата» сплывают присутствующих в лирически настроенный коллектив, способный на большие дела...

Ну, а если не «Хаз-Булат» — тем более, надо спросить у родственников. Если, конечно, играем для них. А если для любопытствующих прохожих, которых, несомненно, привлечет поучительное зрелище выноса гроба из стен официального здания? Для прохожих, слабо знающих историю отечественного электропаропроектирования, нужна музыка, несущая в себе образ нашего института в целом, а не его отдельных, и, может быть, не самых типичных для него покойников.

Но возможен и другой вариант. Не должна ли музыка выразить наше отношение к умершему — в частности, наше преклонение перед работником довоенного НКВД? Тогда должны прозвучать радостные песни времен окончательного разгрома троцкистско-зиновьевских банд: «Широка страна моя родная», «Москва майская» и «Загудели, заиграли провода» — особенно к месту будет последняя, ибо своими незримыми проводами она и соединит жизненный путь

почетного чекиста с нами, проектировщиками лучшего в мире советского электричества.

И, наконец, если мы подумаем о самих исполнителях, о необходимости их творческого роста, то для молодых дарований нет ничего полезнее, чем исполнить хорошую джазовую пьесу с фиоритурами и фортинбрасами.

— С чем, с чем?

— Проще говоря, со сдвигом по фазе и орнаментовкой квадрата. С последовательными соло ударных, саксофона и рояля.

— Но у них нет рояля! — простонал Курсовкин.

— А нет, так не морочь мне голову, — рассердился Опрокиднев, у которого, как он ни старался, двенадцать и три десятых, делясь на восемь, никак не хотели дать ровно два. — Лично я позволил бы способным юношам показать себя во всех жанрах. Симфония, попури из оперетт и ударный шлягер — вот тот компот, тот, условно говоря, бульон... тот, черт возьми, сад звуков, по аллеям которого и уйдет на вечный покой наш бывший коллега!

— Опрокиднев! — закричал Курсовкин. — Умоляю! Твои аргументы неотразимы! Но до выноса ровно час. Музыканты сидят в Красном уголке. Иди же и подбери им музыку, хоть для покойника, хоть для прохожих — но только чтобы это было прилично. И помни: на тебя, как всегда, надеется весь «Электропар»!

* * *

Из-за дверей Красного уголка доносились нестройные звуки, в которых Опрокиднев, сосредоточившись, не без труда узнал мелодию эстрадного шлягера. Трудность восприятия заключалась в том, что шлягер исполнялся в чрезвычайно медленном темпе и чуть ли не каждый такт сопровождался унылым уханьем барабана.

Завидя энергично вошедшего Опрокиднева, музыканты нутром почуяли в нем важное лицо и замолкли.

Их было четверо. Кожаные куртки, потертые джинсы, мохеровые шарфы и нездоровый цвет лиц делали их похожими на родных братьев и, мысленно хотелось добавить, разбойников. Двое дудели на саксофоне и кларнете, третий обслуживал контрабас, четвертый трудился на ударной установке. Только что, музицируя, они изрядно гримасничали, но теперь приняли одинаковую мину, столь скорбную, что можно было подумать, будто у них, братьев-разбойников, скончался если не отец, то старший брат, самый отъявленный бандит, предводитель братской шайки.

— Почему грустим? — бодро и укоризненно спросил Опрокиднев. — Кадровик — наша потеря, а не ваша. Вы на этом деле ничего

не потеряли, а наоборот, кое-что заимеете. Но для этого нам надо найти в вашем репертуаре что-нибудь соответствующее нашей неутешной потере. Что это вы наигрывали, когда я вошел? Кто старший, объясните.

Старшим оказался контрабасист.

— Мы, это... — произнес он хорошо пропитым голосом. — Ну, мы подумали, если это сыграть помедленнее так, что ли... Ну, вроде, получится траур?

— Повторите, — приказал Опрокиднев. — Попробуем приспособить к нашему специфическому моменту.

Музыканты повторили.

— «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала», — с удовольствием пропел Опрокиднев, довольно точно воспроизведя стихи Рождественского и мелодию Бабаджаняна. — Прекрасное воспоминание для вдовы, одновременно вливающее в нее новые мечты и надежды. К сожалению, ребята, у покойного нет вдовы. Кадровики редко женятся, потому что никак не могут найти жены с безупречной анкетой. Что у вас есть еще?

— Может, «Хаву нагилу» попробуем? — предложил ударник. — Начало такое торжественное, мрачное — то, что надо.

— Мысля, — поддержал старший. — Поехали.

И Красный уголок содрогнулся от размеренных начальных аккордов древнееврейской мелодии, ставшей в том году почему-то необычайно популярной на всех танцплощадках и во всех ресторанах страны.

— Чудесно! — воскликнул по окончании Опрокиднев и от души зааплодировал. — Вечно молодая мелодия из духовного арсенала древнего народа с любопытной судьбой, она деликатно напомнит собравшимся о героической борьбе покойника с космополитизмом, ибо, работая в органах, он не мог не принять в ней живейшего участия. Но не покажется ли кому-нибудь наш выбор намеком на то грустное обстоятельство, что борец умер, а космополитизм жив? Нет ли, ребятки, в сокровищнице вашего репертуара чего-нибудь более отдаленного от сложных проблем интернационального воспитания, которые все равно не решишь, похоронив всего лишь одного и отнюдь не самого главного кадровика? Что-нибудь простенькое, но задумчивое, льющееся само собой, как вино из щедро наклоненной бутылки, как изливается в вечность из каждого из нас с вами наша бесконечно дорогая жизнь...

— У нас есть вальс, — неуверенно предложил старший. — «На сопках Манчжурии». Вроде бы, грустная вещь?

— Прошу, прошу! — заторопился Опрокиднев, схватив за неимением партнерши стул...

Отвальсировав, он поставил партнершу к стене, бесцеремонно сел на нее и, закинув ногу на ногу, сказал:

— Прекрасное, благородное произведение, друзья! Есть тема смерти. Красной нитью проходит образ вечного и заслуженного покоя. «Только герои спят...» Спит и наш герой... Ах, если бы нынешнее поколение советских людей умело танцевать вальс, да еще с гробом на руках! Увы... Умеют проектировать лучшие в мире электрические станции — ну, не в мире, ну, не лучшие, но что электрические — это я вам гарантирую... А с вальсом — досадные перебои в связи с временным, но сильно затянувшимся отсутствием гимназий и институтов благородных девиц. Друзья мои лабухи, у вас отличный репертуар, но предложу-ка я вам сейчас одну лихую вещицу, каковая, мне кажется, наиболее подходит к предстоящему концерту для гроба с процессией. Вот только у меня нет нот...

— Ноты не надо, — сказал старший. — Мы без нот играем.

— Мы слухачи, — гордо добавил кларнетист.

— А! Это упрощает дело. Тогда слушайте...

Опрокиднев долго и старательно выпевал мелодию, вкладывая в нее все, что он думал о радостном и скорбном пути человека от колыбели до могилы. Когда он закончил, в Красном уголке повисла пауза.

— Нравится? — робко спросил Опрокиднев.

Музыканты переглянулись.

— Не фанера, — одобрительно откликнулся саксофонист.

— Сможете?

— Вообще-то мелодия вроде бы знакомая... — сказал старший и дернул струну. Контрабас загудел, как сонный шмель, разбуженный зимой. — Ну, что, мужики? Поехали...

* * *

Кадровика хоронили в сухой предзимний день, оцепеневший, придавленный свинцовым пологом неба.

Схваченные ночным морозцем лужи не таяли. Всюду окаменела грязь, и оттиски подошв могли служить наглядным пособием для начинающих сыщиков. На гранитной облицовке у входа в «Электропар» благородно, как ранняя седина измученного мыслями о несчастной Родине интеллигента, поблескивал иней. В стилом неподвижном воздухе грубо торчали обрубленные тополя, страшным строем уходя в перспективу улицы, как выездная выставка скульптур Эрнста Неизвестного, почему-то, несмотря на полную бесплатность, почти не привлекавшая посетителей. Редкие прохожие шли вдоль скульптурного строя с озабоченными лицами, на которых читалось беспо-

койство близкой зимой, проблемами хранения картошки, перебоями в горячем теплоснабжении, срывами в движении общественного транспорта.

Меж тем не таким уж безнадежным выглядел в целом этот скучный предзимний день. Отвернувшись от чудовищных тополей к противоположному тротуару, глаз мог отдохнуть на тончайшем кисейном плетении молодых берез, лет пять назад посаженных электропаровцами на субботнике по озеленению, а в середине березовой группы празднично горели оранжевые капельки боярышника. Тротуары были сухи и оттого казались чистыми. Четкими были линии фасадов, и всякое сооружение стояло отдельно и надежно, суля этой надежностью что-то спокойное и приятное. Светофорный столб неукоснительно перемигивался своим трехглазьем и умилял усердием в трудах над пустынным перекрестком. Газетный киоск притягивал взор изощренным дизайном пластиночных конвертов, а круглая афишная тумба, облепленная свежими рекламами, таинственно уводила за поворот окончание фразы: «Во Дворце спорта только один день...»

Но не радовали озабоченных прохожих ни праздничный фейерверк боярышника, ни малиновое, ни изумрудное, не говоря уж о желтом, сияние светофора, ни даже нечто волнующее, чему предстояло вершиться во Дворце спорта в течение одного-единственного дня, быть может, призванного принести кому-то из них нечаянную радость. Все с теми же снулыми лицами шли они по своим докучным делам, погруженные в мелкие, но столь трудно решаемые в этой диковинной стране заботы о еде, тепле и маломальском здоровье.

И лишь катафалк и несколько автобусов, стоявшие у подъезда «Электропара», отвлекали их от ничтожных соображений повседневья, вызывая любопытство, а также глубокое удовлетворение тем, что кто-то умер, в то время как они, пусть не совсем успешно, но явственно и неодолимо продолжают жить.

Когда же из подъезда, волоча свои устройства для извлечения звуков, вышли молодые люди с нездоровым цветом лица, прохожие стали дружно останавливаться, и каждый занимал позицию, какая казалась ему наиболее удобной для наблюдения за предстоящим зрелищем, о котором, если бы существовал обычай выпускать афиши к похоронам, можно было бы, в отличие от рекламы Дворца спорта, написать: «Сегодня и ежедневно...»

Тяжелые двери вновь распахнулись и выпустили группку мужчин разного вида и возраста, но одинаково поглощенных своей важной деятельностью. Трое принялись укреплять распахнутые створки дверей, четвертый разбудил дремлющего водителя катафалка, неохотно покинувшего нагретую кабину, и они открыли в задней стен-

ке широкий зев, возле которого трафаретом была отбита строгая надпись: «Перевозка гроба только с надвинутой крышкой».

Еще один мужчина, самый молодой и нескрываяемо жизнерадостный, как он ни старался придать своему лицу приличествующий вид, сбегал со ступенек и вошел в энергичное общение с музыкантской командой.

Наступила томительная пауза, но вот в дверях появились женщины, несущие на алых подушечках награды покойного. В то же мгновение Опрокиднев взмахнул сжатым кулаком, и четыре инструмента принялись исторгать свойственные им звуки.

Наградами покойного были медали и почетные знаки. Затем понесли венки и, наконец, на плечах шестерых мужчин неровно закачался обитый алым и черным крепом гроб. Лицо покойного глядело в небеса без малейшей надежды на возможность попадания в их возвышенные сферы. Он знал место, уготованное ему в загробной жизни, ибо в предшествующий ей период сделал для этого все, что мог. И теперь он плыл в сосновом челне с полным безразличием ко всем пунктам в анкетах всех, кто провожал его в последний путь под земным небом.

И над его внятным профилем, над головами живых людей, над чистой и сухой улицей, над уходящими в перспективу скульптурами тополей звучал и звучал, перехватывал горло, выдавливая слезы, и резал сердце за сердцем изрядно фальшивый, но искренне рыдающий друг усопших всего человечества Фридерик Шопен.

ПОКУШЕНИЕ

Это случилось в конце мая, в пору обильного цветенья сирени, поддержанного еще и отцветающими черемухами и яблонями, когда трава после каждого теплого ливня идет в рост едва ли не со свистом, когда на клумбах перед официальными зданиями цветут и еще не выдраны алые маки и пурпурные розы, и город, центр сурового промышленного края, казалось, перенесся на тысячу верст южнее своего действительного пребывания. В такие дни благодать спускается в сердца людей, и особенно ясно, как хороша и драгоценна жизнь.

В эти дни Опрокиднев взял за привычку уходить в обеденный перерыв в благоухающий сиренью сквер неподалеку от «Электропары». Вот и сейчас он сидел на скамейке, спиной к дурманящему цветенью, в легкой кружевной тени и, читая газету, жевал мороженое, а может быть, жуя мороженое, читал газету. Мысли его были заняты

положением команды «Мотор» в турнирной таблице первенства и ускоряющимся таянием шоколадной корочки, окружающей серебряный снарядик эскимо. В то же время молодое тело Опрокиднева безотчетно, но явственно впитывало теплые дуновения майского дня и, вдохновенное этими ниспосланными с небес токами, собиралось жить вечно.

Неожиданно он почувствовал за спиной чье-то присутствие. Предположив самое достоверное: что кто-то, кто шел по тропинке, отделенной от скамьи зарослями сирени, пробрался сквозь них и намерился сесть на скамью, но увидел, что она занята — Опрокидnev непроизвольно сдвинулся к краю. Но никто не вышел из кустов, а вместо этого прозвучал глуховатый, с хрипотцой голос. И произнес он не что иное, как:

— Будьте осторожны. На вас готовится покушение.

Это была настолько нелепая фраза, что в первые мгновенья она просто не овладела сознанием, затуманенным острой борьбой футбольных команд. И когда Опрокидnev обернулся, за скамьей никого не было. Лишь покачивалась, дразня сладким запахом и призывая порываться в поисках счастливого пятилепесткового цветка, роскошная ветка сирени.

— Дурацкая шутка! — крикнул Опрокидnev вослед неизвестному, энергично откусил верхушку сладкого столбика и попытался вновь сосредоточиться на судьбе бездарной команды «Мотор», за которую он имел несчастье болеть с детства. Но что-то мешало. Что? Взрываванья автомобилей, идущих на подъем за оградой сквера, вдруг достигшие его слуха? Тень редкого облачка, на минуту затмившего сквер? Ветерок, который внезапно окреп, затрещал уголком газетного листа и устроил у ног Опрокиднева маленький гадкий вихрь из бумажного мусора и окурков?

Нет. Мешало ощущение, что прозвучавшие за спиной слова мало походили на шутку. Интонация, с которой они были произнесены, не была преувеличенно серьезной, намеренно пугающей, как это непременно делается, когда собираются в шутку нагнать страху. Голос предупреждал с искренней заботой о безопасности Опрокиднева, в предстоящем покушении он был убежден твердо, непоколебимо... Можно сказать — маниакально...

Вот оно что! Разумеется. Как он сразу не догадался? Чокнутый, сумасшедший! Весна — их любимое время. Они оттаивают вместе с природой, будучи одним из ее таинственных порождений. Весна будоражит их зыбкие души, внушает им неясные надежды, обольщает вернувшимися запахами сырой земли, свежим духом народившейся зелени.

Стройный синеглазый мужчина ходит по городу, останавливается на трамвайных путях и, указывая пальцем под ноги, окликает прохожего, по несчастью переходящего улицу именно здесь:

— Замечаете? Рельсы стали шире...

Вдруг синева его глаз темнеет, наливается красноватым, сургучным оттенком гнева. Он глядит в упор и спрашивает:

— За что боролись? За что кровь проливали?

И нервно ускоряет шаги прохожий, уязвленный откровениями помраченного ума.

Опрокиднелу не раз доводилось встречаться с представителями обратной стороны человечества. Когда он был студентом, один из его однокашников свихнулся во время работ в подшефном колхозе. В трусах и майке, босой, он убежал ночью в поля и бегал там под проливным сентябрьским дождем, спотыкаясь о капустные кочаны и что-то выкрикивая. Утром его поймали объединенными усилиями двух бригад и, поскольку он отчаянно сопротивлялся пленению, связали по рукам и ногам брючными ремнями. Его увозили в город в кузове грузовика, вместе с капустой, и он кричал на всю округу, разбрасывая в стылый осенний простор горячие невразумительные слова, азартно доказывающие малоприятные провожавшим его людям тезисы.

Помнил Опрокиднел и другого свихнувшегося юношу, своего приятеля, начинающего поэта. Друг-поэт был молчалив, серьезен, усидчив. Стихи он писал ежедневно, как по расписанию, и все об одном и том же: о любви как единственном измерении текущей жизни. Но однажды он тоже куда-то побежал, в какую-то манящую даль, где-то скитался, после чего стал приходить в гости без приглашения, в том числе, и к совершенно не знакомым ему людям. И всюду, где он встречал календари, он уничтожал их, особенно яростно разрывал в клочья настенные. При этом он объяснял, что все эти февраль, марты и декабри — дьявольская выдумка и заговор пошляков, что времени нет, а если и есть, то каждый волен измерять его по своему усмотрению и в своих единицах. Например, пьющему человеку удобнее всего измерять время в бутылках и стаканах: «Это было очень давно, тысячи две бутылок назад...», «Не прошло и трех стаканов, как мы с ним от всей души подружились...» Что касается его самого, поэта, то тем, кто считает, что ему двадцать один год, он заявляет: отнюдь! Мой возраст — три детских влюбленности, четыре отроческих плюс две зрелых любви, из которых одна неразделенная, и ее нужно считать день за два.

Все это он объяснил и Опрокиднелу, когда тот навестил друга-стихотворца в больницу. Лечащий врач объяснил в свою очередь, что

поэт пал жертвой болезни имени двух немецких ученых. В быту она называется одним словом: шизофрения.

Встречал Опрокиднев и сумасшедших женщин. Одну он, помнится, принял за пьяную: она шла по осевой линии улицы, пестро одетая, густо покрашенная, размахивала сумочкой и пронзительно материла актуальные проблемы страны и слабо решающее их мудрое руководство. Но когда Опрокиднев, исполненный неодолимого любопытства, заглянул в ее глаза, они оказались серьезны и неподвижны.

Да, видывал и слыхивал он чокнутых граждан, живущих куда более напряженной и духовно богатой жизнью, нежели так называемые нормальные люди. Но никогда не слыхивал он такого ровного, спокойного голоса, такой естественной и разумной интонации.

Уже подтаявшее эскимо дважды капнуло на его брюки, а ветерок перелистнул газету и, закрыв спортивные новости, обнажил статью «Мастер верен себе», напечатанную под рубрикой «О людях хороших...» Уже часы на городской башне, прославленной тем, что ее критиковал за архитектурные излишества сам Хрущев, пробили протяжным гортанным боем, напоминая, что обеденному перерыву в «Электропаре» пришел конец, а Опрокиднев все так же неподвижно сидел под цветущей сиренью и размышлял.

Нет, незнакомец не был ни шутником, ни сумасшедшим.

И, стало быть, покушение действительно готовится. И скорее всего, уже готово.

Но кто? И за что?! Я президент страны с прогнившим режимом, и группа вольнолюбивых офицеров собралась ликвидировать меня, чтобы железной рукой повести народ к небывалому счастью? Я предводитель мафии, захвативший территорию другого клана для сбыта наркотиков? Или хотя бы Дон-Жуан, оскорбивший честь не в меру ревнивого мужа? Нет, нет и нет. Кому же и в чем я мешаю, если меня решили убрать? Я слишком много знаю? Что можно знать в этой чудесной стране, где засекречены даже данные о продаже спиртного и товарообороты вокзальных буфетов? Впрочем кое-что я знаю. Мне ведомы секреты подгонки результатов при наших расчетах в «Электропаре». И вдруг грядет министерская проверка, и мой руководитель товарищ Буровин испугался, что на комиссии расколюсь именно я? Буровин испугался и решил убрать меня... Однако! Каков! Интересно, как он это сделает? Человек он простой и долго думать не станет. Хряснет табуреткой по башке из-за угла — и все. Или поручит кому-нибудь другому? Кому? Конечно, безвольному, покорному Курсовкину. О, это совсем другое дело. У этого неудачника и недотепы — изощренный ум. Этот придумает какую-нибудь техническую гадость. Скорее всего, подведет провода к моему

кульману. Но неужели у Курсовкина поднимется рука на меня, его верного друга? Не я ли трижды вытаскивал его из состояния, близкого к суициду? А вот за это и прихлопнет своего друга паршивый кандидат в самоубийцы, едва намекнет ему на желаемость нечаянной гибели Опрокиднева уголовник Буровин! Вот за что! За то что я раз за разом упорно заставляю его продолжать жить на этом свете, в то время как его скорбная душа рвется на тот, быть может, более мрачный, но зато весьма отдаленный от его диктаторши-жены, от осточертевшего ему «Электропара» и от несколько разочаровавшей его замедлением темпов развития нашей необъятной страны.

Но не раньше ли, чем Буровин с Курсовкиным, запланировали отвратительный акт покушения мои якобы собутыльники Аабаев и Джазовадзе? Не лопнуло ли, наконец, терпение этих гордых и необычайно самолюбивых мужчин? И действительно: именно на меня, а не на кого-нибудь другого, переключилось мощное интимное чувство Шараруевой вскоре после моего появления в «Электропаре», меж тем как и сын гор, и сын степей с одинаковой убежденностью считали ее своей невестой?

Странно было бы, если бы рано или поздно им не пришла в голову мысль уничтожить счастливого соперника. Вот она и пришла. Как она будет реализована? Аабаеву сподручнее пробить меня стрелой с петушиным опереньем, пущенной из тугого лука, с тетивой из бычьих жил, и проделать это на полном скаку, привстав в стременах поджарого ахалтекинского скакуна. Стрела пронзит мое, столь нежно любящее всех женщин «Электропара» сердце, а также регулярно носимый на нем членский билет Общества друзей зеленых насаждений, создав тем самым один из самых трогательных экспонатов будущего музея, посвященного моей короткой, но яркой жизни. У витрины, под стеклом которой на сером или зеленом бархате будет лежать означенный билет с пятном запекшейся крови, новые поколения, вступая в ряды Общества, будут давать клятву верности нашему зеленому другу.

А если это будет Джазовадзе, он пристрелит меня, затаившись за камнем в горном ущелье с хорошо смазанным винчестером своего покойного деда-охотника — старинным, но бьющим без промаха ружьем. В этом случае музей рискует остаться без членского билета, ибо труп мой скатится на дно ущелья, где его радостно подхватят бешеные потоки горной реки, заслуженно воспетой рядом русских классиков, и бог знает куда унесут меня эти волшебные струи.

Это наиболее реальные варианты, и они сорвутся лишь потому, что меня нелегко принудить к подъему в горы, и еще менее — к скаканию по степи. Значит, все будет проще. Друзья пригласят меня на веранду летнего ресторана, удачно расположенного на двенадца-

том этаже, где после доброго вина и задушевной беседы, Джазовадзе якобы от избытка чувств обнимет меня и задушит в объятиях, а Аабаев на всякий случай сбросит вниз.

Да, так они и поступят, если их не опередит Шараруева. И впрямь: можно ли безнаказанно годами мучить женщину незаурядных форм и содержаний? Я могу спастись, если сейчас же, немедленно предложу ей руку и сердце. Но я не могу жениться, я уже был женат, и хорошо помню, что ничего приятного в этом мероприятии нет. Что ж, моя дорогая Шараруева, я заслужил свою смерть и с улыбкой выпью роковой бокал, в который ты так ловко, словно только и занимаешься отравлениями, подсыплешь цианистый калий. Понятия не имею, где ты достанешь его, это твое дело. Ты подсыплешь его, медленно произнеся: «Если Опрокиднев не достался мне — он не достанется никому». И я упаду бездыханным к твоим замечательным ногам, и, ради бога, прости мне этот аромат горького миндаля, который застрянет с моих помертвевших губ, значительно облегчая работу следователя. Из всех, кому я опасен и неприятен в «Электропаре», из всех, кого я обидел там — ты, Шараруева, первая среди равных!..

В это время к скамейке приблизился подозрительный гражданин неопределенного возраста и неясного социального уровня, в потрепанном, но дорогом костюме. Приближаясь, он опустил руку в карман и ухватил там что-то удобно легшее в руку. Опрокиднев уловил это движение и одеревенел. Вот как. У кого-то из них не хватило духу расправиться самому. Наемный убийца...

Убийца выдернул руку и нетвердым голосом произнес:

— Закурим, браток?

Опрокиднев перевел взгляд с пачки «Беломора» на лицо гражданина, и взгляд этот был таков, что гражданин растерянно повертел папиросы в пальцах и, более не предлагая закурить Опрокидневу и не закуривая сам, побрел дальше. На выходе из сквера он обернулся и с состраданием посмотрел на фигуру на скамье.

И действительно, болезненная тревога, лихорадившая Опрокиднева, не только не рассеялась, но, напротив, была его все сильнее. Что-то полужнакомое померещилось ему в облике предполагаемого убийцы. Отчего он, собственно, ограничил поиски причин покушения коллективом «Электропара»? Убийцей может оказаться полужабытый, а то и вовсе выпавший из его памяти человек из той, доэлектропаровской жизни. Вереница событий и лиц потекла и замелькала перед ним и чаще других почему-то вспыхивало детское лицо, сморщенное, в грязных разводах свежих слез лицо маленького мальчика лет пяти-шести, потрясающего тощими кулачками и что-то выкрикивавшего в дикой, делающей его более взрослым, злобе... Кто это, кто это?..

Он вспомнил. Он вспомнил жаркий душный июльский день в парке Дворца пионеров, площадку с педальными автомобилями — новым, невиданным доселе развлечением в ту пору. Он увидел себя стоящим в длинной-длинной очереди желающих прокатиться. Увидел сердитую потную женщину, замерявшую время катания и регулируемую смену водителей. Как душно! Как долго ждать чудесного мига, когда он сядет за руль автомобиля с алыми, сверкающими на солнце боками и возьмется за руль! Но вот он настал, этот миг: очередной счастливчик нехотя вылез из обворожительной машины, и маленький Опрокиднев, ликуя, шагнул к своему законному месту. Тут-то он и выскочил наперерез ему, этот мальчик, этот наглый мальчик, вообще не стоявший в очереди, и опередил его. Сердитая женщина немедленно схватила его за шиворот, но мальчик ухватился за руль мертвой хваткой и заскрежетал зубами. Тут и растерявшийся было Опрокиднев накинудся на наглеца, схватил его за курточку и начал тащить. Мальчик отпустил руль и ударил Опрокиднева по уху, а сердитая женщина выдернула мальчика, как репку из грядки, и швырнула прочь. Опрокиднев, горя отмыщенем, упал на противника и принялся колошматить его. Тогда сердитая женщина схватила за шиворот обоих, больно встряхнула, воткнула Опрокиднева в автомобиль, а наглого мальчика зажала меж своих толстых колен в ожидании, что он опомнится и затихнет.

Опрокиднев вел автомобиль по площадке, крутя руль, но радость его померкла. Мальчик же и не думал затихать, он потрясал кулачками, ими же размазывал слезы по щекам и кричал Опрокидневу: «Я убью тебя! Я тебя все равно убью!» Он был заметно мельче и слабее крепыша Опрокиднева, но злоба, казалось, увеличивала его в размерах.

А потом он вырвался и убежал. И больше Опрокиднев не видел его никогда в жизни. А мальчик вырос, но не забыл детской мечты убить Опрокиднева. Почему он не осуществил ее раньше? Кто знает. Не мог найти меня. Отвлекался на другие мщенья. Отсиживал сроки в отдельных местах. И окончательно потерял меня из виду. Но вдруг нашел и детская мечта вспыхнула в его несчастном сердце. Как он это сделает? Теряюсь в догадках. Зарежет, застрелит. Столкнет под поезд. В память об автомобильчике собьет машиной. Ему так хотелось прокатиться тогда. У него не было сил стоять в очереди, в жару и духоту. Он был такой тощенький, такой заморенный. И наверняка голодный. А Опрокиднев перед прогулкой в парк выпил сладкого чаю и съел булку с маслом. А когда вернулся, ел щи и пшенную кашу, посыпанную сахарным песком. Его хорошо кормили в детстве, грех жаловаться. И он вырастал крепышом. И у него были

хорошие игрушки. А у заморыша, скорее всего, настоящих игрушек не было. И pedalный автомобиль с алыми боками и коричневым кожаным сиденьем, с никелированными ободьями колес и настоящим гудком свел его с ума. А Опрокиднев вместе с сердитой теткой изгнали маленького грешника из рая, куда он и хотел попасть-то на несколько минут...

Я виноват перед тобой, мальчик. Твое намерение ужасно, и оно не нравится мне, но ты прав. Что ж, рано или поздно наши подлости догоняют нас. И за них надо расплачиваться. Прощай, жизнь. Прощайте, товарищи, в смысле близкие друзья и подруги, и прощайте, товарищи, в смысле советский народ, строитель коммунизма. Счастливого построить. Волею оскорбленного мною четверть века назад ребенка я ухожу из этого веселого майского дня, столь удачно оформленного цветущей сиренью и призывающего всеми своими милыми подробностями жить и жить, жить нескончаемо, убедительно и бесповоротно... Да не судьба.

Опрокиднев облизал липкие от мороженого пальцы, мимоходом отметив, что, вероятно, это последнее вкусовое ощущение в его жизни, ее последняя сладость. Он вытер руки о газету, на мятой грани бумажного комка мелькнула таблица первенства. Эх, «Мотор», «Мотор», чувствует сердце, вылетишь ты в этом сезоне во вторую лигу. А мог бы и порадовать меня на прощанье, «Мотор»...

Внезапно за его спиной вновь закрипели раздвигаемые кем-то ветви.

Опрокиднев замер.

Тот же глуховатый с хрипотцой голос произнес:

— Успокойтесь. Покушение отменяется.

— Что?.. Что вы сказали? — прошептал Опрокиднев, не в силах обернуться.

— Покушение отменяется. Вас спутали с другим человеком.

— С кем? — непроизвольно вырвалось у Опрокиднева, и он наконец обернулся.

Но никого не было за спиной скамьи, среди потревоженных белых и фиолетовых гроздьев, плавающих в воздухе, как изысканный по сочетанию траурный креп.

Опрокиднев поднялся и пошел к выходу из сквера, глядя на мир глазами преступника, которому объявили помилование под замаха палаческого топора.

Жизнь возвращалась в него толчками, как горячая кровь в онемевшую ногу. Радость возвращенной жизни и стыд за гнусные подозрения в адрес друзей бурлили и клекотали в нем с почти слышимым звучаньем. Особенно стыдно было из-за мальчика. Мало ли

что кричат в запальчивости маленькие голодные дети, не допущенные в рай. Чудесный мальчик, благородно простивший мне нанесенную ему обиду. Я разыщу тебя. Я попрошу у тебя прощения. Мы выпьем вина и подружimsя. Мы выпьем много вина. Мы начнем на закате и последние стаканы осушим, когда взойдут звезды. Ночью мы придем в парк Дворца пионеров и молча постоим там, где разыгралась маленькая трагедия. Как правильно, что я вспомнил тебя, мальчик...

Так размышлял Опрокиднeв, выходя из сквера и направляясь в родной «Электропар». Но едва он ступил на мостовую, как его обдало жаром и ревом, и в сантиметре от него, бешено грохоча разболтанными запорами бортов, промчался чудовищно разогнавшийся с горы грузовик. Еще бы мгновение — и он смял бы его в лепешку.

— Идиот!!! — завопил вслед грузовику Опрокиднeв. — Тебя, что, не предупредили?! Отменяется! Меня спутали с другим человеком!

— Тоже мне, покушанты называются, — пробормотал он, успокаиваясь и, внимательно глядя на вершину горы, откуда слетел убийственный грузовик, осторожно пересек проезжую часть.

Но взойдя на тротуар, он замер и теперь посмотрел в ту сторону, куда несло оружие покушения. С кем они меня спутали? Предупредит ли этого человека незнакомец, как предупредил меня? Хочется верить.

Он шел в «Электропар», он возвращался в прежний круг жизни, к верным друзьям и боевым подругам, к лукавым расчетам и бодрящему флирту, он шел по солнечной стороне улицы, под грубо изрубленными тополями, с неистощимым силой выстрелившими из себя новые побеги с яркой и крупной листвой; но странность происшедшего тяготила его, и тяжелы были мысли о неведомом, чем-то похожем на него человеке. Хочется верить... Хочется верить... Хочется верить...

РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ

Однажды, когда Опрокиднeв умножал четырнадцать на девятнадцать, тщательно следя, чтобы результат не превысил двухсот пятидесяти пяти, к нему подошел профсоюзный активист Чубарик.

— Опрокиднeв, я собираю предложения по улучшению трудового процесса. Предложи что-нибудь, ведь ты у нас голова.

— А что случилось с нашим трудовым процессом?

— Ничего особенного, но многие работают безынициативно, тускло, без живинки в деле. А ведь перед нами поставлены большие

ответственные задачи. Надо развивать энергетику. Надо ускорять проектные работы. На последнем профсоюзном пленуме нам прямо было указано, что...

— Это все из-за стереотипов, — перебил Опрокиднев. — Их нужно постоянно разрушать.

— А что такое стереотипы? — спросил Чубарик, выбранный в профсоюзные активисты как раз потому, что из-за низкой эрудиции не был способен к участию в проектных работах.

— Это, грубо говоря, привычки в мышлении. Вот, к примеру, ты видишь: идет человек, шатается.

— Где? — заозирался Чубарик.

— Абстрактный пример.

— А что такое...

— Попробуй только сказать, что не знаешь слова «абстрактный»!

— рассердился Опрокиднев. — Питекантроп нашелся!

— А что такое...

— Питекантроп — доисторический идиот. Абстрактный — значит, отвлеченный. Значит, идет и шатается человек не у нас по институтским коридорам, а неважно где.

— Понял! — доложил Чубарик.

— Итак, идет и шатается. Стереотипное мышление: пьяный.

— А на самом деле?

— Скорее всего, и на самом деле. Но почему бы не потренировать мозги? Почему бы не предположить, что он трезвый?

— А с чего шатается?

— А ему только что крепко долбанули по морде. Или, наоборот, он только что объяснился в любви, и оказалось — с полной взаимностью. От приятной неожиданности товарищ временно потерял координацию движений. Или, говоря научно, ошалел от счастья. Вот такое нестереотипное мышление, не принося, вроде бы, сиюминутной пользы, освежает мозги, ломает рутину привычных движений мысли. А отсюда уже недалеко и до революционных преобразований трудового процесса.

— Например, — предложил хитрый Чубарик. — Как это мы от пьяного, который шатается, перейдем к трудовому процессу?

— Давай, попробуем вместе. Если пьяный идет и шатается, как ему выправить походку?

— Только протрезветь, — решил Чубарик после некоторого размышления. — Убей меня, не вижу другого выхода.

— Молодец! А если шатается трудовой процесс?

— Ты хочешь сказать, что некоторые у нас пьют на рабочем месте? Так вот оно в чем дело!

— Прощу тебя, Чубарик, — поморщился Опрокиднєв. — Вєдь ты мужчина. Слєди за своими дебильными потенциями и не давай им воли. Итак, чтобы пьяному перестать шататься, ему надо протрезветь. Но дело это, согласись, долгое и хлопотное. Междy тем, у него есть возможность прекратить шатание в один момент. Остановиться и встать к стенке. Вот давай и посмотрим, не то же ли самое нужно проделать с нашим шатким трудовым процессом?

— Умру, но не пойму, — пролепетал Чубарик.

— Даю честное слово: поймешь и будешь жив. Рассуждаем по пунктам. Трудовому процессу в «Электропаре» нужно придать стремительную, упругую походку. Зачем?

— Чтобы ускорить проектирование.

— Зачем ускорить?

— Чтобы развивать энергетику.

— Зачем развивать?

— Чтобы... Ну, Опрокиднєв, ежу понятно: чтобы дать народному хозяйству больше этой... электроэнергии.

— А зачем больше?

Чубарик сделал чудовищное мыслительное усилие:

— То есть как зачем? У народа грандиозные планы... Или ты против?

— Я — за. Но энергии для этих планов и теперь навалом. Только она тратится не туда, куда надо. — Внезапно Опрокиднєв больно шлепнул Чубарика по животу. — Ты почему такой толстый? Почему столько жрешь?

— Это от нервов. Профсоюзная работа, знаешь, какая нервная.

— А известно ли тебе, что вас, переѣдающих, тридцать процентов населения? Если провести пропагандистскую кампанию под лозунгами: «Быть толстым стыдно!» и «Девушки! Не любите толстых!», если всех вас подвергнуть позору и остракизму...

— А что такое..

— Остракизм — это когда на тебя все плюют и правильно делают. Короче говоря, я прикинул: если каждый из вас будет съедать в день хотя бы на кусок меньше — не понадобится строить минимум три новых электростанции. А сколько мы проектируем за год?

— Это что же, — произнес ошеломленный Чубарик, — если я возьму себя в руки и не съем за день лишнюю горбушку — наш «Электропар» можно закрыть на три года?

— Именно так. И трудовой процесс перестанет шататься сам собой.

— А куда же нас всех девать?

— Кого куда. Тебя куда-нибудь перебросят по профсоюзной линии.

— Никуда меня не перебросят, — помрачнел Чубарик. — Я план по взносам заваливаю. Нет, если закроют «Электропар», для меня это — гаси свет.

— Ну, успокойся, успокойся, — Опрокиднел погладил профсоюзного активиста по животу, — и кушай по-прежнему. Пропагандистская кампания, намеченная мною, нереальна. В стране культ толстяков. Ты видел хоть одного стройного руководителя? Я просто продемонстрировал тебе разрушение стереотипов.

Тему нешаблонного мышления Опрокиднел продолжил по просьбе трудящихся, когда в сопровождении Чубарика, Аабаева и Джазовадзе вышел после работы из родного «Электропара», и приятели по предварительному сговору направились в ближайшую шашлычную.

По дороге Чубарик очень хвалил Опрокиднела за преподанный урок, уверял, что чувствует какое-то новое шевеление в мозговых извилинах и предлагал Аабаеву и Джазовадзе тоже прибегнуть к разрушению стереотипов. Сын степей и сын гор заинтересовались и обратились к Опрокиднелу с соответствующей просьбой.

— Что ж, — согласился Опрокиднел, — проведем урок, так сказать, на природе. Вот, кстати, и наглядное пособие.

Он остановился на тротуаре против полуподвального окна, забранного фигурной решеткой, и жестом предложил остальным заглянуть. В ярко освещенной комнате сидел пожилой мужчина в черных нарукавниках и что-то считал на счетах.

— Кто это? — спросил Опрокиднел.

— Бухгалтер, кто же еще, — ответил Чубарик.

— Снова стереотипное мышление, — укорил учитель. — Счеты, нарукавники — значит, бухгалтер. А если пофантазировать?

— Главарь мафии, — сказал Чубарик. — Доходы считает. Каждая косточка — миллион.

— А почему обязательно доходы, а не расходы? И вообще — почему обязательно деньги?

— С другой мафией поссорился, — сказал Аабаев. — Считает, сколько там человек надо убить.

— Колоссально! — поздравил его учитель.

Джазовадзе стало обидно, что друг так удачно разрушил свое стереотипное мышление, и он сказал:

— Погодите. Теперь я. Это не бухгалтер. И не мафия. Это сумасшедший. Вообразил себя министром финансов. Глубоко несчастный человек!

Тут Аабаеву стало обидно, что его обогнал Джазовадзе.

— Так, у меня есть другая версия. Еще оригинальнее. Не бухгалтер. Не мафия. Не сумасшедший. Просто верующий человек. Он ничего не считает. Он перебирает четки. Где ему в нашем городе взять настоящие?

В этот момент бухгалтер, он же мафиози, он же сумасшедший, он же верующий человек снял телефонную трубку, набрал номер и начал с кем-то разговаривать.

— О чем речь у товарища? — спросил учеников Опрокиднев. — Какие будут догадки?

— Я понял! — первым воскликнул Чубарик. — Он не доходы считал, а взносы. Он не самый главный, а вроде меня. И сейчас он рапортует: план по взносам выполнен.

— А я тебе говорю: передает указания своим бандитам! — возразил Аабаев. — На смерть посылает людей. Если это мафия. А если это моя вторая версия — то давайте отойдем и не будем мешать: может, он с богом говорит?

— Поскольку он вообразил себя министром финансов, — сказал Джазовадзе, — то скорее всего он сейчас звонит председателю Совета министров и доказывает, что государственный бюджет на будущий год сведен без дефицита. Или с дефицитом.

— Блестяще, друзья мои! — подытожил Опрокиднев. — А теперь давайте зайдем к нему. Зайдем и проверим, кто из вас был не только оригинальнее, но и точнее.

Эта мысль всем понравилась. Они вошли в здание. Немного поплутав, отыскиали путь в полуподвальный коридор и, вежливо постучавшись, вошли в комнату, где сидел загадочный мужчина.

— Извините, — сказал Опрокиднев. — Нас заинтриговало ваше занятие. Было высказано немало любопытных предложений. Но единственно верное, а потому и самое интересное, мы, надеюсь, услышим сейчас от вас.

В этот момент дверь распахнулась, и загадочный мужчина торжествующе воскликнул:

— Нет, самое интересное вы услышите не от меня!

И он оказался прав. Ничто не могло так заинтересовать и даже взволновать приятелей, как раздавшийся окрик:

— Руки вверх! Лицом к стене!

— Я их давно заметил, — сообщил мужчина в нарукавниках ворвавшимся милиционерам, пока они ощупывали карманы электропаровцев в поисках оружия. — В наглуую, главное, действуют. Встали прямо против окна. И вот этот, это у них главарь, показывает на меня: сейчас, мол, зайдем и уколошим его. Потом показывает: видите, у него сейф в углу? Будем его брать.

— Что в сейфе? — спросил лейтенант, старший в милицейской группе.

Мужчина в нарукавниках засмутился.

— Да вообще-то ничего особенного.

— Откройте.

Мужчина нехотя открыл сейф. Там, на стопке журналов «Огонек», на тарелочке лежал обломок плавленого сырка, а рядом стояли гра-
ненный стакан и две бутылки, одна пустая, а другая початая.

— Портвейн «Кавказ», — с присущей ему зоркостью углядел Опрокиднєв, выглянув из-под поднятой руки. — А мы надеялись взять ящик армянского коньяку.

— Попрошу без трєпа, — обрєзал его лейтенант. — Кто такие и зачем сюда вошли?

Опрокиднєв вкратце объяснил боевую задачу своей шайки. Когда были проверены документы и напряжение заметно спало, лейтенант с укоризной заметил бухгалтеру:

— Если вы знали, что у вас в сейфе, зачем было поднимать тревогу? У нас и без вашего портвейна есть что защищать.

— Не судите товарища строго, — сказал Опрокиднєв. — Он мыслил стереотипно: раз люди смотрят в окно — значит, решили зайти и ограбить. А мы, как я только что объяснил, как раз и тренировались в нестереотипном мышлении. Не вижу в этом случае ни его вины, ни тем более нашей. Прошу вас, лейтенант, не задерживайте нас на нашем неуклонном пути, не скрою, в шашлычную, где мы собирались подвести итоги семинара по разрушению стереотипов и раздать почетные грамоты наиболее преуспевшим ученикам.

— Да, — кивнул лейтенант. — Вы не виноваты, и вас можно отпустить. Но ведь это — типично стереотипное мышление: если люди не виноваты — их отпускают. А если разрушить этот стереотип и вкатить каждому из вас по пятнадцать суток?

— Замечательный образец нешаблонного мышления! — откликнулся Опрокиднєв. — Но разрушать так разрушать. Пятнадцать суток — тоже, в свою очередь, стандартное наказание. А давайте накажем нас по-другому. Давайте обяжем нас угостить пострадавшего и вас?

— Мы, к сожалению, на службе, — лейтенант покосился на бутылку в сейфе. — А пострадавшего... Что ж, на том и порешим. Пострадавший, пройдите с товарищами в шашлычную. Вы удовлетворены?

— Вполне! — радостно гаркнул бухгалтер, он же мафиози, он же сумасшедший, он же верующий человек, он же большой любитель портвейна «Кавказ».

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Все мы постоянно мечтаем изменить образ жизни: рассчитаться с вредными привычками и обрести здоровые, вырваться из круга опостылевших знакомств и подружиться с иными, яркими и интересными людьми, найти работу, в которой наконец-то раскроются наши подлинные способности; словом — начать жить заново, начать новую жизнь. Эти мечты почему-то особенно усиливаются в канун Нового года. Но каждый раз что-то мешает совершить в первые январские дни решительный поворот в судьбе. Где же выход?

За советом я обратился к своему всезнающему другу Опрокидневу:

— Я слышал, многие начинают новую жизнь с Нового года, но мне это не удается уже много лет подряд. Неужели это единственная возможность?

— Начинать новую жизнь можно в любой день, — не задумываясь, ответил Опрокиднев, — но это должен быть один и тот же день. Так, бросаю курить я обычно по пятницам, пить — по вторникам. Начинаю делать утреннюю зарядку, как правило, по первым числам. Каждое утро после дня рождения начинаю переписываться с родственниками. И каждый второй день начинаю ежедневно бриться.

— Боюсь, такие темпы мне не под силу, — засомневался я.

— Да, — согласился он, — в этом деле нужны многолетние тренировки. Тяга к новой жизни возникла у меня еще в детстве. Уже тогда я выработал твердое расписание, в соответствии с которым в понедельник я начинаю хорошо учиться по арифметике, во вторник — по литературе, в среду — по физкультуре, в четверг — по черчению, и так далее. С годами моя традиция окрепла. Сослуживцы знают, что каждый месяц накануне аванса я начинаю работать хорошо, а накануне получки — еще лучше.

— Во всех этих начинаниях ярко видна твоя индивидуальность, — сделал я Опрокидневу заслуженный комплимент, — но что ты посоветуешь другому человеку — мне?

— Способов начать новую жизнь сколько угодно. Назову три самых простых, все они вполне по силам любому, самому заурядному человеку, и объединяются принципом «после».

— «После»?

— Да. Сначала должно произойти некое событие, после которого переход к новой жизни значительно облегчается. Итак, первый способ: начать новую жизнь после выпивки, в состоянии глубокого похмелья. Дикая боль в висках, безобразие в желудке и сердечная аритмия приводят человека к убеждению, что вся прожитая до этого утра

жизнь прошла бездарно, в пошлой суете, в мелких, не достойных его высокого предназначения делишках. Возникает мощный обновляющий стимул. Знаю людей, у которых после похмелья возникает настоящий трудовой запой, а также страшная тяга к чтению высокохудожественных книг и к посещению театральных спектаклей преимущественно из классики. Хороший, надежный способ. Единственное условие: накануне нужно не просто выпить, а надраться до скотского состояния.

— Увы, — признался я, — мне это не по зубам. При всем желании я не могу выпить слишком много: после трех рюмок у меня начинают слипаться глаза, я рано ложусь спать и утром не чувствую ни малейшего недомогания.

— Тогда этот способ, к сожалению, не для тебя, — согласился Опрокиднев. — Рассказываю второй. Заключается он в том, чтобы чудом выкарабкаться с того света после смертельной болезни. После нескольких дней, а лучше недель бреда, горячки, неузнавания близких людей, рыдающих у твоей постели, после бесконечно разнообразных болей, пронизывающих организм там и сям, после того, как тебя вывезли на каталке в коридор и прикрыли простыней, дабы не огорчать зрелищем твоего умирания остальных, временно выздоравливающих пациентов, после того, как ты побывал в узком и мрачном тоннеле, явно ведущем в преисподнюю... Вдруг однажды очнуться, проснуться и ощутить себя слабым, но лишенным боли и дышащим без помех чудесным воздухом Земли, в котором все еще есть какая-то толика животворного кислорода! Человек, поглядевший в лицо смерти, совершенно по-другому смотрит на вернувшуюся к нему жизнь, он ощущает ее как дар божий, которым следует распорядиться с максимальным уважением к себе. Великолепный способ начать новую, единственно достойную человеческого предназначения жизнь!

— Мне очень жаль, но и этот способ не для меня, — вынужден был признаться я. — Не скажу, что здоров, как бык, но ничего серьезного медициной пока что не обнаружено. Конечно, если это нужно для новой жизни, я могу заболеть. Допустим, простудиться.

— Нет, этого, разумеется, мало. Нужна по-настоящему опасная болезнь.

— Где же я ее возьму?

— Что ж, — после некоторого размышления заметил Опрокиднев, — смертельную болезнь можно заменить. Подвигом.

— Подвигом?

— Да, подвигом, исполненным смертельного риска. Спаси тонущего в ледяной воде ребенка. Вытащи старушку из-под колес бешено мчащегося самосвала. И, если только останешься жив, ручаюсь: пос-

ле двухстороннего воспаления легких, схваченного в ледяной купели, или после полугодового срастания переломанных самосвалом костей — ты неизбежно начнешь новую жизнь. Не хочу пугать, но, возможно, это будет жизнь пенсионера по инвалидности.

— Хорошенькие перспективы, — испугался я. — И потом, это дело случая. Может быть, пройдут годы, пока подвернется подходящий случай кого-нибудь спасти.

— Не знаю, не знаю, — холодно отреагировал Опрокиднев. — По моим наблюдениям, в стране до черта холодных рек и неосторожных ребятишек, а улицы наших городов кишат подслеповатыми старушками и автомобилями с подвыпившими водителями за рулем. Скажи прямо, что к смертельному подвигу ты не готов.

— Не готов...

— Тогда остается последний способ. Самый, пожалуй, простой и самый надежный: развод. Начинать новую жизнь после развода — что может быть проще, логичнее, осуществимей? Колоссальное чувство освобождения от тягостной зависимости! Рвется паутина мелких ежедневных придирок, лопаются с веселым звоном и опадают цепи, оковы, кандалы семейного устава. Свобода! Ты вновь, как в юности, один, одинок и независим, не должен ничего и никому. Становятся реальными самые дерзкие планы — например, не заправлять по утрам постель. А с другой стороны, начни делать по утрам гантельную гимнастику — кто прервет тебя грубым требованием прекратить этот кошмарный грохот?

Ты можешь начать учить иностранный язык во сне — никто не возразит против магнитофона, всю ночь журчащего под подушкой.

Можешь изменить весь облик квартиры, передвинуть мебель или вообще купить новую — кто тебе указ?

Можешь держать квартиру в чистоте и сверкании, а хочешь — месяцами не подметай, не протирай и не мой, никто не заставит. Некому!

Можешь приводить домой кого угодно, лиц любого пола, возраста, национальности, идейных воззрений и моральных установок.

Можешь играть в шахматы и в карты, приносить и распивать спиртные напитки, петь соло и в хоре, включать одновременно все имеющиеся в помещении электробытовые приборы, можешь рисовать на стенах и плевать в потолок — никто не запретит!

Как переберешь все эти и многие другие возможности — так, пожалуй, нет лучшего способа начать новую жизнь. Изумительный способ! Единственное неудобство: прежде, чем развестись, надо жениться.

— Это обязательно?

— К сожалению, да. Понимаешь, если сначала не жениться, потом уже никогда не сможешь развестись.

— Но я не женат и пока что не собираюсь...

— Трудный случай, — огорчился Опрокиднев. — Я предложил тебе на выбор три самых надежных способа, и все они не для тебя. Может быть, тебе спросить совета у кого-то более сведущего?

— Нет-нет, Опрокиднев, я убедился в твоей исчерпывающей эрудиции в рассматриваемом вопросе. В том, что твои прекрасные способы мне не годятся, виноват я сам. Но не мог бы ты помочь мне определить такой день, когда новую жизнь может начать заурядный человек, не способный ни напиться до посинения кишок, ни заболеть тяжелой болезнью, ни совершить рискованный подвиг, ни даже зарегистрировать брак?

— Такой день есть, — подумав, сказал Опрокиднев. — Это должен быть такой день, когда у тебя нет билетов ни в театр, ни в кино, а в телевизионной программе нет ничего интересного. Когда ты не идешь в гости и не ждешь гостей. Когда не с кем перемолвиться словом или хотя бы сыграть в шашки. Более того, не с кем даже сыграть в домино. И даже в лото. И даже опрокинуть по рюмке. И не с кем, и нечего: вина в доме нет, нет также денег для его приобретения. Хорошо бы еще, чтобы в этот день авария отключила электричество в твоём доме, чтобы не было возможности послушать радио, поставить пластинку, прочитать книгу, газету или журнал, даже если они имеются в доме. И, разумеется, должен испортиться телефон.

Вот в такой день, когда делать решительно и абсолютно нечего, не остается ничего другого, как начать новую жизнь.

— Превосходно! — обрадовался я. — Такие дни случаются у меня довольно часто. Не так уж редко отключают у нас и электричество, ибо на подстанции надо менять кабель, а по фундаментам в этом году кабеля нет и не будет. Что касается испорченного телефона — тут дело обстоит еще лучше, гораздо лучше: телефона у меня вообще нет. Спасибо, Опрокиднев! Теперь я уверен, что в ближайшие дни найду возможность начать новую жизнь!

— Только не подумай, что эту проблему можно решить раз и навсегда, — предупредил Опрокиднев.

— А это еще почему? — испугался я.

— Потому что любая новая жизнь... — Он помолчал, видимо, не желая расстраивать меня заранее. — М-да... — Наконец он решился.

— То, что я тебе сейчас скажу, прозвучит жестоко. Но скрывать не имею права, ты должен знать, на что идешь: любая новая жизнь по прошествии некоторого времени становится старой...

НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Однажды Опрокиднєв ехал в трамвае. Он оказался одним из победителей в борьбе за сидячие места и занял кресло в середине вагона с прекрасным обзором через широкое, чисто протертое стекло. Сиденье было довольно мягким, за стеклом проплывал залитый солнцем город, но Опрокиднєву было мало этого покойного умиротворенного состояния. Как это у него было непреложно принято в детстве, в каждую свободную минуту он о чем-нибудь глубоко и напряженно размышлял. Предмет для размышлений он любил брать из конкретной, сложившейся вокруг него обстановки. Какова же была обстановка на данный момент? Обстановка была такова, что Опрокиднєв, пользуясь природной сметкой и физической силой молодости, отвоевал себе удобное место и оттого чувствовал себя счастливым человеком. Сейчас, в эти минуты, я счастлив, размышлял он, а каков я в более протяженном времени моей жизни? Давайте разберемся. Работа. На работе меня уважают. Когда нужно прибегнуть к сложным расчетам, всегда просят меня. Никто другой не умеет перемножить восемнадцать на девятнадцать таким образом, чтобы результат не превысил трехсот тридцати трех, а порою от этого зависит успешная сдача заказчику целого проекта. Да, на работе меня ценят. А в личной жизни? И в ней все очень славно. Я молод и красив. Да, я красив не той стандартной красотой, каковая с помощью рекламы преподносится нам как международный эталон, но той, которая реально волнует женщин самого разного возраста, типа и интеллектуального уровня — от постоянно уходящей на пенсию незабвенной Клементины Стоппер, с ее доскональным знанием старинной французской литературы и с ее натуральными локонами из японского нейлона, и до столовской буфетчицы Зинаиды, чью чудовищную грудь разрывают первобытные желания. Стоит ли перечислять остальных, если даже Шараруева влюблена в меня? Даже непревзойденная Шараруева, чьи ноги, столь удачно обтянутые мягким английским сапогом, приковывает взгляд столь же прочно, как каторжника к галерной скамье. Во всем отделе нет мужчины, который мог бы разговаривать с Шараруевой без дрожи в голосе. Лишь мой баритон неизменно тверд и внятен, когда он смело рокошет над изящным завитком ее левого уха. Шараруева определенно влюблена в меня, и разве это не счастье?

Итак, счастлив в труде, счастлив в личной жизни. А если вспомнить, сколько раз я избег опасности, сколько раз рисковал жизнью? Я остался живым на дуэли, прыгал в горный водопад и не разбился об острые скалы, я без всякой подготовки ринулся в пучину конкурса красоты и занял там призовое место! Более того, я остался живым

после жесточайшей схватки с крокодилами — боже, как сейчас вижу эти оскаленные пасти и стройные ряды зубов, живо напоминающих остро заточенные напильники! Злые чары превратили меня в троллейбус, а затем в стрелковый тир, но, и неоднократно расстрелянный, я не погиб, а лишь утвердился в своем моральном превосходстве и приблизился к вечности...

«Я счастливый человек!» — мысленно подвел итог своим размышлениям Опрокиднев и удовлетворенно огляделся по сторонам. И тут он увидел, что рядом с его креслом стоит старичок.

Тщедушный старичок в обтерханном пальто, сморщенный, лысоватый. Придавленный более мощными пассажирами, он жалобно сопел и цеплялся скрюченными пальцами за скользкий от пота никелированный поручень.

«Ай-яй-яй, — подумал Опрокиднев. — Нехорошо. Я сижу, он стоит. А ведь я и так счастлив. Ему же, возможно, до полного счастья не хватает только присесть».

— Садитесь, пожалуйста, уважаемый гражданин пожилого возраста, — радушно предложил Опрокиднев. — Вы прожили нелегкую жизнь, читаемую на вашем изможденном лице. Вы вполне заслужили свое маленькое счастье. Садитесь.

Он уступил старичку место, и тот с наслаждением, перемешанным с робостью, съезжился в кресле и прикрыл глаза.

Опрокиднев же скромно взялся за поручень и поехал дальше.

Я счастливый человек, думал он. Очень счастливый... Вот только не люблю, когда меня толкают в трамвае. Не люблю, когда рядом попадается пассажир, согнувший руку в локте, а такой попадается с какой-то фатальной закономерностью. Не люблю, когда водитель вот так неожиданно тормозит, и вся пассажирская масса не находит иного направления качнуться своей почти жидкой тяжестью, как в сторону моей спины. В такую минуту, когда толпа мнет и жмет тебя с полным безразличием к твоей анатомии и вообще личности, кажется немного странным, что тебя уважают на работе. Что тебя там ценят как матерого расчетчика. Странно же ценит меня мой начальник Эдуард Фомич Буровин. Да, я молод, но уж не мальчик. Сколько можно держать меня на уровне старшего техника? На скромной зарплате, которая не позволяет даже мечтать о покупке автомобиля в ближайшие сто семьдесят пять лет, и, стало быть, проживи я хоть дважды и трижды столько — я все буду ездить в переполненных трамваях, с чьим-то локтем, вонзившимся в мои совсем не для этого предназначенные ребра; с чьим-то дыханьем, несущим в себе вчерашний портвейн, закушенный маринованным чесноком, и сегодняшнюю похмельную стопку, без всякой закуски отправленную в опустев-

ший за ночь и мечтавший о яичке всмятку желудок; с чьим-то надсадным кашлем, разрывающим его прокуренные легкие и мою чистую, как слеза невинной девушки, душу... Не может быть счастлив человек, едущий в переполненном трамвае, в пошлой атмосфере взаимной грубости и агрессии. Какой я счастливый человек? Я неудачник, типичный неудачник во всем, даже в мелочах. Столько людей сидит в этом вагоне, блаженствует на мягких сиденьях, бездумно глядя на проплывающие за стеклом здания, залитые мягким солнечным светом, меж тем я стою, пронзенный локтем и сдавленный равнодушной толпой. С какой стати?

— Я передумал уступать вам место, — сухо сообщил Опрокиднев задремавшему старичку. — Будьте любезны.

Старичок открыл глаза, встретил неприязненный взгляд Опрокиднева и испуганно поднялся.

Опрокиднев опустил на сиденье. Спина приятно расслабилась. Ноги вытянулись, проникли в стесненное пространство под впереди расположенным сиденьем и после некоторых перемещений нашли удобную позицию.

«Пусть меня даже не слишком ценят как труженика и расчетчика паропроводов высокого давления, — подумал Опрокиднев. — Какой это пустяк в сравнении с моим успехом у женщин. Меня любит Шараруева, и одного этого достаточно, чтобы все-таки чувствовать себя счастливым. Я счастливый человек, и хватит колебаться, решая эту сложную нравственно-финансовую проблему», — решил он и тут заметил, что к его сиденью притиснут жалкий старичок. Старичок сопел, как обиженный ребенок, на лысине его светились бисерки пота. Он вцепился в поручень, как в последнюю надежду утопающего в житейском море.

— Садитесь, — радушно предложил Опрокиднев.

Старичок осторожно посмотрел на Опрокиднева и помедлил.

— Садитесь, садитесь, я передумал.

Старичок робко примостился на краешке сиденья, готовый немедленно подняться вновь.

— Расслабьтесь, уважаемый гражданин пожилого возраста, проживший нелегкую и, хочется верить, честную трудовую жизнь, — посоветовал ему Опрокиднев. — Расслабьтесь, расположите свои уставшие члены по-хозяйски. Отныне это ваше сиденье. Я передумал и передумал навсегда.

— Мне не надо навсегда, — тихо ответил старичок. — Мне бы до вокзала доехать.

Опрокиднев хотел было заверить старичка, что он не только непременно доберется до вокзала, но и хорошо отдохнет за это время;

он собирался также пожелать старичку счастливого путешествия по стальным магистралям нашей необъятной страны, как вдруг мимо него протиснулся одетый в штормовку мужчина, вслед за которым по вагону следовал его рюкзак, набитый чем-то остроугольным. Это нечто больно садануло Опрокиднева между лопатками.

Странные вещи возят в рюкзаках некоторые товарищи, подумал Опрокиднєв. Вещи, несомненно, нужные их хозяевам, но столь же несомненно причиняющие боль окружающим пассажирам. Эту боль трудно перенести даже столь счастливому человеку, как я, которого безумно любит Шараруева. Странной, впрочем, любовью любит меня эта женщина, подумал Опрокиднєв. Ее любовь, да не покажется натянутым это сравнение, невольно напоминает ударивший меня меж лопатками рюкзак. В ее чувстве, внешне облаченном в спокойные формы ласкового общения, таится нечто колющее, нечто режущее вдоль и поперек по моему бедному сердцу. Ее чувство ко мне отчего-то ограничено рабочим временем, и подчас мне неизвестно, где и с кем она проводит не столь уж краткие часы своего досуга. И такие отношения я называю счастьем? Только неудачник в работе не может осознать, что он неудачник и в любви. Неудачник в труде, в любви и даже в такой ерунде, как поездка в трамвае, где столько счастливчиков сидят, а он стоит.

Опрокиднєв сурово посмотрел на старичка, тот же, как стало ясно, и сам непрерывно следил за настроением молодого человека. Слов не понадобилось — старичок понял смысл взгляда и поспешно освободил сиденье.

Опрокиднєв сел и через некоторое время пришел к выводу, что его пессимизм не очень оправдан. Пусть его не слишком ценит Эдуард Фомич Буровин, пусть Шараруева затягивает переход от платонических воркований к решительному освобождению своих строительных лодыжек от английских сапог, но ведь он многожды рисковал жизнью и не погиб, а запросто мог бы. Ну, если он и не полностью счастливый человек, то определенно везунчик. Ему везет везде и всюду, да хоть и сейчас, в битком набитом трамвае, где он ухитрился сесть на удобное сиденье, меж тем как рядом мотается на полусогнутых несчастный старичок.

Опрокиднєв снова пустил старичка на сиденье — для чего, впрочем, его пришлось долго уговаривать.

Правильно ли я понимаю везенье, задумался Опрокиднєв, из последних сил сдерживая вес пассажирской массы, навалившейся на его спину при повороте. Что толку радоваться, что я остался жив на дуэли, если она фактически не состоялась? Как можно считать успешным выступление в конкурсе красоты, если я с треском проиг-

рал борьбу за первое место? И стоит ли гордиться схваткой с крокодилами и мужеством, с которым я принимал удары пуль в мое ржавое металлическое тело бывшего троллейбуса, если — не будем этого скрывать хотя бы в интимной беседе с самим собой — если и то, и другое мне просто приснилось? Единственное везение — благополучный прыжок в горное озеро, и он был наяву, но снится мне как непреходящий ужас. И все это вместе взятое я называю сплошным везеньем?!

Под вновь похолодевшим опрокидневским взглядом старичок высочил из кресла, как подбитый освобожденной пружинной.

Опрокиднев сел и расслабился. Через два перегона он опять передумал. Старичок не хотел садиться ни в какую. Пришлось употребить грубую физическую силу.

Вдавленный в сиденье старичок немного потрепыхался и затих. Тихо было и во всем вагоне, если не считать чьей-то перебранки у выходных дверей, чьего-то надсадного кашля и легкого поскрипывания, с каким в межреберный участок опрокидневского организма медленно и неотвратно внедрялся угол чьего-то чемодана.

После недолгого забытья старичок приоткрыл глаза и вопросительно посмотрел на Опрокиднева.

— Молодой человек... — нерешительно произнес он. — Я вот думал подремать... Но любопытство разбирает. Чего это вы меня все время то усаживаете, то выпроваживаете?

— Вы хотите узнать причину ваших бесконечных перемещений? Они вызваны моими напряженными размышлениями о сути человеческого счастья, — четко ответил Опрокиднев. — И прошу вас, встаньте. Я передумал.

ЯПОНСКИЙ ОБЫЧАЙ

Первый в истории буровинского отдела безалкогольный новогодний вечер разворачивался со скрипом. Ни настоящий индийский чай, неведомым путем добытый Аабаевым, ни чудесные торты, испеченные Шараруевой, Марианной Власьевной и другими женщинами, ни безградусный игристый напиток, привезенный лично товарищем Джазовадзе из поездки на его историческую родину — ничто не помогало созданию привычной по прежним праздникам атмосферы. Увы, увы. Неискренние мужские похвалы качеству чая и вкусу выпечки быстро иссякли. Лишенные возможности поднимать тосты, участники новогоднего чаепития никак не могли найти своим мыслям какое-то иное словесное облачение.

— Буквально одного-двух рогов кахетинского не хватает для эмоционального подъема, — заметил Джазовадзе. — Нет, я не подвергаю сомнению справедливый и долгожданный Указ родного правительства, но сухой закон — это не закон гор.

— И не закон степей, — подхватил Аабаев. — Буквально одной-двух рюмок бальзама не хватает, чтобы вылечить наш заскучавший коллектив.

— Не умеем веселиться без вина, братцы, — вздохнул сам начальник отдела Буровин. — Но надо учиться. Надо овладевать. Марианна Власьевна, плесните горяченького, черт бы его задрал...

Но была и еще одна причина скуки и вялости: отсутствие Опрокиднева. Особенно оно огорчало женщин.

К концу трудового дня он, как громом, поразил всех, сказав, что не может остаться на чаепитие, так как идет в библиотеку. Конечно, в отделе давно привыкли к причудливому многообразию его интересов. Но библиотека в канун Нового года — это было чересчур даже для Опрокиднева. Женщины усмотрели в этом протест одного плана, а мужчины — другого.

— Не финти, Опрокидnev, — сказала Марианна Власьевна. — Ты поперся в «Монтажсистематику». Неужели тебе мало нас, любящих тебя женщин твоего родного отдела? Чем тебе привлекли тамошние мымры?

— Опрокидnev, все мы знаем, что нас ждет за столом, лишенным вина, — сказал Аабаев. — И тебя можно понять. Но ты бросаешь друзей в беде. Это не по-мужски, Опрокидnev, — так говорю тебе не я, так говорит тебе закон моих родных степей.

— То же самое подтвердит тебе и закон моих гор, — сказал Джазовадзе. — Провести вечерок с друзьями за одним-двумя рогами кахетинского не составляет труда. Но попробуй продержаться с ними за тремя-четырьмя чашками чаю. Тогда докажешь, что друг.

— Опрокидnev, — сказала Шараруева, — если ты уйдешь, это уж будет такая собачья скука, что мы все перелаемся, а лично я непременно кого-нибудь укушу. Останься!

Но Опрокидnev грубо проигнорировал просьбы друзей и подруг. Он ушел в библиотеку. Уходя, он сказал:

— Заверяю вас, друзья, что я вернусь, но не раньше, чем это понадобится. Меня не будет во время кратких, в полчасика, мемуаров товарища Буровина о перевыполнении заниженных планов в период застоя. Не будет меня и в те кошмарные сорок, от силы пятьдесят минут, в течение которых Марианна Власьевна займет вас своим очередным сообщением о необыкновенном уме своего годовалого внука. Без меня прозвучат осточертевшие легенды гор и степей, сочинен-

ные товарищами Джазовадзе и Аабаевым для придания их заурядным биографиям элементов экзотики, якобы благотворно действующих на женщин. И вот, когда будут использованы все имитации непринужденного общения в тревожном окружении калорийных тортов и чрезвычайно полезных соков, когда ваш уважаемый мною словарный запас трагически замкнется на междометиях и, более того, возникнут признаки перехода на язык глухонемых, когда ваша тоска достигнет той степени зеленого оттенка, которой прославлена в веках картина прогрессивного, но далекого от политических движений своего времени художника Куинджи «Березовая роща», когда все вы станете роковым образом напоминать Курсовкина, одного из самых грустных людей в истории человечества, идущего в этом виде спорта третьим призером после лорда Байрона и Михаила Зощенко, а сам Курсовкин погрузится в пучину печалей, древность которой неизмерима существующими ныне приборами... Вот тут и возникну я! Возникну и спасу вас, мои дорогие современники, ибо в библиотеке я надеюсь почерпнуть что-нибудь жутко веселенькое из вечного источника человеческой мудрости. До встречи на далеком меридиане, друзья!

Так он сказал и ушел. Его речь была выслушана с интересом, но не развеяла подозрений в тайных намерениях оратора загулять на стороне. Раздались возгласы, свидетельствующие о том, что и кое-кто еще не прочь податься в иные круги и квадраты, куда не успела ступить суровая нога сухого закона. Однако товарищ Буровин напомнил, что отделу предоставлено почетное право быть застрельщиком в проведении мероприятий нового типа, и добавил, что, как ему конфиденциально сообщили, информация о их безалкогольном вечере уже написана и появится в завтрашнем номере городской газеты. Поэтому уйти могут только те, кто не беспокоится за свое политическое лицо.

— Но почему вы не сказали об этом Опрокидневу? — возмутилась Шараруева. — Почему вы не удержали его?

— Виноват, — согласился Буровин. — Я дурею от его речей. Слушая его безумные речи, я забываю о текущем моменте и задачах дня. Сделаем для него исключение. Будем считать, что он действительно ушел в библиотеку. Предположим, что он там работает с первоисточниками. Это тоже хороший вариант сохранить политическое лицо. А теперь попрошу женщин накрыть стол!

Как всегда, Опрокиднев предвидел развитие событий с точностью опытного международного обозревателя. Высший миг зеленой тоски наступил, и Шараруева грубым мужским движением размяла папиросу, Аабаев завел песню степей, живо напоминающую завывание койота, только что узнавшего о своем занесении в Красную книгу, Джа-

зовадзе выстукивал вилкой по блюдцу ритм временного отступления горцев для перегруппировки сил, Промедолов вырезал на пироге с вареньем число пи и уже дошел до девятого знака после запятой, Марианна Власьевна оцепенело наблюдала, как через край чашки переливается кипяток, а Буровин, которому предназначалась эта — седьмая для него — чашка, глядел на нее, как Моцарт, знающий, кто и что ему наливает. О Курсовкине трудно было сказать что-нибудь конкретное, ибо над ним, в полном согласии с пророчеством Опрокиднева, сомкнулись темные воды библейских печалей.

И тут вбежал Опрокиднев.

Радостные восклицания наполнили комнату.

— Не верю в искренность ваших приветствий, — сердито заявил Опрокиднев. — Даже Шараруева сомневалась, что я вернусь. И это после всего, что у нас с ней так и не произошло, несмотря на горячее желание всего коллектива. Но ближе к делу. Позвольте сказать вслух то, что рвется из ваших грудей, друзья! — закричал он, обегая стол и брезгливо обнюхивая торты и пирожные. — Гласность благоприятствует самым острым формулировкам. Выражу общее мнение: эх!!! Не по-русски сидим, ребята!

— Факт, не по-русски! — подхватила Шараруева и смяла беломошину в блюдечке с недоеденным эклером.

— Только без шовинизма, Опрокиднев, — предупредил Буровин. — У нас многонациональный коллектив.

— Ни в коем случае, — заверил Опрокиднев. — Никогда я не был проводником чужих идей. И не только тех, что произрастают на нашей величавой территории, но и тех, что зловеще цветут за ее пределами. Разве я когда-нибудь использовал в своих проектах зарубежный опыт? Разве мне известен хоть один иностранный язык? Но будем диалектичны, друзья. Если мы сидим не по-русски, то покаковски мы сидим? И не пора ли пересмотреть мое ретроградное отношение к передовому опыту других стран?

— Короче! — взмолился Буровин. — К чему ты клонишь?

— К тому, что если уж мы сидим не по-русски, то почему бы нам не посидеть по-итальянски, по-кубински или, чем черт не шутит, по-филиппински?

Участники чаепития заметно оживились.

— Интересная мысль, — сказал Джазовадзе. — А как это — по-филиппински?

— Тебе не понравится, — коротко бросил Опрокиднев. — Не отвлекай. Друзья, в библиотеке я почерпнул необходимые сведения. Предлагаю варианты. Итальянцы в канун Нового года сжигают или выбрасывают всю старую мебель.

— Мебель у нас старая, — сказал Буровин, — но, извини, она у меня на подотчете.

— В Голландии в канун Нового года во всех портах гудят суда.

— С нашим столом не загудишь, — сказал Аабаев. — С нашим столом волком завоешь.

— Любопытен Новый год по-болгарски: с двенадцатым ударом часов выключают свет, и все целуются в темноте.

— То, что надо! — воскликнула Шараруева. — А нельзя это устроить до двенадцати?

— Но самый интересный обычай, естественно, у японцев. Его-то я и предлагаю уважаемой публике. Итак. Многие японцы в новогодний вечер подвергают себя странной процедуре. В кругу сослуживцев каждый откровенно называет свои недостатки, от которых он хотел бы избавиться, чтобы вступить в Новый год морально обновленным. После этого он получает от коллег столько ударов, сколько недостатков его перечислил. По очереди бьют все. Считается, что таким образом недостаток из человека можно выбить раз и навсегда или хотя бы на ближайший год.

— Замечательный обычай! — сказал Джазовадзе. — Жаль, что его нет в законе гор.

— Его нет и в законе степей, — признался Аабаев. — А мог бы пригодиться.

— Интересно, куда бьют? По какому месту? — спросил Буровин.

— Ясно, по какому, — ответил ему Курсовкин. — По которому папа в детстве бил да не выбил.

— Это нелогично, — возразил Промедолов. — А для японцев характерна логика. Логично предположить, что бьют по тому месту, где располагается недостаток. Ведь что можно выбить, если отлупить ниже спины? Разве что усидчивость. Но это положительное качество.

— Ха! — развеселился Джазовадзе. — Выбьем усидчивость — повысим устойчивость. Сидеть будет трудно, зато стоять легко!

— А где что располагается? — спросила Шараруева. — Допустим, у меня такой недостаток — я немного кокетлива. По какому месту меня надо стукнуть?

Неловкую паузу прервал Опрокиднев.

— Из прочитанной мною литературы мне известно место, по которому бьют японцы, и я не скрою его от вас, когда дойдет до конкретного исполнения. Давайте ж с кого-то начнем. Давай с тебя, Шараруева, раз ты первой назвала свой недостаток.

— Я вовсе не считаю это своим недостатком. Я сказала: допустим. И вообще, пусть мужчины покажут пример.

— У меня есть один недостаток, — сказал Джазовадзе. — Но я не хочу, чтобы его выбили. Он мне нравится. Я к нему привык.

— У меня целых три недостатка, — сказал Аабаев. — Но меня нельзя бить. Я очень обидчивый — раз, немного мстительный — два, и три — очень горячий. Обязательно дам отпор. Нельзя превращать веселую новогоднюю затею в потасовку с вызовом милиции. Просто не имеет смысла.

— Мне предстоит оформляться в турпоездку, — сказал Промедолов. — И вдруг я сам назову свои отрицательные черты? Кто мне после этого подпишет характеристику?

Никто не заметил, как Курсовкин отсел в сторону, достал блокнот и погрузился в размышления. Между тем, с каждым новым высказыванием ряды возможных участников экзекуции по-японски редели и редели.

— А пусть покажет пример наш начальник! — предложила Марианна Власьевна.

— Разбежались, — угрюмо откликнулся Буровин. — Я вам, как дурак, расскажу о своих недостатках, а потом поедет телега наверх: посмотрите, кто нами руководит.

Курсовкин оторвался от блокнота и заметил:

— Как будто мы без вас не видим ваши недостатки. Другое дело, что мы их терпим.

— Вот именно! Потому что я в них не признаюсь. Давайте пофантазируем, как учит нас Опрокиднев. Допустим, вы считаете меня дураком. И приходите с этим мнением к руководству института. А они вам отвечают: ну, это еще надо доказать. И совсем другое дело, если вы им скажете: а он перед Новым годом лично просил выбить из него глупость японским способом. Что тогда останется руководству? Они мне скажут: извини, но если ты сам просишь у коллектива выбить из тебя глупость, значит, ты действительно дурак, и мы тебя снимаем. Логично?

— У всех все логично, — заметил Промедолов. — Никто не хочет последствий. Одного не пойму: почему японцы не боятся?

— Потому что у них это шутка, — объяснил Опрокиднев. — Они умеют расслабиться. А мы с вами... Посмотрите, какие у нас серьезные лица. Посмотрите, что творится с Курсовкиным.

Курсовкин, кусая ногти, лихорадочно черкал в блокноте. Он вздыхал и ерзал, как двоечник на экзамене.

— Ладно, — сказал Опрокиднев. — Я предложил, мне и начинать.

— Подожди! — перебил его Курсовкин с дрожью в голосе. Он провел в блокноте черту. — Все! Я согласен. Прошу выбить из меня мои недостатки. Вот по этому списку.

Раздались возгласы: «Вот это да! Кто бы мог подумать? Курсовкин! Гигант! Камикадзе!»

Все сгрудились вокруг Курсовкина. Опрокиднев взял блокнот и начал громко зачитывать список. Недоумение росло на лицах участников японской шутки от пункта к пункту.

Когда Опрокиднев закончил, общее удивление выразил Джазовадзе.

— Дорогой, — сказал он Курсовкину. — Ничего не понимаю. Какие же это недостатки? Это же все чудесные качества твоей личности, за которые мы тебя давно и от всей души любим!

— Что он пишет? Что он пишет?! — изумился Аабаев. — Посмотрите: «безотказность в работе». Безотказность из него надо выбить! С такой вещью расстанешься. С такой драгоценной чертой. Мне бы твою безотказность!

— Тебе бы мою безотказность — ты бы тоже мотался десять лет по самым дальним командировкам, куда остальные почему-то не ездят! — парировал Курсовкин с неслыханной для него злостью. — По сходным причинам прошу выбить из меня скромность и честность!

— В чем-то я тебя понимаю, — сказал Промедолов. — Но вот этот пункт. Зная тебя, трудно поверить глазам: «супружеская верность»! Опомнись, Курсовкин!

— Надоела мне эта верность! — вновь неузнаваемым тоном заявил Курсовкин. — Гадость какая-то.

— Допустим, это твое личное дело, — склонился над блокнотом Буровин, — но вот тут ты записал: «неумение давать взятки». Более того: «неверие в родной профком с его лозунгом...» Не разберу твоего почерка. Но и так ясно. Объясни, как понимать твое политическое лицо?

— Пожалуйста! — грозно ответил Курсовкин. — Объясню. Когда я прошу в профкоме путевку в нервный санаторий, они говорят мне: у нас нет путевок, потерпи, скоро мы начнем строительство собственного профилактория. Но я знаю, что у них есть путевки, но они дают их почему-то не самым нервным, как я, а самым спокойным. Тем, кто умеет зайти и спокойно предложить в обмен на путевку кое-что. Вот почему я и записал эти недостатки: неумение подмазать и неверие в родной профком с его лозунгом о возможности построения профилактория в одном, отдельно взятом институте.

— Ой, не нравятся мне твои шутки, Курсовкин, — сказала Марианна Власьевна. — Если что и выбивать из тебя, так это последний пункт. — И она прочитала: — «Все время о чем-то думаю и все время не о том, о чем надо».

— А по-моему, моя милая, — возразила Марье Власьевне Шараруева, — по-моему, этот пункт совсем не о том, о чем ты думаешь. По-моему, этот пункт связан с пунктом «супружеская верность». Я права, Курсовкин?

— Хватит! — закричал Опрокиднев во всю мощь своих незаурядных легких. — Прошу прекратить это неприкрытое издевательство! Единственный из нас откровенно распахнул свою душу. И он вправе ожидать, что мы выйдем из него любую обозначенную им дурь. Курсовкин, ты войдешь в новый год совсем другим человеком: самоуверенным, как Джазовадзе, сообразительным, как Аабаев, виртуозно увиливающим от ответственности, как Промедолов, нескромным, как Шараруева! Ты проникнешься беспредельной верой в профком и, подобно товарищу Буровину, больше никогда не станешь думать о том, о чем не надо! Приготовься, сейчас мы будем тебя бить.

— Спасибо! — обрадовался Курсовкин. Он составил стулья и лег на живот. — Но женщин попрошу выйти. Они могут вернуться после того, как из меня выбьют первый пункт списка: застенчивость.

— Ты решил, что мы спустим с тебя штаны? — спросил Опрокиднев. — Дурно же ты думаешь о японцах. Они бьют по вполне невинному участку нашего тела. По пяткам.

Услышав про пятки, Курсовкин еще больше смутился и даже покраснел.

— Тем более прошу женщин удалиться, — взволнованно произнес он. — Просто умоляю!

Разочарованные женщины нехотя вышли.

— Эх, черт! — С внезапной досадой воскликнул Опрокиднев. — Совсем упустил из виду.. Все отменяется, ребята: нам нечем бить.

— Как нечем? — почти хором спросили остальные мужчины.

— А вот так. Японцы бьют только бамбуковой палкой. Любые другие предметы, как бы ни были удачно приспособлены для нанесения побоев, не имеют, по мнению японцев, подлинно целебной силы.

— Когда-то у меня были бамбуковые палки, — вспомнил Промедолов. — Лыжные. В детстве.

— Под Батуми растет бамбук, — вспомнил Джазовадзе. — Но, мне кажется, мы не в Батуми.

— В степях камыш растет, — вспомнил Аабаев. — Вокруг озер. В сущности — тот же бамбук. Но где мы и где степи?

— Что же получается? — спросил Курсовкин. — Значит, я и в следующем году останусь застенчивым и безотказным? И по-прежнему буду верен супруге? И не прекратятся проклятые размышления о том, о чем нет никакого смысла размышлять?

— Извини, Курсовкин, — низко поклонился ему Опрокиднев. — Но не отчаивайся. Бог с ними, с японцами. Я подумаю. Может быть, я найду отечественный способ.

— Очень прошу тебя, найди! — взмолился Курсовкин. — Сил больше нет жить таким негодяем!

— Ну, успокойся. Скажи-ка нам лучше: отчего ты выгнал женщин? Ты постеснялся обнажить при них пятки — там что, неприличная татуировка?

— Я не стесняюсь своих пяток, — ответил Курсовкин. — У меня хорошие пятки. Я стесняюсь своих носков. Я вспомнил, что на левом у меня дыра. Ну, скажите, разве есть смысл сохранять верность такой супруге, которая забывает вовремя штопать мужу носки?

— А если по-другому поставить вопрос? — предложил Аабаев. — Мне тоже знакома эта проблема. И я спрашиваю: что это у нас за носки такие? Почему быстро рвутся?

Вдруг Курсовкин улыбнулся. Он улыбнулся и хихикнул. Он хихикнул и засмеялся. Как на безумного глядели на него мужчины. Редко кто видел смеющегося Курсовкина. Даже Опрокиднев с его феноменальной памятью с трудом вспомнил, что последний раз видел смеющегося Курсовкина неделю назад, когда в конце рабочего дня погас свет и в создавшейся шаловливой обстановке Шараруева, вздумав пощекотать Опрокиднева, перепутала его с Курсовкиным в темноте. Строго говоря, он тогда не видел смеющегося Курсовкина, а только слышал.

— Я вспомнил, что это за носки! — сообщил, отсмеявшись, Курсовкин. — Я купил их в командировке в Хабаровском крае. Это... это... японские носки!

— Так-то! — удовлетворенно сказал Буровин. — А ты, Опрокиднев, говоришь, для японцев это шутка. Нет, брат, есть и у них недостатки. Вот пусть и выбьют из себя халтурное отношение к качеству чулочно-носочных изделий, идущих на экспорт. А мы со своими недостатками как-нибудь справимся без бамбука. Марианна Власьева, плесните горяченького, черт бы его задрал... Где она?

Но тут внезапно погас свет, и в помещение с задорными криками ворвались изгнанные женщины. Впереди бежала Шараруева.

— Приветствуем обновленного Курсовкина! — кричала она. — А теперь — Новый год по-болгарски!

Растолкав всех мужчин, она приблизилась к Курсовкину и крепко схватила его за плечи.

— Шараруева... — пролепетал Курсовкин. — Ты опять перепутала меня с Опрокидневым...

— На этот раз — нет! Я хочу первой почувствовать, как меняется мужчина, из которого выбили супружескую верность!

И она вlepилa ему в губы горячий пpаздничный поцелуй.

Между тем, Опрокиднев подозвал Аабаева и что-то сказал ему. Аабаев радостно всплеснул руками и выбежал в коридор. Он щелкнул выключателем на стене, и в помещении снова вспыхнул свет, извещая об окончании новогодней болгарской процедуры. Затем он заглянул в укромный угол за дверью и извлек портфель с крепкими напитками, перелитыми по русскому обычаю в бутылки из-под минеральной воды.

КОМУ ЧТО СНИТСЯ

Если этот рассказ представить себе как магнитное поле, обладающее некой притягательностью для читателя, то следует признать, что силовые линии этого поля не побуждают сюжетный стержень рассказа к особенно активному движению — как этого можно было бы ожидать от взаимодействия поля и проводника в согласии с любопытными законами электричества и магнетизма.

Как сказал бы Опрокиднев: «Не все, что мы суем в магнитные поля, начнет со страшным стоном там вращаться».

В том смысле, что трезвое представление о реальных возможностях должно пронизывать нашу жизнь.

Это лирический предновогодний рассказ, и закончится он славно и мирно, в духе рождественских сказок, разнообразностью которых он, по скромному мнению автора, и является.

1

В один из последних декабрьских дней, около четырех часов вечера, когда весь отдел напряженно трудился над завершением годовой программы, Опрокиднев стоял у окна.

Окно выходило на тихую в это время улицу, отделенную тополями от просторного сквера. Неизвестно откуда валились толстые снега. Единственный прохожий брел со столбиками снега на плечах и на шапке, и такими же сооружениями был украшен памятник, мимо которого он шел.

Ноги прохожего, обутые в тяжелые боты с острым рантом, оставляли глубокие зияющие следы. Тротуар, еще недавно расчищенный дворницкой лопатой и скребком, утопал в обильных снегах декабря, в них медленно тонул и весь город, как Атлантида, уходя под гребни волн и посылая вершинами тополей последнее прощание соседним материкам.

Между тем, природа вступала в одно из тех своих странных и замечательных этой странностью мгновений, за которыми так любят охотиться живописцы: ранние сумерки тончайшим сиреневым оттенком пронизывали свежее пространство зимы.

Фонари еще не были включены, но уже освещались окна в зданиях, окружавших сквер, и в здании «Электропара» тоже засветились лампы, отчего на ближний тротуар упали бледно-розовые блики. В здании напротив, на первом этаже, включили свет в молочном магазине, и вид помещения, залитого изнутри сильным белым сиянием, с желтыми шарами сыров в витрине, с коричневыми и оранжевыми плитками пола, с пестрыми плакатиками на стенах, был необыкновенно уютен.

Там и сям загорались огни; засветилась белая стеклянная коробка с черными буквами: «Переход», вспыхнуло голубоватое «Молоко», специальный прожектор подсветил сложную конфигурацию памятника, выполненного в условной манере, и на гранитных изломах заискрились зерна снега; за тополями сквера, на крыше дальнего здания, возникла огненная строка противопожарной рекламы.

Сумерки в любой день повергают человека в особое состояние неясной тревоги, что же говорить о тихом декабрьском вечере, грустно замыкающем вереницу дней, имя которым год?

Опрокиднел вздохнул и, оставаясь душой и сердцем в грустном хороводе законного снегопада, мыслями вернулся к решению производственных задач. Вот уже половину дня он потратил на то, чтобы некий коэффициент, чрезвычайно важный в дальнейших расчетах, оказался равным единице. Для этого требовался суший пустяк: следовало разделить восемь на семь без какого-то ни было остатка.

В эту самую минуту, когда крупный математик нашего времени Опрокиднел студил воспаленный расчетами лоб о декабрьское стекло и растревлял душу зрелищем сумерек, в эту самую минуту к нему подошли небезызвестные товарищи Аабаев и Джазовадзе, возглавляемые широко известным общественным деятелем Курсовкиным.

— Может быть, тебе неизвестно, Опрокиднел, — сказал Курсовкин, — но в этом году в нашем отделе злостно сорван выпуск стенной газеты.

— Да черт с ней, — мрачно ответил Опрокиднел, не оборачиваясь.

— Тебе хорошо шутить, — обиделся Курсовкин, — а нам предложено выпустить новогодний номер стенгазеты. Может быть, тебе неизвестно, но Аабаев и Джазовадзе — члены редколлегии, а я — редактор.

— Чем могу быть полезен? — вяло спросил Опрокиднел.

Наконец зажглись уличные фонари, и снег летел теперь в зеленоватом ртутном свечении, а на близких от фонарей тополях обозначились переплетения веток. Улицу наискосок пересекала высокая девушка в черной шинели. Она шла той походкой, какой умеют ходить только высокие девушки в шинелях. Она медленно раскачивала сумку, украшенную нарезанными в лапшу ремнями. Восемь делилось на семь все с тем же небывалым успехом. Молодость прошла.

— За передовую мы не беспокоимся. Ее обеспечивает сам Эдуард Фомич. Дальше пойдут поздравления, они уже согласованы. Но, понимаешь, Опрокиднєв, нам сказали, в новогоднем номере обязательно нужен юмор. Ну, мы придумали такой смешной юмор, такой раздел: «Кому что снится?».

— Оригинальная мысль, — одобрил, несколько оживляясь, Опрокиднєв.

— Ну, там, кому — премия, кому — квартира, — продолжал Курсовкин. — Шутки, в общем. И вот тут нам нужна твоя консультация, Опрокиднєв. Может быть, тебе неизвестно, но мы считаем тебя крупнейшим специалистом по юмору. Проверь, пожалуйста, нет ли в наших шутках нездоровых намеков или, не дай бог, идеологических вывихов.

— Это можно, — уже довольно бодрым голосом ответил Опрокиднєв. — Намеки подлечим, вывихи вправим. Кстати, мне вы тоже придумали? Что мне снится?

— Тебе, Опрокиднєв, снится... снится, что ты... ты... женился!

Курсовкин сделал страшное лицо, а члены редколлегии захохотали.

— Что я... женился? — переспросил Опрокиднєв и впервые за все время разговора обернулся.

Голос его был столь грозен, что смех замер на устах членов редколлегии, и Курсовкин ответил вопросом на вопрос, еще нахально, но уже притормозив:

— А что, не смешно?

Опрокиднєв молчал. Пальцы его крутили туда-сюда граненый карандаш, локти тяжело опирались на высокий подоконник, глаза выражали подлинную скорбь и не были направлены на какой-либо определенный предмет, но, скорее, своим расслабленным взглядом обнимали пространство, значительно более обширное, нежели комната, занимаемая отделом; мозги его делили восемь на семь.

Страшен и печален был молчаливый Опрокиднєв.

— Не очень смешно получилось, — сказал Абаев и застенчиво выругался.

— Глупо и нетактично, — признал Джазовадзе.

— Извини, Опрокиднев, — сказал Курсовкин. — Когда мы придумали, нам почему-то казалось, что это очень смешно. Может быть, ты сам придумаешь себе смешной сон?

— Сны. Сны человечества... — вздохнул Опрокиднев. — Периферия сознания, шабаш инстинктов, дремота на оба глаза. Сказки народов Севера, морозным узором цветущие в таинственных дебрях подкорки. Сокровенное нутро духовной структуры. Милая, что тебе снится? — спросил Опрокиднев.

Никто не осмелился ответить на этот вопрос, хотя шутливый, насыщенный здоровым мужским юмором ответ подыскать было нетрудно. Редколлегия знала: из какого бы далека ни начинал Опрокиднев, он непременно закончит ясной конструктивной идеей. Однако перед обнародованием идеи он не может не произнести небольшой философский трактат, и перебивать Опрокиднева в эту минуту так же бесперспективно, как, например, останавливать милицейским жезлом водопад.

— Я хочу забыться и уснуть, — сказал Опрокиднев, — это моя интимная программа-минимум. Но не тем холодным сном могилы, каковым уснуло большинство. Да не парламентское большинство! — рассердился он на Курсовкина, видимо, усмотрев в его взгляде ненужное одобрение. — И откуда вам, советскому служащему, лезет в голову буржуазная терминология?!

Опрокиднев швырнул в Курсовкина карандаш, развернул плечи и уверенно вышел на декламацию:

— Считая с древнего Китая и Египта, в гробу лежат штук десять человечеств, и что им снится, большинству людей, пред коим мы — ничтожная когорта?

Будучи здоровым мужчиной и бодрым диалектиком, Опрокиднев, как известно, любил говорить о смерти и сопутствующих ей покойниках, и сиреневая мгла за окном, сгустившаяся до чернильной окраски, как нельзя более, соответствовала тематике доклада.

— Перейдем к поэзии фактов, — предложил Опрокиднев, причем, не ожидая реакции слушателей. — Кто вдаль ушел, у тех уже не спросишь... Но неужели никто никогда не узнает снов ныне уснувших среди нас людей, проще говоря, нас самих?! Так и уйдут, умотают в небытие их скромные ночные фантазии на тему труда и зарплаты, предрассветные видения нечаянных встреч с большим и светлым чувством, их фантазмагии, нелепые в каждом отдельном случае, но в сумме чрезвычайно ценные для характеристики нашей эпохи, эпохи массовой привязки одних строительных объектов к другим в сжатые сроки и без потерь на нулевом цикле.

Милая, кто тебе снится, спросят нашу эпоху потомки, а что мы

ответим, лежа в сосновых контейнерах на два, а то и на три метра ниже росистых трав и цветов родной земли? Как подводные лодки, собранные во флотилии стратегического назначения, молча поплывем мы под буйными волнами трав и малинников, через грунт по рубль двадцать за кубометр земляных работ, и через грунт по рубль семьдесят, и через грунт по два сорок, проще говоря, через песок, глину и камень, по застывшим струям юрских и пермских морей, вслед за флотилиями, ушедшими раньше нас, в прошлом году, в прошлом веке, во все прошлые времена... Вечный сон снизойдет к нашим уставшим в борьбе за квартальные показатели душам, и длиться он будет вечно, почему и назван таковым. Временные же наши сны, те незамысловатые разминки, тот простенький бредок, то учебное торжество подкормки, к которому мы прибегали по ночам — эти гимнастические упражнения мы оставим потомкам для их важных научных изысканий, на черт их знает какой предмет. Никаких выдумок! — рявкнул Опрокиднєв. — Никакого юмора! Кому что снится в действительности — это будет сенсация номера! Скальпелем социального анализа мы снимем покров тайны с коллективной ночи нашего отдела. Мы дадим разрез сновидений и выведем универсальную формулу мечты, и не кто иной, как ты, Курсовкин, заваривший всю эту кашу, будешь кушать ее из хрустальной миски с аметистовыми ручками, и не где-нибудь, а на собственном лауреатском банкете, и вряд ли тебе удастся зажать его, несмотря на известную скупость любимой мною твоей жены!

— Может быть, я ошибаюсь, но миски бывают не с ручками, — осторожно заметил Курсовкин, меж тем как Опрокиднєв приводил в порядок дыхательный аппарат, — они бывают без ручек. Значит, ты предлагаешь поместить в газете настоящие сны работников отдела?

— Да! — рявкнул Опрокиднєв, энергично вентилируя легкие. Грудь его под вязаным жилетом ходила ходуном.

— Я очень боюсь, что согласятся не все, — сказал Курсовкин. — Люди могут застесняться. Аабаев, что тебе снилось последней ночью?

— Мне? — Аабаев задумался и похлопал ладонью о ладонь, изображая замедленный аплодисмент. — Не скажу, — твердо заключил он. — Секрет.

— А тебе, Джазовадзе?

— А, — смутился Джазовадзе. — Так. Неудобно публиковать. Читатели могут понять превратно.

— Вот видишь, Опрокиднєв, — сказал Курсовкин. — И я очень боюсь, что, как это уже не раз бывало, здесь понадобится твой лич-

ный пример. А за тобой пойдет весь отдел, особенно женщины. Спаси нас, Опрокиднев!

— Сам погибай, а товарища выручай, — сказал Джазовадзе. — Так гласит закон гор.

— О том же говорит и закон степей, — сказал Аабаев.

И члены редколлегии умоляюще посмотрели на Опрокиднева.

— Хорошо, — сказал Опрокиднев. — Я покажу пример откровенности и первым сдам сон, как донор — первую кровь. Немало снов удалось повидать мне за свою недолгую жизнь, но некоторые из них исказят потомкам подлинный блеск нашей эпохи, иные, наоборот, излишне приукрасят ее. Позвольте мне выбрать небольшой портативный сон чисто бытового содержания, житейские подробности которого, возможно, заинтересуют ученых двадцать первого века. Снится мне, уважаемые товарищи, что иду я по коридору в отдел, а навстречу наш начальник Эдуард Фомич Буровин. Я ему и говорю: «Эдуард Фомич, вы мне должны пятьдесят рублей». А он отвечает: «Извини, Опрокиднев, совсем забыл». И тут же в коридоре протягивает мне деньги. Беру пять червонцев и просыпаюсь.

— Это все? — спросил Курсовкин.

— Минуточку, — Опрокиднев прикрыл глаза и сделал видимое усилие. — Вот еще что: червонцы были новенькие, только что из типографии. Они гремели, как стальные. Теперь все.

— Начальник отдела — это обязательно? — спросил Аабаев.

— Необязательно, — согласился Опрокиднев. — Пусть будет директор.

— Гм... — откашлялся Курсовкин. — Рядовой сотрудник никак не может быть?

— Рядовой не может никак, — строго отказался Опрокиднев.

— Почему?

— Не сюжет, — кратко ответил Опрокиднев.

— Слушай, — сказал Джазовадзе. — Пусть начальник. Пусть должен. Пусть даже тебе. Хотя, конечно, лучше, чтоб директору. Но пятьдесят рублей?! Извини, какая-то дикая сумма. Как он мог тебе столько задолжать?

— Допустим, проиграл в пульту, — сказал Опрокиднев.

— По сколько вы играли? — спросил Аабаев.

— По три копейки, — с достоинством ответил Опрокиднев.

— По три копейки пятьдесят рублей не проиграть, — убежденно сказал Аабаев. — Ты лжешь.

— Допустим, у него и так было плохо, да он еще залетел на мизере, — сказал Опрокиднев. — На семь взяток.

— Этого не может быть, — заволновался Курсовкин. — Такие мизера не играют. Только разве сумасшедшие.

— Расклад, — пожал плечами Опрокиднев.

— Расскажи, — потребовал Джазовадзе.

— Пожалуйста, — сказал Опрокиднев. — На первой руке сидел я, на второй — партнер, на третьей — Буровин. Ему пришла вся черва, кроме дамы, две семерки — бубна и трефа, и единственное, что может ловиться — восемь в пиках. Вы идете на мизер с такими картами? — холодно спросил он Курсовкина?

— На первой руке, — язвительно ответил Курсовкин.

— Трус в карты не играет, — сказал Аабаев. — Я бы пошел.

— Что было в прикупе?

— Две пики — дама и валет, — ответил Опрокиднев. — он их снес. А из остальной пики только одна отлегла к партнеру. Понятно?

— Ежу понятно, — свирепо сказал Аабаев. — Выбрали бубну, выбрали трефу, на даму червей снесли пику партнера, пошли с семерки пик — и ваших нет.

— Ца-ца-ца... — огорченно защелкал языком Джазовадзе.

— Бывают же расклады! Как во сне.

— Вот именно, — сказал Курсовкин. — Извини, Опрокиднев, нам надо посоветоваться.

Он отвел членов редколлегии в сторону, и, пока они шептались, Опрокиднев снова взялся за восемь и начал делить его на семь. Остаток не исчезал.

— Мы тут посоветовались, Опрокиднев, — сказал Курсовкин, — и нашли интересный вариант.

— Не сердись, — сказал Аабаев. — Но мы редколлегия, нам и отвечать. Тем более, мы все прикинули. Туз червей переходит от Эдурда Фомича к тебе, а к нему от тебя — восьмерка бубен. Десятка червей переходит от Буровина к партнеру, а десятка треф — от партнера к Буровину. Играете, как прежде: выбираете бубну, трефу, сносит пику и так далее. Но в результате он берет четыре взятки, а это никак не больше червонца.

— Нет, — твердо сказал Опрокиднев. — такой мизер я портить не дам. Это, может, самое дорогое воспоминание моей жизни. Вы бы дали?

Все промолчали.

— Ладно! — сказал Джазовадзе. — Возвращаем Буровину черву, сидит с пятью взятками, проигрывает пятнадцать рублей.

— Двадцать, — сказал Опрокиднев, — и это мое последнее слово. Ниже не торгуюсь.

— Хорошо, — сказал Курсовкин. — Двадцать так двадцать. Но не

в карты. Потомки могут подумать, что у нас начальники отделов были злостными картежниками. Тут я категорически против.

— Не в карты... А во что? — спросил Опрокиднев.

— Ни во что, — решил Курсовкин. — Вообще не в игру. Он их у тебя одолжил. Допустим, на сигареты.

— На сигареты столько не надо, — сказал Опрокиднев.

— Он на американские одолжил, — догадался Джазовадзе.

— На два блока «Филипп-Моррис», — уточнил Аабаев. — По спекулятивной цене как раз двадцать рублей.

— Сигареты — это неплохо, — сказал Курсовкин. — Но американские... у спекулянтов... Что скажут потомки?

— У меня есть предложение, — сказал Опрокиднев. — Дайте мне еще одну ночь. Всего одну. Может, приснится что-нибудь более подходящее как для наших уважаемых читателей, так и для требовательных потомков.

— Отлично! — обрадовался Курсовкин. — Но ты гарантируешь, что приснится? Учти, времени очень мало.

— Бессонницы бывают? — нежно спросил Джазовадзе. — Погуляй сегодня вечером на свежем воздухе и не кушай тяжелой пищи.

— О бабах сегодня не думай, — посоветовал Аабаев. — Только сон замутишь. Вычеркни их сегодня из памяти.

2

Наутро Опрокиднев пришел с опозданием, под глазами синели круги.

Редколлегия окружила его стол.

— Приснилось? — спросил Курсовкин.

— Охо-хо-хо... — щедро зевнул Опрокиднев. — И зачем только я вас послушался? По совету моего друга Джазовадзе я совершил прогулку на свежем воздухе, нагулял отличный аппетит, после чего долго не мог уснуть, терзаемый муками голода. Тогда по совету не менее дорогого друга Аабаева я начал вычеркивать из памяти женщин. Провычеркивал до пяти утра. И только на рассвете пришел долгожданный сон. Снилось мне, что иду я коридором, а навстречу Эдуард Фомич...

— О боже! — воскликнул Курсовкин.

— И я ему говорю: «Эдуард Фомич, вы мне должны!»

— Опять!.. — ахнул Джазовадзе.

— Он спрашивает: «Сколько я вам должен?»

— Сколько? — простонал Аабаев.

— Я говорю: «Рубль».

— Рубль? — переспросил Курсовкин. — Нет, серьезно, Опрокидн-нев, сколько?

— Один рубль, — убежденно ответил Опрокидн-нев.

— Молодец, Опрокидн-нев! — Сказал Джазовадзе. — Хорошая цифра. Скромно, по-товарищески — один рубль.

— Один рубль — это бывает с каждым, — подтвердил Аабаев. — А что было дальше?

— Дальше он спрашивает: «А зачем я у вас брал рубль?»

— Зачем он брал? — спросил Курсовкин. — Только без глупо-стей.

— Я отвечаю: «На сигареты, Эдуард Фомич. На болгарские».

— Прекрасно! — закричал Курсовкин. — На болгарские! Братс-кая страна! По твердой цене! В государственной лавочке! Ты умни-ца, Опрокидн-нев, и про твой сон можешь считать, что взято.

— Берем, — подтвердил Джазовадзе. — Хороший сон. И какой-то очень демократичный. Уютный. Начальник тебе должен рубль, ну, забыл, пустяк, ты напомнил, он отдал. Другой бы отказался, а наш отдал. Очень здоровый сон.

— Смешно и правдиво, — сказал Аабаев. — Как в жизни.

— Значит, берете? — задумался Опрокидн-нев. — Странно... По-моему, он никуда не годится.

— Не скромничай, Опрокидн-нев, — ласково сказал Курсовкин. — Очень приличное сновидение, и думаю, что потомкам будет инте-ресно.

— При чем тут потомки? — удивился Опрокидн-нев.

— Как при чем? — в свою очередь удивился Курсовкин. — ведь ты же сам вчера...

— При чем тут потомки, — загремел Опрокидн-нев во всю силу отдохнувших легких, — при чем тут зыбкие граждане отдаленных времен, когда рядом с вами, у нас на глазах подрастает молодое поко-ление, лишенное идеалов. Мы должны дать ему действительно здо-ровый сон, сон-пример, сон-образец для подражания, сон, который учит, кем быть и что делать в те или иные моменты бытия! И в свете этих задач не кажется ли вам, уважаемая редакционная коллегия, — с грозным спокойствием продолжал Опрокидн-нев, — не кажется ли вам странной сама ситуация, при которой начальник отдела должен старшему технику? Это же разрыв в пять должностных ступенек! По такой логике самому Буровину будет должен... раз, два, три, четы-ре... пять... ничего себе, начальник главка, а, допустим, нашему дирек-тору — министр!

Джазовадзе присвистнул, Аабаев поперхнулся, а Курсовкин ска-зал:

— Тише, Опрокиднєв, тише.

— Представьте, — горячо зашептал Опрокиднєв, — прилетает наш директор в столицу, входит к министру и говорит: «Товарищ министр, вы мне должны рубль» — а?! Нет, друзья мои, члены редакционной коллегии, давайте все-таки охранять стенную печать от проникновения подобных фактов на ее страницы, не для того народ дал нам кусок ватмана и четыре кнопки, — здесь Опрокиднєв вновь вышел на полный голос, — а также набор фломастеров и медовую акварель!

Ошарашенная редколлегия молча выслушивала горькие упреки.

Неожиданно Опрокиднєв зевнул и произнес совсем другим тоном:

— Попробуем просмотреть новый вариант.

Он уронил голову на стол и моментально захрапел.

— Есть! — внезапно вскочил он, порозовевший и отдохнувший после краткого, но полезного сна. — Слушайте. Иду коридором, навстречу Эдуард Фомич. Я: «Эдуард Фомич, вы мне ничего не должны». Он достает записную книжку, проверяет. «Да, — говорит, — я вам не должен. Но есть у нас с вами общий долг: Проектировать еще качественней, быстрее и дешевле». На том и разошлись... Правда, теперь лучше?

— Теперь лучше, — неуверенно согласился Курсовкин.

— То-то! — заключил довольный Опрокиднєв. — Впрочем... Есть какая-то лишняя деталь. Вдумайтесь: он мне ничего не должен. А я?

— Что — а ты? — не понял Курсовкин, но Опрокиднєв уже храпел.

— Готово! — засиял он, просыпаясь, щеки его разругались, а глаза заблестели. — Иду, навстречу Эдуард Фомич. Я: «Эдуард Фомич. Я вам должен рубль». Он: «Спасибо, очень кстати». Каково?

Потрясенная редколлегия молчала.

— Перегибаю, перегибаю, — сокрушенно признался Опрокиднєв.

— Выходит, начальник отдела у нас так мало получает, что рубль уже кстати. М-да... Посмотрю еще. — Он лег на стол, заворочался, пожаловался: «Что-то не спится», но усиленно и добросовестно позавав, все же уснул.

Сон его на этот раз был неглубок, Опрокиднєв непрестанно вскрикивал, как бы ведя репортаж с трассы своего нового сновидения.

— Иду... Навстречу Буровин... Я: «Эдуард Фомич, я вам рубль должен»... Он: «Бог с ним, с этим рублем. Отдадите в другой раз»... Он уходит... Я просыпаюсь!

С этим последним выкриком Опрокиднєв действительно проснулся:

— Прошу высказаться. Есть возражения?

Но не успела редколлегия обдумать возражения, как Опрокиднев решительно заявил:

— Нет. Выходит, начальник отдела столько получает, что ему деньги не нужны. Это тоже загиб и неуместная гипербола наших дней. Сейчас, сейчас дам окончательный вариант, — пообещал Опрокиднев и закрыл глаза.

— Хоть убей, не могу уснуть, — пожаловался он. — Выспался. Меня надо усыпить, Курсовкин, — капризно сказал Опрокиднев. — Не знаешь ли ты случайно колыбельной песенки?

— Опрокиднев, — взмолился Курсовкин, — давай, вернемся к самому первому варианту.

— Никогда! — воскликнул Опрокиднев. — Напоминаю: мы создаем не просто сон. Мы создаем сон-праздник, помогающий нашей молодежи правильно ориентироваться в ее непрерывной борьбе за урожай. Люминалу мне, люминалу! — закричал он на весь отдел.

Все, кто был в отделе, оторвались от чертежей и расчетов и с удовольствием разогнули спины, гудящие от завершения годовой программы.

Да-да, пожалуй, именно здесь стоит напомнить, что в то время, как Опрокиднев и редколлегия вот уже вторые сутки легкомысленно шлифовали нечто неосязаемое и малопрактичное, в это самое время весь отдел надрывался в едином трудовом порыве. Недосыпая и недоедая, замечательные люди спешили закончить к тридцатому декабря последнее задание года — расчеты и чертежи реконструируемой котельной.

— Что там у вас, Опрокиднев? — строго спросил, не покидая своего места, Эдуард Фомич Буровин.

— Эдуард Фомич! Товарищи! — заявил Опрокиднев. — Меня надо срочно усыпить. От этого зависит успешный выпуск новогодней газеты. Стенная печать, как известно...

— Ладно, без демагогии, — прервал его Буровин. — Сам понимаю, не маленький. Спи на здоровье, но не больше десяти минут. И как там, кстати, у тебя с коэффициентом?

— С коэффициентом сделаем, Эдуард Фомич, не беспокойтесь, не такое подгоняли, — заверил Опрокиднев, — а вот с усыплением нужна помощь коллектива. Сам не могу.

— Товарищи! — обратился ко всем Эдуард Фомич. — Тут редколлегия просит в творческих целях усыпить Опрокиднева. А он, подлец, где-то выспался. Какие будут предложения?

— Народу много, а то бы я его усыпила, — с нежным цинизмом сообщила Шараруева.

— Я бы тоже усыпила, — прямолинейно высказалась Марианна Власьевна. — Тоже умею.

— И у меня могло бы получиться, — тихо, чтобы никто не услышал, произнесла Лариса.

— Женщины! — властно крикнул Буровин. — Тихо, женщины! Опрокиднел, ложись на стол. Так. Закрывай глаза. Закрыл? Внимание... Полная тишина!

Опрокиднел лежал с закрытыми глазами. В дальнем углу под кем-то скрипнул стул. Неподалеку кто-то вздохнул. Прошелестела бумага. И наконец единственным звуком осталось комариное жужжание мощных электрических ламп под потолком.

Желанная дремота крупными, как теплый декабрьский снег, хлопьями посыпалась на Опрокиднева, легкие сиреневые сумерки окружили его, через них, медленно покачивая сумкой на длинном ремне, прошла высокая девушка в черной шинели — прошла той особенной походкой, какой ходят только высокие девушки в шинелях; медленно плыла сумка, и нарезанные в лапшу ремешки чиркали по пушистому снегу; и тут в сокровенном нутре духовной структуры Опрокиднева, в таинственных дебрях подкорки, в накренившемся подсознании произошло чудо: восемь разделилось на семь без остатка.

— Ура! — крикнул Опрокиднел и проснулся. Он обратил свой взор к столу, за которым сидел начальник отдела, намереваясь поделиться своей радостью.

Эдуард Фомич спал, сердечно, как боевую подругу, обняв телефон. Спал весь отдел.

С нежной улыбкой на полуоткрытых губах оцепенела Шараруева, басовито похрапывала Марианна Власьевна; Лариса, не просыпаясь, ототвинулась от арифмометра, и на ее чистом широком лбу обнаружился розоватый оттиск клавиатуры.

Веселый подбочившийся Опрокиднел шел через сны этих женщин, вселяя сладкий ужас и безответственную мечту в их задремавшие сердца.

Печально подперевшись кулаком, спал Курсовкин, в его сне жена большими портновскими ножницами, со свистом смыкающими свои блестящие лезвия, открамсывала широкую полосу от выданного для газеты ватмана, беззвучно объясняя, что бумагу надо экономить; покончив с ватманом, она зажала в кулачок тусклую медную кнопку, сказав опять-таки беззвучно, что газета провисит и на трех; затем она раскрыла прозрачный целлофановый чехольчик с набором из двенадцати фломастеров и, уже ничего не объясняя, выгребла половину, и среди них самые чудесные — изумрудно-зеленый, малиновый и голубой.

В душном сне Джазовадзе из круто наклоненного рога тяжело падала струя густого красного вина, и в том же, не поддающемся измерениям, пространстве с треском и выстрелами сгорали под шашлыком дубовые сучья; капли мутного желтоватого жира срывались на угли, и там, где падала капля, на раскаленной поверхности угля появлялась легкая, как чертежный штрих, трещинка, с чешуйкой седого и алого пепла, трепещущей, как отдаленный флажок на ветру.

Аабаеву снился закон степей в виде стрелы петушиного оперения, летящей над сугробами городской улицы; время от времени стрела пронзала спины прохожих, стенки и окна транспортных средств, но все живое и механизированное продолжало идти или ехать, зияя аккуратными дырочками.

Во сне Эдуарда Фомича через плохо освещенный цех котельной бежали какие-то дети, и их родничковые голоса отдавались эхом в пустых котлах. Почему дети, думал во сне Эдуард Фомич... Мне должны сниться фундаменты, балки, трубопроводы, перепускные клапаны, экономические обоснования должны мне сниться, у меня нет детей... Но дети носились по цеху, гремели металлическими ступенями лесенок, аукались в железном лесу конструкций, и Эдуард Фомич, до того думавший, что их много, вдруг увидел, что их всего двое: мальчик и девочка, и оба похожи на него.

Странные, и не очень странные, и самые обычные события толклись в снах работников буровинского отдела; светлые сказки, и грустные сказки, и страшные сказки цвели в душе, слегка уставшей от расчетов.

— Дорогие мои современники! — растроганно сказал Опрокиднев. — Больших вам трудовых успехов в работе, в личной жизни, во сне. С Новым годом, друзья!

ПЛАНЫ НАРОДА

Однажды, когда Опрокиднев вычитал двести три из двухсот трех, упрямо стремясь получить в результате хотя бы несколько сотых, к нему подошел Буровин.

— Старик, мне очень совестно, ты уже столько раз выручал. Но кто, кроме тебя? Опять захандрил Курсовкин. Сегодня пятница. Если к среде он не сдаст теплопункт и вспомогательные сети...

— Ясно. У всего отдела накроется премия.

— Главное, я его спрашиваю: «Ну, с чего ты хандришь? Объясни, может, мы тебе поможем», а он смотрит на меня, как на пустое место,

— с обидой проговорил Буровин. — Ты меня знаешь, я никогда не говорю: «Я ваш начальник, а потому извольте...» и так далее. Но ведь вообще-то я — его начальник. Должен он это понимать?

Опрокиднев задумался. Из окна, распахнутого в июльское утро, ворвался ветерок, омыл теплым дуновением лица собеседников, осушил капельку пота на буровинской лысине и ласково сбросил прядь волос на высокий опрокидневский лоб. Как всегда в минуту задумчивости, Опрокиднев был красив красотой человека, похожего на интеллигента в первом поколении. Одарив людей своими скромными ласками, ветерок затих. На лысине Буровина вновь родилась сизая жемчужинка пота. День обещал быть жарким.

Опрокиднев забросил прядь на ее постоянное место на черепе, почесал логарифмической линейкой затылок и приступил к докладу.

— Товарищи, — негромко сказал он. — Товарищ начальник. Проблема Курсовкина и вытекающей из него хандры требует глубокого марксистского анализа. С другой стороны, диагноз прост, как правило деления бутылки на три: Курсовкин болен обыкновенной советской болезнью, причина которой — небывалая в истории стабильность нашего самого просторного в мире государства. Есть два сорта советских людей. К одному из них принадлежим мы с вами, товарищ начальник. Просыпаясь утром, мы знаем, что впереди столь же успешный трудовой день, каким и был предыдущий. Что очередная пятилетка будет выполнена досрочно, а вслед за ней без малейшей паузы начнется другая, и она тоже будет перевыполнена по всем показателям, кроме, разве что, неуклонного роста разводов у лиц старшего поколения — но это лишь потому, что старики крепко держатся за устаревшую мораль. Мы осведомлены о нашей зарплате на много лет вперед, но и лапша вот уже треть нашего исторического века стоит неизменные сорок шесть копеек. Незыблемы меню наших праздничных застолий, нерушим список отмечаемых нами праздников. Мы с вами заранее знаем, что и о чем напишут наши газеты, расскажет радио, покажет телевидение. Все это радует нас и вселяет уверенность в завтрашнем дне. А людей другого сорта, вот этих пресловутых Курсовкиных, наша небывалая стабильность почему-то время от времени повергает в ужас. Их бесит невозможность читать что-то другое, праздновать что-то другое, говорить о чем-то другом, получать другую зарплату и покупать другую лапшу. Они жаждут переменить обстановку.

— Переменить обстановку?... — Буровин сделал ныряющее движение в направлении окна, как если бы пожелал срочно проверить, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор этажом ниже; но ско-

рее — в надежде уловить новое осушающее дуновение ветерка. Воздух, однако, был неподвижен. Буровин самостоятельно промокнул лысину ладонью и осторожно спросил: — Ты хочешь сказать, что Курсовкин... решил отвалить за бугор?

— Спокойно, начальник, — ответствовал Опрокиднев. — Возьмите себя в руки. Это исключено. За бугром есть свои поводы для хандры, но кто же там позволит Курсовкину хандрить в рабочее время? Эта причина для безделья и срыва сдачи важных народно-хозяйственных объектов учитывается только нашим гуманным строем. И потом, кто же там возьмет в проектировщики взрослого мужчину, не знающего, что такое компьютер? Нет, спасти его можно только здесь — для чего следует, подчинясь его патологической потребности, изменить политический климат, освежить облик улиц и площадей, разрешить свободную прессу и восстановить такие старинные народные радости, как Пасха и Рождество.

— Если я тебя правильно понял... — задумался Буровин. — Что-бы вывести Курсовкина из хандры, нужно свергнуть Советскую власть. Боюсь, даже у тебя ничего не выйдет.

— Да, вряд ли, — самокритично признал Опрокиднев. — Во всяком случае, до среды — это нереально. Но единственное спасение нашего больного — хоть какая-нибудь перемена обстановки. Пусть не в масштабе страны. Пусть хотя бы в одном, отдельно взятом помещении. Иногда достаточно переставить рабочий стол из одного угла в другой, достаточно сменить пейзаж в окне — и человек оживает буквально на глазах.

— Ну уж, — засомневался Буровин. — Пейзаж. Скажешь.

— Да! Вот у вас, за окном кабинета — что?

— Есть у меня время пялиться в окна, — обиделся Буровин. — С таким коллективчиком. С таким Курсовкиным. Собака!

— Напрасно, напрасно вы не смотрите в отведенное вам по должности окно. Может быть, именно там таятся резервы и ресурсы. Но не исключено, что там воздвигнута какая-нибудь принципиальная гадость, творчески развивающая то, что у нас остроумно называют архитектурой. Тогда вам нужно срочно пересесть к другому окну.

— У меня только одно — без вариантов.

— Значит, новое надо прорубить! Вспомните, какой свежестью повеяло, когда Петр прорубил окно в Европу!

— Не помню, я маленький был, — проворчал Буровин. — Прорубишь тут в Европу, когда кругом Азия, когда кругом такие болтуны, как ты, и такие бездельники, как Курсовкин.

— Совершенно верно, и я предлагаю немедленно посмотреть, что там расположено у Курсовкина, в его азиатском окне. Не оно ли,

роскошное либо дикое, но, возможно, и тупое содержимое этого ограниченного пространства давит на его вряд ли последовательно марксистское мировоззрение? Но прошу вас, не забудьте — мы идем к больному.

Увидев Буровина, Курсовкин засуетился и принялся перебирать бумаги. Было ясно, что он еще не начинал работать и не собирался начинать.

— Работай, работай, не буду тебе мешать, — приветливо кивнул Буровин.

— Курсовкин, слышал анекдот, как американец, француз и русский заспорили о смысле жизни? — спросил Опрокиднев, пристально глянув приятелю в глаза.

Курсовкин ответил затравленным взглядом и тихо, но твердо произнес:

— Никакого смысла в жизни нет. И не может быть. И это не анекдот.

«Болельщик зашла дальше, чем в предыдущих случаях», — отметил Опрокиднев, а вслух мирно сказал:

— Не будем спорить. Наверное, ты прав.

Он подмигнул Буровину. Они отвернулись от Курсовкина и как бы от нечего делать уставились в окно. Буровинский отдел занимал помещение в торце институтского здания и окнами выходил на три стороны. Курсовкинскому окну достался вид на уличный перекресток, над которым на скрещенных растаяжках висел тройной фонарь светофора. По зеленому сигналу взрывывали и устремлялись через перекресток потоки транспорта.

— По-моему, вид как вид, — сказал Буровин. — Где тут поводы для хандры? Наоборот: у него на глазах машины стартуют, ускоряются и катят, так сказать, вдаль. То есть это как бы картина прогресса, движения вперед. Вполне оптимистический пейзаж

— Не скажите, — возразил Опрокиднев. — Вы говорите о том, что происходит, когда загорается зеленый. А когда вспыхивает красный? Все, что двигалось, мчалось, спешило и, можно сказать, надеялось — тормозит с немилосердным скрежетом и против своей воли замирает в полной неподвижности.

— Но ведь ненадолго! Через полминуты зажжется зеленый, и они снова помчатся вдаль.

— А через полминуты снова вспыхнет красный... Есть такая притча: ребенок впервые увидел закат солнца и страшно испугался, думая, что оно больше никогда не появится. Несомненно, таким ребенком случайно вырос среди миллионов оптимистов наш незабвенный Курсовкин. Когда он видит зеленый, это радует его, но лишь в малой

степени, ибо он знает, что вскоре зажжется красный. А когда загорается красный, ему начинает казаться, что это — навсегда. Тем более, что предварительно как угрюмый предвестник неподвижности, запрета и полной мертвечины зажигается гадкий желтый свет. Освещенный этой покойницкой желтизной, Курсовкин цепенеет, а при появлении красного погружается в беспросветные пучины. Красный свет плющит его, как давление океана — глубоководную рыбу. И когда вы, начальник отдела, возникаете на берегу этой пучины и что-то там кричите ему туда, в глубину, насчет теплопункта к среде... Вы понимаете — до него просто не долетает ваш, прошу прощения, жалкий писк...

— Что же ты хочешь? Чтобы с перекрестка сняли светофор?

— Можно и так. Но проще пересадить Курсовкина к другому окну. Нужно найти спокойный умиротворяющий пейзаж. Или хотя бы не такой жестокий, не такой однозначный. А лучше всего — неясный, задумчивый, по-хорошему таинственный.

— Чего уж у нас тут вокруг таинственного, — вздохнул Буровин.

— Город как город.

Вздохнул и Опрокиднєв. Безусловно, Буровин был прав: трудно найти что-нибудь задумчивое и тем более таинственное в облике сегодняшних советских городов.

Советский город! Среднекрупный промышленный центр, раздавивший своими громадами уездный российский городок! Ящиками зовут твои заводы, и сам ты как крупное нагромождение ящиков в посылочном отделении... Ох, и далеко их хочется послать!

Центральные твои улицы зовутся именами пролетарских вождей, и чудовищные вопросы задают друг другу пассажиры в транспорте: «На Розе Люксембург сходите?» Бедная Роза...

А окраинные твои улицы славят безымянных рядовых пролетариев: улица Газорезчиков, улицы Машинистов, Бульдозеристов, Химиков, Смазчиков, Металлургов, Шпалопропитчиков... знай же свое место, пропитывающий шпалы и сам пропитанный смердящим духом креозота, люби свой заводской ящик с вонючей трубой и свой жилой ящик с хилыми балкончиками, люби свой город, груды посылок, отправленных по неизвестному адресу в светлое завтра!

Взгляд жаждет кривизны, изгиба, округлости, уюта внизу и величия в горных высях. Где криволинейные переулки с персидской сиренью, проросшей в чугунных оградах, с ампиrom и лжеампиrom, с модерном и теремами? Где шпили и купола в легких тучах птиц? Плоская шутка — советский город.

Вздохнув, Опрокиднєв, тем не менее, бодро сказал:

— А мы поищем, поищем.

Под недоуменными взглядами сотрудников и сотрудниц они лавировали меж столами и кульманами, поочередно заглядывая в окна, и в каждом открывался один и тот же вид на фасад официального здания напротив и на строй тополей, обрубленных под шар, но уже давших новые побеги; и из каждого окна несло бензиновой гарью.

Так продолжалось до тех пор, пока они не оказались у торцевой стены, возле стола, за которым трудилась ветеран отдела, неувядаемая Клементина Стоппер.

— Стоп! — воскликнул Опрокиднев. — Вот оно!

Завидев начальника, Клементина встретила его радушной улыбкой и взглядом, исполненным готовности выслушать и немедленно исполнить; одновременно она кокетливо взбила свои роскошные волосы из натурального японского нейлона. Все это вместе взятое означало, что у Буровина нет никаких оснований определять ее на давно заслуженный отдых.

За окном Клементины, перекрывая все пространство, высилась металлическая конструкция, поддерживающая громадные бетонные письма: «Планы партии — планы народа».

— Вот, — сказал Опрокиднев, — вот он, искомый таинственный пейзаж, сколь задумчивый, столь же и неясный. Не знаю ничего более загадочного, чем эта фраза. Первая ее часть вытекает из второй или дело обстоит обратным образом? Мы имеем дело с лексическим феноменом мирового класса. Уверен, внимательное наблюдение за ним произведет в душе Курсовкина некий переворот. Не ручаюсь, что он будет благодатным, но главное, он сдвинет большого с мертвой точки. Наш друг голову сломает, сляясь понять, казалось бы, простое содержание этого стихотворения в прозе!

— Не понял и слова из твоей белиберды, — ответил Буровин. — Скажу проще: лозунг бодрый, жизнеутверждающий. То, что надо для выхода из хандры. Клементина Федоровна, вот какое дело...

Переговорив с пенсионеркой, они вернулись к Курсовкину.

— Возникла небольшая проблема, — вежливо наклонился над больным Буровин. — Клементина Федоровна просит ее куда-нибудь пересадить. Что-то ей там не нравится. Я думаю, надо пойти навстречу нашему ветерану. Конечно, я мог бы просто распорядиться. Но ты у нас душевный мужик — верю, откликнешься сам. Не возражаешь?

— Какая разница, — пробормотал Курсовкин. — Сажайте меня, куда вам нужно. А можете вынести вперед ногами и положить, куда следует.

— Только не думай, что это у нее возрастной каприз, — уточнил Буровин, усмотрев в меланхоличном отклике Курсовкина обиду и несогласие. — Ей там, понимаешь, то ли жарко, то ли дует.

— Понятно, понятно, — закивал Курсовкин, как китайский болванчик. — Ведь она живая. А покойнику ни жарко, ни холодно, и ему безразличны сквозняки.

Произнеся эти в сущности безумные слова, он сгреб бумаги и поплелся к столу Клементины Стоппер.

Уходя, Буровин с Опрокидневым невольно обернулись. Курсовкин сидел на новом месте и неподвижно глядел в окно.

Опрокиднев навестил приятеля к концу рабочего дня. Покойник занимал ту же позу.

— Как настроение?

Курсовкин оторвался от окна, как от телевизионного экрана, в который ближе к ночи глядят в легком отупении.

— А, это ты... Слушай, как ты думаешь... Человек сидит и смотрит в окно. А за окном написано... Ты видишь, что написано. Человек сидит и смотрит. Сидит и смотрит. И вдруг понимает, что ему очень хочется выпить холодного пива.

— Холодного или любого?

— Холодного, — подумав, подтвердил Курсовкин. — Что это может означать?

— О! Это может означать только одно: больной на пути к выздоровлению! Завтра суббота, и мы поедем с тобой в парк культуры и отдыха, где и заглотнем мечтаемый тобою напиток.

— А вдруг его там не будет?

— То есть как это не будет? Планы партии — планы народа. И если планы народа — выпить холодного пива хотя бы в субботу, хотя бы в парке, значит, это входит в планы партии. А все, что планирует партия — сбывается. Или нет?

— Сбывается, сбывается, — испугался вполне оживший Курсовкин. — Разве я когда-нибудь говорил «нет»?!

ВНЕДРЕНИЕ КУРСОВКИНА

Центральный парк культуры и отдыха располагался на городской окраине, в сосновом бору, в излучине реки. Он встретил друзей бодрой радиомузыкой, гулом каруселей, звяканьем колокольчика на шее пони, везущего тележку, битком набитую взволнованными детьми. Где-то в глубине парка ухал духовой оркестр. Гнусавый мегафонный голос, доносившийся с лодочной станции, слал находящимся на воде гроз-

ные предупреждения. У входа над мангалами с шашлыком колдовали южане, и жир капал на чадающие уголья, празднично треща.

Мамаши с детьми и семьи в полном составе, ватаги подростков и юные парочки, молодые люди в джинсовых куртках или в расписных майках и пожилые люди в белых рубашках с закатанными рукавами, курсанты военных училищ и неведомо откуда взявшиеся в сухопутном городе морские пехотинцы в лихо заломленных берегах, цыганки с грудными младенцами на руках — представители всех возрастов, сословий и наречий растекались по аллеям, устремлялись к аттракционам, вставали в очереди за мороженым и водой, бродили по травянистым лужайкам и шныряли в кустах в поисках наиболее приятных форм культурного отдыха.

— Парк культуры и отдыха! — воскликнул Опрокиднев. — Эх, и названьице, и кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могло только родиться, в той земле, что не любит шутить! Да по-русски ли это сказано, господа: парк чего? Культуры. И чего? Отдыха. А намек, намек-то каков! Есть, стало быть, где-то — скорее всего, в менее счастливых, чем наша, странах — мрачные подлые заведеньица: парки дикости и неустанных трудов...

— Чует мое сердце: не будет пива, — невпопад откликнулся Курсовкин. — Я только из-за пива и тащусь за тобой в такую даль. А вдруг его не будет?

— Сей факт уязвит меня в самое сердце! — отчеканил Опрокиднев. — Трагическое несовпадение планов партии и народа со всей прямоотой поставит в повестку дня жесткий вопрос: народ ли ты, товарищ Курсовкин? Твои ли нескрываяемо корыстные планы должна учитывать в своих бессонных думах родная партия? Подумать только: в то время, как весь остальной народ глубоко удовлетворен свободной продажей «Солнцедара», некто Курсовкин возжелал пива, да еще холодного! Да еще в июле! Откуда в тебе эта наглость, это циничное намерение поставить перед партией заведомо невыполнимое обязательство? И это то время, как она в своих бессонных думах...

Но этот момент аллея, по которой шагали жаждущие друзья, совершила крутой поворот и открыла их взорам радостное зрелище распахнутых дверей пивного павильона, а до их слуха донеслось нестройное жужжание грубых мужских голосов.

— Беру свои слова обратно, — сказал Опрокиднев, втискивая приятеля в густую галдящую толпу. — Ты — народ, а партия, как видишь... — Он наклонился к уху Курсовкина и негромко закончил: — ...Партия держит свое слово. И никогда больше в этом не сомневайся.

Он, впрочем, мог б гаркнуть во всю глотку — голос его все равно утонул бы в бурлении горячих бесед, шедших за столиками, в шиплом свиристении пивной струи, лупящей из крана в толстые днища кружек, в грохоте, с каким гроздьи кружек ставились на мраморные столешницы.

Очередь оказалась не слишком долгой, а пиво холодным и, может быть, даже неразбавленным!

Во всяком случае, когда они вышли, Курсовкина явственно шатнуло, Опрокиднев заботливым жестом прихватил его за плечо, и само собою вышло, что друзья побрели, куда глаза глядят, обнявшись, как и подобает слегка захмелевшим товарищам.

Беленые гипсовые фигуры встречали и провожали их на поворотах аллей, желая счастливого пути.

Под кустами и на лужайках, у подножия сосен, располагались компании, представлявшие ту часть народа, что предпочитала «Солнцедар», и радостно было смотреть на этих вольно сидящих или лежащих мужчин и женщин, чьи планы также в полной мере учла родная партия — «Солнцедара» было много, он малиново сверкал в граненых стаканах, щедро лился из бутылок и забивал терпким ароматом скромные запахи топтанных трав. Люди, лежавшие на лужайках, иногда что-то кричали людям, идущим по аллее, и приветливо вздымали стаканы.

То беззвучно, как ящери, то с визгом, как молодые зверьки, пронеслись нарядно одетые и обильно измазанные мороженым и шоколадом дети.

— Хорошо! — заявил Опрокиднев, с наслаждением отдуваясь после трех литровых кружек. — Зря я на это название напал. Культуры, может, и немного, но посмотри, сколько отдыха!

— Хор-рошо! — с чувством повторил Курсовкин и причмокнул.

— Хор-рошее пиво! Аж голова кружится!

— В какую сторону?

Курсовкин показал. Как ни странно, головокружение шло у него не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, от затылка ко лбу. Как если бы в голове медленно вращался ротор, ось которого проходила через ушные раковины.

— Сейчас мы тебя раскрутим в обратную сторону. Если бы тебя вращало вот так... — Опрокиднев показал как. — Мы бы тебя посадили на карусель. Но поскольку тебя кружит вот так... Мы сейчас с тобой прокатимся на колесе обозрения!

— Гениально! — согласился Курсовкин.

Не размыкая объятий, они встали в хвост очереди у подножия гигантского, неостановимо уползающего в небо колеса. Глухо рокота-

ли зубчатые передачи, поскрипывали многочисленные сочленения, покачивались, с завораживающей медлительностью меняя высоту, хрупкие люльки.

Впечатанное в синее небо ажурное колесо, в двойных ободьях которого болтались во взвешенном состоянии сотни людей, производило впечатление успешно и бессмысленно работающего предприятия. Этот двойственный образ, наложившись на кружение ротора, вызвал у Курсовкина мысль, дословно совпадающую с никогда не читанным им Екклесиастом: «Все суета сует и всяческая суета...»

— Опрокиднел, ты моложе меня на десять лет, но ты единственный, кто меня хоть немного понимает, — сказал он, нежно прикинув к плечу друга. — Скажи, почему мне так скучно жить? Почему у меня нет друзей среди сверстников? Почему я им не интересен? А они не интересны мне?

Очередь приближала их к подножию колеса, все более выраставшего над ними, невольно заставляя все круче запрокидываться, чтобы разглядеть его вершину, где одна за другой задумчиво проплывали люльки.

Как всегда, Опрокиднел начал издалека.

— Смутно, смутно вспоминаю я свою бабушку Анну Тимофеевну, но неоднократно исполнявшийся ею романс «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что день, то короче к могиле наш путь» до сих пор принадлежит к моим любимым музыкальным произведениям — наряду с примерно тремя-четырьмя аккордами из первого концерта Чайковского и тем грустным местом из Бетховена, где судьба стучится в дверь, но ее не пускают...

Как сейчас вижу опрятную старушку, раздувающую угли в утюге, чтобы отгладить простыни — еще, представь себе, из настоящего голландского полотна. Она ритмично раскачивает крепкою еще рукой огромный утюг и приятно прерывистым голоском напевает: «Быстры, как волны, дни нашей жизни...» Сколь безжалостно точный образ дает нам, друг мой Курсовкин, эта простодушная строка неизвестного сочинителя, вряд ли уж слишком счастливо прошедшего свой бранный путь в пределах прошлого века! Как волны, сменяют друг друга дни и годы; как волны, сменяются человеческие поколения, разбиваясь об утесы средней продолжительности жизни. Только что это была высокая, гордо украшенная пенным гребнем, полная сил волна. А вот уж со стоном, переходящим в обреченный шорох, падает она у каменного основания и лишь отдельные брызги взлетают высоко-высоко и как бы зависают в неопределенности. Это так называемые долгожители. Уже под ними

закипает новая, следующая волна, а они все летят, на прощанье красиво освещенные закатным солнцем... Продолжение следует. Прошу садиться, — неожиданно закруглился Опрокиднев, ибо подошла их очередь, и освобожденная люлька покачивалась перед ними, как лилия в ожидании Дюймовочки.

Они сели на тесную скамейку и поплыли.

— Ты мне так и не ответил, — напомнил Курсовкин.

— Позже, позже! — Опрокиднев вытянул руку, чтобы коснуться листвы едва ли не сквозь колесо проросшего тополя. — Позже, когда мы полностью насладимся этим чудесным коловращением. Волшебное колесо! За десяток минут оно дает каждому возможность понять простой путь его жизни: вверх и вниз. Сейчас мы проползаем смутные младенческие годы, перемещаясь среди шумящих деревьев, ничего не понимая в этом зеленом лопочущим мире... Но вот зыбкая лепечущая завеса остается внизу, мы выходим на простор, открытый нам, и сами мы открыты чьим-то нескромным взорам — это юность, Курсовкин, это ее пугающие небеса... А вот и ответственная высота взрослого существования, и у одних перехватывает дыхание от открывшихся возможностей, у других вырастают крылья, а иные от страха падают камнем, но до летающих и летящих не донесется разбившийся о землю крик; а высота растет и растет — какой простор, товарищи! Власть, богатство, зори коммунизма и другие разновидности светлого будущего, а также незабываемое зрелище всей страны, омываемой тремя океанами... А вот она — вершина... Все! Теперь поехали с ярмарки, через все более и более смыкающийся горизонт, через скучные пожилые годы — в старость, каковая предстанет перед нами в тех же шумящих деревьях, что и детство: все ближе они, но теперь их шум глух и тревожен, он перекрывает все другие звуки жизни... Лепет невинной и вечной листвы, последний привет уходящему... Э, да ты спишь?! — возмутился Опрокиднев и ударил Курсовкина по плечу.

— Да-да, — проснулся Курсовкин. — Что ты говоришь?

— Я говорю, моя поэма в прозе, чьи величавые строфы ты так бездарно проспал, опережает события — мы только на подходе к высшей точке обзора. Посмотри, Курсовкин, какая чудная панорама современного социалистического города разворачивается перед твоим ошеломленным взглядом! И снова перед тобой вся твоя жизнь! Где-то там, в слепящем солнечном мареве, тают мощные очертания роддома, где тебя приняли заботливые руки передовой акушерки. Вот там детский сад, где ты ходил с красным флажком, старательно вскидывая его над большой, но глупой головой октябренка. Среди тысяч крыш твой влюбленный взгляд вычислит род-

ную школу, где тебе десять лет объясняли, сам помнишь, что. А вот и сквер, куда вы сматывались с уроков гонять мячик и где тебе впервые в жизни дали по морде, поколебав твои идеалистические представления о сути мирового порядка... О! Посмотри скорее на этот перекресток, где, если мне не изменяет зрение, столкнулись троллейбус и грузовик, заткнув важную городскую артерию. Не здесь ли ты впервые встретил девушку, впоследствии ставшую ненавистной тебе женой?

Курсовкин при этих словах демонстративно опустил глаза и упрямо уставился под ноги.

— Тебе не хочется посмотреть с высоты птичьего полета на места твоих первых свиданий? На город твоей большой любви?!

— В этом городе я был несчастен со дня рождения, — злобно проговорил Курсовкин. — Был несчастен, являюсь несчастным и останусь несчастным навсегда. Ну, почему, почему я такой? Почему я один? Ты обещал объяснить, Опрокиднев!

— Что ж, — кивнул Опрокиднев. — Ближе к делу. Ответ прост и требует буквально пяти минут предисловия. Если отбросить политику, философию и поэзию и обнажить человека как биологическое устройство, требующее трижды в сутки еды и воды и каждые несколько секунд — глотка воздуха, придется признать, что инстинкт самосохранения значительно опережает остальных участников первенства — таких, как совесть вообще и любовь к ближнему в частности, а также вера, надежда и замыкающие таблицу чемпионата чувство локтя и радость коллективного труда, не говоря уж о классовой борьбе, выбывший из-за неявки. Инстинкт же потому и называется инстинктом, что является таковым: слепым хватальческим чувством, заставляющим брать из окружающего мира много больше, чем нужно для самосохранения. «Однако живем» — вот истинный девиз большинства означенных устройств, вот их ветхий завет и вот их новый завет, вот их краткий курс и любимая повестка любого дня. Успеть нахапать! Откусить раньше других! Ухватить крепче других и утащить в норку! Единственное, чего не может устройство: заглотнуть воздуха больше, чем позволяет емкость легких. Но можно побороться за качество воздуха. За сладкий воздух цветущих долин, за целебный воздух гор, очищенный клокотаньем серебряных водопадов, за романтический воздух морских побережий, насыщенный йодом и солью; наконец, за кондиционированный воздух персонального кабинета, за оазис в чадной пустыне пробензиненных городов...

Люди, товарищ Курсовкин, занимаются, собственно, тем, что грабят временно доставшуюся им жизнь. Но в одиночку многого не

добьешься. Поэтому для грабежа — и только для него — они все-таки объединяются в коллективы: родственные кланы, трудовые объединения, политические партии. Но главная сцепка проходит через третий пункт паспорта: возраст! Люди грабят жизнь поколениями. Дети довольствуются благами, которыми их снабжают родители. Отрочество уже мечтает о самостоятельном участии в грабеже, но ничего не умеет: нет опыта, профессий, должностей. От отчаяния оно и ударяется в беспричинное, казалось бы, хулиганство и простейшее воровство. Молодость уже начинает трудоустраиваться, уже покусывает сосцы матери-жизни, но скудно всасывает содержимое. Но вот наконец поколение входит в самый грабительский возраст, от тридцати до сорока. Наконец достигнуты должности, завязаны связи. Пусть не самые высокие должности и не самые глубокие связи, зато силы еще немеренные, азарта навалом, а зубы еще, как в юности, острые!

Это как раз твое поколение, Курсовкин. Оно, как никакое другое, успешно грабит жизнь. Ты в этом не участвуешь. Ты выпал из поколения. Это несчастный случай. Волна ударилась в отмель и, не потеряв силы, покатилась дальше. Но удар взбил ей гребень, и несколько простодушных частиц, не догадавшихся заранее нырнуть поглубже и покрепче сцепиться с другими, вылетели в виде никому не нужных брызг. Им уже никогда не вернуться в родную волну. А для следующей волны они чужие, там надо бороться за место...

Ты, мой друг, если можно так выразиться, одна из этих несчастных брызг. Ты, говоря по-иному, песчинка, унесенная ветром. Ты солдат, раненый в переходе через пустынную местность. Отряд уходит, а ты ковыляешь по обочине и напрасно кричишь им вслед. Отряд не заметил потери бойца и... как там?... слегка погода, сползала, понимаешь ли, на бархат заката слезинка дождя.

Твое поколение шагает быстро! Те, кто старше их, уже наелись и отвалились. Те, что помладше, еще не конкуренты. Твое поколение — монолит. Все уже связаны-перевязаны, все взаимосцеплены до гробовой доски. Теперь, если даже опомнишься, тебя не возьмут. Это кристаллическая решетка, понимаешь? Все места заняты, и ты, приبلудный атом, можешь только болтаться среди них и завистливо поглядывать на эту стройную систему...

Но вот мы и приехали.

Да, их люлька завершила круг, она покачивалась у самого подножия, и нетерпеливый ребенок со слипшимся от эскимо ротиком уже рвался из рук распаренной мамы заняты освобождающийся экипаж.

Курсовкин сошел с песчаной дорожки, по которой вилась очередь, и рухнул на истоптанную траву. Он стиснул уши, пытаясь остановить вращение ротора, неумолимого, как перпетуум-мобиле.

— Ох, — простонал он, — ничего ты мне не раскрутил обратно. Еще больше закрутил. Своим подлючим колесом, своими подлючими речами. Надо было мне выпасть не из поколения, а из люльки на самом верху. Как бы мне уже было хорошо. Ну, что, что мне теперь делать?!

Опрокиднел сидел рядом и покусывал пыльную травинку.

— Еще не знаю. Но если выпью две, а лучше три кружки пива, обязательно придумаю. Вставай!

Он споро зашагал к пивному павильону, а вслед за ним покорно потащился Курсовкин.

В павильоне зоркий глаз Опрокиднелова выловил полузнакомую фигуру, маячившую возле прилавка, нагло влез перед ним и отхватил шесть кружек по-прежнему холодного пивка.

Он жадно осушил три кружки подряд.

Курсовкин с трудом выцедил одну.

Опрокиднел пил и напевал: «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что день, то короче к могиле наш путь!»

— Придумал? — спросил Курсовкин.

— Да! Попробуем внедрить тебя в другое поколение. Постарше. Но не в соседнее. Много старше. К старичкам. Они, как я же докладывал, давно отвалили с большой дороги, помягчили душой.

— К старичкам так к старичкам, — согласился Курсовкин. — Где мы их найдем?

— В летней читальне. Вперед!

На укромной поляне, в павильоне с вывеской «Летняя читальня» за десятком столиков сидели пенсионеры, сплошь мужчины. Никто из них, однако, ничего не читал. По многолетней традиции, здесь собирались преферансисты. Всем было хорошо известно, что азартные игры запрещены, поэтому милиционеру, заглядывавшему сюда время от времени, давали мзду, и он удалялся.

— Вот эти мне нравятся, — показал Опрокиднел, бегло оглядев собравшихся. — Отставники-офицеры, фронтовики, орлы на заслуженном отдыхе.

За столиком играли три старика. Поджарый в выцветшей офицерской рубашке мямлил карты в подагрических пальцах и нервно свистел. Его визави, пузатый, в наброшенном на плечи кителе с орденскими колодками, не мог скрыть победительной улыбки. Из троих он был самый бодрый. Третий, тоже изрядный пузан, казалось, уснул над своими картами.

— Товарищи офицеры, — тепло произнес Опрокиднев, — обращаюсь к вам с милосердной просьбой. Мой друг неважно чувствует себя среди сверстников. Не возьмете ли его в свое поколение? Ему будет покойно в вашем задушевном тихом кругу, отошедшем от жизненных схваток. А у ваших боевых воспоминаний, каковыми вы давно и многократно обменялись, появится свежий благодарный слушатель.

— А точно будет слушать? — оживился сонный пузан. — А то ведь они теперь только этих... с гитарами... Я и в школы перестал ходить: хихикают, подлецы, жуются. Для них теперь ничего святого.

— За что кровь проливали? — спросил бодрый пузан и стукнул кулаком по столу.

— Вы путаете моего друга с более молодыми поколениями, — мягко возразил Опрокиднев. — Мой друг живо интересуется военными мемуарами. Он весь внимание.

— За внимание спасибо, — сказал поджарый. — Но куда мы его посадим? У нас тут спаянная компания. Мы пятнадцатый год играем в одном составе.

— Но я вижу, место на прикупе свободно.

— Занято! — сказал бодрый пузан. — Уж семь лет как нет с нами нашего боевого товарища, но он навечно зачислен нами на прикуп.

— Вечная слава героям, павшим на ловленном мизере, — без восклицания произнес Опрокиднев. — Идем, друг Курсовкин.

— Куда? — тихо спросила выпавшая из своего поколения брызга, обреченно влачась по пыльным травам.

— Теперь по контрасту попробуем внедрить тебя в юное поколение. А вот и оно!

Юное поколение обнаружилось в виде группы подростков, окруживших телефонную будку на обочине аллеи.

— Здорово, ребята! — панибратски обратился к ним Опрокиднев.

— Не возьмете ли в компанию вот этого дядьку? Он, понимаете ли, что-то заскучал среди взрослой публики. Он в душе остался чистым юношей вроде вас. Вы тут, я вижу, что-то веселенькое затеваете? Может, он вместе с вами порезвится, а, пацаны?

Предводитель подростков, упакованный в фирменные одеяния, хмуро осмотрел Курсовкина.

— Трубку оторвать можешь?

— А зачем? — простодушно отозвался Курсовкин.

— А ни зачем.

— А зачем «ни зачем»?

Предводитель достал пачку дорогих сигарет, неторопливо щелкнул зажигалкой, выпустил струю в лицо Курсовкину и сказал:

— Не наш ты человек, мужик. Ни хрена не понимаешь. Канай.

Друзья шагали из аллеи в аллею, наступая на солнечные пятна. Опрокиднел помрачнел, а Курсовкин, как ни странно, приосанился и озирался окрест с сатанинским взором, как нищий, которому давно и упорно не дают.

Случайный маршрут вывел их на лужайку, где неясной трудовой деятельностью с увлечением занимались маленькие дети. Они щипали и собирали в пучки траву, рвали и складывали лопухи и невзрачные синеватые цветочки, а также срывали с нижних ветвей боярышника едва оформившиеся ягодки.

— А не впасть ли нам в детство? — предложил Курсовкин. — Эти крохи, по твоей теории, еще не подозревают, что рождены для предстоящего грабежа жизни. Может возьмут?

— Здравствуйте, дети! — неуверенно выкрикнул Опрокиднел. — Во что играете?

— В овощной магазин, — ответила бойкая девочка, соорудившая из двух дощечек весы.

— А не возьмете вот дяденьку поиграть? Когда он был маленький, это у него была любимая игра.

— Самая любимая, — подтвердил Курсовкин. — Давайте, я у вас продавцом буду.

— Хитрый какой! — сказала бойкая девочка. — Мы уже сосчитались. Уже я буду продавец. А вы в покупатели идите. В очередь вставайте.

— Иди-иди, — прошептал Опрокиднел. — Чудо свершилось! Тебя приняли в чужое поколение.

Меж тем, магазин уже был готов к работе. На перевернутом ящике были разложены лопухи, цветы, травы и ягоды, играющие роли овощей и фруктов. Из дощечек были сооружены отличные весы, а камешки были готовы служить гириями. Дети выстроились в очередь. Лишь один мальчик и одна девочка стояли сами по себе.

— Деньги приготовьте! — приказала бойкая девочка-продавец.

Дети, вставшие в очередь, как по команде, разжали кулачки и посмотрели на зажатые в них пачечки листьев.

Курсовкин сорвал с ближайшего куста пачку денег и вежливо спросил у мальчика, стоящего последним:

— Вы последний? Я за вами. Вас как зовут?

— Боря, — проворчал чем-то недовольный мальчик.

В это время девочка, стоявшая сама по себе, — это была нарядная девочка с изящной корзиночкой в руке — возникла за спиной продавщицы и лисьим голосом пропела:

— Дорогая! Мне бы апельсинов, у меня сегодня гости. А за мной не заржавеет.

— Почему без очереди? — удивился Курсовкин довольно громко, надеясь на общую поддержку.

Ответом ему была тишина. Только мальчик Боря поднял голову и сказал:

— Да не связывайтесь вы со Стэлкой. Она, знаете, какая наглая. Вся в мамочку. Все равно свое возьмет.

Продавщица отпустила апельсины наглой Стэлке, и тут к весам подошел стоявший сам по себе мальчик.

— Позвольте, — возмутился еще громче Курсовкин. — А этот мальчик почему без очереди?

— Я грузчик, — кратко объяснил свой статус мальчик.

— Ну и что, что грузчик? — напирал Курсовкин, на этот раз надеясь, что очередь не смолчит.

И очередь не смолчала.

— Он грузчик! Владик тут работает! — закричали дети.

— Дяденька, — сказал мальчик Боря. — Человек тут работает, и он еще должен в очереди стоять?

— Да! — заупрямился не за шутку возмущенный Курсовкин. — Пусть стоит. Или пусть работает.

— Ага! — воскликнул грузчик Владик. — А этого не хочешь? — И он преспокойно показал Курсовкину маленькую грязную фигу. — Да мне еще за погрузку не уплочено! Ленка, гони бутылку, а то шас всю лавочку разнесу!

— Иди, проспись! — дерзко осадил его продавщица Ленка. — Налил шары-то!

— Дети! — закричал Курсовкин. — Опомнитесь! Что вы такое говорите?!

— Идите отсюда, дяденька, — усталым голосом попросила его продавщица Ленка. — Вы не умеете в «магазин» играть.

Обреченно покачивая головой и заламывая пальцы, покидал детскую лужайку Опрокиднев.

Курсовкин едва ли не приплясывал в приступе патологической веселости.

— Куда же дальше? — спросил он. — Мы дошли до самого края. Теперь — в ясли? В роддом? В заботливые руки передовой акушерки? Еще дальше: мама, роди меня обратно? Или, наоборот, вперед, мимо стариков? Умирать? Ну? Что же ты молчишь?

И это был едва ли не первый случай в биографии Опрокиднева, когда любимец публики и участник кавказской легенды, дуэлянт и реаниматор не нашелся с ответом.

А парк чего — культуры и чего — отдыха продолжал жить своей летней субботней жизнью.

В репродукторах гремели зарубежные ансамбли.

Завывали перегруженные карусели, жужжали электроавтомобильчики в зарешеченном загоне, на танцплощадке кричал духовой оркестр и шаркали по асфальту пенсионерки, шерочка с машерочкой танцую польки.

Звякал колокольчик трудолюбивого пони.

На поворотах аллей стояли молчаливые гипсовые фигуры, грустя от грубостей, накарябанных на их постаментах.

В пивном павильоне заканчивалось пиво и начиналась драка.

В летнюю читальню с очередным визитом шел милиционер.

В кустах там и сям звенели стаканы, раздавалось нестройное пение, а порою оттуда с кокетливым визгом выскакивали раздумывавшиеся женщины в купальниках.

Над лодочной станцией неумолчно гремел запретительный голос, а на берегу под возбужденные крики откачивали опрокинувшего лодку пьяного паренька.

И над всем этим гвалтом и сутолокой возвышалось колесо обозрения, четкое, как печать, оттиснутая великаном-начальником на си-ней странице неба, под каким-то фундаментальным постановлением, призывающим считать происходящее единственно разумной формой жизни.

Приложение

СНЫ ОПРОКИДНЕВА

НА ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЕ ГЛАНДА

Научно-фантастический сон

Опрокиднев старательно высунул язык, и холодный металлический инструмент уперся ему в горло.

— Гландочка воспалена, — сказал доктор. — Справа. Скорее всего будет ангина. Продолжайте полоскание. Если не поможет, завтра начнем применять антибиотики. Можете закрыть рот.

ОПРОКИДНЕВ ОБЛЕГЧЕННО СОМКНУЛ ЧЕЛЮСТИ. НА ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЕ ГЛАНДА НАСТУПИЛА НОЧЬ...

В истории Гланды нет точных сведений, когда и откуда пришли первые поселенцы. Но они пришли. Перед ними, куда ни глянь, сверкала плотная глянцеви́тая поверхность мерзкого розового цвета. Над

головами безжалостно сияли неуютные розовые небеса. Надо было привыкать, надо было осваиваться в этом жутком розовом мире, который потомки, хотят или не хотят, назовут своей милой родиной.

Тысячи поколений беззаветно трудились, преобразая суровый лик планеты. Безжизненно розовый цвет постепенно уступал синеватому и белесому — цветам плодородия. Параллельно подвижническому труду шел технический прогресс, а вслед за ним, отставая, как и предполагается, на две-три эпохи, двигались социальные перемены.

Мир и счастье воцарились на планете Гланда.

Руководимые мудрым диктатором Золотистым Стафилококком, три миллиарда микробов трудолюбиво копошились на ее поверхности.

Аграрии боролись за стопудовый урожай.

Пролетарии воздвигали все новые и новые фолликулы.

Гуманитарии собирали фольклор первых поселенцев.

Интеллектуалы точных наук решали одну космогоническую загадку за другой.

Они сделали ряд поразительных открытий: оказалось, что Гланда не является изолированным миром, а входит в грандиозную галактическую систему; и та, в свою очередь, тоже не одинока во Вселенной. Время от времени ее орбита пересекается с орбитами других галактических систем, и тогда происходит взаимодействие. Сигналами к началу такого взаимодействия служат опознавательные коды. По предложению ученых системы были названы по своим опознавательным кодам. Система, в которую входила Гланда, чаще всего отзывалась на код ОПРОКИДНЕВ. С системой ОПРОКИДНЕВ более или менее регулярно взаимодействовали системы ДОКТОР, ШАРАРУЕВА, КУРСОВКИН, ЭДУАРД ФОМИЧ и некоторые другие. Отношения системы ОПРОКИДНЕВ с системой ШАРАРУЕВА были образцово добросердечными, с системой КУРСОВКИН — покровительственными, с системой ЭДУАРД ФОМИЧ они были противоречивы, но ни те, ни другие, ни третьи не представляли особого интереса. Самыми тревожными для жителей Гланды были периодические воздействия системы ДОКТОР. Это была явно более могущественная, чем их родная, система, и главное, чрезвычайно агрессивная. Под ее тлетворным влиянием система ОПРОКИДНЕВ вынуждена была причинять серьезные неприятности своей собственной Гланде. Пока ученым не было известно о существовании системы ДОКТОР, они воспринимали эти неприятности как стихийные бедствия и уповали на технический прогресс и лучшие времена. Однако, заблуждения рассеялись, и теперь не оставалось места для иллюзий: под неуклонным воздействием системы ДОКТОР система ОПРОКИДНЕВ пошла в отношении своей Гланды на геноцид.

Вот почему уже много ночей никто на планете не ложился спать. Три миллиарда микробов в напряженном ожидании просиживали до рассвета у приемников всепланетной телевизионной сети...

— Внимание, внимание. Прослушайте сводку погоды. В связи с тем, что сегодня системе ОПРОКИДНЕВ вновь прописаны полоскания, ожидаются ливневые бури на всех участках планеты. Несоблюдение нашей системой предписанного ей системой ДОКТОР режима не позволяет предсказать точное время бедствия. Будьте наготове круглые сутки...

Ночью Опрокиднєв проснулся. Горлышко болело. Он с усилием сделал несколько глотательных движений. На планете Гланда прокатилась губительная волна землетрясений и наводнений.

Опрокиднєв зевнул. На планете Гланда забрезжил рассвет. Не в силах уснуть, Опрокиднєв закурил.

Миллионы микробов задирали головы и с тревогой разглядывали небо. По темному нѣбу ОПРОКИДНЕВА шли дымные свинцовые тучи.

В сверхсекретном научном центре министерства обороны Гланды, в кабинете Главного Теоретика, сидели двое: хозяин кабинета и диктатор планеты Золотистый Стафилококк.

— Как продвигаются ваши работы? — спросил Золотистый.

— Мы уже создали пенициллин и провели ряд испытательных инъекций на соседней, необитаемой Гланде. Испытания прошли успешно.

— Как далеко мы отстаем от Опрокиднєва?

— Вы хотели сказать — от системы ОПРОКИДНЕВ? — осторожно поправил Теоретик.

— Будет вам, — небрежно произнес диктатор. — Пусть он остается галактической системой для наших замечательных простых тружеников, но мы-то с вами знаем, что это всего-навсего старший техник проектного института, болтун, бездельник, и к тому же редкий мерзавец, задумавший нас погубить. Итак, на сколько мы отстаем от него?

— Как я уже сказал, сегодня у нас на вооружении есть пенициллин. К сожалению, Опрокиднєв тоже не стоял на месте. По нашим сведениям, вслед за пенициллином он приобрел биомицин и тетрациклин, а это штучки пострашнее.

— Надо ускориться, — нахмурился диктатор.

— Трудно, — ответил Теоретик. — Не хватает кадров. Лучшие гибнут на испытаниях. Но дело даже не в том.

— В чем же?

— Простите, диктатор, но у меня есть основания опасаться, что,

объявив войну Опрокидневу, мы в конечном счете объявим ее себе. Мы часть его системы, понимаете?

— Продолжайте ваши опыты, профессор, — после длительной паузы произнес Стафилококк, нервно теребя кок. — Э... Не поддавайтесь меланхолии. Кто-нибудь да выживет и донесет до следующих поколений память о нашей трагической эпохе...

Затарахтел телефон.

— Да... Это вас, — Теоретик протянул трубку диктатору.

— Господин диктатор! Удалось перехватить секретные переговоры между системами ОПРОКИДНЕВ и ШАРАРУЕВА. Чрезвычайные новости.

— Включите запись.

— Сию минуту!

...Диктатор услышал дробный стук босых пяток Опрокиднева.

— А, ч-черт, — пробормотала система ОПРОКИДНЕВ, отыскивая наощупь телефон, ему не хотелось зажигать свет.

Раздалось прерывистое стрекотание.

«Набор телефонного номера», — пояснил оператор.

— Алло, Шараруева, спишь? — спросила система ОПРОКИДНЕВ.

— Нет, — ответила система ШАРАРУЕВА. — О тебе думаю. Как горло?

— Плохо. Гланда проклятая жить не дает. Хоть вырубай.

— Антибиотики принимаешь?

— Доктор велел начать завтра.

— Много они понимают, — сказала система ШАРАРУЕВА. — Начинай прямо сейчас. Что у тебя есть?

— Тетрациклин.

— Валяй. Хорошая штука.

— Да, — сказала система ОПРОКИДНЕВ. — Пожалуй, приму. Спи, Шараруева. Спасибо тебе за бессонные думы.

— Люблю я тебя, Опрокиднев, — вздохнула система ШАРАРУЕВА. — Ох, и люблю!

— Повторите запись, — потребовал Золотистый.

«...Как горло?... Плохо. Гланда проклятая жить не дает. Хоть вырубай...»

— Стоп, — скомандовал Золотистый. — Вот сволочь. Жить мы ему не даем. А он нам дает? «Вырубай...» Я б тебе вырубил, — проворчал он и добавил несколько слов из жаргона glandской шпаны. — Дальше.

«...Тетрациклин... Валяй. Хорошая штука... Да. Пожалуй, приму...»

— Стоп. Что скажете?

— Скажу, что это конец, — прошептал Теоретик. — Это конец.

Опрокиднев зажег свет. Разыскал тетрациклин. Распахнул рот. Небо над Гландой засияло с невиданной силой. Вскоре в лучах сверкнул маленький круглый диск. С каждым часом он увеличивался в размерах. Видно было, как он медленно вращается, и гигантские тени перебегают с края на край... На мирные хижины Гланды падала первая таблетка тетрациклина.

Через семь дней в укромных недрах планеты, вдали от поверхности, по которой прошел губительный смерч тетрациклина, в глубокой шахте, стояла кучка микробов.

— Нас мало, — хрипло произнес Золотистый Стафилококк. — Нас, может быть, трое. Но мы не прекращаем борьбу. Мы уйдем на соседнюю Гланду и там снова заложим фундамент нашей цивилизации. Опрокиднев еще услышит о нас!

— Э, дорогой, — сказала система ДОКТОР. — Да у вас, кажется, снова ангина. Теперь левосторонняя. Нехорошо, милый, нехорошо!

ОПРОКИДНЕВ ХОРОНИТ ДЯДЮ

Памятные события дня:

1. Представитель заказчика, главный инженер «Монтажсистематики» Промышлянский забраковал расчет, сделанный Опрокидневым при участии старшего инженера Шараруевой.

2. Возвращаясь домой, Опрокиднев по случаю приобрел портфель крокодиловой кожи.

Последняя мысль перед тем, как заснуть:

«Расчет плохой, а портфель хороший...»

Непосредственно сон...

Портфель лежал на журнальном столике. В его благородной пупырчатой поверхности тускло отражалась луна. Как и полагается во сне, до поры до времени было тихо и неподвижно.

Внезапно с пронзительным пением разъехались створки окна и три безобразных чудовища, перевалив через подоконник, шумно плюхнулись на пол.

«Мама!» — подумал во сне Опрокиднев и забился в угол.

Громко стуча лапами и волоча хвосты, чудовища расположились вокруг журнального столика и дружно зарыдали. Опрокиднев осмелел и вылез из угла.

Это были крокодилы, один очень большой, один не очень и один маленький.

— Гм... — откашлялся Опрокиднев. — Вы... Как вы сюда попали?

При звуках его голоса они перестали плакать. Средний крокодил тоже откашлялся и прохрипел:

— Озеро Тана — Нил — Средиземное море — Черное — Азовское — Дон — Волгодон, и так далее, и тому подобное, вплоть до дренажной системы вашего города. Понятно?

— Понятно. Вы, стало быть, специально ко мне? А что случилось?

При этих словах они снова зарыдали, а самый большой коснулся мордой портфеля и прошептал:

— Это был наш дядя.

— Увы мне, увy! — завыл самый маленький и принялся колотить себя собственным хвостом.

Глубина его переживаний искренне поразила Опрокиднева.

— Что же вы хотите? — спросил он.

— Дядя завещал похоронить его на берегах родного озера, — пояснил большой крокодил. — Мы прибыли, чтобы выполнить последнюю волю покойного.

— Вы хотите забрать его?

— Да.

«Жалко дядю, — подумал Опрокиднев. — И племянников жалко. А портфель еще жальче. Или жальчее? Безумно жалко портфель».

— Это невозможно, — твердо ответил он. — Приношу глубочайшие соболезнования в связи с его безвременной кончиной... Но в вашем дяде я храню важную техническую документацию.

— Что еще за документация?

— Видите ли... — замялся Опрокиднев. — Эта документация — сделанный мною расчет, и, как сказал представитель заказчика, мой давний враг Промышлянский, я могу его спокойно похоронить...

— В чем же дело? — воскликнул большой крокодил. — Мы похороним их вместе, под одной пальмой, и я даю вам слово, что вашему расчету будут оказаны не меньшие ритуальные почести, чем нашему дяде.

— Документацию, выросшую и размножившуюся в условиях умеренно континентального климата, нельзя хоронить в тропиках, — ответил Опрокиднев. — Она этого может не выдержать.

— А нельзя ли устроить им отдельные похороны, каждому в своей местности? — поразмыслив, предложил большой крокодил.

— Нет. В сложившихся условиях ваш дядя является как бы саркофагом для моей документации, и разделять их было бы более чем неуместно. Не вижу повода для огорчений, друзья. Ваш дядя — простой нильский крокодил, неутомимый труженик водоемов — мог ли он мечтать, что когда-нибудь в нем будет храниться самый сложный расчет паропровода высокого давления?

— Я такой же простой труженик, каким был мой дядя, — сказал средний крокодил. — И если бы в детстве я услышал, что когда-нибудь во мне будет храниться расчетчик паропроводов, я бы тоже не поверил. Однако, мы рождены в замечательный век, когда мечты сбываются, — закончил он и широко распахнул челюсти, намереваясь проглотить Опрокиднева.

— Закрой пасть! — строго прикрикнул на него большой крокодил. — Это всегда успеется. Итак, вы твердо намерены похоронить свои расчеты в нашем дяде?

— Еще чего! — сказал средний крокодил. — В папке похоронит.

— В газетке, — добавил младший и захихикал.

— Этот расчет я делал совместно со старшим инженером Шараруевой, — заявил Опрокиднев. — Все, что я творю совместно с этим инженером, приобретает для меня характер святыни. А святыни, молодой человек, — обратился он к младшему крокодилу, — в газетках не хоронят.

— Предлагаю компромисс, — сказал большой крокодил. — Если нашу документацию нельзя хоронить ни в тропиках, ни отдельно от дяди, пусть похороны состоятся здесь. Пусть наш дядя обретет вечный покой под бескрайним северным небом.

— Но только на берегу, — потребовал средний.

— Разрешите высказаться откровенно, — ответил Опрокиднев. — С моей точки зрения, мы хороним не дядю с находящейся в нем документацией. Мы, наоборот, хороним мой расчет, волею случая оказавшийся в вашем дяде. Ведь, если хотите, он мог оказаться и не в вашем дяде, а в чьем-нибудь другом. Или вообще не в дяде, а в тете. И даже в одном из племянников, — беспечно добавил он, и в то же мгновение три пары челюстей зловеще заскрежетали. — Шучу! — поспешно крикнул Опрокиднев. — Так вот, поскольку мы в первую очередь предаем погребению расчетную документацию, считаю своим долгом информировать вас, что таковую хоронят не на берегах озер, а в так называемых архивах.

— Но мы должны иметь свободный доступ к могилке, — обеспокоенно произнес большой крокодил. — Какой вид имеют архивы?

— Это помещение, в котором стоят шкафы, — любезно пояснил Опрокиднев.

— У вас в комнате тоже есть шкаф. Здесь и похороним, — решительно сказал большой крокодил.

— Что ж, место хорошее, сухое, — согласился средний.

— И дорогу сюда мы уже знаем, — сказал младший.

— А часто вы будете навещать дядю? — осторожно спросил Опрокиднев?

— Часто, — ответил большой крокодил. — У нас множество поминальных праздников. Вам это не нравится?

— Ради бога, — ответил Опрокиднев. — Я глубоко уважаю и чту обычаи дальних стран. Но дело в том, что в связи с этим захоронением моя комната фактически превращается в кладбище, а у нас с пребыванием на кладбищах связана масса страшноватых легенд, а также специально сочиненных классиками произведений, долго и ощутимо воздействующих на впечатлительных читателей, каковым являюсь и я.

Крокодилы переглянулись. Большой спросил:

— Нельзя ли высказать то же самое, только попроще?

— Проще говоря, не буду я на кладбище спать, — сказал Опрокиднев. — Суеверия не позволяют.

— Стерпится-слюбится, — кротко заметил большой крокодил и выразительно подвигал челюстью. — Будете кладбищенским сторожем на общественных началах. Договорились?

Опрокиднев молча развел руками. Его аргументы были исчерпаны.

— И последнее, — сказал большой крокодил. — В соответствии с нашими ритуалами, свежей могилке нужна искупительная жертва. При этом вынужден заявить откровенно, что наиболее желательна человеческая.

— Вы... вы с ума сошли! — закричал Опрокиднев. — Где я вам возьму жертву?!

Возникло тягостное молчание.

— Эта... как вы ее назвали?... Шараруева... — пробурчал большой крокодил. — Она вам очень нужна?

— Шараруева исключается: она меня любит.

— Вот и прекрасно. Пусть принесет себя в жертву.

— Нет-нет.

— Хорошо... А этот... ваш враг... Промышлянский...

— Враг, — согласился Опрокиднев, — но не до такой степени.

— Не может быть, чтобы у вас в институте не нашлось подходящей жертвы, — сказал большой.

— Жертв у нас много, — ответил Опрокиднев. — Эдуард Фомич Буровин — жертва честного отношения к работе. Мой друг Курсов-

кин — жертва семейной жизни. Абаев — постоянная жертва «Спортлото». Наши женщины — все как одна жертвы своей необузданной влюбленности в меня, их переполняют чувства, мешая им, а заодно и мне, правильно ориентироваться в таблице умножения, отсюда грубые ошибки в расчетах. Но ни одну из этих жертв не назовешь искупительной. Более того. В нашем институте каждый год приходится хоронить сотни расчетов. Если на каждую могилку приносить в жертву исполнителя, то институт вымрет в обозримый исторический период. А если этот обычай перекинется из нашего института в другие учреждения, занимающиеся теми или иными расчетами, в конечном счете в жертву будет принесен прогресс!

— Я заметил у вас одну отвратительную черту, — раздраженно произнес крокодил. — Как только доходит до дела, вы ударяетесь в демагогию. Все гораздо проще: если вы никого не найдете, вам придется принести в жертву себя.

— Я бы принес, — заверил Опрокиднев, — но кто будет мой паропровод пересчитывать?

— Братишка! — обратился большой крокодил к маленькому. — Ты у нас грамотный. Не возьмешься?

Маленький демонстративно уставился в угол и ничего не ответил.

— Мы принципиально не занимаемся подобными расчетами, — выдохнул большой. — Мы не видим в них смысла... Прощайте, дядя, — поклонился он портфелю. — Прощайте и вы, расчетчик! — И он молниеносно сомкнул челюсти на шее Опрокиднева.

— Я протестую! Дайте мне морально подготовиться! — закричал Опрокиднев и проснулся.

Луна безмолвно освещала комнату. Портфель лежал на журнальном столике. За окном что-то ухало — возможно, удирали крокодилы.

Опрокиднев подошел к телефону и набрал номер.

— Шараруева... Извини, что разбудил... Скажи, пожалуйста, ты смогла бы принести себя в жертву?

— Что? Что принести? — сонно переспросила Шараруева. — Тетрациклин?

— Я спрашиваю, можешь ли ты принести себя в жертву?

— Ах, вот ты о чем, — оживилась Шараруева. — положи трубку, я вызову такси...

— Прости меня, Шараруева, я не достоин этой жертвы, — мягко перебил Опрокиднев. — Это был чисто теоретический вопрос.

— Я знала, что ты так скажешь, — ответила Шараруева после продолжительной паузы и заплакала.

ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ или ГОСТЬ ИЗ РОССИИ

Неизвестный рассказ доктора Уотсона

Памятное обстоятельство дня: жутко замерз, возвращаясь с работы.

Последние занятия перед тем, как уснул: три рюмки коньяка и чтение томика Конан-Дойля.

Непосредственно сон...

Это был один из тех ужасных февральских вечеров, когда, казалось, туманы всего мира собрались в Лондоне, а самые сырые и промозглые из них сгустились на нашей Бейкер-стрит. Нечего было и помышлять о прогулке. Я сидел у камина, подставлял ладони огню и мрачно поглядывал на своего друга. Если бы он перехватил мой взгляд, клянусь, он не прочел бы в нем ничего приятного. Но Холмсу было не до меня. В такие вечера на него нападали приступы обычной для него меланхолии. Мой друг стоял в центре комнаты, возле чучела собаки Баскервильей и, мечтательно склонив голову, словно в забытии, водил смычком по струнам своей старенькой скрипки. Я с удовольствием внимал бы пению этого благородного инструмента, ибо искренне считаю Холмса искусным мастером скрипичной игры, если бы не репертуар. По странной прихоти своего состояния Холмс исполнял похоронные марши. Пламя бросало красноватые блики на его тонкое лицо с орлиным носом. На противоположной стене металась его огромная тень. Зрачки Баскервильской собаки, как всегда, источали зловещий фосфорический блеск. Что и говорить, трудно было назвать веселым этот вечер; и я, не смея ни словом, ни жестом вмешаться в меланхолическое состояние Холмса, мысленно молил: господи, хоть бы кто-нибудь пришел к нам!

К счастью, так и произошло.

Внезапно отворилась дверь, и появился слуга.

Холмс убрал смычок. Скрипка смолкла.

— Прошу прощения, — сказал слуга. — Джентльмен настаивает, чтобы его приняли. Он уверяет, что прибыл издалека и очень спешил.

Холмс кивнул

— О! — воскликнул он, разглядывая вошедшего. — Проснитесь, дорогой Уотсон: к нам пришел гость из России.

— Как вы догадались? — изумленно спросил вошедший. — Ведь я не успел произнести и слова.

— Раздевайтесь и садитесь поближе к огню, — приветливо предложил Холмс, не отвечая на вопрос.

Он поместил гостя из России в соседнее с моим кресло.

— Разрешите представить моего друга, доктора Уотсона, — указал на меня Холмс, — и, прежде чем вы расскажете нам о цели своего визита, разрешите полюбопытствовать: как вы оцениваете работу наших автобусных линий?

— Гм... — смутился гость. — Я действительно интересуюсь работой лондонского городского транспорта и именно с этой целью прибыл в командировку. Но как вы догадались?

— За лентой вашей шляпы я вижу автобусный билет. Казалось бы, в такой невыносимо холодный и сырой вечер вы могли бы приехать на такси. Тем более, что, судя по вашим собственным словам, вы очень спешили. Однако, вы приехали автобусом. Можно было бы предположить, что вам захотелось посмотреть на Лондон из окна автобуса. Но сегодня такой туман, что вы ничего не сумели бы увидеть. Остается одно: вас интересовала поездка автобуса сама по себе. Вот и все, весьма просто. А теперь мы слушаем вас.

Гость наклонился за портфелем и при этом бросил беглый взгляд на свои наручные часы.

— Только в России, — улыбнувшись, заметил Холмс, — делают такие великолепные часы и такие плохие ремешки к ним. Вы точно так же посмотрели на часы, едва вошли сюда. Это и помогло мне узнать, откуда вы прибыли... Итак, вы собираетесь показать нам какой-то документ?

— Да. — Гость достал из портфеля узкий продолговатый конверт и протянул его Холмсу. Холмс вытащил из конверта полоску плотной глянцевитой бумаги. Несколько мгновений он молча разглядывал ее. Глаза его заблестели, впалые щеки слегка зарумянились.

— Снова пляшущие человечки, Уотсон! — оживленно произнес мой друг и потянулся за трубкой. — Но это фотокопия. Где подлинник?

— Думаю, подлинник они отправляют куда-нибудь повыше, — ответил гость. — Но позвольте все по порядку. Я работаю председателем Энского горисполкома. Ежедневно у нас бывает разнообразная почта. И вот уже несколько лет в ней время от времени попадаются эти загадочные письма. Я долго считал их чьим-то неумным развлечением и спокойно выбрасывал в корзину, не принимая никаких мер. Но недавно я совершенно случайно прочитал рассказ уважаемого доктора Уотсона, — тут он поклонился мне, и я ответил ему тем же, — рассказ о тех пляшущих человечках. Та история, как вы помните, тоже поначалу казалась невинной шуткой, а закончилась убийством. Не теряя времени, я с огромным трудом выхлопотал командировку в Лондон; кстати, — он снова взглянул на часы, — мне еще нужно успеть отметить ее сегодня... И вот я здесь. Для отчета по

командировке мне действительно придется изучить работу здешнего городского транспорта. Но это уже вам не интересно.

— Когда встречаются с такого рода загадками, — черенком трубки Холмс показал на таинственную анонимку, — трудно сказать заранее, что интересно, а что неинтересно в предстоящем разбирательстве. У вас есть личные враги?

— Личные? Исключено.

Выслушав этот короткий ответ, произнесенный твердым голосом, Холмс задумался, и надолго. Трубка его трижды гасла, и он трижды прикуривал ее, вытаскивая щипцами раскаленный уголек из камина. Мы не смели нарушать его раздумья.

Часы отбили три четверти часа, прежде чем он заговорил.

— Эти конверты приходят в разное время года?

— Нет, — подумав, ответил председатель. — Только зимой. Но какое это имеет значение?

— Действительно, — вырвалось у меня. Давно я не слышал, чтобы Холмс начинал с такого расплывчатого и, на мой взгляд, никчемного вопроса.

Однако мой друг был, видимо, другого мнения. Он выколотил трубку о каминную решетку, набил ее свежим табаком и принялся энергично уминать его сильными, гибкими пальцами.

— Какая погода стоит в те дни, когда приходят эти письма? — неожиданно спросил он.

— Погода? Последнее, вот это, пришло две недели назад. Тогда стояли сильные морозы.

— А предыдущее?

— Месяц назад. Если память мне не изменяет, в те дни было не меньше тридцати градусов по Цельсию, и дул северный ветер.

— Прекрасно! — воскликнул Холмс, затягиваясь так, что трубка исторгла легкий треск и сипенье. — Дальше!

— Два месяца назад. Какая была погода? Постараюсь вспомнить... Представьте, тоже было морозно и ветрено.

Холмс выслушал председателя с величайшим вниманием, после чего повернулся ко мне:

— Итак, Уотсон...

— Погодите! — вскричал я, осененный догадкой. — Письма приходят каждый раз, когда в городе наступает сильное похолодание! Но что это может значить?!

— Вот этот знак, — продолжал Холмс, никак не приобщаясь к моему порыву, — он вам ничего не напоминает?

— Это похоже на флажок на палке, — не задумываясь, ответил председатель. — Но цифры флажка мне абсолютно ничего не говорят.

— Три.. Восемь... — прочитал я. — Семнадцать... Двадцать один.
— Сколько маршрутов трамвая в вашем городе? — спросил Холмс, в третий раз набивая трубку.

— Четыре, — ответил председатель.

— Троллейбуса?

— Два.

— Автобуса?

— Двадцать один.

Честно говоря, и я, подобно нашему гостю, потерял нить в рассуждениях моего друга. Мы с председателем обменялись недоуменными взглядами, а Холмс внезапно посуровел.

— Вы, наверное, близки к разгадке, — предположил я.

— Близок? — вспыхнул Холмс. — Я ее разгадал!.. Советую как можно лучше изучить лондонский транспорт, особенно ритмичность его движения, — пробурчал он, глядя в таинственную бумагу.

— Там так написано?! — изумился гость.

— Нет, — холодно ответил Холмс. — Это советую вам я.

Тягостная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием угля в камине да бормотаньем водосточной трубы за окном, воцарилась в комнате.

— Что же здесь все-таки написано? — наконец робко спросил председатель.

— Здесь ничего не написано, — усмехнулся Холмс и взялся настраивать скрипку.

— Как — ничего? — растерялся гость. — Зачем они тогда играют?

Холмс прижал инструмент к плечу и мечтательно склонил голову.

— Они согревают себя с помощью танцевальных движений, — объяснил он. — Это не фотокопии письма, и вообще не письмо. Это документальная фотография. Она сделана холодным зимним утром на одной из автобусных остановок вашего города.

Он взмахнул смычком, и странно было одновременно видеть его ликующий взгляд и слышать скорбную мелодию похоронного марша.

ТРОЛЛЕЙБУС ОПРОКИДНЕВ

Основное событие вечера: поездка на футбол.

Последнее ощущение перед тем, как заснуть: ребра болят.

Непосредственно сон...

...Оживленная улица, по которой толпами шляются прохожие, снуют машины, а он, Опрокиднев, лежит возле тротуара, на проезжей

части, в виде кого-то или чего-то большого и неуклюжего, по одним ощущениям — в виде бегемота, по другим — в виде старинного буфета. В то же время внутри он весь просторный, емкий и с дверьми, и в эти двери непрестанно кто-то входит и выходит:

— Подвиньтесь! Дайте выйти! Дайте войти!

Такое ощущение, что из него внутренние органы разбегаются. Одни разбегаются, а другие, наоборот, откуда-то прибегают.

Вот что-то тяжелое, солидное, с одышкой:

— П-фф... п-фф... позвольте пробраться...

Сопит, чавкает, доедает на ходу. Не иначе, как желудок возвращается.

— Бум-бум-бум! — грохочут ботинки.

Грубый бас:

— Чего в проходе торчишь?

Желчный пузырь приперся.

— Разрешите! — звонкий девичий голосок. Каблочки: цок-цок-цок — со ступенек на тротуар и там затихли.

Не сердечко ли от меня сбежало? Как это понимать? И отчего меня прямо на улице положили, да еще на проезжей части? Опыты ставят? Трансплантация? Или я в катастрофу попал?

И тут замечает: никто его не положил, и вообще он не лежит, а бежит. Просто таким странным способом бежит — лежа. И ноги какие-то не такие — круглые и в галошах. Галоши узорчатые, скрипят, по асфальту рокочут. Хорошо бежит Опрокиднєв, сильно, в охотку бежит. Откуда такая сила? Чувствует: из усов. Усы у него тонкие, длинные, на концах завитые. Завитушки по проводам скользят, голубые искры в них проскакивают, паленым пахнет. Непривычно, но приятно. Вроде какого-то спецпитания. Вроде, он этими усами ест и даже, скорее, пьет. И от этого сила.

Единственное, что смущает: усы эти — на затылке, а не на лице. И какое оно, лицо — неизвестно. А хотелось бы знать. Если органы с такой легкостью туда-сюда бродят, то и уши с губами могли податься в бега.

Как раз к этому времени кончилась улица, и побежал Опрокиднєв по мосту над рекой. Скосил глаза на воду, всмотрелся в отражение.

— Да ведь я троллейбус!

Впрочем, он об этом давно догадался, еще когда двери ощутил. Только поверить не мог. А теперь, когда сам убедился, чувствует: хорошо быть троллейбусом, интересно. Гоняй себе по улицам, а на работу, в «Электропар», можно не ходить. Если и придешь, только людей напугаешь. Конечно, есть выход — устными расчетами заниматься. Но у троллейбуса в мозгах что? У него в мозгах: вправо, влево, стой, светофор, желтый, красный, желтый, зеленый, поехали, раз-

гон, торможение, стой, открой двери, закрой двери, поехали. С такими знаниями паропровод не рассчитаешь...

Поехали с орехами, по кочкам, по кочкам, по махоньким кусточкам, в ямку бух...

— Остановка «Электропар»!

Сколько лет здесь ходил, не замечал, в каком безобразном состоянии проезжая часть.

Зыркнул глазами по фасаду. Окна распахнуты. Электропаровцы на улицу глазают. Видимо, обеденный перерыв. Вот Эдуард Фомич стоит. Курит. Курсовкин с Аабаевым «Футбол» читают, один на двоих. А кто это? Нежная, встревоженная... Шараруева!

— Эдуард Фомич, что с Опрокидновым? Не звонил?

Буровин шелкает по сигарете, столбик пепла срывается к тротуару.

— Не звонил. Можете съездить, навестить.

— Спасибо, — говорит Шараруева. — Прямо сейчас поеду, пока перерыв. — Выглядывает в окно. — А вот и троллейбус!

Едет Опрокиднев знакомым путем, к собственному дому везет Шараруеву. Как это воспринимать, думает он — что любимая женщина внутри меня сидит? Не сон ли это? Но нет, не сон: беспокойно сидит Шараруева, ноготками по стеклу постукивает, языком причмокивает, вздыхает. Прислушивается Опрокиднев к этим ласковым ощущениям, не может понять, где она точно сидит: то ли возле сердца, то ли в печенках.

И вдруг...

На полпути между «Электропаром» и опрокидновским домом — стадион. И как раз только что футбол кончился. Народу — море разливанное! Попер, попер болельщик во все двери, не пузо стало — барабан, а они еще в легкие набиваются, под ребра лезут, уж вовсе нечем дышать. Хохот, грохот, женский визг. Может, Шараруеву раздавили, может, другую женщину, толпа — зверь. Все! Весь простор кончился, вся емкость под завязку. Сейчас лопну.

— Сердечко мое нежное, любовь моя Шараруева, господи ты боже мой...

Поднатужился, взревел от натуги, тронул с места... Вдруг потемнело в глазах, дикая судорога пробежала по организму. И в потемневшем взоре: молния! молния! молния!

Короткое замыкание — троллейбусный инфаркт...

Очнулся от тряски. Огляделся: под челюсть плетеный стальной канат подведен, буксируют Опрокиднева по каким-то кривым переулкам. Катится он бесшумно, сердца в себе не чувствует, но — живой.

Из переулка свернули в зелень, в тишину.

— Кладбище? Они же думают, я умер. А я жив! Жив!

Хочется крикнуть, что жив, а гудка нет. Какой приятный был гудок — низкий, бархатный... Нет гудка. Бестолочи, не могут живой троллейбус от металлолома отличить! Хоронят заживо.

Между тем, въехав в аллею, буксир отцепили, и он ушел. И остался Опрокиднев один в цветущей сирени, в тишине. Никто яму не роет. Никто бока автогеном не режет. Час, другой, третий... Никого. В каком это я, размышляет он, состоянии? Может, на пенсию вышел, и мне как пенсионеру садовый участок выделили? Чудаки, чем я грядки копать буду?

А с правого бока солнышко пригревает, с левого, из сирени, прохладой веет. Успокоился Опрокиднев. Хорошо на пенсии. Так и простою здесь, пока не заржавею. До осенних дождей далеко. Славная у меня старость, спокойная, легкая...

Днем наслаждается он тишиной, дышит озоном. Ночью хуже. Роса падает, ржа разъедает, от этого бессонница. Глядит на звезды ночные, жизнь вспоминает. Детство, юность. Как родился на конвейере, как сюда, в этот город, переехал, как потом людей возил. Улицы мелькают, площади, остановки... Булыжник, асфальт, бетон... Жизнь...

Утром солнце сушит росу, болячки прижигает. Засыпает Опрокиднев, и снится ему странный сон: будто он не троллейбус, а пассажир. Молодой, веселый, рыжий и в «Электропаре» работает.

Однажды проснулся от человеческих голосов. Ходят вокруг него какие-то люди, показывают на него, что-то объясняют один другому.

Что они, думает спросонья Опрокиднев, разглядывают так усердно? Что такого в старом заброшенном троллейбусе, чтобы столько на него смотреть?

Один из говоривших подошел, бережно по боку похлопал. С уважением.

Вдруг подумалось: а может, я сам себе памятник? Может, я тут сам в честь себя поставлен в знак долгой беспорочной службы? Оттого и уважение, оттого и почет.

Приятно стало от таких мыслей, но тут люди начали внутрь входить.

Нет, скорее, не памятник, а музей. А это первые посетители. Сейчас экскурсовод придет, будет мою биографию рассказывать.

Приготовился слушать экскурсовода.

И тут раздался первый выстрел, за ним — еще. И еще.

— Дзинь... Бац!.. Дзинь... Бац!.. — пели и переговаривались пули.

— Что это? — ужаснулся Опрокиднев. — Меня расстреливают? Без суда и следствия? За что?

— Дзинь... Бац!.. Дзинь... Бац!..

— Караул! Убивают! — заорал Опрокиднев и проснулся.

Проснулся в огромном, пустынном, пронизанном солнцем помещении. Стоит на всех четырех и дрожит. Усы по спине колотят. По капоту холодный пот бежит. Надо же, думает, страху натерпеться: такая чушь приснилась.

Оглядел родное депо, коллег по работе — легче стало. Посмотрел на часы на стене: пять утра, через полчаса на линию. Зевнул, хотел эти полчаса подремать...

Неподалеку, у края ремонтной канавы, газетный стенд. Всегда пустой стоял, а сегодня — на тебе! — свежая газета. И так тревожно висит, что, чувствует Опрокиднев, что-то в ней написано. Что-то такое, что он должен немедленно прочесть, а когда прочтет — не обрадуется.

Подвинулся поближе: газета как газета. Заголовки. Фотографии. Статья «Шире дорогу на въезде в третий бокс!» Жалоба какого-то автокара: не дают работать по специальности. Памятка о новых дорожных знаках. А рядом... Рядом... Снова затрясло Опрокиднева, холодным потом обдало. Его фотография в траурной рамке! А под ней — ровные черные строки:

«После тяжелого продолжительного ремонта скончался известный троллейбус нашего депо, старейший работник пятнадцатого маршрута, заслуженный мотор республики Опрокиднев.

Опрокиднев родился на конвейере Саратовского завода, был сдан с первого предъявления, и с юных лет начал трудиться в нашем городе.

По велению сердца он перешел с центрального маршрута на освоение отдаленных микрорайонов, где показал себя квалифицированным, добросовестным устройством, хорошо знающим правила уличного движения.

Опрокиднев вел большую общественную работу среди пассажиров, за все годы не пропустил ни одной остановки.

В последние годы, выйдя на пенсию, в качестве тира активно способствовал пропаганде стрелкового спорта.

Память о нем навсегда останется в обмотках наших роторов.

Группа товарищей».

Ниже было помещено стихотворение.

Памяти ветерана

Твоим деталям тленье незнакомо,
они вовеки не умрут.
Из твоего металлолома
чего другое соберут.
Да, соберут тебя ребята-пионеры,
и станешь вновь служить в годах грядущей эры!

Опрокиднєв читал и плакал, плакал и бормотал сквозь слезы:

— На пионеров одна надежда, на милых ребятушек... Дети, деточки, соберите меня, вам премия будет...

На высоком холме стоял бронзово облитый солнцем сосновый бор.

Мягко переваливаясь, Опрокиднєв катился к нему по высокой густой траве. Из-под колес вспархивали птицы. Пчелы и шмели влетали в открытые окна Опрокиднєва, кружились с приятным пением в его звонкой пустоте и вылетали обратно. Трава покорно ложилась под колеса. Слышно было, как там, позади, она снова подымается, как с шорохом и потрескиванием распрямляются отдельные травинки.

Впереди, на расстоянии двух десятков шагов, бежал мальчик. Он разматывал провода. Он был загорелый, худой, с острыми лопатками. Он был в белых трусиках и больше ни в чем. Он бежал босой. Иногда наклонялся и на ходу собирал землянику.

— Отчего тебя током не бьет? — крикнул Опрокиднєв.

Мальчик на бегу обернулся, сверкнули его белые зубы, по ним стекал земляничный сок.

— Не знаю, — беззвучно ответил мальчик и побежал дальше.

Медные провода горели на солнце.

Сосновый бор не приближался и не удалялся.

Он висел в знойном воздухе, как Акрополь.

1970–1990.

Герман Федорович Дробиз родился в 1938-м году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Закончил Уральский политехнический институт, позже — Высшие курсы сценаристов игрового кино в Москве. Работал инженером-проектировщиком, затем — сотрудником свердловских газет.

Автор десяти книг рассказов и повестей, шести сборников поэм и стихотворений. По сценариям Г.Дробиза сняты фильмы на киностудиях Москвы и Свердловска.

Лауреат нескольких литературных премий, в том числе — «Золотого тельца» «Литературной газеты». Обладатель приза «Золотой Остап» одноименного Международного фестиваля сатиры и юмора, проводимого в Петербурге.

С 1976-го года был членом Союза писателей СССР, ныне — член Союза российских писателей.

Живет в Екатеринбурге.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

Инженер Шукин	4
Избиение младенца	19
«Брызги шампанского»	26
Улица Тепловозная	41
Туча	50
Мужчина для Изабеллы	56
Очки	61
«А морто Пастернак»	71
Моя встреча с Мандельштамом	76
Каталог	85
И не будем разочаровываться	89
Детектив в сиреневых тонах	90
Биография	95
МАЛЬЧИК. ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ. <i>Повесть</i>	98

В ЛУННОМ СИЯНИИ

Задача	256
Последняя пуля	264
Спасение жука	271
Крупный план	281
На мачте	284
Столб и башня	290
Свидетель	294
Традиционный сбор	297
СОПРОТИВЛЕНИЕ УДИВЛЕНИЮ. <i>Юмористическая повесть</i>	301

ПЕРЕКРЕСТОК

Ананасы	334
Вынужденная посадка	337
Новый диктор	339

Труженик	342
Кто я?	345
Излечение Горюева	353
Голубь и Турбобурун	358
По одной доске	360
Перекресток	362
Приезжий из Барнаула	367
Все там будем	375
Народный заступник	384

ТЕАТР КУКОЛ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Комическая фантазия

(395—468)

ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ

Романтические будни и трудовые

приключения Опрокиднева, старшего техника

проектного института «Электропар»

От автора	470
Фантазер в универмаге	471
Черный треугольник	477
Опрокиднев — мисс Европа	480
Комитент Опрокиднев	483
Опрокиднев работает с кадрами	488
Опрокиднев бросает перчатку	490
Далеко не Фауст	493
Опрокиднев уходит, Опрокиднев остается	497
Опрокиднев — участник кавказской легенды	501
Рука Опрокиднева	506
Счастье нас ждет впереди	518
Опрокиднев — ловец чемоданов	523
Опрокиднев на грани двух сред	526
Чужая шутка	534
Опрокиднев не подает руки	539
Реаниматор Опрокиднев	545
Знакомая мелодия	551
Покушение	558
Разрушение стереотипов	566
Новая жизнь	572
Несчастье счастливого человека	576
Японский обычай	580
Кому что снится	589

Планы народа.....	601
Внедрение Курсовкина.....	607
Сны Опрокиднева. <i>Приложение</i>	618
На далекой планете Гланда	618
Опрокиднєв хоронит дядю.....	622
Пляшущие человечки или гость из России	627
Троллейбус Опрокиднєв	630
Об авторе	636

Литературно-художественное издание

Дробиз Герман Федорович

СВИДЕТЕЛЬ

Повести и рассказы

Художественное оформление серии *Ю.Филоненко*
Художественное оформление тома *С.Стенин*
Компьютерная верстка *С.Недвига*

Изд. лиц. ИД ц 04401 от 26 марта 2001 г.
Подписано в печать 01.10.03. Формат **60×90** ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура *Kudriashov*. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,00. Уч.-изд. 35,75. Тираж 1000 экз. Заказ .

Банк культурной информации.
620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 56.
Тел./факс: +7 (3432) 516-526.

Отпечатано в издательско-полиграфическом
комплексе «Звезда».
614600, г.Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.